

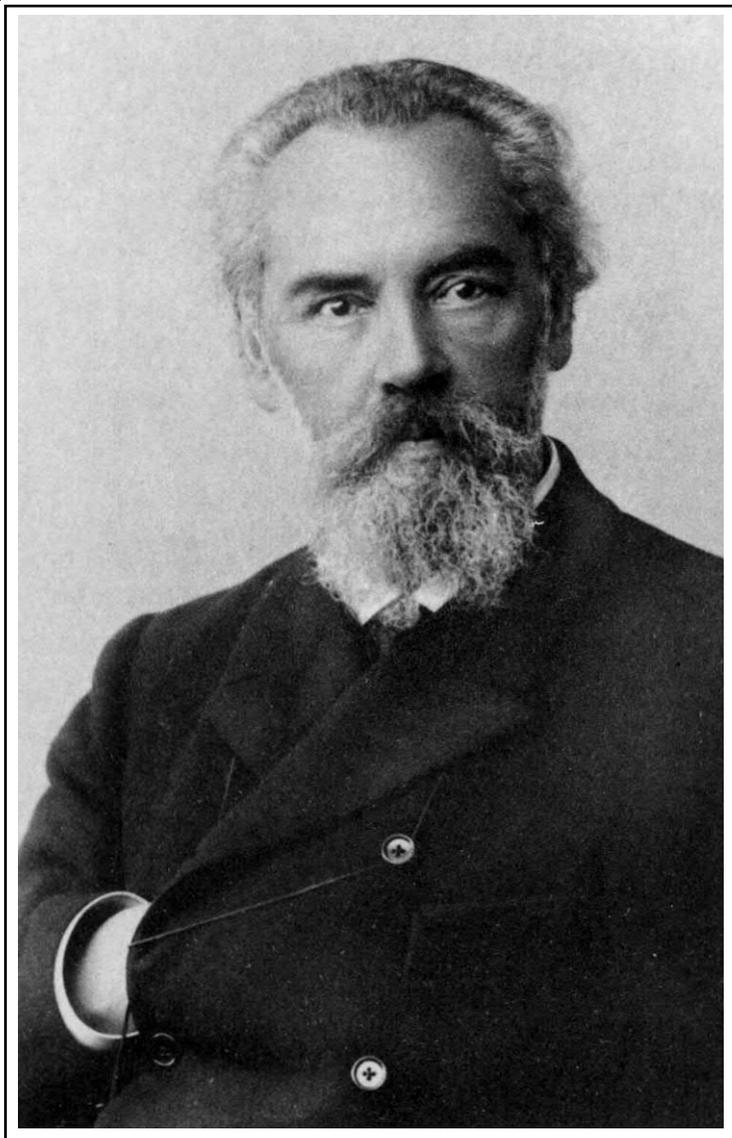
Российские
ропилеи

Александр ВЕСЕЛОВСКИЙ

В.А. Жуковский

Поэзия чувства
и «сердечного воображения»





Серия основана в 1998 г.

В подготовке серии принимали участие
ведущие специалисты Центра гуманитарных
научно-информационных исследований
Института научной информации по общественным наукам,
Института российской истории,
Института философии Российской академии наук

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

**Александр
ВЕСЕЛОВСКИЙ**

В.А. Жуковский

**Поэзия чувства
и «сердечного воображения»**



Центр гуманитарных инициатив
Москва—Санкт-Петербург
2016

УДК 38
ББК 87
В 38

Главный редактор и автор проекта «Российские Пропилеи» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, В.В. Бычков, Г.Э. Великовская,
И.Л. Галинская, В.Д. Губин, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, В.К. Кантор,
И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская, И.А. Осиновская, Ю.С. Пивоваров,
Б.И. Пружинин, М.М. Скибицкий, А.К. Сорокин,
П.В. Соснов, Т.Г. Щедрина

Научная редакция, предисловие, переводы: А.Е. Махов

Редактор: М.П. Крыжановская

Серийное оформление: П.П. Ефремов

Веселовский А.Н.

В 38 В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. — 512 с. (Серия «Российские Пропилеи»).

ISBN 978-5-98712-637-0

Веселовский (1838–1906) — выдающийся ученый XIX столетия, вошел в историю науки как теоретик и историк мировой литературы. В истории науки трудно найти второе такое имя, чей авторитет был бы признан во всех отраслях филологического знания, будь то фольклор, медиэвистика, литература эпохи Возрождения, русская художественная литература.

Книга о Жуковском (1904) — последний крупный труд великого русского литературоведа.

Обратившись от исторической поэтики к «тайнам личного творчества», Веселовский создал непревзойденный по глубине образ поэта — учителя Пушкина. «Перед читателем — живой, реальный Жуковский», «это — целая энциклопедия эпохи», — писал о книге Веселовского А. Блок. Жизнь и трагическая любовь Жуковского, «история его сердца» у Веселовского — страница в духовной летописи сентиментализма и предромантизма, которые воссозданы ученым на основе огромного массива фактов.

Издание снабжено справочным аппаратом, иноязычные тексты сопровождаются переводами научного редактора.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, а равно и на исследователей, преподавателей и студентов.

В оформлении книги использованы фрагменты картин:

М.И. Лебедева «Вид в Павловском парке» (1830–1833),

П.Ф. Соколова «Портрет В.А. Жуковского» (1820)

ISBN 978-5-98712-637-0

УДК 38
ББК 87

© С.Я. Левит, составление серии, 2016

© А.Е. Махов, предисловие, переводы, 2016

© Центр гуманитарных инициатив, 2016

Последний труд А.Н. Веселовского

Представляемая книга – последний капитальный труд Александра Николаевича Веселовского. Его увлечение Жуковским кажется совершенно внезапным: впервые к этой теме он обращается в 1902 г., в юбилейной речи по случаю пятидесятилетия смерти поэта¹, а в 1904 уже выходит монументальная монография, восторженно встреченная критикой и учеными. «Какими-то анекдотическими кажутся... по прочтении этой книги сообщения, делаемые в биографических о Жуковском работах, какими-то случайными, не обусловленными ни временем, ни пространством» (И.Е. Мандельштам²); «Блестящая книга А.Н. Веселовского... представляет собой в высокой степени замечательный по необыкновенной мощи концепции опыт... „реальной” характеристики личности и творчества нашего поэта» (В.И. Резанов³). Особенно примечателен отзыв Александра Блока (в журнале «Вопросы жизни», 1905, № 4–5): «Это – целая энциклопедия эпохи, остающаяся „бытописанием”, несмотря на груды, казалось бы, сухих поправок. Ученый труд не исключает ни „чувства”, ни „сердечного воображения”. Юмор и своеобразный стиль исследователя, иногда тяжеловатый, всегда своеобразный, делают книгу интересным чтением для всех – большая роскошь для русского ученого труда... Перед читателем живой, *реальный* Жуковский... Веселовский произвел кропотливую работу с *любовью*, след которой на всей книге»⁴. Труд ученого дал Блоку и повод для

¹ Издана в Известиях Отд. русского языка и словесности Имп. Академии наук, т. VII, 1902. Кн. 2. С. I–XII.

² Журнал Министерства народного просвещения. 1905. Февраль. С. 376.

³ Резанов В.И. Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского. – Пг., 1906–1916. Вып. 2, с. 4.

⁴ Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 5. М.-Л., 1962. С. 570–571.

мистицизирования в стиле скорее самого Жуковского, чем Веселовского: лейтмотивом книги (в интерпретации Блока) оказывается женственность, «Weiblichkeit», принимающая в жизни Жуковского различные обличья, последний из которых и самый желанный – разумеется, смерть: Маша Протасова – первая из этих епифаний женственности, вторая и третья – Александра Воейкова и Елизавета Рейтерн; и наконец, смерть, «великое благо», «тихо пришла к нему, как дуновение „вечной женственности“, в существе которой Жуковский соединял некогда образы Маши и жены. Соединил – помирил» – и «подарил нас мечтой» об этой самой Ewige Weiblichkeit¹.

Дальнейшая судьба книги Веселовского резко контрастна этому восторженному прижизненному приему. «Жуковский как завершитель Карамзинского периода» – так выразил Веселовский идею своей книги в неопубликованных подготовительных материалах к ней². Представление о Жуковском как «завершителе»-сентименталисте (а не «начинателе»-романтике) и проведено в книге с железной последовательностью, – однако именно эта идея по неясным причинам оказалась совершенно непереносимой для историков русской литературы. В.М. Маркович, исследовавший вопрос о рецепции идеи Веселовского в русском литературоведении, подытожил ситуацию следующим образом: «Концепция Веселовского имела и, как мы убедились, всегда сохраняла „еретический“ колорит. Ее всегда поддерживало меньшинство...»³

Определение и приговор научного большинства разошлись с Веселовским, но совпали с самоопределением Жуковского («Сам он говорил о себе как о родителе „на Руси немецкого романтизма”», – отмечает Веселовский, не соглашаясь в этом пункте с поэтом; с. 24): было решено, что Жуковский все-таки романтик. В нашу задачу не входит анализировать причины такого поворота событий; процитируем в связи с этим лишь проциательное суждение А. Блока: «Романтизм как литературная эпоха всегда *предпочитался* „эпохе чувствительности”, даже вопреки ученой точке зрения, которую должно интересовать

¹ Блок А.А. Указ. соч. С. 576.

² Рукописный Отдел Института Русской литературы (Пушкинский Дом). Фонд 45 (А.Н. Веселовский). Оп. 1. № 270. Л. 12.

³ Маркович В.М. Книга Веселовского «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и „сердечного воображения”» и ее судьба в отечественном литературоведении // Наследие Александра Веселовского. Исследования и материалы. – СПб.: Наука, 1992. С. 202–203.

всё»¹. Возможно, именно здесь ключ к разгадке устойчивого неприятия концепции Веселовского: наука имеет свои бессознательные предпочтения (которые тем опаснее, чем неохотнее признается в них само научное сознание, всегда претендующее на «объективность»), статус романтизма в подразумеваемой (но не эксплицируемой) научной иерархии явлений выше, чем статус сентиментализма, — но и статус Жуковского в истории русской литературы весьма высок: вот и получается, что Жуковский слишком велик для сентиментализма — или сентиментализм слишком мелок для Жуковского.

Почему же сам Веселовский столь твердо держится представления о Жуковском-сентименталисте? Нам представляется, что за вопросом о сентиментализме и романтизме здесь стоит более глубокая дилемма «начала» и «завершения»; спор, в сущности, о том, «начинатель» Жуковский — или «завершитель». Именно это последнее слово ученый употребил в цитированных выше подготовительных материалах: в самом деле, Жуковский — так, по крайней мере, понята у Веселовского его личность — по природе своей не мог ничего «начинать»; он был прирожденным «завершителем», и если бы формирование его пришлось на эпоху классицизма при лишь занимающейся заре сентиментальности, он, вероятно, остался бы классицистом — каким-нибудь «завершителем» классицизма.

В центре внимания Веселовского — проблема соотношения личности и литературных формул, посредством которых личность выстраивает себя, свой образ, свою целостность. Жуковский — такая личность, которая полностью оказывается во власти уже готовых формул: «Его собственные формулы обязывали его, как волшебника его заклинания, и в жизни, и в поэзии: вне их он как будто не находил выражения для новых споров чувства» (с. 258).

Вопрос о личности и формуле естественно дополняет проблематику главного создания Веселовского — исторической поэтики, в которой как раз и рассматриваются «известные определенные формулы», «устойчивые мотивы, которые одно поколение приняло от предыдущего»², — рассматриваются как нечто анонимное, в духе «топосов» Э.Р. Курциуса³. Постоянные

¹ Блок А.А. Указ. соч. С. 571.

² О методе и задачах истории литературы как науки // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа. 1989. С. 40.

³ Ср.: «Топос — нечто анонимное. Он срывается с пера автора как литературная реминисценция. Ему, как и изобразительному мотиву, свойственно временное

отвлечения Веселовского от исторической поэтики в область личного творчества представляли для его коллег некоторую загадку: В.М. Истрин видел в них «праздничный отдых ученого»¹, а Б.М. Энгельгардт — собрание данных «для построения новой поэтики — поэтики творчества», которая дополнила бы «поэтику предания»². Но не проще ли предположить, что для ученого, исключившего из своей исторической поэтики личный элемент и вообще полагавшего, что «процесс личного творчества... покрыт завесой, которой никто и никогда не поднимал и не поднимет»³, было бы крайне любопытно проанализировать взаимодействие личности с миром формул, структурирующих ее, личности, собственный опыт? Это, между прочим, вовсе не предполагает поднимания завесы с «процесса личного творчества»: Веселовский, вполне в русле исторической поэтики, трактует поэзию Жуковского как совокупность формул и мотивов: он постоянно говорит о «формулах» поэзии Жуковского, уже в черновых планах труда фигурирует слово «клише»: «Cliché — отражение пережитого в юности. Детство и юность поэта; жажда любви, славы, дружбы не находят удовлетворения»⁴. Зато личность Жуковского, вопреки декларированному намерению автора «направить анализ не столько на личность, сколько на общественно-психологический тип», дана во всех перипетиях ее неустанного самостановления из литературных «формул» и «шаблонов».

Чтобы понять, как именно у Веселовского личность находит себя в формуле, нам следует остановиться на названии книги и на заложенном в нем противопоставлении — до сих пор мало осознанном. «Чувство» — и «сердечное воображение»: вот два полюса, между которыми разыгрывается драма жизни и поэзии, личности и литературы. Второй «термин» (если можно так его назвать) — находка Веселовского, особенно важное в системе книги понятие: не случайно в первоначальном варианте заглавия оно уже есть — и стоит в одиночестве: «Жуковский и лирика „сердечного воображения”»⁵.

и пространственное всеприсутствие. Исследование топосов сходно с «историей искусства без имен» в противоположность истории отдельных художников». (*Curtius E.R. Zum Begriff eines historischen Topik // Toposforschung. Eine Dokumentation. 1972. S. 9.*)

¹ *Истрин В.М.* Методологическое значение работ А.Н. Веселовского // Памяти акад. А.Н. Веселовского. — Пг., 1921. С. 17.

² *Энгельгардт Б.М.* А.Н. Веселовский. — Пг.: Колос, 1924. С. 213.

³ *Истрин В.М.* Указ. соч. С. 16.

⁴ РО ИРЛИ.Ф. 45 (А.Н. Веселовский). Оп. 1. № 270. Наброски и материалы к теме о Жуковском. Л. 4.

⁵ РО ИРЛИ. Ф. 45. Оп. 1. № 275.

Слова «сердечное воображение», видимо, заимствованы Веселовским из письма Ал. Тургенева кн. Вяземскому (12 ноября 1819 г.), цитируемого самим Веселовским: Жуковский «неистощим в любовных мечтаниях и настроил было опять душу и любовь свою для поэзии: положил на ноты звук своего сердца или сердечного воображения, и следовательно тоска его по счастью семейственной жизни не совсем пропала для нас и для потомства» (с. 264). Впрочем, в другом месте Веселовский находит похожее немецкое выражение — *herzliche Phantasie* — у Новалиса (который кажется ему настолько близким Жуковскому, что ученый готов и его произвести в сентименталисты: «он [т.е. Новалис. — А.М.] лелеял, как все сентименталисты [sic! — А.М.], надежду на тихое, семейное счастье, мечтал, влюблялся, сватался, жил воображением»; с. 276): «*Для сердца прошедшее вечно*», повторяющееся на расстоянии 30 лет в разных применениях — что это такое? Наивный ли эгоизм чувства, лелеющего милые воспоминания, которые сплываются для него в один, довлеющий себе аффект?.. Или это воображение сердца, *herzliche Phantasie* Новалиса, желание спасти девственность первого глубокого увлечения, введя в его колею другое или другие, как его отражения, воскресения?» (с. 276)

«Чувство» — подлинное переживание; «воображение сердца» — способность подводить новые переживания под однажды выработанную формулу, канон, укладывать их в готовую схему. Опыт «романтической любви» однажды дал «определенные схемы и его [Жуковского] чувству; если кто-нибудь возбудит в нем долю знакомых настроений, их доскажет *воображение сердца*, и роман может повториться снова»; «...Известные образы, одни и те же выражения, выжитые, выстраданные, продолжают у него повторяться и впоследствии... Когда дело идет об одном и том же патетическом, глубоко захватывающим моменте, эти повторения нас поражают, как нечто рассудочное, бесстрастное... мы едва находим ему объяснение: как будто чувство вылилось однажды так цельно, выражение его так образно кристаллизовалось, что на всякое воспоминание, при всякой исповеди другому, оно отзывается теми же словами, тем же мотивом... Впечатления могли быть новые, но поверялись они уже готовыми афоризмами и расщивались ими. Стоило поэту, в разных обстоятельствах жизни прикоснуться к этим клавишам, в которых еще дрожал для него тон сердца, он настраивался мечтательно, улетал воображением в подлунную страну, и, вернувшись на землю, мог бы ощутить себя в неловком положении, если бы порой замечал противоречие» (с. 258).

Таков описанный Веселовским тип отношений личности и готовых литературных формул. Создатель исторической поэтики, без сомнения, легко чувствовал себя в этом материале; ведь если однажды он поставил себе задачу «проследить, каким образом новое содержание жизни... проникает в старые образцы»¹, то в данном случае не за чем было и проследивать: «новое содержание» у Жуковского никак не проникало в «старые образцы» — но подстраивалось под них, упорядочивалось в соответствии с ними той силой, которую Веселовский назвал «сердечным воображением».

Мотив рассудочности Жуковского, который всплывает в связи с этим, имеет в книге глубокое развитие: «сердечное воображение» как душевная способность упорядочивать личный опыт на основе однажды избранных схем действует в высшей степени рационально и рассудочно. В эпоху сентиментализма «наслаждение своим сердцем нормировалось рассудком» (с. 54), чувствительность рассудочна, поскольку в основе своей следует некоторой схеме. Чтобы подогнать жизненный опыт под готовую схему, «сердечное воображение» совершает действие, которое Веселовский охарактеризует как действие логическое — «софизм чувства» (с. 276). Рассудочность самого Жуковского подчеркивается в книге не раз: «В этом лихорадочном искании дружбы много рассудочности. Жуковский сознает это сам: „это говорит вам не энтузиазм ребяческий и огненный, но холодное размышление” (Ал. Тургеневу 1805 г., 31 августа); ...он хочет быть „энтузиастом по рассудку” ... Другими словами: спрос чувства он хочет возвести в требование разума, дружбу в орудие нравственного совершенствования. Черта, интересная для психологии поэта, у которого так много было мечтательности и — самонаблюдения, так много полетов к небу — и любви к педагогическим таблицам, к кропотливым, порой призрачным выкладкам, как обеспечить себя материально ... так много порядка — в фантазии» (с. 116); рассудочно и сознательно Жуковский воспитывает в себе религиозное чувство: «Он обобщает, ставит формулы; и в поисках за верой он систематик» (с. 321); «в этом мечтателе была деловитость, — знакомый нам элемент таблиц» (с. 398).

Верность однажды найденному чувству, образу, формуле требовала душевного действия, которое в основе своей было рассудочным — Веселовский тонко уловил этот момент в духовном облике поэта. И вместе с тем сама эта рассудочность чувства — сама верность схеме — для Жуковского была чем-то совершенно

¹ О методе и задачах истории литературы как науки.

органичным и естественным, дававшимся, в сущности, без усилия. Жуковский однажды охарактеризует память о святом для него Карамзине как «высокое чувство, в котором уже не может быть изменения» — это состояние абсолютной завершенности, некоего *in statu termini*, эта невозможность изменения в столь подвижной субстанции, как чувство, нам представляется чем-то жутковатым — а для Жуковского это естественно. Такова форма его личности, его, выражаясь языком Веселовского, «синтез», обретенный им в «общих формулах сентиментализма».

Но конечно же это не единственно возможная форма личности, не единственный способ ее взаимодействия с миром литературных образов. После книги о Жуковском ученый пишет небольшую работу о Петрарке, где речь идет о его поэзии как «автобиографии сердца, сознательно желающего сохранить в потомстве черты личности в той идеальной цельности, в которой она хотела бы пережить»¹. Это можно применить и к Жуковскому — но в книге о нем Веселовский, пожалуй, не дал столь четкой рельефной формулировки. «Личность» сознательно работает над своей посмертной «идеальной цельностью», и в случае Петрарки эта работа выглядит не так легко, как у Жуковского: Жуковскому все дано с самого начала, и ничего не нужно уже трогать; здесь же — мучительный поиск понятия, в котором осуществим «жизненный синтез», отказ от «любви», от *amor*, и находка: «Слава — это форма переживания, к которому стремится познавшая себя личность»².

Книга Веселовского не расширяет историческую поэтику и не служит построению некой «поэтики творчества», как предполагал Б.М. Энгельгардт: она открывает новую территорию на границе психологии и теории искусства, которая интенсивно осваивалась в XX столетии, осваивается и сейчас. Упомянем лишь попытку соединения психологии личности и истории искусства в знаменитой книге Эрнста Гомбриха «Искусство и иллюзия», где понятие «схемы» выдвинуто как ключевая категория исторической стилистики. По Гомбриху, схема — «не продукт „абстрагирования“ или „упрощения“: она представляет собой исходную приближенную, предельно широкую категорию, которая затем сужается вплоть до полного соответствия конкретной форме, которую она воспроизводит»³. Художник ищет «в окружающем мире лишь те черты, которые он способен передать»; «без некой исходной точки, изначальной схемы

¹ Петрарка в поэтической исповеди *canzoniere*. М., 1905. С. 97.

² Там же. С. 57, 15.

³ *Gombrich E. Art and Illusion*. 2 ed. Lnd., 1969. P. 64.

мы никогда не смогли бы зафиксировать поток нашего опыта»¹. «Непосредственное видение мира», по Гомбриху, — фикция; художник подходит к реальности с готовой схемой, концентрирующей традицию, — точно так же и у Веселовского поэт подходит к миру своего опыта с готовым набором формул.

Мера, в какой художник способен скорректировать схему, весьма различна. Гомбрих приводит анекдотический случай полного торжества схемы над реальностью: на гравюрах Михаэля Вольгемута (1434–1519) из «Нюрнбергской хроники» одна и та же миниатюра последовательно выдается за вид Дамаска, Мантуи, Феррары, Милана — средневековому человеку, ограниченному своим узким миром, не было никакой надобности знать реальный вид того или иного города². Жуковский, при всей своей склонности к путешествиям, пожалуй, ближе всего стоит к этому случаю: силой «сердечного воображения» различные чувства и образы вливаются у него в одни и те же формулы; противоречие между реальностью и ее поэтическим воплощением становится порой вопиющим: «Впечатление роковых контрастов, вынесенное им из действительности, отразилось в Певце идиллическими картинами» (с. 138).

Гомбрих степень таланта художника ставит в прямую зависимость от его способности корректировать исходную схему. Жуковский был неспособен корректировать свою схему — но Веселовский не выносит ему приговора, а ставит нас перед весьма тонкой коллизией: Жуковский ничего не смог поделаться с реальностью (не смог ее «отразить») — или реальность ничего не смогла сделать с Жуковским, не смогла «изменить его», разрушить его личность? Чей же это крах: поэта, не сумевшего «передать новое содержание жизни», — или жизни, не сумевшей изменить поэта? Личность, ищущая для себе вечной «идеальной цельности», заставляет нас глубоко задуматься над этим вопросом.

Настоящее переиздание книги Веселовского воспроизводит единственное прижизненное издание 1904 г. Цитаты из русских и иностранных авторов даны по тексту Веселовского и приведены в необходимое соответствие с нормами современной орфографии. Многочисленные иноязычные цитаты снабжены переводами, заключенными в квадратные скобки, в ряде мест даны редакционные комментарии (сноски со знаком звездочки). Введен справочный аппарат — общий именной указатель и указатель произведений Жуковского.

¹ *Gombrich E. Art and Illusion. 2 ed. Lnd., 1969. p. 73, 76.*

² *Ibid. p. 61.*

**В.А. Жуковский.
Поэзия чувства
и «сердечного воображения»**



С таким товарищем не скучен скучный путь,
Веселый веселее вдвое.

Жуковский

Александре Семеновне Усовой
в неизменной дружбе.

Александр Веселовский

Предисловие

Две биографии В.А. Жуковского написаны были его современниками; Плетнёв знал его во вторую половину его жизни, Зейдлиц более других посвящен был в сердечные тревоги его юности; обе характеристики сошлись в том идеальном, я сказал бы, несколько иконописном образе, в каком мы и теперь представляем себе поэта. Загарин попытался поставить его, и не всегда удачно, в отношения среды, которая его воспитала, в новые литературные течения, которые его охватили; но образ остался тот же, только юношеский энтузиазм Зейдлица сменился тоном панегирика. Образ, написанный широкими полосами света; идеализация часто напоминает старую монету, на которой видны одни контуры и исчезли мелкие штрихи. Нам важны именно эти мелкие черты, трепещущие жизнью; они объяснят нам многое в Жуковском, человеке и поэте, потому что большая часть Жуковского в его поэзии.

Для такой реальной характеристики собралось значительное количество материалов со времени появления книги Загарина, встреченной превосходной критикой Тихонравова^{1*}. В особен-

^{1*} Речь идет о книге: Загарин П. [Поливанов Л.И.]. В.А. Жуковский и его произведения. М., 1883. Рецензию Тихонравова см. в изд.: *Тихонравов Н.С.* Сочинения. Т. III. Ч. 1. — М., 1898. (Здесь и далее сноски со звездочкой принадлежат редактору, прочие — А.Н. Веселовскому.)

ности работы И.А. Бычкова по исследованию бумаг Жуковского, изданию его писем и дневников, и «Остафьевский Архив» с драгоценными примечаниями В.И. Саитова принесли множество новых сведений; иные рассеяны по журналам. Мне самому довелось воспользоваться некоторыми не изданными пока документами, освещающими ту или другую часть биографии поэта. Многое остается еще под спудом¹, или еще не найдено, если сбереглось, как, например, дневники Андрея Тургенева и А.С. Кайсарова; иное еще готовится к изданию. Неизвестные доселе письма Жуковского к А. Мальтицу, из картонов Фарнгагена фон Энзе, явятся вскоре в работе проф. И.А. Шляпкина: «Из последних лет жизни Жуковского», этюде к сочинению: «Фарнгаген фон Энзе и его русские отношения»; письма касаются перевода Одиссеи, взглядов Жуковского на события 1848 г. и его историко-философских воззрений. — Лишь при корректуре последнего листа я мог познакомиться, благодаря любезности А.Е. Грузинского, с первыми листами редактируемого им собрания писем Жуковского (к Елагиной, Зонтаг) и И.А. Мойер (последних до ста)². Новые письма Жуковского, из которых некоторые напечатаны были лишь в отрывках, принесут, вероятно, неизвестные нам биографические подробности, дополняют и исправят хронологию его поэтических произведений³, но, судя

¹ По сообщению П.Е. Рейнбота, в Гёте-Шиллеровском архиве в Веймаре хранятся письма Жуковского к канцлеру фон Мюллеру: одно от 12 мая 1846 г. (из Франкфурта на Майне), другое без даты (почтовый штемпель: Франкфурт на Майне 14 июня 1846 г.); в обоих речь идет об «Арзамасе».

² Владелица этих писем — М.В. Беэр, рожд. Елагина, дочь Екатерины Ивановны Мойер.

³ В одном из писем, предоставленных мне А.Е. Грузинским, Жуковский сообщает Елагиной в ноябре 1818 г., что занят своими «грамматическими таблицами», и когда они кончатся, снова делается поэтом. «До тех пор потерпите!... En attendant [ожидая — франц.] вот вам стихи, *произведение минуты, мимо пролетевшей, следовательно, вам не должно выводить из этой песни никаких заключений*. Она написана для Вадковской, которая и лицом, и голосом (когда поет) похожа на Анну Ивановну (Плещееву). Естественно, что с этим лицом и с этим голосом тесно связано прошлое. Но не думайте, чтобы настоящее было дурно: я им доволен. В моем теперешнем положении много жизни: и я нахожу его часто прекрасным, точно по мне. Одним словом, вообще не желаю перемены; и воспоминания прошедшего не иное что, как сон, который следа не оставляет, который *действует* только по тех пор, пока *длится* — и этот сон редок; настоящее хорошо». — Следует стихотворение: «Минувших дней очарованье», напечатанное в том же году в издании «Для немногих». Зейдлиц (а за ним Ефремов, проф. Архангельский и я) отнес его к 1816 г., к настроению которого он действительно подходит. Зейдлиц мог ошибиться в хронологии, но и Жуковский мог набросать стихотворение ранее, чем обработал его для голоса Вадковской — и для печати; либо написать его и в 1818 г., среди «грамматических таблиц», когда на него налетало воспоминание и он записывал в дневнике, что он и доволен настоящим, и знает на земле «одно потерянное счастье». —

по его накапливающейся постепенно корреспонденции, мы не ожидаем новых психологических откровений. Несмотря на свою сказочную лень к письмам, Жуковский писал много, люди его кружка, Александр Иванович Тургенев и Булгаков, даже грешили эпистолярным избытком; и все они повторялись. Повторялся и Жуковский, вращаясь в той же фразеологии, в том же круге идей, ставших общими местами: о прелести воспоминания — и уединения в «милом круге», с «подругой тишиной», без надежд, но с верой в Провидение, в очистительную силу страдания и т.д.

Особенно печально, что я не мог воспользоваться для своей работы письмами М.А. Протасовой-Мойер. От нее известны были лишь обрывки писем и дневника¹; все остальное досказано Жуковским и его друзьями; ее тихий образ рисуется нам в отражении их симпатий, нередко заглазных, направленных симпатиями Жуковского. Она была не только предметом его юношеского увлечения, но и во многих отношениях его духовной дочерью; писала прекрасно², и нам интересно будет встретить в ее живом слове заявление ее личности, так редко сказывающейся в общих формулах сентиментализма.

Сестры Вадковские, Екатерина Федоровна (с 1820 г. замужем за Н.И. Кривцовым; см. Остафьевский Архив, I, с. 496) и Софья Федоровна (вышедшая за П.М. Безобразова в 1816 или в 1818 г., во втором браке за Темирязевым; см.: Остафьевский Архив, II, стр. 404, III, с. 180) были дочерьми сенатора Ф.Ф. Вадковского от брака с графиней Екатериной Ивановной Чернышевой, сестра которой, Анна Ивановна, в 1799 г. вышла замуж за Александра Алексеевича Плещеева, двоюродного брата Марьи Андреевны и Александры Андреевны Протасовых — и большого приятеля Жуковского. Очень вероятно, что стихи его обращены были к С.Ф. Вадковской, известной красавице, которую впоследствии воспевал и князь Вяземский («К С.Ф. Безобразовой», — Полное собр. соч. кн. Вяземского, III, с. 272–274, под 1822 г.).

¹ Разумею ее немецкий дневник, писанный за несколько месяцев до смерти. В письме к Елагиной 1 января 1831 г., сообщенном мне А.Е. Грузинским, Жуковский приводит из него большие выдержки. В нем она писала Зейдлицу, что посылает ему *die Weihrauchschen Lieder zum Geschenke und meinen Ring zum Andenken* [песни Вейрауха в подарок и кольцо на память. — нем.].

² «Знаешь ли ты, у кого ты выучился писать? — спрашивал Жуковский И.В. Киреевского, — у твоей матери. Я не знаю никого, кто бы лучше писал ее. Она (А.П. Киреевская-Елагина), Марья Андреевна (Протасова-Мойер) и Александра Андреевна (Воейкова) — вот трое. Александра Андреевна писала прекрасно: *il y avait du génie dans son style* [ее стиль свидетельствовал о даровании — франц.] (Полное собр. соч. И.В. Киреевского, т. I, письмо 12 января 1830 г.). У Елагиной «чуждое чутье поэзии (да и по-русски пишет она, как никто), именно той поэзии, которая заключается в том же *ne sais quoi* [не знаю что — франц.], которое всюду и нигде» (Жуковский к А.П. Зонтаг 6/18 апреля 1849 г.). Интересны в отрывках писем А.П. Елагиной к Жуковскому (6 ноября и 1 декабря 1851 г.) ее отрицательный отзыв о теме «Странствующего Жида» и осуждение статьи «О смертной казни» (сл. далее отзыв Аксакова). Жуковский защищался, укрываясь и противореча себе, в письме из Бадена 3/15 января 1851 г. (сообщение А.В. Грузинского).

Жуковским они овладели настолько, что абстрактный идеал *семьи* как горнила нравственного преуспевания и счастья заслонял в нем момент *личного* увлечения¹. Это не безразлично для оценки его поэтического «строя». М.А. Протасова несомненно вдохновила чающую и унылую поэзию его первой поры; он мечтал о *своей семье*, в которой бы царила его Маша, и расстался с этой надеждой после тяжелой борьбы. 14 января 1817 г. Марья Андреевна вышла замуж за Мойера; в ноябре того же года Карамзины ищут для Жуковского невесту², но уже в феврале она найдена: ее звать Анетой, Жуковскому говорят, что он ей приглянулся, хвалят ее характер, она необыкновенно умна, сердце прекрасное, но «она принадлежит к одному из первых домов Лифляндии»; удовлетворится ли она его кругом? Надо с ней поближе познакомиться, ибо он хочет «иметь верную привязанность, основанную на знании характера, на согласии образа мыслей о счастии». Он видел ее в Петербурге, в марте она вернется в Дерпт, и у него будет «способ что-нибудь узнать». Должен ли он оттолкнуть этот случай? Уехав из Дерпта, «я решительно откажусь от того, что, может быть, даст мне счастье, и откажусь, как слепой, добровольно, не дав себе даже взглянуть на то, что само шло ко мне навстречу. Со всем тем этот март меня пугает: сердце молчит! В нем совершенно нет никакого ясного, решительного желания! Единственная связь между мною и ей есть та привязанность, которую я в ней к себе предполагаю. И эта связь может быть сильной, теперь однако нет ничего! И я нахожу в себе одно только беспокойное ожидание, чувство более неприятное, чем приятное! Я даже думаю, что обрадуюсь, когда увижу, что меня обманули; что этой привязанности ее ко мне нет и не бывало»³.

В марте 1819 г. до Елагиной дошли слухи, что Жуковский женится на С.Н. Карамзиной; в ноябре она пишет о какой-то его *nouvelle espérance* [новой надежде (*франц.*)] и просит вывести ее из тревожного ожидания. То была пора увлечения Жуковского графиней С.А. Самойловой, оставившей след в его «мадригальной» поэзии. Ему хотелось бы жениться, писал о нем Карамзин, «но при дворе не так легко найти невесту для стихотворца, хотя и любимого».

В 1831 г. матримониальный вопрос обновляется. До кн. Вяземского дошли слухи, что Жуковский женится на княжне Хилковой; в том же году Зонтаг сватает ему графиню Н.Г. Чернышеву, не называя ее. «Может быть, я сказал бы вам *да*, если бы ваши-

¹ Сл. далее гл. VII с. 233 и след.

² Сл. далее с. 221.

³ К Юшковой-Зонтаг 4 февраля 1817 г. (сообщение А.Е. Грузинского).

ми и своими глазами глядел на вашу безыменную закорючку, если бы был с вами, — отвечает Жуковский. — Расшевелить меня легко! Помните ли Корсаковых»? Но ему хотелось бы знать что-нибудь об этой безыменной, ее «le cher à moi [милое для меня (франц.)], каково оно? Не худо знать и то, что присоединяется извне к le cher à moi». «Я все поджидал, что Провидение как-нибудь за меня хлопочет и пришлет мне жену. Самому хлопотать было некогда. Но Провидение ничего не сделало; *верно не суждено мне, чтобы у меня была моя семья*. Лета между тем подоспели и сделали меня весьма нерешительным. Одиночество тяжело и грустно под старость, но с семейной жизнью сколько забот и зависимости!» Он «про себя богат», и тем, что теперь имеет, «мог бы дать жить семье»¹.

Все это объясняет его неясные мечтания 1833 г. и венецианское четверостишие 1838 г.: «еще могу по-прежнему любить».

Личный момент лирики Жуковского понят был у нас слишком односторонне; данные, собранные мною и подтвержденные новыми письмами Жуковского, введут этот момент в надлежащие границы, в большем соответствии не только с качеством чувства, но и с нравственными и житейскими идеалами поэта.

Таковы материалы, накапливающиеся для биографии реального Жуковского. Биография эта не будет носить заглавия: Жуковский и его время; еще при его жизни время его опередило; скорее такое: Жуковский и его друзья. Он долго был и оставался поэтом кружка, вышедшего из карамзинской школы, тургеневского, поддевиченского, арзамасского, и не его führende Geist [ведущий ум — нем.], а нравственное средоточие, сердце. Люди кружка могли расходиться с ним во многом, отставали от него или его опережали; влияние его поэзии, мечтательной и патриотической, захватило широкие общественные слои, а друзья по-прежнему оглядывались на него, как на своего: это было их лучшее, чистое прошлое, которым они себя проверяли. Жуковского журили — и берегли и поднимали на щит, гордясь его литературной славой; собирали его стихи, ждали его писем, чтобы послушать его тихое, гуманное слово, внести его в свой альбом и зажечь свои «фонари» от его мирного огня; и сами шли к нему с душевной исповедью. Он же сохранился, как был, не только в силу того, что долгое пребывание за границей отчудило его от движения русской живой действительности, но и по своей в высшей степени консервативной натуре, все перерабатывавшей в свою меру и прок. Так могло случиться, что на расстоянии тридцати с лишком лет он очутился на берегах Рейна с идеалами

¹ К Зонтаг 24 мая 1831 г. (сообщено А.Е. Грузинским).

«белёвского жителя», в такой же «сельской куще», какая ему снилась в Муратове. Годы проходили мимо него, как столетия мчались мимо Странствующего Жида; пролетела пушкинская пора, байронизм, реализм и то, что называется русским романтизмом; все это скользнуло по нем, а он все тот же. Менялись предметы его привязанностей, не менялось чувство в сознании испытанной любви и дружбы, облагородивших его душу. Прошлое овладело настоящим; царило воспоминание.

Все это находило выражение в его поэзии; в его балладах или идиллиях, по-видимому не навеянных пережитым, есть невидимый элемент признания, confession, от «Эпимесиды» или «Теона» — до «Одиссеи». Он убаюкан своим семейным счастьем — и любит детскую простотой Гомера, но когда он падает под тяжестью семейного креста и сетует о том в письмах к друзьям, — он переводит «Выбор креста» из Шамиссо. Его переводы и усвоения чужих поэтических произведений, составляющие три четверти его литературного наследия, отвечают тем же требованиям: выбирались лишь те, или то из них, что отвечало его внутреннему содержанию, потребности его выразить, привив к чужой идее свою собственную. Содержание это было — мир души, воспитание довлеющей себе и Богу личности, «души» Карамзина. Воспитание началось в мечтательном уединении Белёва, удалось в изолированности Петербургской придворной сферы, завершилось в отчужденности Дюссельдорфа и Баден-Бадена. Жуковский не закрывал глаза на происходившую вокруг него общественную борьбу, но не понимал ее; ему противны стали и Онегины и Герои нашего времени, эти «бесы», расплодившиеся от «Вертера» и «Дон Жуана». Все дело в «душе», в доверии к Промыслу; герой его неоконченной поэмы, единственной, обещавшей быть самостоятельной, приходит к сознанию, что счастье — в отречении от собственной воли, в ее подчинении воле Божьей.

Уезжая в 1841 г. за границу для женитьбы, он утешал А.П. Зонтаг, потерявшую мужа: «Гёте сказал про поэзию:

Leid und Freude wird Gesang.

[Стрдание и радость становятся пением — нем.]

Он прав — поэзия единственное верное *земное* утешение. Но Гёте, если бы мог, должен бы был выразить это и так:

Leid und Freude wird Gebet¹.

[Стрдание и радость становятся молитвой]

¹ Письмо 29 ноября 1839 г., сообщ. А.Е. Грузинским.

Vous êtes transparent, bon Joukovsky [вы прозрачны, дорогой Жуковский (*франц.*)], писала ему графиня Разумовская. Он действительно прозрачен, хрустальная душа, как говорил Пушкин, но не всякому удавалось так часто уединиться от толпы и уличного движения, чтобы столь девственно соблюсти свою прозрачность. Поэзия Жуковского — это поэзия сентименталиста карамзинской эпохи, прожившего на островах блаженных в ожидании будущего, которое осуществило бы идеалы его прошлого. Оттого так искренне-мечтательна и тосклива его песня, когда он — весь налицо.

Я коснулся лишь нескольких общих положений моей книги, которую я не решился назвать биографией. Читатели найдут в ней несколько дотоле неизвестных материалов, за сообщение которых, равно как за ценные указания и помощь, приношу мою искреннюю благодарность проф. А.С. Архангельскому, гр. А.А. Бобринскому, И.А. Бычкову, А.Е. Грузинскому, Н.Ф. Дубровину, П.В. Жуковскому, Н.К. Кульману, Е.А. Лёве, Б. Л. Модзалевскому, А.Ф. Онегину, П.К. Симони, Е.Е. Рейтерну, гр. А.А. Толстой, А.С. Усовой, А.А. Шилову, В.О. Шишмареву и А.А. Фомину. Благодаря Н.Ф. Дубровину я мог воспользоваться некоторыми дневниками Ал.И. Тургенева, доставленными его племянником, П.Н. Тургеневым. Письма братьев Тургеневых, Александра, Николая и Сергея, готовит к изданию, по поручению Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук, А.А. Фомин, в копии которого я познакомился с письмами Андрея И. Тургенева; письма Александра И. Тургенева, еще не приведенные в порядок, были мне доступны в меньшей мере, чем это было желательно. Несколько данных я мог почерпнуть из писем Жуковского к императору Николаю и к императрице Александре Федоровне, печатаемых А.А. Фоминым в изданиях того же Отделения, и из альбомов Жуковского, недавно принесенных в дар Имп. Публичной библиотеке его сыном, П.В. Жуковским.

Будущий биограф поэта будет, без сомнения, богаче меня фактами, либо не открытыми доселе, либо недосмотренными мною. Последней возможности я не отрицаю; но для меня всего важнее вопрос: угадал ли я общее настроение, ответил ли требованиям объективности беспристрастным выбором материала, предоставляющим читателю выводы и оценку? К этой объективности я стремился, сознавая, что она всецело недостижима. Я старался направить анализ не столько на личность, сколько на общественно-психологический тип, к которому можно отнести отвлеченнее, вне сочувствий или отвержений, которые так легко заподозрить в лицепрятии.

Короваево, летом 1903 г.

Введение

Немного осталось между нами людей, которые в юности зачитывались балладами Жуковского, трепетно заглядывали в неприступную темноту леса, с кивающими сквозь черные ветки призраками («Ундина»), а несколько позже мечтали о таинственном «Цвете завета», в листках которого «милое цветет воспоминанье». «Овсяный кисель» не интересовал, слишком торжественным казался пафос «Певца во стане русских воинов», манило чудесное, фантастическое, мир воспоминаний и чаяний, в лунном сиянии которого настоящее почти исчезало. Все это поднимало юное чувство, настраивая его страстно, девственно и недеятельно — и все это входило когда-то в понятие *романтизма*.

Понятие неопределенное для сверстников Жуковского и ближайшего к нему литературного поколения; в нем было более инстинкта, чем сознания; в определении не условились и теперь еще¹, тем более в ту пору, когда наша критика руководилась готовыми формулами романтизма (Сталь, Шлегель) и мерила ими нашу поэзию, самостоятельно и не по теории воспринимавшую новые течения западной. Оттуда неизбежные недомолвки и недоумения. «Не знаешь ли ты на немецком языке рассуждений о романтическом роде? — писал князь Вяземский романтику-Жуковскому 23 декабря 1824 г. — Спроси у Блудова, нет ли также на английском, мне хочется написать об этом и прочесть все сказанное. Романтизм как домовый: многие верят ему; убеждение есть, что он существует, но где его приметыв, как обозначить его, как наткнуть на него палец?» Пушкина уже успели приписать к романтикам, а в 1825 г. (25 мая) он пишет кн. Вяземскому: «Я заметил, что все (даже ты) имеют у нас самое темное понятие о романтизме. Об этом надо будет на досуге поговорить».

Разумеется, романтики — новаторы, не уважающие славного предания, отрицающие правила искусства, ищущие угодить

¹ Сл. хотя бы Brunetière, *Études critiques* III, 300.

толпе выбором предметов новых, неслыханных, невероятных, пишущие «на новый лад» (Мерзляков, Катенин). В этом смысле «афинский романтик» Еврипид такой же «литературный раскольник», как современные романтики¹. С формальной точки зрения протест против нового литературного направления продолжал борьбу шишковистов с карамзинистами, но он требовал и новой теоретической подкладки: что такое романтизм?

Всего менее разумели под этим словом ту немецкую литературную школу, которая, сплотясь на границе двух столетий, поспешила оправдать себя теорией и назвала себя романтической. Для Жуковского, романтика и германофила, она-то по преимуществу и должна идти в счет; французская романтическая школа его не коснулась. Именно понятия теории, школы надо держаться, чтобы найтись методически и исторически в значениях, безразлично соединяемых со словом «романтизм». Англичане, например, говорят о своем романтизме XVIII века с Греем, Томсоном, Юнгом, балладами Перси и робким обновлением Шекспира. Таким образом можно дойти и до Руссо, у нас не только до Карамзина и Озерова (кн. Вяземский), но и до Державина-романтика (Марлинский); орудя термином романтизма на столь широких пространствах, мы никогда не уловим частностей эволюции, изучение которой требует менее растяжимых формул.

Такое растяжение понятия наблюдается в нашей критике 20–30-х годов, распространившей обозначение романтизма на предшествовавшую ему эпоху, охватывая не только Гёте и Шиллера, но и литературу Sturm und Drang'a [*«Бури и натиска»* — (нем.)] и определившие ее английские влияния. Смещение понятное именно у нас: от периода «Бури и натиска» до романтиков развитие пошло так быстро, что мы не успевали разобраться в его последовательности и принимали оптом нагрывавшие литературные откровения, обещавшие освободить нас от торжественного и галантного псевдоклассицизма.

Было и еще определение романтизма, выставленное немецкими романтиками: романтическими назывались самобытные течения христианской литературы от трубадуров и Данте до Шекспира, Сервантеса и далее — в противоположность к классицизму и его позднейшим переживаниям. Новейший романтизм представлялся возрождением средневекового, феодально- и народно-христианского (Шлегель, Сталь, Гейне). — Либо делили Европу на классическую и романтическую по народностям ла-

¹ Сл.: Катенин. Размышления и разборы. Статья 2-я. Литературная газета. 1830. Т. I. № 11. Стр. 87. К романтикам причислен и Giralaldi Cintio!

тинского и германского происхождения: мнение, против которого восставал Пушкин¹.

В каком из этих значений называли и еще называют Жуковского романтиком? Сам он говорил о себе как о родителе «на Руси немецкого романтизма» и поэтическом дядьке «чертей и ведьм немецких и английских». Но чертовщина, привидения и сказочные страхи вовсе не показание исключительно романтизма: их воздвигала с лихвой банальная литература волшебных, разбойничьих и т.д. романов, вроде произведений Шписа, у которого Жуковский взял сюжет своих «Двенадцати спящих дев». Бюргер не романтик в смысле школы, и если Жуковского прозвали «балладником», то князь Вяземский не был вправе назвать его «свободным рыцарем романтизма», когда побуждал его вернуться к балладам. Баллады писал у нас до Жуковского сентименталист Каменев, которого Пушкин поставил в преддверии нашего романтизма: «Он первый в России осмелился отступить от классицизма. Мы, русские романтики, должны принести должную дань его памяти»².

Особое значение давали мечтательности Жуковского, его любви к таинственности, к витанию в области чудесного и мистического; он

Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая верный житель.

(Руслан и Людмила п. 4)

В этом смысле, говорил он о себе в старости, сам он был когда-то таинственно-заносчивым романтиком. Нападая на самозванных романтиков, «Благонамеренный» не находил в них «ни глубоких чувств, ни прелестей мечтательности, составляющей существенность поэзии романтической». И для Полевого мечтательность — основная черта Жуковского-романтика. «Что за чертовски небесная душа? — писал о Жуковском Пушкин, — он святой, хотя родился романтиком, а не греком, и человеком, да каким еще!» (Л.С. Пушкину 1825 г., нач. апреля).

Романтики унаследовали из периода «Бури и натиска» преклонение перед Шекспиром, увлечение народной поэзией и

¹ Заметки при чтении книг 1825 г., по поводу Московского Телеграфа.

² Сл.: Прибавление к Казанским губ. Ведомостям № 2, 10 января 1844 г.: Александра Фукс, А.С. Пушкин в Казани.

народной стариной. В начале 20-х годов Жуковский смотрел на Гамлета несколько по-вольтеровски, а русская народная жизнь осталась в его поэзии почти нетронутой. Именно Шекспира, «народные законы» его драмы имел в виду Пушкин, когда выражал опасение за успех «Бориса Годунова», «потому что робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма»¹. Он же подчеркнул идею народности, отдавая, вместе с Грибоедовым, предпочтение Катенинской «Ольге» перед «неверным», но прелестным подражанием Жуковского Бюргеровой «Леноре» («Людмила»), ослабившим дух и формы образца. Катенина-классика он считал одним из первых приверженцев романтизма, введшим в возвышенную поэзию «язык и предания простонародные»².

Народность, простонародность, народная поэзия, народная литература — и романтизм: вот задачи, на которых остановилась критика, разбираясь в наших романтических начинаниях. Необходимо познакомиться с некоторыми из высказанных по этому поводу взглядов; из них выяснится, хотя и несколько одностороннее, понимание и значение Жуковского-романтика.

Книжка Ореста Сомова «О романтической поэзии» (СПб., 1823 г.) представляет образец критической сумятицы в вопросе о том, что разуметь под романтизмом. Прежде всего он ответил требованиям нашего своенравного воображения, наскучившего однообразием и захотевшего «нового, небывалого» (с. 2). Условившись с читателем, что он будет называть романтической «новейшую поэзию, не основанную на мифологии древних и не следующую раболепно их правилам» (с. 23), автор дает нам ее историю: от арабов (трубадуры опущены, их поэзия — «поэзия ума, а не сердца и воображения», с. 9) до итальянцев (Данте, Ариосто, Тассо), творения которых «представляют почти непрерывную борьбу вкуса романтического с классическим» (с. 24). Испанцам принадлежит внесение «романтизма в драму» (Лопе де Вега, Кальдерон, с. 25–6); представителями Франции являются корнелевский Сид (с. 11), «Иснель и Аслега» Парни, Шатобриан и Лемерсье (с. 15); английский романтизм перекидывается от Спенсера, Шекспира (который обличается в излишнем паренье и даже надутости), Мильтона к Байрону, Муру, Вальтеру Скотту, Саути и Кольриджу (с. 26 и след.). Германия характеризуется по книге мадам де Сталь — от Клопштока до Гёте и Шиллера; назва-

¹ Сл. письмо к князю Вяземскому 1825 г., осенью, и к Бестужеву 1825 г., 30 ноября.

² Сл.: О сочинениях Катенина 1833 г.; отзыв Грибоедова в «Сыне Отечества» 1816 г., ч. XXXI. № 30. С. 150–160.

ны еще Маттиссон, Бюргер, Тик, А.В. Шлегель, Вернер. «Словесность народа есть говорящая картина его нравов и обычаев и образа жизни», отражение его народности; сочинение немца, англичанина или француза отгадаешь даже в переводе (с. 80). Часто слышатся суждения, что в России не может быть поэзии народной, потому что мы стали писать слишком поздно, когда все уделы Парнаса были уже заняты, что наша природа не в состоянии оживить поэтов, что век рыцарства для нас не существовал и преданий мало, да и те не поэтические (с. 83–84). Все это у нас есть: свои народные обычаи, красоты природы и народной песни, сюжеты нашей истории, раскрытые «славным историографом». Был и своего рода рыцарский период: «цель богатырей была та же, как и рыцарей: защищать невинность и карать злых притеснителей, хотя неизвестно, чтобы богатыри русские составляли особый орден, были подчинены особым законам и носили гербы» (с. 92–93). На это возразят: все это богатство пособий еще не составляет поэзии народной; но дело поэта собрать «в одно разбросанные черты и создать прекрасное целое», «вливать огонь и чувство в предметы неодушевленные, сообщить занимательность тем из них, кои дотоле не привлекали нашего внимания» (с. 94). Поэзия не делается народной, если мы будем отдаляться «от нравов, понятий и образа мыслей наших единосемцев» (с. 99). Могут ли зарониться в память русского народа «немцеобразные рапсодии» нынешних поэтов? (ib.). Мы сбросили узы классицизма, чтобы наложить на себя новые. «Что же может быть ограниченнее, однообразнее тех стихов, которыми ежедневно наводняется словесность наша? Все роды стихотворства теперь слились почти в один элегический: везде унылые мечты, желание неизвестного, утомление жизнью, тоска по чем-то лучшем, — выраженные непонятно и наполненные без разбору словами, схваченными у того или другого из любимых поэтов... То, что нам нравилось, что восхищало в одном поэте (Жуковском), становится приторно и наскучивает нам, встречаясь слишком часто у многих» (с. 100–101). «Необходимо иметь свою народную поэзию, не подражательную и независимую от преданий чуждых. Герои русские утвердили славу отчизны на полях брани, мужи твердого духа ознаменовали летописи доблестями гражданскими. Пусть же певцы русские станут на черед великих певцов древности и времен позднейших!.. Пусть в их песнях высоких отсвечиваются, как в чистом потоке, *дух народа* и свойства языка богатого и великолепного» (с. 102).

Когда в 1822 г. князь Вяземский говорил, по поводу «Кавказского пленника», об успехах «посреди нас поэзии романтической», он не уяснил себе ее понятия, но признал ее как законное новшество: о ней ничего не пишет Аристотель с премниками, но литература отвечает закону исторических изменений, а теперь настала эпоха «преобразования», когда гений, следуя «вдохновениям смелой независимости», начинает сбивать с места старые Геркулесовы столпы. Это может обижать народную гордость у французов: у них есть за что постоять, и они ополчаются против новых течений «на защиту славы, утвержденной отечественными писателями». У нас такой протест непонятен: «имеем ли мы литературу народную, уже пустившую глубокие корни и ознаменованную многочисленными, превосходными плодами? До сих пор малое число хороших писателей успели только дать некоторый образ нашему языку; но образ литературы нашей еще не означился, не прорезался. Признаемся со смирением, но и с надеждою: есть язык русский, но нет словесности, достойного выражения народа могучего и мужественного»¹.

Два года спустя кн. Вяземский вернулся к тому же вопросу в известном предисловии к «Бахчисарайскому фонтану». Оказывается, что романтическая поэзия нам не менее сродна, чем поэзия Ломоносова или Хераскова, которую считают классической. Та и другая у нас пришлые, если романтизм обвиняют в германизации нашего языка, то и в «Петриаде» и «Россияде» нет ничего народного, кроме имен. Мы еще не имеем русского покроя в литературе, может быть, и иметь не будем, потому что его нет. Этого требования народности в литературе нет в питиках Аристотеля и Горация; она не в правилах, а в чувствах: «оттенок народности, местности — вот что составляет, может быть, главное, существеннейшее достоинство древних». В этом смысле Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношений с главами романтической школы, чем со своими последователями, которые силятся быть греками и римлянами задним числом. Впрочем, определения «романтического рода» никто еще не давал; на этот счет «еще не было времени условиться»; дайте срок, и анатомики явятся: Байрон, Томас Мур попадутся под резец испытателей, как теперь Анакреон и Овидий, «и цветы их яркой и свежей поэзии потускнеют от кабинетной пыли и закопятся от лампадного чада комментаторов,

¹ Сын Отечества. 1822 г. Ч. 82. № 49.

антиквариев, схоластиков, прибавим, — если только в будущих столетиях найдутся люди, живущие чужим умом и кои, подобно вампирам, роются в гробах, гложут и жуют мертвых, не забывая при этом кусать и живых»¹.

Мысль недоразвита, но ее досказали Бейль и Брюнетьер: *Tous les classiques ont jadis commencé par être des romantiques... Un romantique serait tous simplement un classique en route pour parvenir, et réciproquement, un classique ne serait de plus qu'un romantique arrivé* [Все классики некогда начинали как романтики... Романтик — это попросту недозревший классик, а классик — не более чем романтик, достигший своего назначения (*франц.*)]; комментаторы, антиквары овладевают им, как классиком, и он становится их критерием для суда над будущим романтиком.

Еще в письме из Парижа кн. Вяземский говорит о «так называемом» романтизме, «ибо название это не иначе как случайное и временное; настоящий крестный отец так называемого романтизма еще не явился». Во всяком случае отличие между ним и классицизмом нельзя ограничить внешними формами, отступлением от существующих законов и правил, оно лежит глубоко, его надо искать «в нравах, в философическом исследовании истории последнего пятидесятилетия, в событиях, столь плодотворных последствиями». По мнению французских классиков, весь романтизм вертится на элегии; а разве Ариосто, Шекспир, Гёте не умеют смеяться и смешить? «И у нас была пора слезливости... когда и романтизма еще в помине не было»².

Рассуждение Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»³ возвращает нас к вопросу об отношениях романтизма к идее народности. Вызвал ли он у нас ее сознание? Автору не по сердцу тон нашей лирики, преобладающее в ней чувство уныния, отсутствие жизнерадостности и силы: «все мечта и призрак, все мнится и кажется и чудится, все только будто бы, как бы, нечто, что-то»; везде одни картины: «луна, которая, разумеется, уныла и бледна, скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя заря, изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-

¹ Вместо предисловия к Бахчисарайскому фонтану. Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны и с Васильевского Острова. 1824. Сл. Полн. собр. соч. кн. Вяземского, I, стр. 168–171. Сл. письмо Пушкина к кн. Вяземскому 1824 г. Март-апрель.

² Московский Телеграф — 1826 г. № 22.

³ Мнемозина. II. 1824 г.

то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения Труда, Неги, Покоя, Веселья, Печали, Лени писателя и Скуки читателя; в особенности же туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя». Виновник всему этому Жуковский — подражатель новейшим немцам, преимущественно Шиллеру; второй — Батюшков, взявший в образцы двух пигмеев французской словесности, Парни и Мильвуа. Оба они — корифеи нашей романтической школы; но что такое романтическая поэзия? Она родилась в Провансе, воспитала Данте, отважно свергла с себя рабское подражание римлянам; по существу она была свободная, *народная*. Где ее искать теперь? Разве один Гёте в некоторых из своих произведений удовлетворяет ее требованиям, немцы же вообще были учениками французов, римлян, греков, англичан, итальянцев, испанцев. О наших поэтах говорить нечего, они почти все подражатели, переводчики переводчиков. От этого надо отделаться, надо быть самобытным; Жуковский освободил нас от ига французской словесности, надо освободиться от немецкого и английского владычества и не подражать без разбора «великому Гёте и недозревшему Шиллеру», «огромному Шекспиру и однообразному Байрону». Надо иметь поэзию народную, очистить поэтический язык, ставший un petit jargon de coterie [жаргоном узкого кружка (*франц.*)], от германизмов и галлицизмов, открыть путь речениям и оборотам славянским. Печатью народности ознаменованы у нас какие-нибудь 80 стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина. «Да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет Святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной. Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности».

В статье «Несколько мыслей о поэзии»¹ Рылеев считает несущественным спор о классической и романтической поэзии, разумея под первой ту поэзию, которая в новой Европе жила подражанием античной, не достигая ее. Когда явились поэты, которые, «не подражая ни духу, ни формам древней поэзии, подарили Европу своими оригинальными произведениями», представилась необходимость отличить их от предыдущих. Кличка

¹ Сын Отечества. 1825. 104. № 22.

«романтический» случайная, историческая; следовало говорить о новой поэзии (трубадуры, Данте, Тасс, Шекспир, Ариост, Кальдерон, Шиллер, Гёте) в отличие от древней; если под романтической поэзией разуметь «оригинальную, самобытную», то в таком случае «Гомер, Эсхил, Пиндар, словом, все лучшие греческие поэты — романтики, равно как и превосходнейшие произведения новейших поэтов, написанные не по правилам древних, но предметы коих взяты из древней истории, суть произведения романтические, хотя ни тех, ни других и не признают таковыми».

Пушкин несколько раз, но отрывочно, касался теоретического вопроса, его видимо интересовавшего. У нас жалуются на отсутствие народности в литературе, писал он в 1825 г., но что такое народность в литературе? Одни видят ее «в выборе предметов из отечественной истории», другие в словах, оборотах, выражениях. Но народность — в *особенностях духовной физиономии народа*, результат климата, образа жизни, веры; физиономия, которая может быть вполне оценена одними соотечественниками и находит свое отражение в поэзии. Для француза учтивые герои Расина так же народны, как народен Шекспир в «Отелло» и «Гамлете» и т.д.¹ Возникновения романтической поэзии Пушкин искал в Италии (Данте, «*Vuovo d'Antona*», «*Orlando Innamorato*»^{2*}, Ariosto)³ и в более поздней заметке соединил с нею идею народности: начало романтики у трубадуров, «народная» поэзия приготовила появление «гениев»: Данте, Ариоста, Кальдерона, Спенсера, Шекспира, Мильтона, Виллона, Маро; в эпоху Буало «старый один Корнель остался представителем романтической трагедии, которую так славно вывел он на французскую сцену»; позже являются во Франции произведения, носящие клеймо «чисто романтической поэзии»: сказки Лафонтена и «Дева Вольтера (!). Пушкин считает неточным определение романтизма у французских журналистов, относящих к нему все, «что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеализма, или основанным на предрассудках и преданиях простонародных», но его собственное определение крайне сбивчиво и поверхностно: отличие романтического от классического

¹ О народности в литературе, 1825 г.

^{2*} «*Vuovo d'Antona*» [«Буово из Антоны»] — средневековая легенда, особенно популярная в Италии и Франции (в России известна как «Повесть о Бове Королевиче»); «*Orlando Innamorato*» («Влюбленный Роланд») — поэма итальянского поэта XV в. Маттео Боярдо.

³ К кн. Вяземскому 1825 г., июнь.

не в «духе», а в «форме», Пиндар разнится духом от Анакреона, «Энеида» от «Освобожденного Иерусалима», и все они принадлежат классическому роду; к романтическому те произведения, которые не были известны грекам и римлянам, либо те, «прежние формы которых изменились или заменены другими». Мы ожидали бы, что Пушкин посчитается и с «духом»: говорит же он, что мавры внушили средневековой поэзии «исступление и нежность любви, приверженность к чудесному, роскошное красноречие востока», рыцари же «набожность и простодушие, новые понятия о геройстве и вольность нравов походных станов Готфрида и Ричарда»¹ — Гёте для него «великан романтической поэзии»².

В спор романтиков и классиков вступился с народно-охранительной точки зрения и классик Катенин. Деление поэзии на классическую и романтическую представляется ему вздорным, не основанным на каком-либо ясном различии. Есть первобытная народная поэзия, одна повсюду, насколько она отразила одинакие условия быта; их местные отличия найдут в ней соответствующее выражение. Есть искусственная поэзия просвещенного народа, которая «может вмещать в себе различные свойства разнородных поэзий, не смешивая их уродливо. Чем более поэт новый, наш, обрабатывая предмет древний или чуждый, подойдет к свойству, быту и краске избранного им места, времени, народа и лица, тем превосходнее будет его произведение»: «прекрасное, во всех видах и всегда, прекрасно»³. Поэзия современных «литературных раскольников» поражала уродливостью смешения, и Катенин полемизирует с Шлегелем за его «одностороннее пристрастие к тому, что он исключительно почитает христианством, т.е. к католицизму... требуя везде и во всем романтизма, сиречь нравов, обычаев, поверий, преданий и всего быта средних веков западной Европы; но любопытно узнать, почему наши так прилепились к романтизму?.. Россия искони не имела ничего общего с Европой западной; первые свои познания, художества, науки получила она вместе с верой православной от Царьграда, всем рыцарям ненавистного, ими коварно завоеванного на время, жестоко и безумно разграбленного. В наших церквах со слезами и в черных ризах умоляли на милость гнев Божий, когда крестовики в своих пели торжественные молебны. Правда, Петр Великий много ввел к нам немецко-

¹ О русской литературе с очерком французской. 1834 г.

² Мелкие заметки 1829—1831 гг.

³ Размышления и разборы, статья 1. Литературная газета. 1830 г. Т. I. С. 30.

го, но ужели, перенимая полезное, должны мы во всем обезьянить и утратить все родовые свойства и обычаи? По счастью это невозможно, и одна вера своя предостережет нас от конечной ничтожности. Сверх того, все близкое к истории нашей едва ли годно в поэзию, а старина наша отнюдь не романтическая; прибегать же, как многие делают с отчаяния, к Лифляндии, Литве, Польше, Украине, Грузии, мужеством предков или современников приобретенным, значит уже в самом деле слишком дешево менять святую Русь»¹.

Из противоречий классицизма и романтизма, нашего романтизма и нашей народности пытался выйти Надеждин в латинской диссертации, отрывки которой появились в «Вестнике Европы» и в «Атене»². Полевой в разборе книги Галича («Опыт науки изящного») предоставил будущему «философу-дееписателю», «философу-критику» примирить классиков и романтиков, одинаково признав изящное древних, с его перевесом вещественности над духом, и северных народов, с его перевесом духа над вещественностью³. Надеждин чаял этого примирения в поэзии будущего, и Белинский, уличавший Надеждина в неискренности его воззрений и умышленном подборе доказательств⁴, на этот раз подчеркнул его идею, что поэзия нашего времени не должна быть ни классической, ни романтической, а синтезом той и другой. «Мысль справедливая и глубокая, г. Надеждин даже хорошо развил ее». Она-то и осталась неразвитой⁵.

Ратуя против современного романтизма, переселившегося к нам с Запада, Надеждин исходит не из классического критерия, а из общественных и культурных отношений, органическими выражениями которых был античный классицизм и древний романтизм. «Человек классический был покорный раб влечению животной своей природы», бытие его было «веселое пирование на роскошном лоне природы», в которой он видел «высочайшую представительницу беспредельного изящества», и его поэзия отразила это мирозерцание. «Человек романтический был своевольный самовластитель движений своей природы; внутренняя природа человеческая предоставлена самой себе». «Оттуда само-

¹ Размышления и разборы, статья 1. Литературная газета. 1830 г. Т. I. С. 151–152.

² De origine, indole et fatibus poetarum quae romantica audit, 1830; Вестник Европы. 1830. № 1: О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии; Атены 1830, с. 1 и след.: Различие между классическою и романтическою школою, объясняемое из их происхождения. Следующие извлечения сделаны из первой статьи.

³ Московский Телеграф. 1826 г. № 6 и след.

⁴ В разборе «Ста русских литераторов». Отеч. Зап. 1841 Т. XVII. № 7.

⁵ «Мысль в основании нелепа», — Полевой. Очерки. II. 293.

нравная покорность своим прихотям, мечтам и страстям», «беззаботное удалство, заставлявшее некогда рыцарей мыкаться по белу свету и доискиваться приключений», «тоскливые жалобы и грустные томления безутешной мечтательности; человек был игральнице буйных вихрей необузданного произвола, носимое по безмерным пустыням фантастического мира». «Романтическая поэзия во время своей жизни имела пред собой действительный мир, коего живую душу составляла сия необузданная стремительность ширящегося духа. Она была верным эхом действительности, когда, растекаясь по безмерному склону человеческой жизни, не поставляла себе никаких пределов и отвергала всякую меру, прорывалась из всякого порядка, посмеивалась всякому устройству. Для нее все изображенные ею блуждания и скитания духа имели важность естественности. Отсюда и вытекает, что ее естественное назначение было быть свидетельницею и исповедницею верховной свободы духа человеческого».

Таким образом, как классическая (античная), так и романтическая поэзия выразили «одну только половинную сторону человечества», в уровень с бытовыми условиями и воззрениями создавшей их среды. Если говорят, что классическая поэзия не отвечает духу нашего времени, то то же надо сказать и о романтизме: век паладинов и «беззаботного удалства» прошел, жалобы и мечтательность нагоняют тоску, страхи и «чернокнижие», чары и призраки были когда-то объектом религиозного верования, теперь разве дети «верят сказкам о духах и мертвецах», и не лучше ли предпочесть мифологии романтиков, полной оборотней и мертвецов, прелестные образы румяной Авроры, «оставляющей стыдливо шафранное ложе Тифона и отрясающей с золотых кудрей, развеваемых дыханием утреннего Зефира, младой свет на пробуждающуюся землю»?

«Для того, чтобы воскресить снова романтическую поэзию, надлежало бы изменить весь настоящий порядок вещей и позвать к жизни святую старину времен средних».

Итак, органически обусловленный романтизм есть средневековый; протест вызывает все то, что возвращается к его мотивам вне обусловившего их общественно-психического настроения. Примеры взяты широко: от Шекспира до лжеромантического неистовства Байрона и Ламартина. О «Фаусте» Гёте сказано: было бы естественнее, если бы автор поступил несколько своею излишнею короткостью с чертями и ведьмами; Черный рыцарь в «Орлеанской Девственнице» Шиллера принадлежит лжеромантической мифологии; необузданность старого романтизма

сказалась в наши дни: «Кто не знает ужасных следствий, порожденных примером Гётева Вертера? Кому не известно бешеное сумасшествие, возбужденное некогда Шиллеровскими „Разбойниками”»?

Мы не можем быть ни классиками, ни романтиками: наш век как будто стремится соединить эти две крайности через упрочение, просветление и торжественное, на алтаре истинной мудрости, освящение уз общественных. «Человек научился укрощать свободу силою той же свободы, хочет быть рабом самого себя, и это рабство есть безусловное владычество, коего ничто возвышеннее, ничто изящнее, ничто святее измышлено быть не может»; период, в котором мы живем, ознаменован стремлением к гражданственности. Поэзия будущего будет так же соединением полярных противоречий классицизма и романтизма; предчувствие этой гармонии дано в «Мессинской Невесте» Шиллера (?). Но, может быть, России суждено сыграть в этом деле будущего ту же роль, какую пелазги в классическом мире, тевтоны в мире романтическом. Жизнь, закипевшая в жилах оmlадевшей державы, вызвала «сознание внутренней своей гармонии» и выразилась «гармоническим песнопением»: Ломоносов прошел школу «священной классической древности» — и был поэтом русским. Далее эта гармония видимо исчезает, ибо Ломоносов не оставил своей любви к классической древности «в наследие косному потомству». На сцене один «патриотический энтузиазм», идея отечества, она и составляет — гармонию. Показатели — Державин, наши Петровы, Дмитриевы, Капнисты; даже Жуковский, которого так бессмысленно величают «Певцом Светланы», не иным чем стяжал себе неотъемлемое право на славное бессмертие, как чудесным своим «Певцом во стане русских воинов». В «патриотическом энтузиазме», непреложном наследии русской поэзии, находит себе объяснение и басня Хемницера, Дмитриева, Крылова; она ознаменована у нас печатью народности. И вдруг струны лирные онемели для славного имени русского, — тогда как святая Русь продолжает исполински восходить от славы во славу. Что это значит? Неужели в груди певцов не бьется сердце русское? «Увы, они сделались романтиками!»

Требование гармонии, синтеза на почве патриотического энтузиазма осталось фразой. Белинский, увлекшийся было ею, предпочел остановиться в своих «Литературных мечтаниях» (1834 г.) на противоречиях русского романтизма, типом которого явился Жуковский, и русской народности. Но Бе-

линскому оставалось лишь подчеркнуть то, что за два года перед ним писал Полевой в статье о сочинениях Жуковского, лучшей исторической оценке изо всех, явившихся при жизни поэта. По мнению Полевого, Жуковский не знал национальности русской, когда издавал «Марьину Рощу» и старался обрусить «Ленору», не знает и теперь; народности у него не ищите; в его душе отразился «первый отблеск германского новейшего романтизма: поэтическая мечтательность, продолженная на век»; отражение одностороннее, потому что Жуковский усвоил лишь одну из идей нового романтизма, который «проходил и проходит мимо его так, что он едва успевает схватить и разложить один из лучей, какими этот романтизм осиял Европу»¹.

Белинский пытается разобраться. «Романтизм – вот первое слово, огласившее Пушкинский период, народность, вот альфа и омега нового периода». Сам Жуковский вдруг забыл своих палатинов, прекрасных и верных принцесс, колдунов и очарованные замки и пустился писать русские сказки, но они «не в ладу с русским духом, которого в них слыхом не слышать и видом на видать». Но что такое «русский дух»? Что такое наше понимание народности? спрашивает критик; ее смешивают с простонародностью, ищут ее в старине, подделываясь под тон летописей и народных песен. Оттуда неизбежная односторонность: «целая идея народа», «идея русской жизни», «народная физиономия» еще не схвачены сознанием; в нашей литературе народность если не мечта, то почти так, «хотя и не совсем». Это старая жалоба кн. Вяземского; Полевой говорил позже о «высшей народности», «русском самобытном духе», которого наша словесность едва коснулась².

Жуковский мог быть романтиком, не заглядывая в народность: таков результат, к которому пришел Белинский в статье об «Очерках» Полевого³. «Жуковский не народный поэт, и многие попытки его на народность были неудачны, правда; но это совсем не недостаток, а скорее честь и слава его. Он призван был на другое, великое дело: осуществить через поэзию в своем отечестве необходимый момент в развитии духа, момент, выраженный в жизни Европы средними веками, одухотворить отечественную поэзию романтическими элементами. Жуковский по преимуществу *романтик*».

¹ Полевой. Очерки I. С. 116, 117–119, 138, 148.

² Очерки II. С. 483 и след. (в отчете о сочинении Тополи. Москва, 1837).

³ Очерки явились в 1839 г.; отчет в «Отеч. Записках» 1840. № 1.

Статья Белинского о комедии Грибоедова проводит знакомые нам идеи надеждинских полюсов и их желательного слияния¹. Классическая поэзия — это греческая, источником романтизма было христианство; под романтизмом разумеется «искусство Средних веков, включая сюда и некоторых новейших поэтов, как напр. Шиллера». Что касается других «так называемых романтиков», то они «полагали романтизм в бесформенности и диком неистовстве». Мы не греки и не римляне: наше искусство, начиная с Шекспира и Сервантеса до Байрона, Гёте, Пушкина, не романтическое, а новейшее², его характер — примирение классического и романтического; «поэзия мужественного возраста человечества» должна быть поэзией действительности, «которая в учении Гегеля осияла мир роскошным и великолепным днем» и ранее его, хотя «непонятая, явилась непосредственно в созданиях Гёте».

Много говорится о романтизме в известном этюде Белинского о «Русской литературе в 1843 году», но вопрос о романтизме как общественно-психологическом и литературном явлении конца XVIII и начала XIX века, единственный, с которым нам приходится считаться, не подвинулся к разъяснению. Как Полевой видел сущность романтизма в «неопределенном, неизъяснимом состоянии человеческого сердца»³, так и теперь нам говорят, что «где человек, там и романтизм», «почти всякий человек — романтик; романтизм — это внутренний мир души, сокровенная жизнь сердца, «откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному»; в его основе «непреренно лежит мистицизм». Романтика — это «сторона внутренняя, задушевная, сторона *сердца*, другая — «сторона сознающего себя *разума*, сторона общего, разумея под этим словом сочетание интересов, выходящих из сферы индивидуальности и личности». В их соприкосновении счастье современного человека; но мы знаем их в борьбе: в греческом мирозерцании торжествует сторона общего, разума, Зевса и Олимпийских богов; они низринули романтиков-индивидуалистов, титанов, но романтические силы восстали, гармонические, одухотворенные, и подкопали царство Зевса: элевзинские таинства — романтизм, Платон — величайший из романтиков; так оцениваются Еврипид и Гесиод, греческая элегия, элегические эпизоды Илиады. —

¹ Отечественные записки. Там же.

² Сл. строки, направленные против Надеждина в Отеч. Записках 1841 г., т. XVII, № 7, в отчете о «Ста русских литераторах».

³ Моск. Телеграф 1825. № V. Март. С. 45.

Воззрение, напоминающее взгляды Шатобриана, недавно развитые Патер'ом^{1*}. — В средние века отношения борющихся переменились, предрержащая сила за элементом индивидуального начала, страстного стремления к таинственному «там»; начало «общего», если не разума, то действительности и общественности, принижено; романтизм, робко проникавший в греческое миросозерцание, торжествует, но его идеалы принадлежат области чаяния в поэзии, не спускаясь в жизнь, руководящуюся грубыми инстинктами. Таков романтизм Средних веков. Рассудочный XVIII век нанес ему решительный удар, но в конце концов он восстал снова, как реакция крайнему протесту. Новый романтизм «есть органическое единство всех моментов романтизма, развивавшегося в истории человечества», воскресение средневекового. Он объявился в Германии: Шиллер — поэт гуманности и мечтательной любви и, вместе, романтик в смысле Средних веков, обновивший в своих балладах их безотчетный пиетизм; после него, хватаясь «за слабую сторону Шиллера», возникли романтики, Шлегель, Тик, Новалис; их идеал: вызвать к жизни в новом мире формы жизни Средних веков. «Сам Гёте, человек высшего закала, поэт мысли и здравого рассудка, в легенде средних веков высказал страдание современного человека („Фауст“), а в своем „Вертере“ явился он романтиком тоже в духе средних веков».

Впечатление от этого перечня, в котором соединено многое несоединимое, получается такое, как будто основной чертой романтизма было возвращение к Средним векам, к средневековому романтизму; недаром один зовется сыном другого, Жуковский — «переводчиком на русский язык романтизма средних веков, воскрешенного в начале XIX века немецкими и английскими поэтами, преимущественно же Шиллером». Жуковский «не должен» был понимать и «Гамлета», потому что понимать его значило бы отказаться от Средних веков — и романтизма! Такой взгляд, в котором повинен не один Белинский, объясняется смешением цели с средствами: романтики излюбили Средние века, как излюбили Шекспира, восток и всякий экзотизм, потому что искали всюду и родственных стремлений, и средств для их выражения; иные из них могли уйти с головой в католицизм, теоретически или практически — в поклонение феодальным порядкам, но совершилось это на пути брожения и поисков за новым идеалом: они искали его и боролись, средневековые «романтики»

^{1*} Патер, Уолтер (1839—1894), английский писатель, историк искусства и культуры, один из выразителей идеи «искусства для искусства».

чаяли его «там», но он для них существовал. Идеалы любви, в которых Белинский и другие усматривают один из показателей романтизма старого и нового, далеко не тождественны, содержание их сложилось при разных условиях, и если «Рыцарь Тогенбург» напоминает издали некоторые мотивы средневековой любовной лирики, то от Люцинды и Захарии Вернера трубадуры отвернулись бы с негодованием. Если существовал средневековый романтизм, а новый явился его воскрешением, то понятен вывод: «У России не было своих средних веков», не было и соответствующего романтизма, нечего было и воскрешать. Жуковский «привел нам романтизм» с Запада и, если его поэзия чуждается русских национальных элементов, то это и недостаток и достоинство: будь для него народность основной стихией, он не был бы романтиком, и наша поэзия не была бы оплодотворена романтическим содержанием.

Содержанию этому Белинский дает такое «неопределенное и туманное определение»: «это — желание, стремление, порыв, чувство, вздох, стон, жалоба на несвершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастье, которое Бог знает в чем состояло; это — мир, чуждый всякой действительности, населенный тенями и призраками... это унылое, медленно текущее... настоящее, которое оплакивает прошедшее и не видит пред собой будущего; наконец, это любовь, которая питается грустью и которая, без грусти, не имела бы чем поддерживать свое существование». Жуковский певец «скорби», «сердечных утрат», он первый на Руси «выговорил элегическим языком жалобы человека на жизнь».

В этом определении слышатся упреки Кюхельбекера, «унылый романтизм» Пушкина (Евгений Онегин III, 12); они ведут нас не к романтизму, а к психической среде, приготовившей развитие романтической школы. В сущности это сознавали и Полевой и Белинский, говоривший в 1834 г. о «карамзинском идеале Жуковского», в 1840-м о том, что и в старости он остался «тем же юношей, каким явился на поприще литературы». Название его романтиком — результат сокращения перспективы, в которой доходили до нас сменявшие друг друга западные литературные течения, причем на целое перенесено было обозначение, отвечавшее конечному эпизоду. Вместе с обозначением — и требование народности; так гласила теория; но спрос на народность в литературе явился у нас ранее и развился он в стороне от романтизма: мы видим его в пафосе державинской оды, обрусившей немецких бардов и мотивы Оссиана; на рубеже XIX века, когда народная песня робко заглянула в художественную лирику и старина стала

проситься в эпос, когда в Оленинском неоклассическом кружке мечтали сделать русскую жизнь, особенно древнюю, предметом поэтической идеализации, когда Уваров открывал «русские средние века», а Кайсарову, этому одностороннему патриотическому энтузиасту, грезились, как позже Надеждину, что, освободившись от романских и германских влияний, мы выразим свой народный идеал человечности¹. Идея эта прошла через фазисы народного и официального патриотизма, декабристских мечтаний о древнерусской вольности и скромных идеях Плетнёва о предпочтительности народной поэзии перед «неопределенной или всеобщей». Искали «народную душу». Для Жуковского-поэта она не существенна: выросши в преданиях сентиментализма, он не только усвоил себе форму его мышления и выражения, но и глубоко пережил содержание его идеалов, в которых народность заслонялась исканием человечности; когда его коснулись веяния романтизма, они остались для него элементами стиля, поглощенные уже созревшим в нем настроением, от которого он никогда не мог отвязаться.

Биография его сердца в дневниках, письмах, поэзии раскроет нам, как сложилось это настроение, но любопытно спросить себя теперь же, какими ранними чтениями оно воспиталось и поддерживалось. Эти чтения, французские и английские, по существу карамзинские: стихотворение «Человек» 1801 г. сопровождается эпиграфом из Юнга: *A worm! a God! [Червь! Бог! – англ.]* с выноской при седьмой строфе: Юнг; к 1801 г. относится первая попытка перевести элегию Грея: еще до 1803 г. Жуковский заинтересовался, судя по письмам Андрея Тургенева, Гольдсмитовой «*The desert village*» [«Опустевшая деревня»] и, может быть, посланием Элоизы к Абеяру (Попа)². В 1808

¹ Бурдах у Петухова, Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском (Дерптском) университете (Юрьев. 1900), с. 37–38.

² Перевод *The desert village*: «Опустевшая деревня» относится к декабрю 1805 г. (сл.: Бумаги В.А. Жуковского, поступившие в Имп. Публ. библиотеку в 1884 г. Разобраны и описаны И. Бычковым 1887, с. 20, 24); переведено лишь 96 стихов (до стиха: *Who quits a world where strong temptations try* [Кто покидает мир, где сильны искушения – англ.]). Перевод «Послания» (неконченный), который затевал и Андрей Тургенев, помечен апрелем 1806 г. (сл.: Бумаги В.А. Жуковского, с. 20, 24, 26, 32). Интересна в черновом автографе «Послания» (папка № 12 Имп. Публ. библ.) заметка Жуковского к стиху: «О дикие скалы, изрытые мольбою»: «Я хотел перевести *Делливео usés par la prière*, но, кажется, перевод не очень счастлив». В автографе того же стихотворения, сохранившемся в альбоме М.А. Протасовой (папка № 14 Имп. Публ. Библ.), стоит помета: «продолжение может быть». Эта мысль не оставляла Жуковского еще в 1814 г. (Бумаги В.А. Жуковского, с. 8).

году переведен заключительный гимн к поэме Томсона, *The Seasons* [«Времена года»], давно обративший на себя внимание Карамзина (Гимн заключительный к поэме Томсона «Времена года» 1787 г.), но Томсон принадлежит уже к чтениям 1804 г. вместе с *Saint-Lambert*, Геснером, *Hervey*, *Bloomfield*'ом и Энеидой в переводе Делиля¹. В заметке о методе изучения словесности, относящейся к периоду самообразования, программа расширилась: предполагалось читать сравнительно баллады Бюргера и Шиллера, Шиллера как стихотворца философического, «совместно» с Гёте, Расина с Вольтером, Корнелем и Кребильоном, оды Рамлера, Жана Батиста Руссо и Горация с державинскими², но в стихотворениях 1806 г. преобладают имена Парни, Лафонтена и Флориана, повести которого Жуковский переводил еще в 1801 г., перделку *Дон Кихота* в 1802 г.³ Первые подражания Шиллеру, Бюргеру, Гёте являются в 1806–1809 годах, и в то же время теоретическая часть статей «О басне и баснях Крылова» и «О сатире и сатирах Кантемира» (1809) внушена Лагарпом, Баттё⁴ и Зульцером, театральные отчеты следующего года указывают на преклонение не только перед Корнелем, Расином, Вольтером, но и перед Кребильоном: Жуковский видит в нем великого трагика⁵. *Вестник Европы*, издававшийся под его редакцией в 1808–1810 гг., наполнялся переводами с французского; еще в 1821 г. он заявляет, что комизм французов ему понятнее шекспировского, и в конце 1823 г. переводит «Валерию» Скриба⁶.

В течения современной немецкой литературы ввел его энтузиаст Андрей Тургенев, но Жуковский разбирается в ней ощупью, не увлекаясь, а все применяя к себе, к крою своего мироздания. Он знает Шиллера и Коцебу, Энгеля, писателей просветительного филистерства, от которых уже сторонилась жиз-

¹ Дневники В.А. Жуковского с примечаниями И.А. Бычкова, под 30 июля 1804 г.

² Зейдлиц. Жизнь и поэзия Жуковского, 1883 г. С. 30–31; Шевырёв. О значении Жуковского в русской жизни и поэзии, с. 20, 73.

³ Вильгельм Телль или освобожденная Швейцария. Сочинение Флориана. С историческою картинкою и присовокуплением новейшего сочинения сего автора: Розальба, сицилийская повесть. Москва 1802 г. Перевод *Дон Кихота* вышел в Москве в 6 частях в 1804–1806 гг., но первая часть имеет еще другой заглавный лист с пометой 1803 г.

⁴ Сл.: Полевой, *Очерки* I. С. 142–143; кн. Вяземский, *Полное собр. сочинений* I. С. 64.

⁵ Сл. отчет о переводе Радамиста и Зенобии Висковатовым в 1810 г.

⁶ Цензурный экземпляр, найденный проф. Архангельским, помечен 29 ноября; пьеса, поставленная на сцену 17 декабря, была переведена для актрисы Колосовой по просьбе Милорадовича, которому Жуковский хотел услужить, потому что и от него ожидал услуги: избавления одного бедняка от ссылки. Жуковский не желал, чтобы его имя как переводчика было разглашено. Сл. письмо к Гнедичу 1823 г.

неспособная литература; ищет в Виланде, которого позже назовет язычником и эпикурейцем¹, своих идей². В 1805 г. он читает с одной из своих племянниц Геллерта³, затевает перевести Гарве, *Über Gesellschaft und Einsamkeit* [«Об обществе и одиночестве»], Эшенбурга, *Entwurf einer Theorie und Literatur der Schönen Wissenschaften* [«Набросок теории и литературы наук о прекрасном»], заинтересован его *Weispielsammlung* [собранием примеров]; пишет Вендриху (19 декабря), что немецкая литература ему мало знакома; признается Ал. Тургеневу в 1806 (8 янв.), что начинает уважать немецких авторов и немецкую философию, потому что она «возвышает душу, делая ее деятельнее, она больше возбуждает энтузиазм». По собственному признанию, немецкая философия ему не далась, да и немецким языком он не вполне еще владел, когда в 1808 г. подражал песне Теклы у Шиллера: «Тоска по милом»⁴; письма Иоганна Миллера, которыми Жуковский так увлекался, переведены в «Вестнике Европы» 1810 г. (№ 16) и 1811 г. (№ 6) — с французского. Шиллер и Гёте станут в центре его симпатий лишь позже, но так же применительно-односторонне, как и Байрон. Его теоретические взгляды на творчество, на значение прекрасного и поэзии пройдут по линии Лагарпа, Баттё, Эшенбурга, Энгеля, Зульцера, чтобы остановиться на Бутервеке, с эстетикой которого он познакомился в 1807 г.⁵; это не мешало ему прислушиваться к литературным суждениям классика Блудова⁶, за что, как известно, пожурил его Пушкин. С собственно романтической теорией изящного Жуковский не обнаруживает знакомства, еще менее с философскими системами, пошедшими с ней об руку.

Можно было бы ожидать такого знакомства с поэтами, деятелями немецкого романтизма. Жуковский переводил из многих, и притом вразброд, минуя старших. Выбор известен по изданиям. Для немецкой части журнала, который он затевал под заглавием «Аонид или Мнемозины», намечены были, кроме Гёте и Шиллера, Гердера, Якоби и др., «Тик из *Fantasia. Elfen. Der Pokal. Liebeszauber. Der blonde Ecbert*. Из Штернбальда. — Ла Мотт Фуке из *Erzählungen* (многое множество прекрасного). — J. Paul, J. Paul's Geist, одни отрывки, целого невозможно. — No-

¹ К фон дер Бриггену 6/18 мая 1847 г.

² Сл.: Тихонравов. Сочинения. Т. III. Ч. 1. С. 452 и след.

³ Дневник под 16 ноября 1805 г.; сл. письмо к Ал. Тургеневу 1805 г. 31 авг.

⁴ Зейдлиц I. с. С. 32—33.

⁵ Сл. письмо к Ал. Тургеневу начала февр. 1807.

⁶ Сл. письма к Ал. Тургеневу, дек. 1806 г.; 22 ноября 1810 г.; 20 окт. 1814 г. и др.; наконец, посвящение «Вадима»: Твой вкус был мне учитель.

valis. Der Poet, Erzählung. (прекрасно). — Шлегель (отрывки из драматургии)»¹. Журнал не состоялся; из Ж.П. Рихтера взяты стихи на смерть королевы Луизы, помещаемые в конце статьи «Воспоминание» 1842 г., но появившиеся в «Московском Телеграфе» уже в 1827 г. (ч. XV, № 11) без подписи переводчика. — На старости лет Жуковский принялся было за перевод Вернера «24-е февраля»; сохранилось начало².

Первая поездка за границу ввела Жуковского в личное общение с литературными силами Германии, между прочим и с романтиками. Он видел Гёте, видел в Берлине Беттину фон Арним, которую нашел «очень аффектированной», тогда как «Рашели фон Фарнгаген придавал большое значение»³; провел день в Байрейте, чтобы познакомиться с Жан Полем, «и пробыл с ним несколько приятных минут: забавный оригинал, который понравился мне своим простодушием», — писал он вел. кн. Александре Федоровне⁴. Он встречал у Гёте Шлегеля и много раз видел Brentano⁵. Знал ли он Теодора Амадея Гофмана? С 1816 г. Гофман был снова в Берлине, где в том же году поставлена была его опера «Ундина» с либретто де Ла Мотт Фуке, где написаны были некоторые из его Phantasienstücke (1816), «Эликсиры Дьявола» (1815–1816), Nachtstücke in Calot's Manier (1817) и «Серапионовы Братья» (1819–1821). К его интимному кружку принадлежали де Ла Мотт Фуке, Шамиссо и известный актер Девриен. Жуковскому несомненно была уже знакома «Ундина» де Ла Мотт Фуке, которую он лишь позднее передал русскими стихами; вероятно, знакомо и его «Волшебное кольцо» (1813). С автором он встречался часто в разные свои приезды в Берлин, но характеристика его, написанная по первому впечатлению, крайне бесцветна: в лице де Ла Мотт Фуке «нет ничего, останавливающего внимание, записывает

¹ Сл. письмо к Д.В. Дашкову из Дерпта 1817 г.

² Сл.: Бумаги В.А. Жуковского I. с. С. 79–80 и мою заметку: Легенда об Евстратии — Юлиане в Изв. Отделения русск. яз. и словесности Имп. Академии наук т. VI. С. 13.

³ Сл.: Дневник 1 мая 1821 г.; Записки А.Ф. Смирновой I. С. 54.

⁴ Сл.: Русск. Старина 1902 г. Май: Письма В.А. Жуковского к вел. кн. Александре Федоровне из первого его заграничного путешествия в 1821 г., с. 339. В один из альбомов Жуковского (помеченный сверху первого листа: 1820, 16/28 декабря. Берлин) Жан Поль внес несколько строк, подписанных: Vaireut, d. 12 jul. 1821. К автографу приложен завернутый в бумажку локон с надписью: Eine Locke Jean Paul's, statt einer früher verlorenen 1834 von seiner Tochter Emma empfangen [Локон Жан Поля, полученный от его дочери Эммы в 1834 вместо ранее потерянного — (нем.)]. Тут же веточка, взятая «с гроба Ж. Пауля в 1826 г.»

⁵ Записки А.Ф. Смирновой I. С. 54, 56.

Жуковский. — Есть живость в глазах: он имеет талант, и талант необыкновенный, он способен, разгорячив воображение, написать прекрасное, но это не есть всегдашнее, зависит от расположения, находит вдохновением; автор и человек не одно, и лицо его мало изображает того, что чувствует и мыслит автор в некоторые минуты. Разговор наш состоял из комплиментов и продолжался недолго»¹. Зато Жуковский не устаёт восторгаться другом Гофмана, знаменитым актером романтической эпохи, Девриеном: он видел его в «Венецианском купце», но ушел после первого акта и не жалеет, потому что провел вечер у «привлекательного старика Гуфланда». «Игра Девриена есть совершенство, — замечает он по этому поводу, — он учит свои роли, как человек, глубоко разбирающий человеческое сердце; разбор его игры был бы разбор человеческой природы; сравнивая оригинал и список, много можно найти истин нравственных. Можно об нем сказать, что он актер добросовестный; он привязан с удивительною верностью, с удивительным уважением к роли своей; раз ее постигнув, он уже ни для чего и ни для кого ее не забудет: он не мыслит о партере и его рукоплесканиях и никогда истинною не жертвует успеху»².

Все это — не характерно для Девриена, высокого в воспроизведении демонического, страшного, всего, что перерастает обычные человеческие отношения, и, вместе, мастера изображать юмористическую сторону жизненных явлений. Среднее ему менее давалось: это крайности гофмановского настроения; они сходились талантом. Каждый вечер их можно было видеть в погребке Lutter'a и Wegener'a, и нередко беседа длилась до раннего утра. Об этих беседах, сопровождавшихся возлияниями, ходили в Берлине сказочные слухи. Гофман был «всегда навеселе», рассказывал Жуковский в салоне Смирновой, «он писал прекрасную оперу Ундину, ее иногда давали»³. В берлинском дневнике 1820 и 1821 г. имя Гофмана встречается нередко, но только

¹ Дневник 1820 г. 24 окт./5 ноября; сл. дневники 28 дек. с. ст. 1820 гт, 6 (глупая пьеса Ла Мотт Фуке) и 7 января (Ла Мотт Фуке и Шатобриан), 6 (поутру у Ла Мотт Фуке) и 8 февраля (ввечеру у Гуфланда с Ла Мотт Фуке). Сл. еще отметки под 22 февр. и 5 марта (Zaubering). В перечне лиц, с которыми Жуковский виделся в Берлине осенью 1827 г., названы: Ла Мотт Фуке, Раух, Тик; в дневнике 1882 г. под 19—21 дек.: чтение Galgenmännlein, Köhlerfamilie, Der unbekannte Kranke [Повешенные, Семья угольщика, Неизвестный больной — нем.].

² Дневник 1820 г. 3 ноября с. ст.; сл.: ib. 15, 16 и 18 окт., 2 ноября и письмо к Е.А. Протасовой 1 ноября 1820 г. Русск. Арх. 1900. Кн. 3-я. С. 37.

³ Записки Смирновой I, с. 155. («Записки А.О. Смирновой», изд. 1895—1897, которыми здесь и далее пользуется Веселовский, на самом деле являются фальсификацией, составленной дочерью Смирновой. — *Ред.*).

раз с каким-то неясным указанием: «ужин у Грёбена. Hoffmann Triumph der Ironie» [Гофман триумф иронии. — (нем.)]¹.

В 1821 г. Жуковский посетил в Дрездене Тика, одного из столпов романтической школы, и то, что он записал о своих беседах, рисует его, поучающегося и несколько растерянного перед лицом ее откровений. О своих впечатлениях он писал 23 июня / 5 июля 1821 года вел. кн. Александре Федоровне². По своем переселении в Дрезден (1819) Тик вступил в новую пору своей деятельности: около 20-х г. романтика пошла на склон, Тик пишет свои исторические, антиромантические новеллы, а Жуковскому как будто незнакома ни его первая литературная манера, ни такие капитальные для романтизма произведения, как «Геновева» и «Октавиан»: он знает Тика как автора «Странствований Штернбальда», неконченного романа, настроение которого было повеяно ему Ваккенродером; он даже говорит о «Штернбальде — Тике», читает в чертах его лица «что-то согласное с тою мечтательностью, которую находим в Sternbalds Wanderungen [«Странствиях Штернбальда»]; виден человек, который мыслит, но которого мысли принадлежат более воображению, чем сущности»³. Разумеется, мечтательность не исчерпывает всего романтизма, Штернбальд всего Тика. Тик был колорист, поэт настроения, не объективности, и его фантазии часто питалась не пережитыми впечатлениями; не это ли имел в виду Жуковский, когда противопоставлял сущность воображению? По словам Жуковского, Тик занимался в то время переводом шекспировских пьес, еще не переведенных Шлегелем, и готовил к изданию «критический и философический» разбор шекспировских комедий и трагедий. Очевидно «книгу о Шекспире», на которую Тик часто ссыался, но которой не написал; шекспировские пьесы, не переведенные Шлегелем, вышли в 1825 г. в переводе графа Баудиссина и дочери поэта, Доротеи, с его критическими примечаниями.

¹ Дневник 1820 г., 13 ноября с. ст.; сл. пометки 7 ноября (у графа Грёбена — Гофман), 12 ноября (обед в ресторации, у Гофмана); 1821 г. 16 марта (вечер у Грёбена... Hoffmann).

² Русск. Старина. 1901. Ноябрь. С. 889 и след.; черновой список (с неправильным адресом вел. кн. Николаю Павловичу) в Шукинском сборнике вып. I, с. 82. (со слов: «В последнем письме»); в печатном издании «Отрывка из письма о Саксонии» текст, несколько измененный, ближе к черновому.

³ В письме к вел. кн. Александре Федоровне: «более принадлежит его собственному идеальному миру, нежели сущности». Сл. в другом письме к ней же (Прага 10 / 22 июня 1821 г.) о впечатлении веселого пейзажа: «радуешься настоящей минутой, не мысля о далеком! Ясная, живая сущность, не смешанная ни с чем идеальным».

Романтики облюбовали Шекспира, еще молодой Гёте обращался на Виланда за то, что он по большей части не переводил песен Шекспира, или искажал их, а в его шутках и игре слов находил площадные остроты и извозничий вкус. Позже Гёте колеблется: в 1805 г. Шекспир и Кальдерон представляются ему безупречными перед высшим судом эстетики, и в то же время он называет Гамлета варварской смесью чудовищного и пошлого. Гамлета он собирался подвергнуть обработке (сл. «Годы учения Вильгельма Мейстера», кн. 5, гл. 4), как переделан был им Ромео и Юлия, как Шиллер подверг переработке Макбета, особенно в эпизоде ведьм. Классический шаблон восторжествовал, и Девриен тонко подшутил над Гёте и Шиллером за их поворот к старине. В беседе с Тиком Жуковский разделяет их взгляды: он откровенно сознается, что не понимает Гамлета, это «чудовище», «чудесный урод»; не понимает и его немецких толкователей, Шлегеля. Тик вразумляет его: в том-то и привилегия гения, «что он, без *ясной мысли*, не назначая себя наперед дороги, по одному естественному стремлению вдруг доходит до того, что другие медленным размышлением по следам его открывают. *Чувство*, которому он повинуются, есть темное, но верное; он вдруг подымается на высоту и, стоя на ней, служит для других светлым маяком, которым они руководствуются на неверной своей дороге». — Это «прекрасно и справедливо вообще, — замечает Жуковский, — но право не знаю, как применить это к Гамлету».

Тик обещал ему прочесть Гамлета и дать объяснения. Он был прекрасный чтец, послушать которого, по свидетельству Фризенна, приезжали издалека, американцы, датчане, русские, между ними Уваров; в мимике он уступал разве Брентано. Когда, путешествуя по Саксонской Швейцарии, Жуковский посетил его снова, Тику нездоровилось, Гамлет оказался для чтения слишком длинным; вместо него Тик прочел Макбета¹, Жуковскому понравились его «места ужасные». В комических партиях «Как вам угодно» Тик был еще выше, но Жуковскому кажется забавнее Плещеев, старый его знакомый, музыкант и театрал, хороший актер, впоследствии состоявший чтецом при императрице Марии Александровне; когда-то он изумлял арзамасцев искусством подражать голосу и походке знакомых людей, особенно же мастерски умел кривляться и передразнивать бедных

¹ Чтение Гамлета помечено в дневнике 3 ноября 1821 г., когда Жуковский снова был в Дрездене на обратном пути в Берлин: «у Тика, чтение Гамлета».

помещиков и их жен¹. Жуковский объясняет свое предпочтение тем, что комическое французов ему более знакомо, чем комизм Шекспира: он «смешит резким изображением характеров, но в шутках его нет тонкости, по большей части одна игра слов, и он часто оскорбляет ими вкус».

Семья Тика приняла Жуковского, как старого знакомого, с сердечной добротой, «а в Тике нашел я то, что единственно желаю найти в людях, известных мне по своему гению: *любезное, искреннее добродушие*». «Мне жаль было расставаться с Тиком, вероятно, это навсегда², добавляет он в письме к великой княгине; он обрадовался, когда я ему сказал, что вы любите его Штерн-бальда и что в вашем альбоме выписано несколько мест из этой книги». В том альбоме Жуковского, который сохранил автограф Ж.П. Рихтера, есть и автограф Тика, помеченный: Dresden am 14 Junius 1821:

Die dich im Geist erkennen
Und dich in Liebe finden,
Im Glauben dann verbinden,
Kann keine Ferne trennen.

Gedenken sie hierbei eines Freundes, der sich Ihrer oft erinnern wird. [Тех, кто узнал тебя в духе, нашел тебя в любви и затем соединился с тобой в вере, не разлучит никакая даль. Вспоминайте при сем друга, который часто будет вспоминать о Вас. (*нем.*)].

Еще до Жуковского был у Тика Кюхельбекер и привез с собой несколько решительных тиковских характеристик: «сластолюбивого и скрытного Виланда» и Клопштока, который «не христианин, не поэт нравственный, но скептик и потому писатель опасный». В беседе с романтиком Кюхельбекер выразил мнение, «что Новалис при большом даровании, при необыкновенно

¹ Записки Ф.Ф. Вигеля ч. V, с. 45, 46; сл.: Соч. Батюшкова III, с. 751–752; Остафьевский Архив I с. 439–440, прим. 56. О Плещееве вспоминал, по поводу Тика, и Ал. Тургенев: «Вчера проводили мы вечер у поэта Тика, второго Лессинга по драматическим его сочинениям и второго Плещеева по его мимическому искусству читать театральные пьесы. Он прочел нам одну, и прекрасно». Ал. Тургенев к брату Николаю, Дрезден 29 марта 1827 г. в Письмах Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу. Лейпциг, 1872 г.

² Имя Тика встречается в перечне лиц, с которыми Жуковский виделся в Дрездене в 1826–1827 г. (сл.: Дневники. С. 192, прим. 2). Жуковский заходил к нему в 1840 г., но не застал (Дневн. 1840 г. 19 марта). Имя Тика, чтения Тика, споры о нем не раз упоминаются в дневнике.

пышном воображении, не старается быть ясным и совершенно утонул в мистических тонкостях. Тик спокойно и тихо объявил мне, что Новалис ясен, и не счел нужным подтвердить это доказательством»¹.

Жуковский очутился в сходном положении: он заявил, что не понимает немецких толкователей Шекспира, а Тик догматически излагает ему, почему их толкование возможно, и Жуковский шепчет про себя: «прекрасно и справедливо», — потому что в объяснении Тика нашел знакомое ему предпочтение чувства разуму, потому что в Тике он ищет одной мечтательности, в гении добродушия и простодушия, на сцене нравственных идей. Он шагнул в сторону романтизма и нашел — себя.

Он весь в характеристике, которую, объединяя свои юношеские впечатления², дал Пушкин:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

(К портрету Жуковского 1819)

Это целый образ и, вместе, программа: вздохнет, задумается, безмолвная печаль, сладость; одна «слава» как будто не на месте. Нет энергических тонов, нет бури и натиска; есть — сентиментализм.

¹ Мнемозина 1824 г. Ч. II: Письмо из Дрездена 21 окт. / 1 ноября, с. 60–62.

² К Жуковскому 1817 г., Жуковскому 1818 г.

І. Эпоха чувствительности

С первой трети XVIII века в европейских литературах начинается водворяться новый стиль; там, где он зародился, ему предшествовало и соответственное настроение общественной психики как отражение совершившегося социального переворота. Так было в Англии; этим объясняется ее передовая роль в последующих течениях европейской мысли, влияние ее нравоучительной и слезной комедии, ее романистов, которыми зачитывались Руссо и Дидро. Влияние сказывалось неравномерно, смотря по тому, насколько там и здесь общественная почва была приготовлена к восприятию новых семян: во Франции оно поддержало социальное движение, в Германии отложилось в литературные школы.

Сущность водворившегося настроения состояла в переоценке рассудка и чувства и их значения в жизни личности и общества. Первый создал искусственную культуру, с ее законами, устоями нравственности и салонным этикетом, обуздал чувство требованиями обрядового приличия, фантазию — стеснительными литературными формами; он верил в свою непререкаемость, в просветительную силу своей логики, своей науки, ее же положений не преjdeши. Все это связывало свободу личности, и протест растет; условной рассудочной культуре противопоставляется идеал человека, каким он вышел из рук Творца, человека, доброго по природе, неиспорченного цивилизацией: идеал, поставленный еще в XVII веке (Aphra Behn 1640–1689^{1*}) и развитый Руссо. Чувство ставится выше рассудка. «Разум наш наполовину чувство», — заявляет Стерн; «не надменный разум отверзает врата неба, любовь находит доступ туда, где гордой науке нет хода», — писал Юнг; для Тамана чувство — непосредственное, первичное откровение истины, начало человеческого сознания, из которого должно развиваться всеобъемлющее знание; для Якоби непосредственное понимание чувством, верой, выше науки, открываемой разумом; единственная мудрость — познать свое сердце, следовать ему, не препятствовать развитию всех наклон-

^{1*} Бен, Афра (1640–1689) — английская писательница, автор стихотворений, пьес и романа «Оруноко» (1688) об африканском принце, попавшем в рабство.

ностей и вожделиний — единственная добродетель. Надо верить внутреннему чувству, верить в свое сердце; в этом человек обретет свободу. Мерсье скажет то же: в сердце каждого человека кроется священный огонь чувствительности, надо следить, чтобы огонь не погас, им освещается наша нравственная жизнь. — Сила ума отрицательна, ограничена неверием, непониманием, твердит в начале немецкого «романтизма» мадам де Сталь: нужна философия веры, энтузиазма, философия, подтверждающая путем разума откровения чувства; Сен-Симон назовет этих энтузиастов чувства *les passionés*. Явилась «философия чувства», явились и литературные представители чувства и чувствительности; они читали Ричардсона и Фильдинга, Юнга и Стерна, Руссо систематизировал для них разбросанные и неясные черты постепенно выяснявшегося учения о чувстве и сердце, о природе и естественности, природе — наставнице добру, милосердию, нравственности; о свободе страстей и идеале демократии.

Программа принималась и исполнялась различно. Психологически можно различить две группы исполнителей; они смешивались; переходы из группы «чувствительников» к «бурным гениям» были возможны; автобиографический роман К.Ф. Морица «Антон Рейзер» это доказывает.

Одна группа характеризуется ярче всего деятелями немецкого *Sturm und Drang*'а 60–80-х годов XVIII века. Они отличают науку от гениального прозрения, энтузиазма, с которым люди рождаются. Гениальность может дремать в каждом из нас, подсказал им Юнг, надо только уметь ее открыть и воспитать, и гений вспорхнет, «вдохновенный энтузиаст». Юнговский трактат «*On original composition*» был показателем времени. Учение о прирожденной гениальности, поддержанное Стерном и культом Фильдинга к непосредственной здоровой натуре, всецело отдающейся порывам чувства, создало породу немецких *Kraftgenies*, гениев мощи, с их призыванием к деятельному подвигу, к борьбе. Они сознают себя свободными от всех рассудочных суеверий, которые до тех пор считались нормой жизни; из мещански-растворенной условной культуры их тянет к природе, к народу и его песне, к идеализованной народной старине, в простор всемирной поэзии, к обновлению литературных форм. Во всем этом влияние Англии несомненно; англичане в это время вновь открыли Шекспира-Прометея, отсюда начало его популярности во Франции (Мерсье) и Германии. Требование свободы чувств распространилось и на область нравственных вопросов: ставятся новые решения, потому что «гениям» противен всякий догматизм, они жаждут

простора, полны самосознания, хотят взять жизнь полностью и любить реально. «Мы боги, мы свободны» — говорит Ленц. Ардингелло Гейнзе такой же «гений», как Карл Мор; у юного Шиллера пристрастие к доблестным, величественным преступникам, которые спускаются со временем к низменному типу Ринальдо Ринальдини и разбойничьих романов. На очереди фигуры Прометея, Фауста, Магомета; «Kerl» становится типическим словом для человека бурных стремлений.

Рядом с этой группой людей «страстного чувства» другая: это мирные энтузиасты чувствительности, ограниченные стенками своего сердца, убаюкивающие себя до тихих восторгов и слез анализом своих ощущений, которые за жизненной тщетой давали предчувствовать небо. Они боготворят Клопштока, пиетисты и мистики, могут пристроиться ко всякой церковно-религиозной реакции, ужиться и с политической, ибо отошли от общности в мир своего крошечного «я», в абстракцию «человечности», внутренней «свободы», в уединение, в природу, вещающую о благодати Творца. И на природу они смотрят как на объект чувствительных и религиозных излияний — по поводу; избыток чувства не изощряет глаза, сентименталисты не *visuels*; все дело в настроении; оттого они так любят музыку; самонаблюдение доходит до болезненной щепетильности. Так воспитывают они «добродетель» и зреет их «человечность», их *schöne Seele, belle âme* Руссо, «душа» Карамзина.

У *Kraftgenies* и *Schöne Seelen* (le genre *furibond* et le genre *lamentable* Шлегеля¹) один общий психологический субстрат: гипертрофия чувства, но сентименталисты любят свое сердце, ухаживают за ним, «слабым», «изнеженным», «больным» (Дон Карлос), «выплакавшимся, полным отчаяния» (Стелла). «Ах! то, что я знаю, может каждый знать, но мое сердце у одного меня», — говорит Вертер. Являются Вертеры и Сигварты, Рене и Валери, демонические эгоисты чувства, как *Allvill*, представители безысходного *Schwermut* [тоски (*нем.*)], как Вольдемар, расслабленные, как герой романа Мэккензи («*Man of feeling*»), умирающий от чахотки и от — признания в любви, на которое решился лишь при смерти.

В такой среде любовь принимает особый оттенок: она жалостливая, печалующаяся, сумрачная, не знающая смеха; Сен-Прелюбит трогательную бледность, залог любви, и ненавидит назойливое здоровое. Оттуда пристрастие к контрастам: утра и ве-

¹ *Schlegel A. W.* Sur le triomphe de la sentimentalité.

че́ра, весны и осени; именно весна вызывает нередко печальные чувства; питаются картинами унылой, дикой природы, полутонами и полусветом: заходящее солнце, сумерки, настраивающие на грустный лад, луна, прячущаяся за полные слез облака. Поэтический словарь отвечает настроению: веять, обвеять, шептать, божественный, небесный; говорится о мерцающем месяце — и о мерцающей (*dämmernde*) душе, мерцающих мыслях. Такая любовь соседит с идеей смерти, любви за гробом, где встретятся стремившиеся друг к другу души, в чувстве которых здоровый реальный порыв терялся в новом обобщении, в том, что назвали впоследствии *amitié amoureuse*. Это нечто колеблющееся на разделе страсти и приязни, не удовлетворяя ни той, ни другой; но М-me Roland знала, по-видимому, в чем дело, и не колебалась. У «тихой, святой дружбы есть стрелка, правящаяся весами (*un point d'appui on tient toujours la balance*), — писала она Bosc'у, дружба которого к ней грозила перейти в страсть, — прелестные, но жестокие страсти выводят нас из себя, чтобы впоследствии покинуть, но честность души и поступков, доверие прямого, чувствительного сердца, умеренность характера, разумно установившегося в добрых правилах, — вот что упрочивает связь, каким бы охлаждением она ни подвергалась. В этом порука, друг мой, что вы найдете меня всегда одной и той же».

Вместе с *amitié amoureuse* развилось особое чувство дружбы, также смешанное из любви и приязни и невольно вызывающее на сравнение с таким же психологическим явлением Ренессанса. «Нам нужен друг, чтобы мы сами себе нравились и сами собой наслаждались», — говорил Юнг; немецкие сентименталисты, начиная с Клопштока, лелеют это чувство, ревнивое, тревожное и взыскательное, как будто дело идет о любимой женщине. В литературе являются Позы и Дон Карлосы, Ксаверы и Кронгельмы (Миллер и Ф. Штольберг в романе Миллера «Сигварт»), в жизни — дружба Нойффера и Гёльдерлина, а в период романтиков — Тика и Ваккенродера, Фридриха Шлегеля и Новалиса и др.; с примерами из древности: Давида и Ионафана, Ореста и Пилада, Низа и Эвриала, Ахилла и Патрокла. Сэр Чарльз Грандисон затевает построить храм Дружбы на месте, где влюбленная в него мисс Гарриетт обняла свою соперницу, его жену.

Показатель чувствительного благоустроенного сердца — способность проливать слезы. Стерн говорит об упоении слез, *joy of grief*, и сам плакал над встреченным ослом и птичкой-узником; Юнг открыл «философию слез», а сентименталистам торный путь: полились слезы, явился дар беспечальных слез. «Удоль-

фские таинства» (1794) Mrs. Рэдклиф наводнены ими: героиня романа, Эмилия, не может видеть месяца, слышать звона гитары, органа, шелеста сосен, чтобы не поплакать; Тэккерей не помнит ни одного романа, где бы так много плакали, как в «Thaddeus of Warsaw». Мать Генриха Штиллинга обладала этой драгоценной способностью: весною, когда все расцветало, ей было не по себе, точно она из другого мира, но стоило ей увидеть поблекший цветок, сухую былинку, она принималась плакать, и было ей так хорошо, так хорошо, что и сказать нельзя, а не весело. — Вертер и Лотта любят удалившейся грозой; ее глаза полны слез; «Клопшток!» — сказала она положив руку на руку Вертера; он вспомнил чудесную оду Клопштока и поцеловал руку девушки с блаженными слезами на глазах. Эта сцена скопирована Миллером в его «Сигварте»: Тереза наклонилась над «Мессиадой», и Кронгельм слышит, как слезы девушки капают на страницы; он берет ее за руку, она отводит его руку на книгу, и он чувствует, что страница омочена. Тогда он поклялся в своем сердце вечно быть верным Терезе; гром и ветер стали в это время сильнее. «Священная, торжественная ночь!» — говорит Кронгельм. Сигварт и Марианна в том же романе слушают пение кузнечика и плачут. В «Вильгельме Мейстере» певец поет: Kennst du das Land [Знаешь ли ты край...] — и слушатели взволнованы, женщины бросились друг другу на шею, мужчины обнялись, и луна была свидетельницей благороднейших, целомудренных слез. При расставании друзья пили поочередно из стакана, в который каждый из них пролил несколько слез; поэтическим эффектом считалась игра месячного луча на навернувшейся слезе; с этим эффектом знаком был кн. Шаликов.

Эта сфера чувствительности воспитала свою музу: задумчивую Меланхолию, обительницу развалин, старых келий и теней, не оглашенных весельем. Ее прелести воспел 17-летний Warton (*The pleasures of melancholy* [удовольствия меланхолии (*англ.*)], 1745): он любит сидеть в сумерках под мшистыми сводами разрушенного аббатства, когда месяц бросает в окно свой долгий, прямой луч, и священная тишина нарушается лишь криком совы, гнездящейся в затхлом склепе, или игрой ветерка в зелени плюща, окутавшего развалившуюся башню; любит прислушаться, вдали от неистовых кликов Веселья, к сонным трелям сверчка, вечером, в полусвете гаснувших углей. Грей в последнем из своих стихотворений (1769) помещает нежнооую (*soft-eyed*) Меланхолию рядом с Свободой, в том же печальном пейзаже, но он же обогатил его в своей известной

Элегии (1751) образами «Кладбища», Юнг — картиною ночи и идеей заgrabности. Его «Ночные думы», внушенные действительной, тяжелой утратой, ею полны. Он не может от нее отвязаться, упивается ею. Смерть царит в мире, уйти от нее нельзя, но в ней же и утешение: она венец жизни, дает человеку крылья, чтобы взлететь в горние области, где он обретет более того, что утратил в раю. Апофеоз смерти среди глухой безмолвной ночи, вешающей о бессмертии и вечном дне, в освещении бледной Цинтии — Луны. До тех пор она редко показывалась для выражения печальных или таинственных настроений; какой-то сечентист XVII века даже дерзнул назвать ее «небесной яичницей»; Юнг изобрел ее снова, ее грядущую популярность поддержал Макферсоновский Оссиан, Клопшток пустил ее в оборот. Вергилиевские *amica silentia lunae* стали лозунгом нового поэтического настроения у Закариа, Гесснера, Кронегка, Виланда и от молодого Гёте до Лонгфелло и далее: месяц — «божество целомудренных душ», он бледен, как боязливая, отринутая любовь; говорилось о меланхолическом месяце, о месяце, простирающем в лесах великую тайну меланхолии, которую он любит нашептывать старым дубам (Шатобриан); о «месяце в сердце» (*Mondschein im Herzen*). В связи с ним входит в моду у поэтов Гёттингенского кружка эпитет «серебряный» о свете и звуке; серебристый голос и даже *silbernes Klavier*. У поэтов псевдоклассических вкусов, например у Попа и его школы, такому же обобщению подвергся эпитет «золотой»; но они любили солнце, теперь оно зашло. Кардуччи видит в луне символ романтической поэзии в противоположность с классическим солнцем; вместо романтизма поставим сентиментализм. Присоединим к таинственному пейзажу, который мы пытались нарисовать, Оссиановские туманы и мир экзотических призраков — и у нас под руками целая система представлений и образов, питавших балладу, в которой видели продукт романтической фантазии. Но это не романтизм с его теоретической обоснованностью, а доромантизм (итальянцы называли его *pregomantismo*) на почве чувствительности.

Так создалось литературное течение, вызвавшее к бытию груды черепов и скелетов, сонмы призраков и мыслей на кладбище, все это закутанное ночью или освещенное задумчивой луною. К могилам паломничали неудачно влюбленные барышни, любили рисовать могильный холм, на котором выписывали свое имя. Слезы и мысли о смерти, безотчетное уныние стали литературною манерой, в меланхолию играли («мрачные удовольствия

меланхолического сердца» Шатобриана); у чувствительников явился свой этикет, наслаждение своим сердцем нормировалось рассудком, и новый флаг нередко прикрывал вождения старой, чувствительной эклоги. Настроение охватило не только молодое поколение Франции и Италии, но и стариков: галантная Аркадия перестала ворковать и настроилась на слезы; такой эклектик, как Монти, пишет *Entusiasmo malinconico*, Пиндемонте чувствителен в своих *Poesie campestri*; один итальянский журналист из иезуитов водит нас в сопутствии Юнга по *Campro-Santo* в Бергамо; пьеса озаглавлена: «Красоты Кладбища» («*Il bello sepolcrae*»).

Недавно найденные отрывки дневника 16-летнего Маттиссона, сентиментальная поэзия которого увлекала Жуковского и юных Тургеневых¹, дают нам понятие о нравственной атмосфере, в которой складывалось мирозерцание поэта. Обложка расписана им самим: внизу и вверху волнообразные, синие по белому полю полосы, посередине на красном фоне гирлянды из цветов. Это дневник самонаблюдения, тайной исповеди самому себе (*geheimes Tagebuch*); автор, еще школьник, счастлив, что надумался снова приняться за него, ибо дело это серьезное, и он горько упрекает себя, что как-то забыл про него, увлекшись интересной книгой: «Господь да простит мое прегрешение». Ни один день не проходит без пометы. «Нынешний день прошел для меня в перебое радости и горя, а никогда не ощущал я такого благодатного, тихого душевного спокойствия: сладкая, унылая меланхолия (*wehmütiger Schwermut*), настроившая меня к приятным и серьезным чувствам, была мне источником размышлений о моей будущей судьбе, и все они сходились к одному, что без добродетели и страха Божия мне не быть счастливым». Он молит Господа послать ему силы для борьбы с чувственностью, пылким темпераментом, недеятельностью, легкомыслием; зорко наблюдает за собою, ликует, когда день прошел незазорно, и сетует, когда однажды в день рождения короля выпил несколько стаканов вина — за день до причастия. Все это перемежается молитвенными обращениями и укорами совести. Мальчик-пиетист цитирует одну из духовных песен Штурма, с мистическими сочинениями которого Жуковский познакомился в Московском Благородном Университетском пансионе, но он прочел и «Сигварта», желал бы быть на его месте, встретить такое же небесное создание, как Марианна; беседует с товари-

¹ Письма А.И. Тургенева к Н.И. Тургеневу. С. 86, 147.

щами об облагораживающем влиянии чистой, целомудренной любви, затевает с ними нечто вроде дружеского ученого общества; вырываясь из объятий «нежнейшего друга», проливает сладкие слезы и на весь день погружается в меланхолию. «Тихая, покойная жизнь, далекая от всякой сутолоки, в кругу нежных друзей, при этом чистая совесть — вот что готовит человеку тайные радости». А затем природа; автор хочет пойти к ней в науку, она будет руководить его. «Как часто глядел я сегодня на луну, и мною овладел трепет, мысли о смерти и вечности освящали душу, души усопших друзей, казалось, реяли вокруг меня; все было так грустно, так торжественно, что я забыл все на свете и в этот священный час раздумья с распростертыми объятиями устремился бы к смерти. Пусть явится она скорее... тогда моя просветленная душа возлетит к Господу, я не буду знать нужды и печали, а мои дорогие скоро последуют за мной». Он любит заходою солнца, отражением багрового неба в пруде; хочет взять с собою Клейста и Вергилия, чтобы лучше прочувствовать то, что описали эти славные; сам ощущает себя гесснеровским пастишком. Недостает любви, которая скрасила бы для него весну, заставила бы его еще более полюбить Творца в каждом цветке (при этом рисунок: покачнувшаяся урна, из которой сыплется пепел, и цветок). Сердце как-то усиленно бьется, и автор успокаивает его, вступает с ним в разговор. Он любит ангела, Божья ангела; смотрит издали на деревню, где живет его милая, вечерняя звезда для него — звезда любви, он дает себе обещание смотреть на месяц: может быть, и она любит им с думою о юноше. В бурную погоду он вырезает ее имя на коре бука. Но почему он думает только о ней? «Если это грех, то прости мне, Боже! Но где же она, святая, где она?» Он увидел ее; она будет его навеки. «А как подумаю о расставании, горькие слезы увлажняют мои ланиты»¹.

Гёте, Шиллер, Жан Поль Рихтер пережили в юности сентиментальный период, чтобы выйти каждый на свой путь. У Шиллера настроение это звучит долше; «Гимны к ночи» Новалиса, пережитые «воображением сердца», отзываются чтением юнговских дум: разница между теми и другими в поэзии и новой стилистике; мы на почве романтизма. Мания слез и печали не только создала поэтов, но и типы беспредметных меланхоликов, разновидность «проблематических натур»; они, как и бурные гении, влились в течения романтизма и байронизма.

¹ Holm, Ein Tagebuch aus Mattisson's Jugend, Neue Heidelberger Jahrbücher, Jahrg X, Heft 1, S. 81 f: дневник с 13 января по 10 апр. 1777 г.

И у нас обнаружилось течение чувствительности, и у нас они сменили влияние просветительной, рассудочной литературы XVIII века. В силу исторических условий мы не могли не подражать, но подражали, не пережив того общественно-психического процесса, который делает такого рода влияния жизнеспособными. Мы не так болели умом, чтобы искать спасения в чувстве; на западе протест во имя его был принципиальный, у нас он обратился против уродливых явлений нашей просветительности с ее упрощенным материализмом, наивной игрой в неверие и увлечением западной салонной культурой. Явились рассуждения «о злоупотреблениях разума некоторыми новыми писателями» (Лопухин), «умственность родила зло», писал Херасков, а Сумароков мог сказать, что с развитием наук «погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца».

Наступил период сердца. Серьезный в пиетистическом Новиковском кружке, он сказался в легкой литературе наплывом чувствительности. Противоречия сентиментализма и классицизма ощущались как литературные, не как внутренние; сентиментальная литература и не подняла чувства, а лишь открыла новые источники чувствительности; она приучила к известному поэтическому шаблону и не открывала глаза на русскую природу и русскую действительность. Юнг и Оссиан коснулись уже Державина; Болотов читает Зульцера (*Moralische Betrachtungen über die Werke der Natur* [Нравственные размышления о творениях природы (нем.)], 1745 г.) и у него впервые открываются глаза на природу как на источник «непорочных увеселений» и пиетистических восторгов. Для Карамзина Юнг «несчастливых друг, несчастных утешитель» («Поэзия», 1787), а песни Оссиана, «нежнейшую тоску вливая в томный дух, настраивают нас к печальным представлениям; но скорбь сия мала и сладостна душе» (там же). В библиотеке Карамзина мы найдем Руссо, Бернардена де Сен Пьера, Ричардсона, Томсона, Стерна, его французских подражателей и немецких сентименталистов. Карамзин — организатор нашего литературного сентиментализма. Схема мирозерцания нам известна: природа, славящая Творца, чувствительное сердце («Бог — отец чувствительных сердец», «Песнь Божеству», 1793; святая поэзия — «Бог чувствительных сердец», «Дарования», 1795), прославление добродетели и дружбы; общественный идеал — человек, который

...Малым может быть доволен,
Не скован в чувствах, духом волен...
Душою так же прям, как станом,
Не ищет благ за океаном
И с моря кораблей не ждет,
Шумящих ветров не робеет,
Под солнцем домик свой имеет,
В сей день для дня сего живет
И мысли в даль не простирает;
Кто смотрит прямо всем в глаза,
Кому несчастного слеза
Отравы в пищу не вливает;
Кому работа не трудна,
Прогулка в поле не скучна
И отдых в знойный час любезен;
Кто ближним иногда полезен
Рукой своей или умом;
Кто может быть приятным другом,
Любимым, счастливым супругом
И добрым милых чад отцом;
Кто муз от скуки призывает
И нежных Граций, спутниц их;
Стихами, прозой забавляет,
Себя, домашних и чужих,
От сердца чистого смеется
(Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно!),
Тот в мире с миром уживется.
(Послание к Александру Алексеевичу Плещееву, 1794).

Такого человека, «в ком дух и совесть без пятна» («Послание к Дмитриеву» 1793 г., сл. «письмо Филалета к Мелодору» 1794 г.), смерть не страшит: она — «пристань и покой», где снова соединятся разлученные («Берег», 1803), где для умеющих любить «любовь будет вечна» («Мысли о любви», 1797 г.); «Кладбище» (1793) — «обитель вечного мира». — Все это создает атмосферу меланхолии; она «мрачная», ее не разгонит даже улыбка весны («Весенняя песнь меланхолика», 1788), но в ней есть и своеобразное наслаждение: она «нежнейший перелив»

От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья;

Отчаянье прошло... но, слезы осушив,
Ты радостно взглянуть на свет еще не смеешь,
И матери своей, печали, вид имеешь.

(«Меланхолия, подражание Делилю», 1800).

Либо говорится о «флёре», «прозрачной завесе чувствительности», сквозь которую сияют глаза героя («Рыцарь нашего времени»).

У Карамзина явилась школа; сам он шел по чужим следам, но его школа всего лучше выдаст слабость ремесла. «Приятное и полезное препровождение времени» и «Иппокрена» полны юнговских и оссиановских мотивов, извлечений и подражаний. Здесь подвизался Ф.Г. Покровский (философ горы Алаунской), случайный учитель мальчика Жуковского; его меланхолия настраивается порой реально-альтруистически на тему «бедствий человеческих и благотворения»¹, зато князь Сибирский — сытый сентименталист, которому московские пейзажи напоминают описания в одном романе Рэдклиф², который любит «заняться» меланхолией, сидя у «алого огня и вспоминая об отсутствующих друзьях и любезной»³. В меланхолию он играет: вообразил себя одним из чад Оссиановской фантазии, погружается в унылую задумчивость, но спохватился: к чему слезы и печаль, когда человека с чистой душой ждут после юдоли плача цветущие долины Эдема и песни ангелов? Противоречие разрешается — сном, потому что автор «ощутил бремя свинцового скипетра Морфея»⁴.

Особенно показателен для игры в сентиментализм князь Шаликов; «в нем есть нечто тепленькое», писал о нем Карамзин, защищая его от нападок Дмитриева⁵. Весна наводит на него меланхолию и слезы; в хрустале глаз играет солнечный луч, но «часто кроткое сияние луны переменяет его (хрусталь? луч?) на бирюзовом небе перед глазами моими». Стихотворение «Кладбище» обращается в гимн «кроткой, священной меланхолии», в послании к «Философу горы Алаунской» поэт вспоминает, как они философствовали над могилами под старым развесистым дубом, тогда как «меланхолический свет луны увеличивал меланхолию

¹ Приятное и полезное препровождение времени, ч. XII. 1796. С. 3 и след.: Темный лес или чувство бедствий человеческих и благотворения.

² Мои желанья при наступающей весне. Иппокрена. 1799. Ч. 2. С. 260.

³ Там же. Ч. 4. С. 255–256: Меланхолия.

⁴ Там же. Ч. 3. С. 202 и след: Подражание Оссиану.

⁵ Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. 1869. С. 93.

места и предметов»; на возвратном пути их внимание остановил печальный готический замок; это — острог. «Москва-река» и «Днепр» вызывают грустные мысли — по поводу, которого мы не видим; объект исчезает, только за Днепром «небольшие рощицы, убежища любви и блаженства» и т.д. «О природа! О чувствительность!» Русский пейзаж, местные впечатления ценятся, поскольку они подсказаны западными впечатлениями и чтениями. У путешественника-Карамзина западный «стихотворец» всегда «в мыслях и руках» — или в кармане для справки: он любит виды и сентиментальничает там, где до него прошли Галлер, Геснер, Руссо, и в их стиле. Шаликов переносит этот прием на русский пейзаж: «весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали бы мне всех красот ее», — признается Карамзин (Соч. II, 71):

Ламберта, Томсона читая,
С рисунком подлинным сличая,
Я мир сей лучшим нахожу;
Тень рощи для меня свежее,
Журчанье ручейка нежнее;
На все с веселием гляжу,
Что Клейст, Делиль живописали;
Стихи их в памяти храня,
Гуляю, где они гуляли,
И след их радует меня!

(«Деревня» 1785).

В подмосковном имении Лопухина Жуковский видел в саду Юнгов остров и на нем урну, посвященную памяти Фенелона, с изображением г-жи Гюйон и Руссо. «Это место невольно склоняет нас к какому-то унылому, приятному размышлению»¹.

Кн. Шаликову подсказывает нечто подобное — воспоминание: «Майское утро» навевает образы Вертера и Элоизы, «Монастырь» — память «о таинствах священнодействия друидов», «о грозных оракулах» — и автору хотелось бы проникнуть в сокровенность сердца монаха, ибо история каждого из них есть цепь горестей. В Малороссии он открыл где-то оттенок Швейцарии; «имея некоторую живость воображения, чувствительность сердца, можно ли не знать Швейцарии и, не быв в ней, не знать прекраснейшей в мире природы ее? Кто не читал Новой

¹ «О Фенелоне», 1809; Воейков переложил эту заметку в стихи, сл. его Описание русских садов // Вестник Европы. 1813. № 7 и 8. С. 194.

Элоизы, Писем русского путешественника?» Переходя затем к расстилавшемуся перед ним ландшафту, он спрашивает себя: «Не маленькая ли это Юра? Не маленькая ли Кларан?» Он пытается подражать русской народной песне («Долго ли мне, молодой, кручиниться»; «Нынче был я на почтовом на дворе»), но, переводя *Tableau slave* [Славянскую картину] (Париж, 1824 г.) кн. Зинаиды Александровны Волконской («Славянская картина пятого века») не заметил, что помещенная там брачная песня — переделка русской народной, и снова перевел ее с французского, на этот раз не в народном стиле («Молодая сосна стояла на дворе возле шалаша»)¹. Описание «сельского праздника» открывается признанием: «Для друга *человечества* и природы есть неизъяснимое удовольствие в *чистом* веселии *чистосердечных* поселян». — А вот и праздник Купалы: «Ввечеру по захождении солнца, на *зеленом* лугу и *маленьких* островках *светлой* речки, подле сосновой рощи и во внутренности ее запылали смоленые бочки... Нептерпеливые поселяне потекли со всех сторон на место веселия; сельские *Дицы* ударили в смычки свои; там раздались *нежные* свирели, здесь громкие песни; молодые крестьянки и крестьяне составили *резвые* пляски; пожилые сели за столы, на которых из больших сосудов благоухал *нектар и амброзия* их — горелка и свежий хлеб; иные бросились на качели... прочие рассеялись по роще и лугу; мы ходили и веселились с счастливыми поселянами. Добрый их помещик радовался искренно счастью их и разделял его с нами в *чувствительном* своем сердце. Все, что Вергилий, Геснер, Флориан, Делиль воспели на бессмертных свирелях своих, *оживилось в памяти, в душе моей... Люблю поля, люблю добродетель, люблю и тебя, Делиль*».

Юнговская меланхолия на кладбище — и народная жизнь, виденная из окон помещичьего дома, с чистосердечными, счастливыми поселянами, нежными свирелями, резвыми плясками на зеленом лугу, у светлой речки, с водкой-амброзией. Действительность могла подсказывать другое, но нельзя было отделаться от Юнга и Делиля, не припомнить «обманы и Ричардсона и Руссо» («Евг. Онегин»). Это — сентиментализм для развлечения, допускавший и некоторую долю похотливости. В ту пору, когда

¹ Начало песни в *Tableau slave*: Un jeune pin s'élevait sur les monts auprès d'une chaumière [Молодая сосна поднялась на горах близ хижины — *франц.*]; в Olga той же писательницы также встречаются переделки народных песен: 1) Assise dans un donjon élevé j'entends la voix du faucon [Сидя в высокой башне, я слышу голос сокола]; 2) O fleuve, fleuve cheri [О река, милая река]; 3) Bon foyer échauffe toi [Славный очаг согревает тебя]; 4) Dans la prairie est une joli tilleul [На лугу стоит красивая липа].

Жуковский вступил в его атмосферу, русское общество пережило реакцию, самое слово «общество» изъято было из литературного обращения, но сентиментальничать не воспрещалось. Мать Карамзина обнаруживала удивительную склонность к меланхолии, просиживала целые дни в глубокой задумчивости; ее любимое чтение — чувствительные романы¹. Екатерина Афанасьевна Протасова, впоследствии строгая ригористка, зачитывалась в молодости «Новой Элоизой» и сентиментальной книгой о воспитании: *Adèle et Théodore*². Отец Гоголя любил заниматься разбивкой садов и для каждой аллеи подыскивал особое название; в соседнем лесу у него была «Долина спокойствия», запрещено было стучать и даже колотить белье на пруду, — чтобы не разогнать соловьев³. Летом 1810 года Гнедич застал Батюшкова больным, «кажется, от московского воздуха, зараженного чувствительностью, сырого от слез, проливаемых авторами, и густого от их воздыханий»⁴. И Батюшков шутит над «модными писателями, которые проводят целые ночи на гробах и бедное человечество пугают привидениями, духами, страшным судом, а более всего своим слогом», предаваясь «мрачным рассуждениям о бренности вещей, которые позволено делать всякому в нынешнем веке меланхолии» («Прогулка по Москве», 1810).

Засентиментальничал и Жуковский, единственный настоящий поэт эпохи нашей чувствительности, единственный, испытавший ее настроение не литературно только, но страдой жизни, в ту пору, когда сердце требует опеки любви, и позже, когда оно ищет взаимности. И этот опыт оставил глубокие следы на человеке, дал особый поворот его чувству, навсегда связав его «воспоминаниями»; мотивы сентиментальной поэзии поддерживали его настроение, но оно наложило на них печать искренности, изящной задумчивости, которая перебивает условность голосом сердца. Этот поэтический cliché, отзвук испытанного и выстраданного, связал его: настали иные времена, проглянуло и позднее счастье, а печальное cliché повторяется среди шалостей Арзамаса и новых увлечений, «Отчетов о луне» и эпитафии «белки». Точно *Leitmotiv*, от которого поэт не может отвязаться.

¹ Карамзин. Соч. III. С. 242, 253–255.

² Зейдлиц. Жизнь и Поэзия В.А. Жуковского. С. 13, прим. 1.

³ Щеголев. Исторический Вестник. 1902. Февраль. С. 661.

⁴ Тиханов. Ник. Ив. Гнедич. С. 40.

II. Юные годы. Первый опыт сентиментального увлечения и идеал дружбы. М.Н. Свечина и Андрей Тургенев

Отрочество протекло нерадостно для чувствительного мальчика. Отца своего, Бунина, он видел, но не знал; отношения к нему М.Г. Буниной († 1811 г. 13 мая) были, по видимому, прекрасные, но прекратились рано¹. Ек.Аф. Протасова, которую он звал «матушкой», приходилась ему сводной сестрой, настоящая мать, крещеная турчанка Сальха († 1811 г. 25 мая), являлась в семье в неопределенном положении полубарыни: ее письма к сыну говорили о «благодетелях»². Это его смущало. Его не отделяли от других детей, окружали теми же попечениями и лаской, он был как свой, но чувствовал, что не свой; он жаждал родственных симпатий, семьи, любви, дружбы, и не находил; ему казалось, что не находил. Это настраивало его печально.

В Московском Университетском Благородном пансионе и кружках, стоявших с ним в связи, доживало предание державинского псевдоклассицизма; оно коснулось и Жуковского. Увлеченные «редкими, неподражаемыми красотами» оды «Бог», он и его товарищ по пансиону Родзянка перевели ее на французский язык и обратились к ее «бессмертному творцу» с восторженным письмом. Державинским стилем отзываются кое-какие пансионские произведения юного поэта («Майское утро» 1797 г.; «Могущество, слава и благоденствие России» 1799 г.); позже, когда сказалось влияние Дмитриева и Карамзина, он мог говорить, отчасти под влиянием раздражения, о сумбуре и беспорядке там, где прежде встречал одни красоты³. Если Дмитриева, «пророка и вкуса, и Парнаса»⁴, он называл своим учителем в поэзии, то вли-

¹ Сл.: Русский Архив. 1883. I. С. 208 и след.; *ibid.* 1902. Май. С. 128.

² Русский Архив. 1883. I. С. 213 и след. (письма матери 1799, 1801, 1806 и 1807 годов); сл.: там же, 1902. Май. С. 129.

³ Письмо к Ал. Тургеневу 27 марта 1811 г.

⁴ Сл. послания к кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину, III Préambule 1814 г.; письмо к Дашкову 1817 г.; к Измайлову 27 ноября 1827 г.

яние ограничилось «механизмом стиха», «живостью рассказа»¹; учителем поэзии и жизни стал для него Карамзин: до конца дней он видел в нем идеал прекрасной души, называл его своим «евангелистом»², чья любовь ему «так же нужна, как счастье»³. Он счастлив уже тем, что знаком с ним, способен оценить его; «это более, нежели что-нибудь, дружит меня с самим собою. И можно сказать, что у меня в душе есть особенно хорошее свойство, которое называется Карамзиным: тут соединено все, что есть во мне доброго и лучшего»⁴. В альбоме Е.Н. Карамзиной он записывает в 1818 году:

*Все для души, сказал отец твой несравненный.
В сих двух словах открыл нам ясно он
И тайну бытия и наших дел закон.*

«Здесь все для души человеческой, сказал незабвенный Карамзин», — повторит он на расстоянии 40 лет (к Нащокину 16/28 февр. 1847 г.). Перед Карамзиным он «не способен быть скрытным»⁵; он был ему «другом отцом», «большая половина жизни прошла под светлым влиянием его присутствия... Воспоминание о нем есть *религия*»⁶.

К этой «религии» он был подготовлен в стенах Пансиона, куда проникали течения чувствительности, поддержанные мистицизмом Штурма, книга которого обязательно читалась в школе, и влиянием масонов, старика Ив. Петр. Тургенева и Ив. Влад. Лопухина с его учением о «внутренней церкви». Все это дало форму, указало исход неудовлетворенной жажде счастья. «Мысли при гробнице» (1797) написаны 14-летним мальчиком под впечатлением смерти Варвары Аф. Юшковой, его сестры по отцу и крестной матери, в семье которой прошла часть его детства: серебристая, бледно мерцающая луна светит, совершенно по-юнговски, над полуразвалившейся гробницей; на ней череп, эмблема смерти; результат — сладкое уныние, задумчивость,

¹ Сл. письмо И.И. Дмитриева к Жуковскому 1823 г. 18 февраля.

² Ал. Тургеневу из Дерпта, летом 1815 г.

³ К нему же из Дерпта 31 октября 1816 г.

⁴ К Дмитриеву 18 февр. 1816 г.

⁵ К Ал. Тургеневу 1817, 25 апреля, Дерпт.

⁶ Ему же из Эмса, в последних числах июня 1826 г. Сл. письма к Е.А. Карамзиной, Эмс 1826 г. июня (лучшее мое чувство, чистое и высокое, как религия, была моя к нему привязанность), к имп. Марии Федоровне (14/26 июня) и Александре Федоровне (15/27 июня) из Эмса 1826 г. Сл. письма к Измайлову ноября 27, к Дмитриеву 28 авг. 1836 г., и послания к нему же 1813 и 1832 г. («Святое имя Карамзин»).

томность. Вселенная представляется гробом, но смерть — торжество, она — путь в вечнображенную страну. Стон «вещий совы» прерывает размышления, и растроганный автор возвращается в «сельскую свою кущу». То же настроение в статье «Жизнь и источник» (1798): «флёровая мантия меланхолии» покрыла его чувства. В «Майском утре» того же года он завидует участи человека, который «достигнув мирного блага, вечным спит сном». В 1800 г. являются его «Мысли на кладбище»; он усердно воспекает добродетель, из двух пьес под этим заглавием (1798) одна открывается картиной кладбища¹. Настроение пьес «К Тибуллу» (1800) и «К Человеку» (1801) — одно и то же: «вся наша жизнь лишь только миг», либо: «что жизнь твоя? — мгновенье!» — но для мудрого и чистого «могила к вечной жизни путь», «мы живы в самом гробе будем». Он переводит элегию Грея, вторичный пересказ которой (1802 г.: «Сельское кладбище») ввел его в литературу; настроенный меланхолично, не разобравшись в слащавой слезливости кн. Шаликова, он с удовольствием прочел его «Путешествие». «В нем нет ни географических, ни топографических описаний, — пишет он по его поводу, — нет сведений о населении, торговле того или другого города, зато автор позаботился об удовольствии читателя: вместе с путешественником мы взойдем на крутой берег шумящего Днепра, последуем глазами за бурным течением реки, вздохнем близ могилы его друга, освещенной лучами заходящего солнца, вспомним о прошедшем, унесшем, быть может, наше счастье. Кого не трогает *чувствительность*? Кто не предавался *меланхолии*? Кто не мечтал в тишине уединения о своей участи, не строил воздушных замков, не бросал унылого взгляда на минувшее время юности? Но она скоротечна, быстро исчезает волшебный мир, созданный фантазией, от него остаются развалины; в будущем *смерть, позади воспоминания, прелестные и вместе печальные*» (1803).

«Очень хочется мне видеть твою рецензию на Шаликова, — писал Жуковскому Андрей Иванович Тургенев, — и с какой точки зрения ты его рассматриваешь? На него нельзя писать критики, как-то жаль его» (из Петербурга 1803 г., 9 марта). «Ну уж, брат, Путешествие Шаликова! Я выходил из терпения. Козловский

¹ Говоря об одной из пьес, озаглавленных «Добродетель» («Под звездным небом тихой ночи»), Галахов указал на сходство ее третьей строфы с строфой стихотворения Кованько «Тленность», помещенного в «Приятном и Полезном Препровождении времени» 1795, ч. V. Жуковский: «Кидая всюду страшный взор, Сатурн несытый и свирепый... Парит и груды оставляет Развалин следом за собой»; Кованько: «Кровавый всюду взор вращая... Сатурн несытый и суровый... Парят перед ним везде туманы, А по следам развалин ряд». См.: «Отеч. Записки» 1852. Т. LXXXV. Отд. II. С. 43.

неистошимо нас забавил описанием самого путешественника и всех писателей чувствительной Москвы, которые Шаликова почитают за своего *doyen* [старейшину (*франц.*)] и смотрят на него с уважением. Твоя рецензия написана прекрасно, но на что же ты ее так напечатал? На что хвалить то, что так вяло, так слабо, так ненатурально, так обыкновенно! Для читателей также недовольно, что ты читал его, и с публикой целой в рецензии книги, право, кажется, говорить так нельзя... Впрочем, все это безделка, но Шаликов врет непростительно. Право, этого спускать бы ему не должно» (из Петербурга, того же года).

1.

Андрей Иванович Тургенев, такой же сентименталист, как и Жуковский, раньше его поставил поэзии чувства то требование искренности, которое так отличало впоследствии поэзию его друга. Его влияние на молодого Жуковского несомненно: Андрей Тургенев — это Жуковский юношеского дневника, только более страстный, менее рассудочный. Он был года на два (род. 10 окт. 1781 г.) его старше и в 1799 г. уже студент университета, когда Жуковский сидел на школьной скамье пансиона вместе с его братом Александром, а другой брат, Николай, был в младшем классе. В семье их отца, Ивана Петровича Тургенева, директора университета, Жуковский нашел то, чего тщетно искал в своей: симпатичную среду и встречные чувства. Новые литературные веяния коснулись его: у Тургеневых господствовал вкус к немецкой литературе, братья Тургеневы слыли в пансионе «записными немцами»¹, а старик Тургенев открыл юноше перспективу счастья во внутренней свободе, в воспитании своей человечности. С его сыном Андреем Жуковский связан был той идеальной, страстной дружбой, какую на западе возделывали поэты чувства и чувствительности, у нас Карамзин и Петров, Батюшков и Петин. Знакомство завязалось при посредстве Александра Тургенева; брат был его идеалом, он «наслаждался» им, записывает двадцатилетний юноша в своем дневнике 9/21 ноября 1803 г., вспоминая пансионские годы. «Дни и годы летели, мы жили вместе, любили друг друга, не говоря об этом никогда друг другу; были горькие и сладкие минуты, мы переносили их. Связь моя с пансионом доставила ему знакомство и дружбу с Жуковским, я этим радовался, был любим обоими, только никогда этого не стоил, и нас связывало с братом одно какое-то неизъяснимое чувство

¹ Жихарев, Записки Современника. I. С. 284.

братства. Потом случай познакомил и подружил меня с Андреем Сергеевичем Кайсаровым, а я его с братом, и с ним провели мы много приятных минут. С Мерзляковым познакомил меня брат, открыл мне в нем друга и благодетеля, я любил его для него самого и для того, что брат его любил; он меня любил для того, что брат был моим братом, и для того, что он постигнул, может быть, между нами то братское чувство¹; наконец может быть, он любил меня и для меня самого. Журавлев, к которому я также вечно привязан буду, был первым университетским другом брата моего. Сколько он сладостных, дружеских вечеров провел вместе, сколько горестей он разделял с братом и по разлуке с ним, сколько удовольствия представляла брату переписка с ним, и он никогда не мог простить себе, раз заплакал, досадуя на самого себя, чистосердечно укоряя себя в холодности и дурном сердце за то, что перестал писать к Журавлеву. Боже мой! И кто больше брата любил его, какое сердце чувствовало больше цену любви и добродетели!»

Андрей Тургенев был предназначен стать центром дружеского кружка, он всех заражал энтузиазмом идеалиста, спешившего исчерпать, испытав на себе, кружковую программу чувствительности, ее утопию жизни в тесной семье друзей для воспитания «человечности», для любви и поэзии. И он спешил, точно предчувствовал, что ему жить не долго, и везде являлись недочеты. Он страстно любил литературу, поэзию, а досуга не было; по выходе из пансиона он пристроился к Архиву Государственной Коллегии иностранных дел, где его товарищем был Блудов; затем пришлось служить в Петербурге (в Комиссии составления законов и в Вене при нашей миссии²), заниматься делом, далеким от его интересов, а друзья работали, да и свою литературную деятельность он всегда прислонял к дружескому кружку. Но приятели были далеко, дружба поддерживалась письмами, обобщалась, уходила в анализ, и любовь, чистая, мечтательная, делалась как-то на стороне, чувство поддерживалось воображением и рефлексией, удовлетворялось эгоистическим сознанием,

¹ Сл. письмо Мерзлякова к Ал.Ив. Тургеневу и А.С. Кайсарову 17 сентября 1802 г.: «Николай и Сергей (младшие братья Тургеневы) учатся у меня в классе... Напишите к ним писульку, Александр Иванович, в которой должно быть сказано: чтоб они были между собою дружнее, чтоб они любили друг друга так же, как любятся их большие братья». Сл.: М.И. Сухомлинов, А.С. Кайсаров и его литературные друзья. С. 29.

² В (неизданном) письме 7 ноября 1802 г. Ал. Тургенев писал из Гёттингена Жуковскому, что брат устроился при венской миссии; о том же Андрей Тургенев Жуковскому 20 сентября/8 октября из Вены.

что любишь — и любим, истощалось в наслаждении отречения, жертвы.

Все это, быть может, и не было так серьезно по существу, как казалось, но переживалось серьезно и настраивало меланхолично. В начале могли сказываться литературные влияния, те же, что и у Жуковского: по дороге в деревню с отцом и матерью, сидя в повозке, Андрей Тургенев «вздумал, было, сочинить эпитафию»¹, но «Элегия», над которой он долго работал и которая появилась в печати², несомненно отразила не навеянное только настроение. Она не уступает порой «Сельскому кладбищу» Жуковского:

Угрюмой осени мертвящая рука
Уныние и мрак повсюду разливает...

Образ влечет за собой другие: холодный ветер, ревушая река, поблекшие леса, туманы, сосны, задумчиво шумящие над гробами поселян. Все покоится сном:

Лишь колокол ночной один вдали звучит,
И медленных часов при томном удареньи
В пустых развалинах я слышу стон глухой;
На камне гробовом печальный тихий гений
Сидит в молчании с поникшей головой.

Александр Тургенев прочитал в Гёттингене братнину элегию и записал в дневнике 5/17 марта 1803 г.: «она мне снова еще более понравилась, так что я надписал над ней: *Die Löwin bringt nur einen Jungen, aber das ist ein Löwe!*» [Львица родила лишь одного детеныша, но это лев! (*нем.*)]

Недовольство жизнью невольно лелеет воспоминания о былом счастье и мысли о другом, несбыточном, которое манит нас в поэтическое «там» Жуковского. Для юноши былое счастье — это годы детства. «Ты, брат, едешь в деревню, — писал Андрей Тургенев Жуковскому (из Петербурга), — нет, еще боль-

¹ Из письма к Жуковскому.

² Вестник Европы. 1802. Июль. № 13. С. 52 и след. «Прошлого года это было самое горячее время для моей Элегии, — писал Андр. Тургенев Жуковскому 1 апреля 1802 г., — но она теперь лежит спокойно». А в другом письме того же года: «Я кончил Элегию. Что если бы напечатать ее в Вестнике? Но надобно сделать так, чтобы Карамзин не сделал этого для меня и потому, что будучи знаком, совестно было бы отказать, а чтобы он сам захотел, а это, кажется, трудно и почти невозможно. Что ты думаешь?»

ше, ты едешь туда, где ты провел свое детство! Счастливая завидная участь! Я не хочу и жить тогда, когда перестану то чувствовать к этому месту, что теперь чувствую. И теперь иногда вечером, сидя у окошка перед березой, или ночью, вспоминаю я свое Савинское подворье, все, все подробности привожу на память и, как говорит Измайлов, дышу малым человеком... Die goldenen Maienjahre der Knabenzeit leben wieder in der Seele des Elenden» [Золотые майские годы детства вновь оживают в груди несчастного. (нем.)]. То же в письме 21 марта 1802 г.: «Весна приходит, поздравляю тебя (Жуковского – прим. А.В.) с ней!.. Вспоминай, брат, чаще обо мне, когда будешь чувствовать ее тихое, сладостное дыхание». Жаль, что они не вместе: «весна особенно из всех времен года напоминает мне счастливейшее время жизни моей, и это время, как ты знаешь, детство! Какие минуты, брат, воспоминания о нем и о всех людях, которые тогда любили, доставляли мне дорогой». Когда Жуковский находился в унылом и печальном настроении, Тургенев писал ему, ободряя: будь повеселее, «ты должен быть доволен состоянием своим, я сужу по твоему образу мыслей: есть укромный уголок, да Руссо в руках, – а у тебя все это есть, – чего тебе хочется? Наслаждений истинных – их нет здесь, а какие только могут быть на этой планете, то дружба и поэзия тебе их доставляют, а доброе твое сердце пользуется ими. Перестань, брат, грустить! Правда, я и сам, не имея никаких причин, жаловался на судьбу, часто грущу, и редко, редко луч истинного удовольствия осветит душу мою. Ах, нет! Я имею все причины на нее жаловаться. Но что ж делать?

Забудем здесь искать блаженства
В юдоли горести и слез,
Там, там оно, среди небес,
В жилище блага, совершенства!
Там бедный труженик земной,
Достигнув вечного покою,
Узнает, что есть Бог благой,
Но здесь, тягчим его рукою,

В нем видя грозного судью,
Напрасны слезы проливая,
Как тень от горя исчезая,
Клянет он только часть свою».

(13 февр. 1802 г.)

«Ты, кажется, не можешь не быть доволен своей участью, — пишет Тургенев в другом письме из Петербурга, — уединение, зависимость, легкая должность (служба в Соляной конторе — прим. А.В.), в перспективе весна и деревня! Окружен Греем, Томсоном, Шекспиром, Попе и Руссо! И в сердце — жар поэзии! Ты верно не имеешь минут тягостной пустоты и скуки». А друзья его забыли, — пишет он из Вены 26 ноября / 7 декабря 1802 г., — на что им, в самом деле, терять время, чтобы вспомнить

Ce peu d'instans, hélas, et si chers et courts,
Ces fleurs dans un desert, le temps où le ramène
Le regret du bonheur et même de la peine.

[Эти немногие, увы, мгновения, столь милые и столь краткие, эти цветы в пустыне, время, в которое его возвращает сожаление о счастье и даже о страдании. (*франц.*)]

Письмо к Жуковскому, также из Вены, накануне 1803 г., который ему не суждено было пережить, кончается воспоминаниями. В начале стихи, обращенные к другу:

Смиренной жизни путь цветами устилая,
Живи, мой милый друг, судьбу благословляя,
И век любимцем будь ее;
Блаженство вольности, любви, уединенья
И муз святые вдохновенья
Проникнут сладостью все бытие твое;
А мне судьба велит за счастьем гоняться,
Искать его, не находить.
Но я не буду с ним считаться,
Коль будешь ты меня любить.

Сам он пристрастился к истории, жалеет, что слишком много перечитал немецких драм и романов. «А помнишь ли, когда ты, еще будучи в пансионе, украдкой переводил по четыре пьесы вдруг и когда по воскресеньям приходил с мною просиживать вечера?.. „Vous seriez bien volage sans les bienfaits du souvenir?“» [Вы стали бы непостоянны без благодеяний памяти? (*франц.*)].

Томсон, Грей, Поп и Шекспир — ими не исчерпывается репертуар Тургенева; в 1801–1802 г. он опередил Жуковского, его симпатии шире. Это определило его вкусы. Мы видели, что он

понял напускную чувствительность кн. Шаликова¹; в одном письме он шутит над кн. Симбирским, орошавшим «унылыми слезами» страницы «так называемого Приятного и Полезного Препровождения времени»: Тургенев как-то раскланялся с ним, а тот отвечал ему из окна комическим поклоном — и показал язык: «видно он утешился!» (22 авг. 1799 г.). — Интересен отзыв о Карамзине: прочтя его «шестую часть», Тургенев пишет Жуковскому: «много хорошего, прекрасного, но не тот Карамзин, который писал некогда: С кроткою улыбкою упал бы я во всеобъемлющее лоно природы. Или тот же?» (1802 г. из Петербурга). «Стихи Карамзина к Эмилии² ведь прекрасны! Но смотри же, как в нем угасло пламя поэзии. Он уже не написал бы теперь: К неверной и даже, думаю, Милости и Песни к Божеству. Что стал прозаический слог его?.. Впрочем, это только *en passant* [мимоходом]... Это не что иное, как психологическое замечание» (21 марта 1802 г.). «Я не прочел еще Измайлова, — приписывает он к А.С. Кайсарову в письме к Жуковскому (1802, весной, из Петербурга), — но ведь у меня особый вкус: многое мне нравится, однако ж многое и бесит; никому только не советую читать его после Стерна; лучше прежде». Если он признается, что в литературных спорах с классиком Блудовым он «редко был прав» (18 мая 1802 г.), то это, быть может, уступка дружбе. Сам он не классик, «любит страстно Гёте, Коцебу, Шиллера и Шпиза», пишет о нем в 1800 г. Каменев; «он много переводил из них, особенно из Коцебу», между прочим «Клеветников»³ и

¹ Интересно сличить отзыв о кн. Шаликове в дневнике 18-летнего Ал. Тургенева (под 5 апр. / 24 марта 1803 г.). Из Тепельгаузена (под Гёттингеном) он пошел с Сулимою ночью при полном свете луны. «Сели мы у быстрого журчащего ручейка и дали волю чувствам своим наслаждаться. Луна светила прямо на него и посеребрила его; в первый раз еще я почувствовал, что такое обворожительное положение и в самом деле может настроить душу приятным образом, но только человека с живыми чувствами и бесстрастным сердцем. Когда я увидел этот ручей, то я оправдал в мыслях своих всех наших стиходеёв, каковы Шаликовы и прочие, которые дают разные эпитеты ручейкам своим. Но при всем том я все еще думаю, что они не сами любовались натурою, а только выписывали и списывали с других те красоты, которые врожденные поэты сами находили. Иначе любовь их была бы пламеннее и журчание ручейков их сильнее бы действовало на чувство читателя. Мы должны списывать с оригинала, а не с копии».

² Вестник Европы. 1802. Февраль. № 3. С. 61 и след.

³ В 1798 г. в цензуру была представлена: Клеветники, драма в 5 действиях с немецкого переводил юнкер Андрей Тургенев. Остается неизвестным, его ли перевод был напечатан в Москве в 1803 г. (Сопиков № 3373, Смирдин № 7514). Я обязан этим указанием г. Рогожину. «Я еду в театр. Да! Клеветник пропущен, и так что бы я рад Антонскому в ноги поклониться» (недатированное письмо Андр. Тургенева Жуковскому).

«Негров-Невольников»¹. В 1801–1802 г., вспоминал впоследствии Ал. Тургенев, «несколько молодых людей, большею частью университетских воспитанников... переводили повести и драматические сочинения Коцебу, пересаживали, как умели, на русскую почву цветы поэзии Виланда, Шиллера, Гёте, и почти весь тогдашний новейший немецкий театр был переведен ими... Корифеями сего общества были Мерзляков и Андрей Тургенев. Дружба последнего с Жуковским не бесплодна была для юного гения»². В 1801 г. вышел «Мальчик у ручья» (*Die jüngsten Kinder meiner Laune* Коцебу) в переводе Жуковского с эпиграфом из послания Карамзина к Дмитриеву: «Любовь и дружба – вот чем можно себя под солнцем утешать», и очень вероятно, что именно к этому времени относится перевод комедии «Ложный стыд» с пометкой на заглавном листе: «Перевел с немецкого губернский секретарь Василий Жуковский»³. Жуковский не отстал еще от французских образцов, а Тургенев пишет ему, что французы «деженерируются, даже теряют и остроту свою, вместо того видна только пышность, надутость слога»⁴. Зато он в восторге от

¹ Бобров, Литература и Просвещение в России в XIX веке. Материалы, исследования и заметки, т. III: письма 26 и 27 сент. 1800 г., стр. 120, 122.

² Современник 1837. Т. V. С. 304–305. Узнав в Гёттингене о приезде Коцебу, Ал.И. Тургенев хотел ему представиться как переводчик его «Несчастных», но тот уже уехал. Сл. (неизданный) Дневник Ал.И. Тургенева 11/23 апреля 1803 г. и его (неизданные) письма к Мерзлякову и Жуковскому 13/25 апреля того же года. – В 1802–1808 г. драмы и романы Коцебу были у нас в страшной моде; к переводчикам принадлежали Каменев и Петр Кайсаров (сл.: Галахов, В.А. Жуковский. Материалы для определения его литературной деятельности, Отч. Зап. 1853 г. т. 88. С. 55 и след.); поставщиком Коцебу книгопродавцам и на сцену был в 1800-х годах А.Ф. Малиновский, тогда секретарь в Архиве иностранной Коллегии; переводили по большей части чиновники Архива (Сл.: М.А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. Изд. 2. С. 50–51).

³ Рукопись комедии недавно найдена проф. А.С. Архангельским. Жуковский писал Ал. Тургеневу, что в 1800 г. он вступил в Соляную контору «городским» (вероятно, губернским) секретарем, а вышел из нее в 1802 г. титулярным советником.

⁴ Сказано это по поводу Archenholz'a, *Annalen der britischen Geschichte*: «Славно, браво! Англичане, какой великий народ! Какая воспламенительная книга! Что французская вольность? Что Бонапарте? А прогос: Как, брат, умалется этот великий Бонапарте, которого я любил, которому я удивлялся! Славны бубны за горами, или

Когда какой герой в венец не развратился?

Английские журналисты презабавные, преюморы, а французы даже деженерируются и т.д. Я думаю, что Бонапарте очень интересуется Вестником (Европы); право, журнал хороший, Tendenz его прекрасная. А ведь русский и дерзает иметь свое собственное о вещах мнение» (9 марта 1802 г. из Петербурга).

немцев и англичан, хотел бы пересадить их на русскую почву; дарит Каменеву «песнь г. Шиллера к Радости»¹, бредит *Cabale und Liebe* [«Коварством и любовью»], мечтает перевести эту пьесу; побуждает Жуковского и Мерзлякова к переводу Дон Карлоса, Жуковского к чтению Марии Стюарт и Валленштейна. Жуковский еще колебался в симпатиях, а Андрей Тургенев писал ему из Вены: «Die Außendinge sind die Farbe des Geistes [Внешние вещи — краски духа], говорит Шиллер, которого я все еще называю моим Шиллером, хотя и не с таким смелым в пользу его предубеждением. Ты уж *слишком нападаешь на немцев*» (7/19 янв. 1803 г.). «Наконец мы решились с Мерзляковым переводить Вертера и сперва принимаемся за первую часть», — читаем в одном из ранних писем (19 авг. 1799 г.), а в другом: «мое состояние очень походит на то, которое описано в Вертере, в том письме, которое ты (Жуковский — прим. А.В.) переводил» (22 янв. 1802 г.); самому Тургеневу принадлежит перевод «Письма к другу» (Приятное и Полезное Препровождение времени, XIX, 107). Жуковскому он посылает свою надпись к портрету Гёте; это четверостишие, напоминающее такое же четверостишие Жуковского (1819 г.), Тургенев написал на экземпляре Вертера, который он подарил другу. Текст один и тот же, с отличием от печатного в 3-й строке (чувстве вместо чувствах):

Свободным гением природы вдохновенный,
Он в пламенных чертах ее изображал
И в чувстве сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим не покоренный.

Т...

За стихами следует в экземпляре приписка рукой Тургенева: «Ей Богу, ничего лучше вздумать не могу, как того, что я вечно хотел бы быть твоим другом, чтобы дружба наша временем укреплялась, чтобы я был достоин носить имя друга и твоего друга». Жуковский также оставил в книге свои следы, дважды зачертив силуэт девочки, племянницы, М.А. Протасовой, игравшей такую роль в его сердце и творчестве².

Всего интереснее отзывы Тургенева о Шекспире. Карамзин хвалил его официально, Жуковский никогда его не осилил; у

¹ Бобров, 1. с. С. 123.

² Экземпляр Вертера, о котором говорится в тексте, находится в собрании А.Ф. Онегина. В 1836 г. Ал. Тургенев вписал в гётевский альбом «четыре стиха переводчика Вертера, покойного брата Андрея, на 16-летнем возрасте им к портрету Гёте написанные». Сл.: Современник 1837. Т. V. С. 304.

нас его переделывали, как то было в обычае у французов; переделывали его Шиллер, Гёте и Фосс. Тургенев пришел в отчаяние, сравнив подлинник Макбета с русским переводом (письмо 1802 г., весной); перевод Шиллера очищенный, но не ослабивший оригинал. «Je suis tenté de le traduire. [У меня сильная охота его перевести. — (франц.)]. Славное бы дело было. Только надобно непременно переводить иное в стихах самых сильных и выразительных. — Ах, брат, какая это трагедия! — пишет он Жуковскому, — сколько в ней ужасу!» Он любит сценой появления тени Банко, монологом Макбета перед убийством, сценой лунатизма леди Макбет; «чародейки также имеют свое действие». Пусть Жуковский прочтет пьесу (30 янв. 1802 г.). И Жуковский видимо прочел, обсудил и отписал; дело обошлось не без критики, следы которой сохранились в следующем письме к нему его друга (после 1 апреля 1802 г.). Он извещал его, что через неделю кончит перевод Макбета и положит его «до выправки». «А propos о Макбете: ты немножко неосновательно предлагаешь истребить ведьм, или, по-моему, чародеек. Шекспир писал, право, не так-то без основания, как ты думаешь, и не для одной странности вывел их на сцену. Разве ты не видишь, по крайней мере мне так кажется, что они, имея влияние на поступок Макбета (предположи, что тогда им верили), дают ему больше побудительных причин, больше вероятности, и делают его не столько ужасным. Чем заменить это? Кто-то написал целое рассуждение о Макбете, но я не читал еще его, но только видел в книжной лавке. *Оставьте, друзья мои, этого гения так, как он есть*, переделывать в нем, вставлять свое вместо его, не легко, очень, очень нелегко. Чем больше вникаешь в него, тем он становится *священнее*. Еще простительнее что-нибудь выпустить: можно, набравшись, как говорится, духа его, написать свое, призвав на помощь утонченность и правила, но когда дело идет о нем самом, то пусть Шекспир останется Шекспиром. Но я знаю, что это рассуждение будет *не по твоему вкусу*; но я не виноват, и чуть ли еще не прав».

Еще в 1821 г. Жуковский остался при своем вкусе, но при чтении Тиком Макбета ему могли припомниться старые споры с приятелем: в Макбете ему понравились места ужасные: *сцена ведьм*, монолог Макбета перед убийством, ужасное описание убийства, сцена, в которой является жена Макбетова сонная.

С живостью литературных интересов соединялась у Андрея Тургенева чисто юношеская страстность, с которой он спешил

осуществить их, провести в дело. Он переводит¹, затевает переводы (Архенгольца, Монтескье, Оссиана и др.), побуждая других к сотрудничеству, к изданиям, навевается у приятелей о литературных новинках, о том, что они делают, что комедия Блудова (письмо 20 сент. / 8 окт. 1802 г. из Вены), издается ли журнал Сумарокова (письмо 26 ноября / 7 дек. 1802 г.)²; пишет стихи, и спрашивается у Жуковского («во всем я не могу найти лучшего судьи», письмо 31 дек. 1802 г.), как для Жуковского критика Блудова была закон. Он обещает прислать другу «поэзию» Гольдсмита, если найдет ее в Петербурге (весной 1802 г.), а в письме из Вены (26 ноября / 7 дек. 1802 г.) спрашивает: «что делает твой *Deserted village*?» Разумеется «Опустелая деревня», переведенная Жуковским из Гольдсмита. Хочется ему видеть «Элегию» Жуковского, «какова она теперь» (письмо 31 декабря 1802 г. из Вены), т.е. «Элегию» Грея во вторичном переводе, и он благодарит друга за посвящение (7/19 янв. 1803 г. из Вены). Ему известны были и другие юношеские произведения приятеля, не попавшие в печать, если они не скрываются под другими названиями, в числе известных, написанных до 1803 г. В одном письме говорится о «стихах», свидетельствующих о горестном настроении Жуковского, в другом — об «оде», которой «первый куплет самый отчаянный». Либо он спрашивает его, не начал ли он «еще переводить какой-нибудь Спировой (пьесы) или и двух» (в Москве, вероятно, 1801 г.); разумеется Шпис, давший материал для «Двенадцати спящих дев». Говорится еще о какой-

¹ Напечатаны были следующие его переводы: Библейская нравоучительная книжка, соч. г. Фердессена. М. 1795 (с немецкого); Способ читать, замечать и сочинять в пользу молодых людей, предложенный г. Мейнерсом, перевод с немецкого. М. 1798 (сл.: Рогожин, Материалы для русск. библиографии XVIII и первой четверти XIX столетия. Т. I. С. 72–73); История вкуса в изящных искусствах (Полезное и Приятное Препровождение времени XVII. 1798. С. 40 и след.); Объяснение, разделение и начало изящных искусств (*ibid.* 1798. XIX. С. 97 след.: из Batteux); Что есть хороший вкус? (*ibid.* XIX. С. 103 и след.); Письмо к другу (*ibid.* XIX. С. 107 и след.: из Вертера); Советы молодой женщине. М. 1799 (с французского). Отрывки из записок Франклиновых, перевел с французского Москов. университета ученик Андрей Тургенев. Москва 1799 (Сопиков № 8015, Смирдин № 10417 с буквами А.Т.). Последним сообщением я обязан г. Рогожину. В письме к Жуковскому (не датированному) Андр. Тургенев писал: «Франклинову жизнь кончил, только все совсем не так, как должно быть... Если бы не батюшка и не Иван Володимирович (Лопухин) хотели этого, то право бы все бросил; мне противно смотреть на жизнь этого человека, никогда с ним не разделаешься. Ой, Франклин, заел ты меня!» — По указанию г. Рогожина, в московскую цензуру представлена была «Ода на день моего рождения, сочинена Андреем Тургеневым», но билет не был выдан.

² Панкратия Платоновича Сумарокова, «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения», 1802–1804 гг.

to Progress of poetry: «что твой Progress of poetry? Отдал ли ты ее? Право, надобно что-нибудь издавать» (письмо 21 марта 1802 г.). Не идет ли дело о Progress of poetry Грея, которого читал в то время Жуковский?¹

Вдали от своих юных друзей, проникнутых теми же стремлениями, Тургеневу не по себе, он чувствует, что слабеет, у него нет критерия. «В моих литературных вещах происходит какая-то революция: все теперь в ферментации, и я не знаю, что хорошо и что дурно», — сообщает он Жуковскому из Петербурга (1802); а в другом письме: «Когда я вообразил себе твой образ жизни и свой, твои успехи в литературе и мои неудачи и даже забвение старого, то мне пришла охота почти заплакать» (3 февр. 1802 г.). Он слышал, что Жуковский переводит «Элоизу» (письмо, вероятно 1801 г., когда Тургенев и Жуковский жили в Москве: Елиза²), сам принялся за перевод в 1802 г., вернулся к нему в Вене и просит Жуковского: «оставь уж мне испытать над ней мои силы» (31 дек. 1802 / 12 янв. 1803 г.); «после первого письма твоего об Элоизе я было задумался и начал об этом размышлять, но после второго, где ты пишешь о новой поэме (?), скажу тебе: брат, оставь мне Элоизу! Признаюсь тебе в моей слабости, я ни к чему иному не готов, о ней много думал, а теперь не так легко к чему-нибудь другому приготовить» (1803 г. из Петербурга). Он пожертвовал своей привязанностью, «своею радостью», остается отказаться от литературы. «Часто, очень часто убийственная для души моей мысль, что я имею к ней (к литературе) столько препятствий. Один раз отказаться, и все бы сделано, но никак, никак не в силах» (4 февраля 1802 г.). В Вене ему начинает казаться, что он слабеет в русском языке. «Русский язык теперь главная моя забота. О обстоятельства! Душа моя в сии минуты исполнена горести, я не рад своему существованию. О как спокойно ничтожество и как иногда не желать его! Брат! все прошедшее, давнее и недавнее, смешалось вместе в голове моей и живо мне пред-

¹ В 1852 г. кн. Вяземский писал Плетневу (1 дек. — 19 ноября): «Полторацкий писал мне о некоторых стихотворениях Жуковского, времени детства его, им отысканных в печати и не известных, по крайней мере мне». Очень вероятно, что и из стихотворений Жуковского более поздней поры не все дошли до нас. «Очень жаль, что ты не обобрал Тургенева (Александра Ивановича), когда он был в Москве, — писал Гоголь Шевырëву 14 декабря 1844 г., — у него множество бумаг того времени, весь протокол арзамасских заседаний и множество стихов Жуковского, написанных в тогдaшнее время, о которых никто, и даже сам Жуковский не знает».

² Элоиза Руссо — или «Послание Элоизы к Абельяру» Попа, за перевод которого (неконченный) принялся впоследствии Жуковский?

ставилось. Тронутая душа моя стремится в него; о как оно интересно со всеми своими радостями и горестями, с тем временем, с теми днями, которые видели меня младенцем! Тихие, блаженные дни, укройте меня от настоящего и от будущего! Вас нет, вас и никогда не будет!» (Вена, 31 дек. / 12 янв. 1802 г.).

Поэзия и дружба, писал Тургенев Жуковскому; поэзия в уединении с друзьями – вот утопия западных и наших сентименталистов; в одиночестве не воспитать гуманного чувства, сердце возделывается в взаимодействии одинаково настроенных людей. У Тургенева нашлись друзья среди товарищей по Собранию воспитанников Московского Университетского Благородного Пансиона и по Дружескому Литературному Обществу; его корреспонденты – Жуковский и Мерзляков, который был несколько старше обоих (род. в 1778, † 1830 г.); далее стояли пансионские товарищи Жуковского: Родзянка, Кайсаровы, Воейков, приятель Мерзлякова, позже сыгравший такую незавидную роль в сердечной жизни Жуковского; из внепансионских друзей – Блудов, с которым был близок и Жуковский. «Дружеское Литературное Общество», устав которого 12 января 1801 г. подписан был Мерзляковым и Жуковским, Андреем и Александром Тургеневыми, Воейковым, Родзянкой и двумя Кайсаровыми, имело целью «образовать в себе бесценный талант трогать и убеждать словесностью: да будет же сие образование в честь и славу добродетели и истины»; вторая задача «помогать бедным». От членов требовался «нравственный характер»; что соединяет нас всех в одно, говорится в уставе, «это то же, что до сих пор составляло радость и счастье нашей молодости, это дух благий дружества, сердечная привязанность к своему брату, нежное доброжелательство к пользам другого... С небесною улыбкою на глазах, с животворною фиалкою в руке низлетающее божество – это дружество! Будем иметь доверенность друг к другу!»

Андрей Тургенев глубоко проникнут святостью товарищеской дружбы, готов поддержать ее на всех путях. «Я и, может быть, и еще некоторые очень привязаны к нашему Собранию (воспитанников Моск. Унив. Благородного Пансиона – прим. А.В.), – пишет он Жуковскому из Петербурга, вероятно в конце 1801 г. – Вот предложение от меня всем членам: я бы желал, чтобы дни двух торжеств наших, 1-го и 7-го апреля (другого не помню), каждый из нас их праздновал, где бы он ни был», чтобы они в эти дни духом были вместе, и если не все сочлены, то «душевные друзья» Собрания вспомнили о нем, об отсутствующих товарищах. «Ce sera le point de réunion de notre ressouvenir»

[Это будет минута соединения наших воспоминаний. (франц.)]. И он волнуется, когда позже до него дошли вести, что некоторые члены отступают от Собрания, Кайсаровы «смеются над речью Мерзлякова»; а он думал, «что Собрание нам дорого хоть в воспоминании!» Он хотел бы быть совершенно один, от всех отделиться, общаться только с Жуковским (3 февр. 1802 г.). С ним он особенно, душевно дружил, и Жуковский привязан к нему так же нежно. «Говоря о своих связях, я ни с кем не ровнял тебя, — пишет ему Тургенев. — Мы рождены друг для друга: Мерзлякова я люблю очень, больше, больше Родзянки, но это не то, что мы с тобой. Сколько сходства в наших характерах! И это одно, что разлука разрывает обыкновенные связи, а я со всяким днем живее чувствую, что мне бы надобно быть с тобою и что мне недостает» (конца 1801 г.). Брат (Александр Иванович) и Жуковский одни — «поверенные души» его. «Я пламенно люблю тебя, — читаем мы в другом письме, — и любовь моя к тебе возрастает все более и более»; «твой вечный, вечный друг».

Пожить с друзьями Андрею Тургеневу не удалось, но он деятельно переписывается с ними, утверждая союз любви, который внушал устав Общества. Первое письмо Тургенева к Жуковскому повторяет мысли устава: «В деятельности будем искать себе веселия, счастья, будем, сколько можно, делать добро, будем полезны, сколько можем, и в те тягостные минуты холодности и угрюмой мизантропической нечувствительности, когда мы не видим в добре никакой прелести и неспособны ни к какому доброму делу, станем, по крайней мере, вспоминать, что в минуту радости и удовольствия, когда сердце наше гораздо справедливее, оно исполнено было добра и любви» (19 авг. 1799 г.).

Расставаясь с Жуковским, Тургенев условился переписываться с ним; написал первый, может быть, и нескладно, «чувствую, что первый блин всегда комом, что первую песенку зардевшись петь, но искренность и любовь, вот что должно быть нашим девизом». Он будет писать набело, не сохраняя копий, «это знак, что ты должен сохранять мои письма, так как я буду сохранять твои». И он дает ему отчет «в своих мыслях и чувствах», хотя жизнь бедна их разнообразием, «особливо теперь, когда все мои помышления вертятся около одной мысли, так или почти так, как выразился в одном месте Фиеско» (то же письмо).

Письма становились исповедью перед друзьями, вызывали их на таковую же. «Письмо твое есть предисловие, слишком сокращенное, к целой моей жизни, — пишет Мерзляков Жуковскому, — к целой твоей жизни, к целой нашей жизни, т.е. нас троих (тре-

тий — Андрей Тургенев — прим. А.В.). Поверь, любезный, что я пишу, это все старое в моем сердце; о старом обыкновенно говорят и пишут мало; итак, скажу в трех словах: я твой верный, вечный друг»¹. Той же цели душевного общения служил журнал, который вел Андрей Тургенев: его венский журнал в виде писем предназначался Анне Михайловне Соковниной²; 26 сент. / 8 окт. 1802 г. он пишет Жуковскому из Вены: пусть накопит денег и придет к нему года через два, «и скажи, как бы нам тогда писать журнал»³.

В пору сентиментализма дневник был в моде; в нем собирался и объективировался материал самонаблюдения и самопознания; на старости лет Жуковский признавался Плетневу, что его мысли приходят в ясный порядок лишь тогда, когда перо у него в руках: «оно ловит их налету и приковывает к бумаге; иначе они и для меня самого остались бы мимопролетевшими тенями, никакого следа не оставившими за собою, феномен довольно замечательный: результат воспоминания о прошедшей жизни» (18 апреля 1851 г.). Такой дневник вел, по рецепту Готтшеда, Болотов, вели Жуковский, Тургеневы, Блудов. Принимаясь 17/29 окт. 1803 г. за свой журнал, прерванный смертью брата, Александр Тургенев уверен наперед, что он не будет тем, что прежде: будут заметки из лекций, кое-какие мысли, воспоминания о брате. Он цитирует его двустихие «И в самых горестях нас может утешать Воспоминание минувших дней блаженных» и продолжает: «Однако ж надобно из благодарности выписать то место из *Philosoph für die Welt* [«Всеобщий философ»] (Энгеля), которое напомнило мне о моем журнале. Вот оно (*Weihnachtsgeschichte*): Ein wenig Atem oder ein Paar Federstriche die wir für unsere Gedanken aufwenden, so schwer uns auch manchmal beides vorkommen mag, werden vielleicht wieder durch die Deutlichkeit, die Ordnung und das Leben eingebracht, das eben diese Gedanken dadurch erhalten» [(Рождественская история): Сколь бы трудными порой ни казались несколько вздохов или пара росчерков пером, потребные для наших мыслей, — они, возможно, будут вознаграждены той ясностью, порядком и жизнью, которые благодаря им приобретут эти мысли.

¹ Русск. Арх. 1871. № 2. С. 0134–0135.

² Сл. письмо Жуковского к Ал. Тургеневу конца декабря 1807 или начала января 1808 г.

³ Андрей Тургенев вел его давно и не раз говорит о нем в своих письмах. Весною 1802 г. он сообщал Жуковскому о своем психологическом правиле: никогда не «переселяться в будущее в отношении к любимейшим нашим предметам... Распространено будучи вставочными рассуждениями и примерами, оно уписалось в журнале моем не менее как на двух страницах». Он намеревался вести журнал в Вене и по дороге (письмо 30 января 1802 г.).

(нем.)]. Вот что добрый и умный отец вписал в белую книгу, которую он подарил на новый год своей дочери, желая, чтобы она от времени до времени вела журнал свой и записывала бы в нем свои мысли, чувства, и старалась бы выразить на письме то, что она читала в авторе; таким образом, говорит он, они для тебя поясняются и превращаются в твою собственность, часто даже рождают в тебе самой другие и развивают способность мыслить. Не то ли же самое советовал мне батюшка, не просил ли он меня вести журнал во время своего вояжа, что я начал приводить в исполнение не прежде, как уже поживя месяца три в Германии, и о чем я теперь столько жалею и всегда жалеть буду?¹ Сколько рождалось во мне новых собственных идей в вояж мой до Лейпцига и сюда (в Гёттинген — прим. А.В.), которые вместе с рождением и исчезали! Какое невозвратимое сокровище! Какая потеря в сумме познания самого себя! Не то ли же самое советовал мне и брат мой, мой ангел-хранитель, мой образец, которому я твердо решился во всем последовать? Он даже и писал мне несколько раз об этом».

Письма и журналы вращались в кругу друзей, передавались из рук в руки, стилизовались, ценились и как литературный продукт, списывались в «белые книги» — альбомы². Это была кружковая, эпистолярная литература, как в эпоху Возрождения. Андрей Тургенев пишет вместе Жуковскому и Мерзлякову, Блудов и Ал. Тургенев Жуковскому, Мерзляков Ал. Тургеневу и А.С. Кайсарову и т.п. Порой распечатывал письмо не тот, кому оно было адресовано, и Мерзляков извиняется перед Жуковским, что вскрыл письмо Андрея Тургенева: «причиною тому то, что я от радости не посмотрел на последние строки надписи; разорвал, как бешеный... Божусь, что не читал. В поруку моя совесть верная»³. То же в письме Ал. Тургенева к Жуковскому: прочел письмо к нему Авдотьи Николаевны Арбеновой, просит прощения и спрашивает, можно ли и вперед. — В письмах обсуждались чаяния и планы, даже личные тревоги сердца; когда на сцену явилась «она», другу сообщалась копия с ее письма или с ответа ей.

¹ Из Москвы Ал. Тургенев выехал 21 июля 1802 г., дневник начинается с 20 дек.

² 22 февраля / 6 марта 1803 г. Ал. Тургенев получил венский «журнал» брата: «Как приятно проводил он время и как умел живо и интересно выразить все, что чувствовал, что видел! Какая откровенность, какая непринужденность, Unbefangenheit, в мыслях, чувствах и выражениях! Журнал его есть зеркало, в котором видишь прекрасную, благородную душу, облагороженную красотами природы и поэзии» (из дневника).

³ Русск. Арх. 1871. № 2. С. 0134.

2.

«Сказать ли вам, о чем я думал, ходя? — писал Андрей Тургенев из деревни Жуковскому и Мерзлякову. — Делал планы для будущей жизни. Я бы хотел жить в деревне с некоторыми друзьями, которые, право, у меня есть истинные, и воображал себя в положении, что будто я езжу с ними верхом, имея с собою деньги, заезжаю или останавливаюсь у крестьянской избы и облегчаю участь бедного мужика. Но может ли сельская картина быть совершенна без ...? Я вообразил и ее, со всеми прелестями, добродушием, и верностию, и любовью; но это можно лучше чувствовать, нежели описывать. Раздумайтесь об этом, и вы почувствуете то же, что я. Что, друзья мои, если мы, в молодости разойдясь на все четыре сторонушки, наконец сошлись бы все вместе и если бы всякий из нас мог петь вместе с Шиллером (An die Freude [«К радости»]):

Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seine Jubel ein!

[Кто заполучил прелестную жену, — ликуй с нами!]

И тогда бы в мирной тишине начали бы мы трудиться, жить вместе, зимою ездили бы в город Москву для *Cabale und Liebe* и проч.» (вероятно, 1799–1800 г.).

«Она» могла быть в то время для Андрея Тургенева уже не утопией, хотя вообще в любви юных сентименталистов личное чувство как-то уходит в отвлеченность. «Мой друг, женщинам определено воспламенять нас к великим делам, к труднейшим пожертвованиям и, может быть, к самым злодействам», — говорится в одном из ранних писем Андрея Тургенева к Жуковскому (19 авг. 1799 г.). Женщины являлись объектом, на котором изощрялось чувство, любовь вступала в права дружбы; так было в теории. Любовь представлялась образовательной силой: женщину воспитывали, читали с нею Руссо, давали читать Мендельсона «О бессмертии души»; она настраивалась встречно, гипнотизированная новыми откровениями, и сама цитировала «шестую часть» Карамзина. А воспитатели млели перед своим же, отраженным светом.

Письма Андрея Тургенева знакомят нас с начальной историей его любви и первым, дотоле неизвестным, увлечением Жуковского.

В 1805 г. он задумал рассмотреть «свою прошедшую жизнь», но ограничился программой, обнимающей девять параграфов. Три первые озаглавлены: Ребячество. Учение у Роде (Жуковский

учился в Туле в пансионе Роде. В этом параграфе он упоминает и о смерти отца, Афанасия Ивановича Бунина, в марте 1791 г.). *Марья Николаевна*. — В 8-м параграфе, идущем до 1802 г., написано, между прочим, следующее: «Вступление в пансион... Первый акт (1779 года). Иван Володимирович (Лопухин), Тургеневы, Родзянка, Мерзляков. Пансионский образ жизни. *Марья Николаевна*. Собрание (воспитанников Московского Университетского Благородного Пансиона)... Служба. Вступление в Соляную контору (где Жуковский служил с 1800 по 1802 г.)¹. «Мальчик у ручья» (перевод из Коцебу, *Die jüngster Kinder meiner Laune*, 1801 г.). Греева элегия (первый перевод 1801 г.). Литературное собрание. *Знакомство с Соковниными*. — Параграф девятый, который должен был рассказать о событиях 1802–1805 гг., начинается указанием на «вторичный перевод Греевой элегии (1802) ... Смерть Тургенева (Андрея, † 1803 г.). Вадим (1803 г.)... *Свечин... Свечина развод*».

Мать Марьи Николаевны, Наталья Афанасьевна Бунина, вышла за Н.И. Вельяминова, служившего в Соляной конторе, куда поступил и Жуковский; Марья Николаевна, замужем Свечина,

¹ Сл. письмо Жуковского к Ал. Тургеневу конца января или начала февраля 1818 г. Вероятно, к выходу Жуковского из Соляной конторы относятся следующие письма. Весной 1802 г. Андрей Тургенев писал ему из Петербурга: «Сейчас, брат, я получил твое письмо об аресте... Меня это возмутило. Что мне сказать тебе? Я не рад, очень не рад этому, что ты будешь в отставке, но что же было делать на твоём месте? Если все еще можно поправить, то я бы этого очень желал, но если тут оскорбится чувство твое, если будет хоть тень оскорбления для твоей чести, то делать нечего. Поговори с братом, а он с батюшкой». И в другом письме из того же времени: «Что с тобой делается? Я очень обеспокоен тем, что арест твой (?) так долго продолжается. Но, брат, зачем не хочешь ты быть в службе? Если ты хочешь моего совета, то я бы служить советовал: право, можно и служить и заниматься нашим предметом... Конечно, ты не должен был сносить от прокурора, но если представится другая служба, — ибо я слышу, что батюшка хочет найти, — если это может быть репарировано удовлетворительно для тебя, то на что жить в отставке? Можно даже искать службы, если сама не представится, потому что можно искать и благородным образом... Не револютируй тем, что я говорю тебе о службе». — Какая-то недомолвка между друзьями, когда Жуковский еще служил в Соляной конторе, вызвала следующее стихотворное к нему послание Тургенева:

«Тебе легко, мой друг, предписывать законы,
Сердиться, губу дуть, ссылаясь на оны;
Приказывать легко, но трудно исполнять,
Сие, кто служит, всяк конечно должен знать,
В Архиве ль служит кто, иль в Соляной конторе,
В Сенате, в армии, иль в корабле на море.

...Приходи, пожалуйста ко мне, на словах браниться гораздо лучше».

приходилась таким образом родной племянницей Жуковскому, по его отцу, Афанасию Ивановичу Бунину. На нее и ее сестру, Авдотью Николаевну, замужем Арбенеvu, рассчитывал впоследствии Жуковский в надежде, что они помогут устроить его брак с другой его племянницей, М.А. Протасовой, но посредницы изменили. К Арбенеvой обращено его послание (1812), другое, найденное в его бумагах, к ее сыну, Саше Арбенеvu (27 января 1814 г.)¹.

Встретившись в 1837 г. в Белёве с племянницей Сергея Михайловича Соковнина, О.В. Павловой, Жуковский пишет ему, напоминая о том времени (в 1802 г.), когда он бывал у них на Пречистенке². В 1802 г., еще будучи в Московском Университетском Благородном Пансионе, Соковнин напечатал, в переводе с французского, «Избранные мысли Томаса и Болинброка и учение древних философов о Боге», с посвящением своей матери, Анне Федоровне, на смерть которой написаны стихи Жуковского, «вырезанные на гробе А.Ф. Соковниной» (1802). Любитель литературы, Сергей Михайлович писал мало; некоторые его стихотворения и переводы в прозе появились в «Приятном и Полезном Препровождении времени», «Иппокрене», «Утренней Заре». Из семейного знакомства завязалась его дружба с Жуковским, а через него и с Ал. Тургеневым; во время своих приездов в Москву в 1809 и 1810 гг. Жуковский останавливался у него в доме, в 1809 г. он и Тургенев хлопотали о том, как бы пристроить общего приятеля. «Дружба и любовь тех людей, которые связаны были с нашей семьей, для меня всего дороже, — писал Соковнин Тургеневу, — тем более, что теперь только в их дружбе и любви могу возвратить свои потери». Он давно желал его дружбы; это не пустые слова: «нет, я право, с этой стороны похож на Василия Андреевича, право, сердце мое так же готово к дружбе, так же может наслаждаться ее наслаждениями, как его. Жаль, что вы знали меня не в тех летах, когда человек начинает себя чувствовать. Право, скажу вам, не лстя себе, что во мне есть немножко того, чего так много в вас и Жуковском. Может быть, *mes épanchements* [излияния (*франц.*)] покажутся вам смелыми, но я надеюсь в них со временем оправдаться. Вы увидите, что я говорил правду, когда мы будем сидеть втроем за доброй чашкой шоколаду и

¹ Бумаги В.А. Жуковского, I. с., с. 34–36, 41. Сл. письма Жуковского к Арбенеvой и Свечиной 1813 и 1814 г. и ответ ему Арбенеvой 1814 г. в Русском Архиве 1883 г. I. С. 308 и след.

² Соч. В.А. Жуковского, 7-е изд. Ефремова. Т. VI. С. 547 (20 июня 1837 г.).

говорить о том, что уже прошло, что никогда не возвратится и однако ж все еще нам приятно и незабвенно» (2 декабря 1809 г.)¹.

Чувствительность С.М. Соковнина развилась на почве психической болезни, признаки которой обнаружались в его странном увлечении княгиней В.Ф. Вяземской: в 1816 г. он написал ей письмо с объяснением в любви, 17 апреля следующего года в два часа дня бросился перед нею на колени на Никитском бульваре, прося прощения, что оскорбил ее; он дал клятву, что при всякой встрече с княгиней будет падать перед нею на колени. Приятели говорили тогда о проказах «блуждающего жида»; его перевели на службу в Феодосию².

В письмах Андрея Тургенева его имя не встречается, назван его брат Николай Михайлович и две сестры: Анна и Екатерина Михайловны. К первой (1784–1873), вышедшей впоследствии за В.Н. Павлова³, питал платонические чувства юноша Александр Иванович Тургенев⁴. Ему не было 15 лет, когда 31 декабря 1798 г. на пансионском акте он увидел Анну Михайловну; четыре года прошло с тех пор, как их взоры встретились и они узнали друг друга, вспоминает он в ученом одиночестве Гёттингена; «ах, ничто и никогда не истребит из моей памяти сии первые минуты, сие начало моего блаженства, ничто не потушит во мне сей первой искры... и добродетели»⁵.

Вскоре после того он был с нею в день ее ангела (3 февраля 1799 г.) у Лихачёвых. «Мог ли я тогда надеяться или только вообразить, что со временем буду ездить к ним в дом, буду л(юбим). Прошлого года этот день провел я очень грустно в Петербурге, ходя с стесненным сердцем по Невской набережной, досадовал, для чего меня нет в Москве. Она не ожидала, что мы скоро увидимся, и очень была печальна, весь день

¹ Русская Старина. 1901 г. Апрель. С. 125 и след. и прим. В 1809 г. Жуковский ездил в Петербург (сл.: Русский Арх. 1867 г., с. 798, прим. 9 и письмо Ал. Тургеневу 10 февраля 1809 г.). Может быть, к этому времени относится неизданное письмо к нему Ал. Тургенева: он и Ал.Як. Булгаков ждут его, пусть возьмет с собою брата Сергея и Сережу Соковнина.

² Сл.: Остафьевский Архив кн. Вяземских. I. С. 72, 73, 74, 75, 76, 79, 444–445, 451, 517. Сл. соч. Батюшкова, III. С. 735–736. В 1825 г. Жуковский писал о Соковнине Сухотину, сл. его письмо к Ал. Тургеневу 31 января 1825 г.

³ Сл.: Письма В.А. Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу. С. 41, прим. 1.

⁴ Следующие подробности взяты из его не изданного пока дневника, веденного им в Гёттингене, с одним большим перерывом, с 20 декабря 1802 г. / 2 января 1803 г. по 3/15 февраля 1804 г.

⁵ Дневник 31 декабря 1802 г. / 12 января 1808 г.

проплакала. Прости, мой милый друг, пишу о тебе редко, но не проходило еще ни одного вечера, в который я бы не думал о тебе; это одно может размягчить меня и, досадуя на себя иногда целый день, я после мирюсь с собою и засыпаю с добрыми чувствами, с новым расположением ко всему доброму. Что, если б не уверенность, что я любим тобою, я бы, право, часто не находил в себе внутреннего спокойствия и роптал на Провидение, зачем не сотворен я с лучшим характером. Прости, единственный друг мой, прости»¹. Мысль о далеком друге поддерживает его, ее советы удерживают его «от многого», и это наполняет его самодовольством; графа 3/15 февраля (день ангела Анны Михайловны) наполнена в дневнике двумя словами: «3-е февраля!»² — По смерти Андрея его отношения к Соковниным вспомнились ему по связи с братом и ему живо представилось, как он вошел в их дом, «был принят отменно ласково, всегда ездил туда с некоторым удовольствием и для того же самого хотел, чтобы и брат разделял его. В первый раз приехали мы туда вместе, когда еще никто не знал его, но скоро, скоро все переменилось, и брата также узнали и полюбили. Мы и Жуковский и Костогоров³ были там часто, брат и я так любили ездить туда, что мы наконец считали за жертвование, когда один другому уступит сегодня туда ехать одному в случае, если обоим невозможно. Следующее время, обстоятельства слишком свежи в моей памяти, чтобы я мог еще писать об этом. Знаю только, что Соковнина связана с братом еще больше, что мы еще больше узнали любовь нашу, цену нашего братства, узнали, что мы можем и умеем сделать друг для друга величайшее жертвование. Что других могло разлучить, расторгнуть на веки друга от друга, то самое нас теснее связало, приближало, и мы мечтали быть подобны Лопухиным. Желал бы я только, чтобы письма мои к нему из Москвы и из Гёттингена сохранены были; они могут служить ему и мне верным панегириком (я ведь пишу сам себе); в них могут видеть и понимать любовь братскую»⁴.

В 1802—1803 годах братьев не было в Москве: один в Петербурге и Вене, другой в Гёттингене, а Жуковский бывает у Соковниных, играет у них в театре, играет в фанты и пишет экспромт к глазам Анны Михайловны:

¹ Дневник 25 января / 6 февраля 1803 г.

² Сл. Дневник под 2, 5 и 8 февраля ст. ст. 1803 г.

³ Товарищ Жуковского и Тургеневых по Пансиону.

⁴ Дневник 9/ 21 ноября 1803 г.

Твои глаза хвалить мне должно.
Филлида, я готов хвалить,
Но как? Стихами невозможно,
А сердцем — сердце лишь молчит,
Его молчание яснее говорит.

Анна Михайловна отвечала:

Молчанье не бывает яснее языка,
Чем больше чувствуешь,
Тем больше говоришь,
И то, что нравится, о том не умолчишь.

Жуковский заключает:

Оставим разуму искусство говорить,
Пусть сердце чувствует, вздыхает и молчит¹.

Анна Михайловна любила писать шуточные стихотворения, как любил писать их и Жуковский, сам валявшийся над ними со смеха²; не прочь была и посентиментальничать: она и сестра велели вырезать для А.П. Зонтаг девиз на печати: лампаду с надписью: Не блеск, а польза³. Сохранилась юмористическая записка Жуковского к Анне Михайловне из той поры⁴: «Покорно благодарю вас за коврижку. Она не только прекрасна, но бесподобна, несравненна, потому что от вас! Я ел ее с такой приятностью, с таким восхищением, что не увидел, как съел. Так все скоро проходит в свете; одно только не пройдет вечно, и то не в свете, а во мне⁵... Катерина Михайловна в своем письме пишет ко мне, *что хорошо радоваться любовью других, если своего предмета нет, а я, хотя и имею предмет милый, достойный любви, но не радоваться, а плакать должен. Пожалейте обо мне. Вы так жалостливы — и безжалостны*. Прочтите еще раз для памяти песню: *Филлида, я любим тобой*, а после нее *Послание к ...*⁶. Эти две пиесы неразлучны! Но вы, я думаю, о них и позабыли! Бог вам судья!»

¹ Отчет Имп. Публ. библиотеки за 1893 г. С. 122. Эти стихотворные шутки следует отнести к 1802–1803, не к 1803–1804 годам. Смерть Андрея Тургенева (в июле 1803 г.) исключает шуточный характер экспромтов и письма.

² Сл.: там же с. 135 письмо А.П. Зонтаг к А.М. Павловой 7 мая 1850 г.

³ Там же. С. 180–181: Зонтаг к Павловой 10 апреля 1849 г.

⁴ Там же. С. 122–123.

⁵ Точки в подлиннике.

⁶ Точки в подлиннике.

«Вы так жалостливы — и безжалостны» — это объяснение в любви, пока на степени флирта. «Об Анне Михайловне бойся думать! — писал Жуковскому Андрей Тургенев. — Стыдись, брат, и пожалей о нас и о себе» (письмо конца 1801 г.); «будь доволен своим, — читаем в другом письме, — и не отнимай чужого. Ты хочешь владеть и *там и там*, а у брата хочешь отнять то, от чего, право, он счастлив. Не думай и разделить этого, у него нет другого, а у тебя есть, может быть, очень много». Но ему жаль и приятеля; «только смотри, чего ты лишаешься! смотри несчастный!.. Но если только *ты* любишь, то нельзя быть спокойным в таком положении... Не усмиришь сердца. Или можно?»

Сентиментальная *amitié amoureuse* допускала «*там и там*»; Жуковский готов был увлечься в Москве Анной Михайловной, и в то же время сентиментальничал с Марьей Николаевной Свечиной, которой заинтересовался и которую видимо воспитывал по программе чувствительности, как позже М.А. Протасову. Теперь Свечина жила в Петербурге с мужем и сестрой Авдотьей Николаевной, там же служил и Андрей Тургенев. Жуковский, оставшийся в Москве, рекомендовал его в семье, и Тургенев осматривается в ней, знакомится с отношениями, входит в интересы друга, беседует о нем с Марьей Николаевной, передает письма, сам увлекается чужим чувством. По-видимому, между супругами не было единения душ и мирозерцания: это был *mariage de convenance* [брак по расчету (*франц.*)], из которого Марья Николаевна рвалась. «Они должно быть счастливы *dans l'intérieur*, потому что веселы, — пишет другу Тургенев; — он все бранит Карамзина... но муж и она — два инструмента совсем на разных тонах: он балалайка, может быть, очень стройная и звонкая, она арфа. Я смотрел на них вместе и чувствовал, что не так бы должно быть, если бы в этом мире царствовала гармония. Я знаю другой инструмент, который мог бы аккомпанировать, но... вздохнем оба от глубины сердца». Марья Николаевна сказывала Тургеневу, что Жуковский написал ей очень важное письмо, в котором велит ей читать Руссо; как бы хорошо было, если б Жуковский поселился в ее семье! (конца 1801 г.). — В другой раз беседе Тургенева с Марьей Николаевной мешал муж. Она собиралась куда-то ехать с визитами, но по просьбе Тургенева осталась. «Я сказал, что ты переводишь Вольтера. Она: А он обещал мне, что никогда не будет любить Вольтера. Я: Он, поверьте, совсем его не любит, а Руссо его наставник». Муж восставал против Руссо; наконец он куда-то вышел, и они остались вдвоем. «Она: Я никогда не думала, что Василий

Андреевич мог полюбить Вольтера. Я: Поверьте, что он его не любит и не может любить по своему сердцу. Она: По его чувствам, по его расположению души (с некоторым жаром и скоростью). Несколько помолчав, она: Какой он милой! (с чувством и неизъяснимой приятностью). Я: Я не знаю человека с таким добрым и чувствительным сердцем. Она: Только как часто он бывает задумчив!» (письмо начала 1802 г.). Марья Николаевна сказала ему как-то, а он сообщает другу: «ей жаль, что ты все грустишь, и стихи такие написал, из которых видно унылое и горестное твое расположение духа» (13 февр. 1802 г.). Либо он говорит ей, что Жуковский пишет оду, «и что первый куплет самый отчаянный. Что с ним сделалось? сказала Марья Николаевна, отчего в нем это расположение? Он прежде был не таков? Вспомнила о Греевой элегии, которую называет прекрасной¹. Я показываю, будто не читал твоих писем к ней, удивлялся, как ты не писал к ним о ваших театрах, и сказал, что ты играл в пенионе и у Соковниных. Куда делась его робость? говорит Авдотья Николаевна. Я уверил, что ты все такой же мизантроп». — В лице Марьи Николаевны, «право, было что-то небесное, — говорится в том же письме. — Она была в белом. Какая-то томность, при свечах, делала ее пленяющею. Но я смотрел на это, как бы смотрел — на что бы? напр., на луну, на звезды, на испещренный луг; и тень желанья не прошла по моему сердцу?» (декабря 1801 г.). Неужели Марье Николаевне не больно жить с глупым мужем ради средств? спрашивает себя Тургенев; «это не мешает мне ее очень любить; право, она прелезая», спросись своего сердца, пишет он другу (9 марта 1803 г.), ради которого он старается «гармонировать» даже с мужем (1 апр. 1802 г.).

Но ей в самом деле больно. «Посылаю тебе письмо от Марьи Николаевны, — пишет он Жуковскому, — я читал его, был очень тронут и читал в такую минуту, что мне и самому было очень грустно. Она чувствует, видно, свое состояние и не ослеплена ни мало в рассуждении мужа. Überall betrogene Hoffnungen, überall zernichtete Pläne [Повсюду обманутые надежды, повсюду разрушенные планы. (нем.)], говорит Вертер. Каково ей, должно быть, видеть перед собою такую будущность навсегда, может быть!

¹ Элегию Жуковского Марья Николаевна знала, очевидно, в первой редакции, тогда не напечатанной; «Сельское кладбище», посвященное Андрею Тургеневу, явилось в «Вестнике Европы», декабрь 1802 г. № 24. Андр. Тургенев благодарил за посвящение в письме из Вены 7 янв. 1803 г. «Завтра напишу к Жуковскому и поздравлю его с титулом любезного переводчика Греевой Элегии» (Дневник Ал. Тургенева 20 июня / 2 июля 1803 г.).

Она, право, похожа на Франциску фон Штернах в „Донамаре”¹, и даже по этому письму. Помнишь, как та описывает в письме своем лета своего детства, с ним проведенные? Кротость в ней та же, и это кроткое чувство своей невинности и, вместе, прощения тем, кто ее гонит или кто причиной ее несчастья! *Я не могу изъяснить, как это чувство для меня мило, как я люблю себе воображать его*; как я вместе и печален и как мне однако ж и приятно видеть его в Катерине Михайловне (Соковниной – прим. А.В.)! *Как она любит меня и совсем мне предается*, когда я чувствую себя столько виновным в рассуждении ее! Однако ж теперь нет! Я узнал ее, *узнал всю цену души ее* и узнал навсегда. Какое чувство изображается в ее письмах и как я мало достоин ее!» И он снова зовет Жуковского в Петербург, к Свечиным: он усладит участь Авдотьи Николаевны; за ней увиваются какие-то гвардейские офицеры, Жуковский побережет ее, «если уж не поздно – и если я не брежу... *Si Sophie est tombée [если Софи пала]... говорит Эмиль*». «Но и для одной Марьи Николаевны ты должен приехать: она любит тебя, как брата, *а ты любишь ее как бы то ни было; между вами самая святая и невинная связь. Sa vertu (ne court) pas l'ombre de danger et vous pouvez adoucir son sort par votre (amitié?). Et vous ne viendrez pas? [Ее добродетель (не подвергается) и тени опасности и вы можете облегчить ее участь своей (дружбой?). И вы не приедете? (франц.)]* Кому здесь понимать ее? Ты должен приехать и быть здесь» (письмо 22 января 1802 г.). Ал. Тургенев знал об этих отношениях Жуковского и записал в своем дневнике под 13/25 января 1803 г.: «Сегодня Бутервек на лекции описывал характер Петрарки и платоническую любовь его к Лауре. Какое разительное сходство с характером Жуковского! Кажется, что если б мне надобно было изобразить характер Жуковского, то бы я то же повторил, что Бутервек говорил о Петрарке. И Жуковский точно в таком же отношении к Св(ечиной), в каком Петрарка был к его Лауре или к M-me de Sade».

«Если бы исполнились все те желания, *qui se forment à ton compte [которые скапливаются на твой счет (франц.)]*, ты был бы не из последних счастливых, – пишет Тургенев, очевидно, о Марье Николаевне. – Читай чаще панегирик кн. Долгорукого

¹ Роман Бутервека, Graf Donamar. Briefe geschrieben zur Zeit des siebenjährigen Krieges in Deutschland [Граф Донамар. Письма, написанные во времена Семилетней войны в Германии]. Herausgegeben von E. R. T. O. V. H. E. W. R. Göttingen 1791–1793, три тома. «Знаешь ли, что Бутервек, который здесь читает эстетическую лекцию, есть тот самый, который написал Дон Амара, которым вы так некогда восхищались?» Приписка А.С. Кайсарова к (неизданному) письму Ал. Тургенева к Жуковскому 7 ноября 1802 г.; сл. (неизданное) письмо Ал. Тургенева к Жуковскому 22 января 1808 г.

всеутешительному русскому слову авось — и ты верно будешь покоен» (1802 г. 6 февр., приписка в письме Ал. Ив. Тургенева). Он беседует с ней о религии, о моральных материях; и она говорит: «Боже мой, как для меня приятно говорить о религии, как это утешительно для сердца!.. Боже мой, как мне жаль, что здесь нет Василия Андреевича, я так привыкла к нему». А Авдотья Николаевна, которую Тургенев оберегал от офицеров, каталась верхом в их обществе, играла Тургеневу на гармонике «Выйду ль я на реченьку», «Я по жердочке шла», «Вечор был я на почтовом на дворе» — и подарила ему бумажку с красивыми краешками, которую он посылает брату: пусть отправит Жуковскому в деревню (письмо 1802 г.; об Авдотье Николаевне еще в письме 21 марта).

Когда лет двенадцать спустя Марья Николаевна вновь очутилась на пути Жуковского, ее было не узнать, но ее прошлое просвечивает в ласково-двуличной характеристике, которую дал ей тогда Воейков:

Нет, милая, не все ты победила страсти!
Согласен, над тобой любовь лишилась власти,
Прошло желание талантами блистать,
Пленять и ослеплять;
Но, бедных, страждущих и сирых к утешенью,
Осталась страсть — к благотворенью¹.

Екатерина Михайловна Соковнина, о которой упоминает одно из приведенных выше писем Андрея Тургенева, была предметом его юношеского увлечения. Два сентиментальных романа разыгрывались параллельно, издали, в буквальном смысле — романы в письмах. На этот раз Тургенев в Петербурге, Жуковский ведет его сердечное дело в Москве. Мы знаем, что Александр Тургенев ввел брата в дом Соковниных; когда написано было следующее письмо Андрея к Жуковскому, знакомства еще нет, но Андрей его желает; мы увидим, по какому романическому поводу. Анна Федоровна Соковнина потеряла мужа, и эта утрата поразила одну из ее дочерей. Ничто не могло ее утешить; когда семья переселилась в другой дом, дочь не могла в нем жить, не находя в нем *les traces de mon père* [следов моего отца (*франц.*)]. Она хотела уйти в монастырь, наконец, однажды ночью вылезла из окна, ушла в село Никольское (в 12 верстах от Москвы) и поселилась в доме одного знакомого крестьянина, взяв с собою

¹ «К М.Н. С-ой». Село Муратово 1814 г. Напечатано в «Славянине» ч. XIII (1830). С. 140.

Руссо и Библию. «Представь себе, брат, какая нежная, глубокая любовь!.. Я бы желал узнать ее лично. При всяком подобном случае я досаую на себя; ты знаешь, за что. Признаюсь, все бы будущие и прошедшие радости моей жизни отдал за ее чувства». Он утешается тем, что задумал посвятить ей перевод Вертера; но это надо держать в тайне. Вот и посвящение: «Тебе, которая навсегда отказалась от радостей мира, чтобы проливать слезы о незабвенном родителе, которая, получивши от неба сердце, умела любить нежно, познала всю сладость сего драгоценнейшего дара небес и, наконец, посвятила его вечной горести до блаженного соединения с тем, для кого оно билось, — тебе посвящаю это изображение пламенной, злополучной страсти! Ты меня не знаешь, но если чтение этой книги займет на несколько минут твое внимание, если она усладит скорбь твою, то знай, что я щедро награжден тобою. С дыханием благодатной весны да прольется кроткое умиление в твоем сердце; ороси сладкими слезами первый цветок весенний и принеси его в дар памяти незабвенного друга. Да оживится в растроганной душе твоей мысль о той вечной, неувядаемой весне, которая воссияет для тебя некогда в другом счастливейшем мире и возвратит тебе его навеки» (письмо 1799–1800 г.).

Дело идет, по-видимому, об Екатерине Михайловне Соковниной, которой полны письма Андрея Тургенева. Он познакомился с нею, вошел в семью, увлекся, а она его полюбила; у нее к нему «страсть», сентиментальная, кротко отдающаяся, покорно выжидающая, что пошлет судьба, лишь бы ее любили; она также напоминает нам Франциску фон Штернах. Андрей Тургенев объяснился с ней, сделал какие-то шаги, и это его нравственно связало. А между тем ему пришлось ехать в Петербург, отношения поддерживались письмами; на этот раз передатчиком и посредником был Жуковский. — «Что-то, брат, мне готовится? — писал он ему, — я уверен, что ты примешь участие, поделишь со мною судьбу мою» (18 мая 1802 г.). Лишь бы письма не попали в руки брата Екатерины Михайловны: «постарайся об этом с братом (Александром Ивановичем Тургеневым); скажи хоть в шутках, отдавая: смотрите ж, никому не показывайте» (декабрь 1801 г.). Между тем батюшка доведывается у него, нет ли у него какой страстишки (18 мая 1802 г.), подозревает его в «шашнях сентиментальных» (письмо того же года), а в Петербург дошли нелепые слухи, будто он в связи с Екатериной Михайловной, и он тревожится: надо предупредить дальнейшие беды, лучше писать пореже. «Я пишу к ней, я не перемену своего намере-

ния, что ни будет» (3 февр. 1802 г.). Екатерина Михайловна также писала ему; и он посылает копию с ее письма Жуковскому, с просьбою не показывать его никому, кроме брата (Александра Ивановича). «Письмо ваше, от 24-го ноября, у меня, — говорит Екатерина Михайловна, — Жуковский описал вам мой разговор, мои мысли, но вы знаете, что все здесь неверно, как все наши предприятия разрушаются, даже те, которые уже приходят к концу; а мы с вами теперь так далеко друг от друга, так надолго! Я так мало от себя завишу, окружена людьми разных предрассудков. Какая же после всего этого надежда? Конечно, мы можем мечтать, но не основываясь на мечтах своих. Я знаю вам цену, поверьте этому, и знаю также, что я ни с кем так счастлива быть не могла, как с вами. Но к чему нам знание? Судьба строит все по-своему. Испытав так много непостоянства ее, я уже верно-го ничего не полагаю. Будьте веселы, спокойны, счастливы. На что быть для меня несчастливой? Мы будем стараться сделать друг друга счастливыми и пользоваться жизнью. Но ежели судьба нас определила на другое, то мы заранее к тому приготовимся. Меня никакая ее жестокость не удивит. Вы правду сказали, что мы имеем мало радостных минут в жизни. Опытность сушит сердце; а я так много испытала! Вас еще другая эпоха ожидает, как говорит Карамзин в VI-й части. Слава! Стремитесь за ней, и она вас утешит в неудаче первой. А мне остается attendre et puis mourir [ждать и потом умереть (*франц.*)]. Но не огорчайтесь обо мне. Надежда еще не умерла в моем сердце, и я еще мечтаю» (в письме к Жуковскому декабря 1801 г.).

Письма Тургенева говорят, какие сердечные тревоги он переживал: «Все меня обвиняет», — жалуется он другу (3 января 1802 г.); тронут словами Екатерины Михайловны, которые привел в своем письме Жуковский: «что она рада всем угождать и пр., быв уверена в любви моей» (3 февр. 1802 г.). «Прилагаю при сем письмецо к Екатерине Михайловне. Отдай, брат, сам; vous y verrez, si elle vous le montre, combien mon âme est agitée! Ah, mon cher ami! [вы из него увидите, если она вам его покажет, как возбуждена моя душа! Ах, мой дорогой друг! (*франц.*)]» Да пусть Екатерина Михайловна сыграет прилагаемый марш на тему: «два человека рассуждают о горестях жизни»¹. Понятно увлечение Тургенева такими сюжетами, как Элоиза (и Абеляр?) или Геро и Леандр: «Слышали ли вы о валдайской Геро и Леан-

¹ Это письмо датируется указанием на траур по поводу «кончины родителя нашей императрицы». Отец Елизаветы Алексеевны, сын великого герцога Баденского, Карла Фридриха, скончался 15 декабря 1801 г., разбитый лошаадьми в Стокгольме.

дре? Влюбленный монах всякую ночь переплывал через озеро; свечка угасла, он погиб. Козл(овский?) прекрасно это опишет. Начало прекрасно, прекрасно» (письмо 1802 г.). Понятны и вопросы: «что делает Катерина Михайловна? Когда воображаю ее, ее горести!». Что она делает, «что она говорит с тобой?» — 21 марта 1802 г. Тургенев спрашивает Жуковского (из Петербурга): «Что, брат, она? *Se croit elle hereuse? Est-elle contente?* [считает ли себя счастливой? И довольна ли она? (*франц.*)] и здорова ли? — Я здесь живу так счастливо, как может мне позволить внутреннее расположение моего духа и сердца и то понятие, которое я составил себе о счастии. Обстоятельств внешних нельзя лучше желать, но если внутренняя гармония не отвечает наружной, если инструмент, сколь ни хорошо настроен, то играть им не умеют?» (к Жуковскому 7/19 января 1803 г. из Вены). Еще собираясь в Вену, он велит Жуковскому сказать Мерзлякову, что получил его критику на «Радость», и как бы порадовался; сам он стал теперь покойнее, «но вообще, брат, не радость теперь чувство души моей, радость состоит в мечтательности, а мне кажется теперь мечтать не о чем, но за то другого рода радость та, что я жертвую своею радостью. Жертвую! Если бы я имел истинную чувствительность и доброту, мог ли бы я сказать это? Но за что же мне обвинять себя, когда я сотворен так? Ах! разве бы я не мог преодолеть себя? Вот сколько вопросов, сомнений, противоречий!.. Как будто какой-нибудь герой, говорю тебе о пожертвованиях! С таким малодушием всякий должен бы этому смеяться; но ты не будешь».

Письма из-за границы к «известным особам» (сестрам Соковниным) передаются, по-прежнему, через приятелей¹. «Что Соковнины? — спрашивает Тургенев из Вены 20 сентября / 2 октября 1802 г., — веселы или печальны?.. Как, брат, все пойдет и чем все кончится? Ты знаешь, о чем я говорю. Скажи мне твои мысли, твои догадки. Я теряюсь в тысячи возможностей, в тысячи препятствий, теряю надежду, бодрость и силу духа! Как я далеко зашел от одного неосторожного шагу! Но мое обещание тебе и мне самому свято, всегда свято для меня останется, в этом не сомневайся».

Женщины, которыми увлекались Андрей Тургенев и Жуковский, Свечина и Соковнина, Протасова и Воейкова, принадлежат к одному определенному типу; они какие-то страдательные, их радость, как для Тургенева, в «мечтательности», они —

¹ Сл. письма Мерзлякова к Жуковскому 13 октября 1802 г. Русск. Арх. 1871. № 2. С. 0136.

сильфиды или ундины, как выразился о Воейковой современник, они легко поддаются и формуются, когда к ним подойдет какой-нибудь «Владимир Ленский», «с душою прямо Гёттингенской», в котором ни шум веселий, ни науки не изменили души, «согретой девственным огнем», а чувство изощрено подходящими чтениями. Андрей Тургенев — это Ленский *avant la lettre*^{1*}:

Он верил, что *душа родная*
Соединиться с ним должна;
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы...

Что есть *избранные судьбами*
Людей священные друзья,
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

Негодование, сожаленье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал на свете,
Под небом *Шиллера и Гёте;*
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем,
И муз возвышенных искусства,
Счастливцев, он не постыдил:

Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть нежной простоты.
Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,

^{1*} Типографский термин: оттиск гравюры, сделанный до подписи. (букв.: «до буквы»).

*Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы;
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблекший жизни цвет,
Без малого в восемнадцать лет.*

(Евг. Онегин гл. 2. VIII–X).

3.

Андрей Тургенев скончался в Петербурге 8 июля 1803 г. после кратковременной болезни, вызванной простудой и неосторожностью¹; ему не было 22 лет. Жуковский скорбит, что не был при кончине друга: «может быть, темное, и отдаленное воспоминание о тех, которые остались плакать о нем в этом мире, приходило оживлять его в некоторые минуты, свободные от физического страдания. Может быть, он желал нас видеть и воображал всех тех, которые будут несчастны, потеряв его! Но кого не утешит Иван Владимирович (Лопухин. – *А. В.*)! Он, конечно, облегчил тягость разлуки его с жизнью! Он уладил его надежды на бессмертие, на скорое свидание с теми, которых он любил в этом мире»². «Андрей Иванович помнил нас без сомнения в последние минуты, – писал Жуковскому Мерзляков (24 авг. 1803 г.). – Ах, он умер очень тяжело. Природа долго боролась с болезнью; крепкое сложение причинило ему конвульсии; в четыре дня все совершилось... горячка с пятнами окончила жизнь такого человека, который должен был пережить всех нас»³. «Гневное небо долго для нас не прояснится, но мы найдем утешение в самих себе. Конечно, мы для Андрея Ивановича ничего не сделали, но погрузимся в свои чувства, спросим у своей совести, разве мы его недостойны? Разве не любили его? Разве забудем когда-нибудь? Нет, он для нас не умер, он жив в нашем соединении, которое

¹ «Распотевши поел мороженого» (Дневник Ал. Тургенева 22 янв. / 3 февр. 1804 г.).

² К Ив. Петр. Тургеневу, 11 авг. 1803 г. В числе неизданных писем Ал. Тургенева одно написано в ответ на утешения Жуковского и друзей.

³ Русск. Арх. 1871 г. № 2. С. 0141–0142.

разорвется только тогда, когда Небо захочет соединить всех нас троих»¹.

Его кончина ощутилась в кружке как невознагражденная утрата: так много возлагали на него надежд. Карамзин интересуется им, ведет с ним беседу по поводу переписки Юнга с Фонтенелем, которую Тургенев собирался переводить²; благосклонно встретил его Элегию, признав за автором вкус и чутье к поэтическому слогу; со временем он будет, конечно, оригинальнее «в мыслях и оборотах, со временем о самых обыкновенных предметах он найдет способ говорить *по-своему*»³ Это бывает действием таланта, возрастающего с годами». Отметив некоторые мелкие недочеты (в рифмах), Карамзин советовал и в безделицах исполнять условия, хотя бы затем, «чтобы несчастные стихотворцы не привязывались к счастливым». — Характеризуя Тургенева и Блудова, когда оба они служили в Архиве, Вигель записал в своих воспоминаниях⁴: «Другой юноша, о коем

¹ Русск. Арх. 1871 г. № 2. С. 0146 (осенью 1803 года).

² Письма Каменева 10 окт. 1800 г. у Боброва I. с. т. 3. С. 129–130. «Наше издание меня прельщает, во что бы ни стало я в нем участник. Мои письма Юнга и Фонтенеля будут напечатаны» (К Жуковскому, вероятно, 1801 г.).

³ Говорить не по-карамзински? Карамзин был против карамзинистов. «Я имел в голове некоторых иностранных авторов, — говорил он Каменеву, — сначала подражал им, но после писал уже своим, ни от кого не заимствованным слогом. И это советую всем подражающим мне сочинителям, чтобы не всегда и не везде держаться оборотов моих, но выражать свои мысли так, как им кажется живее. В письмах Измайлова заметил я несколько периодов, с меня копированных. Но ему простительно, он по-русски не читал ничего, кроме «Моих безделок» (письмо Каменева от ноября 1800 г. у Боброва, I. с. С. 148; разумеется Путешествие Вл. Измайлова в полуденную Россию в письмах. М. 1802 г.). — Ал. Тургенев читал в Гёттингене «Вестник Европы», которым снабжал его Шлецер, и ему приятно было встречать образованный слог у многих своих соотечественников: «пусть большая часть из них пишет худо, пусть они будут самыми рабскими карамзинистами, все это будет иметь свою пользу». Интересно сличить эту заметку дневника 30 мая / 11 июня 1803 г. с другой под 31 июля / 12 авг. того же года, результат беседы с Шлецером; «отдавая всю справедливость величественному, сильному слогу Ломоносова, не может он (Шлецер) не признать, что и Карамзина слог в своем роде должен был сделать эпоху в России». Правда, говорит он, что для русских Ломоносов должен быть сроднее, «но зато и легкость и очищенность Карамзина от славянизма (который, однако, все ж должен служить основанием истинно русскому слогу) имеют свою цену (в выноске заметка: Если взять в рассуждение мнение Лихтенберга о языке, то вряд ли оно будет выгодным для почтенного преобразователя русского слова: Die Sprache gehört der Nation und mit dieser darf man nicht umspringen wie man will. [Язык принадлежит нации и с ним нельзя обращаться, как заблагорассудится (нем.)]. Следовательно, язык должен быть приурочен к национальному характеру. Пусть легкость останется у французского, нежность у итальянского, а сила и важность должны принадлежать русскому). Разница видна, критиковал с усмешкой Шлецер, и в числе точек и тире, попадающихся на страницах сих двух авторов. У одного вряд ли на целую страницу увидишь более трех периодов, а следовательно трех точек, у второго десять и более, не считая тире и восклицательных знаков».

⁴ Ч. I. С. 175, 177.

похвалы не гремели в московских гостиных, цвел тогда уединенно в семейном кругу и украшал собою молодое наше архивное сословие. Андрей Тургенев, со всей скромностью великих достоинств, стоял тогда на распутии всех дорог, ведущих к славе; какую ни избрал бы он, можно утвердительно сказать, что он далеко бы по ней ушел», если б не умер рано; кроме него, брата Александра и Блудова, «едва ли кто знал из моих товарищей», что есть уже русская словесность, а они жили в одном городе с Карамзиным и Дмитриевым!

Весть о смерти Андрея Тургенева лишь поздно дошла до компании русских студентов, занимавшихся тогда в Гёттингене; между ними были Ал. Ив. Тургенев и А.С. Кайсаров. Отсюда они писали Жуковскому и Мерзлякову: отчего бы и им не приехать, послушали бы Шлецера, Гейне, Бутервека¹, Ал. Тургенев, которому в Гёттингене стукнуло 19 и 20 лет, был в чаду немецкой науки, слушал Шлецера и Бутервека, Эйхгорна и Буле, ходил на лекции любимой им ботаники и — медицины, интересовался краниологией. Он набирается знаний, европейских идей, хочет быть их насадителем на родине; в нашей литературе его радует «свобода духа, несжимаемая ценсурой. Всем позволено рассуждать хотя бы то было и о тайной канцелярии, никто не боится не хвалить, когда надобно, Государя, но всякий охотно ищет к тому удобного случая, и, кажется, что писателям нашим приятно повторять имя Александра»². Вернувшись в Россию он хочет «напечатать несколько книжек», которые могли бы «послужить к распространению в России политических, совершенно новых идей, которые не могли родиться при прежних правлениях»³. Другая мечта: описать свое путешествие в письмах, чтобы показать «те благодатные для меня действия на всю жизнь мою от здешнего учения»⁴; письма из Гёттингена, Парижа, Лондона, Вены, которые он собирался издать, и все это посвятить «одному другу», если бы можно — с девизом «белой розы», значение которого было бы понятно лишь другу и ему⁵. Он полон русского самосознания, народной гордости: Шлецер говорил на лекции о Петре Великом, который сорвал завесу, отделявшую север

¹ Неизданное письмо Ал. Тургенева 7 ноября 1802 г., с припискою Кайсарова.

² Дневник 30 мая / 11 июня 1803 г.

³ Ibid. 27 мая / 8 июня 1803 г.

⁴ Ibid. 23 июня 1803 г.

⁵ Ibid. 16/28 июня. В «Вестнике Европы» июнь 1803 г. № 12. С. 802 и след. напечатано «Письмо из Гёттингена от 23 мая 1803 года»: описывается поездка Ал. Тургенева в Кассель, которую он изобразил в своем дневнике 2/14 мая 1803 г. Соответственный номер «Вестника» он получил от Шлецера (Дневник под 19/7 авг. 1803 г.). Ал. Тургеневу принадлежит, вероятно, и «Путешествие русского на Брокен в 1803 году» (Вестник Европы. 1808 г. Ноябрь. № 22. С. 77 и след.; подписано: А.Т.).

от южной Европы, и о последовавшем затем времени, когда при Елисавете скромным музам угрожало изгнание из России. «Теперь, напротив, продолжал Шлецер, какая деятельность в Государе рассадить науки, какое рвение в дворянах соответствовать его благодетельным намерениям! Смотрите, вскричал Шлецер, указав на усаженную русскими лавку: вот тому доказательство!»¹ В другой раз он упомянул на лекции о предке Тургенева, самовольно пострадавшем из любви к своему отечеству: «Петр Тургенев, вскричал Шлецер, был жертвою пламенной, истинной любви своей к отечеству». «Думал ли сей патриот, записывает Ал. Тургенев, что некогда история будет говорить о нем, думал ли он, что потомок его в иностранной земле будет иметь ни с чем несравненное удовольствие слышать публично с кафедры о делах своего предка!

Так древний Кодр умирал,
Так Леониды погибали,
В пример героям и друзьям.

Где лира? Смело начинаю,
Я подвиг предка петь хочу»².

Шлецер приглубил юношу, приохотил его к русской истории, научил почитать источники, Urkunden, приготовил в нем будущего их собирателя³.

¹ Дневник 19 июня / 1 июля 1803 г.

² Ibid., 27 февраля / 11 марта. В письме Ал.И. Тургенева к П.А. Осиповой 10 февр. 1837 г. он объясняет ей подпись («без боязни обличаху») под своим портретом, который ей посылает. «Без боязни обличаху — текст из летописца Троицкого Сергиевского монастыря Авраамия Палицина, который, описывая патриотически-смелый поступок предка нашего Петра Тургенева (и Плещеева), кои избличали самозванца в самозванстве и за то побиены им камением на Красной площади, говорит о сих двух героях искренности и любви к отечеству: Без боязни обличаху. Это приняли мы девизом нашим».

³ Он готовится собрать библиотеку для русской истории, особливо новой, разыщет в Московском Архиве «условие, которое поднесли бояре Михаилу Феодоровичу при возложении на него бремя (sic) правления. Оно может решить вопрос, к какому образу правления отнести русское: к неограниченной ли монархии или к ограниченной, назначено ли там род совета или сената, с которым государь разделить должен законодательную власть, или нет; и надобно ли почитать неограниченное правление русских государей как похищение не принадлежащей им власти, или и в самом деле и условие сие дает право Государю на неограниченное правление. Последнее сомнительно; иначе для чего бы по сю пору не публиковать сей интересной и важной древности?» Ibid., 28 мая / 9 июня 1803 г. Ст. 31 июля / 12 авг.: взял у Шлецера уговор, сделанный Вас. Ив. Шуйским с русскими боярами, думает издать его вместе с уговором бояр с Михаилом Феодоровичем, если ему удастся «выманить его из заклепов Московского Архива, из рук бдительных его аргугов».

Между тем порой, особенно в первое время, он скучал по родине, по деревне. «Симбирск, Симбирск! Горы твои и величественная Волга не изгладятся из моей памяти. Брат, брат!

Скоро ль мы на Волгу кинем
Радостный, веселый взгляд?
Скоро ль мы друзей обнимем»¹.

Читая Грееву «Элегию», он вспомнил «деревенскую свою ограду, на которой стоит простой деревянный домик над тем местом, где покоится прах предков наших; когда приеду в деревню, то первое мое движение будет посетить это место. Может быть, и невольная слеза выпадет и меланхолия освятит ее. Там надпишу я: Beneath those rugged elms that yew-tree's shade... No more shall rouse them from their lowly bed?» [Под тенью этих суровых вязов, этих тисов... Больше не поднимет их с их скромного ложа? (англ.)]². Гуляя вечером, вспомнил «свое Тургенево, кароводы. О, когда я буду опять там, когда в кругу милых добродушных крестьянок забуду спекулятивную философию, когда оживлю в своей памяти детские свои игры на самых тех местах, кои были их свидетелями?»³ «Смотрю в окошко на высокую гору, где одно деревцо уединенно стояло; вспоминая прошедшее, как сон, представилась мне деревенская жизнь наша. Все пройдет, думал я, и о теперешней жизни останется у меня такое же слабое воспоминание. Утро дней моих сольется с полднем моим; все пройдет, твердил я, и

Mit Blumen, die ich heute pflücke,
Wird morgen man vielleicht mein Grab bestreuen»⁴.

¹ Дневник, 29 декабря 1802 / 10 января 1803 г. Стихи взяты из Дмитриева, Стансы к Н.М. Карамзину (1793):

Скоро ль мы на Волгу кинем
Радостный, сыновний взор,
Всех родных своих обнимем
И составим братский хор?

² Ibid. 22 февраля / 6 марта 1803 г. (Строки из «Элегии, написанной на сельском кладбище» Т. Грея. — *ред.*).

³ Ibid. 17 / 29 июня 1803 г.

⁴ Ibid. 14–26 февраля 1803. Ал. Тургенев любил цитировать немецкие стихи; под 15 / 27 февраля 1803 г. он приводит стихи из Шиллерова Валленштейна, не пропущенные тогдашней немецкой цензурой:

[Цветы, которые я сегодня собираю, завтра, быть может, разбросают на моей могиле. (нем.)]

Его тянет к своим: там отец и мать, его «белая роза», друзья; песня «к Нине» Жуковского, которую он нашел в своих бумагах, напомнила ему блаженное время¹. Когда-то он свидится с друзьями? И теперь они редко пишут, а там настанет для него кочующая жизнь, на письма еще меньше надежды. «Приеду в Москву, они уедут, а я опять как рак на мели; они возвратятся, я при должности. Чувство живой дружбы притупляется. Что нас будет связывать, что возобновит наши прежние связи? Всякий из нас узнает покороче свет и людей – хаос; но нет: это же еще должно и поддержать наше дружество, это и утвердит его; мы узнаем людей, ihre Pfiffigkeit [их хитрость (нем.)], и тем с большим жаром, или нет, тем с большим рассудком любим друг друга, удостоверюсь в нашей взаимной привязанности – следствие товарищества, благодетельное следствие нашей молодости. По крайней мере я Мерзлякова и Жуковского никогда, никогда не забуду, никогда не истребится во мне к ним то, что я теперь чувствую». Дай Бог, чтобы в них не переменилось это чувство, на Жуковского он надеется, он «добр, очень добр, если бы только мрачная злоба людей не впечатлела, не врезала в мягкое его сердце недоверчивости, ненависти к людям. Он от доброты же своей может их возненавидеть, или полюбить человечество: первое обыкновенно чаще случается, но он, кажется, не вынесет продолжительного, беспрестанного отвращения к людям, это чувство может задавить его – и для того, хотя он вечно будет обманываться в людях, он вечно будет любить их»².

Die Welt auf der Degenspitze ruht,
Wohl dem, der den Degen führt.
Drum, tapfern Krieger, fasset Mut,
Ihr zwinget das Glück und regieret,
Es steht keine Krone so sicher und hoch,
Der mutige Kämpfer erreicht sie doch.

[Мир покоится на острие шпаги, и благо тому, в чьих руках шпага. А потому, мужайтесь, смелые воины, вам – укрощать судьбу и править; нет короны, которая сидела бы настолько высоко и надежно, чтобы мужественный воин не мог ее достать. (нем.)]

¹ Дневник 18 февраля / 2 марта 1803 г.

² Ibid. 20 июня / 2 июля 1803 г.

Урываясь от лекции, Ал. Тургенев перечитывает «Новую Элоизу». Прежних ощущений уже нет, но он более вникает в смысл автора и находит по-прежнему прекрасным восклицание Сен-Пре, «когда он узнает, что и она любит его, что и она по сию пору только что скрывала свои чувства к нему: *Permetts, permetts que je savoure le bonheur innattendu d'être aimé!.. aimé de celle... trône du monde, combien je te vois au-dessous de moi*» [Позвольте, позвольте мне вкусить неожиданное счастье быть любимым!.. любимым той... трон мира, сколь выше тебя я вознесен! (*франц.*)]. «О Руссо, Руссо! ты еще никогда не был для меня то, что теперь»; чтение Элоизы подслащивает для него «горькие истины метафизики и нарушенные права народов, о которых с утра до вечера твердят мне»¹.

12 / 24 августа еще Элоиза; Тургенев хочет познакомиться в Париже с Дефонтемом, который знал Руссо.

Следующая страница надписана: *Quid tantum insano juvat indulgere dolori!* [К чему предаваться такой безумной скорби! (*лат.*)] Он только что узнал о кончине брата.

Андрей царил в его дневнике наравне с нею, являлись порой и мечты поехать с ним путешествовать: они напомнили бы друг другу «о времени, которое мы провели вместе, о небольших, но интересных для нас происшествиях, которые случались с нами. Настоящее никогда не имеет для нас прелестного, всегда человек жалеет о прошедшем; однако ж последние два года я чувствовал, что жил и наслаждался, я и в настоящем чувствовал цену настоящего, и мне нельзя без горести и без глубокого чувства вспоминать об нем». От надежды на путешествие пришлось отказаться: брат писал ему из Вены (в январе 1803 г.), что его определяют в Петербурге в канцелярию Воронцова и что он должен выехать 2 февраля². Были письма брата с дороги, последнее пришло 28 июля, уже после его смерти, о которой Александру писали отец и Жуковский, известил Андр. Серг. Кайсаров.

Дневник прерывается почти на месяц (с 12/24 авг. по 7/19 сентября). «Кто мне мешает с ним беседовать, думать об нем, о плотском человеке? А я бы желал обнять, прижать его! Брат, брат, милый брат! В первый раз почувствовал в себе столько духу, чтоб написать имя твое. Боже мой! Подкрепи меня!». Следующая, случайная пометка конца октября и последние страницы дневника (с 17/29 октября) полны тех же отчаянных жалоб, ожиданий чего-то еще более ужасного, страха за будущее. Что он будет делать — без

¹ Дневник 6 / 18 июля, 10 / 22 августа, 11 / 13 августа 1803 г.

² Ibid. 25 декабря 1802 г. / 6 января 1803 г.; 13/25 января 1803 г.; 29 января / 10 февраля 1803 г.

брата? Он подавлен, исчезла любовь к деятельности, расстроились все жизненные планы. Запись 18/30 ноября кончается стихом:

Fate, drop the curtain, I can lose no more!

[Судьба, опусти занавес, мне нечего больше терять! (англ.)]

«Опять какое-то мрачное предчувствие!..

Woes cluster, rare are solitary woes,
They love a train, they tread each other's heels»

[Горести собираются гроздьями, одинокие горести редки, они любят процессию, они наступают друг другу на пятки. (англ.)]

(1/13 декабря 1803 г.)

Его сердце дрожит, в голове беспорядок, в глазах темнеет; «брат, ожидай меня! Скоро, скоро!» (1 января нов. ст. 1804 г.).

В 1824 г. Ал. Тургенев рассказывал князю Вяземскому, как, получив вест о смерти брата, он пришел «в отчаяние и злобу на людей, имея тогда мало веры и много чувства». Как раз он прочел в журнале Карамзина пьесу, «помнится, Прогулка по островам, в которой он одного молодого человека заставляет говорить, что всякое нежное чувство, всякая сильная горесть, которую мы почитаем вечною, не вечна в нашем сердце, что все утихает со временем. Эта психологическая истина возмутила и меня против Карамзина. Я видел в нем изверга, который не рожден любить вечно, и вздумал мстить ему после чем бы то ни было... Смерть брата имела еще и другое важное действие на мою душу: в первый раз я постигнул бессмертие души и душою поверил ему. Без этой веры я точно бы не перенес жизни без него. Еще и теперь сердце порывается на Невское кладбище»¹, где Андрей Иванович был похоронен.

В записной тетрадке Ал. Тургенева сохранилось двестише, как эпитафия брату:

He was a pearl too pure on earth to dwell
And waste his splendour in this mortal shell².

[Он был жемчужиной слишком чистой, чтобы обитать на земле и расстрчивать впустую свое великолеpie в этой смертной оболочке. (англ.)]

¹ Письмо к князю Вяземскому 6 августа 1824 г.

² Остафьевский Архив. Т. II. С. 518; под двестишем примечание: from the arabic W. Jones Works II, 250.

«Надгробие И.П. и Андрею Ивановичу Тургеневым» написано было Жуковским лишь в 1819 г.¹

¹ Об этой эпитафии не раз напоминал Жуковскому Ал. Тургенев в письмах 1813–1818 гг. Следующее, еще не изданное, от 19 августа, относится, вероятно еще к 1813 г.: «Кому другому могу поручить я исполнение столь священной для нас обязанности? Вспомни о них, представь себе живее того и другого, что они были для нас и для других, и сам по себе личные чувства свои. Я уверен, что строки твои не переживут одной только дружбы нашей, ибо она перейдет с нами в неведомое там. О, so vergänglich ist der Mensch, dass er auch da, wo er seines Daseins eigentliche Gewissheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Liebe, dass er auch da verlöschen, verschwinden muss, und das so bald! [О, как эфемерен человек, если и там, где он обладает истинной определенностью своего бытия, там, где он оставляет единственно подлинное впечатление своего присутствия — в воспоминании, в душе своей любви, — и там он должен угаснуть, исчезнуть, и как быстро! — нем.]. Неужели и наши сердца оправдают Вертера? Ах, нет, мой милый друг, сохраним память друзей наших: они будут жить в моей памяти для того, что я живу сими воспоминаниями. Если мне случается деятельность свою обращать на пользу людей и особливо мною любимых, то опять для того, чтоб сохранить себя в их памяти; и, право, этот род эгоизма самый простительный, ибо только в памяти людей любимых мною желаю пережить себя. К холодности других и я равнодушен и воспоминание их не потревожит моего праха:

So, wer den Besten seiner Zeit genug getan,
Der hat gelebt für alle Zeiten».

[Кто сделал довольно для лучших своего времени, тот жил для всех времен. (нем.)].

Об эпитафии идет речь в письме 25 ноября 1813 г.; она дала бы Тургеневу мысли для «монумента» (13 февраля 1814 г.); «Не забудь об эпитафии, пусть она выльется из твоего сердца» (27 августа 1814 г.). В письме 28 октября (без даты, но 1817 г.: «канцлер благодарит за „Вадима“») вместо подписи стоит: «Эпитафия». О ней идет дело и в письмах 27 октября 1817 и 12 февраля 1818 г. (отец и брат еще без эпитафии). 8 ноября 1814 г. Жуковский писал Тургеневу: «Я желал бы весь гений, какой во мне есть, посадить в одну надпись и боюсь не то написать, что хочется». Надпись (обыкновенно печатавшаяся в числе стихотворений 1807 г.: «Судьба на месте сем разрознила наш круг») прислана была Тургеневу в письме 1 января 1819 г., и можно сказать, что Жуковскому не удалось вложить в нее своего гения. — В V книжке «Новостей Литературы» за 1823 г., стр. 29–30, Воейков поместил «Невское кладбище», эпизод из IV песни поэмы «Искусства и науки» с посвящением Ал.И. Тургеневу:

Что сердце сладко так забилося? Чей гранит
Мне об утраченных столь сильно говорит?
Повеяло душе веселой стариную,
Мечтами пылкими, надеждой молодою.
О братья! о друзья! здесь наш отец и брат,
Цветущий юноша и старец в гробе спят.

Память Андрея Тургенева долго живет среди друзей как нечто заветное, оживляющее. Цитируют стихи его Элегии¹, вспоминают его эпиграмму («О как священная религия страдает»)². «И в самых горестях нас может утешать Воспоминание минувших дней блаженных, — пишет Ал. Тургенев брату Николаю:

Зри духом в вечность. Что твой взор встречает?
Там лучший мир, там Бог! Страдалец, улыбнись!

Это сказал брат наш Андрей для нас с тобою»³. На брюлловском портрете Ал. Тургенева он невидимо окружен своими братьями: на столе, на который он облокотился, лежит книга с надписью на корешке: «О налогах» (Николая Тургенева), под нею два листа с надписями: «К отечеству» и «Элегия» (Андрея Тургенева). 10 февраля 1837 г., только что вернувшись с похорон Пушкина, Ал. Тургенев пишет П.А. Осиповой: «Не забудьте того, который унесет с собою искреннюю к вам привязанность далеко, далеко, и только в воспоминаниях будет искать утешения в разлуке с отечеством, помня слова другого Тургенева: И в самых горестях нас может утешать Воспоминание минувших дней блаженных» (из «Элегии» Андрея Тургенева). Он посылает Осиповой литографию своего портрета с объяснением надписей на нем; между прочим: «Элегия написана братом Андреем, первым другом Жуковского, открывшим в нем гений и сердце его. „К отечеству“ — его стихи, кои несколько лет по кончине читаны были в дворце в собрании дворянства, когда Россия воспламенялась и ополчалась против Наполеона»⁴.

¹ Жуковский к Киреевской 16 апреля 1814 г.: обетованный край, «где (по выражению Андрея Тургенева) вера не нужна, где места нет надежде, где царство вечное одной любви святой». Сл. выше стр. 78–79 цитату в Дневнике Ал. Тургенева.

² Ал. Тургенев к кн. Вяземскому, 15 сентября 1820 г. Остафьевский Архив. Т. II, прим. на с. 419. В письмах Андрея Тургенева к Жуковскому сохранился и второй стих этой эпиграммы:

О, как священная религия страдает!
Вольтер ее бранит, Кутузов защищает...

³ Письмо Ал. Тургенева к брату Николаю, Женева 13 октября 1827 г., утро. В письмах Андрея Тургенева сохранилось стихотворение, откуда взяты эти строки (Надежда кроткими лучами освещает); без имени автора и с заглавием «Утешение» оно напечатано в «Приятном и Полезном Препровождении времени» 1798 г., ч. 19, с. 160.

⁴ Портрет Ал. Ив. Тургенева в Альбоме Пушкинской юбилейной выставки в Имп. Ак. Наук, СПб., 1899 г., л. 28. Письмо Ал. Тургенева к Осиповой (с объяснением девиза Тургуевых, см. выше, с. 97, прим. 2) у Модзалевского, Поездка в Тригорское в 1902 г., с. 53 и след. «К Отчезеству» было издано в СПб. в 1806 г. и перепечатано в «Славянине» 1880 г., ч. 13, с. 364–365. Жуковский хлопотал, чтобы стихотворение это положено было на музыку.

Легко представить себе, как по Андрее горевал Жуковский; долгое время он не может успокоиться. В его бумагах нашлись стихи на смерть Андрея Ивановича Тургенева (1803); в рукописях есть и другое заглавие: «На смерть незабвенного человека». Он не назначал их для печати, пишет он отцу покойного (11 августа 1803 г.), «они писаны для меня и для вас. Публика смотрит на стихи, а не на чувства. Она не поймет меня» — и он предлагает всегда посвящать день смерти Андрея какому-нибудь обряду, «который бы напоминал нам любезнейшего человека и, вместе, соединял нас всех чувствами и во время разлуки нашей. 8-го июля все мы, где бы мы ни были, будем думать об нем и делать одно. Эта его мысль. Он в одном письме ко мне предлагал членам Собрания назначить день, который бы всем посвящать воспоминанию о Собрании».

Жуковский хочет издать письма Андрея, приобщив к ним «краткую историю жизни его: пускай все знают, кто он был и что он был для тех, которые были с ним связаны тесными узами» (то же письмо). Эти письма он возил с собою, перечитывает их в Белёве¹ и позже²; интересуется журналом Андрея, просит прислать его³. В послании к Батюшкову (май, 1812 г.) еще звучит неостывшее от времени чувство, в послании к Ал. Ив. Тургеневу — воспоминание о той поре, когда они «святой союз любви торжествовали»; в 1844 г. он поминает «те горницы Московского Университета, где мы сбирались около брата Андрея, который мне живо памятен»⁴. В примечаниях, которыми в 1848 г. Жуковский снабдил свое послание к Ал.И. Тургеневу, он характеризует Андрея, его ясный ум, сердце, исполненное любви к прекрасному, быстрый взор, казалось, читавший в каждом сердце, доброжелательную душу, привлекательную остроту разговора, не оскорблявшую самолюбия, соединенную с нежностью сердечной. Он всех соединял дружбой, был душою всех радостей. «Жизнь его можно назвать прекрасною, неисполнившеюся надеждой: в нем созревало все, что составляет прямое достоинство человека; но все это бесследно погибло для целого света».

В своей «Элегии» Андрей Тургенев звал на могилу милого девушку, сраженную судьбой:

¹ К Ал. Тургеневу 11 июля 1810 г.

² К Воейкову, сентябрь 1813 г. В 1814 г. Ал. Тургенев перечитывал доставшиеся ему «наконец остальные бумаги Андрея, письма и записочки к Андрею Кайсарову 1799-го и следующих годов. Сладкие и горестные минуты!» (неизд.).

³ К Ал. Тургеневу конца декабря или начала января 1808 и 15 сентября 1869 г.

⁴ К тому же, октябрь 1844 г.

Как будто в сладком сне узнала счастье ты,
Проснулась — и уж нет пленительной мечты!
Напрасно вслед за ней душа твоя стремится,
Напрасно хочешь ты опять заснуть, мечтать!
Ах! тот, кого б еще хотела ты прижать
К иссохшей груди — плачь! — уж он не возвратится
Вовек.

Остается разделить с осеннею природою грусть сердца своего, потому что «один увядший лист несчастному милее, чем все блестящие весенние цветы», их печальные следы разбудят воспоминание,

И тень священная, и образ вечно милый
Воскреснут, оживут в душе твоей унылой,
Ты вспомнишь, как сама цвела в глазах его,
Как нежная рука тебя образовала
И прелестью добра тебя к добру влекла.

Таково могло быть настроение Екатерины Михайловны.

«Соковниных здесь нет, потому письмо тебе возвращается, — писал Мерзляков Жуковскому 24 августа 1803 г. — Не можешь ли ты написать в деревню? Надобно побережечь *бедную*». Осенью того же года: «Что думает и чувствует Екатерина Михайловна? Боже мой! Для чего нам досталось пережить это прекрасное время, когда им все радовались вместе с нами! Минута — и все для нас знакомое, все для нас приятное, все к нам близкое покрылось печальною тьмою. Его не стало».

К декабрю 1803 г. относится следующее стихотворение Жуковского «К К(атерине) М(ихайловне) С(оковниной)»:

Протекших радостей уже не возвратить,
Но в самой скорби есть для сердца наслажденье.
Ужели все мечта? Напрасно ль слезы лить?
Ужели наша жизнь есть только привиденье,
И трудная стезя к ничтожеству ведет?
Ах! нет, мой милый друг, не будем безнадежны;
Есть пристань верная, есть берег безмятежный;
Там все погибшее пред нами оживет;
Незримая рука, простертая над нами,
Ведет нас к одному различными путями!
Блаженство наша цель; когда мы к ней придем,

Нам Провидение сей тайны не открыло.
Но рано ль, поздно ли, мы радостно вздохнем:
Надеждой не вотще нас небо одарило.

Екатерина Михайловна скончалась в девушках¹. Сохранилась записка Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу, без даты, но написанная почерком его ранних лет. «Сообщаю тебе известие, которое для тебя так же горестно будет, как и для меня: Екатерины Михайловны нет на свете. Веселись, брат; наш круг час от часу уменьшается. Многих уж нет, а те, которые остались, живут розно и не радуются жизнью. По крайней мере я давно разучился ею радоваться. Что из этого выйдет, не знаю; но смерть всего лучше»².

Когда Жуковский задумал поставить памятник своему другу, Мерзляков писал ему (24 августа 1803 г.): «На что нам ставить его на могилу? Будем сами могилами живому, вечно живому духу нашего друга. Памятник этот должен быть лучшим украшением нашего кабинета. Тебе поручаю я думать об его фигуре. Опиши мне все, скажи, что он будет стоять и из чего должен быть сделан. Надобно как можно проще; надобно, чтоб он был даже не мрачен, чтоб он возбуждал одни только сладкие чувствования; надобно, чтоб мы иногда с ним так же весело беседовали, как и с тем, кого он напоминать будет»³.

Жуковский поставил другу свой памятник — в посвящении «Вадима Новгородского», повести, явившейся в год смерти Андрея Тургенева, но неоконченной. Автор воображает себя в безмолвных дубравах и тихих долинах, обители меланхолии, на лоне природы, в хижине, «жилище спокойствия и свободы», которое посетит «добрый, чувствительный мечтатель, друг мира и добродетели» — и найдет счастье. «Божество сердец непорочных, уединение» осенит поэта своими «кипарисами», «задумчивый» мрак погрузит его в меланхолию, «радостный образ мирного счастья пленит» его «своим призраком, и пепел протекших радостей

¹ В неизданных письмах Ал. Тургенева к Жуковскому 4 декабря 1808 г. и 5 января 1809 г. Тургенев посылает ей поклон.

² Письма В.А. Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу № СХС.

³ В 1805 г. Жуковский послал Ал. Тургеневу урну для памятника брату. «Она очень мала, но прекрасная и будет годиться, если поставить ее на столб, который надобно сделать гранитный, потому что такой крепче». Он приписал и рисунок; «желал бы, чтобы каждое дерево имело собственное имя, то есть имя тех людей, которые больше были к нему привязаны. Разумеется, что первые два должны быть посвящены батюшке и Ивану Владимировичу» (Лопухину). Письмо Жуковского к Ал. Тургеневу 31 августа 1805 г.

оживит его слезами сладкими, посвященными воспоминанию». «О ты, незабвенный! — обращается поэт к умершему, — где ты?» «Восхищенный, счастливый тобою, обнимал я одну тень минутную», и теперь душа стремится к «невозвратному, навсегда улетевшему счастью». «Куда девалось сердце, которое любило меня любовью чистейшею, мучилось моими страданиями, восхищалось моим блаженством?» Другу он посвящает звуки своей лиры, служащей лишь свободе и добродетели; при этом соответствующий пейзаж: «Тихий месяц таится в дыме облаков прозрачных. Река шумит. Все покойно. Задумавшись, опирается муза на камень, обросший мохом, и легкою рукою играет на лире. Я пою: эхо раздается; рощи, одетые мраком, пробуждаются, и робкая лань трепещет на бреге реки, невидимо журчащей в кустарнике».

Это целый гимн идеальной дружбе — в стиле Карамзинского «Цветка на гроб моего Агатона» (1793).

Когда Жуковский писал это, он едва ли знал романтиков; тем интереснее сличить его лирическую манеру с «сновидением», которое Тик посвятил памяти своего друга¹. Ваккенродер открыл его скептической мысли источники идеализма, цену чувства, его тревожной фантазии мир новых, покоящихся образов — и сам прислонился к нему, как к более сильному; его письма к Тику — письма влюбленной девушки. Когда в 1796 г. 25-летний Ваккенродер скончался, Тик помянул того, кому он был обязан светлыми откровениями поэзии среди обуявших его мрачных видений и жесткого хохота. Поэту представляется, что они вдвоем идут по сумрачной, окруженной утесами долине; он обнял друга, склонил к нему голову и плачет; кругом ни следа жизни, ни звездочки. «Я поведу тебя, дорогой мой, — говорит ему друг, перестань печалиться, заключим союз: будь мрак еще мрачнее, он просияет, когда мы обнимемся по-братски. — И они силились встретиться взором, подарить друг друга милым взглядом, чтобы таким образом подавить удручение духа; но во мраке все нет просвета, — и, обнявшись, мы готовы были отдаться на волю вражьих сил». Вдруг у их ног зажглась звездочка и обратилась в чудесный цветок, их тянет к нему неведомая сила, в нем их утеха, их радость: забыты сетования и вновь забились бодрая любовь к жизни. Им хотелось бы сорвать цветок, они взапуски уступают его один другому, но послышалась неслыханная мелодия — точно пение звезд: она задрожала в их груди, как страстное желание, каждый звук был дружеским приветом; послышался и запрет: не

¹ Der Traum [Сон] в конце Phantasien über die Kunst [Фантазий об искусстве] II; сл. еще четыре сонета на смерть Ваккенродера в Poetisches Journal, 2-es Stück, с. 475 и след.

срывать цветка. Друзья стоят перед ним в любви и страхе, они в святилище. «Прежняя любовь казалась нам грубой и дикой, теперь мы гордились тем, что любим, не похищая, и старое чувство возникло в новой красе. Одиночество наполнилось для нас жизнью, нас влекло к цветку, душу очистило радостное волнение, точно в ней сновали какие-то духи; мы ощутили неизъяснимый порыв ко всему благородному, прекрасному; блаженство поселилось в сердце и мы вняли звукам трав, деревьев и скал. Благо мне, что высшее наслаждение досталось мне с тобою! говорит друг, — а сам он будто возродился, лицо его сияет; казалось, он предъизбран был для блаженства — и не нашел обратного пути в старый мир; в восторженном опьянении он как бы прозревал далекие, прелестные поляны». Между тем видение изменилось: лепестки цветка зазвучали, лучи и искры вылетали из его чашечки, и сам он вырос в высокое дерево, из зеленой чащи которого юношеские лики стали метать в друзей стрелы; но эти стрелы — звуки, на них откликается воздух, лес и поле; друга тянет к их «сладостно-мелодическим волнам», он подставляет им грудь, и духи радуются, хотят привлечь его, деятельнее устремить к цели, утолить печали.

Сон кончается явлением призраков Гомера, Рафаэля, Шекспира; все кругом в волшебном освещении, все звучит, поля одеваются цветами, слышится пение призрачного сонма: Мы принесли вам блаженство, но пусть же никогда не отлучится от нас ваша любовь. — Поэт проснулся, но друга нет, того, с кем он смолodu делил радость и горе. «Останься со мной, будем вместе странствовать по священной области дорогого искусства; без тебя у меня не хватит мужества ни жить, ни творить».

Перед нами образчик раннего романтического стиля: богатство фантазмагии, контрасты света и тени, метаморфозы света и звука, поющие звезды, стрелы-звуки и мелодические волны. Жуковский никогда не дойдет до подобных, нередко вычурных попыток выразить «невыразимое»; пока он сентименталист чистой воды, не вышел из чувствительной рефлексии и позирует по-оссиановски.

III. Пора самообразования и душевного одиночества. — М.А. Протасова

Когда весной 1802 г., оставив службу в Соляной конторе, Жуковский вернулся к родным в Мишенское, за ним был опыт чувства, было умение выражать его в формах сентиментализма и желание воплотить его идеалы в прелести действительности. Для этого надо было устроить, обеспечить себя без помехи любимым занятием, доучиться, — он живо ощущал недостатки школы. Уже в 1803 г. Ал. Тургенев и А.С. Кайсаров звали его и Мерзлякова в Геттинген; в 1805 г. он решился «вояжировать», мать Тургенева отпускала с ним и Мерзляковым и сына Николая, но не раньше будущего мая; Жуковский мог бы еще подождать, «но для Мерзлякова *ist es schon hohe Zeit* [уже пора (*нем.*)], ведь он казенный человек»¹. Предполагалось слушать лекции в Геттингене, побывать в Йене, Париже; но проект не состоялся². «Что мне писать о вашем вояже, — писал тогда Жуковскому Дмитриев (15 ноября 1805 г.). — Если б я умел рисовать, то представил бы юношу, точь-в-точь Василия Андреевича, лежащим на недоконченном фундаменте дома; он одною рукою оперся на лиру, а другою протирает глаза, смотрит на почтовую карту и, зевая, говорит: Успею! Это будет надписью под картиною. В ногах несколько проектов для будущих сочинений, план цветнику и песошные часы, перевитые розовою гирляндюю». Не состоялся и другой проект: Жуковский вздумал искать места, о чем просил и своих друзей³. Тогда он принялся за «лекции» самому себе, серьезно, даже педантично; тому свидетельством его дневники. Забота обращена не только на самообразование, на распорядок занятий, причем составлена

¹ Письмо Ал. Тургенева Жуковскому 4 июня 1805 г. (неизд.).

² Сл.: Дневники Жуковского 1805 г., 13 июня и 9 июля; письма к Ал. Тургеневу 1865 г. второй половины и 31 августа; 1806 г. 8 января.

³ Сл. письма к Тургеневу 1806 г., половины и 24 декабря; 17 и 28 января 1807 г. Сл. письмо к Жуковскому Анны Петровны Юшковой. Русский Архив. 1902 г. Май. С. 130.

«роспись во всяком роде лучших книг», но и на самопознание: чувствуется влияние книги Иоанна Масона «Познание самого себя» (Москва, 1782), переведенной его духовным руководителем И.П. Тургеневым. Надо было образовать характер и для этой цели кропотливо разобраться в своих свойствах и недостатках: как избавиться от прирожденной медлительности, поддержанной непривычкой к деятельности; как побороть ревность, обращать зависть в «соревнование» или в «искреннее приятное удивление»; говорить правду, не оскорбляя самолюбия, или не говорить вовсе, если она вредна. Иные из этих житейских правил, плод теории или раннего опыта, Жуковский повторит в письмах к друзьям, станет заносить в альбомы. «Дневник» останется для него навсегда лучшим средством самонаблюдения: он введет его у Протасовых, поощрит к тому же граф. Самойлову, попросит Цесаревича, которому поднес альбом, подаренный ему наследником прусского престола, вписывать в него мысли, которые могли бы впоследствии руководить как его нравственными, так и государственными поступками. — Пока его главная задача — построить план жизни, заработать счастье. Как это сделать?

Уже в самом раннем из дошедших до нас отрывков дневника (1804) он откровенно заявляет, что у него нет «способностей публичного человека» (*öffentlicher Mann*). Это характерно для молодого поэта и для эпохи; общественные вопросы отходят на второй план, их решение покоится на личном развитии: дело «просвещения» дать человеку «искусство действовать и совершенствоваться в том круге, в который заключила нас рука Промысла, в самом себе находить неотъемлемое счастье»; если такое просвещение коснется многих, все окажутся довольными «тем участком благ, большим или малым, который получили от Провидения», будут взирать «независтливым оком на преимущества чуждого, которое для него несвойственно, сравниваются между собою в стремлении... образовать, украсить, приблизить к Творческой, свою человеческую натуру». Лучшая награда всякому «во внутреннем спокойном уверении, что исполняешь свою должность, как человек, совершенствуя свою натуру, как гражданин, трудясь с намерением... приносить отечеству пользу, большую или малую, смотря по обширности дарований» (Письмо из уезда 1808 г.).

Естественной средой, «кругом» для такого воспитательно-го влияния просвещения является семья: семьянин идет перед гражданином. «Почитай обязанностью быть деятельным для пользы отечества, — говорится в статье „Кто истинно добрый и

счастливый человек” (1808), — но лучшие твои наслаждения, но самые драгоценные награды твои да будут заключены для тебя в недрах семейства»; в тех самых чувствах, которые делают тебя «счастливым посреди домашних, хранится и чистый источник гражданских... добродетелей»¹.

Так воспитывалась *добродетель*², тот «человек», идеал наших масонов, который грезили поэтам чувства и чувствительности и становился общим местом. «То царство мирно, безмятежно, В котором царь есть царь сердец», — пел Карамзин на восшествие императора Павла; на акте 1797 г. в оде, читанной 14 летним Жуковским, император Павел вещает музам:

Я буду царствовать, а вы
Скажите позднему потомству:
Он под венцом был человек.

(«Благоденствие России,
устрояемое великим ее самодержцем Павлом I»³)

Жуковский открывает в себе способности «быть *человеком*, как надобно» (К Тургеневу 1805 г. 31 августа); его Теон возвышается душою «при мысли великой, что я человек» («Теон и Эсхин», 1814 г.); «дань свободная, дань сердца — уваженье; Не власти, не венцу, но *человеку* дань» («Императору Александру», 1814 г.); известны стихи Жуковского в послании на рождение вел. кн. Александра Николаевича (1818)

Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из звания: *человек*.

Дневник 1805 г. дает повод и к другим наблюдениям. Жуковский хочет «трудиться, трудом получать свое пропитание и вместе удовольствие; чтение, садоводство и, — если бы дал Бог, — общество верного друга, или верной жены будут моим отдохновением». Он не ищет большого счастья: «спокойная, невинная жизнь, занятия для меня и для других полезные или приятные, дружба, искренняя привязанность к моим ближним друзьям, и, наконец, если бы было можно, удовольствие некоторых уме-

¹ Сл. те же идеи в примечании к французской статье, переведенной Севериным (1808).

² См. речь Жуковского на пансионском акте 1798 г. и две пьесы под заглавием «Добродетель» того же года.

³ Сл. оду Державина на рождение Александра I: «будь на троне *человек*».

ренных благодетелей — вот все мои требования от Провидения» (13 июня). Это программа «посредственности», как говорили в карамзинское время («Посредственность — харита» в послании к Батюшкову 1812 г.). Целью деятельности ставится литература, образование характера, поддержание состояния, *счастье семьи, если она будет, и исполнение общественных условий* (10 июля):

Мне рок судил брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красоты природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной
И, взор склонив на пенны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.

(«Вечер», 1806)

Его идеал — идеал Лафонтена в «Сне Могольца» (пер. 1806 г.); нравованию другой басни Лафонтена, что умнее, расчетливее (*les plus habiles*) оказываются те, кто довольствуется немногим, дан идиллический оборот:

Одною скромностью желаний мы счастливы.

(«Цапля», 1806)

Говоря о «приятно-унылом расположении духа» и о наслаждении меланхолией, молодой Жуковский находит в них определение счастья: оно «во внутреннем наслаждении», не иное что, как «сие тихое, ясное состояние наше, продолженное на всю жизнь или, по крайней мере, на большую часть жизни» (1 июля). Счастье «в сердце, в тихом, спокойном наслаждении самого себя, происходящем от порядка в делах, от невинности души, от занятий приятных и постоянных, от способности быть с самим собою или с своими любезнейшими, что все равно» (10 июля). Счастье в вере; на вере, чувстве, не на «холодном, медлительном» рассудке, покоится религия и та сердечная дружба, в которой возможен *épanchement du coeur* [излияние сердца (*франц.*)]. Жуковский чувствует, что этой веры у него еще нет, и старается воспитать ее в себе, удалить сомнения. Если по смерти «душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей все своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее кануть, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертью со своими любезными?..» — писал он по смерти Андрея Тургенева его отцу (11 августа 1803 г.). Это его смущает, но «как бы то ни было, —

доверенность к Провидению! как говорит Карамзин и как должен говорить всякий добрый человек». Дневник возвращается к тому же вопросу: вера есть «следствие долгого рассматривания природы и самого себя и уверение в ничтожности твари, в милосердии Творца: я еще не старался приобрести сего уверения и по сию пору был на другой дороге. Что будет, я не знаю, но должно стараться сделать себя счастливым: это есть закон природы. А вера есть вернейшее средство его исполнить» (16 июля). Счастье в вере в бессмертие, записал он в другом месте: «Ах, если бы это чувство укоренилось в душе моей! Как бы все несчастья были передо мной слабы! Может ли быть то ложно, что так возвышает душу!.. Там! какое слово, что под ним заключается! У меня на глазах слезы от сего слова! Друзья, надежды, радости, блаженство — все там! О! великое Существо, великое Существо, назначившее человека быть бессмертным!» (17 июля).

То же требование «религии», веры в «бессмертие», то же желание воспитать в себе эту веру, выразилось и в письмах к Александру Ив. Тургеневу: «Еще, брат, хочу обратить внимание на религию. Она нужнее и действительнее простой умственной философии; но только хочу; испытаю и увижу» (31 августа 1805 г.); «я живо себе представляю, какое блаженство должна давать прямая религия; она возносит человека выше всего, выше самой его личности; но я только представляю это: я в себе не нахожу того сильного, внутреннего, неизгладимого чувства, которое должно быть твердейшим основанием религии». До тех пор он был к ней равнодушен, потому что смолода видел христиан, не имевших «понятия о возвышенности чувств христианских», людей, у которых чувства и дела расходились «с правилами и словами» (тому же 1806 г. 8 января).

С такой же настойчивой сознательностью воспитывает он в себе и чувство дружбы. По смерти Андрея Тургенева он перенес свои симпатии на его брата Александра, хотел бы соединить его кружок молодых товарищей, Мерзлякова, Кайсарова, Блудова. Надо, чтобы все они были друзьями, «чтобы всякий из нас, делая что-нибудь на сем свете, имел в виду тех людей, которые составляют для него мир, то есть тех, которых одобрения его оправдывают и ободряют; чтобы всякий из нас чувствовал, что он точно не один; иначе для чего быть и славным и добродетельным! Нет, это я не так сказал! Иначе скучно, трудно быть и славным и добродетельным». Он признается, что доказывает необходимость «больше умом, нежели чувством». «Я сильнее это буду чувствовать только тогда, когда испытаю. Ты сам при-

знаешься, что вся наша дружба, твоя, моя, Мерзлякова, Кайсарова была основана на воображении»; с Кайсаровым, с которым у него была какая-то размолвка, он желал бы быть «в теснейшей связи» (тому же 31 августа 1805 г.) Надо увериться, «что мы не простые друзья, не такие, которым только приятно встречаться, быть вместе, но такие, которым нужно быть друзьями, на которых дружба имеет то же влияние, которое должна иметь религия на всякую благородную душу». Пока «мы все сходились вместе случайно, с удовольствием; но я не знаю, во мне не было этого внутреннего, влекущего чувства, которое бы я желал иметь, будучи вместе с моими друзьями, одним словом, чего-то не было такого, что всего вернее в дружбе — как это назвать, не знаю. Никого из вас, это разумеется, я не любил с такою привязанностью, как брата (Андрея), то есть, не будучи с ним вместе, я его воображал с сладким чувством; был к нему ближе; ему подавал руку с особенным, приятным чувством; я не знаю, как-то отменно весело было чувствовать его руку в моей руке; между нами было более сродства, по крайней мере, с моей стороны. Но что делать! Даже при жизни его мы не были то, что бы могли быть в то время, когда он был со мною, в нас было больше (то есть во мне) ребяческого энтузиазма; потом мы расстались, потом все кончилось; одним словом, моя с ним дружба была только зародыш, но я потерял в ней то, чего не заменю или чего не возвращу никогда: он был бы моим руководцем, которому бы я готов был даже покориться; он бы оживлял меня своим энтузиазмом. Но, братцы, мы можем быть друг для друга многим, очень многим, всем, со временем, разумеется, не вдруг». (Тому же 11 сентября 1805 г.). «Всякой раз, когда вспомню о брате, то живее чувствую цену его и потерю. Что бы он был для меня теперь! Кажется, мне теперь жаль его больше, нежели тогда, когда мы его лишились. Я теперь больше чувствую самого себя, больше знаю цену настоящую жизни и больше понимаю, для чего я живу. Дружба его, как она ни была коротка, оставила что-то неизгладимое в душе моей: весь энтузиазм к доброму, все благородное, что имею, все, все лучшее во мне, принадлежит ему. Мне кажется, всякой раз, когда об нем вспомню, стал бы на колена; для чего — не знаю, но какое-то особое чувство меня к этому побуждает. Ах, брат, нам надобно жить на свете не так, как живут обыкновенно, жить возвышенным образом; но я один ничего не сделаю: мне необходима подпора. Я найду ее в дружбе, и в твоей дружбе». Но «я должен еще быть образован для дружбы».

Дружба – это пособие к исканию совершенства. «Друг, жена – это помощники в достижении к счастью, а счастье есть внутренняя, душевная возвышенность.

Wem der große Wurf gelungen
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen...

[Кому выпала удача стать другом друга, кто заполучил себе милую жену... (нем.)]

Эти стихи я нынче очень чувствую¹. (Тому же, 8 января 1806 г.).

Дружба требует откровенности, сообщения друг другу своих намерений и чувств для выработки сообща жизненного плана; надобно жить связно и друг для друга. С Мерзляковым, человеком «необыкновенным», Жуковскому бывало всегда весело, но ему кажется, что между ними не было «искренности», с А.С. Кайсаровым ему надо «поближе сойтись»². «Я признаюсь пред вами, любезные друзья, что я сам был что-то не то, но нам надобно быть образователями друг друга» (то же письмо)³; он пропагандирует дружбу в «Письме из уезда» (1808); друг «для нас – второе Провиденье» («Певец во стане русских воинов», 1812) дружба – это «союз любви», повторит он позже в ответ на письмо Ал. Тургенева (1813).

В этом лихорадочном искании дружбы много рассудочности. Жуковский сознает это сам: «это говорит вам не энтузиазм ребяческий и огненный, но холодное размышление» (Ал. Тургеневу 1805 г., 31 августа); не натянутое, на время воспламеняющее чувство, а «чувства спокойные, утвержденные умом», навсегда остающиеся; он хочет быть «энтузиастом по рассудку». *C'est une gareté*

¹ Из Шиллера, «An die Freude». Сл. выше, с. 80 (в письме Андрея Тургенева).

² «Надобно, чтоб он навсегда остался нашим» (к Ал. Тургеневу 15 сентября 1809 г.). Смерть «друга и товарища» Кайсарова Жуковский хотел «помянуть стихами» (к Ал. Тургеневу 1813 г., 20 мая и 2 сентября). В 1818 г. Ал. Тургенев получил записки А.С. Кайсарова, находившиеся в чужих руках: при чтении их образ Анны Михайловны Соковниной оживотворился в его душе, «минувшее для меня воскресло und manche leibe Schatten stieg herauf [И многие милые тени восстали – из «Посвящения» к «Фаусту» Гёте. – *Ред.*]! Так вся наша молодость! Молодость давно уже так живо не ощущалась. Весь журнал Андрея Сергеевича наполнен огненной дружбою к брату, и память Кайсарова сделалась для меня с тех пор священнее» (письмо к Жуковскому 12 февраля 1818 г., неизд.).

³ Сл. еще письмо того же (предположительно) года из Москвы, письма августа и 15 сентября 1809 г. и *passim*.

[это редкость]» (ему же 11 сентября 1805 г.). Другими словами: спрос чувства он хочет возвести в требование разума, дружбу в орудие нравственного совершенствования. Черта, интересная для психологии поэта, у которого так много было мечтательности и – самонаблюдения, так много полетов к небу – и любви к педагогическим таблицам, к кропотливым, порой призрачным выкладкам, как обеспечить себя материально (сл., напр., дневник 1805 г., 13 июня, § 3); так много порядка – в фантазии.

Друзья отзывались. «Любовь и дружба – вот чем можно себя под солнцем утешать», – писал Жуковскому Мерзляков (весною 1803 г. из рязанской деревни), приглашая к себе друга: он один остался у него после Андрея, ни на кого его не променяет; увидит его – точно перед ним воскресший Андрей; надо «подумать о своих будущих планах, подумать о будущей жизни, но подумать вместе» (22 сентября 1803 г.)¹.

Счастья, основанного на чувстве, Жуковский не нашел в семье, куда он вернулся; среда осталась та же, но требования поэта усилились, желания стали энергичнее.

Для одиноких мир сей скучен,
А в нем один скитаюсь я,

писал он в 1803 г.,

Мое младенчество сокрылось;
Уж вянет юности цветок;
Без горя сердце истошилось,
Вперед присудит что-то рок?..
Не нужны мне венцы вселенной,
Мне дорог ваш, друзья, венок!

(«Стихи, сочиненные в день моего рождения.

К моей лире и к друзьям моим», 1803)

И он зовет их к себе, в свою хижину, в уединенную тень лесов. Дружба – выход из одиночества. В дневнике 1805 г. он открывает своей *chère tante*, Протасовой, одолевавший его душевный голод. У него не было до сих пор человека, который помог бы ему «разобрать» самого себя, сказать ему, что в нем хорошо, что надо исправить. «Несчастье, которому причины надобно искать в моих обстоятельствах. Вы одне можете сказать, что любили

¹ Сл. Русский Архив 1871 г. № 2: Письма Мерзлякова к В.А. Жуковскому. С. 0139 и 0144.

меня прямо, но вы не могли принести мне той пользы, которую принести способны. Что этому причина, не знаю, но уверен, что не вы сами, а множество таких неприметных обстоятельств, которых почти нельзя определить словами, но которые есть, потому что их действие очевидно». Что если б человек «был оставлен с одними своими силами на произвол судьбы и обстоятельств; если он посреди людей, *привязанных к нему одною привычкою, а не любовью, был один, зависел от одного себя*, должен был сам себя образовать, не зная как и даже долго не думая об этом, следовательно, потеряв самое лучшее время?.. Этот человек — я!» (пометка после 21 июля).

С 26 августа по 10 ноября Жуковский не принимался за свой журнал: он удручен, работа, да еще принужденная (переводы), не всегда идет удачно, «в уме такая пустота и недеятельность; прошедшее мне кажется очень дурным, а настоящее скучным; от будущего не ожидаю ничего; все мои планы исчезли; даже нет во мне желания делаться лучше, образовать и ум и характер». «*Одиночество*, совершенный недостаток в приятных связях, отдаление тех людей, которые бы могли меня оживлять и ободрять в искании всего хорошего, совершенное бессилие души, ненадежность на самого себя — вот что меня теперь мучит! я *один*; в самом себе не нахожу довольно прибежища; чувствую, что один мало могу для себя сделать; мне недостает ободрения... Один не могу ни о чем думать, потому что не имею материи для мыслей... К тому же не умею мыслить в связи, это для меня утомительно, и в теперешнем моем расположении не чувствую даже и нужды мыслить... Сам с собою я недоволен и скучен... с теми, кто вокруг меня, я не связан (что этому причиной, не знаю, но должен узнать)... самое общество матушки (настоящей матери), по несчастию, не может меня делать счастливым: я не таков с нею, каков должен быть сын с матерью; это самое меня мучит, и мне кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, нежели вблизи. *Я не был счастлив* в моей жизни, кажется, и не буду счастливым. Надобно приобрести способность быть счастливым, а я едва ли не пропустил время. Как прошла моя молодость? Я был в совершенном бездействии. Не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя ото всех, потому что никто не принимал во мне особого участия, и потому что *всякое участие ко мне казалось мне милостию*.

Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем, не чувствовал ничьей любви¹, следовательно, не мог платить любовью за любовь, не мог быть благодарным по чувству, а был только благодарным по должности». Это сделало его холодным, робким, нерешительным, медленным, ленивым; в таких обстоятельствах чувствительность притупляется, да и ум остается неразвитым, «потому чувства заставляют действовать ум, а если чувства не действуют, то и ум спит» (в другом месте: «все хорошее основано на чувстве», ум следует ему по одному лишь расчету). Он так привык, чтоб его не любили, что всякий знак любви кажется ему странным, чем-то необыкновенным; одна любовь, привычка отвечать на любовь, делает сердце нежным, способным на любовь, стало быть счастливым. Если б у него был человек, который дожил бы его счастьем, он любил бы его, «как своего Бога».

Дмитриев звал Жуковского в Москву: надо поскорее оставить ваше уединение, «которое способно питать вашу склонность к меланхолии»². Жалобами на уныние и бездействие полны письма к Ал. Тургеневу: «моя душа не имела еще пищи, не пробуждалась, это верно; воспитание, или, лучше сказать, все то, что было со мною со времени моего младенчества (потому что я не имел воспитания), вместо того, чтобы образовать ее и усилить, только что ее усыпило; я был один совершенно, то есть в кругу множества людей, которых имел с собою, был некоторым образом отделен от всех» (1805 г. 11 сентября); «здесь я один; почти все, что вокруг себя вижу, мне не отвечает, а мне нужна подпора. О, моя жизнь прошла не так, как бы должно было. Ты имел пред собою брата, батюшку — какие люди! Но я вечно прозябал, почти один, хуже нежели один, потому что не был оставлен, не был брошен, следовательно, не имел нужды действовать, мог спать умом и телом, и спал, и проснулся очень недавно, и по сию пору не умею владеть собою» (января 8, 1806 г.).

Племянница Жуковского, А.П. Юшкова (замужем Зонтаг), боялась за него, «хотя я и уверена, что досуг никогда вам не будет в тягость, однако же мне очень жаль, что вы теперь совершенно одни, — писала она ему. — Уединение прекрасное дело, но только не такое совершенное уединение, каково теперь ваше». Она утешается тем, что, вероятно, вернулся барон И.И. Черкасов, сосед Жуковского по Мишенскому: будет хотя один человек, «с которым вам можно поболтать, а то право, страшно бы было, чтобы

¹ То же в дневнике 1814 г. Русская Старина. 1883. Т. 37. С. 210; сл.: Зейдлиц, Жизнь и поэзия Жуковского. С. 56–57.

² Письмо 27 декабря 1805 г. Сл.: письмо 1806 г. 14 апреля.

вы не забыли говорить и чтобы из милого Базиля и в самом деле не вышел самой хорошенькой медведь. Не ездите в чужие края, милой Базиль!»¹ С Черкасовым Жуковский не замедлил сблизиться: нашел в нем очень умного человека, с которым приятно побеседовать, потому что он заставляет думать, напрягать мысли, но в том, что он говорит о религии, морали и т. д., «больше ума нежели чувства», и Жуковский не испытал по отношению к нему, «сердечной, сладкой искренности, épanchement du coeur» (Дневник 1805 г., 6 июля).

В письме Жуковского к Тургеневу 1806 г. есть намеки на какие-то «обстоятельства», которые побудят его ограничить себя одной дружбой, искать счастья в ней; «ты, может быть, должен будешь заменить для меня многое; что с одной стороны потерю, то буду стараться заменить тобою».

Когда спрос сердца так страстен, он выразится болезненно-восторженно, сдержанно-пугливо, лишь только явится его объект среди «обстоятельств», на которые намекает Жуковский.

Под 9-м июля 1805 г. он спрашивает себя в дневнике: «можно ли быть влюбленным в ребенка»? Жуковский занимался тогда с своими племянницами, дочерьми Екатерины Афанасьевны Протасовой, поселившейся в Белёве, в трех верстах от Мишенского, и ощутил романическое влечение к старшей из девочек, Марье Андреевне; ей было 12 лет (род. в 1793 г.); ему самому шел 23-й год. «Что со мною происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл! Отчего? Оттого что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большом совершенстве!» Это чувство родилось вдруг, и он желает сохранить его, им наполнен; «если оно усилится, то сделает меня лучшим, надежда или желание получить это счастье заставит меня думать о усовершенствовании своего характера; мысль о том, что меня ожидает дома, будет поддерживать и веселить меня во время моего путешествия. Я был бы с нею счастлив, конечно! Она умна, чувствительна, она узнала бы цену семейственного счастья и не захотела бы светской рассеянности. Но может ли это быть? Катерина Афанасьевна, если не ошибаюсь, дала мне что-то предчувствовать. Но родные? Может быть, они этому будут противиться?.. Неужли для пустых причин и противоречий

¹ Письмо от 9 марта 1866 г. Русский Архив. 1902. Май. С. 131 сл.: ib. письмо от 16 апреля.

гордости Катерина Афанасьевна пожертвует моим и даже ее счастьем, потому что она, конечно, была бы со мною счастлива?»

Это рождающееся чувство он воспитывает в себе нежно и робко, как воспитывал чувство веры и дружбы. Симпатии девочки раскрываются ему навстречу; он полон неясных надежд, еще не прочел всего Агатона Виланда, а уже рисует себе идеал молодого человека, «который заключает свое счастье меньше в грубой чувственности, нежели в наслаждениях духовных»: мечтательность (*Schwärmerei*), обузданная «здоровою опытною философию, может быть источником совершеннейшего земного счастья». «Жить одними идеалами не годится, но не иметь совсем идеалов столь же не годится: середина есть то, что всякий человек с некоторым особенным образом чувства избирать должен» (письмо к Вендриху 19 декабря 1805 г.)¹. Агатон — «святая книга», пишет он (8 января 1806 г.) Ал. Тургеневу, а в мыслях про себя, относящихся к тому же году, отмечает: «Идеал добродетельного и счастливого человека. О Агатоне»².

В 1806 г. проснулась и его поэзия: в 1805-м она дремала, написано всего три стихотворения, тогда как к 1806 г. их 43³, между ними «Вечер» и «Песнь Барда», есть элегические и шуточные, эпиграммы и басни из Лафонтена. На 16-е января Жуковский подарил Маше альбом своих стихотворений, с рисунком сепией в середине заглавного листа: женская и мужская фигуры, деревня и холмик с вазой. На верху листа надпись: «Памятник прямой дружбы» и эпитафия из Вольтера:

Vous en qui tant d'esprit abonde,
Tant de grace et tant de douceur,
Si ma place est dans votre coeur,
Elle est la première du monde.

[Вы, в ком столько ума, грации и нежности, — если мое место в вашем сердце, то это место — лучшее в мире. (*франц.*)]

Внизу листа: «1806 г., 14 октября»; на обороте стихи:

Мой друг бесценный, будь спокойна!
Да будущего мрак тебя не утратит!
Душа твоя чиста! ты счастья достойна!
Тебя Всевышний наградит.

¹ Сочинения В.А. Жуковского. Изд. 7-е. Т. 6-й. Стр. 384–385.

² Дневники В.А. Жуковского. С. 42.

³ Бумаги В.А. Жуковского. С. 26–29.

В этот альбом Жуковский поместил стихотворения с 1802 г., но продолжал заносить и позже — до 1814 г.¹

Очевидно, к Маше обращено и стихотворение 9 октября 1806 г., подробно излагающее программу идеальной для него жизни:

Младенцем быть душою;
Рассудком созреть;
Не тела красотою,
Любезностью пленять...
Быть в дружбе неизменной;
Любя, душой любить;
Супруги сан священной
Как дар небес хранить...
Вот счастье, друг бесценный,
Другого счастья нет².

За 1807-й год сохранилось всего одно стихотворение: «М(аше) на Новый год при подарке книги»:

На новый год в *воспоминанье*
О том, кто всякий час мечтает о тебе,
Кто счастье дней своих, кто радостей исканье
В твоей лишь заключил, бесценный друг, судьбе!

Жуковский собрался было в дорогу; в начале 1807 г. А.П. Зонтаг писала ему, желая доброго пути: «Вы отправляетесь путешествовать, смотреть на Волгу и горы Уральские»³. Оказывается, Блудов поехал в свою Казанскую деревню, чтобы устроить дела по смерти матери; за ним увязался и Жуковский. «Я поехал было с Блудовым в Оренбург, хотел видеть некоторую часть православной Руси, но в двадцати верстах от Москвы наша коляска была опрокинута; я ушиб руку»; пришлось вернуться⁴. Эпизод этот случился ранней весной⁵, 4 мая того же года Зонтаг пишет Жуковскому, как она испугалась при вести о его падении, как

¹ Бумаги В.А. Жуковского. С. 30 и след.

² Русская Старина. 1902. Апрель: Два неизданных стихотворения В.А. Жуковского. С. 134–135.

³ 5 января 1807 г. Русский Архив. 1902. Май. С. 130.

⁴ К Ал. Тургеневу; начало июля 1807 г.

⁵ Если дата письма Ек.Аф. Протасовой к Жуковскому верна (1808 г. 5 мая), то упоминание Оренбурга относится к замыслу, которому миновал год: «Скажи мне, пожалуста, как ты это вздумал эдакую даль ехать: Оренбург 1512 1/2 верст от Москвы. Это ужасно далеко». Русский Архив. 1902. Май. С. 129–130.

Кашкин считает это полезным для Жуковского, ибо научит его «не соваться в воду, не спросясь броду. Ах! думала я ... сколько раз уже наш Жуковский испытывал брод, и хотя находил его глубоким, но все-таки продолжал соваться в воду. Напр., под Лихвинным он втюрился по уши в Оку, в другой раз полетел, было, в Вырку с мосту, в третий раз хотел взбежать на крутой берег, чуть не умер от усталости... Соковнины очень смешно шутят над вашим падением. Напр., Катерина Михайловна пишет, говоря об вас:

Прокляв себя, судьбу, дорогу,
Не мешкав ни часа, назад он повернул,
Таша свое крыло и волочивши ногу,
Полмертвой, полхромой,
И прибыл, наконец, калекою домой¹.

В 1807 г. Соковнины снова выплывают в переписке друзей; старые чувства забыты, их стараются забыть.

В этом отношении интересны два письма Жуковского к Ал. Тургеневу. В первом (9 декабря 1807 г.), переходя от русского языка к французскому, Жуковский спрашивает: «Ditez moi encore, Alexandre, que veulent dire ces mots [Скажите мне, Александр, что означают эти слова]:

Одна живет в году весна,
Одна и милая на свете!

N'est ce pas inconséquent de montrer, qu'on a des sentiments, sans avoir le dessein de les nourrir et sans en avoir la possibilité? Pourquoi parler d'une chose, qu'on n'a ni le désir, ni le pouvoir de recommencer, et pourquoi risquer de réveiller des sentiments, qui ont été bien vifs, qui sont déjà éteints et qui ne peuvent être que douloureux? Je ne sais pas, quelle idée vous aviez eu en écrivant ces vers. Dans ces choses, connaissant bien les personnes, avec lesquelles vous avez relation, vous ne devez pas agir sans but. Et ces expressions parasites, jadis agréables, a présent inutiles, ne vous conviennent plus. *Silence sur tout ce qui est passé...* [Разве не непоследовательность — показывать, что некто испытывает чувства, когда нет намерения их поддерживать и нет никакой к тому возможности? Зачем говорить о том, что возобновить нет ни желания, ни сил, и зачем от-

¹ Русский Архив. I. с. Стр. 130–131.

важиваться на обнаружение чувств, которые были весьма сильными, которые ныне уже угасли и могут быть лишь мучительными? Я не знаю, что вы имели в виду, когда писали эти строки. В таких делах, хорошо зная людей, с которыми у вас отношения, вы не должны действовать без цели. И эти бесполезные выражения, некогда приятные, а ныне ненужные, теперь у вас некстати. *Молчание обо всем, что прошло... (франц.)*]. Если ты слышал от Блудова о некоторых моих связях, о которых я ему сказал слова два очень давно, и если он не забыл этих *двух слов*, то попроси его от меня, *чтобы он об них забыл и для себя и для других...* Я говорю не шутя, и прошу его, как друга, не шутить (по обыкновению своему) такую вещь, которую почитаю слишком важною. Не надобно говорить и тебе: сомкни свои уста, хотя ты ничего не знаешь. Признаюсь, боюсь нескромности, или, лучше сказать, обыкновенной невнимательности Блудова, а она в этом случае, *по некоторым обстоятельствам, может быть для меня несчастьем*».

Намеки письма объясняются из того, что мы знаем о ранних увлечениях Жуковского и Ал. Тургенева. В 1807 г. Жуковский переписывался с Анной Михайловной Соковниной¹, к которой когда-то был равнодушен Ал.Ив. Тургенев; он рассчитывает на ее помощь, если она осталась такою же, какою была «dans le temps où on chantait: Puisque l'orgueil pour jamais te sépare. Nous pourrions encore être heureux, non pas moi, mais nous, et cela dépend de nous, et nous devons absolument faire en sorte que cela soit» [во времена, когда пели: ибо гордость навеки тебя разлучила... Мы сможем еще быть счастливы, не я, но мы, и это зависит от нас, и мы должны все делать для того, чтобы так и было (франц.)]. И он просит Анну Михайловну написать Тургеневу об одном знакомом, Проташинском, о котором хлопотал: «пожалуйста, поспешите об этом написать к нему, и так как ваши слова для него важнее моих, то заставьте, попросите, убедите и проч. его постараться о Проташинском и написать ко мне пообстоятельнее обо всем»². В том же году Жуковский журит Тургенева за то, что письма Анны Михайловны, обращенные к нему, в таком у него «неприборе», что всякий profane может их видеть. Анна Михайловна жаловалась на это. Если это правда, то надо исправить беду: «*прошедшее заслуживает большее от нас уважение потому*

¹ Сл.: Русский Архив. 1900. Сентябрь. С. 6–8 (июля – августа 1807 г.).

² Июль-август 1807 г. Там же. С. 7. Жуковский называет Проташинского братом М.А. Протасовой. Об этих родственных отношениях сл.: Русский Архив 1883 г. Кн. I. № 2. С. 317 (письмо А.Н. Арбеновой Жуковскому 22 марта 1814 г.).

особенно, что настоящего никак нельзя ему предпочесть. Она говорила мне об этом с чувством упрека, и она права. Как можешь ты так не дорожить ее именем, или, лучше сказать, как можешь быть так рассеанным?» (декабря 1807 г.). А вместе с тем Тургенев, у которого чувство уже остыло, мог еще играть в него, говорить об «одной милой на свете». Упрек быть заслужен. Себя Жуковский не упрекает, а оберегает. Из одного письма к нему Андрея Тургенева видно, что Жуковский заподозрил друга, будто он проговорился в Москве о его романе; Тургенев отвечал тогда, что не виноват, разве Блудов наболтал чего-нибудь пустого, а если под романом разумеет Марью Николаевну, то ему первый начал говорить о том Козловский. — Это было давно, а Жуковский и теперь боится этих слухов: они помешали бы ему в *его обстоятельствах*.

В июне 1807 г. Жуковский писал Блудову из Москвы накануне отъезда в деревню, где намеревался пробыть два месяца, что на будущий год берет на себя редакцию «Вестника Европы»¹. Друга давно звали его в Москву. «Твоя страсть, которую отгадал я из письма твоего, не должна погашать душевного огня твоего, — ободрил его Ал. Тургенев, — умеряй ее деятельностью и дружбою» (1807 г. 5 декабря, неизд.). Приходилось расставаться с своими. Два четверостишия 1808 г., обращенные к Маше (при посылке альбома: «Невинность мирная, краса души твоей» и «Собой счастливить всех — прелестный жребий твой»), настроены печально. В первом номере «Вестника Европы» за 1808 год, вышедшем за подписью Жуковского как редактора, «Письмо из уезда» было его журнальной программой, аллегорическая повесть «Три сестры. Видение Минваны», напечатанная во втором, — приветом Маше ко дню рождения (1 апреля)². К Минване-Маше являются три сестры, молодые красавицы: Вчера — прошедшее, Ныне — настоящее и Завтра — будущее. «Ныне» дает ей ко дню рождения розу, «Вчера» поучает: в минуту испытания она будет ей утешительницей и другом; близ ее урны, под сумраком кипариса, обитает *воспоминание*, вещающее о том, что было и чего уж нет; «задумчивая меланхолия, которая наслаждается скорбию, любит одно минувшее, носится мыслию над гробами и в сетовании о мертвых находит сладость». В беседе с прошедшим Минвана найдет отраду, прискорбная «Ныне» опять улыбнется и ветренная «Завтра» прилетит с своими мечтами³.

¹ Русский Архив 1900 г. № 9. С. 5.

² Зейдлиц I. с. С. 34–35.

³ Тот же мотив трех сестер (Вчера, Ныне и Завтра) в отрывке: «Уединение» 1813 г.

Две исторические повести в сентиментальном карамзинском стиле, появившиеся в 1808–1809 г., получают значение для сердечной биографии Жуковского в освещении его лирики. Я имею в виду два стихотворения этого года, из которых одно можно связать с Марьей Андреевной Протасовой («Роза, весенний цвет»), другое ей посвящено. Первую пьесу поет Людмила в «Трех поясах», повести, построенной на сказочной теме о трех сестрах, двух завистливых красавицах, Пересвете и Мирославе, и одной некрасивой, но простосердечной Людмиле. Ковы красавиц не удаются, Людмиле помогает волшебница Добрада. Если эта «русская» сказка – не оригинальная, а переводная¹, то Жуковский не только приладил ее к русской древности, как он понимал ее, но и к своему психологическому настроению; характерный прием творчества, с которым мы встретимся не раз. Действие происходит под Киевом при Владимире и его сыне Святославе. Из всех девиц, представленных ему, Святослав выбирает Людмилу; она поет ему: «Роза, весенний цвет»: золотой мотылек шепчет розе, пусть скроется под тень от лучей палящего солнца, а она в безумной гордости говорит, что солнце ее любит; ей ли, красавице, искать тени? И она поникнула от лучей, запах исчез.

Девушка красная,
Нежный цветок!
Розы надменные
Помни пример.
Маткиной душкою
Скромно цвети,
С мирной невинностью,
Цветом души.

В «Трех поясах» все любят Людмилу: «Какая привлекательная скромность, какой невинный взгляд, какая нежная, милая душа изображается на лице ее, приятном, как душистая маткина душка!»

Другая песня 1808 г., помеченная 1-м апреля, днем рождения Маши (напечатанная в «Вестнике Европы», 1809 г., май, № 9), – откровенное признание в любви, скромной, душевной, платонической, но уже чувствуется тревога, опасение, возможность разлуки: Людмиле не выйти за Святослава.

¹ Она напечатана в «переводах» Жуковского. Сл.: Тихонравов. Сочинения. Т. III. Ч. I, примечания. С. 60, прим. 8.

Мой друг, хранитель-ангел мой,
О ты, с которой нет сравнения,
Люблю тебя, дышу тобой...

И далее:

Ах! мне ль *разлуку* знать с тобой?
Ты всюду спутник мой незримый.

В «Марьиной Роще»¹ разлука совершилась. Историческую окраску повести дает грозный Рогдай, колеблющийся между Новгородом и Киевом, где он служил великому князю Владимиру вместе с богатырями Ильею, Чурилою и Добрынею; но у него есть терем и на берегах Москвы-реки, куда он является, чтобы помешать любви певца Услава и красавицы-крестьянки Марии. Улад, которого в селе называли соловьем, «простыми стихами прославлял весну, спокойствие земледельческих хижин, свободу поднебесных ласточек, нежность дубравных горлиц». Он был в отлучке, а Мария, прельстясь «надеждою сиять своими прелестями в великолепном граде Киеве», согласилась выйти за Рогдая, — не изменяя своей любви к Усладу; и можно ль «забыть те сладкие чувства, которыми животворится душа наша в лучшие годы жизни, с которыми соединены все наши надежды на счастье, которыми земля претворяется в царство небесное?» Она дорого «заплатила за свое легкомыслие»: Рогдай убил ее в порыве ревности, а Улад посвящает свою жизнь гробу своей Марии: жизнь обращается для него «в ожидание сладкое, в утешительную надежду на близкий конец разлуки»; Мария сохранила к нему «любовь и за гробом».

¹ «Скоро ли мы увидим что-нибудь вашего произведения, — писал Жуковскому Дмитриев в 1806 г., — не зародился ли какой-нибудь внучек Марфы Посадницы? Но я лучше бы желал увидеть колдунью в *Марьиной роще*, или, в роде идиллии, возвращающегося со службы воина в свою отчину, или *барда на поле битвы после ночного сражения*, или оду: Песнопевец, или Четыре времени дня; но мало ли что приходит в голову на досуге?» (Соч. И.И. Дмитриева, ред. и примечания А.А. Флоридова. Т. II. 1893. С. 207). «Песнь барда на гробе славян победителей» была, быть может, ответом на одну из тем Дмитриева, но Жуковского давно занимала и Марьяна Роша. «Недавно, перечитывая стихи свои на «Марьину Рошу», которые начал было я сочинять в Свирлове, я прочел в них с некоторым трепетом следующие два стиха:

Что ждет меня вдали на жизненном пути?
Что мне назначено таинственной судьбою?»

(Жуковский к Ив. Петр. Тургеневу 11 августа 1803 г.).

В 1808 г. М.А. Протасовой было 15 лет, как Марии в «Марьиной роще»; Усад-Жуковский поет, изображая приятность *маткиной души*, которой запах сравнивал он с «милой душою чадолюбивой матери», и разлукой веет при первом его объяснении в любви.

Послание «К Нине» (1808) развивает вопрос Марии: можно ли забыть за гробом любовь. На этот раз ставит вопрос поэт: небо будет ему изгнанием, если для бессмертия он утратит любовь:

О! первая встречи небесная сладость —
Как тайные, сердца созданья, мечты,
В единый слившись пленительный образ,
Являются смутным весельем душе —
Уныния прелесть, волнение надежды,
И радость и трепет при встрече очей,
Ласкающий голос — души восхищенье,
Могущество тихих, таинственных слов,
Присутствия сладость, томленье разлуки,
Уже ль невозвратно вас с жизнью терять?

Таинственный голос вещает ему, что для нежной любви нет смерти. «Возлюбленный образ, с душой неразлучный, И в вечность за нею из мира летит», и он утешает Нину, что дух его будет с нею, невидимый хранитель, будет вливать утешение в ее скорбную душу, носить ее молитвы к небесному трону, и смерть ей будет путем к веселию, к восторгу свидания с другом. «О Нина, о Нина, бессмертье наш жребий».

Таковы утешения сентименталиста, для которого «вселенная со всеми ее радостями должна быть заключена в той мирной обители, где он мыслит и где он любит» — в семье («Писатель в обществе», 1808). «Ты опять свел на счастье семейственной жизни и опять пленяешься и пленяешь других изображением того счастья, которое должно быть заключено в мирной обители, — писал ему Ал. Тургенев по поводу статьи о Писателе в Обществе. — В награду за столько прекрасных описаний семейственной жизни я желаю тебе от всего сердца, чтобы ты наслаждался сим счастьем и нашел около себя вселенную со всеми ее радостями, а мы за наше неверие будем вечно искать и не находить счастья»¹. Но и Жуковскому приходилось пока искать счастья — в утехх меланхолии.

¹ Письмо 4 декабря 1808 г. Неизд.

Это не «прибежище любви *праздной*, т.е. счастливой и еще постоянной», как утверждала одна женщина, испытавшая «прямую любовь»: всякая любовь, и счастливая и несчастная, «до тех пор, пока она остается любовью», необходимо соединена с меланхолией. «Меланхолия не есть ни горечь, ни радость: я назвал бы ее оттенком веселия на сердце печального, оттенком уныния на душе счастливица¹... Счастье любви есть наслаждение меланхолическое: то, что чувствуешь в настоящую минуту, менее того, что будешь или что желал бы чувствовать в следующую: ты счастлив, но стремишься к большему, более совершенному счастью, следовательно в самом своем упоении ошутителен для тебя какой-то недостаток, который вливает в душу твою тихое уныние, придающее более живости самому наслаждению; ты не находишь слов для изображения тайного состояния души твоей, и это самое бессилие погружает тебя в задумчивость». Счастливая любовь неразлучна с надеждой, но «надеяться и не доверять почти одно и то же, а неверная надежда в самую минуту счастья соединена с унынием меланхолии»; несчастная же любовь, «разлученная с сладкою надеждою жить для того, что нам любезно, слишком скоро умертвила бы наше бытие, когда бы отделена была от меланхолии, от сего непонятого очарования, которое придает неизъяснимую прелесть самым мучениям. Невидимая цепь привязывает тебя к твоей горести; в ней твое бытие; утратив ее, ты сам уничтожен, ибо все то, что прежде наполняло твою душу, вдруг исчезает»: мысль о том, что ты любим, что сердце, отнятое у тебя судьбою, еще свободно, не отдано и что, переменись твой жребий, она, быть может, была бы твоею. Пока человек упрекает одну судьбу, у него остается некоторая обманчивая надежда на перемену — и в этом обманчивом ожидании — «тайное меланхолическое наслаждение» (Меланхолия. Сочинение женщины, которая никогда не бывала в меланхолии. «Вестник Европы», № 19, 1808).

Нет, счастье к бытию меня не приучило, пишет Жуковский Ал. Тургеневу, повторяя горькие откровения дневника:

Мой юношеский цвет без запаха отцвел.
Едва в душе своей для дружбы я созрел,
И что же!.. Предо мной увядшего могила,
Душа, не воспылав, свой пламень угасила.
Любовь... но я в любви нашел одну мечту,

¹ Сл. у Карамзина: Меланхолия, подражание Делилю: «нежнейший перелив — От скорби и тоски к утехам наслажденья».

Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья,
И невозвратное надежд уничтоженье.
Иссякшая души наполню ль пустоту?
Какое счастье мне в будущем известно?
Грядущее для нас — протекшим лишь прелестно.

Его чувство настраивается на самоотречение, он готов пожертвовать всеми благами жизни, лишь бы

той счастье искупить,
С кем жребий не судил мне жизнь мою делить!
(«К Филалету», 1808–1809).

Работа по журналу, редакцию которого он с конца 1809 г. разделял с Каченовским, его расшевелила, дала направление энергии. 15 сентября 1809 г. он пишет другу: «Планов и предметов в голове пропасть, и пишется как-то скорее и удачнее прежнего. Nonny soit qui mal у pense [пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (*франц.*)]». Письма 1810 г. полны литературных затей, прежних забот о самообразовании: он бросился на историю, занимается латинским языком, хочет приняться за греческий, тревожит Ал. Тургенева просьбами о высылке книг. У него явилось «расположение к деятельности»; «может быть, такая перемена произошла во мне от того, что я *деятельность писателя* теперь поставляю единственным своим благом, зависящим от меня, и хочу к этому благу стремиться, отказавшись от всех других, от меня не зависящих и неверных, предоставляя себе однако воспользоваться ими, если они на дороге мне представятся» (1810 г., 12 сентября)¹. «Всякая минута у меня занята. Но когда

¹ Письмо 12 сентября писано, очевидно, в ответ на не изданное пока письмо Ал. Тургенева, из которого привожу отрывок. «Посылаю тебе еще одну из пьес Уварова, которая однако ж не есть из лучших. Он написал два послания: A celle que je ne soppais pas [К той, которую я не знаю. (*франц.*)], и второе гораздо лучше, нежели A celle que je soppais. В нем есть истинный талант и какой-то жар в душе, которого Василий Львович (Пушкин) никогда иметь не будет, хотя и ставит себя выше Уварова в поэзии. Но это не есть главное его достоинство: Уваров пишет в прозе очень хорошо и имеет множество сведений не в одной только легкой литературе, но знаком и с римскими классиками, а теперь принялся с жаром за греческую грамматику и хочет читать Гомера в оригинале, а тебе советует читать его в переводе Фосса, который несравненно вернее и лучше Попа... Пиши против главной мысли Уварова, господствующей почти во всех его сочинениях и совершенно противоположной твоей главной мысли, которая есть семейственное счастье и скромный уголок в отчизне. Aber diese verschiedene Stimmung Ihrer Gemüther kommt aus der besonderen, jeden von ihnen eigenen Individualität, die

подумаю, сколько погибло драгоценного времени по пустякам, сердце обливается кровью» (11 октября 1810 г.). Те же жалобы в письме от 7 ноября: «Ах, брат и друг, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта каким-то туманом *недеятельности душевной*, который ничего не дает мне различить в ней. Причина этой недеятельности тебе известна. А теперь, друг мой, эта самая деятельность служит мне лекарством от того, что было прежде ей помехою. Если *романическая* любовь может спасти душу от порчи, зато она уничтожает в ней и деятельность, привлекая ее к одному предмету, который удаляет ее от всех других. Этот один убийственный предмет, как царь, сидел в душе моей по сие время». Не всякая любовь убивает деятельность, а любовь его, Жуковского: «надобно сообразить *мои обстоятельства: воспитание, семейственные связи и двух тех, которые так мало на меня действовали*» (отца и матери?). Обо всем этом он поговорит с приятелем «в каком-нибудь московском уголку», где они обновят «душевный обет навсегда, навсегда быть добрыми спутниками в счастии и несчастьи». Скорее в несчастьи: ему чудится, что судьба готовит что-то «ужасное», предстоит какое-то испытание; «подумай о том, что были многие эмигранты, рассыпанные по всему свету революциею; взгляни на то, что происходит около нас, и вообрази возможности... Для двух несчастье не ужасно... в глазах и в руке друга — надежда и сила». Но воспоминания проснулись не даром: оказывается, что у него

aus ihren Lebensumständen und Jugendverhältnissen entstanden ist [Но эти различные настроения ваших душ исходят из особых, каждому из вас свойственных индивидуальностей, которые сформировались из ваших жизненных обстоятельств и юношеских отношений. (нем.)]. Блаженные минуты его жизни прошли под чужим небом, там был он счастлив и любил в первый раз. Оттуда для него

Gleich einer alten halbverklungenen Sage
Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf,
Da sind ihm die ersten Bilder froher Targe
Erschienen.

[Подобно старой, наполовину отзвучавшей легенде приходят первая любовь и дружба, так явились ему первые образы веселых дней. (нем.)]

С тобою все случилось напротив: твой юношеский цвет расцвел в скромном уединении, не ты оставил друзей своих, но они расселись по белу свету. Und was sich sonst an deinem Lied erfreut, Wenn es noch lebt, ist in der Welt zerstreut [И те, кто обычно радовался твоей песне, если и живы, рассеялись по миру. (нем.)] (А. Тургенев использует здесь стихи из «Посвящения» «Фауста» Гёте. — *Ред.*). И любовь твоя имеет другой характер, но в мыслях вы часто сходны: в твоей Песне барда и в его *Epitre sur l' avantage de mourir jeune* [Письмо о преимуществе умереть молодым. (франц.)] много мыслей, вам общих».

по-прежнему «голова в споре с сердцем» и работа над самообразованием была одним из средств выбраться из душевной расторженности. И он снова твердит, что намерен серьезно отдаться труду, необходимому, хотя и тяжелому. Он рассчитал его на три года, составил подробный план занятий¹; давно написал бы Тургеневу «послание о деятельности» (оставшееся ненаписанным) «если бы не был рабом своего немецкого порядка: и восхищению стихотворному назначен у меня час особый, свой. Но это восхищение как то упрямо и не всегда в положенное время изволит ко мне жаловать».

Выдержки из дневника 22 ноября, которые Жуковский приводит в письме к Тургеневу от 4 декабря, показывают, как решительно он поставил себе новый идеал жизни: прежде у него была одна только мысль: надобно писать, теперь, когда он понял, что он «невежда во всей обширности этого слова», он говорит себе: «надобно учиться и потом писать». У него хватит твердости, чтобы не отступить назад, начать с начала, потому что видит в работе не только средство к счастью, но и счастье. «Прежняя моя лень весьма много происходила и от любви, которая составляла царствующую в голове моей идею и всему прочему была тираном. Теперь и любовь уступила трудолюбию». «Тихая скромная жизнь, употребляемая на исполнение должностей и на труд полезный, есть самая счастливая».

В письме от 4 декабря, в которое вставлен этот отрывок, Жуковский просит своих приятелей, Тургенева и Блудова, найти ему место, устроить и обеспечить, он боится, чтобы тягостные заботы о состоянии не принудили его сойти с избранной дороги и не броситься на такую, на которой он не надеется быть счастливым; «вы сделаете пользу мне, а я — я буду полезен целой России. Говорю это не шутя, ибо я могу быть и буду хорошим писателем».

Между отметкой в дневнике 22 ноября и письмом 4 декабря следует поместить письмо Жуковского с указанием на какие-то неприятные обстоятельства, который он предвидел: он просит Тургенева похлопотать о деле Ек.Аф. Протасовой, просит, по обыкновению, книг, затем продолжает по-немецки: *das beste Mittel wider die bevorstehenden Unannehmlichkeiten ist meinen Geist mit einem desto festeren Entschluß zu großen Dingen und Gesinnungen zu erfüllen, denn ich kenne mich genug um zu wissen, daß der Vorsatz oder die Zuversicht in meinem Leben das gemeine Wohl zu befördern mich mehr als alles andere standhaft und ruhig macht;*

¹ Сл.: Шевырёв I. с. С. 20, 73.

dadurch werden in meinen eigenen Augen meine Wissenschaften so edel und wichtig, das Pflicht und Ruhmbegierde mich gegen alles unüberwindlich machen [лучшее средство от *предстоящих неприятностей* — еще решительнее устремлять мой дух к высоким предметам и чувствам, ибо я достаточно знаю себя, чтобы понимать, что намерение или убеждение *содействовать* моей жизнью *общему благу* более всего придает мне твердости и спокойствия; мои занятия в моих собственных глазах поднимаются в благородстве и важности от того, что долг и желание славы делают меня неуязвимым для чего бы то ни было (*нем.*)]¹.

Какие неприятности предстояли Жуковскому? Едва ли дело идет на этот раз об общественных «испытаниях», которые грезились ему. В конце 1810 г. Екатерина Афанасьевна переселилась в свое поместье Муратово, куда за ней перебрался и Жуковский в деревню, купленную им в соседстве; с начала 1811 года «Вестник Европы» издается уже одним Каченовским. По-видимому, к этому времени относится объяснение Жуковского с Ек. Аф. Протасовой²: он решил просить у ней руку дочери; в дневнике 1814 г. Жуковский недоумевает, почему не дошло по назначению его письмо марта 1811 г., в котором он просил Екатерину Афанасьевну довериться ему, потому что это единственное средство переменить его привязанность к Маше — в чувство брата. Об этой небратней привязанности уже знали, Жуковский пытается выступить открыто, он выяснил свое грядущее, и сознание, что он будет «полезен всей России», дает ему спокойствие, выдержку; было за что ухватиться. Протасова отказала под предлогом близкого родства и даже запретила Жуковскому говорить Маше о своей привязанности. Между тем приятели хлопотали: Уваров, в то время попечитель С.-Петербургского учебного округа, видевшийся с Жуковским в Москве в начале 1811 г., предлагал ему место в Педагогическом Институте, но он отклонил его, потому что не готов, да и «исключительное занятие» лишило бы его свободы, возможности предаться своему делу, от которого не хочет отстать. Уваров поручил Ал. Тургеневу уговорить его. Жуковский отвечает в мае 1811 г.: ты слишком нетерпелив в делании мне добра, подожди, когда я сам попрошу твоей помощи. «Из деревни опишу обстоятельно все *причины, принуждающие меня отказаться от выгодной должности, мне предлагаемой. Теперь мне совсем не до того*»³.

¹ Русская Старина 1901 г. Апрель. С. 127–129.

² Сл. у Тихонравова I. с. С. 491 и след. в разборе показаний Зейдлица.

³ Письмо 1811 г., из второй половины мая. Сл. примечания издателя.

Послания «о деятельности» не могло быть написано; большая часть стихотворений 1810—1811 гг., свои и заимствованные, выражают тревоги и перебои романтической любви. В письме 7 ноября 1810 г. извещал Тургенева, что у него почти готова баллада, вдвое длиннее «Людмилы» (1808) и лучше ее, с главным действующим лицом диаволом, и этот дьявол будет посвящен его «милой переписчице», А.А. Протасовой, сестре его Маши. Разумеется «Громобой»; к Маше, вероятно, обращено стихотворенье «К ней», найденное после ее смерти в ее портфеле¹. Знакомые мотивы сентиментальной поэзии вторгаются в послание «К Блудову» (1810), повторяются в «Песне» («О милый друг! теперь с тобою радость!»), подражание немецкой 1811 г.), в «Подписи к солнечным часам», в «Цветке» (с французского 1811 г.), в «Жалобе» (из Шиллера, *Der Jüngling am Bache* [«Юноша у ручья»]; 1811 г.), в «Желании» (из Шиллера, *Die Sehnsucht*; 1811 г.), в «Певце» (1811).

Шиллеровский *Jüngling, Knabe*, очутился знакомым нам Усладом: оба сидят у ручья, в волны которого бросают венок; все воскресло с весною, для них же нет счастья без милой. Жуковский идет об руку с текстом, не переводя, а подражая, и кончает третьей строфой:

Что в природе, озаренной
Красотою майских дней?
Есть одна во всей вселенной —
К ней душа, и мысль об ней;
К ней стремлю, забывшись, руки;
Милый призрак прочь летит.
Кто ж мои услышит муки,
Жажду сердца утолит?

У Шиллера все разрешается призывом к счастью: Сойди, моя красавица, покинь свой гордый замок; я осыплю тебя весенними цветами. Слышишь, как лес оглашается песнями, как звонко журчит ручей! И в малой хижине есть место для двух любящих. — Усладу-Жуковскому такой хижины не предвиделось, и он опустил последнюю строфу. Стихотворение, хотя и подражательное, получает характер биографический. Как Элегия «Вечер» (1806) кончалась ожиданием, что унылая Минвана с Альпином придут мечтать «над тихой юноши могилой», так теперь поэт приглашает нас погрузиться над прахом «бедного певца», который:

¹ Зейдлиц I. с. С. 45.

Дружбу пел, дав другу нежну руку,
Но верный друг во цвете лет угас;
Он пел любовь — но был печален глас;
Увы! он знал любви одну лишь муку...
Что жизнь, когда в ней нет очарованья?
Блаженство знать, к нему лететь душой,
Но пропасть зреть меж ним и меж собой,
Желать всяк час и трепетать желанья...

(«Певец», 1811)

«Бедный певец» — это сам Жуковский: на его могилу придет друг (Блудов) с своей Людмилой, пусть соберутся туда и друзья: когда

Луна сквозь облак дымный
При вечере блеснет,
И липа разольет
Окрест благоуханье,

он будет летать под зыбкой сенью деревьев невидимую тенью об руку с Филоном:

Тогда вам тихим звоном
Покинутая мной
На юном клене лира
Пришельцев возвестит
Из таинственна мира,
И тихо пролетит
Задумчивость над вами.

(«К Блудову» 1810)

Но надежда еще не умерла: если прошла весна любви, то на смену ей явится «дружба мирная» («Надпись к солнечным часам», 1811), либо дружба и труд, водворяющий в сердце «ясность и покой», повторяет поэт за Шиллером («Мечты» 1812).

Он сам изобразит себя в влюбленном юноше, с душою ясной, как весенний день — в послании «К Батюшкову» (1812), который знал о его горе и советовал «сложить печалей бремя» («Мои пенаты» 12 апреля 1812 г.):

При ней — задумчив, сладкой
Исполненный тоской,

Ты робок, лишь украдкой
Стремишь к ней томный взор:
В нем сердце вылетает;
Несмел твой разговор;
Твой ум не обретает
Ни мыслей, ни речей;
Задумчивость, молчанье
И страстное мечтанье –
Язык души твоей;
Забыты все желанья;
Без чувства, без вниманья
К тому, что пред тобой,
Ты одинок с толпой.

И Батюшков в послании к А. Тургеневу (1812) характеризует Жуковского как певца любви, утопающего в восторге и забывающего строгий голос рассудка:

Для двух коварных глаз,
Под знаменем Киприды,
Сей новый Дон-Кишот
Проводит век с мечтами,
С химерами живет,
Беседует с духами,
С задумчивой луной,
И – мир смешит собой!
Для света равнодушен,
Для славы и честей,
Одной любви послушен,
Он дышет только ей,
Везде с своей мечтою,
В столице и полях,
С поникшей головою,
С унынием в очах,
Как призрак бледный бродит,
Одно твердит, поет:
«Любовь, любовь зовет...»
И рифмы лишь находит.

(Ответ А.И. Тургеневу)

Пока оставалось мечтать, жить воображеньем, отвечает он своей племяннице, Авдотье Николаевне Арбеновой:

«Рассудку глаз, другой воображенью!»
Так пишет мне мой стародавний друг.

Воображение — это волшебный фонарь, являющий нам «на
плате роковом Блестящее блаженства привиденье. О! друг мой!
Ум всех радостей палач!» Оставим его тем, кто благами богаты,

Но у кого они на перечет,
Тому совет: держись воображенья!
Оно всегда в печальной жизни счет
Веселые приносит заблужденья!

Нетленного нет на земле,

Оно нас ждет за дверью гробовою;
А на земле всего верней — мечтать!

Его желанья скромные:

...мирный труд, свобода с тишиной,
Посредственность и круг друзей священной,
И муза, вождь моей судьбы смиренной.

Он не рожден под той звездой, которая влечет в храм Форту-
ны: нет у него ни отважности, ни пламенного рвенья, ни дара
ловить летящее мгновенье, препятствия в удачу обращать:

Полжизни я истратил в тишине:
Застенчивость, умеренность желаний,
Привычка жить всегда с одним собой,
Доверчивость с беспечной простотой —
Вот все, мой друг! Увы! запас убогой!

Зачем ему дары счастья? «С кем их делить? Кому их в дар при-
нести?..» Быть полезным? Но это дело сильных, «их круг боль-
шой! ты действуй в малом круге!» Ему быть певцом,

Кому дано бряцаньем лиры стройным
Любовь к добру переливать в сердца
(«К А.Н. Арбеновой», 1812)¹

¹ Жуковский затевал еще какое-то послание к Арбеновой, о чем писал ей 15 декабря 1813 г.: «У меня еще сидит в голове и стихотворное к вам послание; но стихи пишутся

Мы знаем, что Протасова обязала Жуковского ничего не говорить дочери о его предложении и ее, Протасовой, отказе, а он, казалось ей, нарушил обещанье: на семейном празднике у соседей Плещеевых 3 августа 1812 г. он пропел своего «Пловца».

«Пловец» 1811 г. навеян, так сказать, мотивами двух стихотворений Жуковского, относящихся к тому же году: «Добрая мать» написана по адресу Ек.Аф. Протасовой; оказывается, Бог послал ее в мир «себе на прославление», дабы она примирила с надеждой того, кто разуверился в счастии (Жуковского), а в награду ее «доблестей чудесных» послал ей «двух ангелов прелестных», т.е. двух дочерей. В «Желании» (из Шиллера) поэт ищет желанного исхода, хочет воскреснуть душой: видит где-то цветущие холмы, «предел очарованья», но путь туда прегражден ужасным потоком. У берега лодка:

Едем!.. будь, что суждено...
Паруса ее крылаты
И весло оживлено.
Верь тому, что сердце скажет;
Нет залогов от небес;
Нам лишь чудо путь укажет
В сей волшебный край чудес.

Чудо совершается в «Пловце»: пловец-Жуковский гибнет в волнах океана, но Провидение занесло его в райскую обитель, там он видит трех ангелов (Ек.Аф. Протасову с дочерьями). Какая

... радость
Ими жить, для них дышать,
Их речей, их взоров сладость
В душу, в сердце принимать.
О судьба! Одно желанье:
Дай все блага им вкусить;
Пусть им радость, мне страданье,
Но... не дай их пережить.

Протасова приняла это за намек, нарушивший ее приказание, и попросила Жуковского удалиться. 12 августа он поступил в Московское ополчение и вернулся к своим лишь 6 января 1813 г., поболев в Вильне горячкой. «Минута энтузиазма, весьма есте-

тогда только, когда на душе ясно; а на моей душе часто и очень часто сумерки». Русский Архив. 1883. II. С. 309.

ственного при чтении манифестов нашего Государя, заставила меня броситься на такую дорогу, которая мне совсем не известна», писал он впоследствии¹. В сражениях он не участвовал, не видел подробностей «кровавой свалки», хотя получил чин штабс-капитана и орден Анны 2-й степени за отличие под Бородиным и Красным, но видел картины войны, что-то стихийное, несказанное в контрастах тихого неба и борющихся армий — и вернулся со славой «Певца во стане русских воинов». Он уже испытал свою лиру в патриотическом песнопении, но «Песня барда» с ее гипотетическими славянами, Дидом и Святовидом — это восторг вчуже; «Певец» переводит нас на более историческую, если и не реальную почву: над войском по-прежнему мчатся воздушные полки, но между ними Святослав, Донской, Петр, Суворов; вооружение классическое: мечи, стрелы, кольчуги. Жуковский не заметил противоречия и позже, когда в издании своих сочинений 1848 г. в виньетке перед «Певцом» изобразил сам себя в виде певца без бороды, в казачьей куртке, — но с лирой, перед бородатыми товарищами, расположившимися вокруг сторожевого огня. Впечатление роковых контрастов, вынесенное им из действительности, отразилось в Певце идиллическими картинами: здесь «за гибель — гибель, брань, за брань», а там отчизна,

Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки.

Там и милая, давшая витязю щит со святым обетом: «Твоя и за могилой». Там (в Муратове), за синей далью,

Твой ангел, дева красоты,
Одна с своей печалью,
Грустит, о друге слезы льет;
Душа ее в молитве,
Бойтся вести, вести ждет:
«Увы! не пал ли в битве?»
И мыслит: «Скоро ль, дружный глас,

¹ «Рассуждение о Певце во стане русских воинов». СПб., 1822. Сл. письмо к Ал. Тургеневу 9 апреля 1813 г.

Твои мне слышать звуки?
Лети, лети, свидания час,
Сменить тоску разлуки!»

И милый является — к «Светлане».

Баллада, лишь в 1814 г. поднесенная, как свадебный подарок, сестре Маши, А.А. Протасовой, затеянная, быть может, еще в 1808 г., написана была, вероятно, в 1812 г. «Певец» напечатан в «Вестнике Европы» 1812 г. № 23–24, баллада там же в № 1–2, 1813 г.

На приглашение Ал. Тургенева приехать в Петербург Жуковский отвечал, что у него и денег на то нет, да он ничего иного и не желает, как жить в деревне, жить авторством, пользоваться свободой и «писать с вольным духом... Впрочем могут случиться такие *обстоятельства*, которые заставят меня искать приюта в службе. Тогда ты будешь моим прибежищем. Думая о том, что может со мной случиться худого, думаю всегда, что ты мне останешься и что в тебе найду замену того, чего, может быть, должно лишиться. Это покажется тебе мистическим. Объяснимся после. Дорого бы дал, чтобы с тобою увидеться: я так давно уже не имел этого счастья. Но что говорить о счастье; нельзя сказать, чтобы оно было со мной знакомо» (20 мая 1813 г.).

Маша между тем узнала о предложении Жуковского и отказе матери, и ее здоровье пошатнулось. Первые письма Жуковского к его племяннице А.П. Киреевской от июля 1813 г. полны забот о здоровье Маши. Киреевская собралась в свое Долбинское имение, где все напомнило бы ей ее покойного мужа, и Жуковского заботит, что она даст над собою волю печальному чувству, что ее воображение будет «трудиться над изобретением новых горестей». И он пространно наставляет ее: она обязана сохранить свой душевный покой для детей — и для Маши, ее спокойствие должно быть для вас главное, на спокойствии основана ее жизнь, душевное волнение для нее пагубно. Надо беречь ее, не огорчать, «пожертвовать всеми будущими досадами». «Какое счастье для вас быть ее хранителем!» — «Собственного счастья, которое мне нужно, я иметь не буду! — говорит он в другом письме, — мне остается только видеть его в вашем милом круге — оно все будет моим».

Письма Жуковского 1813–1814 г. к Ал. Тургеневу, Воейкову, Свечиной, Арбеновой и др. покажут нам, как это самоотречение перебивалось надеждами, как он всюду искал себе пособников, которые могли бы повлиять на решение Протасовой, искал среди родных и друзей, в Лопухине, Воейкове, архимандрите Филарете, епископе Досифее; рассчитывал при помощи Ал. Турге-

нева на влияние Государыни и Синода. Во всем этом было более фантастики, чем разборчивости, и Жуковскому пришлось разочароваться во многих, которых он считал своими друзьями. Он жаловался и попрекал, но порой справлялся с собой и брал на себя часть вины; требуя свободы своему чувству, он не считался с практической стороной дела. Екатерина Афанасьевна была упрямой блюстительницей церковного обряда и, разумеется, канонического предания, «у нее сложились очень самостоятельные и строгие нравственные правила, и она крепко придерживалась того, что признавала за правду-истину, — качество души, которое при известных обстоятельствах иногда может переродиться в упрямство». Так говорит Зейдлиц, коротко ее знавший и любивший (I. с., с. 13); Вилламов отзывался о ней в 1820 г. как о «нашей доброй маменьке»; Воейков упрекал ее в «ложной чувствительности». Сентиментальные мечты юных лет, выродившиеся в некоторый ригоризм, сделали ее опасливой: она боялась следствий «романической» страсти и не верила Жуковскому, когда, отказавшись от идеи брака, он уверял ее в своей духовной, дружеской привязанности к Маше и лишь для этого чувства просил свободы. Она упрекала его, что он отстранил от нее дочь; Жуковский несомненно воспитал ее и ее сестру Александру Андреевну в духе *amitié amoureuse*, мечтательности и пиетизма; обе в известной мере его создания, и он привязался к ним, душевно любил Машу — и давал ей читать Мендельсона, *Über die Unsterblichkeit der Seele* [О бессмертии души]. На экземпляре издания 1776 г. на заглавном листе написано: *Marie de Protasoff*; Маша читала эту книгу в 1813 г. в Орле; на первой странице Жуковский пометил карандашом: «О пользе несчастья». Мотив для размышления¹.

Несчастье, страдание — ко благу, это искус, очищающий человека; в этой вере Жуковский часто будет искать успокоения; и теперь он старается порой не горевать, а — ждать «с тихим упованием». Эпимесид возмущен жребием, выпавшим по воле Зевса на долю человека: прошедшее ему враг, в настоящем он осужден влачить бремя забот и скуки, а сон будущего счастья улетает, и если

случайно оживит
Он сердце радостью мгновенной, —
То в бездне луч уединенной:
Он только бездну озарит².

¹ Указанный экземпляр книги Мендельсона находится в библиотеке А.Ф. Онегина.

² У Parny, *Éphémécide*:

И вот Эпимесид молит Зевса послать ему «дар небытия», хочет броситься с утеса в волны, но голос из облаков велит ему не гневить Творца роптаньем, потому что

Богам любезен человек,
И благ источник наслажденья.

Эпимесид простерся в прах, покорный, с тихим упованием. Через два месяца он приходит на тот же берег и ставит под сенью миртов «лик дружбы в честь благим богам», через год алтарь любви и, наконец, сельский храм «благодворенью» («Эпимесид», из Парни, 1813 г.). Невольно вспоминается одна из ранних отметок дневника 1805 г.: верный друг, верная жена и — «удовольствие некоторых умеренных благодетелей».

Привязанность Маши к Жуковскому не перебила влияния матери. Девушке приходилось молчать, уходить в себя; недаром Жуковский пытался впоследствии создать ей в лице ее двоюродной сестры, Киреевской, такого семейного друга, который стоял бы на его стороне: «ей (Маше) так часто бывает нужно говорить без закрывки. Весь век таиться в себе — ужасно» (16 апреля 1814 г.).

Может быть, еще до приезда Воейкова, оживившего надежды Жуковского, написано было стихотворение «К самому себе», напечатанное в № 4 (февраль) «Вестника Европы» следующего года, стр. 286—287:

Что посылает судьба, принимай и не сетуй! Безумно
Скорбью бесплодной о благе навеки погибшем
То отвергать, что нам предлагает минута!

(«К самому себе»)

Между тем еще в начале апреля 1813 г. кн. Вяземский писал Ал. Тургеневу из Москвы: «Ожидаю Жуковского... ему дует теперь попутный ветер, и непременно нам, то есть, его друзьям,

Si quelque douceur passagère
Un moment console ses maux,
C'est une rose solitaire
Qui fleurit parmi des tombeaux.

[Если какая преходящая радость и смягчит на мгновение его горести, то это одинокая роза, расцветшая среди могил. (*франц.*)]

надобно его заставить воспользоваться хорошою погодою. Полно ему дремать в Белеве. Он мне пишет о получении ордена Святыя Анны ... Жуковского надобно освежить: он теперь вянет, и я, ей Богу, боюсь, чтобы он вовсе не увял. Характер его, *обстоятельства*, ход жизни его — все, мало-помалу, его томит. Нельзя долго жить в мечтательном мире и не надобно забывать, что мы, хотя и одарены бессмертною душою, но все-таки немного причастны скотству, а, может быть, и очень. Жуковский же пренебрегает вовсе скотством: это губительно. Свинью можно держать в опрятном хлеве; но, чтобы она была и здорова и дородна, надобно ей позволить валяться иногда в грязи и питаться навозом. И человек, который, по излишнему почтению к сему, конечно, весьма почтенному животному, стал бы держать его в благоуханной оранжерее, кормить ананасами и померанцами, купать в розовой воде и класть спать на ложе, усыпанном жасминами, скоро бы уморил почтенного своего кумира»¹.

¹ Остафьевский Архив I, письмо № 11, начало апреля 1813 г.

IV. А.Ф. Воейков

В конце 1813 г. появился в кругу Протасовых Ал. Фед. Воейков (1778–1839), воспитанник Московского Университетского Пансиона, приятель Мерзлякова, знакомый Жуковского и Тургенева по Дружескому Литературному Обществу, собиравший друзей на вечерниках в своем доме на Девичьем поле. Вечеринки эти долго были памятны, как и «ветхий дом», о котором говорил Андрей Тургенев:

Сей ветхий дом, сей дикий сад глухой,
Убежище друзей, соединенных Фебом,
Где в радости сердца клялися перед небом,
Клялися своей душой,
Запечатлев обет слезами,
Любить отечество и вечно быть друзьями¹.

Когда друзья разъехались, Жуковский в деревню, Ал. Тургенев и А.С. Кайсаров за границу, Мерзляков скучал по тем часам прекрасным,

Когда мы в кочках, под шатром,
В сентябрьски вечера ненастны,
С любезной трубкой и вином,
Родные песенки певали
И с бурей голос соглашали,

тогда как в небе «с тьмой ночной огонь сражался Оссиана», скрипели старые березы и стлались по земле желтые листья, а они с улыбкой мирной на челе сидели вокруг огня

И с удовольствием смотрели,
Как грое рукой твоей,
Любезный, милый мой Андрей,
Готовилось на общу радость.

¹ Славянин, изд. Воейковым. Ч. XIII (1830). С. 147: «К ветхому Поддевическому дому А.Ф. В-ва». О литературных вечерах и попойках у Воейкова, в которых принимали участие Мерзляков, Сумароков, Каченовский и друг., говорит Жихарев под 1806 годом. Сл.: Записки С.Н. Жихарева. С. 159, 207–208.

Теперь все переменялось и домик развалился,

И Оссиан уже забыт!
И на разрытую могилу
Прошедших радостей, забав,
Никто, никто уже не взглянет!
Никто, никто не вспомянет
Тот сад, где дружба расцвела,
Мое блаженство мне явила,
Утехи века в час стеснила
И – все с собою унесла¹.

И Жуковский и Воейков вспоминали впоследствии о «ветхом доме», где они

столь сладко пировали,
Который мы мечтами населяли;
Где цвел тот сад, который мы
В поверенные тайн сердечных избирали,
Где, распалив вином и спорами умы
И к человечеству любовью,
Хотели выкупить блаженство ближних кровью,
При звуке радостном покалов, хоров, лир,
Преобразить спешили мир;
Нам, юношам неосторожным,
И невозможное казалось возможным...

Но золотой возраст пролетел, опыт спустил мечтателей в мир действительности, кружок распался, иных унесла смерть (Андрея Тургенева, А.С. Кайсарова), другие разбрелись каждый своей тропью, и Воейков помнит, как он

В житейское пустился море.
Пловец неопытный среди ревуших волн
В краях безвестных мыкал горе².

¹ Сл. ^ Сухомлинов, А.С. Кайсаров и его литературные друзья/ Известия Отдел. Русск. языка и слов. Имп. Ак. Наук 1897 г. Т. II. Кн. I. С. 25 и след.: письмо А.Ф. Мерзлякова к Ал.И. Тургеневу и А.С. Кайсарову 17 сентября 1802 г.

² Воейков. Послание к жене и друзьям. «Сын Отечества» 1821 г. Ч. 67. № IV. С. 177 и след.: оно подписано «1816 г. августа 20 дня. Дерпт», но несколько стихов в конце добавлено несколько лет спустя.

Он уже успел создать себе некоторую известность¹. Как Жуковский, Глинка, Загоскин, А.А. Перовский (Погорельский) и многие другие, он вступил в ряды русской армии и, выйдя в отставку по окончании войны, предпринял путешествие по России². С дороги он писал Жуковскому. «Брат, я получил твое письмо из Сарепты, — отвечал ему Жуковский³, — и получил его в то время, когда писал к Тургеневу послание, касающееся и тебя, ибо в нем говорится о прошлом времени, о нашем лучшем времени; я доставлю его и к тебе, ибо ты имеешь на него такое же право, как и Тургенев. Ты один из действующих лиц той прекрасной комедии, которую мы играли во время оно и которая называется счастье. Многие из актеров сошли со сцены, а для остальных пьеса кончилась; они разделись, устали и просят, чтобы их скорее отпустили по домам». Таково и настроение послания Жуковского к Тургеневу, на которое намекает письмо; это настроение его старой элегии «Вечер» (1806); теснятся воспоминания о тех годах,

Когда мы все, товарищи-друзья,
Делили жизнь на лоне у свободы...
Грядущее надеждой украшали —
И радостным оно являлось нам!
Где время то, когда по вечерам
В веселый круг нас музы собирали?
Нет и следов! Исчезло все — и сад
И ветхий дом, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали.
Где время то, когда наш милый брат
Был с нами, был всех радостей душою?

Жуковский вспомнил Андрея Тургенева и прелестно характеризует его отца, старика-юношу.

¹ Сатира к Сперанскому: Об истинном благородстве. «Вестник Европы» 1806 г. № 19. Октябрь. С. 195 и след.; перевод сочинения Вольтера: Царствование Людовика XIV и Людовика XV, 1808–1809 гг.

² См. его стихотворение: Послание к моему другу-воспитаннику о пользе путешествия по отечеству. «Вестник Европы» 1818 г. Ч. ХСІХ, № 12 (июнь). С. 265 и след.; это же послание под заглавием «К М.М. М(ихайлову)». О пользе путешествия по отечеству перепечатано с некоторыми изменениями в «Славянине», 1827 г. Ч. III. № XXXVIII. Отд. 2-е. С. 450–462; см. также указания Жуковского в его послании к Воейкову.

³ В сентябре 1813 г.; сл.: Русский Архив 1900 г. № 9. С. 16–17 и письмо Жуковского к Ал. Тургеневу от 2 сентября того же года.

Увы! их нет!.. мы ж каждый по тропам
Незнаемым за счастьем полетели,
Нам прошептал какой-то голос: там!..
Но опыт вдруг накинуд покрывало
На нашу даль — и там один лишь мрак!
И верю в грядущее убоги,
Задумчиво глядим с полудороги
На спутников, отставших назади...
Мы разными дорогами пошли:
Но что ж, куда они нас привели?
Все к одному, что счастье — заблужденье...
Что ничего нам жизнь не обещает.
И мы еще, мой друг, во цвете лет...
Дай руку, брат! Как знать, куда наш путь
Нас приведет, и скоро ль он свершится,
И что еще во мгле судьбы таится —
Но дружба нам звездой отрады будь!

(А.П. Тургеневу в ответ на его письмо 1813 г.).

Жуковский приглашал Воейкова приехать: «Поговорим о прошлом, поплюем на настоящее и еще теснее сдружимся, что главное»; Воейков познакомится с двумя милыми семействами (Протасовыми и Плещеевыми), а Жуковский передаст ему из рук в руки послание к нему в ответ на послание Воейкова, «прекрасное и слишком уже для меня обольстительное». Дело идет о послании Воейкова, написанном в народно-риторическом вкусе, метром, встречающимся у Державина¹, в карамзинском «Илье» (1794) и «Бахарияне» Хераскова (-U-U-U-UU)²; им пользовался и Жуковский³, и Пушкин⁴. Послание полно лести и — непонимания Жуковского, как поэта:

¹ Добрыня: «Ах, столица это солнышка... Ах! того ли Володимира».

² Бахарияна или Неизвестный, Вступление:

Древним пой стопосложением,
Коим пели в веки прежние
Трубадуры царства русского;
.....
Иль таким стопосложением,
Коим справедливо нравится
Недопетый Илья Муромец.

³ В стихотворных партиях переведенного с Флориана Дон-Кихота (1804).

⁴ В отрывках «Бовы».

Ты, который с равной легкостью,
С равным даром пишешь сказочки,
Оды, песни и элегии;
Муз любимец и учитель мой
В описательной поэзии (?).

Далее перифразируются идеи посланий Жуковского «К Делию» (подражание Горацию 1809 г.) и «К Батюшкову» (1812), но черты его милого гедонизма подчеркнуты рукой реалиста: будто Жуковский поощряет «к сладострастию изящному», напоминая, что жизнь есть миг, что следует наслаждаться настоящим днем, топить грусть в чаше радости, чтобы смерть нечаянно посетила нас среди пиршества¹. Упоминание «Людмилы» и «Светланы» не готовят к следующему панегирику:

О соперник Гёте, Бюргера!
Этой сладкою поэзией,
Этой милой философией
Ты пленяешь, восхищаешь нас,
Превосходен и в безделицах,
Кисть Альбана в самых мелочах.

Но пора бросить мелочи для состязания «с истинными, увенчанными поэтами»; пусть воспет «четыре части дня», «четыре времени». Чувствуется, что говорит переводчик «Делилевых садов» (1816) и Георгик («Вестник Европы» 1817 г.); далее народник: отчего бы Жуковскому не взяться за «поэму славную — *В русском вкусе повесть древнюю*»², он будет нашим Виландом, Ариостом, Баяном. И Воейков подсказывает ему сюжеты: Святослав с Добрынею, Владимир — «русско солнышко, Наш Готфрид или Великий Карл»; Димитрий Донской, Петр-Самсон, разодравший челюсть льва, Суворов, Кутузов, Платов, который так, как волхв, Серым волком рыщет по лесу, Сизым орлом по поднебесью, Шукой зоркою по реке плывет, И в единый миг и там и здесь Колет, гонит и в полон берет. Воспой,

И тебе, орел поэзии,
Подле Грея, подле Томсона,
Место на небе готовится.

(Вестник Европы 1813 г., март № 5–6, с. 26 и след.)

¹ Сл. послание «К Делию»: «Пусть смерть зайдет к нам ненароком, как добрый, но неожиданный друг».

² Пушкин Дельвигу, Кишинев 1821 г., 23 марта: «Напиши *поэму славную*, только не *четыре части дня*, и не *четыре времени года*».

Воейков быстро освоился в семье Протасовых и стал ухаживать за младшей сестрой Маши, Александрой Андреевной. После Маши она была всего ближе сердцу Жуковского, смолodu он глубоко привязался к своей «милой Грации», переписывавшей в Муратовском уединении его стихи¹, и эта дружба с «прелестным товарищем», «нежнейшим товарищем» его души², полная отеческих забот и оберега, длилась всю жизнь. Она знала сердечную тайну поэта, которую, говорят, угадал и Воейков: в дневник Жуковского он вписал тайком несколько стихов, касавшихся его отношения к Маше³. На них-то намекает Жуковский в своем послании 29 января 1814 г. («Вестник Европы» 1814., март № 6, с. 97–106), приглашая Воейкова, заведенного дружескою рукою в обитель «брата», вспомнить призраки златые

Невозвратимых тех времен,
Когда мы – гости молодые
У милой жизни на пиру –
Из полной чаши радость пили
И счастье наше! говорили
В своем пророческом жару ...
Мой друг, пророчество прелестно!
Когда же сбудется оно?
Еще вдали и неизвестно
Все то, что здесь нам суждено...
А время мчится без возврата,
А жизнь – изменница за ним;
Один уходит за другим;
Друг, оглянись... еще нет брата...⁴
Час от часу пустее свет;
Пустей дорога перед нами!
Но так и быть!.. Здесь твой поэт
С смиренной музою, с друзьями,
В смиренном уголке живет
И у моря погоды ждет.
И ты, мой друг, чтобы мечтою
Грядущее развеселить,
Спешишь волшебных струн игрою
В нем спящий гений пробудить.

¹ Жуковский к Ал. Тургеневу 1810 г., 12 сентября.

² Письмо к Тургеневу 1829 г. 16 марта.

³ Зейдлиц I. с. С. 59, 60.

⁴ Андрея Сергеевича Кайсарова, убитого в сражении 14/26 мая 1813 г.

Он уже очарован ею и ему видятся чудеса — и он набрасывает в нескольких стихах очертания поэмы «Владимир», которую за-теял еще в 1810 г. Ты чародей, а не поэт, продолжает Жуковский: прочтя послание Воейкова, он «готов дерзнуть за обольститель-ной славой».

Что сделал ты, певец лукавый!
Мою ты душу погубил!
И кто, скажи мне, научил
Тебя предречь осмью стихами
В сей книге с белыми листами
Весь сокровенный жребий мой?¹

«Книга с белыми листами» — это, пока не написанная, поэма; если книга наполнится, пусть знает «что счастлив жребий мой», если останется пустою, то да будет она Воейкову в залог воспо-минанья,

Увы! и в знак, что в жизни сей
Милейшие души моей
Не совершились желанья!
Прими ее... и пожалей.

Тем же днем, днем рождения Жуковского, помечено и его стихотворение, очевидно, обращенное к Маше (хотя против этого стихотворения рукою Александры Андреевны Протасовой написано: Маминьке): если бы жить значило пойти в путь без цели, бежать за мечтой, чтоб уснуть в гробовой колыбели, — за-чем было бы жить? Но у него жребий иной:

Мне ангел мой хранитель,
Твой вид приняв, сказал: я друг навеки твой!
В сем слове все сказал небесный утешитель:
В сем слове цель моя, надежда и венец!
Благодарю за жизнь, Творец!

(«29 января 1814 г.»)

Жуковский посвятил Воейкова в свои надежды, твердо рассчи-тывая на его помощь, и обманулся. Воейков был тип своеобраз-ный, в котором порой трудно различить долю прирожденности

¹ В последующих изданиях текст этого отрывка несколько изменен.

от влияния условий, в которые поставил его перебой общественных настроений. Первая несомненно преобладала в его ранних отношениях к Жуковскому; в литературном деятеле позднейшего времени сказался древний человек. Это был страстный эгоист, с громадным самомнением, поддержанным случайным успехом, воспитанный на классиках и философах XVIII века, которых он читал с братьями Тургеневыми («три братьями Гракхами» его дневника); он был чуток к новым литературным веяниям, не проникаясь ими, не понимая их и не признавая того, что было в них шагом к новой жизни: его «Дом сумасшедших» — сатира без исхода в будущее. «Он был вольнопрактикующий литератор, не принадлежал ни к какой партии, ни к какому разряду»; у него было много ума, но «в душе его не было ничего поэтического, и стихи, столь отчетливо, столь правильно им написанные, не произвели никакого впечатления, не оставили никакой памяти даже в литературном мире». В члены Арзамаса, где он носил кличку «Дымной Печурки», его приняли по предложению Жуковского, но неохотно: были какие-то предубеждения¹. Он хотел быть чем-то, но это не давалось и раздражало; чуткость обращалась в чередование гиперболических восхвалений, деланных восторгов и пасквилей; среди всего этого его самосознание торжествовало дешевую победу; отсутствию твердых убеждений, кроме культа своей личности, отвечала неразборчивость средств и легкие переходы от грязного поступка к раскаянию. Его боялись и признавали его вкус: кн. Вяземский доволен его злостной характеристикой Антонского, о котором сам он дал сочувственный отзыв в своей «старой записной книжке», — и говорит о Воейкове в письме к Тургеневу, как о *vilain monsieur* [мерзком человеке (*франц.*)]². Пушкин называл его своим «покровителем и другом», тогда как он либеральничал и льстил, дружил с Дубельтом, писал доносы и поклонялся рангам, соединяя Вольтера с святошеством и квасным патриотизмом. Так кончилась его тревожная погоня за славой и положением³.

¹ Воспоминания Ф.Ф. Вигеля, часть пятая. С. 44–45.

² Остафьевский Архив I, письмо № 132. 8 ноября 1818 г. Ст. № 136. С. 525–526 и 538.

³ «В молодости он был приятелем многих известных литераторов, — говорит о нем Ксен. Полевой (Записки. С. 98–99), — писал довольно тяжело, но едко, зло, и стал особенно известен стихотворением: „Дом сумасшедших“, куда поместил он и друзей, и недругов своих, изобразив некоторых довольно смешно. Он написал также несколько посланий, замечательных резкими личностями и современными портретами. Все остальное, писанное им, было ниже посредственности, но его общественные связи, особенно с тех пор, как он сделался родственником поэта Жуковского, гораздо больше, нежели авторское дарование, помогли ему

Такой-то человек впутался в сердечную историю Жуковского. За ним была литературная репутация, он интересовал рассказыми о том, что видел недавно во время своего путешествия по югу России; по рассказу Греча¹, он, промотавшийся дворянин (как называл его Милонов), будто бы явился к Протасовым в глубоком трауре с плерезами и могильным голосом объявил, что его брат умер от ран, полученных им при взятии Парижа, и сам он осиротел: «У меня теперь 2000 душ, а я – беднейший человек в мире». Эта непритворная, казалось, горесть тронула, 2000 душ также произвели свой эффект, послышались произносимые в таких случаях шепотом фразы: «девушку пристроить», «женится переменится», и Сашеньку за него отдали; 2000 душ, разумеется, не оказалось, потому что брат Воейкова и не думал умирать.

Греч относит эту сцену к апрелю 1814 г., тогда как Воейков был объявлен женихом 23 марта; можно не верить подробностям рассказа, но что Воейков играл какую-то комедию, которую приняли за «чистые деньги» несмотря на то, что Ек.Аф. Протасову о Воейкове предупреждали, что у самой невесты явились подозре-

к достижению разных целей... Чудное психологическое явление представлял этот человек!... Безобразный до невероятности, с искаженным лицом, хромой, гунгавый, плохо образованный, он имел доступ в лучшие общества, умел добиваться всего, получать все, о чем и мечтать не могут люди с обыкновенными средствами. Жуковский, Ал. Тургенев, многие другие литераторы и покровители просвещения, вельможи – делали для Воейкова все, единственно из уважения к необыкновенной женщине, которая была его женою». Ал. Тургенев так характеризовал его в (неизданном) письме к Жуковскому 29 августа 1810 г.: «Почти ежедневно вижу с Воейковым и люблю его по-прежнему, если не больше, ибо прежде почитал его склонным к разврату, а теперь, кажется, нравственность его очистилась. В нем есть жар к добру, который я люблю во всех, не только в моих старинных приятелях, есть талант, но мало вкуса и разборчивой критики. Сведения его ограничиваются одной французской литературой: недостаток общий почти всем нашим писателям, даже и первостатейным. В немецкой поэзии нашел бы он богатую руду для своего скромного таланта и перестал бы писать для двух последних стихов длинные послания к Мерзлякову, в которых нет ни новых мыслей, ни новых образов:

Что пчеле надобно?
Цвет и убежище.

Это хорошо, но вот и все; но этих двух стихов читатель совсем не ожидает». Другой недостаток Воейкова – это его «привязанность и уважение к Шишкову, которого он почитает большим знатоком русского языка и тонким критиком. Я по сию пору не мог переуверить его, что он большой невежа в славянской литературе, которая не ограничивается нашими церковными книгами, но которой богатства рассеяны от Ледовитого до Адриатического моря».

¹ Записки. С. 478 и след.

ния за несколько дней до свадьбы, о том вспоминали впоследствии Маша и Жуковский: он будто бы советовал тогда не отказывать Воейкову, не приглядевшись к нему, она надеялась на него по тем же причинам, по которым надеялся и Жуковский¹.

На этого-то «товарища и друга» (сл. послание Жуковского к Воейкову) положился Жуковский, и тот взялся помогать ему, но скоро понял, что может обеспечить свое положение в семье, лишь став на сторону Ек.Аф. Протасовой. И он втерся в ее доверенность, ведет двойную игру. Он любит как человек положительный, надежный, тогда как Жуковский испаряется в грезах: это должно было внушить доверие. «Хочешь видеть жребий свой в зеркале, Светлана?» спрашивал в 1813 г. Жуковский, обращаясь к Александре Андреевне; стихотворение было ответом:

Милый друг, в душе твоей
Непорочной, ясной
С восхищеньем вижу я,
Что сходна судьба твоя
С сей душой прекрасной!
Непорочность спутник твой
И веселость гений
Всюду будут пред тобой
С чашей наслаждений.

Ее жизненный путь безопасен, сердце будет «к счастью предводитель» («Светлане»). Александре Андреевне (родилась в 1795 г.) минуло 18 лет, когда в пиесе 1814 г. «К осьмнадцатилетнему младенцу» Воейков позировал в отеческую любовь, полную поучений: на это у него есть право:

Я опекун твой, старше вдвое...
И в одном разряде с Тредьяковским
Записан маклером Жуковским...
Один любезный мне поэт,
Сказав в одном стихотвореньи,
Что ты прекрасное творенье,
«И что веселость спутник твой»,
Мое предупредил лишь мнение
Такой правдивою хвалой.

¹ См. письмо М.А. Протасовой к Жуковскому 6 декабря 1815 г. с его примечаниями и письмо к ней Жуковского от 25 декабря того же года.

Но у нее один большой недостаток: неосторожность и небрежность о здоровье:

слабое сложенье
Имеешь от природы ты,
И то не бред и не мечты,
А докторов Орловских мненье.

Между тем она скачет стремглав на арабском коне, рисует до боли в груди:

Вот вижу: с слезною мольбою
Твой песнопевец, дядя, друг,
Отец твой крестный пред тобою,

советует побережь себя, а она не слушает. Пусть не забудет и «чадолюбивой матери», которая ею счастлива; счастлив тобой и опекун

Из злата жизнь сестры прядется
И все вокруг тебя смеется¹.

Жизнь Маши спрялась не из злата, да и судьба сестры не пошла в уровень с ее душой «прекрасной». Жуковский обманулся, как долго обманывался насчет Воейкова, но и у него могли являться сомнения, и его стихи, написанные в альбом А.А. Протасовой, проникнуты какой-то тихой грустью не только о своем минувшем, но о судьбе своей любимицы, стоявшей «у входа в свет».

Ты свет увидела во дни моей весны,
Дни чистые, когда все в жизни так прекрасно,
Так живо близкое, далекое так ясно,
Когда лелеют нас магические сны...
Лета прошли — твои все спутники с тобою;
У входа в свет с живой и ждущею душою
Ты в их кругу стоишь, прелестна, как они.
А я, знакомец твой в те радостные дни,
Я на тебя смотрю с веселием унылым;
Теснишься в сердце ты изображеньем милым

¹ См.: «Славянин», изд. Воейковым 1827 г. Ч. IV. № L. Отделение второе. С. 432 и след.

Всего минувшего, всего, чем жизнь была
Так сладостно полна, так пламенно мила,
Что вдохновением всю душу зажигало,
Всего, что лучшего в ней было и пропало...
О, упоение томительной мечты,
Покинь меня! Желать — безжалостно ты учишь,
Не воскрешая, смерть мою тревожишь ты;
В могиле мертвеца ты чувством жизни мучишь.

Еще до приезда к Протасовым Воейков обратился к помощи своего старого товарища, Тургенева: он искал места. В Дерпте, за смертью убитого при Гану А.С. Кайсарова, открылась кафедра, манила и кафедра в Казани. 25 ноября 1813 г. Тургенев писал Воейкову и Жуковскому вместе; оказывается, что уже в письме 8 мая Воейков выразил Тургеневу предпочтение Казани перед Дерптом — и Тургенев с ним согласен: Казань ближе к Азии, может стать для России центром восточных изучений, «Дерпт заражен к тому же политическим фанатизмом и члены сего сословия большею частью волки, которые все в лес смотрят, несмотря на то, что русское правительство их и кормит и греет. Незабвенный Андрей, как верный сын России, сражался с ними беспрестанно, но прения его обращались во вред его здоровью без всякой пользы *pour le bonne cause*». Тургенев готов содействовать Казанскому проекту, если есть там кафедра. Он любит приятелей и всегда о них радеет; «грусть душевная, сердце наполненное одним чувством, в котором *morta è la speme e vile la fede* [мертва надежда и слаба вера (*итал.*)] — вот истинная причина мнимой холодности к приятелям», но стоит их голосу отозваться в его сердце, и в нем окажется «огонь, дружбою хранимый», который не погаснет — «разве с жизнью; но и туда,

Туда душа перенесет
Любовь и образ милых!
(«Певец во стане русских воинов»)

О, Жуковский, милый сердцу и обожаемый мною Жуковский!
Мысль о святом, всемогущем чувстве дружбы и любви неразлучна во мне с мыслию о нем, равно, почти равно, как и о той,

Кто все для нас!
(«Певец во стане русских воинов»)

Читал ли ты его послание ко мне? — обращается Тургенев к Воейкову. — Какие мысли и какая дружба! Я возьму стихи его в сень бессмертных и там стану услаждать и утешать их в скуке бессмертия. Она же мне даст право восседать между Орестом и Пиладом, Мюллером и Бонштеттенем, между двумя Андрееми¹ и с ними ожидать вас, друзья мои». Тургенев спохватился, что по условию он должен был писать Воейкову на имя Жуковского, что, стало быть, Жуковский будет читать его письмо, — и он обращается к нему: «Слезы, которые несколько раз проливал я при чтении послания твоего, слезы восхищения и благодарности за дружбу к незабвенным и ко мне, лучше слов выразят тебе все, что душа моя желала бы передать твоей. Я ожидал писем от тебя и стихов и письмо кн. Голицына и того, что ты должен сделать в память двух незабвенных; иначе я вместо надгробной надписи вырежу на их памятнике твое послание ко мне... Ты обещал мне писать о себе... Скажи мне свои мысли и открой мне свою душу так, как и моя только перед тобою открыта. Пиши, пиши ко мне. Я читаю Тацита и Петрарка и Мюллера и люблю тебя, и вот весь я»².

31 января Воейков уехал по своим делам; «об нашем обо всем узнаешь от Воейкова, который, вероятно, с тобой увидится», — писал того же дня Жуковский Ал. Тургеневу³. Покидая «гостеприимный кров», Воейков обратился к Ек.Аф. Протасовой с посланием, в котором изобразил себя бесприютным странником, скитающимся вдали от родных и милых и уже приучившимся к ударам судьбы, когда внезапно она похитила у него «героя-друга» (А.С. Кайсарова), а смерть во цвете лет «любезнейшего брата». Тщетно искал он «утехи и опоры», и вот сердце привело его «к обители твоей»,

В Жуковском обнял я утраченных друзей
И спутников живых, рассеянных судьбою;
В нем был соединен весь мир мой предо мною...
Я поспешал сюда в объятья только брата,
И что же? Я нашел твой дом семьей родных! ...
И быстро по цветам сей месяц пробежал,
В неизмеримую пучину лет и веков!
И своенравный рок стезю мне указал
Из мира ангелов в мир низкий человек.

¹ Тургеневым и Кайсаровым.

² Письмо это не издано.

³ «Русская Старина» 1901 г. Апрель. С. 129 и след.

Его судьба — «находить в сем мире — и терять», но где бы он ни был, он сердцем будет с ними, к ним стремиться душой.

Дождусь ли тебя, возврата день прекрасный?
И скоро ль положу дорожный посох свой?..¹

В отсутствие Воейкова Жуковский принялся хлопотать о себе; убедился, что мнение Лопухина может повлиять на решение Протасовой, и отправляется к нему. 12 февраля был для него «день счастья и восхитительной надежды», что он и записал в своем дневнике под 22 февраля. «Я ехал с веселыми мыслями. Более нежели когда-нибудь мне весело было смотреть на ясное небо, которое было так же прекрасно, как надежда, которою в ту минуту украшалось мое будущее; я не молился, но чувствовал, что Бог, скрытый за этим ясным небом, меня видел, и это чувство было сильнее всякой молитвы. Я, право, с восхищением давал Создателю своему сердечное обещание быть его достойным своею жизнью в благодарность за то счастье, которое он давал мне предчувствовать в этой надежде». Он чувствовал, «что можно быть счастливым в этой живой жизни», что, разделив ее с Машей, сам он преобразится, усовершенствуется во всем добром. «Мне представляется, как будто сквозь какой туман: спокойствие, душевная тишина, доверенность к Провидению. Одна уже надежда дает мне большую привязанность к религии, к святой и чистой религии. О! как она нужна для того, чтобы счастье было прочно и чисто!» Он благодарит Промысел за прежние горести, если они поведут «к полной радости»; *верить теперь для него необходимо*, «вера есть то святое убежище, в которое переносу счастье в жизни. Когда буду с ней вместе, когда получим свободу вместе мыслить и чувствовать, тогда более всего будем укоренять себя в этой утешительной вере».

И.В. Лопухин благословил его, и Жуковского обуяло «какое-то темное предчувствие чего-то необыкновенно счастливого». Он мечтает о тихой жизни, в которой и Ек.Аф. Протасова получит свое место: она будет единственной ее свидетельницей и судьей; жизни деятельной, потому что она вся обратится на себя; чувства, не находившие исхода, получают свободу, исчезнет чувство одиночества, нестерпимого «в виду той семьи, где желал бы иметь все и где всего лишен незаслуженным подозрением — и сверх всего этого вера живая, идущая из сердца *вера, не на одних*

¹ Послание напечатано в «Вестнике Европы» за 1814 г. Ч. LXXIV. Март № 5. С. 33 и след.

словах и наружных обрядах основанная, но вера, радость души, ее счастье, ее необходимая подпора, истинная жизнь, чувство, до сих пор мало мне знакомое, убитое одиночеством и унылостью, заглушенное непривязанностью к жизни... До сих пор я часто замечал в себе какое-то отдаление от религии — я ее никогда не отвергал, но она казалась мне причиною всех утрат моей жизни, и я не отделял ее от того предрассудка, который лишил меня всего. Но суеверие не религия!» Теперь он видит все в ином свете, и этим всем обязан лишь Маше: она избрана Промыслом, чтобы дать ему «способ удостоиться гражданства в Божьем граде»¹.

«Приезжай, приезжай; наши дела идут сильно к развязке, — пишет он Воейкову 13 февраля, — ничто не испорчено, хотя и могло бы испортиться, струны только более натянуты, или они лопнут, или будет совершенная гармония. При всей трусости, верю более последнему... Твои дела идут хорошо: говорят о тебе как о своем, списывают твои стихи в несколько рук». О визите к Лопухину 12-го февраля ни слова: он будет у него 15, но выражения почти те же, что в приведенном отрывке дневника: «я вчера с восхищением смотрел на ясное светлое небо, и благодарность к Создателю этого неба и надежда наполнили мою душу. Я говорил Отцу, который скрывался за этим светлым небом: «ты готовишь мне счастье, Тебя достойное, и я клянусь сохранить его как залог милости, и не унизиться, чтобы не потерять на него право». В эту минуту жизнь и земля казались мне иными. И я не мог усидеть в кибитке (я ехал в Чернь); надобно было выйти и подышать на свободе. Как бы мы жили вместе: согласие во всем, одинакие занятия и стремления к одному не по пустой скучной дороге, но вместе с верными товарищами, которых цель не особенная, но

¹ «Русск. Старина» 1883 г. Январь. С. 206 и след. В письме к Арбеновой и Свечиной 7 марта 1814 г., в описании поездки к Лопухину, Жуковский пользовался записью своего дневника. Приведу несколько фраз в соответствии с напечатанным выше курсивом. «12 февраля, день, в который я поехал к Ивану Владимировичу... был для меня одним из счастливейших в моей жизни. Неужели надежда, которая тогда наполнила мою душу, есть обман!.. Я в эту минуту живо и ясно чувствовал, что можно быть счастливым в жизни... Я не молился... но то, что было в моей душе, была клятва, которую давал я Богу удостоиться того счастья, которое мне в этой надежде изображалось... Вдали, как будто сквозь тень, представлялось мне совсем новое существование: спокойствие, душевная тишина, доверенность к Провидению... До этого времени, признаюсь, я замечал какую-то холодность к религии — предрассудки ее слишком для меня были убийственны; но в эту минуту, с живою надеждою, оживилось во мне и живейшее чувство ее необходимости». У него явилось предчувствие чего-то необыкновенно приятного и, сверх всего, «вера живая, идущая из сердца вера, не на словах, не на обрядах основанная, но вера, радость души, ее счастье, ее необходимая подпора» и т.д. (Русск. Архив 1883 г. Кн. II. С. 311 и след.).

общая, и которые не могли бы желать прийти к этой цели одни». Он даже готов благодарить Создателя за несчастье: «тем прочнее покупка, чем выше цена»; сам он станет лучше; он живет надеждой, и только боится, что его ослепят все радости, которые ожидают его: «семейственные, дружба, деятельность, самая религия, — все для меня еще надежда». Приезжай, «в белой книге наполнятся страницы» и «Владимир» будет дописан¹.

Жуковский знал о профессорских планах Воейкова, но был в полной уверенности, что теперь они оставлены: Воейков влюблен, женится, он и ему нужен здесь — для общего счастья; его поездку он объяснял необходимостью устроить «нужные дела». Он хотел было запечатать письмо Воейкову, который ехал в Петербург за кафедрой. «Ветренный осел! — приписывает Жуковский, — я тебя, право, не постигаю. Ты точно из ослиного упрямства лезешь на профессорскую кафедру. Ради Бога, скажи мне, на что может быть тебе нужно теперь твое профессорство? Ты не хотел бросать надежды на него единственно для того, что другая твоя надежда казалась тебе неверною, но она теперь верна, а ты скачешь Бог знает куда и Бог знает за чем». От профессорства надо отказаться. «Сделавшись профессором, надобно быть профессором, и быть им не неделю, а целый год по крайней мере, дабы после иметь неизреченное счастье быть отставным надворным советником! А время? А жизнь-изменница? Все к черту! Сделай милость, желай решительно и желай одного; и будь немного попонятнее — ты для меня загадка». И в Муратове очень хмурятся на твой Дерпт «и говорят: или Дерпт, или Муратово».

20 февраля Жуковский сообщал Воейкову о своей поездке к Лопухину (12 февраля) и рисовал картину муратовского счастья. «Счастливец! Другому я стал бы завидовать, но ты поддевической: наше счастье общее. Худо бы ты меня знал, когда бы мог подумать, чтобы твое не было мне утешением даже и при уничтожении моего. Но мы будем счастливы... Сердце бьется, когда подумаю о той жизни, которую мы можем еще вести в этом свете: жизнь, обращенная на внутреннее наслаждение собою, наслаждение верное, для других невидимое, но тем более драгоценное. Брат, несмотря на твое буйное прошедшее, я уверен, что ты способен чувствовать цену такой жизни». Пока он только еще кандидат на счастливый чин и находится «в Герольдии Надежды в списке Терпения». Но ему мерещится, как они будут жить в своем уголке, вместе трудиться, утверждать свое счастье, служа

¹ Русск. Арх. 1900 г. № 9. С. 17 и след.

друг другу подпорою в горе, а вдали кружок общих друзей: «Вяземский, Батюшков, я, ты, Уваров, Плещеев, Тургенев должны быть под одним знаменем: простоты и здорового вкуса»; с ними Дашков. «Министрами просвещения в нашей республике пусть будут Карамзин и Дмитриев и папою нашим Филарет»¹.

Поиски Воейкова за кафедрой пока ему не по сердцу: Воейков нужен ему здесь, в Муратове.

В ночь с 25 на 26 февраля перед говеньем Жуковский сводил счеты с собою. «Говеть не значит: есть грибы, — пишет он в дневнике, намекая на формальную религиозность Протасовой, — в известные часы класть земные поклоны и тому подобное, это один обряд, почтенный потому только, что он установлен давно, но пустой совершенно, если им только и ограничится говение... В эти дни, более нежели в другие, должно быть в самом себе, обдумать прошедшую жизнь, рассматривать настоящее и мыслить о будущем, и все это в присутствии Бога, вот что есть пост». Размышления о прошлом повторяют печалования юношеского дневника 1805 г. «Вот мне тридцать лет, а то, что называется истинной жизнью, мне еще не знакомо. Я не успел быть сыном своей матери — в то время когда начал чувствовать счастье сыновнего достоинства², она меня оставила; я думал отдать ее права другой матери, но эта другая мать дала мне угол в своем доме, и отделена была от меня вечным подозрением; семейственного счастья для меня не было, всякое чувство надобно было стеснять в глубине души; несмотря на некоторые признаки дружбы, я сомневался часто, существует ли эта дружба и всегда оставался в нерешимости чрезмерно тягостной; сказать себе: дружбы нет — я не мог решительно, этому противилось мое сердце; сказать себе, что она есть, этому многое, слишком многое противилось». К этому присоединилась теперь любовь, которой ставят помехи; он не желал ни невозможного, ни недозволенного, никто его не переуверит; искал счастья «не в низком, не в том, что противно Творцу и человеческому достоинству, а в лучшем и благороднейшем; я привязывал к нему все лучшее в жизни — не будет его, не будет прочего, не моя вина». Он надеялся купить себе счастье «покорностью и терпением», а за последние годы не помнит ни одного «дня истинно счастливого»; питал надежду, что все может перемениться, что настоящее заменится прекрасным будущим, но и эта мысль не помешала ему приобрести равнодушие к жиз-

¹ Русск. Арх. 1900 г. № 9. С. 21 и след.

² Сл. дневник 22 ноября 1810 г. в письме к Ал. Тургеневу 4 декабря того же года: «связи мои с матушкою становятся для меня драгоценны».

ни, которое сделалось главным его чувством: чувством убийственным для всякой деятельности. — Беседа с Лопухиным была «воскресительной» для его души: снова он увидел перед собой возможность счастья, новой жизни. «Сердце у меня билось, когда я смотрел на чистое небо, и я мысленно давал клятву быть достойным своею жизнью божества, обещающего мне такое счастье в своем мире: я чувствовал необходимость более любить его, к нему все относить, ибо в нем видел крепость своего счастья. Религия есть благодарность. В эту минуту твердая вера представлялась мне ясно нужнейшею потребностью человеческого сердца... деятельность, мне свойственная, самая религия — все для меня в одном! Как же не желать его всеми силами души! Что иное может мне быть заменой?.. Сам бросить своего счастья не могу: пускай его у меня вырвут, пускай его мне запретят, тогда по крайней мере не я буду причиной своей утраты... Мои намерения достойны моего Творца и моя молитва к нему: чтобы Он исполнением их дал мне единственный способ Его удостоиться в жизни, или чтобы скорее взял от меня обратно жизнь, совершенно бесплодную. Вот вся моя исповедь»¹.

В марте Воейков объявлен был женихом², дело о его профессуре в Дерпте шло успешно, хотя Жуковский полон сомнений, и по тем же соображениям³, а дело Жуковского не подвигалось: иные из его пособников, на которых он рассчитывал, изменили, как Арбенева, запуганная монахом, другие играли в двойную игру, как Воейков. И друг Тургенев не знает, что ему делать. «Ожидая вашего *общего* разрешения о профессорстве Воейкова, — писал он Жуковскому, вероятно, в марте 1814 г.⁴, — и пока вы *оба, единогласно* на это не согласитесь, то я никаких *окончательных* мер принимать не буду... Желая от всей души видеть вас счастливых. Помните, что свободу на одно только счастье променять можно, несравненное и — редкое. Любите меня, я в вашей любви счастлив буду столько, сколько можно быть счастливым одною дружбою, ибо в любви по сию пору находил я одну мечту,

тоску без разделенья

И невозвратное надежд уничтоженье».

(Из послания «К Филалету» 1808—1809 года)

¹ Русская Старина 1883 г. № I. С. 209—212.

² Сл. приписку Воейкова к письму Жуковского к Тургеневу 16 апреля «в 24-й день счастья, лето первое».

³ Сл. письмо Жуковского к Тургеневу середины марта 1814 г.

⁴ Тургенев посылает Жуковскому «Бутервековы сочинения в стихах». Жуковский отвечает 16 апреля, что получил их. Письмо Тургенева не издано.

Дело о профессорстве зашло однако слишком далеко, чтобы Воейкову можно было отказаться от кафедры. Так порешили на общем совете Тургенев с Кавелиным, о чем последний и писал Воейкову 20 марта: «Зачем было поднимать небо и землю для достижения к профессорству месяц тому назад, если оно перечит счастью?.. Как могло в такое короткое время надежнейшее средство обратиться в препятствие? Рассуждайте, взвешивайте, *решайте*сь и поскорее *разрешите* нас, только *разрешите решительно*».

Жуковский вскрыл это письмо и приписывает: «И я приписываю к тебе в этом милом письме, друг, брат, товарищ. Дело наше не испорчено, профессорство тебе остается. И так не сердись на меня. Ты сам виноват, что мне не открыл надлежащей причины, для чего этого места желаешь». Он извиняется, что прочитал письмо Кавелина, думая найти в нем что-нибудь его касающееся. «Твой Жуковский. И дай Бог чтобы всегда остался твоим — это слово все для меня заключает в себе»¹.

Пусть вспомнит о нем в день счастья, писал Тургенев Жуковскому: *Nei giorni tuoi felici ricordati di me*²; Жуковский ответил на это письмом от 26 марта 1814 г. и стихами, назначенными для Тургенева — и для *нее*:

В день счастья вспомнить о тебе!
На что такое, друг, желанье?
На что нам поручать судьбе
Священное воспоминанье?
Когда б любовь к тебе моя
Моим лишь счастьем измерялась
И им лишь в сердце оживлялась,
Сколь беден ею был бы я!

Другое воспоминание для него вечно: что в дни печали друг его всегда с ним, что и любовь его не изменится.

Дождусь иль нет *счастливых дней*,
О том, мой милый брат, ни слова!
Каким бы я ни шел путем —
Все ты мне гением-вождем!
Со мной до камня гробовова
Не изменяясь, друг, иди!
Одна мольба: не упреди!

¹ Русский Архив. 1900 г. № 9. С. 28–29.

² Письмо это мне неизвестно.

Стихи Жуковского заставили Тургенева забыть свой флюс и мигрень: «в самый тот день, когда ты просишь меня *не предупредить тебя*, я читал стих Бутервека: Euch in diesem Tal zu überleben [Пережить вас в этой долине (*нем.*)], думал о тебе и почти об одном тебе и о братьях». Их сердца бьются в один лад; он готов пожертвовать своим собственным благополучием для благополучия друга¹.

В апреле Жуковский узнал стороною, что свадьба Воейкова, уже получившего кафедру, назначена в июле и после свадьбы все поедут в Дерпт, поедет и Маша. «Я поглядел на своего спутника, больную, одержимую подагрой *надежду*, которая, скрепя сердце, тащится за мною на костылях и часто отстает. — Что скажешь, товарищ? — Что сказать? Нам недолго таскаться вместе по белу свету. После 2-го июля, что бы то ни было, мы расстанемся. Или пошлю тебя одного, и бреди, как хочешь, или оставлю тебе твою сестрицу, *исполнение*. С ней дурной человек становится хуже, а добрый гораздо добрее. Она приготовит тебя к тому обетованному краю (Жуковскому вспомнились здесь стихи Андрея Тургенева — прим. А.В.),

Где вера не нужна, где места нет надежде,
Где царство вечное одной любви святой.

А если останусь один? — Тогда готовься, как умеешь сам, к переселению в этот край, но едва ли удастся получить пропускной билет,

Разве чудо путь укажет
В сей прелестный край чудес?²

Но ждать чуда? Кто его дождется? — И я то же думаю. — Что же делать? — Не знаю, а для меня верно только то, что мы расстанемся».

У Протасовых Жуковского встретили намеренно холодно. «Терпи, — шепчет ему на ухо приятель Плещеев, — тебя будут любить, когда получишь свободу быть тем, каким быть хочешь и можешь. И сердце скрепилось, но было ли оно довольно так, как бывает довольным у человека, возвратившегося в тот круг, где его счастье, где его настоящая жизнь?» За Воейковым, у которого разболелась голова, ухаживают, а на него поглядывают «с

¹ Письмо 17 апреля 1814 г., неизд.

² Из «Желания» Шиллера: «Нам лишь чудо...».

торжествующим, радостным видом — в самом деле торжество и радость! Я посматривал исподлобья, не найду ли где в углу христианской *любви*, внушающей сожаление, пощаду, кротость. Нет! Одно холодное *жестокосердие* в монашеской рясе с кровавою надписью на лбу: *должность* (выправленную весьма неискусно из слова: *суеверие*) сидело против меня и страшно сверкало на меня глазами»¹.

Остаться ли ему? Ехать ли с другими в Дерпт? Но Протасова не даст разрешения, пишет он Киреевской²; решительного объяснения у него еще не было, хотя он несколько раз писал ей³, но он приготовил для нее какое-то письмо, которое передаст непременно, когда будет надобно⁴. Воейков просил, чтобы ему разрешили явиться в Дерпт к сентябрю, чтобы успеть «привести в порядок и свое и мое», и Жуковский подтверждает его просьбу⁵.

Объяснение с Протасовой произошло в апреле. Жуковский возобновил просьбу о браке. «Она (Протасова), сказала мне, что ей невозможно согласиться, потому что она видит тут беззаконие, — писал Жуковский Тургеневу 5 мая 1814 г. — Я отвечал ей, что ничего подобного тут не вижу, что я не родня ей, потому что закон, определяющий родство, не дал мне имени ее брата... Я прибавил, что уверен в нашем счастье, если бы она на него согласилась, но что готов от всего отказаться, если мое счастье не сделает ее счастья или его разрушит. Теперь она со стороны моих намерений покойна, уверена в моей готовности ей собой пожертвовать. Но еще не все пропало». И он придумывает новые влияния на Протасову: Лопухин будет ей писать, Воейков еще не объяснялся с ней, теперь он уехал, но после свадьбы, назначенной 2 июля, «начнет говорить». Жуковский хотел бы привлечь к делу и Орловского архиерея Досифея, если согласятся отдаться на его суд — и он просит Тургенева немедленно написать Досифею (другу И.П. Тургенева и Лопухина)⁶: «более всего в письме своем утверждай, что между нами родства нет. Ты знаешь, в чем состоит это родство: *я сын ее отца*. Скажи в своем письме, что ищешь его покровительства, еще не зная, будут ли ему об нас го-

¹ К Киреевской 16 апреля 1814 г. Как это письмо, так и следующие, обращенные к родным и приводимые без указания на источник, взяты из собрания писем Жуковского, изданного Зейдлицом и проф. Висковатовым в «Русской Старине» 1883 г.

² То же письмо.

³ Сл. письмо к Тургеневу 1 февраля 1815 г.

⁴ То же в письме к Арбенева 2 марта 1814 г. Русск. Арх. 1883 г. II. С. 310.

⁵ К Тургеневу 16 апреля; сл. приписку Жуковского к письму Воейкова к Кавелину 23 апреля 1814 г., Русский Архив 1900 г. № 9. С. 29–80.

⁶ Сл. неизданное письмо Ал. Тургенева к Жуковскому 19 ноября 1814 г.

ворить, но что хочешь только предупредить его в нашу пользу». Но дело не в том, чтобы вырвать у Протасовой согласие: «в добрую минуту она и может согласиться. Но какое же выйдет следствие? Расстройство общего спокойствия. Счастья, на таком хилом фундаменте основанного, желать не могу. Надобно убедить и разрушить предрассудок. Если ничто не удастся, то надобно будет отсюда бежать, и все, все для меня переменится. На что решусь, еще не знаю».

Петербургская и московская жизнь его пугают, теперь ему нужно «совершенное уединение», чтобы он был покоен в своих четырех стенах и перо его не покинуло. «Ты велишь мне писать. Нет, друг! Теперь перо мое как будто в параличе, и в воображении моем большая засуха. Смотрю на все прекрасные свои планы как на развалины. Одно только счастье или совершенное уединение могут на этих планах что-нибудь построить». И он снова цепляется за судьбу Воейкова — и покровительство Тургенева: надо устроить так, чтобы Воейкову дали из Дерпта отсрочку до 1 сентября: «в течении августа он должен привести в порядок *свои и мои дела*»; надо избавить его и от обязательства прослужить в Дерпте шесть лет; для него «такое обязательство крайне невыгодно; прибавлю: и для меня. *Но мое должно решиться прежде*, и во всяком случае это профессорство много мне вреда сделает. Но об этом нечего и говорить. Для меня верное на сем свете одно: твоя дружба и ее любовь. Прочее оставим Провидению»¹.

«Ты велишь мне писать, — повторяет он в другом письме (второй половины мая). — Друг бесценный, душа воспламеняется при всем великом, что происходит у нас перед глазами. Сердце жмется от восторга при воспоминании о нашем Государе и

¹ О получении этого письма Тургенев известил приятеля 19 ноября, сообщая ему о своих хлопотах по его делу (писал Досифею); если б оно затянулось, то пусть придет в Петербург, либо «к нам, на Волгу; поселись в обители отцов наших, я скоро буду с тобою... Воейкову отпуска не нужно, университет будет уведомлен, что он придет к началу следующего курса, а не прежде. Шестилетний срок, будучи незаконным, не должен страшить его... Боже мой, Боже мой! как бы я был счастлив, если бы я мог содействовать к совершению твоего счастья! Тайное предчувствие говорит мне, что мне не останется никакого другого утешения в жизни, как жить в памяти милых ближних и забыть то, что миновало меня.

Und wer den besten seiner Zeit genug getan,
Der hat gelebt für alle Zeiten.

Если Воейков уже возвратился, то обнимаю его и желаю ему быть скоро — без желания и надежды». — Стихи из пролога к Шиллерову Валленштейну; Ал. Тургенев любил их повторять. Сл. выше с. 102, прим. 1.

той божественной роли, которую он играет теперь в виду целого света. Никогда Россия не была столь высоко возведена. Какое восхитительное величие! Но как нарочно теперь и засуха в воображении. Мысли пробуждаются в голове, но, взявшись за перо, чувствую, что в нем паралич». И несмотря на это, он подумывает иногда о послании к «нашему Марку Аврелию. Какой прелестный характер! И какие страницы для истории 1814 год приготовил! О милая Русь! Как возвышается душа при имени русского! И как не обожать того, кто нас так возвеличил! Брат, брат! Если бы счастье, что бы я написал! Но как же велеть душе летать, когда она вязнет в тине? Поэзия есть счастье, то есть тишина души, надежда в будущем, наслаждение в настоящем. Как иметь стихотворные мысли, когда все это погибло?.. Я сказал в последнем моем письме, что профессорство Воейкова мне повредит. Нет, это вздор! И сам не понимаю, почему это сказал. Смотри, и ты не вооружись против профессорства. Если кто может мне сделать добро, так конечно Воейков».

О своем объяснении с Протасовой писал Жуковский 5 же мая и Киреевской. Оказывается, Маша все сказала матери «и прибавила то же, что я, то есть, что спокойствию ее готова жертвовать своим собственным». Результатом объяснения было то, что Жуковского обязали не показываться в Муратове до приезда Воейкова, и он принужден скитаться целый месяц. В половине июня придет Воейков, «он нам поможет, а пока его подагрик — надежда крепко охает...» Что если суждено положить его в гроб? «Ничего пустее и гнилее не представить той жизни, которую он мне после себя оставит. А вы еще утешаете меня вечностью. О, вечность — прекрасная бездна, да только бы поскорее... Поэзия! Но поэзия и счастье одно и то же! Можно с большим наслаждением ковать подковы или строгать доски, чтобы рассеять себя усталостью, но писать стихи — для этого нужно быть в свете, иметь надежду на жизнь, потому что со всякою хорошею мыслию сливается нечувствительно и земное воспоминание о том, что мило в жизни».

Письма 5 мая, как и следующие, майские и июньские, к Тургеневу и Киреевской писаны из Черни. Любовь ищет опоры в самоотречении — это тоже любовь: отречение от личного счастья, чтобы оберечь счастье семьи, спокойствие Маши; отречение от счастья, если б на него согласились только формально, не по убеждению и не добровольно. «Разве мы с Машей не на одной земле и не под одним отеческим правлением? — утешает он себя в письме к Киреевской (конца мая или начала июня 1814 г.). —

Разве не может друг для друга жить и иметь всегда в виду друг друга? Один дом — один свет, одна кровля — одно небо, не все ли равно? А будущее все еще наше!»

В июне Тургенев и Вяземский списались о Жуковском. Тургенев получил его послание к себе («В день счастья»). «Превосходно! Боюсь напечатать его, ибо из его стихов узнают тайну души моей, которая от Жуковского не была скрыта... Жуковский est aussi dans le vague [также в неопределенности (*франц.*)]. Он собирается говорить со мной и советоваться, и ничего не делает кроме прекрасных стихов. Надобно решить его нерешимость. Услышит ли он, наконец, голос дружбы, призывающий его к берегам Невы?» (июня 1814 г. кн. Вяземскому)¹. «Наш Жуковский погибает, и я едва не плачу с досады, — отвечал князь Вяземский (15 июня), — образумится ли он когда-нибудь, заживет ли так, как и рассудок, и все, и всё велят ему жить? Я ожидаю его к себе»².

Получив письмо кн. Вяземского, приуныл и Тургенев, хотя его и подбодрил несколько ответ Досифея на запрос, обращенный к нему по делу Жуковского. Досифей писал уклончиво, не решая дела по существу: «мать невесты *мнит, якобы* (Жуковский сын ее отца — *А.В.*)... Да избавит меня Господь дело решить на одном *якобы*»³.

В Муратово Жуковский вернулся, вероятно, к приезду туда Воейкова, как видно из следующего письма к Маше 21 июня.

Перед нами тетрадка в 16-ю долю листа, в обложке из синей бумаги: образчик тех писем-дневников, который вели Маша и Жуковский для себя и друг для друга, обмениваясь ими, когда жили порой под одной кровлей, потому что иначе побеседовать не удавалось⁴. Тетрадка, надписанная «июнь», начинается стихотворением:

Мой друг утешительный!
Тогда лишь покинь меня,
Когда из души моей
Луч жизни сокроется!
Тогда лишь простишь со мной!
Источник великого,

¹ Русский Архив. 1866 г. № 6. С. 880.

² Остафьевский Архив. I. Письмо № 17. 15 июня 1814 г.

³ Ал. Тургенев Жуковскому 26 июня 1814 г. (неизд.).

⁴ Как июньский дневник 1814 г., так и следующие за июль и сентябрь того же года и за апрель 1815, доставлены были мне А.Ф. Онегиным и будут напечатаны в изданиях 2-го Отделения Имп. Академии Наук. Пользуюсь ими здесь с разрешения владельца.

И веры, и радости,
И в сердце невинности,
Мне силу и мужество
И твердость дающая,
Мой ангел-сопутница
И в жизни, и в вечности!

«21-го июня, понедельник. Я возвращаю тебе *май* (т.е. белую тетрадку для ведения дневника) пустой совершенно. Что было в него записывать? Нужно ли было выражать для моего друга такое состояние души, которое было ее недостойно? Пустота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости – и вот все. Можно ли было об этом писать? Рука не могла взяться за перо. Словом, земная жизнь была смерть заживо». У него являлось желание умереть; но как заплатить Маше за все те чувства, которые она в нем поселила, «презрением к жизни, к самому себе, низостью, отчаянием»? Нет, он должен любить ее «иначе», должен жить для нее. «Как живо чувствую в эту минуту всю высоту жизни, посвященной добру и тебе. Не знаю, как пробудилось во мне это чувство, но это сделалось вдруг». По началу его письма к Марье Николаевне (Свечиной), которое Маша читала, она могла судить, что расположение его духа было другое, «и мысли и чувства были черные. Вдруг как будто свет озарил мое сердце и взгляд на жизнь совсем переменялся». – Жуковский остановился на этом месте письма, чтобы пойти в залу искать платка; Маша подала ему – изломанное кольцо. «Какой прекрасный знак! Друг мой, оно дано тебе *не мною*. Возьми *мое*. Пускай оно означает совершенную перемену моих чувств к тебе на лучшее, совершеннейшее чувство самой чистой, неизменной привязанности; в ней истинная моя жизнь, она будет для меня источником верного счастья, добра, надежды, религии и наконец получит награду от Того, Кто будет видеть жизнь мою, Кто соединит нас и освятит наш союз. В знак *того же* дай и твое мне кольцо *от себя*: обручимся во имя Бога на добродетель, на хорошую жизнь, которая пройдет если не вместе, то по крайней мере *одинаково и для одного*». Будь им полная свобода любить друг друга и показывать друг другу без принуждения самую чистую привязанность, они были бы счастливы вместе и сохранили бы свое счастье непорочным. «Но ожидать такой доверенности невозможно. Захочешь ли, чтобы я был только терпимым в твоей семье, без уважения, без дружбы; чтобы я всякую минуту чувствовал недостаток счастья, завидовал тем, кто пользуется бесценным правом делить все с

тобою?» Он много выстрадал в последний месяц разлуки, но Маша стала ему «еще милее, еще святее и необходимее прежнего», без ободрительного воспоминания о ней он ничто; она его убежище; как могла она сказать в своем последнем бесценном письме: «*я даже желала бы, чтобы ты меня любил менее?*» В его любви — *все* для него; его сила и деятельность в настоящем, прекрасное в будущем; с ее любовью он может воображать вечность, она даст ему пример религии; с нею он богат. Лишь бы *твердая вера друг в друга*, продолжает он, ссылаясь на свое письмо к Марье Николаевне: Провидение указало им прекрасную цель, но счастье надо заслужить — испытанием. «Признаюсь тебе, с тех пор как сюда возвратился, я несколько поколебался в этих мыслях. Видя тебя снова, чувствую все то жестокое горе разлуки, которое стесняло мне душу, вижу одно только то счастье, которого я лишен — и забываю о том, которое мне осталось. Видеть тебя перед собою и иметь одно только воспоминание о тебе — какая разница! Но я не хочу сражаться с этим чувством — пускай оно меня мучит! Теперь последнее время — оно бесценно при всех страданиях. Но даю тебе слово, что убийственная безнадежность ко мне уже не возвратится... Прошу от тебя только одного: будь мне примером и верным товарищем в этой твердости, в этой взаимной доверенности... Я сделал себе правило, которое одно мне на *целую жизнь* послужить может. При всяком чувстве, при всякой мысли, при всяком намерении буду у себя спрашивать: *достойны ли они моей Маши? Можно ли ей их открыть? Будет ли и должна ли она в них участвовать?* Милой ангел, разве этого не довольно, чтобы не только не испортиться, но еще и сделаться лучшим». Он говорит ей о своем плане жизни: он будет читать — собирать хорошие мысли и чувства; писать для славы и пользы, делать все то добро, которое будет в его власти. Слава получила теперь для него какую-то необыкновенную прелесть: она будет слышать о нем, честь его имени, «купленная ценою чистоты», будет принадлежать ей. Эта надежда его радует; пока он слишком мало сделал добра, теперь у него много причин сделаться добрее, и всякое доброе дело будет новою связью с Машей. «О, если бы только это не осталось одним намерением! Боюсь своей лени... но ты со мною», и он просит ее благословить его на такую жизнь. Он будет жить в Мишенском, Долбине, Черни, будет заглядывать в Москву; уединение для него лекарство, рассеяние не только не нужно, но и вредно: от чего рассеиваться? Неужели желать забыть все ему милое, все лучшее? — Но «какое горькое сиротство в этом слове: *быть розно с тобою!*» Да разве он

думает о своем счастье? Он будет жить для ее счастья, для него думать, чувствовать, делать, писать. «О если бы только иметь довольно твердости! Но моя твердость зависит от твоей. Будь моим утешителем, хранителем, спутником жизни».

Маша советовала ему перебраться в Петербург, искать службы; но петербургская жизнь не совместна с занятиями, служба с свободой. Правда, Петербург их сблизит, — но не соединит; быть у них гостем, «увидеться для того, чтобы расстаться — какое мучение! Быть подле вас и не с вами — как это тяжело!» Если бы это привело «к чему-нибудь счастливому» — но на это надеяться нечего. «Моя последняя надежда была на Воейкова. Милой друг, эта надежда пустая: он не имеет довольно постоянства, чтобы держаться одной и той же мысли. Я боюсь быть к нему несправедливым, но кажется мне, что пылкость его и рвение более на словах, и он слишком переменчив для приведения чего-либо к концу. И не сомневаюсь в его дружбе, но теперешний тон его со мною не похож на *прежний*. Он прежде говорил так часто *о нашей жизни вместе*; теперь об этом нет и в помине. Il s'est trop vite résigné pour moi [Для меня он слишком быстро смирился. (*франц.*)]. Мы с ним живем под одною кровлею и как будто не знаем друг друга, а нам жить вместе не долго. Одним словом, лучше не ждать ничего и ни от кого, а верить Тому, Кто не обманывает, не переменяется. О, мой милый друг! Ему поручаю твою судьбу и твое будущее — и в этом все мое». Пусть она занимается собою, бережет свое здоровье, читает то, что питает душу; «план чтения у тебя есть»; «я желал бы, чтобы ты не бросала и своих *feuilles volantes*. Записывай дни свои, мысли и то, что хорошего заметишь в книгах. Я то же буду делать и с своей стороны. Когда-нибудь разменяемся». Екатерине Афанасьевне он будет писать, но лишь тогда, когда с ней расстанется. «Я никакой надежды не полагаю на свое письмо, но сказать ей все необходимо. Ее мнение обо мне несправедливое и унижительное — это надо ей доказать. Более ничего и не желаю. Я не хочу, чтобы она считала, что я признаю себя виноватым, что принимаю изгнание из ее дома с покорностию раскаяния. Нет, такое мнение о себе ей оставить мне невозможно. Теперь она со мной ласкова. Я этого не приму за дружбу, и вера к ее ласке совсем исчезла в моей душе. Но я благодарен ей и за добрую наружность. Теперь вижу в ней одну твою мать, и это для меня свято. Почтение, неожиданное ничего и терпение — вот все. Письмо мое будет просто. Отъезд мой не будет разрывом. Наружная связь будет сохранена».

Прилагая незаполненную тетрадку майского дневника, Жуковский просит Машу вписать в нее это письмо и прибавить свой ответ. «Эта книжка будет моим законом. А то, что ты мне напишешь, перепишу для тебя». Вся его жизнь будет посвящена исполнению «этих добрых намерений или (чтобы кончить одной чертою) любви к тебе». Он чувствует за себя и за нее высокую твердость, которая говорит ему: *«вы ни от чего теперь не зависите. Ни судьба, ни люди не истребят того, что вы имеете. А лучшее впереди. Там Бог! Он вас видит, и вы в любви его неразлучны. Некогда будете сами это чувствовать, а теперь только верьте и будьте выше своего жребия»*.

Дневник кончается выборкою из VII песни Виландова Оберона. Гоон и Реция-Аманда преступили завет Оберона — жить друг с другом, как брат и сестра, пока папа Сильвестр не освятит в Риме их союз; в наказание за это буря выбросила их на необитаемый остров, где они терпят холод и голод — и Реция-Аманда утешает милого. В следующих выборках утешителем выступает Жуковский, ввиду этого выпущены два стиха подлинника; испытания влюбленных представляются как бы в христианском освещении, и Жуковский выписывает Er [Он] с большой буквой, когда в тексте дело идет об — Обероне.

72. Laß mich¹

Aus dem geliebten Mund was meine Seele haßet
Nie wieder hören! Klage dich
Nicht selber an, nicht Den, der, was uns drücket,
Uns nur zur Prüfung, nicht zur Strafe zugeschicket,
Er prüft nur, die Er liebt, und liebet väterlich!

.....

75. Die Hand, die uns durch dieses Dunkel führt,
Läßt uns dem Elend nicht zum Raube;
Und wenn die Hoffnung auch den Ankergrund verliert,
So laß uns fest an diesen Glauben halten,
Ein einz'ger Augenblick kann alles umgestalten!

76. Doch laß das Ärgste sein! Sie ziehe ganz sich ab,
Die Wunderhand, die uns bisher umgabt;
Laß sein, daß Jahr um Jahr sich ohne Hülf² erneue,

.....

Fern sei es daß mich je was ich getan gereue!²

¹ У Виланда VII, 72: Lass, sprich sie, Hüon, mich [Не заставляй, сказала она, Гоон, меня...].

² У Виланда VII, 76:

Lass sein, daß Jahr um Jahr sich ohne Hülf² erneue,

Und läge noch die freie Wahl vor mir,
Mit frohem Mut ins Elend folgt' ich dir!
77. Mir kostet's nichts von Allem mich zu scheiden,
Was ich besaß; mein Herz und deine Lieb' ersetzt
Mir alles; und so tief das Glück herab mich setzt,
Bleibst du mir nur, so werd' ich keune neiden,
Die sich durch Gold und Purpur glücklich schätzt.
Nur, daß du leidest, ist mein wahres Leiden!
Ein trüber Blick, ein Ach, daß du entfährst,
Ist was mir tausendfach die eigne Not erschwert.

78. Sprich nicht von dem, was ich für dich gegeben,
Für dich getan! Ich tat, was mir mein Herz gebot,
Tat's, für mich selbst, der zehenfacher Tod
Nicht bitterer ist, als ohne dich zu leben.
Was unser Schicksal ist, hilft deine Liebe mir,
Hilft meine Liebe dir ertragen,
So schwer es sei, so unerträglich – hier
Ist meine Hand! – ich will's mit Freuden tragen.

[72. Не заставляй меня больше никогда слышать из любимых уст то, что ненавидит моя душа! Не обвиняй ни себя, ни Того, кто послал нам наши тяготы в испытание, но не в наказание; Он испытывает лишь тех, кого любит, и любит отечески!..

75. Рука, что ведет нас через этот мрак, не отдаст нас в добычу беде; и даже когда надежде некуда бросить якорь, будем тверды в этой вере, *единственное мгновение может переменить все!*

76. Но пусть свершится самое злое: исчезнет чудесная рука, что донныне держала нас; пусть тянутся годы без помощи... я не расскаюсь в том, что когда-либо сделала! И будь передо мной выбор, я бодро и храбро последовала бы за тобой навстречу невзгодам!

77. Мне ничего не стоит расстаться со всем, чем я обладала, мое сердце и твоя любовь заменяют мне все; и в какое бы низкое положение ни поставила меня судьба, если ты останешься со мной, я не стану завидовать тем, кто мнит себя счастливым благодаря золоту и пурпуру. Лишь то, что ты страдаешь, – мое истинное страдание! Печальный взгляд,

*Und deine liebende getreue
Amande finde hier auf diesem Strand ihr Grab:
Fern sei и т.д.*

[Пусть тянутся годы без помощи и твоя любящая верная Аманда найдет здесь, на этом берегу, свою могилу...]

вздых, вырывающийся у тебя, — вот что тысячекратно утяжеляет мою собственную беду.

78. Не говори о том, что я дала тебе, что я сделала для тебя! Я сделала, что приказало мне мое сердце, сделала это для самой себя; десятикратная смерть не горче, чем жизнь без тебя. Твоя любовь помогает мне, а моя — тебе переносить нашу участь; как бы тяжела, как бы невыносима она ни была, — вот моя рука! — я претерплю ее с радостью. (нем.)]

Следующая тетрадка дневника, надписанная июлем, ведет непосредственно далее. В заголовке третья строфа «Песни» (подражания немецкой), которую 1-е и 2-е издание Сочинений Жуковского отнесли к 1811 г., 5-е к 1813-му). Третья строфа начинается стихом: «Мой милый друг, нам рок велит разлуку»; припев, проходящий через всю песню: «Меня, мой друг, не позабудь»!

Первая пометка 28 июня: «Я еду по вашим следам. Остановился в Куликовке в 17-ти верстах от Орла, там, где вы ночевали в последний раз, возвращаясь с ярмарки. Сажу на том месте, где ты сидела, мой милый друг, и воображал тебя. Хозяйка мне рассказывала об *вас*, и я уверил ее, что я — *женех*, но что невеста моя не младшая, а старшая дочь той госпожи, которая у ней останавливалась... Ты видела меня грустным, друг милый, в последние дни — может ли быть иначе? Во всяком положении, где бы я ни был, грусть, более или менее, будет в моем сердце — она будет его обыкновенным состоянием... Вчера, подъезжая к Мценску, я смотрел на рощу, которая растет близ дороги; погода была тихая и роща была покрыта прекрасным сиянием заходящего солнца. Чувство во мне было приятное, но с этой приятностью соединено было уныние, которое всегда чувствую, когда что-нибудь подобное мне представится. Я очень понимаю это чувство. Прежде (но давно уже) с приятным впечатлением соединялась всегда веселая надежда на будущее, надежда неизвестная, но еще не обманутая и потому веселая. Теперь при каждом таком впечатлении недостает веселой надежды, и сердце стесняется». Будущего, какое снилось, ждать нечего; надо «ограничить себя настоящим», — и Жуковский приводит первый стих своего стихотворения «К самому себе»:

Будь настоящее твой утешительный гений,

точно хочет утвердить себя в этом взгляде, но сам замечает, что «все это одно прибежище. Я уцепился за него, как утопающий за

доску»; самая мысль для него не ясна, одно только «темное намерение»; в нем самом два человека: *вседневный*, «то есть, по привычке, не деятельный, следующий своим склонностям, со всеми недостатками, другой — *совершенный*, то есть в иные минуты готовый на все прекрасное, имеющий высокие мысли и желания». Надо этого совершенного человека сделать вседневным. «Кстати или не кстати» ему пришла мысль об «удовольствии»: такого удовольствия, которое пленяет нас одну минуту и исчезает без следа, искать не стоит, одно лишь «*удовольствие с воспоминанием* есть прямая принадлежность души человеческой», «только такие удовольствия могут *слиться в счастье*; но для этого они должны быть *добры*».

Все это писано было у дверей постоянного двора в деревне Сорочьи Кусты; в Разбегаевке он не остановился, но видел там двор, где ночевала Маша с матерью. «Около меня бегают три забавных мальчика, хозяйские дети. Я перекупил у них землянику, за которую они предлагали грош, а я дал пятак. Надобно было видеть их гордость, когда они торговались, и смирение, когда торг не состоялся». Но он их утешил, купив землянику и разделив ее между ними. Вот еще мысль, — продолжает он после этой жанровой картинки, — самая верная дорога — прямая, хорошая цель достигается лишь хорошими средствами; так и счастье: как его сохранить, когда оно приобретено дурным способом и, следовательно, мы сделались неспособными пользоваться им? «Важность не *в присутствии счастья*, а в том, чтобы *мы* могли выдержать его присутствие».

29 июня, Губкино. «Лежу в сарае, в санях на сене. Читаю Виландова *Diogenes von Sinope* и часто прерываю чтение, чтобы думать о тебе. Гулял и по кладбищу — даже и срисовал его». — Следует длинное рассуждение о предведении, предопределении, Провидении; он писал об этих вопросах Лопухину, но письма с ним нет, а Маша хотела знать его мысли на этот счет, и он развивает их и сводит к своему личному положению: Провидение «располагает случаями жизни, располагает их к лучшему и человеку говорит: действуй согласно со мною и верь моему содействию. Что бы ни было, мой друг, но мы должны смотреть на все, что ни встречается с нами, как на предлагаемый нам способ *свыше* приобрести *лучшее*. Надобно только верить. Как бы ни было страшно и трудно, а тайный, невидимый помощник близко.

Друг! что беды для веры в Провиденье?
Лишь вестники, что смотрит с высоты

На нас святой, незримый испытатель!
Лишь сердцу глас: Крепись! Минутный ты
Жилец земли! Есть Бог — и ждет Создатель
Тебя в другой и лучшей стороне!
Дорога бурь приводит к тишине...»

5 июля Жуковский писал из Орла, 9 из Котовки. Он был в семье П.И. Протасова, покойный брат которого был женат на Екатерине Афанасьевне, и узнал, что Маша хворала и не писала ему о том. «Ты опять больна и опять начинаешь скрываться! Ты только хочешь носить маску любви ко мне — не сердись за это выражение! Где же любовь, когда нет никакой заботы о себе, когда ты довольствуешься только тем, что я тебе верю, и ни мало не думаешь оправдывать моей веры! Правда, меня с тобой не будет — и я не буду видеть!» Павел Иванович способен принять сильное участие в *их* деле, но он безволен, в руках жены; сочувствует им и его сын Александр, советует воздействовать на мнение Екатерины Афанасьевны, надеется на Досифея и Лопухина; он и сам на это надеялся, ждал всего «от ее сожаления, от желания сделать наше счастье. Но их нет! Ты видишь, что маменька не хочет верить, что это *тебе нужно*, что она только об том заботится, чтобы и другие тому не верили. Наше несчастье для нее не существует. Иначе могла ли она иметь дух с такою холодностью, с таким пренебрежением шутить на счет нашей привязанности, которую называет страстию и хочет представить смешною и странною, а нас какими-то романическими героями и тому подобным?» — Александр Павлович предложил ему поехать вместе за границу: путешествие не отнимет у него его лучшей драгоценности, любви к Маше; и он не прочь от этой мысли, которая в другое время ужаснула бы его, «но теперь и без того надобно будет разлучиться, и скоро. Я думаю, что я *должен* уехать от вас *сам*, а не ждать вашей поездки в Дерпт. Как жить у вас, зная образ мыслей маменьки? Как быть у вас только *терпимым*?» Тяжелый опыт последнего месяца доказал ему, какое благо для него любовь к Маше, но от маменьки он не хочет принять никаких благодеяний. «Она не должна думать, чтобы чем-нибудь могла заплатить мне за эту дружбу, которую я от нее требовал в замену моей, и чтобы была какая-нибудь замена того счастья, которого она меня лишила с таким спокойствием... Я недавно между письмами нашел одно свое письмо, написанное к ней в Москве в марте 1811 после вашего отъезда. Не помню, почему оно не послано, но в этом письме я прошу от нее доверенности и уверяю ее, что

это единственный способ переменить мою к тебе привязанность в чувство брата и сделать нас счастливыми. Это письмо я ей отдам в доказательство, что *она* не захотела нашего счастья».

Последняя хронологическая пометка в дневнике 9 июля; писана она в дороге («завтра увидимся, друг милой»); следующая, вероятно, уже в Муратове, может быть, после свадьбы Воейкова: «Милый друг, когда я стоял в церкви и смотрел на нашу милую Сашу и когда мне казалось сомнительным ее счастье, сердце мое было стеснено и никогда так не поразило меня слово „Отче наш” и вся эта молитва. Я читал ее или, лучше сказать, объяснял для себя совсем иначе, нежели как это случалось прежде. Во мне возбудилась доверенность к Промыслу, и будущее не было уже так страшным. Я обещал Саше написать эту молитву с собственными немногими прибавлениями. Где же лучше написать ее, как не здесь? Пусть будет она *прежде* для тебя, а потом и *для нее*. Жаль, что это не написалось тогда же так, как было в душе». — Следует разбор и пояснение каждой части, каждого призвания молитвы, например: «Якоже и мы оставляем должником нашим. О! Это пишу от всего сердца! Прочь низкое, прочь злоба! С именем святого Отца всем любовь или всем прощение. Бог станет нас судить, как мы сами здесь судили. Друг мой, я начинаю *новую дорогу жизни*: вон из сердца всякое чувство ненависти и злобы! Оскорбления не чувствовать не могу, но прочь злоба: я буду достоин моего небесного Отца! Вся моя жизнь Его Провидение».

«Воейков сейчас рассказал мне ваш разговор с маменькою. Боже мой, сколько обвинений! — Последнее — и кончу навсегда. Сейчас говорили мы с Воейковым, обнялись, плакали и дали друг другу слово в братстве от сердца. Друг мой, будь с ним искренна, ищи в них обоих подпоры и *верь* им. Доверенность не будет обманута... Ты и Провидение — в вас мое верное счастье»; когда оно сбудется — неизвестно, но «эта спокойная надежда стоит счастья. Я боялся одного, чтобы не захотели делать насилие твоему сердцу; Саша и Воейков ручаются за его сохранение. Я просил Воейкова, как друга, как брата, быть твоим помощником, твоим утешителем. Нет! он не обманет меня... Я просил его ничего более для нас не требовать, но быть только всегда на наш счет неизменным во мнении. Это для него не может быть трудно. Только будьте согласны и не имейте недоверчивости друг к другу. Ангел мой, прости! Благослови тебя Бог!

Я жив — и ты моя!

В этих двух словах весь мой жребий...»

Свадьба Воейкова состоялась 14 июля. Жуковский продал свое имение, чтобы составить приданое для Александры Андреевны, посвятил ей свою «Светлану» — и уехал. Вероятно, к этому времени, а не к последней трети года относится следующее событие: Жуковский поручил Воейкову передать Ек.Аф. Протасовой свое (недошедшее до нас) письмо, но тотчас же спохватился: оно показалось ему слишком резким, обидным (он вспомнил, быть может, свои слова о всепрощении), и он посылает вдогонку за ним другое, в котором винит самого себя: он сам нарушил покой семьи и считает необходимым удалиться, но желал бы, чтобы его помнили, любили и уважали и его места в семье не забыли. Счастье, которого он искал, оказалось невозможным, он перестал желать его, «но оно никаким заменено быть не может. Привязанность мою к Маше сохраню вечно: она для меня необходима; она всегда будет моим лучшим и самым благодетельным для меня чувством. Эта привязанность даст мне силу и бодрость пользоваться жизнью. С нею найду еще много хорошего в жизни». Разлука все согласит. «Теперь все осталось для одной дружбы! Воспоминание одному только счастью, одним добрым вместе проведенным минутам... с таким воспоминанием смело смотрю на будущее. Оно ничего у меня не отнимает. Мое место в сердцах моих друзей сохранено; все остальное Провидению!» Его утешает мысль, что не чужой, не забытый друзьями, он будет жить *розно* с ними, «так, как бы и *вместе*. А когда-нибудь и вечно вместе. Теперь смело при вас называю Машу моим другом; она мне благодетельница на целую жизнь. Моя привязанность к ней самая чистая, и вы не должны ею оскорбляться. Благословите же меня прежним благословением». Он стал теперь гораздо спокойнее, может перестать думать о потерянном, но не в силах думать, что потерял его напрасно. «Того, в чем полагаю истинное счастье, для меня никогда не будет. Это решено на всю жизнь. Хуже быть для меня ничего не может». В жизни много добра и «без счастья»; лишь бы иметь надежду на своего путеводителя; и горе бывает полезно; «более всего дает оно надежду и веру». «Я не мог с вами проститься. Это было бы тяжело. С вами, быть может, и скоро увижусь, но с вашею семьею, с Муратовым, с моим настоящим отечеством расстаюсь на всегда»¹.

«Уезжать уже нет нужды — я уехал, — писал он Киреевской 31 июля из Черни, — я желал бы, чтобы вы прочитали то, что я

¹ Русский Архив. 1900 г. № 9. С. 31 и след.

писал тетушке». Ни с кем он не говорил так о Маше, как с нею, ни с кем не был так искренен; а была ли она искренна, когда говорила, что никто не умеет любить Машу так, как он? Чего он требовал — это семьи, в которой он был бы уважаем и «мог свободно любить Машу в глазах матери». Возвратиться на старое, то есть на мысль о женитьбе, он не желает; «что если одна минута слабости даст это согласие и ничто им не переменится? Избави Бог! Рай так легко сделать. О! я чувствую, как бы это было легко! Но что, если вместо этого рая попаду в прежний ад?» Нет, лучше остаться при своем горе: «это мое — свято, и много, много хорошего в жизни есть и без счастья».

Он удалился, оберегая спокойствие Маши, и в другом письме к Киреевской, вероятно, того же времени, защищается против толкования, которое дали его словам: «она спокойна, а меня там нет!» «Это не противоречие: хорошо быть с нею мыслями, воображением, но как не сжаться сердцу, когда подумаешь, что милое вместе могло бы осуществиться на деле? Как ни называй прекрасным то, что тяжело и дурно, сердце не поверит. Нет, я знаю, что настоящее дурно, что оно могло бы быть лучше, и сожаление будет не только храниться, как драгоценность, в сердце, но будет и хранителем сердца»; сожаление, которое не унизит ни его самого, ни света, ни жизни перед его глазами. Нужное для того спокойствие у него есть: оно состоит в «доверенности, в покорности Провидению... Воспоминание, святая, утешительная мысль о моем товарище — пусть будут они хранителями моего сердца».

Жуковский обещал Тургеневу «много» писать о себе (21 июня 1814 г.), но письма, очевидно, редели, а между тем друг тревожился: «Не зная новых причин твоей скорби, ищу утешения для тебя в твоём таланте и во времени, все, почти все исцеляющем, хотя знаю из опыта, что часто исцеление временем ужаснее раны самой жестокой. Напиши ко мне все подробности твоей теперешней жизни и не страшись верить тайную грусть души твоей тому, кто по одной неограниченной, глубокой и горячей к тебе привязанности заслуживает твою доверенность, но и потому, что часто сам имеет нужду в друге тебе подобном». И для него надежда бледнеет, невозможность счастья становится очевиднее, «хотя, впрочем, невозможность моя зависит почти от условий большого света»¹.

¹ Неизданное письмо 27 августа 1814 г. Та же просьба поверить ему свою грусть в неизданном же письме 29 сентября. «Я хранил бы их (письма Жуковского), как памятники твоей дружбы ко мне, которой изъявления, и самые легкие,

«Большое письмо», которое Жуковский обещал написать Тургеневу, никогда не было написано, и не по лени, а «потому, что в нем было бы много несправедливого, внушенного огорчением; а то, что и было бы справедливо, должно быть предано забвению и исправлено. Я думаю, через час после моего последнего письма к тебе обстоятельства переменились»¹.

Если под «последним» письмом Жуковский разумел дошедшее до нас сентябрьское, то обстоятельства действительно переменились: в письме зазвучало что-то бодрое, если не жизнерадостное. «Мне о многом, многом надобно говорить с тобою, и многое тебя изумит. Но радостного ничего не жди; может быть, зато иное и восхитит твою душу, а иное и очень, очень сожмет. Все это загадка; я тебе ее разгадаю. Только ты откликнись, друг, товарищ, всегда верный и неизменный сердцем, каковы бы ни были обстоятельства. Не обо всех это сказать можно. Не обо всех! О немногих, очень немногих... До сих пор гений, душа, сердце, все, все было в грязи. Я не умею тебе описать того низкого ничтожества, в котором я барахтался. Благодаря одному ангелу — на что тебе его называть? ты его имя угадаешь — я опять поднимаюсь, смотрю на жизнь другими глазами; хотя ничто не удалось и надежда на все, что радовало, пропала, но этот ангел мне остался, и я еще *радуюсь* жизни. Теперь слава мне *драгоценна*. Брат! твоя дружба, любовь некоторых *добрых*, чистая, не униженная ничем презренным слава и этот ангел, который смотрит на мою жизнь, как на свое благо... Еще жить можно!

Und ein Gott ist's, Der der Berge Spitzen
Rötet mit Blitzen!

[И это Бог, который вершины гор багрянит молниями (нем.)]

...*Вы часто будете обо мне слышать*. Между нами: я хочу писать Послание Государю». И Киреевскую он просит в сентябрьском

право, сладостны и утешительны. Слова: «*Что твой Тургенев брат*» в послании к володьковскому барону меня тронули до глубины сердца и несколько укротили дружеский гнев мой на тебя за долгое и тщетное ожидание того длинного письма, которое давно, давно обещано было». Что это за Послание к володьковскому барону (барону Черкасову)?

¹ К Тургеневу 20 октября 1814 г. Отвечая на это письмо 13 ноября, Тургенев просит Жуковского прислать ему его новую балладу (Старушку) и сообщает, что достал недавно его «французский отрывок из Académie des Impertinents» (?).

же письме¹ не беспокоиться о нем: он не впал в уныние, жизнь и без счастья кажется ему чем-то священным и величественным. «Слава для меня имя теперь святое. Хочу писать к царю».

Письмо Жуковского поставило Тургенева в некоторое недоумение, и он нашел возможным укорить Жуковского за его излишнюю осторожность и несообщительность. «Что значит слова твои: *не о всех*? Что должно *изумить* меня? Ты обещаешь разгадать загадку». Пусть доверит ему движения души своей, он разделит с ним «не одну грусть, но и самое негодование». «Любовь твоя к жизни и славе, которой источник находишь ты в другой любви, меня несколько успокаивает, и я радуюсь твоему душевному выздоровлению». И опять просьба об искренности: пусть с первою почтою разрешит его сомнения и скажет все, что у него на сердце — и не оставляет мысли «писать послание к Государю» (2 октября 1814 г., неизд.).

Разгадку приносит дневник Жуковского.

15 сентября Жуковский вписывал в одну из знакомых нам тетрадок письмо Маши в ответ на его собственное; вписывал, по обыкновению, со своими комментариями, на этот раз восторженными. Книжка сентябрьская; в начале текста эпитафия: «Все в жертву для нее». Письмо Маши показывает, как всецело прониклась она философией смирения, в которой старался утвердить себя Жуковский; она не только овладела ее фразеологией, но овладела и положением, из которого Жуковский не в силах был выпутаться: смиренное ожидание того, что пошлет судьба, не исключало энергии в настоящем, и Маша старается пробудить эту энергию. Она огорчена его «малой доверенностью к приятелю» («не недоверчивость к приятелю, мой друг, а забвение самого себя, — замечает Жуковский, — естественное следствие смущения и горести. Я видел, сколько печального ожидало тебя в будущем, многое, быть может, и увеличивал»), не будет несчастлива и не может быть несчастливой: «Добрый, милостивый Отец, который везде со мною, который любит меня для тебя („для меня! Боже мой, стою ли я такой высокой обо мне мысли“!) может ли он допустить это! *L'amour parfait chasse la crainte... Ein einz'ger Augenblick kann Alles umgestalten*» [Совершенная любовь прогоняет страх... Единственное мгновение может изменить все (*франц., нем.*)], повторяет она стих из «Оберона»: она смотрит на свою теперешнюю жизнь как на срок, данный ей для того, чтобы приготовиться к счастью, быть его достойной; два года будут проведены розно, а по воз-

¹ Сл.: Русская Старина 1883 г. Март. С. 665–666. № 18 (в конце 1814). Хронология устанавливается указанием на «Послание». Сл.: *ib.*, февраль, № 16.

вращении из Дерпта наверно настанет время, когда они будут жить вместе. «Базиль! Ты слишком много огорчаешься разлукой! Скажи, много ли ты имеешь утешения теперь, будучи вместе? Правда, что вчера мы имели хорошие, милые минуты, но они тебя недостойны. *Mon ange, ta vie doit être active, utile à tous ceux qui t'entoureront, mais pas seulement à ceux qui seront avec toi. Ton exemple me donnera des forces et du courage* [Мой ангел, *твоя жизнь должна быть деятельной*, полезной для всех, кто тебя будет окружать, а не только для тех, кто будет с тобой. Твой пример придаст мне сил и мужества (*франц.*)]... Для тебя начнется новая жизнь! Боже мой! *Mon ami, il faut être plus grand que le sort, tu ne te ressemble plus, il faut monter la montagne pour voir le royaume de Cachemire*» [Мой друг, нужно быть выше судьбы, ты сам на себя больше не похож, *нужно взойти на вершину чтобы увидеть царство Кашимира (франц.)*]. — Маша просила его не отдавать маменьке письмо, которое он для нее приготовил; добра из этого не выйдет; «если у тебя есть силы, то поговори с ней сам, но этого я бы желала только для того, чтобы она хотя последние два дня была лучше с тобой. О, какое ужасное раскаяние ее ожидает! Базиль, как мы счастливы в сравнении с нею!.. Она слишком чувствует сама, что она не права; доказательства ей не нужны, признаться ей тяжело... Я боюсь за ее здоровье; нам надобно беречь ее». — «Теперь поговорим о том, чего я от тебя требую. *Tu me prometteras de t'occuper beaucoup. Basile, tes compositions feront ma gloire et mon bonheur* [Ты мне обещаешь много заниматься. Базиль, твои сочинения составят мою славу и мое счастье. (*франц.*)]. Если бы ты знал, сколько меня упрекала совесть (за) это бездействие, в котором ты жил до сих пор! Я не только причина всех твоих горестей, но даже и этого мучительного ничтожества, которое отымает у тебя будущее, не давая в настоящем ничего кроме слез. Итак занятия, непременно занятия!» («Бездействие! Нет, оно было не от тебя! — замечает Жуковский. — Теперь мы розно, и что же влечет меня к деятельности? Ты! Что же, когда бы мы были вместе и вместе счастливы? Итак вини не себя, а тех, которые наше вместе разрушили»). Она желала бы, чтобы он занялся воспитанием детей (Киреевской). «*Comme je voudrais te donner toute ma force et tout mon courage! Mais cela aussi c'est à toi que je le dois*» [Как я хотела бы отдать тебе все мои силы и все мое мужество! Но я тебе же и обязана ими. (*франц.*)]. Она обещает писать ему; его письма к Ал. Павл. Протасову в Петербурге будут писаны и для нее, а Киреевской он будет диктовать ее письма: «ты будешь

писать рецензии между строк, но главное то, что мое сердце поймет, чего нельзя будет написать».

В конце письма: «Je te bénit, je prie pour toi à tous les instants du jour! Ma vie! Persévérance» [Я благословляю тебя, я молюсь за тебя каждое мгновение! Моя жизнь! Твердость. (франц.)].

Жуковского это письмо подняло; если «накануне и в самый день отъезда я сказал от сердца, что жизнь прекрасна, это твое дело», пишет он от себя; «ты представила мне в будущем столько прекрасного. Своему проступку обязан я тем, что начал еще более тебя уважать, начал чувствовать твое превосходство надо мною – и как весело это чувствовать!» Она велела ему называть себя его «матерью» за ее нежную заботу о его судьбе; *ta vie doit être active* – сказала она – какое счастье повиноваться ее требованию! Жуковский сообщает ей «кодекс» своих будущих занятий. Прежде всего «*писат*ь (и при этом правило: жить, как пишешь, чтобы сочинения были не маска, а зеркало души и поступков)... Слава моя будет чистая и достойная моего ангела, *моей Маши*. Я буду писать много и беспрестанно». Затем воспитание детей; «Владимир будет написан». «Нет, моя белая книга не останется пустой, – белой книги не страшусь. Провидение твоею рукою начертало в ней невидимую чернью, видимую сердцу: жить для Маши, для всего доброго, быть ее достойным и этим заслужить счастье, которое верно». Его ежедневные занятия будут следующие: 1) «Собрание понятий о религии»; у него нет еще полного понятия о религии, но он желает верить и будет «иметь чистую, достойную человека и Бога веру... Что бы ни было, но жить по правилам христианства. Это ведет к небу. Итак: чтение Священного Писания, книг о религии и твоей книжки. Свои мысли об этом предмете и, для тебя, особенное собрание этих мыслей; 2) Чтение моралистов. Хочу непременно делать свои прививки, то есть каждый день к какой-нибудь хорошей чужой мысли прививать несколько своих. Собрание этих мыслей для тебя. Надобно, чтобы каждый день означен был своею особенною мыслию; 3) Каждый день две или три страницы прозы о чем бы то ни было. Это составит со временем порядочный материал для журнала. Особенный список для тебя. На это уж готов альбом; 4) Всякий день непременно писать в стихах, и все будет для тебя переписано; 5) Чтение книг о воспитании... из этих материалов со временем составить письма о воспитании... Может выйти прекрасная книжка. 6) Записывать свой день. Это для тебя. Дурное и хорошее без закрышки перед моим другом, перед моею совестью, перед вторым Провидением моим».

Он поощряет Машу к чтению Св. Писания, моралистов и к «запискам дня». «Сделай книжку, в которую бы записывать лучшее из Св. Писания и духовных писателей. К этому прибавлять свои замечания. Другую книжку для записывания лучших мыслей из всех книг, и к ним также свои замечания. Наконец, каждый день в десяти строках записать в журнал (в голубую книжку). Все это для меня. Этот журнал будет вместо писем...»

«Теперь последнее слово. Друг мой! *Persévérance*, твердость и деятельность в горе; вера к будущему. Одним твоим словом: *devant Dieu [перед Богом]* ты дала мне все: силу надежду и даже счастье... Все прочее заключено для нас в одном: *будем достойны счастья*».

Между 15-м сентября, когда написано было это письмо, и 26-м произошло нечто, на что Жуковский перестал рассчитывать, и «сладость веселого вместе» («Эолова арфа») снова ему улыбнулась. Поняла ли Екатерина Афанасьевна чистоту чувства Жуковского, роль друга, которую он был готов принять на себя, но она изъявила согласие на его поездку в Дерпт, и он счастлив, ему уже грезится утопия, возможная лишь в атмосфере сентиментализма: утопия совместной жизни с Машей в ее семье, в распределении общих трудов и симпатий. — За приведенным выше письмом следует в том же дневнике другое, коротенькое. «Все это было написано 15-го сентября. Милый ангел, кто бы мог ожидать такой перемены?»

Ein einz'ger Augenblick kann Alles umgestalten¹.

Маша, дай руку на счастье. Мы будем вместе, вместе! Как мило это слово после двух месяцев горькой мысли, что мы расстались! Теперь нечего и некогда тебе сказать. Прости, друг бесценный! Без вас буду много думать о нашей будущей жизни, о нашем милом вместе². ... Это будет последним моим письмом к тебе и единственным, какое ты иметь будешь. Между тем, чтобы ты знала, что буду без тебя делать, то вот рапорт: 1) Написать

¹ Та же цитата из Оберона в письме к Азбукину: «*Activité dans un petit cercle. Persévérance. Ein einziger Augenblick kann alles umgestalten [Деятельность в узком кругу. Постоянство. Единственное мгновение может изменить все.]*; Счастье впереди! Вопреки всему, будь его достоин, и оно будет твое». Далее приводятся стихи из стихотворения самого Азбукина (Живу без страха меж людей); на которое Жуковский ответил 2 октября («Добрый совет в альбом В.А. Азбукину»).

² «Без вас», т.е. когда Протасовы уедут в Дерпт, куда Жуковский явился позже? По письмам к Ал. Тургеневу в сентябре, декабре и в первых числах января Жуковский был в Долбине и Белёве.

план нашей жизни (ангел, нашей!), 2) Переслать к Тургеневу мои сочинения, 3) *Собраться в Дерпт*, 4) Послание к Государю¹ и перевести Библию». — План жизни останется тот же, прибавилось милое вместе, которое надо устроить «как можно яснее и спокойнее; но чего не снесешь для этого *вместе?*.. Прости, душа, радость, жизнь!»

Вот что объясняет поднятый тон сентябрьских писем Жуковского к Тургеневу и Киреевской. Он ожил и начал творить. «Пишу без памяти», — писал он Тургеневу 20 октября; «прошедшие октябрь и ноябрь были весьма плодородны, — повторяет он в письме 1 декабря 1814 г. — Я написал пропасть стихов, написал их столько, сколько силы стихотворные могут вынести². Всегда так писать невозможно: ухлопаешь себя по-пустому. Жизнь мне изменяет; уцепился за бессмертие! Я об нем думаю, как о любовнице; быть стихотворцем во всем смысле этого слова — прекрасная мысль! Может быть, и гордая мысль! Но разве надобно иметь перед собою цель низкую? Писать так, чтобы говорить сердцу и возвышать его, а между тем, пока живешь, жить, думать, чувствовать и пр., как пишешь. Сверх того иметь друзей — друзей твоей славы, друзей твоих чувств и мыслей, и с ними еще кого-нибудь. Жаль, что тебя нет в эту минуту подле меня! Как бы было весело пожать тебе руку! И всякий раз сердце сожмется, когда вспомнишь, что лучшего нашего товарища во всем прекрасном (Андрея Тургенева — *А.В.*) нет и никогда не будет».

Шутливые стихотворения Жуковского, которые назывались обыкновенно «долбинскими», указывают, что перспектива счастья развязала в нем веселье, но любопытно психологически, что в это же время он возвращается к темам баллад, не только страшным или печальным («Старушка»³, «Варвик», «Ахилл») но и к темам расставанья: баллады «Эльвина и Эдвин» (из Маллета), «Алина и Альсим» (из Монкрифа), затейные или написанные 28–30 октября, «Эолова арфа», помеченная 9 и 13 ноября и напоминающая мотив посланий «К Нине» (1808) и «К Блудову» (1810), все говорят о двух любящих, разлученных отцом или матерью; Минвана Эоловой арфы — Минвана «Трех сестер»

¹ Послание затеяно было уже в мае (сл. письмо к Тургеневу 5 мая), о нем идет речь в дневнике 15 сентября, в письмах к Тургеневу от сентября, 20 октября и начала ноября, и декабря оно у него было готово (к Тургеневу и декабря).

² Сл. также письмо к Тургеневу 8 ноября и примечания издателя к письмам 20 октября, 8 ноября и 1 декабря.

³ «Старушка» написана 14–15, 17 и 19 октября. Вероятно, о ней идет речь в неизданном письме Тургенева 13 ноября 1814 г.: он благодарит Жуковского за письмо 20 октября и просит прислать новую балладу «для меня единственно».

(1808), Арминий – Жуковский. Между 10-м и 24-м октября написан и «Теон и Эсхин» на тему, знакомую сентиментальной поэзии; тему Голдсмитовых *Deserted Village* и *Traveller*, которые в период Вертера читал Гёте; «Опустевшую Деревню» принимался когда-то переводить Жуковский. Счастье дома, нечего гоняться за ним по свету, чтобы, вернувшись, пожалеть о том, что было так близко, так возможно. У Жуковского странствует за счастьем Эсхин и не находит его, но и Теон, оставшийся у очага, ограничил счастье – воспоминанием сердца. «Без пышных надежд», в смиренной хижине на берегах Алфея, он был счастлив со своей подругой, схоронил ее и по-прежнему говорит, «что боги для счастья послали нам жизнь, но с нею печаль неразлучна». И он не ропщет на Зевсов закон: жизнь и вселенная прекрасны, но земное богатство не в том, что может разрушить судьба – то не наше, – а в истинных благах любви и возвышенных мыслях.

Увы! я любил... и ее уже нет!
Но счастье, вдвоем столь живое,
Навеки ль исчезло? И прежние дни
Вотще ли столь были прелестны?
О, нет! Никогда не погибнет их след;
Для сердца прошедшее вечно,
Страданье в разлуке есть та же любовь,
Над сердцем утрата бессильна.

Скорбь о погибшем не есть ли «обет неизменной надежды»,

Что где-то в знакомой, но тайной стране
Погибшее к нам возвратится?..
Что лучшее в жизни еще впереди,
Что верно желанное будет.

И Теон кончает исповедью:

Все небо нам дало, мой друг, с бытием,
Все в жизни к великому средство,
И горе, и радость, все к цели одной:
Хвала жизнедавцу Зевесу!

Такова в эту пору философия Жуковского; некоторые афоризмы Теона останутся навсегда его девизом; пока его манит надежда, что «верно желанное будет». В эти месяцы задумано

было и «Искушение»¹, пересказ второй части Шписова романа, первая часть которого дала сюжет для «Громобоя». У Шписа Виллибальд, зачатый, по роковому случаю и не по вине родителей, вне брака, воспитывается на стороне, невидимо опекаемый таинственным старцем, который направляет его жажду любви к высокой цели: двенадцать спящих дев, погруженных в вековой сон за грехи своего отца, ожидают от него спасения; одна из них предназначена ему в супруги. Любопытно было бы знать, как понимал Жуковский этот сюжет в конце 1814 г.; план «Искушения», сохранившийся в его бумагах, не дает об этом понятия; в 1817 г., когда написано было «Искушение», явившееся под заглавием «Вадима», «желанное» удалилось навсегда, и освещение мотива должно было измениться. Но уже теперь Жуковский «уцепился за бессмертие».

Лишь бы любовью красоты
И славой чистою душа в нас пламенела,
Лишь бы, минутное отринув, с высоты
Она к бессмертному летела,
И муза счастья богиней будет нам.

(«К Вяземскому.

Ответ на его послание друзьям», 1814)

Он пишет «Послание к Императору Александру», начал «Певца в Кремле»². Путь к славе, указанный Машей.

¹ Начато в ноябре 1814 г. Сл. письма Жуковского к Тургеневу от 1 декабря.

² В составленном Жуковским перечне своих стихотворений «Певец» стоит в числе написанных или только набросанных им с 1 октября по 24 ноября. 1 декабря он извещал Тургенева, что принялся «за новый подвиг. Певец во стане, предсказавший победы, должен их воспеть; и где же лучше, как не на Кремлевских развалинах..?»

V. Дерптская жизнь

6-м октября помечено стихотворение: «Росписка Маши». В пачке бумаг Жуковского, хранящихся в Имп. Публ. Библиотеке (№ 15, л. 69), оно написано рукою писца с заглавием: Росписка Маши Киреевской. Но о ней, родившейся 8 августа 1811 г., не может быть и речи: дело идет о Маше Протасовой и об октябре 1814 г.; может быть, здесь такой же случай наивного укрывательства, какой мы видели выше — в пометке А.А. Протасовой при стихотворении, обращенном к Маше: «Маминьке»¹. Вот содержание росписки:

Что ни пошлет судьба, все пополам,
Без робости, *дорогою одною*,
В душе добро и вера к небесам,
Идти тебе вперед, нам за тобою!
Лишь вместе бы, лишь только б заодно,
Лишь в час одни, одна бы нам могила!
Что, впрочем, здесь ни встретить, все равно!
Я в том за *всех* и руку приложила.

Это — программа будущего совместного житья; Протасова согласна, Маша приложила руку.

Так или иначе, но поездка Жуковского была решена, о чем он и писал Тургеневу 20 октября 1814 г. Он строит планы общей жизни, общего счастья, кому что делать, как держаться, составляет смету общих расходов и планы работ², и вместе с тем он полон опасений. «Не радуйся, — пишет он Тургеневу (то же письмо). — Того, что надобно, что одно было бы для меня счастьем, нет, и вероятно, не будет. По крайней мере и жестокого *розно* также не будет. Фанатизм, присоединенный к слабому, нерешительному характеру, непобедим. На него ни рассудок, ни сожаление, ничто действовать не могут. Нет довольно твердости, чтобы на что-нибудь решиться, чтобы остаться при том, на что решился. Вся твердость в этом дьявольском суеверии, которое ненавижу от

¹ Сл. выше с. 149.

² Бумаги Жуковского. С. 7—8. Сл.: Русская Старина. 1901. Май. С. 43 и след.

всего сердца... Но так и быть! Будущее впереди, в руке твердой, мое дело дойти до него хорошей дорогой. Мы вместе, это много, это все. Не думаю, однако, чтобы было полное спокойствие, полное счастье: все это зависит не от нас! Но надобно сколько можно беречь это сокровище, трудиться, помнить предположенную цель, радоваться, что есть дружба, которая меня утешает; словом, писать и жить, как пишешь. Стоить своего счастья, и оно будет наше. Разве мало быть добрым, быть любимым таким сердцем, какого нет другого, быть другом твоим, быть поэтом и писать не для низкого всеобщего одобрения, а для семейства прекрасных людей, с которыми породнишься посредством высоких, не ложных и хорошо выраженных чувств, которые, быть может, останутся и для потомства? Слава, истинная слава! А для меня она выше, нежели для других. Искать, а стало быть любить самое прелестное творение, в лучшие совершеннейшие минуты жизни быть к ней ближе. Брат, еще можно быть счастливым». А затем эти надежды блекнут — и возникают сомнения: «от дерптской жизни не жду ни счастья, ни покоя. Надобно иметь подле себя другие характеры, чтобы иметь и то и другое. Но все заменится милым *вместе*. Так и быть!» — «Что профессорство Воейкова?» — спрашивал он Тургенева (8 ноября 1814 г.), и у него в голове возникает новая химера, что-то похожее на надежду: надежда на содействие государыни Марии Федоровны и Синода — при посредстве Тургенева! «Чтобы заставить тебя действовать, не нужно, кажется, представить твоему воображению то счастье, каким бы твой товарищ наслаждался в жизни. Другого нет! А в этом счастье все — поэзия, слава и жизнь. На Воейкова полагаться нечего: он не имеет характера. Я очень хорошо могу жить с ним вместе, но ждать от него нечего. Это между нами» (1 декабря 1814 г.).

6 января 1815 г. Жуковский отпраздновал в кругу родных годовщину своего возвращения из похода; 6 января следующего года он напоминает о том Воейкову: он едет с ним и Протасовыми:

Воейков, этот день для сердца незабвенный!
Здесь возвращение мое
Ты за год праздновал в родной друзей семье.
Как странник, в круг ее случаев заведенный,
Ты мыслил между нас минуту отдохнуть,
Потом опять идти в свой одинокий путь
С несовершившимся желаньем
И с темным счастья ожиданьем!

Но здесь тебе твое «не дале» рок сказал...
И Провидение здесь всем, что в жизни мило,
Тебя в душе твоей Светланы наградило!
Друг, благодарственный фиал
Незримо, Тому, Кто нам не изменяет,
Который всюду спутник нам,
Который и самим бедам
Всегда во благо быть для нас повелевает!
Ему поверим их! *Ему от нас обет –*
Украсит жизнь Его прекрасный свет,
И быть в кругу Его прекраснейших созданий
Достойным всех Его святых благодеяний.

Следующая строфа, очевидно, обращена к Протасовой:

Вам, милая, наш друг благотворитель,
От счастливых детей мольба в веселый час:
Вкушайте счастье беспечно между нас!
Покой ваш нашего спокойствия хранитель!
С доверием подайте руку нам
И верных ваших чад сердцам
Себя с надеждой поручите;
Их на добро благословите,
А общий жребий свой – оставим небесам.

«Долбинский минутный житель» прощается с Авдотьей Петровой Киреевской и ее детьми:

Друзья, в сей день был мой возврат!
Но он для нас и день разлуки;
На дружбу верную дадим друг другу руки!
Кто брат любовью, тот и в разлуке брат!
О нет! не может быть для дружбы расстоянья!
Вдали, как и вблизи, я буду вам родной,
А благодарные об вас воспоминанья
Возьму на самый край земной!

(«Прощание», 6 января 1815)

В январе или феврале 1815 г. Жуковский писал Маше: «Маша, надобно знать и исполнить то, на что мы решились». Он искренно говорил ее матери о своей идеальной привязанности, просил для себя свободы, доверия; надо сдержать данное слово, ина-

че покоя не будет. И он просит Машу дать ему всю нужную для того «добродетель». «Чего я желал? Быть счастливым с тобою! Из этого должно выбросить только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив *тобою*. Право, для меня все равно мое счастье или наше счастье. Поставь себе за правило все ограничивать одной собою, поверь, что будешь тогда все делать и для меня. Моя привязанность к тебе теперь точно без примеси. Собственно и от этого она живее и лучше. Уж я это испытал на деле: смотря на тебя я уже не то думаю, что прежде, если же на минуту и завернется старая мысль, то всегда со своим дурным, старым товарищем — грустью; стоит уйти к себе, чтобы опять себя отыскать таким, каким надобно». Эта победа над собой утешает его. «Как еще много мне осталось! Не лиши же мне этого счастья! Переделай себя совершенно и будь этим мне обязана! Думай беззаботно о себе, все делай для себя — чего для меня более? Я буду знать, что я участник в этом милом счастье! Как жизнь будет для меня дорога! Между тем я имею собственную цель — работа для пользы и славы! Не легко ли будет работать?» Письмо, прерванное объяснением с Протасовой, сообщает о его результатах: «мы говорили — этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет». Протасова пожелала, чтоб он отложил свой приезд до июля, «потом увидим», пусть даст ей время «сблизиться с Машею, ты нас совсем разлучил». Неужели я эгоист? спрашивает себя Жуковский; и в самом деле: «Чего я хочу? Опять же своего счастья? Надобно совсем забыть об нем... Маша, чтобы иметь полное спокойствие, не должно ли тебе возвратить мне всех писем моих? Ты знаешь теперь нашу общую цель: твоё счастье! Быть довольным собою! У тебя есть Фенелон и твоё сердце. Довольно! Твердость и спокойствие, а все прочее Промыслу!»

В феврале Протасовы и Воейковы поехали в Дерпт, куда явились 15 числа, Жуковский двинулся туда позже, не заезжая в Петербург, как вначале предполагал. Слава откликнулась: его послание к Имп. Александру было прочтено Тургеневым Императрице Марии Федоровне и встречено восторженно; «Государыня потребовала от Уварова и меня сказать ей, что можно для тебя сделать», — писал Тургенев Жуковскому; и друзья «уже придумали», его звали в Петербург¹. В письмах с дороги в Дерпт он говорит о прошлом годе, о положении, которое он отвоевал себе в семье, о желанном «вместе», которое не сулит счастья, потому что

¹ Письмо Тургенева, Русский Архив. 1864 г. С. 448—452; сл. письмо Жуковского к Тургеневу 25 января 1815 г. Москва.

между ним и Протасовой такая «бездна недоверчивости». Такое положение ужасно и выйти из него нет сил, ибо для него нет «отдельного счастья»; «лучше страдать и погибнуть вместе». «Воейков вошел в семью, а я из нее вышел»; Жуковский по-прежнему верит, что Воейков его любит, большая ему подпора. «Не имей о нем дурных мыслей», — пишет он Тургеневу по поводу другого своего письма, где он говорил о Воейкове иное: оно было писано «в дурную минуту»; «вот с какими надеждами я еду в Дерпт» (к Тургеневу 1815 г. 1 февраля).

Друзья заботятся о его положении в Петербурге, о «чинах и кармане», но «мое место знаешь где, и все возможное счастье там же», «этого счастья никто, никогда заменить не может» (к Тургеневу 1815 г. 4 февраля). И счастье снова представлялось ему таким, каким грезилось прежде, и снова он говорил о возможных влияниях на Протасову (сл. письма к Тургеневу от 1 и 4 февраля и 4 марта).

Жуковский приехал в Дерпт в половине марта, с определенной программой, в которую наперед вжился. Он пожертвовал своим счастьем для спокойствия своей Маши, но старое чувство еще вспыхивало. Дерптская жизнь многое изменила, ускорив развязку. На первых порах все, казалось, обещало мир и спокойствие, если верить замечаниям, набросанным Воейковым на страницах «Делилевых садов»: «16-го марта¹ приехал Жуковский»; «от 9-го февраля до 20-го марта был совершенно счастлив Воейков» (следуют за этим подписи: Ек. Афанасьевны, Воейкова, Саша и Маши)². На самом деле Воейков властвовал в семье, овладел Протасовой, преследовал Машу, и та терпела ради сестры, страдавшей от нрава мужа. Еще до приезда Жуковского Екатерина Афанасьевна подала генералу Красовскому надежду на руку Маши, не без влияния Воейкова, как думал Жуковский. У него явилась тогда решимость выступить в роли брата Протасовой, отца Маши. Это было бы невозможно без ее поддержки, пишет он месяца два спустя Киреевской (24 мая 1815 г.). Брак ей очевидно навязывали.

На Воейкова роль Жуковского-отца произвела впечатление, но Жуковского она связала. Он начинает понимать двоедушие своего друга: он с ним искренен «по своему обыкновенному прямодушию», а тот его слова пересказывает. Все это определило положение Жуковского в семье: как в Муратове он не мог по-

¹ Сл. письмо Жуковского к Тургеневу из Крестец, среда 10 марта: «я буду в Дерпте, вероятно, в субботу».

² Сообщение А.Ф. Онегина.

беседовать с Машей по сердцу, только переписывался, так и теперь. «А я готов был на жизнь добродетельную! — писал он впоследствии Киреевской (то же письмо). — Винават ли я, что меня лишили способов и бодрости исполнить то на деле, что сказало мне сердце в лучшую минуту жизни! Так точно в лучшую! Хотя в эту минуту я отказывался от всего совершенно! Чтобы понять это слово „от всего“, надобно нам знать, что я хотел не только переменить свою привязанность к Маше на другую, родственную, бескорыстную, но я был даже готов заботиться о том, чтобы она могла наконец *другому поверить свое счастье* — и в этой заботе было для меня что-то прелестное, несмотря на то, что в иные минуты и возвращалось в душу уныние! Я не давал ему воли, ждал шептуна, и шептун мой возвращался с обыкновенным своим лозунгом: *все в жизни к великому средство!* Что ж делать! И это не удалось! Я уехал не объяснившись». Пусть его считают несправедливым, неблагодарным к Воейкову — этого мнения не переменить; но с Машей надо было расстаться. «Без меня она будет спокойнее. Никто не будет в ее глазах мне делать оскорбительных несправедливостей; а теперь и я, и она не избавлены от опасности нарушить обещанное: нас бы довели неприметно до этого ужасного нарушения, но обвинены были бы одни мы; тогда бы и последнее уважение к себе Маши должно бы погибнуть».

Письмо это резюмирует целый ряд дерптских испытаний. Незадолго до отъезда Жуковский писал Маше из комнаты в комнату (вероятно, в марте). «Расположение, в каком я тебе пишу, уверяет меня, что я не нарушаю своего слова тем, что к тебе пишу. Надобно сказать все своему другу... Маша моя (теперь моя более, нежели когда-нибудь), поняла ли ты то, что заставило меня *решительно от тебя отказаться?*» — Отказаться от своего счастья для ее спокойствия, жить с ее семьей не для частного, а для общего блага, быть ее *отцом*. Самосознание жертвы поднимало его, жизнь, освещенная этим чувством, казалась ему прелестной. И вдруг слова Протасовой: расстаться — ради репутации ее и дочери! Но это придирка! Зачем было вырывать его из деревни? «Там можно было того же бояться, чего и здесь; но в Муратове она решилась возвратить меня, несмотря на то, что в своих письмах я говорил совсем противное тому, что теперь говорю и чувствую. Нет! Эта причина несправедливая!» Здешних толков бояться нечего, прежние пропадут сами собой, да и сам он употребит все усилия, чтобы все привести в порядок. В своей жертве он не раскаивается, но ею он хотел заплатить за счастье быть вместе. Теперь для него жизнь без цены и прелести, вместо

«свободного труда — замены счастья», труд из-за денег, ремесленничество, убивающее энтузиазм. Но «так и быть! *Все в жизни к прекрасному средство!* Но сердце ноет, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили».

Маше хотелось бы внести какой-нибудь мир в эти отношения, обелить в глазах Жуковского даже Воейкова — ради сестры. Жуковский решился уехать. «Милый друг, надобно сказать тебе, что-нибудь в *последний раз*, — пишет он ей 29 марта 1815 г. — У тебя много остается утешения; у тебя есть добрый товарищ: твоя смиренная покорность Провидению. Она у тебя не на словах, а в сердце и на деле. Что могу тебе сказать утешительнее того, что скажет тебе лучшая душа, какая только была на свете, твой Фенелон, которого ты понимать можешь? Я благодарю тебя за то, что ты его мне вчера присылала. Теперь знаю, что у тебя есть неразлучный товарищ, и такой, который всегда умеет дать твердость, надежду и ясность». Он пришлет ей еще и Массильона; пусть это чтение напоминает ей о человеке, который желал быть ей товарищем во всем добром, который обязан ей всем, что в нем есть лучшее, обязан и «самым прекрасным движением сердца, которое решилось на пожертвование тобою». В воспоминании о Маше будут заключены все его «должности»; пропади оно, он все потеряет. Что в жизни может сделаться ужасного — для него собственно? Обстоятельства — дело Провидения; во всех обстоятельствах он будет таким же, как теперь, достойным Маши; «впрочем останемся беззаботны: *все в жизни к прекрасному средство!*». Пусть помнит своего брата, своего истинного друга, который всегда будет стараться жить, как велит его привязанность к ней, теперь более нежели когда-либо чистая и сильная. «О Воейкове скажу только одно слово. Мне ему прощать нечего. Слепому человеку нужно ли прощать слепоту? Но каким же убеждением можно заставить себя верить, что он зрячий? Человек, который имел полную власть осчастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между им и мною ничего нет общего. Ты мне напомнишь: *все в жизни к великому средству!* Дай мне способ сделать ему добро, и я сделаю, но называть белое черным и черным белое и уважать и показывать уважение к тому, что (несколько слов зачеркнуто) — в этом нет величия: это притворство перед собою и перед другими... Я бы желал, чтобы ты написала мне побольше. — Это было написа-

но поутру. *Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось.* Ради Бога, открой мне глаза. Мне кажется, что я все потерял!»

Объяснение с Машей было не последним. 1-го апреля 1815 г. Жуковский извещал Тургенева, что собрался в Петербург, но весь месяц продолжается все та же, постоянно осложнявшаяся душевная страда, и Жуковский поверяет ее своему дневнику, потому что с Машей ему нельзя поговорить откровенно, запрещено и писать друг другу, и если они переписываются тайком, то нарушая обещание. Он погружен в себя, в одну и ту же сферу мыслей, разбирается в них один, повторяясь, возвращаясь, ободряя себя философией своего Теона. Вопрос так ясно было бы решить — диалогически, но это невозможно; вместо того монолог, беседа с собою, обильная, не умеющая остановиться, потому что некому остановить, не с кем потолковать.

Таков характер его записей в «книге», «белой книге», которой он поверял свое горе; отрывки из нее попадали в дневник, который он вел для Маши, в письма к ней. «Моя книга про меня знает, и вот что я написал в своей книге», — и он цитует в дневнике 14 апреля запись из своей книги 11-го того же месяца: он решительно отказался от невозможного для него счастья и переменял свое чувство к Маше на «лучшее, бескорыстное, братское», сберегая спокойствие семьи и решившись «твердо покориться судьбе, или лучше, своей должности». Надо и Машу приучить не любить его «как прежде», а любить как родного, брата или отца, вырвав из своего счастья «все собственное, основанное на одном эгоизме, все, что прежде было общего (несовместного с нашим обещанием)». В чем же будет состоять счастье Маши? Жуковский отвечает на свой вопрос: в ее спокойствии, в согласии с матерью и семьей, в уверенности, что и он счастлив настоящим, работой, дружбой, одобрением сердца; наконец в «свободе сердца» и, «если так быть должно, еще и в замужестве по сердцу, то есть, чтобы с другим иметь то, что надеялась со мною». И в этом он желает быть — участником. «Та минута, в которую, для этой цели, я решился пожертвовать собою, была восхитительна, но это чувство восхищения часто пропадает, и я прихожу в уныние. Что нужды! Не должно терять бодрости!»

Афоризм Теона толкуется теперь так: «Самая трудность, самое страдание есть средство к прекрасному»¹.

¹ Тот же отрывок записи 11 апреля цитует Жуковский и в письме к Маше 25 декабря 1815 г., но под 12-м апреля.

Здесь примыкает апрельский дневник Жуковского, назначенный для Маши¹. В заголовке четверостишие:

Und trennen uns gleich Meer und Land,
Vereinigt uns doch Freundschaftsband,
Und fester knüpft nach *kurzer Zeit*
Es einst die Ewigkeit.

[Если и разлучат нас море и земля, нас все же соединят узы дружбы, и однажды, *уже скоро*, их еще крепче завяжет вечность. (нем.)]

Под четверостишием: «Дерпт, апреля 14-го», под ним нарисован столб с прикрепленным сбоку фонарем, от которого идут лучи.

«Милый друг, поняла ли ты то чувство, которое меня решило к тебе написать: позволь мне от тебя отказаться и самому найти человека, который бы мог сделать тебя счастливою!» Три письма 14, 15 и 16 апреля лихорадочно следуют друг за другом все на ту же болевую тему. Оказывается, Маша многого не поняла. Жуковский героически решился не только перевоспитать свое чувство в братское, но перевоспитать в этом смысле и Машу. Задача трудная, требовавшая взаимной поддержки, а их разделяли, не позволяли ходить вместе в церковь, и Жуковский считает «хорошим знаком», что горшок цветов, принесенный им Маше, не был принят в дурную сторону. Каждый думал свою думу про себя, и они стеснялись в присутствии друг друга: она уходила, чтобы давать ему «грустные минуты с маменькой», он старался представляться спокойно равнодушным, и ей казалось, что он «все забыл», что она ему «в тягость». Тут вмешался Воейков. Мы знаем, что Жуковский решился на крайний подвиг самоотречения, готов устроить счастье Маши — с другим, без насилия с чьей бы то ни было стороны. Об этом он написал что-то в альбом Воейкова, а тот ответил ему стихами в его альбом — на тему «что надобно исправиться, решиться на перемену образа чувствовать». В присутствии Екатерины Афанасьевны Жуковский побранил Воейкова за эти стихи, в которых он хвалился своею к нему дружбою, глядящей «против шерсти», лишь бы сказать правду. Когда же говорил он ему такую правду? А третьего дня, отвечал Воейков, — как раз «тот день, в который я написал ему в альбоме. Черта негодная!» И Жуковский напоминает Маше, как

¹ Из тетрадок дневников, принадлежащих А.Ф. Онегину.

Воейков ее «так нежно утешал, говоря, что я не хочу тебя любить, а хочу только поскорее выдать замуж — и ты даже считала нужным, в угождение мне, кинуться первому на шею!» Вся душа готова была у него вспыхнуть при воспоминании о Красовском. «Я никогда не говорил Воейкову, что ты мне говорила о Красовском — он солгал, он поступал с тобою, как полицеймейстер с колодником».

Надо ехать, все кругом ведет к тому, чтобы ослабить наши чистые намерения, «как же за себя ручаться? После такого решительного обещания изменить себе не будет ли ужасным несчастьем, которое отравит всякую минуту жизни! Один дурной шаг — и прости спокойствие! Излишней на себя надежды иметь не должно и в хороших обстоятельствах... Прежде мы иное себе позволяли, потому что не давали слова переменить свои чувства, а теперь, обещав это, и в самом сердце должны согласоваться с обещанным».

Письмо кончается просьбой все это переписать в «прежнюю голубую книжку», «то есть страница твоя, страница моя. Себе не так верю, как тебе. А то, что скажешь мне, то будет свято: я буду тогда тверд и все исполню... Вот тебе и тетрадка, в которую переписать. — Назначить правила обхождения с каждым, особенно, с маменькой, Воейковым, тобою — и собою».

Маша откликнулась. «Милая моя волшебница! Прочитав то, что ты мне написала, я стал весел, бодр, горя и следа нет, — писал он в дневнике 28 апреля¹. — Между тем мы с тобою расстанемся! Что будет вперед, неизвестно, но нам теперь до *будет* дела нет: настоящее и прошедшее — вот наше. А оно у нас есть и, право, самое богатое». Как прежде Маша, так он теперь готов пожалеть о тех, которые им вредят или вредили — они несчастнее их. «Я говорю *те*; нет, это несправедливо: *тот*». Письмо Маши помирило его с маменькой. «Я опять чувствую к ней нежную благодарность — она за тебя заступилась. Мой отъезд свяжет это крепкими узлами, и она будет самым усердным твоим защитником... Прочитав твое письмо, я сошел вниз и от души пожал ей руку: она несчастна!» Теперь Маше легко быть с ней искренней; удалившись, он сам станет дороже Екатерине Афанасьевне, и она отдаст им должную справедливость. «Мысль, что она тебя защи-

¹ Между письмами к Маше 16 и 28 апреля хронологически помещается выдержка из белой книги под 22 апреля, включенная в письмо к Маше от 25 декабря: «не должно оставаться в Дерпте» и т. д. Жуковский говорит о своем обещании «помочь выдать Машу замуж», только боится стать рабом своего обещания: его советы и противоречия будут перетолкованы, не сдержат слова, его же обвинят.

щает, дает мне большое спокойствие, привязывает меня к ней, и в эти два остальные дня, которые пробуду я с вами, мне будет легко ее любить». «Наше прекрасное для нас теперь в разлуке, — утешает он Машу, — она нам все возвратит, и спокойствие, и свободу чувства, желание прекрасного, энтузиазм, доверенность друг к другу и к себе самим; вместе нам не дадут воспользоваться нашим средством к прекрасному, оторвут руки, если мы их к нему протянем».

Жуковский вспомнил, как в дневнике 28 июня 1814 года¹ он определял «удовольствие воспоминания», и привязывает к нему то, что мы могли бы назвать, вместе с ним, «философией фонаря». Он записал ее где-нибудь в своей «белой книге», вносит ее теперь в письмо к Маше, два дня спустя (30 апреля) в альбом Воейковой; и позже он воспользуется, в целях поучения, тем же текстом.

«Я когда-то написал: счастье не состоит из удовольствий простых, следующих просто одно за другим, но из удовольствий с воспоминанием. Эти удовольствия сравнил я с фонарями, зажженными на улице ночью — между ними есть пустые промежутки, но эти промежутки освещены, и вся улица светла, хотя не вся составлена из света. Так и счастье тоже. Удовольствие — фонарь, зажженный на дороге жизни, воспоминание свет, а счастье — ряд этих прекрасных воспоминаний, которые все сливаются в одно общее, тихое, ясное чувство, и которые всю жизнь озаряют. Чем чаще фонари, тем светлее дорога. Я сказал: надежда лишнее! Лучше сказать: надежда пустое, вредное слово. Это слово имеет прелесть для одной неопытности, для которой эта прелесть заключена в непонимании этого слова. Что такое надежда? Ожидание чего-то в будущем, всегда неясное, часто беспокойное. Часто и всякое такое ожидание более вредно, нежели полезно: оно всегда уничтожает настоящее: если весело, то делает к настоящему по крайней мере равнодушным, если печально, то его отравляет. Позабудем о будущем, чтобы жить, как должно. Милый друг, пользуйся настоящею минутою, ибо она только есть средство, и самое верное, к прекрасному. Зажги свой фонарь, не заботясь ни мало об тех, которые удастся зажечь после. В свое время ты оглянешься, и за тобою будет прекрасная, светлая дорога; между настоящею минутою и неизвестным пределом жизни поместим не *надежду*, а *Провидение*. Переходя от одной хорошей минуты к другой, нечувствительно дойдем до

¹ Сл. выше с. 172.

этого предела, за которым верное, прекрасное будущее. Об этом будущем можно думать без сомнения — оно не мешает жизни, но здешнее будущее есть настоящий враг всего прекрасного. Что в нем? Приходит ли оно когда-нибудь таким, каким мы его себе воображаем? На что же ему верить и об нем заботиться? А прошедшее пускай идет с нами рядом. — *Il ne faut pas s'avancer dans la vie en detournant la tête, mais il ne faut pas du tout attacher ses yeux sur un lointain incertain! Tout cela empêche de voir autour de soi* [Не следует идти по жизни, отвернувшись, но не нужно и приковывать свой взгляд к неясной дали! Все это мешает видеть вокруг себя. (франц.)]. Надобно иметь в прошедшем верного, доброго товарища настоящему. *Для сердца прошедшее вечно...* Поверь, что мне всегда будет хорошо в Петербурге, в Долбине, в тюрьме — только не здесь». Петербургской жизни бояться нечего — там настоящие мои друзья, есть люди, имеющие обо мне хорошее мнение, надо только поддержать его. «Я не буду искать многого, следовательно и трудного писания не будет. А Тургенев? Нет, не бойся ничего. Я буду работать с энтузиазмом... Где бы я ни был, у меня будет хорошее настоящее... Хорошее — не значит счастливое, значит более — доброе. То же и для тебя!.. Одно только условие: не дай собой пожертвовать!»

«Видишь ли, мы можем доказать друг другу, как геометрическую задачу, что для нас разлуки нет!.. Разлука — условие соединения! Одинакая здешняя жизнь — приготовление к одинакой вечности! Ничто не пропало! Все лучшее наше! Где бы я ни был, везде свет Божий, везде настоящее наше и может быть прекрасно. Можно даже иногда подумать, что и то будущее началось для нас здесь: разница между той и здешней жизнью только в том, что здесь могут быть горы и леса между нами, а там нет этого непроницаемого пространства. Все остальное для нас и здесь то же, как и там! Что же унывать! Жизнь прекрасна! Прости!»

В Петербурге он попал в «кипящий свет»; много старых и новых знакомств, много для него на свете «прекрасного и без всякой надежды», пишет он Киреевской (12 мая 1815 г.), которой рассказывает в другом письме (24 мая)¹ об обстоятельствах, принудивших его покинуть Дерпт. В Петербурге «имеют обо мне, как бы сказать, большое мнение»; он представился Императрице и великим князьям, но о будущем старается не думать. «Для меня в жизни есть только прошедшее и одна настоящая минута, которую пользоваться для добра, если можно — *зажигать свой*

¹ Сл. выше с. 191.

фонарь, не забываясь о тех, которые удастся зажечь после». Его тянет на родину, в семью, в Долбино.

Вероятно в Дерпте и в эту пору петербургской жизни Жуковский принял за перевод Dräseke, Glaube, Liebe, Hoffnung [Вера, Любовь, Надежда. — нем.] (Lüneburg, 1814). Это для него характерно; перевод начат на бумаге, приплетенной к брошюре. На лицевой стороне книжки четверостишие (Начало: «Мой друг бесценный, будь спокойна»), подписанное: мая 12, 1815 г.; зачерчен — силуэт Маши¹.

26 июня 1815 г. у Воейкова родилась дочь; этим днем помещено стихотворение Жуковского, посвященное его крестнице, Е.А. Воейковой, и он снова в Дерпте. «Я получил два твоих письма, милой друг, — пишет он 19 июля 1815 г. Тургеневу. — Коротко, да прекрасно. Мне кажется, что ты все сказал мне (что мог сказать) в этих двух словах. Ей (Маше) и тебе скажу одно:

How dear the dream: in darkest hours of ill
Could all be changed, to find thee faithfull still.

[Какой дорогой сон: в мрачнейшие часы болезни все могли измениться, а ты оказался по-прежнему верным (*англ.*)]

Но это вовсе не dream, не сон, толкует Жуковский, применяя стихи к верной дружбе Тургенева; о своих личных делах он пока не пишет: какой-то туман висит у него на уме и на сердце. В приписке к письму Уварова от 29 июля Тургенев вызывал Жуковского в Петербург, чтобы исполнить желание Императрицы, «но если жертва, которую ты должен принести нетерпению Государыни, дорого тебе будет стоить, то не приноси этой жертвы;

¹ Книга эта находится в собрании А.Ф. Онегина вместе с другими, принадлежавшими Жуковскому, который оставил в них свои заметки, следы впечатлений, нередко имеющих биографическое значение. Укажу на экземпляр «Новой Элоизы», к которой Жуковский отнесется отрицательно (сл. письмо к И.И. Козлову 27 января / 8 февраля 1833 г.), на La Russie et les Russes Н. Тургенева, на Hume, Essai philosophique с поправками по английскому тексту. — Другой экземпляр книги Дрезеке перешел от П.И. Полетики в библиотеку графа В.П. Завадовского и позже к В.В. Голубцову; на внутренней стороне доски переплета этой книги наклеены два листка бумаги, один над другим; на верхнем написано: «Очарованному Челноку от двух Светлан, Арзамасской и настоящей 1823 г., 18 декабря. С.-Петербург». Очарованный челнок было арзамасское прозвище Полетики, Светлана — Жуковского, настоящая Светлана — Воейкова. На нижнем листке рукою Жуковского написано: «Вот тебе вера, надежда и любовь, прими их из рук Светланы, и пускай они сопутствуют повсюду Очарованному Челноку». Сл.: «Русская Старина» 1883 г. Сентябрь. С. 626.

лови день там, где твое солнце»¹. «Что ты говоришь мне о жертве и о моем солнце? — отвечает ему Жуковский (1 или 2 августа). — Разве я поехал сюда с тем, чтобы греться подле моего ясного солнца? Нет, брат, оно яснее для меня, когда я от него далее. Тогда оно одно только для меня видно, и ничто противное не темнит его милой ясности. Здесь я не должен глядеть на него свободными глазами; здесь душа, мысли и чувства сжаты. Уехать отсюда не будет для меня жертвою; напротив, здесь остаться было бы жертвою, жертвою всего, что мне дорого, лучших своих чувств. Не говорю уже о надеждах, их нет, да они и не нужны».

Письма к Киреевской от 30 июля и 2 августа характеризуют ту обстановку, из которой бежал Жуковский. «Вспомните, *что* я обещал и *что* заставило меня сделать обещание и что я надеялся получить за него. Обещание это помнят; побудительной причины никто, кроме меня и Маши, здесь не знают; а ласкою думают все сделать. Но при этой ласке положение то же; одни только формы переменялись»; с Машей он по-прежнему розно, сидит в своей горнице за работой, с семьей видится только за обедом и чаем. Эта внешняя ласка его бесит. «Здесь всякий день записывают то, что делается; и я пишу в числе прочих. Вот что написала тетушка в одном месте: «Доброй мой, несравненно драгоценной мой Жуковский опять дает мне надежду на прежнюю дружбу, опять вселяется в мое сердце спокойствие и уверенность на ангельские связи на земле». Где же эти ангельские связи на деле? спрашивает Жуковский; он знает, что у Протасовой есть к нему дружба, но ее действие ничтожно, а надежды он никогда не отымал. Надо уехать, вдали от Маши он будет ближе к ней, чем здесь, лишь бы независимость, он полетел бы к родным в деревню; там поживет у него многое, что в короткое время петербургской жизни успело завянуть: те grands projets, которые строят для него приятели, не готовят ли ему неволи? Жуковский раскрывает письмо для оговорки: он напрасно обвинял Протасову, желал невозможного; вина в обстоятельствах, не в ней; «она так же достойна сожаления, как и я».

«На свете много прекрасного и без счастья», — повторяет он свою любимую фразу в письме к Тургеневу (4 августа), т.е. без счастья с Машей. Есть счастье другое: «Душа добродетельная наслаждается, т.е. любит с чистотою и бескорытием; душа просвещенная судит себя и все, что ее окружает; истина дает прочность наслаждению, великие мысли совершенствуют великие чувства!»

¹ Русский Архив. 1871 г. С. 0165.

Произведение всего этого есть счастье. Помнишь ли, что говорит Миллер? Lesen ist nichts, lesen und denken Etwas, lesen, denken und fühlen – die Vollkommenheit [Читать – ничто; читать и думать – уже что-то; читать, думать и чувствовать – вот совершенство. (нем.)]. На место lesen поставь leben». Жить и чувствовать.

14 августа на празднике дерптских студентов профессор Эверс побратался с Жуковским, и он в восторге, поцеловал «братскую руку» идеального старца, который «с нежностью» его «благословил».

О, сладкий жар во грудь мою проник;
Когда твоя рука мне руку сжала,
Мне лучшею земная жизнь предстала.

Жуковский всюду открывал друзей, так и теперь на студенческом фукс-коммерше студента Зейдлица, впоследствии его приятеля и восторженного биографа. На другой день после праздника в прогулке за городом при заходе солнца он вспомнил «о небом данном брате». «Я часто любовался этим стариком, который всякий вечер ходил на гору смотреть на захождение солнца. Заходящее солнце в присутствии старца, которого жизнь была святая, есть что-то величественное, есть самое лучшее зрелище на свете. Я написал стихи к „Старцу Эверсу“... они должны быть дерптские повторения моего Эсхина и Теона. В обоих много для меня добра»¹. Программа жизни, в сущности, одна и та же, там и здесь:

«Не унывать, хотя и счастья нет;
Ждать в тишине и помнить Провиденье;
Прекрасному текущее мгновенье,
Грядущее – беспечно небесам;
Что мрачно здесь, то ясно будет там;
Земная жизнь, как странница крылата,
С печалью от гроба улетит;
Что было здесь для доброго утра,
То жизнь ему другая возвратит!»
Вот правила для Эверсова брата.

«Человек не должен быть несчастлив, если только он может быть добрым, – писал Жуковский своему „двадцатилетне-

¹ Из письма к Киреевской 16 сентября 1815 г из Петербурга; Сл.: Шевырёв, О значении Жуковского в русской жизни и поэзии, примечание 43. Стихи «Старцу Эверсу» написаны дня за два до отъезда Жуковского (то же письмо), но о них говорится уже в письме к А. Тургеневу, которое издатель отнес к половине августа.

му Эверсу” – Маше. – Эверс один на свете и беден... Вспомни Эверса и скажешь себе, что бедности нет на свете» (15 апреля 1815 г.).

Жуковского по прежнему манила уединенная, занятая жизнь, следственно не петербургская и не дерптская¹. В Петербург он уехал 24 августа, едва ли так прочно утвердившись в своем новом понимании счастья, как он уверял себя. В письме к Киреевской, в котором он вспоминал о своем братаньи с Эверсом (16 сентября 1815 г.), он знакомит ее с впечатлениями Петербурга: его бросает «из мертвого холода в убийственный огонь, из равнодушия в досаду», но были и приятные минуты там, где он их не ожидал: во дворце царицы, где читали его баллады, «Певца» и «Послание». Он тронут вниманием, добродушной лаской, далек от суетного честолюбия, но благодарность навсегда останется в его душе; «можно без всякого беспокойства предаваться простому, чистому чувству». В Дерпт он не вернется, «быть рабом и, что еще хуже, сносить молча рабство Маши – такая жизнь хуже смерти». Он так недавно рассуждал о вредной прелести надежды – и снова толкует с Протасовым и Нелединским о степенях своего родства с Машей; Протасов не нашел в них препятствия к браку, и, по просьбе Жуковского, написал об этом сестре².

К тому же времени относится, судя по указанию на письмо Батюшкова³, и следующее, адресованное Киреевской: «здесьняя жизнь мне тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь... *И воображение побледнело* – так пишет ко мне и Батюшков. *Поэзия отворотилась*. Не знаю, когда она опять на меня взглянет... О Дерпте вам не хочу писать ни слова. Лучше говорить, нежели писать. Но когда же удастся говорить? Авьось!.. все еще авьось!» Он любит теперь «поэзию, как милого человека в отсутствии, о котором беспрестанно думаешь, к которому беспрестанно хочется, и которого все нет, как нет»; живет уединенно, неспособен заниматься, какая-то жестокая сухость, ужасная охладелость ко всему залетела в его душу, жизнь давит и душит. Доброго настоящего у него здесь нет и быть не может, занятий нет, а «неприятное, неоживленное никакою привязанностию рассеяние самым тяжелым образом отвлекает нас от всякого воспоминания». Не будь окружающего его «морозного» настоящего, многое из старого могло бы возвратиться; «я говорю многое, всего не хочу». Такое настоящее, посвященное «прекрасному делу мысли, чувству»,

¹ Письмо к Тургеневу, вторая половина августа 1815 г.

² Сл. письмо Жуковского к М.А. Протасовой 28 ноября 1815 г.

³ «Август, числа не знаю 1815 г.», из Каменца. Сл. соч. Батюшкова II, 345.

он нашел бы у своих; там и надежда на будущее не будет беспокоить, надо только представить себе «такое будущее, которое верно, т.е. не здешнее; будем думать о нем, как о добром друге, с которым увидимся непременно, но когда и где — неизвестно». В иные минуты дух Божий налетит на него, он чувствует себя на вершине горы и только что готов закричать: Вот Кашмир! как все становится темно по-старому. «По крайней мере я редко позволяю себе грешить мыслями. Если чувство молчит, то по крайней мере мысль холодным языком своим повторяет по складам то, что иногда прекрасное чувство представляет в блестящей, очарованной картине. Иначе оно и быть не должно. И прекрасные чувства, как *фонари*, и между ними должны быть промежутки. Пускай же эти промежутки наполняет рассудок»¹.

«О себе скажу вам, что я до сих пор все ездил из Дерпта сюда, отсюда в Дерпт», — писал он Прокоповичу-Антонскому из Петербурга 15 октября 1815 г.; а в другом письме: «Вы ждете от меня послания. Дайте мне уехать в свою сторону — оттуда буду писать послание с вольным духом. Здесь как-то муза моя оледенела. Давно нет от нее никакого слуха. Молчит весьма упрямо. По-сылаю вам единственный плод ее, стихи, сделанные по заказу, хоть петые на празднике Семеновского полка и написанные по просьбе офицеров. Писать было приятно, но написанное худо, потому что не было времени. Чем богат, тем и рад»².

Письмо Протасова было последней попыткой Жуковского устроить то, от чего он видимо отказался и чего по-прежнему вожделел. Очень вероятно, что именно это письмо и произвело в семье Протасовых и Воейковых переполох, побудивший Машу к решению, глубоко поразившему Жуковского.

Профессор Мойер, которого он знал за человека честного, с прелестной душой, уже сватался однажды за Машу, но ему было отказано; теперь Маша писала Жуковскому, как отцу, от которого она ждет своего счастья и спокойствия: она хочет выйти за Мойера, знает его благородный и возвышенный образ мыслей, с ним она найдет покой. Она понимает, чем жертвует, но что и приобретет: потеряет свободу только по виду, но приобретет право не скрывать святой, нежной дружбы к Жуковскому; она всего ждет от времени, а маменьке подарит двух друзей. Жуковский будет ей утешителем, другом, братом, он будет жить с матерью и Сашей, «этими двумя ангелами»; и Воейков станет «лучше и добродетельнее». Это повлияет на счастье Саши. Воейкову она ничего еще не

¹ Русский Архив. 1864. Вып. 4. С. 458 и сл.

² Русский Архив. 1902. Май. С. 137–138.

говорила о своем решении, знает, что у Жуковского есть причины на него жаловаться, но пусть простит ему и оплатит добром ради сестры; она даже просит его похлопотать о Воейкове в Петербурге, куда тот скоро явится, помирить его с Кавелиным (8 ноября 1815 г.). С Воейковым она говорила, сообщается в короткой записочке от 22 ноября: он недоволен, боится, что Жуковский вообразит его причиною всему; не думай этого: «я, одна я решилась». Эк.Аф. Протасова с своей стороны просила Жуковского ответить поскорее: «Сердце мое раздирается, когда я о тебе думаю, но я знаю твое благоразумие. Друг мой, напиши ко мне все, что у тебя на душе; я уверена, что ты способствовать будешь счастью тех, кто тебе так дороги, и для кого ты бесценен» (25 ноября 1815 г.).

Отвечая Маше, Жуковский пытается серьезно сыграть роль отца, не эгоистически взвешивающего решение дочери. Он не верит, чтобы это решение было свободно: ее побудила к тому тяжелая семейная обстановка, упреки, грубости Воейкова; от нее требуют жертвы, которую приносят под видом счастья, потому что опасаются его, Жуковского. Эта мысль отравит всю его жизнь. Не Маша ли клялась ему перед Богом, что выйдет замуж по свободному выбору, не по приказанию? Они так недавно расстались, он и маменька знают «расположение» ее сердца — а тут брак с Мойером, стало быть, разлука с семьей! Не она ли говорила, что для нее не надо другого счастья, кроме свободы, неразлучности с маменькой и свободы в семье? Брак с Моейром ей навязывают, в него тащут насильно; Мойер прекрасный человек, Жуковский любит его и уважает, он способен дать Маше счастье, но она его почти не знает, надо к нему привыкнуть, присмотреться, «привязаться к нему сердцем»; «год может все заставить забыть» — и он, Жуковский, будет рад. *«Дело идет не о страсти — ты ее никогда не имела и не дай Бог иметь!»* Что маменька ни говорила и ни писала обо мне, но я никогда не имел ее; но зато имел нечто лучшее: уверенность в своем счастье, привязанность совершенную, привычку думать об одном и все к одному относить. Милый друг, *это не страсть»* (27 ноября 1815 г.).

Он виделся с Воейковым, и тот подтвердил, к его изумлению, будто, выйдя замуж, Маша надеется подарить матери двух друзей; «пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга — этим не заманишь меня в ее семью», — пишет он на другой день (28 ноября). Воейков рассказал ему в Петербурге, что мать требует ее замужества, а Маша готова пожертвовать собой для общего счастья, между прочим для того, чтобы Жуковский мог жить с ними (к М.А. Протасовой 25 декабря 1815 г.).

Все это усилило его подозрения; он не противился браку, просил только повременить; его письма к Эк.Аф. Протасовой, по-видимому резкие, не сохранились¹. От письма Маши к нему (6 декабря 1815 г.) дошли отрывки не всегда согласные между собой, потому, быть может, что, цитую, Жуковский не всегда заглядывал в текст: он послал копию этого письма к Киреевской, перемежая его своими возражениями, и сам комментировал его в своем ответе Маше (25 декабря). Маша писала ему, что обстоятельства побудили ее поговорить с матерью о браке, чтобы иметь в Моейре друга и покровителя. «Ты упрекаешь меня, что я забываю себя для других. Уверяю тебя, что в этом случае я думаю только о себе. У меня *нет страсти к Моейру*, но уважение, доверенность, дружба, которую я к нему питаю, достаточны для того, чтобы сделать нас счастливыми... Я воображала найти спокойствие, перестать быть в тягость одним, перестать быть вечною причиною слез других, и все это без того, чтобы отказаться от них навечно». Мойер обещал ей не разлучать ее со своими: «это одно из невозможных идеальных блаженств»; они будут жить не в одном доме. Ни маменька, ни Воейков не полагали для ее брака никаких сроков; может быть, его и отложат, может он состоятся и ранее, все зависит от обстоятельств; она ничего не хочет обещать, на это у нее важные причины, у ней одной. Она наперед была уверена, что Воейков будет против брака не потому, что боялся бы для нее несчастья, а потому что родные и знакомые могут заключить дурно о нем. «Он обещает мне спокойную жизнь, говорит, что я бегу от его бешенства; он говорит неискренно». Она не понимает, как может Жуковский так менять свои взгляды: не он ли, видя ее прежнюю жизнь, советовал ей выйти замуж? И это за три дня до его отъезда? «Я иду замуж не для того, чтобы бежать от Воейкова, а точно для того, что люблю Мойера. Я не могу страдать за всех и видеть себя всему причиною»; она готова упрекнуть себя даже за свадьбу Саши, это она ее сделала. Никто не принуждает ее идти за Мойера, она желает этого сама, хотя надежды ему никогда не давала; отсрочка свадьбы ничто в ней не переменит, и Жуковский ошибается, думая, что она обманывает Мойера и сделает из него «еще несчастного человека». Мойер узнает от нее, что она может дать ему, а ее чувства к Жуковскому так невинны, что она готова объявить их перед целым светом. Пока ей запрещено было показывать их, теперь иное дело: она уверена, что Мойер позволил бы ей любить Жуковско-

¹ Сл. ответное письмо Эк.Аф. Протасовой 6 декабря 1815 г. и ответ Жуковского 11 декабря 1815 г.

го, как брата, как она и теперь его любит. Она будет счастлива, завися от человека, которого уважает, которому хоть немного дорога; он даст ей тихую, независимую жизнь, она посвятит ее ему, а Саша перестанет иметь огорчения, страдать из-за нее, из-за обращения с нею Воейкова. Воейков хочет казаться уверенным, что Машей пожертвовали, и вместе боится, как бы не обвинили его – и Маша просит Жуковского написать ему, что обвинять его никто не станет, что сам Жуковский желает ее счастья. А за счастье поручкой «прелестная душа Мойера»; на согласие Жуковского она надеется; «Ради Бога не заставь меня раскаиваться в том, что я люблю тебя, как брата».

Жуковский привязывается к каждому слову письма, не верит ему и, вживаясь в новое положение, которое сам приготовил и которое застало его врасплох, отстаивает только право своего чувства и – чувства Маши? В заметках для Киреевской, которыми он сопровождал письмо Маши, постоянно встречаются выражения: «можно ли совершенно забыть прошедшее? Можно ли поверить, что она вдруг могла забыть его?» «Можно ли вообразить, что сердце ее вдруг и совершенно успокоилось?» Он не верит внезапной привязанности к Мойеру; «я еще не потерял ни памяти, ни чувства! Или все прошедшее надобно считать за обман и призрак?» Что несчастнее супружества «против воли, с тайным чувством к другому, с необходимостью скрываться?» Может ли он «этого не бояться, помня прошедшее?» Он и прежде готов был уступить счастье Маши другому и в письме к ней не отрицает, что советовал ей выйти замуж; но этот совет вырвался у него в минуту огорчения. Одно место в этом письме особенно характерно. Маша писала ему, говоря о своем замужестве с Мойером, что она «всего ждет от времени». Для кого? спрашивает Жуковский: для себя, чтобы полюбить Мойера, или для него, чтобы он мог успокоиться? Будь же искренна: прежде, когда мы были привязаны друг к другу одинаково, тебе толковали беспрестанно, что такая привязанность недозволена, и ты могла «переменить не только твой образ мыслей, но и самое твое чувство». Я не переменялся; «может быть, ты боялась показать мне твою собственную перемену! Ты щадила меня и хотела избавить от нового несчастья! Милая, ты ошибалась!.. Если моя привязанность к тебе казалась тебе заблуждением, если для тебя же самой этого заблуждения не было, для чего не говорила ты мне ясно и решительно? Вот еще несчастье, которого причиною было то принуждение, в каком я и ты жили в одном доме. Никто так убедительно, как ты, не мог мне доказать моей обязанности

и так совершенно переменить моего сердца. Такое открытие не прибавило бы к моему несчастью, но только указало бы мне мою должность. Может быть, в первые минуты сердце бы взволновалось, но оно бы скоро, скоро с тобой согласилось! Я в этом уверен! Уверен по тому чувству, которое нахожу теперь в себе». Он просит ее быть с ним искренней; неужели она могла думать, что он захочет сохранить чувство, которое бы сделало ее несчастной, питать его? *«Я только думал, что оно в тебе было. Оно и было, но прежде!»*

Это объясняет крик сердца, которым кончается его письмо к Маше при отъезде из Дерпта: «Маша, откликнись!.. Открой мне глаза. Мне кажется, я все потерял!» И вместе с тем мысль о спокойствии, счастья Маши перебивает это настроение: как бы он рад был дать ей это счастье! Мойер позволит ей любить Жуковского как брата, писала ему она: «Милый ангел! И тут она думает обо мне! — комментирует он эту фразу в письме к Киреевской, — ей нельзя не любить меня, и чем более она будет счастлива, тем более должна меня помнить! Лишь бы не так, как прежде! Лишь бы теперь не было прежним!»

Маша спрашивала его (письмо 6 декабря 1815 г.), почему он сам не приедет, не осмотрится; тогда он уверился бы, что она говорит правду. И он сам готов напроситься на приезд. Когда-то ему казалось, что счастьем Маши было остаться в семье, лишь бы она была спокойна, свободна; теперь оставаться ей там невыносимо. Принуждают ли ее обстоятельства выходить из нее, или она идет по воле? Он не может поверить, чтоб «она теперь согласна была с этим в сердце», но не будет перечить, если найдет в ней то чувство к нему, какого теперь желать надобно и которого он никак не предполагал. И он едет решившись, проникнувшись сознанием долга, произвольной жертвы. Это сознание поднимает его, он хочет, чтобы Киреевская, его друзья в этом участвовали, отдали бы ему справедливость (к Киреевской 30 декабря 1815 г.). Недаром поминает он позже слова Карамзина: «нам должно думать не о совершенстве действия, а о совершенстве одной воли! Действия не зависят от человека, но воля есть человек» (Киреевской 19 февраля 1816 г.).

В январе 1816 г. он провел несколько недель в Дерпте, убедился и все устроил. Маша не обманывала его, идет замуж «из уверенности, что все будет лучше»; с Мойером он сблизился, они будут «верные товарищи», Маша, он и Мойер составят *«тесный триумвират, которого цель есть общее счастье»*. Это счастье он хочет «состряпать» вместе, надо только чтобы Маша привязалась

к будущему мужу, говорит он себе; Маша привыкает, «и все, что было, не пропадет для нее и только сольется с тем, что есть, в одно ясное, спокойное чувство»; но всякий раз, когда он замечает признаки замечающейся близости, для него наступают «тяжелые минуты», выскакивают порой, как пузыри, «маленькие безобразные уродцы, которые называются желаниями для себя», но лопаются; точно в нем является и бурлит к вечеру другой человек: «думаю, что он живет в желудке. Но он связан крепкими кандалами и осужден умереть с голоду — и он умрет непременно».

Екатерина Афанасьевна успокоилась, и хотя не совсем входит в чувства Жуковского и не понимает их, но допустила свободные беседы с Машей. Бешенствовал один Воейков; он и раньше мучил всех, грозя самоубийством, дуэлью с Мойером, будто заступаясь за Жуковского, на самом деле он заступался не за него, а за неограниченную власть, которой, благодаря слабости Протасовой, он пользовался в семье и которая ускользала из рук. Эти сцены прекратились с приездом Жуковского: в его руках была репутация Воейкова, его связи с друзьями. Жуковский не изменил своей «прекрасной цели»; прекрасна вся жизнь, несмотря на нарушающие ее порядок болезни; поэзия — громоотвод: даже все печальное в его судьбе теперь не убийственно и близко своей породой к бессмертной музе! *«Поэзия, идущая рядом с жизнью, товарищ несравненный!»*¹

В апреле 1816 г. Жуковский был снова в Дерпте и, за исключением нескольких поездок в Петербург, пробыл там целый год: ему хотелось вдвоем с Мойером «состряпать» счастье Маши, пожить утопией платонического «ménage en trois» [любовь втроем (*франц.*)], напоминающего отношения Гёте к Шарлотте и Кестнеру. Гёте освободился от них поэтическим актом, создав Вертера; для Жуковского они были испытанием, страдой воли. Не правда ли, «мое положение одно из самых необыкновенных», писал он в феврале или марте 1816 г. Киреевской, получив от Мойера письмо, в котором он говорил ему о Маше. «Мое положение необыкновенно, — повторяет он (Киреевской 12 апреля 1816 г.), — но я себя совсем не понимаю; мне до сих пор, с самого моего сюда приезда, не хорошо с самим собою», не потому, чтобы его тайное чувство было в противоречии с поступками, а есть такие «комары жизни», которые не дают наслаждаться ее прекрасным днем. Кругом него много нерешительного, та же при-

¹ Сл. письма к Киреевской 30 декабря 1815 г., к ней же и к родным в Дерпт января 1816 г., к Киреевской 19 февраля 1816 г., к родным в Белёвский уезд после 19 февраля или в марте. «Русская Старина» 1883 г. Август.

нужденность; ни он, ни Мойер этим недовольны, а с ним он совершенно согласен в образе мыслей и чувств и свободно говорит об «общем деле». — Затем все как будто уладилось.

«Будь на мой счет совершенно спокоен. Я теперь точно таков, каким мне быть *должно*, и это не стоит мне никакого усилия».хлопот еще будет довольно, «но могу только поручиться за одну добрую волю свою и буду, помня слова моего евангелиста, то есть Карамзина, думать только о том, чтобы ее совершенствовать, оставляя все прочее на волю Провидения... Жизнь — искусство. И вот два правила, которые едва ли не ко всему пригодятся: *Совершенствуй волю, все в жизни к прекрасному средство*»¹. Сам он оживает², все идет, как должно, он даже начинает писать, и теперь «стихи, то есть хорошее», льются из души³. «Все идет очень хорошо. Я теперь уверен, что Маше будет возможное счастье»⁴.

Синхронизмы бывают интересны. Мы знаем со слов Жуковского, как жилось в семье Воейковых и какая там бывала неладница. 20 августа 1816 г. подписано послание Воейкова «К жене и друзьям»⁵. Оно начинается знакомой нам картиной «ветхого московского дома», памятью о друзьях погибших или разошедшихся по жизненным тропам; и сам он пустился в море и чуть не погиб в его седых волнах,

Но Ангелом спасен от кораблекрушенья...
Подруга милая! Ты ангел сей была;
Ты мне послом явилась Провиденья,
Мне якорь подала,
К кресту его кольцом любви прикрепила,
Ее таинственная сила
Рассеяла грозу и бурю утишила...
И жалкий плаватель теперь, хвала тебе,
Супруг, отец и гражданин, в семье,
Любимый милою, хвалимый только другом,
В посредственности, в простоте,
В работе по сердцу, сменяемой досугом,
Находит счастье и простор.
В очах твоих свой приговор

¹ Ал. Тургеневу летом 1816 г.

² Сл. другое письмо к нему же летом 1816 г.

³ К тому же 17 августа и в сентябре 1816 г.

⁴ Письмо к Киреевской летом 1816 г.

⁵ О нем см. выше с. 143. Что послание дописано после 20-го года, доказывается стихом: «но с Дерптом навсегда простясь» и намерением Воейкова ждать друзей в Москве «на старом новоселье».

С боязнию читает
И ободряющий твой взор
Всему предпочитает.

Он счастлив, когда осенней ночью работает в своем «молчаливом» кабинете в соседстве Жуковского, или когда уютится у савара, за ужином, к которому являются друзья; тут

с Женни об руку идет
Вейраух, вдохновенный
Наперсник муз;
За ними Бок-гусар, и пастырь – Ленц смиренный
И наш Жуковский несравненный¹.

Все шутят вежливо, скромно, спорят без запальчивости, благородно; но Воейков предпочитает крылатым часам веселых ужинов и дружеских бесед то время, когда, забыв и свет и дело, усталый «от счастья, от хлопот, от разговоров», он сладко дремлет в креслах, тогда как его дух витает на бездной солнцев, зрит океаны звезд,

Дерзает подлететь Создателя к чертогу,
Где Серафимов тьмы кипят,
И в хоре их поет «Три свят»
И «Слава в вышних Богу!»
О, память сих минут святых,
Чистейших и духовных,
В кругу земных друзей, в кругу друзей бесплотных (?),
Я сохраню до поздних дней моих!

Такую же идеалическую картину дерптского счастья воспрещает он год спустя (1817 г. 11 октября)² в воспоминании, об-

¹ О Вейраухе, музыканте и стихотворце, положившем на музыку некоторые песни Жуковского, и дерптском обер-пасторе Ленце сл. прим. к письмам В.А. Жуковского к Ал.Ив. Тургеневу № LXXXII и CXIV; о Боке сл.: Дневники В.А. Жуковского, с. 86, прим. 8, и дневник 22 сентября / 4 октября 1832 г. и след. (Жуковский у Бока в Веве), что устраняет прежнее мнение, будто с 1827 г. Бок жил в своем имении, лишившись рассудка.

² К Жене. «Вестник Европы». Ч. XCIX. № 9. Май 1818 г. С. 25 и след. Биографу Воейкова предстоит разъяснить некоторые обстоятельства, на которые намекает стихотворение. Ты права, обращается Воейков к жене, «но теперь раскаиваться поздно: Три года (как свинец тяжелых) жить нам розно»; к этому осудил их «заботливый расчет», потому что «плюс долгов у нас и минус состоянья», надо расстаться, скрепя сердце, ибо «дело об детях». А он был так счастлив в семье, с

ращенном к жене: семья за чаем, тут и «наш (?) подщипанный
вздыхатель ... ов», и

Женни-пеночка с гитарою своей
Вздыхает горлицей, поет как соловей!
Вот с чашкою в руке и с новыми стихами
Ж(уковский) из угла пугает мертвецами:
Все в ужасе, никто не смеет идохнуть;
Бои́тся Ли́лия иглою шевельнуть,
И замерла рука у Женни на гитаре,
И чайник замолчал, стоя на самоваре,
И мнится, слышится железных скрип зубов,
И шорох савана, и стон, и звук оков;
Но кстати, во время в стихах запевший петел
Рассеял бледный страх – и всякой стал вновь светел.
О, чай вечерний! ты в мой тесный уголок
Друзей, родных моих бывало собираешь,
И их не по чинам, по сердцу размещаешь...

Послание кончается восторженным признанием всего хорошего, чем он обязан жене:

Твоя любовь меня и греет и хранит,
Под бурей и грозой во тьме путеводитель,
И за минувшее мой с Богом примиритель,
Ты против самого меня мой верный щит...
Завеса с глаз моих твоей рукою снята!
Я вижу все в другом и цвете, и значенье,

и слабость представляется ему теперь силою, «страданье – счастьем, печали наслаждением, и ясным – гроба мрак, а смерть – преображеньем».

Это почти житейская философия Жуковского, в которой он воспитал Машу и Воейкову; Воейков мог порой впиваться в этот пафос самоотречения и не только риторически, но не надолго; Жуковский ему не верил.

женой! К этому и примыкают воспоминания. По-видимому, Воейков искал места; именно в октябре Воейков был в Москве и Жуковский записал в Дневнике 1817 г. под 27 октября: «Приезд Воейкова с стихами». Это известный отрывок из поэмы Искусства и Науки с характеристикой Жуковского-поэта с его репертуаром развалин, кладбища и т.д. В «Послании к жене и друзьям» он говорит о старом московском новоселье.

Между тем Тургенев представил Государю через князя Голицына сочинения Жуковского, вышедшие в 1815 г. «Внимание Государя есть святое дело, — пишет Жуковский по этому поводу, — иметь на него право могу и я, если буду русским поэтом в благородном смысле сего имени. А я буду! Поэзия час от часу становится для меня чем-то возвышенным... Не надобно думать, что она только забава воображения... она должна иметь влияние на душу всего народа, и она будет иметь это благотворное влияние, если поэт обратит свой дар к этой цели. Поэзия принадлежит к народному воспитанию» (Тургеневу 21 октября 1816 г.). «Поэзия святое дело! Святое во всем смысле этого слова, — напишет он недели две спустя к Киреевской, — блажен, кто может быть вполне поэтом! вполне, а не *слишком!* Если слишком, то поэзия враг всякого *вместе* с людьми. Моя стоит на золотой середине, и слава Богу! Я опять пишу и пишу!» (7 ноября 1816 г.) Едва ли это вместе указывает на требования общественного служения: это «милое вместе» с Машей, которое ему не удалось, потому что он слишком жил идеалами, что не годится, как выразился он однажды по поводу «Агатона»¹; un coeur sensible est un méchant cadeau de la bonté divine [чувствительное сердце — злой дар божьей доброты. (*франц.*)], поучает он в том же письме Киреевскую, сердце которой доставляло ей много напрасных страданий. Пришлось ограничиться счастьем *при* Маше, поэзией «на золотой середине».

Свадьба Маши с Мойером состоялась 14 января 1817 г. «Свадьба кончена, — пишет Жуковский Тургеневу во второй половине января, — и душа совсем утихла. Думаю только об одной работе». 18 февраля того же года он исповедуется Дмитриеву: ему хотелось бы быть подобным Карамзину в стремлении к хорошему. «Во мне живо желание произвести что-нибудь такое, чтобы осталось памятником доброй жизни. По сию пору ни деятельность, ни обстоятельства не соответствовали желанию; но оно не умирало, а только иногда засыпало. Если обстоятельства не сделались счастливее, то по крайней мере лучше, по крайней мере в отношении к нравственному лучше; вероятно, что буду более в ладу с самим собою — это главное для поэзии. О фортуне же попечется Провидение». Но работа не спорится, в ней у него «большая неровность», жалуется он тому же Дмитриеву, «часто какая-то нравственная сухотка нападает на меня и мучит целые месяцы» (1 марта 1817 г.). «Старое все миновалось, а новое нику-

¹ Сл. выше с. 120.

да не годится, — слышим мы несколько месяцев спустя, — душа как будто деревянная. Что из меня будет, не знаю. А часто, часто хотелось бы и совсем не быть. Поэзия молчит. Для нее еще нет у меня души. Прощая вся истрепалась, а новой я еще не нажил. Мыкаюсь, как кегля» (в марте 1817 г. к Тургеневу). — «Я вижу, что пребывание твое в Дерпте не облегчило души твоей», — писал ему 18 апреля Ал. Тургенев; пусть вернется в Петербург, «на что быть ежеминутным свидетелем счастья, которое отравляет наше спокойствие»?¹

Жертва далась ему не легко, «трудно было решиться, но мнута, в которую я решился, сделала из меня другого человека, и, к несчастью, эта перемена сделалась слишком скоро. Я хлебнул из Леты и чувствую, что вода ее усыпительна. Душа смягчилась. К счастью, на ней не осталось пятна; зато бела она, как бумага, на которой ничто не написано. Это-то ничто — моя теперешняя болезнь, столь же опасная, как первая, и почти похожая на смерть... Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но, боровшись, имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сих пор всему источником» (к Тургеневу 25 апреля 1817 г.).

Кто знает, какую роль играл Воейков в тяжелой нравственной борьбе, пережитой Жуковским, того поразит своей неожиданностью характеристика Жуковского в письме Воейкова к Кюхельбекеру, только что познакомившемуся с поэтом по выходе своем из Лицея (в мае 1817 г.). «Поздравляю вас с таким другом и братом, как наш Жуковский; проживя с ним полвека (?), видя его в разных обстоятельствах, — в счастии и несчастии, в горе и в радости, в болезни и в цветущем здоровье, я не могу, клянусь вам, решить, что больше, что превосходнее, что удивительнее в нем — необыкновенное ли его дарование или необыкновенный его характер. *Я видел, с какою готовностью жертвует он самыми драгоценными для своего сердца благами счастья других, с каким христианским терпением переносит несчастья, под которыми бы упал всякий человек, меньше его уверенный в бессмертии души и в том, что тайная рука Провидения всегда ведет нас к счастью, часто по терниям и кремням, но все к счастью. Знаю только, что, живучи с Жуковским, сам неприметно становишься лучше, выше, добрее*»².

¹ Неизданное письмо, без года.

² Русская Старина. 1875. № 7. С. 359.

Искупительная деятельность вскоре нашлась для Жуковского: ему предложили быть учителем русского языка у принцессы Шарлотты, впоследствии великой княгини Александры Федоровны. Он не знает, способен ли он к такой должности, будет ли сам собою доволен, а дело его привлекает: это не работа наемника, а занятие благородное; «иметь в таком занятии (и любимом занятии) товарищем образованную женщину должно быть наслаждением, а не неволею». Он получил возможность «образоваться», рад «обязанности», потому что чувствует, что «неограниченная свобода» ему вредит; но необходимость работать, и хорошо работать, не будет ли для него слишком тягостною? Он «избалован свободой и привык работать только тогда, когда вдохновение этого требует». Ему хотелось бы попутешествовать, дать себе «два года *настоящей молодости, свободной, живой*, окруженной прекрасными для меня живыми впечатлениями». Это воспламенило бы его дарование. «От этого надобно будет отказаться» (к Тургеневу 25 апреля).

Дерптская жизнь односторонне и слабо отразилась в поэзии Жуковского; он не всегда «оживал». Он дописывает там «Певца в Кремле», которым не доволен (к Ал. Тургеневу 21 октября и 6 ноября 1816 г.); пишет «Вадима», к 21 октября написано было более половины, в конце года или начале следующего баллада была готова¹.

Жуковский глубже входит в местные дерптские отношения, знакомится с профессорами, слушает лекции, сводит дружбу с фон Боком², Фурманом, который называл его славянским Оссианом³; 16 апреля 1816 г. его сделали почетным доктором дерптского университета⁴. Нельзя сказать, чтобы он «совсем огерманился», как он пишет Тургеневу⁵: новых веяний не слышно, разве увлечение Гебелем, «Овсяный кисель» которого казался Жуковскому совершенством «простоты и непорочности»⁶. Он вживался мечтой в эту идиллию, желанную и недостижимую в сутолоке отношений, среди которых он созидал чужое счастье, и, казалось, свое. «Что мне нужно? — писал он еще 16 сентября 1815 г. Киреевской. — Свобода и маленький достаток... клочок земли подле Ми-

¹ Русская Старина. 1901. Апрель. С. 132 и след.: в письме 2 октября 1816 г. к Тургеневу; сл. письма к Тургеневу 21, 31 октября и 6 ноября, к Киреевской 7 ноября того же года, к Ал. Тургеневу во второй половине января 1817 г.: «надо сперва кончить Вадима».

² Сл. три стихотворения к Боку 1815 г.

³ К Фурману 1815 г.

⁴ Сл. письмо к Тургеневу 24 августа 1816 г.

⁵ Сл. письмо к Тургеневу сентября 1816 г.

⁶ Сл. письмо к Тургеневу 21 октября 1816 г.

шенского или подле Долбина, но клочок собственный... Если раз залезу в этот угол, то уже из него будет трудно меня вытащить». И его потянуло в деревню, к старине, к очагу, на родину:

Там небеса и воды ясны!
Там песни птичек сладкогласны!
О, родина! все дни твои прекрасны!
Где б ни был я, но все с тобой
 Душой!..

Ты помнишь ли наш пруд спокойный,
И тень от ив в час полдня знойный,
И над водой от стада гул нестройный,
И в лоне вод, как сквозь стекло,
 Село?
Туда, туда душа моя летела!
Казалось сердцу и очам
 Все там!

Это так задушевно, так веет тоской по родной русской деревне, а между тем и тон и лирическая форма подслушаны у Шатобриана, в его *Aventures du dernier Abencerrage* [Приключениях последнего Абенсеррага], где Lautrec поет романс:

Combien j'ai douce souvenance
Du joli lieu de ma naissance.

[Как нежны воспоминания о милой родине]

Привожу две последние строфы:

Te souvient-il du lac tranquille
Qu' effleurait l'hirondelle agile,
Du vent qui courbait le roseau
 Mobile
Et du soleil couchant sur l'eau
 Si beau?
Oh! qui me rendra mon Helene
Et la montagne et le gros chêne?
Leur souvenir fait tous les jours
 Ma peine:
Mon pays sera mes amours
 Toujours!

[Помнишь ли тихое озеро, которого касалась быстрая ласточка, ветер, сгибающий подвижный тростник, и солнце, сходящее на воды, столь прекрасное?

О! кто мне вернет мою Елену, и гору, и большой дуб? Воспоминание о них мучает меня постоянно: моя земля – моя любовь навеки! (*франц.*)]

То же настроение в песенке, сочиненной им по просьбе и на данный голос: опять раздаётся «милый голос старины» (к Киреевской 7 ноября 1816 г.).

В эту пору Жуковский начинает интересоваться «Ундиной»: просит Тургенева прислать ему повесть Ла Мотт Фуке, ибо она нужна его музе¹; переводит три пьесы из Гёте: «Кто слез на хлеб свой не ронял» (1816) «Утешение в слезах» и «К месяцу» (1817); в последней пьесе гётевское выражение, что он предается в уединении то радости то печали, заменено стихами: «И минувшего привет слышу в тишине». Переведено несколько пьес из Гебеля; из Уланда, кроме баллад, «Сон», «Песня Бедняка», «Счастье во сне» (1816). Иные из этих стихотворений точно подобраны к выражению чувств, пережитых им в пору тяжелой жертвы и совершенствования воли. Порой воскресало перед ним «минувших дней очарованье», кто-то будил замолкшие мечты,

Шепнул душе привет бывалый;
Душе блеснул знакомый взор...
О милый гость, святое *прежде*,
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать: *живи*, надежде?
Скажу ль тому, что было, *будь*?
(«Песня»: «Минувших дней очарованье», 1816)

Но былого не вернуть: в «Песне» на народный мотив молодец уронил в море кольцо, с которым соединена была любовь милой – и любовь пропала.

Вчера ей жалко стало:
Нашла меня в слезах
И что-то, как бывало,
Зажглось у ней в глазах.
Ко мне подсела с лаской,

¹ Сл. письма к Тургеневу 17 и 24 августа и 2 октября 1816 г.

Мне руку подала,
И что-то ей хотелось
Сказать, но не могла.
На что твоя мне ласка,
На что мне твой привет?
Любви, любви хочу я...
Любви-то мне и нет.

(«Песня»: «Кольцо души девицы», 1816)

«Воспоминание» 1816 г. — это уже отказ от очарованья минувших дней, которые порой воскресали:

Прошли, прошли вы, дни очарованья!
Подобных вам уж сердцу не нажить!
Ваш след в одной тоске воспоминанья!
Ах! лучше б вас совсем мне позабыть!
К вам часто мчит привычное желанье —
И слез любви нет сил остановить!
Несчастье — о вас воспоминанье!
Но более несчастье — вас забыть!
О! будь же, грусть, заменой упованья!
Отрада нам — о счастье слезы лить!
Мне умереть с тоски воспоминанья!
Но можно ль жить, — увь! — и позабыть!

VI. У чужого счастья. Две родные могилы

Год спустя после свадьбы Мойеров посетил их в Дерпте, проездом за границу с Блудовым, Ф.Ф. Вигель.

«Ты, вероятно, знаешь, что я с ними познакомился, — писал Блудов Жуковскому, говоря о его дерптских друзьях. — Что сказать новому Saint-Preux о его Юлии? Я воображал ее прекраснее, но не мог вообразить лучше и милее. Надеюсь, что она меня полюбила, разумеется, за то, что я люблю тебя и твои стихи» (из Лондона 9/21 августа 1818 г.)¹.

«Воспоминания» Вигеля записаны долгое время спустя после событий, неизбежны были промахи памяти, но следы впечатления, хотя бы и одностороннего, остались. Вигель был членом Арзамаса, где носил имя Журавля, знал Воейкова, которому дает характеристику, любил Жуковского, хотя между ними, по видимому, особой близости не было: он, например, не посвящен в отношения Воейкова к Жуковскому, в роман Жуковского и Маши; знает только, что Жуковский вырос с двумя дочерьми Протасовой, «которые любили его, как брата; говорят, они были очаровательны. Меньшая выдана была за соседа, молодого помещика Воейкова, который также писал стихи, и оттого-то у двух поэтов составилось более, чем приязнь, почти родство. Совершенная разница в наружности, чувствах, обхождении супругов, конечно, бросалась в глаза: он был мужиковат, аляповат, неблагороден, она же настоящая сильфида, ундина, существо неземное, как уверяли меня, ибо я только вскользь видел ее».

В Дерпте он познакомился с ее сестрой, посетил Мойера, потому что давно знал о нем «по заочности»; «связи с Жуковским не только сближают друзей его, но как будто роднят их между собою». И он записывает: в Дерпте находилась часть семейства, в котором воспитан был Жуковский; к Воейкову, тогда профессору университета, приехала его теща с старшей дочерью, и он «нашел средство просватать последнюю за профессора медицины

¹ Русская Старина. 1902. Октябрь. С. 260.

Мойера, сам же, видя, что преподаваемую им наукой молодые немцы не хотят заниматься, вскоре уехал в Петербург». — Это было как известно, в 1822 г. — То, что Вигель говорит о Маше, которую увидел впервые, напоминает его отзыв о сестре; и здесь отмечено психологическое несоответствие мужа и жены. Мимолетные впечатления Вигеля тем ценнее, что они видимо не направлены на этот раз симпатией к Жуковскому и его сердечной судьбе. «Я не могу здесь умолчать о впечатлении, которое сделала на мне М.А. Мойер. Это совсем не любовь; к сему небесному чувству примешивается слишком много земного; к тому же, мимоездом, в продолжении немногих часов, влюбиться, мне кажется, смешно и даже невозможно. Она была вовсе не красавица; разбирая черты ее, я находил даже, что она более дурна, но во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто неизъяснимо-обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенную скромность и смирение. Начиная с ее имени все было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и расцеловал, а находясь с такими, как она, в сердечном умилении, все хочется пасть к ногам их. Ну точно она была как будто не от мира сего. „Как в один день все это мог ты рассмотреть?“ Я выгодным образом был *предупрежден* насчет этой женщины; тут поверял я слышанное и нашел в нем не преувеличение, а ослабление истины. И это совершенство сделалось добычей дюжего немца, правда, доброго, честного и ученого, который всемерно старался сделать ее счастливой; но успевал ли? В этом позволю я себе сомневаться. Смотреть на сей неравный союз было мне нестерпимо; эту кантату, эту элегию, никак не умел я приладить к холодной диссертации. Глядя на г-жу Мойер, так рассуждал я сам с собой: кто бы не был осчастливлен ее рукой? И как ни один из молодых русских дворян не искал ее? Впрочем, кто знает, были вероятно, какие-нибудь препятствия, и тут *кроется, может быть, какой-нибудь трогательный роман?* Она не долго после того жила на свете: подобным ей, видно, на краткий срок дается сюда отпуск из места настоящего жительства их»¹.

¹ Воспоминания Ф.Ф. Вигеля. Ч. 5. С. 44, 77–79. В 1819 г. 18 ноября И. Вилламов писал Кюхельбекеру из Дерпта: он знаком с семьей Екатерины Афанасьевны Протасовой и с ее милой дочерью, М.А. Мойер, в их обществе отводит душу: «веселятся без шума, разговаривают без церемоний, смеются от сердца, радуются от души. Какова жизнь!» Сл.: Сборник старинных бумаг,

Из Петербурга Жуковский нередко навещался в Дерпт к своим. Он устраивал Машу: в 1818 г. советовал Арбеновой поместить у ней на воспитание своих детей; выгода Маши «требуется иметь у себя пансионеров; но ваших детей иметь в доме была бы выгода и для ее сердца». В письмах к Арбеновой он говорит, что надеется увидеть в Белёве Елагину (А.П. Киреевская вышла во втором браке за Елагина), Свечину и ее, «товарища старины». От этой старины осталось лишь хорошее воспоминание: «Промежуток времени, в который наша с вами дружба ходила в дурацкой маске-досады, должен быть причислен к тем эпохам жизни, в которые болели у нас зубы, была лихорадка и прочее; следовательно ни к чему: ибо в такое время не живешь, а только барахтаешься или пьешь хину. Сердце мое по-старому ваше, и в нем та же благодарность на милую вашу дружбу, какая была и прежде... Работаю; место, данное мне Богом, прекрасное; все хорошие мысли и чувства в движении: это значит — жить. Не бойтесь моего прошедшего; оно рассталось со мною не злодеем, а другом. Несколько времени жестокой пустоты, вот и только; но я дурного не получил от него в наследство; напротив, всем хорошим ему обязан, хоть часто и был на пороге дурного. Бог помог! Все дурное само собою наказано и погибло в этом благодетельном наказании, хорошее живо и не умрет. *Tout est conséquent dans la vie humaine. On a tort d'imaginer qu'il y a un sort*» [Все в человеческой жизни вытекает одно из другого. Напрасно воображают, будто есть случайности судьбы. (франц.)]¹.

А между тем в его поэзии продолжают отзываться беспокойные ноты. В феврале 1819 г. он ездил в Дерпт недели на три². 12-м июля подписан перевод из Шиллера «К Эмме»:

хранящихся в музее П.И. Шукина. Ч. IX. 1901. С. 351. — Е.И. Елагина, урожденная Мойер, защищая память отца, протестует против характеристики его, данной Вигелем, и нападок Пирогова. Защита бросает свет и на семейные отношения: жизнь дома была простая, но веселая; Мойеру удалось своими концертами (он был хороший пианист) основать в Дерпте первый дом для бедных (Moierisches Armenhaus), Марья Андреевна продала для этой цели все свои драгоценности. Окна этого дома выходят на ее могилу, старухи молятся за Мойера и за нее, глядя на ее могильный крест. Ее смерть страшно подействовала на мужа: в один год он поседел; он умер 1 апреля 1858 года, протянув вперед руки и воскликнув: Маша! Сл.: Русский Архив. 1902. № 3. С. 476 и след.

¹ Русский Архив. 1883. № 2. С. 318–319: два письма к А.Н. Арбеновой 1818 г.

² Сл. письмо Карамзина к Дмитриеву № 229, 28 февраля; сл.: Русский Архив 1878. № 2. С. 207–208.

Ты вдали, ты скрыто мглою,
Счастье милой старины;
Неприступною звездою
Ты сияешь с вышины!
Ах! звезды не приманить!
Счастьем бывшему не быть!

Если б жадною рукою
Смерть тебя от нас взяла,
Ты была б моей тоскою,
В сердце все бы ты жила!
Ты живешь в сияньи дня,
Ты живешь не для меня.

С последней строфой переводчик не совладал. Шиллер спрашивает, может ли пройти любовь, а что прошло, было ли любовью? Неужели ее небесное пламя исчезает, как все земное? У Жуковского вышло темнее, непонятнее:

То, что нас одушевляло,
Эмма, как то пережить?
Эмма, то, что миновало,
Как тому любовью быть?
Небом в сердце зажжено,
Умирает ли оно?

Это Шиллер, приложенный к сердечной истории Жуковского, Эмма – Маша; к тому же месяцу относится стихотворение «К Мойеру»¹:

Счастливец! ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою?
Возьми ж их от меня и страстию своей
Достоин будь судьбы твоей прекрасной!
Мне ж сердце, и душа, и жизнь, и все напрасно,
Когда нельзя всего отдать на жертву ей.

¹ Стихотворение напечатано впервые г. Ефремовым по неизвестной рукописи, с пометкой: «в июле 1819 года» и указанием, что стихи обращены к Мойеру. В черновом автографе Жуковского ни даты, ни имени нет.

«Я от всех оторванный кусок и живу так, что душа холодеет, — писал он, вернувшись с побывки в Дерпт, к Елагиной. — Бедная моя поэзия! Был в Дерпте, как во сне. Там тихо, но у всех у нас одна болезнь — разлука! Чем от нее вылечить!»¹. В октябре того же года Жуковский снова посетил Дерпт проездом за границу, где он должен был состоять при великой княгине Александре Федоровне. Отсюда он писал Тургеневу (2 октября) и Елагиной (того же дня)²: он надеется освежиться впечатлениями и снова приняться за поэзию: в прусском дворе нет поэзии, зато трагедии Шиллера и Гёте, музыка, дрезденские галереи, прирейнские замки! В письме к дерптским друзьям из Берлина³ он спрашивает о здоровье своей Маши, у которой только что родился сын. В конце приписка: «Маша, милый друг, напиши мне о своем малютке. За неимением твоих писем перечитываю твою книжку и, кажется, слышу тебя: это бесценный подарок! Тут вся ты, мой милый друг и благодетельный товарищ. В твоём сердце ничто не пропало; еще кажется, ты стала лучше. Настоящая твоя жизнь, исполнение твоих должностей усовершенствовали тебя, и ничто не пропало в пустоте рассеяния. Читать твою книжку есть для меня оживать. *И много милых теней восстает*». Так в старые годы звал к себе Жуковский «подругу юных дней», мечту, чтобы она повеяла на него минувшей жизнью, дала «сладкого вкусить воспоминанья».

19 и 27 ноября Жуковский снова пишет Маше (сл. дневники); из-за границы посылает друзьям свои произведения («Явление поэзии в виде Лалла-Рук»⁴); вернувшись, читает в Дерпте (где он пробыл с 29 января по 4 февраля 1822 г.), в дружеском кружке, отрывки перевода «Орлеанской Девы»⁵.

По возвращении в Петербург 6 февраля 1822 г. Жуковский поселился с семьей Воейкова. «Он покидает кафедру», — писал о

¹ 25 января / 3 февраля 1820 г., Русская Старина 1883. Октябрь. Вилламов Кюхельбекеру 25 января 1820 г.: «Был я у доброй нашей маменьки Е.А. Протасовой, где нашел Василия Андреевича и поклонился ему от вас. В воскресенье он нас оставил ко всеобщему сожалению. Вы не поверите, Вильгельм Карлович, как здесь любят нашего Жуковского; но чему тут удивляться? Как не любить такого доброго, благородного и любезного человека?» Сл. отзыв о Е.А. Протасовой: «что за женщина!» в письме 17 апреля 1820 г. Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П.И. Шукина. I. с. С. 352, 653.

² Сл.: Зейдлиц. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. С. 117–118.

³ 1 ноября 1820 г., Русский Архив. 1900. № 9. С. 84 и след.

⁴ Зейдлиц. I. с. С. 119.

⁵ Зейдлиц. ib. С. 123.

Воейкове 12 июня 1820 г. кн. Вяземский Дмитриеву¹; 25 сентября того же года он уже был от нее отчислен и по-прежнему метался в поисках за положением, самонадеянно и трусливо. Благодаря Ал.Ив. Тургеневу он получил место чиновника особых поручений в департаменте духовных дел²; со второй половины 1820 года редактировал вместе с Гречем «Сын Отечества», где пристроил его Жуковский; с начала 1822 г. принял на себя издание «Русского Инвалида» (доходное место, выхлопотанное ему Жуковским); с 1822 по 1825 г. был первым инспектором классов Артиллерийского Училища по рекомендации Греча, и там же преподавателем русской словесности. И он боялся, что и «Инвалид», и инспекторство у него отнимут. Мы знаем, по его деланным поэтическим признаниям, чем была ему его жена; в послании к «А.А. В.» слышим тот же обычный пафос:

Ты совесть, ангел мой и благотворный гений!
Благодарю тебя, что ты меня спасла
От низких склонностей, привычек, заблуждений,
И в пристань тихую корабль мой привела;
Ты радость и печаль со мною разделяла,
Ты счастье дней моих цветами осыпала,
И в наш железный век, когда порок, разврат,
Из света делают не свет, а мрачный ад,
С тобою проводил я время золотое;
С тобой я не один, с тобой нас и не двое³.

Но дома жилось по-прежнему неладно, и Александре Андреевне приходилось горько от грубости и цинических выходок мужа⁴. Жуковский поддерживал ее, как поддерживал в Дерпте, писал ей из-за границы. Она осталась такой же нездешней, мечтательной и любящей, блюдет заветы учителя. На черновой тетради с стихотворениями Жуковского 1813 и след. годов надписано: «Книга Александры Воейковой», а ее рукой на полях страницы с набросками «Вадима»: «Жуковский, милый брат, о лучший из друзей»⁵.

¹ Русский Архив. 1866. № 11–12. С. 1704–1705. «Где Воейков, в Дерпте или в другом месте? – писал Антонский Жуковскому 15 марта 1820 г., – у нас слух пронесся, было, что он хотел перейти в Казань».

² Записки Н.И. Греча. С. 480.

³ Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. М. 1869. С. 202.

⁴ Записки Греча. С. 487–488, 494, 496.

⁵ Из содержания этого сборника (ныне в собрании А.Ф. Онегина) отмечу: наброски «Вадима», «Славянка» (черновой и перебеленный тексты), «Овсяный кисель», «Сказка о красном карбункуле», «Ночной сторож в деревне»; «Опять ты здесь,

Сохранились ее альбомы с стихотворениями, письмами и заметками Жуковского¹; в одном из них помещено между прочим его стихотворение, обращенное к Александре Андреевне в 1807 г. («Подарок на Новый Год») и — «философия фонаря», знакомая нам по письму к Маше 28 апреля 1815 г.² Затем приписка:

«Это все может быть хорошим дополнением к тому, что ты мне написала в альбом, моя Саша. Мы думаем одно, хотя разными словами высказываемся. То, что здесь написано, я написал для себя гораздо прежде, чем прочитал твое: *Wünsche nicht mit Leidenschaft* [Не вкладывай в желание страсть. (нем.)]. Желать что-нибудь страстно значит мешаться в дело Провидения; рваться за будущим вслед за надеждою и забывать настоящее. *Mettons a la place de l'Espérance trompeuse la Providence, qui ne trompe pas, alors tout devient conséquent dans la vie. On sait d'avance le mot de l'énigme. Ce mot n'est autre chose que: mériter* [Поставим на место обманчивой Надежды Провидение, которое не обманывает, и тогда все в нашей жизни станет вытекать одно из другого. Слово разгадки известно заранее. Это слово одно: быть достойным. (франц.)].

Einfachheit und Wahrheit,
Ewige, unzertrennliche Freundschaft.

[Простота и правда, вечная, нераздельная дружба. (нем.)]

В том же альбоме признания и афоризмы Воейковой сопровождаются замечаниями Жуковского: (Воейкова) *J'aime la monotonie dans les sentiments de la vie et je ne chercherais le bonheur que dans l'habitude* [Я люблю однообразие в чувствах жизни и искала бы счастья лишь в привычке]. — (Жуковский) *C'est que vous avez coeur aimant. Pour qui sait aimer, qu'est ce qui peut être plus cher que l'habitude?* [Это потому

мой благодатный гений»; «Тленность»; «Кто слез на хлеб свой не ронял»; «Летний вечер»; «Обет»; «Княгиня, можно ль так неблагодарным быть»; «Лесной Царь»; «Граф Габсбургский»; перевод «Орлеанской Девы»; «Минувших дней очарованье»; русский и немецкий тексты стихотворения Ж.П. Рихтера (на смерть королевы Виртембергской), чередующиеся через строку: «В ту минуту, когда ты в белой брачной одежде — *In dem Augenblick, wo du im weißen Hochzeitskleide*». На последней странице рукописи собственноручная выкладка Жуковского, сколько ему было тогда лет; год рождения определен 1783 г., 29 января; это разрешит, по-видимому, поднимавшиеся хронологические сомнения.

¹ Один из альбомов находится в собрании А.Ф. Онегина, другие описаны в Русской Старине 1902 г., апрель, с. 189 и след., откуда взяты и следующие указания.

² В «Русской Старине» запись в альбоме Воейковой отнесена к 30 апреля 1810 г.; очевидно, по ошибке. Текст совпадает с приведенным выше, с. 165. Нач. «Я когда-то написал... А прошедшее пускай идет с нами рядом».

что у вас любящее сердце. Для того, кто умеет любить, что может быть более дорого, чем привычка?] – (Воейкова) Mille accidents séparent les hommes qui s'aiment pendant la vie, puis vient cette séparation de la mort, qui renverse tous nos projets [Тысяча случайностей разделяет любящих при жизни, затем приходит то разделение смертью, которое опрокидывает все наши планы. (*франц.*)]. – Est que la mort est séparation? [Но есть ли смерть разделение?] – спрашивает Жуковский и отвечает стихами Шиллера^{1*}:

Schwester, über in Sternenfeld
Muß ein guter Vater wohnen.

[Сестра, над нами, в звездном поле должен обитать добрый отец. (*нем.*)]

Оберегая покой своей Саши, Жуковский делал все, чтобы устроить ее мужа, поддерживал в нем поэта и не уважал человека, защищал, потому что боялся его раздражать. Воейков «обязан был всем своим существованием несравненной жене своей, прекрасной, умной, образованной и добрейшей Александре Андреевне, бывшей его мученицей, сделавшейся жертвою этого человека, – писал Греч. – Всяк, кто знал ее, кто только приближался к ней, становился ее читателем и другом. Благородная братская к ней привязанность Жуковского, преданная бессмертию в посвящении «Светланы», известны всем. Потом первыми ее гостями были Александр Иванович Тургенев и Василий Алексеевич Перовский. Булгарин некоторое время ходил от нее с ума. Между тем эти связи были чистые и светлые и ограничивались благородною дружбою. Разумеется, в свете толковали не так: поносили ее, клеветали и лгали на нее»². «Батюшков, Крылов, Блудов, Вяземский, Дашков, Карамзин, словом, весь литературный цвет столицы охотно собирался в гостиной Александры Андреевны, в которой Жуковский пользовался властью дяди»³. Благодаря жене Воейкову спускали всякие неблагоприятные поступки: пожурят и подведут «под милостивый манифест прекрасных глаз Александры Андреевны»⁴. – Впоследствии являлся сюда и Л.С. Пушкин, и брат просил его отвыкнуть – «от вина и от Воейковой» и не украшать ее альбомы его стихами вместо того, чтобы переписывать их для печати»⁵.

^{1*} Перефразированные стихи из «Оды к радости».

² Греч. Записки. С. 487.

³ Зейдлиц I. с. С. 127–128.

⁴ Греч. С. 496.

⁵ Письма А.С. Пушкина к брату начала ноября 1824 и 23 июля 1825 г.

Всех серьезнее привязался к Воейковой Александр Ив. Тургенев.

«Жуковского Светлана приехала сюда, и я видел ее в первый раз с каким-то поэтическим чувством» писал Тургенев кн. Вяземскому 20 сентября 1820 г. Он стал бывать у Воейковых, нашел в ней «прелесть добродушия и любезного ума»¹.

Уезжая за границу, Жуковский поручил другу свою Сашу². «Письмо к Саше и Тургеневу вместе» записывает он себе на память уже на пути (дневник 1820 г. 10 октября). Светлана Жуковского «вряд ли не лучше стихов его, — пишет Тургенев кн. Вяземскому, — тихое создание, с прекрасной душой и с умом образованным. Теперь не она по Жуковскому мне мила, но Жуковский становится интереснее по ней. При ней можно отдохнуть от жизни и снова расцвести душой. Большой свет не опалил ее своим тлетворным дыханием, но она имеет всю любезность, необходимую для большого света. Смуглый Воейков fait ombre au tableau [бросает тень на картине (*франц.*)], но и он добреет и светлеет при ней. Nonni soit qui mal y pense» (6 октября 1820 г.). «От Светланы его светлеет душа» (к нему же, 8 октября 1820 г.). Чем больше он узнает ее, тем больше привязывается. «Какая милая душа и какой высокий характер! Она все прекрасное умела соединить в себе. При ней цвету душой. Она моя отрада в Петербургской жизни. Жаль, что судьба назначила ей испытание, но она выше судьбы своим сердцем и своею религиею. Nonni soit qui mal y pense» (к нему же 3 ноября 1820 г.).

Жуковский сам создал этот тройственный союз идеальной дружбы, и в этом создании общие письма играли такую же роль, как в юную тургеневскую пору. Из-за границы он послал Тургеневу письмо для доставления Саше: «получил ли ты его, и отдал ли, и прочитал ли? Оно столько же к тебе, сколько к ней... Ты говоришь, что я тебя не познакомил с Сашею; а разве я не читал тебе ее писем? (27 ноября 1820 г. Берлин; сл. дневник 7/19 декабря 1821 г.: «писал к Саше и Тургеневу»). Между тем дружба, видимо, грозила обратиться в любовь, и Жуковский волнуется, предупреждает друга в том же письме: «твоя привязанность к моей Саше (не хочу назвать этого любовью) есть наше общее благо и только нам двум принадлежащее благо... Я уже не имею такого собственного; но это будет нашим общим... Тебе надобно ласкать живую, возвышающую сердце причину любить добро (к которому до сих пор ты был привязан машинально, без наслаж-

¹ Письма к тому же 22 и 28 сентября того же года.

² Сл. письмо к Ал. Тургеневу 2 октября 1820 г.

дения)... Мы как будто сошлись опять на нашей дороге, по которой шли не вместе, а только помня друг о друге. Лучшего товарища не было, а милый, верный, избранный смотрел по сторонам, без наслаждения, не забывал своего спутника, но и ничем не делился с ним. Теперь мы стоим перед милым творением Божиим и радуемся им вместе, с одинаким, чистым, достойным нас обоим чувством». Но «чтобы найти счастье в дружбе к тебе, надо, чтобы Саша могла ей предаться без всякого сомнения и чтобы она нисколько не была в разладе с собою. Но и тебе надобно для твоего счастья уничтожить в нем все, что принадлежит любви, а сделать из него просто чистую, возвышенную жизнь». Над последними словами в подлиннике письма рукою Тургенева написано карандашом: «Тогда и она (любовь) уничтожится! Жуковский судит по себе и думает, что я могу быть счастлив! Горькая ошибка!»

В дневнике 1821 г. сохранилось несколько указаний на письма Саши: «письмо от Саши» (21 февраля / 5 марта); «у великой княгини Сашино письмо: какая разница!» (25 февраля / 9 марта); «письмо от Саши» (31 марта / 12 апреля). В потсдамском *Kavalierhaus* две горницы, в которых жила великая княгиня; «милое, уединенное место, похожее своею привлекательною простотою на ее чистую душу. Сюда приду перечитывать несравненное письмо Саши, пожить воспоминаниями моего прошлого и еще другого прошлого, которое мне неизвестно, но знакомо. Место, где жила прекрасная душа, свято» (4/16 апреля); «в первый раз прочитал Сашино письмо» (5/17 апреля). В одном из своих альбомов, на футляре которого помечено: «*Berlin den 3 april*», Жуковский записал 17/29, вероятно, апреля 1821 г.: «С некоторого времени природа имеет на меня удивительное действие, пишет Саша: точно в ней находишь замену тому, в чем жизнь отказывает! Весь мир в мою теснится грудь. *Pas le monde d'autrefois qui remplissait mon âme d'une joie d'enfant, dans lequel je voyais seulement les fleurs et le plaisir* [Не мир прошедшего, который наполнял мою душу радостью ребенка, в котором я видела одни цветы и наслаждение. (франц.)]», а серьезный мир, который говорит о своем Создателе и дает душе истинную силу. «*Во всем видишь Бога. Tout met en rapport avec les absents et avec un monde où il n'y aura plus d'absence* [Все связывает с отсутствующими и с миром, где больше не будет отсутствия. (франц.)]. Иногда точно ждешь минуты последней, кажется, сейчас настанет, и душа готова отвечать: Здесь, Господи, буди воля твоя».

Следует в альбоме заметка: «*Aimer sans rapporter a soi c'est la seule manière d'aimer avec calme, car c'est avec innocence qu'on aime et ce n'est qu'alors [Любить, не относя это к себе, — единственной способ любить спокойно, потому что любят по-настоящему лишь тогда, когда любят невинно. (франц.)]*».

Поручая Тургеневу поздравить Воейкову с новым годом, кн. Вяземский цитует стих из пьесы И.И. Козлова: пусть этот год будет для нее так же светел, «как душа Светланы» (к Тургеневу 2 января 1822 г.). А Тургенев пишет Жуковскому, что если не писал ему, то виною тому единственно лень. «Ты верно не так думаешь, как ты писал к С(аше), и я никак не мог забыть тебя, во-первых из благодарности за ... , но не скажу за что, во-вторых из искренней душевной любви» (1822 г. 18 июня¹).

«Светлана»-Воейкова была музой И.И. Козлова, старого приятеля Жуковского по Москве, которому он посвятил свою «Наталью Долгорукую»; в Петербурге он пристал к его интимному кружку. Александра Андреевна печаловалась о слепом поэте (Но ты, Светлана, обо мне Ты слишком много сожалеешь. «К Светлане»), старалась утешить его. «Светлана добрая твоя Мою судьбу переменяла», — говорит Козлов, приветствуя вернувшегося из путешествия друга («К другу В.А. Ж. по возвращении его из путешествия»).

Как ангел Божий низлетя,
Обитель горя посетила
И безутешного меня
Отрадой первой подарила.
Случались ли когда, что вдруг,
Невольной угнетен тоскою,
Я слезы лил, — тогда, мой друг,
Светлана плакала со мною;
В надеждах веры устремлять
Все чувства на детей искала,
И чем мне сердце усладить,
Своим то сердцем отгадала.

В альбом Воейковой Козлов написал стихотворение «К С(аше)», перевод байроновских «*Lines written in an album at Malta*» [«Строки, записанные в альбом на Мальте»]²: как путник, бродя по кладбищу, вспомнит былое, увидев знакомый могильный камень, так

¹ Приписка к письму Блудова, Русский Архив 1902. № 6.

² Новости Литературы. 1822. Кн. 1. № XII. С. 191–192.

и ты, когда твоему взору, полному тоской, попадетя в альбоме
мое имя: все, чем жизнь цветет, мне миновалось,

Лишь верь тому, что у тебя
Мое здесь сердце *все* осталось!¹

Пока Жуковский затевал новую *amitié amoureuse* и он и Тургенев хлопотали о Воейкове, последний писал в своем дневнике: «Жуковский, как ангел утешитель, прискакал из Павловского», успокаивает и утешает его, «не советует идти в царскосельские директоры Лицея. Да будет воля Божия, а доказательства Жуковского нелепы и смешны». Тургенев пишет ему письмо «оскорбительное и огорчительное; можно много терпеть, но всякому терпению человеческому есть границы: кто не объявляет своего права опекунства надо мной? Кто не вмешивается в дела мои? Боже, подкрепи и даруй мне смирение и терпение». «Убийственное письмо от Жуковского. Екатерина Афанасьевна совершенно овладела им». «Жду с надеждою, а больше со страхом Жуковского. Что могу я ожидать от глупца, который живет в эфире, который погубил собственное счастье, исполняя волю Екатерины Афанасьевны, сошедшей с ума на слезах ложной чувствительности и пожертвованиях?»² Когда на Жуковского явилась известная эпиграмма («Из савана оделся он в ливрею»)³, он говорил Гречу: «Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своею эпиграммою: я в дворец не втирался, не жму руки никому. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову, который прочел мне эпиграмму с невыразимым восторгом»⁴.

Летом 1822 г. приехала из Дерпта Екатерина Афанасьевна на родину дочери, которая писала Елагиной: с тех пор как она с

¹ Сл.: Остафьевский Архив II, письмо Тургенева к князю Вяземскому 21 февраля 1822 г. («вот газета и стихи слепого Козлова в album ангела Воейковой») и *ib.* прим. на с. 531.

² Сл. Колбасин, Литературные деятели прежнего времени. С. 274, 278–279; сл. и с. 283.

³

Из савана оделся он в ливрею,
На ленту променял он миртовый венец,
Не подражая больше Грею,
С указкой втерся во дворец.
И что же вышло наконец?
Пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет каммер-лакею.
Бедный певец!

⁴ Записки Греча. С. 493. Эпиграмму приписывали то Булгарину, то А.С. Пушкину, Александру Бестужеву, Воейкову.

Жуковским, небо расцвело; они живут воспоминаниями (a gescions), которые лучше действительности и особливо будущего. — «Здесь подле меня одна Саша, — извещает Елагину Жуковский из Царского Села 27 июля того же года, — в ее гармонической душе все отзывается для меня по-прежнему, *но поэзия уже перестала быть отголоском жизни!* Она теперь бывает по временам одним наслаждением: весело творить, это наполняет душу, и душа выражается в том, что она производит. Но эти прекрасные минуты разделены пустыми промежутками»¹.

Осенью того же года Жуковский проводил в Дерпт Протасову. «Видел Машу, — пишет он Елагиной, — говорил с ней о ней — и доволен: это поэзия. Мы говорили о нашей утопии. Она непременно должна сгроздиться, но когда? Будем ждать и надеяться перед затворенною дверью. Пока то пускай будет нашею радостью, что мы все сбережены друг для друга. Судьба погрела мимо нас, поколотив нас мимоходом, но не разбив нашего лучшего: любви к добру, уважения к жизни и веры в прекрасное... Теперь мы вместе с Сашей, хотим кое-как строить спокойное, деятельное (если уже нельзя счастливого) *chez-soi* [у себя (*франц.*)]; хотим ставить фонарики, думая и о наших дальних фонарных мастерах, которые с нами заодно работают и зажигают свои свечки. Со временем будем и вместе»².

Об этих «фонарных мастерах» он мечтал с карандашом в руке: женская фигура сидит в глубокой нише, с которой открывается вид на широкую полосу воды; за ней вдали линия цветущего берега — волшебный край; внизу подписано: *Alexandrine*. Либо на изрытом утесе, у подножья башни или маяка, фигура воина в шлеме, смотрящего в морскую даль; на одном из скалистых выступов имя: *Touguenef*; наконец имя *Cathérine* (Екатерина Афанасьевна) красуется на рисунке: гора, обращенная к морю, на ней фигура в облачении католического монаха с крестом в руке³.

Судьба не надолго сберегла их друг для друга. Последовавший вскоре отъезд Воейковой, здоровье которой расстроилось в невыносимой семейной обстановке, разлука с дорогой племянницей вдруг раскрыли перед Жуковским ту бездну действительности, которую он прикрывал поэтической пеленой с изображе-

¹ Зейдлиц, I. с. С. 125–126.

² Зейдлиц, I. с. С. 126–127.

³ Рисунки карандашом взяты из альбома А.А. Воейковой ее внуком графом Бреверн-де-ла-Гарди. Они нумерованы; бумага Whatman 1821 г., с золотым обрезаем. Рисунки с именами *Alexandrine* и *Cathérine* воспроизведены в моей книге с согласия их владельца, Евг.Евг. Рейтерна.

ниями кроткого счастья в любви к добру и вере в прекрасное. Тогда, быть может, он послал Маше свою «Песню», переделку Байроновской (Stanzas for music¹):

Отымает наши радости
Без замены хладный свет.

Переделка, как все у Жуковского: исчезли острые тона, усилен элемент элегии. Сердце увяло прежде юности, счастье стало игрушкой волн; Байрон шел навстречу одному из любимых образов Жуковского: челн, который мчит море (Сл. «Пловец» 1811, «Стансы» 1815, «Жизнь» 1819, «К кн. А.Ю. Оболенской» 1821), но другие, Байроновские, не укладывались в новое настроение: Байрон говорит о тех немногих, которые, уцелев после крушения счастья, лишенные кормила, относятся на мели преступлений, увлекаются в океан страстей. «Преступления» и «бурные страсти» устранены. И далее тот же прием: смерть закралась в душу, охладевшую к наслаждениям и бедам; у Байрона: сердце не способно сочувствовать чужим страданиям, не смеет думать и о своих. Порой еще блещет остроумие и веселье расширяет грудь в полночный час, не приносящий прежней надежды на покой, — продолжает Байрон; для Жуковского «прежнее» — воспоминание, и если это прежнее ошибкою

В сердце сонное зайдет —
То обман: то плющ, играющий
По развалинам седым:
Сверху лист благоухающий,
Прах и тление под ним.
Оживите сердце вялое,
Дайте быть по старине,
Иль оплакивать бывалое
Слез бывалых дайте мне.

¹ См.: Белинский. Соч. VIII. С. 240–241. «Песня» написана в 1820 г. Зейдлиц. I. с. С. 128, по-видимому, относит посылку ее к Маше к 1823 г.; она не могла не знать ее, почему и выразилась в письме к Зейдлицу: «Seine schöne Seele ist eine der größten Zierden der Welt Gottes. Wenn nur sein letztes Gedicht nicht da wäre!» [Его прекрасная душа — одно из величайших украшений Божьего мира. Если бы только не его последнее стихотворение! (нем.)]. Но, может быть, Зейдлиц ошибся в датировании письма. — Такой же вопрос поднимает «Песня» («Розы расцветают»), относимая изданиями к 1831 г., тогда как, по рассказу Зейдлица (I. с. с. 149, прим. 1), песню эту особенно любила А.А. Восейкова († 1829).

Марье Андреевне эта песня не понравилась; чем больше я ее читала, тем становилась печальнее, писала она Зейдлицу. Глубже, чем Жуковский, она вжилась в то полусчастье, в котором способность любви расходовалась на *amitié amoureuse*; надпись на ее печати 1816 г. для нее характерна: *Activité dans un petit cercle* [Деятельность в узком кругу (*франц.*)]¹. Для нее Жуковский, ее *Jouko*, остался навсегда дивным человеком, *der Herrliche*, но она говорила и о своем «дивном Мойере» (*mein herrliche Moier*). «Мне выпал совсем иной жребий сравнительно с тем, о чем я мечтала, — писала она в июле 1822 г., — сегодня 2-ое июля, день, в который Мойер сделал мне предложение; я была тогда очень несчастлива, но благодарю милосердного Бога, что все случилось так, как случилось»².

За год до смерти она посетила родные места, где начался ее роман с Жуковским. Точно она предчувствовала, что ей жить недолго, она мысленно прощается со всеми близкими сердцу. Сохранилась ее тетрадка, надписанная *Vorhersagungen* [Предсказания]³; текст немецкий, письма и размышления из Белёва, Муратова, Дерпта от 31 декабря 1822 г. по 4-е марта 1823 г.⁴. Сверху первого письма нарисован крест над могильным холмом, над ним слева в небе шесть звезд, представляющих Большую Медведицу, в конце тетрадки изображения сердца, креста и якоря. На заглавном листе читается:

Я все земное совершила.
Habe ich nicht beschlossen und geendet,
Habe ich nicht geliebt und gelebt!

[Разве я не завершила и не покончила, разве я не любила и не жила! (*нем.*)]

В конце февраля 1823 г. Александра Андреевна уехала в Дерпт, с ней Жуковский, пробывший там две недели. Маша была больна; Жуковский не подозревал, что он видит ее в последний раз. 10-го марта он возвратился в Петербург, а 19 какой-то посторонний человек рассказал ему, что она скончалась в родах. «18 марта скончалась родами Мойер, и Жуковский опять поскакал туда в

¹ Петухов Е.В. Памяти Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского. Юрьев, 1903. С. 98, прим. 1.

² Carl von Seidlitz, W. A. Joukoffsky (Mittau, 1870)., С. 121 прим.

³ В музее А.Ф. Онегина.

⁴ Июльское письмо, из которого несколько строк приведено было выше, у v. Sedlitz, Wasily Andrejevitch Joukoffsky. С. 119 и след. прим.; другое в русском издании той же биографии 1883 г., с. 150–151, где, по недоразумению, автором как будто является Жуковский («я *заказал* молебен» и т.д.).

прошедшую среду. Потеря ужасная: робенка вынули мертвого. Подробностей мы еще и по сие время не знаем. Я потерял в ней нежнейшего, истинного друга. Хотя ни разу не видел ее в этой жизни, но почти всякую почту переписывался. Какой прелестный ангел! *She was too pure on earth to dwell!* [Она была слишком чиста, чтобы обитать на земле! (*англ.*)]» (Тургенев кн. Вяземскому 1823 г., 27 марта)¹. «Как выдержала этот удар Воейкова? Что Жуковский?» – спрашивал кн. Вяземский Тургенева (Тургеневу 2 апреля 1823 г.). В Дерпте «все здоровы и перешли на старое пепелище, где уже нет с ними ангела-хранителя. Это название принадлежит ей: она и их, и нас всех хранила. Я не могу еще ни думать, ни говорить о ней без умиления. Отношения мои к ней были единственны» (Тургенев кн. Вяземскому 1823 г., 6 апреля).

Для Жуковского началась жизнь воспоминания. «С ее светлым переселением в неизменяемость прошедшее как будто ожило и пристало к сердцу с новою силою. Она с нами на все то время, пока здесь еще пробудем. Не вижу глазами ее, но знаю, что она с нами и более наша, наша спокойная, радостная, товарищ души, прекрасный, удаленный от всякого страдания... Мысль о товариществе с существом небесным не есть теперь для меня одно действие воображения. Нет!.. Я как будто вижу глазами этого товарища и уверен, что мысль эта будет час от часу живее, яснее и одобрительнее. Самое прошедшее сделалось более моим; промежуток последних лет как будто не существует, а прежнее яснее, ближе. Время ничего не делает... Мысль о ней, полная ободрения до будущего, полная благодарности за прошедшее – словом *религия*». Ее могила будет для него местом молитвы². – В пятницу на Святой неделе он молился у нее; «теперь знаю, что такое смерть; но бессмертие стало понятнее – жизнь не для счастья: в этой мысли заключено великое утешение. Жизнь для души, – следственно Маша не потеряна»; ее здешнюю можно было видеть глазами, тамошнюю можно видеть лишь душою, ее достойною. «Знаю, что не стою ее, но остаток жизни этому чувству. Она оставила ко мне письмо, написанное ко мне не в минуту предчувствия, но она хотела, чтобы я не одним воображением слышал ее настави-

¹ Сл. выше с. 101: двустиише как эпитафия Андрею Тургеневу.

² Елагиной 28 марта 1823 г.; Государыне 25 марта (французское) с просьбой отсрочить приезд Жуковского из Дерпта дней на десять. С идеями и выражениями писем к Елагиной сл. письмо к Ал. Тургеневу по поводу кончины его брата Сергея 1827 г., 6 ноября.

тельный голос из гроба»¹. «Последние три дня мы все провели на ее могиле, садили деревья... Первый весенний вечер нынешнего года, прекрасный, тихий провел я на ее гробе. Солнце светило на него так спокойно. В поле играл рог. Была тишина удивительная; и вид этого гроба не возбуждал никакой мрачной мысли: *поэзия жизни* была она. Но после письма ее чувствую, что она же будет снова поэзией жизни. Но поэзией другого рода»². — «Все высокое сделалось теперь для меня верою, все стало понятнее, — но это высокое надобно приобрести, иначе Маша навсегда потеряна... Жизнь точно святыня: Маша сама в этом меня теперь уверила. Счастье не нужно, чтобы этому верить. На будущее можно глядеть спокойно, ибо оно уже не отымет счастья. Оборотимся к прошедшему»³.

«Я как будто вижу глазами этого товарища», — писал Жуковский, и увидел его:

Ты предо мною
Стояла тихо,
Твой взор унылый
Был полон чувства.
Он мне напомнил
О милом прошлом;
Он был последний
На этом свете.
Ты удалилась,
Как тихий ангел,
Твоя могила,
Как рай спокойна.
Там все земные
Вспоминанья,
Там все святые
О небе мысли;
Звезды небес!
Тихая ночь!

(19 марта 1823 г.)⁴

¹ Елагиной, Дерпт 1823 г.

² Той же, Дерпт 1823 г.

³ Ей же, 19 мая 1823 г., из Петербурга.

⁴ Проф. Архангельский отнес к периоду 1822–1823 годов, между прочим, и следующее стихотворение, несомненно стоящее в связи с стихами на смерть Маши:

Звезды небес,
Тихая ночь!
Ваше молчанье

Образ, кольцо, Lieder Вейрауха, принадлежавшие покойной, доставлены были позже Зейдлицем Жуковскому, своему Herzensbruder, с которым он не надеялся больше увидеться, и Воейковой¹.

Всякий раз, когда Жуковский мог отлучиться из Петербурга, он спешил в Дерпт на могилу Маши².

«Никогда не забуду дерптской могилы и цветов ее», — вспоминал Ал. Тургенев в дневнике 1825 года, побывав на кладбище Père Lachaise.

«Милый друг, Саша жива и даже не больна... — писал Жуковский Козлову, — мы вместе — это не утешение, но облегчение. На счет ее здоровья будь спокоен: слезы лучше всякого рецепта. Но последнее сокровище ее жизни пропало (М.А. Мойер — А.В.). Этому ничто не пособит. Мы ни о чем не говорим, ни о чем ни думаем, мы вместе плачем, и все тут» (март-апрель 1823 г.).

В 1823 г. вероятно у Мойера, Жуковский встретил Языкова, только что поступившего в число студентов Дерптского университета, и ухарски зажившего жизнью немецкого бурша³. Певец Эрота и круговой чаши, он становился чист и застенчив, способен к «девственной любви», когда «молился» на Воейкову. Она поднимала его нравственно, он стал ее поэтом, ею навеяны, ей посвящены многие дерптские его стихотворения. У Мойера собиралась русская молодежь, рассказывает Вульф, «бывало недели в две раз придет к нам дикарь Языков, заберется в угол, промолчит весь вечер, полюбуется Воейковой, выпьет стакан чаю, а потом в стихах и изливает пламенную страсть свою к красавице, с которой и слова то, бывало, не промолвит»⁴.

Тайными чарами
Душу покоит!
Звезды небес,
Тихая ночь!
О счастье живом
Минувших времен,
Раз улетевшем,
Не будем мечтать...

¹ Письмо Зейдлица из Астрахани в коллекции А.Ф. Онегина. — Экземпляр музыкальных композиций Вейрауха подарен был Жуковским М.А. Мойер 19 октября 1819 г.; она подарила его Зейдлицу за *три дня* до смерти, 6 марта 1823 г., как гласит надпись на нотах по сообщению проф. Висковатова (сл.: Н.И. Стояновский, В. Жуковский, чествование его памяти в С. Петербурге 29 и 30 января 1883 г., приложение 4-е). Но М.А. Мойер скончалась 18 марта.

² Зейдлиц I. с. С. 137–138; Дневник 1829 г., 21 июня.

³ Несколько данных для студенческих годов Языкова дает Шенрок, Русская Старица. 1903. Апрель. С. 143 и след.

⁴ Русский Архив. 1867г. № 5 и 6. С. 720.

В послании к А.Н. Вульфу (1828) Языков поминал золотое время, когда

В нас торжественно бурлила
Чародейственная сила
Первой, девственной любви;
Мы друг другу объясняли
Сердца тайные печали
И желания свои.
Помнишь ли, как нежно-пылки
В честь Воейковой потом
Пили, били мы бутылки
У пруда перед костром?

Когда порой он закутит – и очнется, его первые мысли обращались к Воейковой, и мы слышим его признание, – чем она была для него:

Забуду ль вас когда-нибудь,
Я, вами созданный? Не вы ли
Мне песни первые внушили,
Мне светлый указали путь
И сердце биться научили?
Я берегу в душе моей
Неизъяснимые, живые
Воспоминанья прошлых дней,
Воспоминанья золотые.
Тогда для вас я призывал,
Для вас любил богиню пенья;
Для вас делами вдохновенья
Я возвеличиться желал.

Для нее он стал поэтом, был «полон божества, могуч восстать до идеала».

Тогда я ждал... Но где ж они,
Мои пленительные дни,
Восторгов пламенная сила
И жажда славного труда?
Исчезло все – меня забыла
Моя высокая звезда.
Взываю к вам: без вдохновений

Мне скучно в поле бытия;
Пускай пробудится мой гений,
Пускай почувствую, кто я.

(А.А. Воейковой 1825 г.)

Когда она уезжала, он не дожидается ее:

Уж долго грешными мечтами
Я занимал свою молву!
Вы сильны дать огонь и живость
Певцу, молящемуся вам,
И благородство и стыдливость
Его уму, его мечтам.
Приму с улыбкой ваши узы,
Не буду петь моих проказ!
Я, видя вас — любимец музыки,
Я только трубадур без вас.

(А.А. Воейковой)¹

По смерти Маши Жуковский перенес всю свою любовь на Воейкову: он болеет о ней, бережет ее издали. «Пора бы твоему чувству дать иное направление, — пишет он Ал. Тургеневу (31 января 1825 г.), — пора бы из этого омота по крайней мере вытащить нашу дружбу». О! если б можно было возвратить «старое время это со всею его простотою, как мы втроем, ты, я и Саша, еще могли быть спокойно счастливы друг другом. Но то, что у тебя в сердце, несбыточное, невозможное, все будет портить, и мы, достойные друг друга, будем только рознить сами себя с собою».

В мае 1826 г. Жуковский уехал за границу², откуда справлялся о здоровье Александры Андреевны; между тем у нее открылась чахотка и за границу посылали ее саму. Жуковский встревожен, просит написать ему «всю правду», есть ли у нее средства, хло-

¹ Пьеса эта помечена 1830 г., когда Воейкова уже скончалась († 1829). Судя по началу, стихотворение написано по случаю отъезда Воейковой: поэт смотрит с надеждой на Петербургскую дорогу, молится, чтоб возвращение было благополучно. В конце 1829 г. покинул Дерпт и Языков.

² К 1826 г. отнесено 7-м изданием. Г. Ефремова письмо Жуковского к Козлову из Царского Села, где он живет в «соседстве с Сашей». «Время идет порядочно, благодаря занятиям. Жаль только одного: некогда сходить на поклон к музе. Это твое дело. Обдумай на всякий случай *сюжет моих двух монахов*. Он просит его прислать два экземпляра его «Чернеца», один с надписью В.П., другой М.П. Ушаковым. «Чернец» вышел отдельным изданием в 1824 г.; верно ли определена дата письма?

почет об ее устройстве¹; встретил ее 13/25 сентября в Берлине² и, проводив, вернулся через Дрпт в Петербург³.

«Я опять принимаюсь за старое, — пишет он отсюда Е.Г. Пушкиной 25 октября / 6 ноября 1827 г., — но очень много недостающего в Петербурге для сердца: моя бедная Саша Воейкова уехала в Гиер и остановилась в Страсбурге с больными детьми. Это меня жестоко тревожит». Он заинтересовал в больной граф. Разумовскую⁴, просит Тургенева — узнавать о Саше, быть ей полезным, но через других: «твое сношение с нею кончено и не должно ни под каким видом возобновляться» — и он журит приятеля за то, что тот обмолвился Козловскому о своих чувствах: «о том, что у тебя с нею было, ни слова никому! Это обязанность твоя и перед собою и передо мною!.. Загладь старое!» (1827 г., 25 октября). «Не тревожь ее ничем: ее жизнь на волоске» (10 января 1828 г.). Об ее здоровье приходили то утешительные, то тревожные вести (к Тургеневу 6/18 апреля и 2/14 сентября 1828 г.). «Вот целый месяц, как не имею никаких известий об Александре Андреевне, ни от нее прямо, ни от тебя, — писал Жуковскому Перовский с театра военных действий (Анапа, 22 июня 1828 г.). — Напрасно стараюсь успокоить себя и уверить, что письма есть, но до меня не дошли. Предчувствиям не верю, но они меня не оставляют; последние известия были такие страшные». Жуковский должен писать ему обо всем подробно, где бы он ни был, письма его найдут, «разве буду на том свете; в таком случае скорого ответа не жди, но будь уверен, что и там буду я всегда твой и ее верный друг». Он ранен, просит друга написать Саше, что ему лучше (4 сентября 1828 г. из лагеря под Варной), что на днях будет здоров (24 сентября, Одесса) — и он пеняет на Жуковского, что тот встревожил Воейкову печальной вестью; это ей вредно. Она писала Перовскому, что 1 октября едет в Пизу; «снабдил ли ты ее всем нужным? В противном случае напиши мне, я тебе отсюда в состоянии отвечать удовлетворительно» (28 сентября, Одесса)⁵.

Между тем Жуковский спокойно, с каким-то умилением, ждал смерти Саши, писал о том ей самой. «J'ai lu votre lettre

¹ К Козлову, Эмс 3/15 июня 1826 г.; к Тургеневу 23 июля/4 августа и 18/30 августа 1826 г.; к Козлову 3/15 июля, 23 июля/4 августа и 8/20 августа 1827 г. Сл. письмо к Жуковскому графини Разумовской 5 августа 1827 г.

² К государыне 15/27 сентября 1827 г., к Тургеневу 17/29 сентября того же года.

³ К Тургеневу 9 и 13 сентября 1827 г.

⁴ Сл. ее письмо к Жуковскому 28 октября 1827 г.

⁵ Русск. Старина. 1903. Июль. С. 125, 127, 128 и 129.

a Peroffsky: il faut vous perdre [Я читал ваше письмо к Перовскому; придется вас потерять]»; и в другом: «Alexandrine, mon ange! Peut-être vous êtes déjà mon ange sous tous les rapports!» [Александрина, мой ангел! Может быть, вы уже мой ангел во всех отношениях! (франц.)]¹ К идее смерти светлой, освобождающей, он привык, кончина Маши его осветила, он так проникся верой в «небесное товарищество», что говорит об умирающей, как будто она была уже нездешней. «В мыслях я уже с нею простился... Я точно теперь в таком положении, как бы сам готовился оставить землю и перейти в другую жизнь... Наш здешний мир переходит на ту сторону. Все отделяется от жизни. Остается одна строгая должность» (к Тургеневу 14/26 февраля 1829 г.). «Нежнейший товарищ моей души оторвался от нее... — писал он Тургеневу, получив известие о ее кончине (16/28 марта 1829 г.), — и для меня навсегда с нею исчезла самая близкая родная душа. С 15-летнего возраста до теперешнего времени была она во всем моим прелестным товарищем. Сперва, как милый, цветущий младенец, которым глаза любовались в такое время, когда душа расцветала; потом, как веселая, живая, беззаботная, как будто обреченная для лучшего земного счастья, как сама ясная надежда. Как была она мила в своей первой молодости! Точно воздушный гений, с которым так было весело мне в моем деревенском поэтическом уединении. Потом, как предмет заботы и сострадания, как смиренная, но всегда веселая, при всем своем бедствии, жертва Воейкова. Все это пропало; от всего этого осталась последняя минута ее, светлая, возвышающая душу. Перед этою минутою молчит сожаление об ней. Как жалеть об ней? Можно сказать, что жизнь к ней не коснулась; она посреди всего житейского прошла чистою, без усилия, по одной младенчески непорочной природе своей».

Воейкова скончалась 16 февраля 1829 г. и погребена в Ливорно. Жуковский просил Тургенева позаботиться об ее памятнике: памятник должен быть такой же, как Машин, та же надпись, «их души были одинаковы, хотя в разном образе; и можно сказать, что между их могилами та же разница, какая между их наружностью. Для одной умершей небо Лифляндии и тихий уголок подле большой дороги, за которою поле, покрытое жатвою; природа простая и приятная, как ее тихие свойства; над другою голубое небо Италии с его яркими звездами и благовониями юга, очаро-

¹ Зейдлиц I. с. С. 146–147.

вательными, как ее милое, восхитительное ребячество, как поэзия ее сердца»¹.

В посвящении «Наля и Дамаянти» (16/28 февраля 1843 г.) Жуковский вспомнил о «двух родных, земной судьбиной разрозненных могилах».

И Козлов грустно задумался, чем была для него, еще так недавно, Светлана:

Кругом гроза, – но ты была со мной,
Моя судьба душой твоей светлела;
Мне заменил твой дружеский привет
Обман надежд и блеск веселых лет;
Забылось все; как пленники в неволе,
Привыкнул я к моей угрюмой доле;
Она – скажу ль? – мне сделалась мила:
Меня с тобой она, мой друг, свела,
*И, может быть, недаром мы узнали,
Как много есть прекрасного в печали.*

Теперь он надолго разлучен с ней, но

В уме моем ты мыслию высокой,
Ты в нежности и тайной и глубокой
Душевных чувств, и ты ж в моих очах,
Как яркая звезда на темных небесах.

Он ждал ее, мчался к ней душою, но его песни к ней, песни сквозь слезы, до нее не долетели:

Тиха ее далекая могила,
Душа светла в надзвездной стороне,
Но сердце тех, кого она любила...
Святая тень! молился обо мне.

(Ал. Ан.В... к.. ой).

Языкова посетили другие воспоминания:

Ее уж нет, но рай воспоминаний
Священных мне оставила она.

¹ Письма к Тургеневу 19/31 окт., 6 ноября н. ст. 1832 г., 15/27 янв. (откуда взята цитата) и 14/26 марта 1833. Сл. письмо к родным в Муратово. Зейдлиц. С. 149–150.

Бывало на ежегодном студенческом пиру, «у пруда, на бархате лугов», он пел «не наобум», не для друзей,

Нет, не для вас! Она меня хвалила,
Ей нравились разгульный мой венок,
И младости заносчивая сила,
И пламенных восторгов кипятилок.
Когда она игривыми мечтами,
Радужная, преследовала их,
Когда она веселыми устами
Мой счастливый произносила стих:
Торжественна, полна очарованья,
Свежа — и где была душа моя!
О! прочь мои грядущие созданья,
О! горе мне, когда забуду я
Огонь ее приветливого взора,
И на челе избыток стройных дум,
И сладкий звук речей, и светлый ум
В любуемся кристале разговора.
Ее уж нет! Все было в ней прекрасно!
И тайна в ней великая жила,
Что юношу стремил самовластно
На видный путь и чистые дела
.....
Блажен, кого любовь ее ласкала,
Кто пел ее под небом лучших лет...
Она всего поэта поднимала —
И горд, и тих, и трепетен поэт
Ей приносил свое боготворенье.
(Воспоминание об А.А. Воейковой 1831 г.)¹.

В 1833 г. Жуковский был в Италии.

Ты будешь зреть тех волн очарованье, —

¹ Сл. дневник А.Н. Вульфа 19 июня 1832 г. у Л. Майкова. Пушкин, биографические материалы, с. 181. Быть может, памяти Воейковой («Ее уж нет, любви моей прекрасной») посвящено стихотворение без даты: Об ней. — «Какое-то неизъяснимо смутное чувство проникает душу, когда читаешь последние стихи Ник. Мих. (Языкова): и отраднo, и тяжко. Это хоть не голос умирающего, а что-то прощальное. Поразительно, что его последнее слово и последняя мысль были обращены к отшедшим: к годам студенчества и к Воейковой, как будто он уж подавал голос тому свету». Вас. Вас. Киреевский к А.М. Языкову 15 июня 1847 г. Русская Старина. 1883. С. 629. «Женщин боялся он, как огня, — пишет о Языкове Д.Н. Свербеев, а вместе с тем мечтал о них постоянно... — Он воспевал их не одну, а многих, и был, кажется, пресерьезно влюблен в Воейкову». Русск. Арх. 1899. Сентябрь. С. 144—145.

пел ему Козлов, —

И нежный блеск над Brentою луны,
И вспомнишь ты дум пламенных мечтанье,
И юных лет обманутые сны.
О, в сладкий час, душою посвященный
Друзьям живым и праху *незабвенной*...
Скажи земле певца Ерусалима,
Как мной была прекрасная любима.

(К Италии. В.А. Жуковскому)

«Прекрасная» — это, может быть, Италия; незабвенная, — вероятно, Воейкова. Для Жуковского она и Мойер сплывались уже «здесь» в «товариществе небесном»

14 апреля 1833 г. Жуковский был в Ливорно и записал в своем дневнике: «Я отправился на кладбище. Долг свой милому праху Саши заплатил только биением сердца при приближении. Остальное смущено поспешностью, помехою; я срисовал милой гроб наш. Место тихое, ясное». Из Ливорно он поехал в Пизу, где случай привел его остановиться «в трактире окнами против окна, в коем сидела Саша, и против той башни, которая своим звоном оживила ее последнюю земную минуту»¹.

Эпитафией Воейковой выбраны были слова Евангелия от Иоанна (XIV, 1–4), которые Жуковский назначил для надгробной надписи Маше — и себе²: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Мя веруйте» и т.д.

Извиняясь перед Ф.Н. Глинкой за свое долгое молчание, Воейков ссылаясь на «черный» год: потеря жены, переводение детей из-за 5000 верст (?), хлопоты о том, как бы, куда бы приютить их³; затем у детей коклюш, у него самого четыре раза на-

¹ В 1839 г. Жуковский посетил в Гааге M-me Dedel: «Она познакомилась с Сашею в Гиере, потом с нею вместе была в Гиере и Пизе и закрыла ей глаза» (Дневник 11/22 апреля 1839 г.).

² Сл. письмо кн. Вяземского Плетневу 19 ноября / 1 декабря 1852 г. Эта эпитафия изображена, в числе других, на гробнице В.А. и Е.А. Жуковских на кладбище Александро-Невской лавры.

³ Детей Воейковой привез в Дерпт к их бабушке Зейдлиц. Жуковский не только доставил Воейковой необходимые средства для поездки за границу, но позаботился и о ее семье (Зейдлиц 1. с. С. 145 след.; Зонтаг в Отчете Имп. Публ. Библ. за 1893 г. С. 132 и след.: письмо к А.М. Павловой). Ввиду этого он хлопотал о сохранении за Воейковым издания «Инвалида», хотя с Воейковым у него нет ничего общего, писал он Имп. Николаю Павловичу: «Меня приковала к нему бедственная судьба его жены, которая выросла на моих руках и стоила лучшей участи. Я и теперь прикован к нему ее милыми сиротами» (письмо

чинался антонов огонь. «Вот радости, в коих утопает тот человек, которого недавно знали вы здоровым, счастливым любовью ангела-подруги, в цветнике детей, в кругу образованнейшего общества столицы, осыпанного милостями царя и особенным благоволением великого князя Михаила Павловича. Теперь он стоит, как подрытая башня-руина, готовая обрушиться на развалины и пепел, ее окружающие. Это все внешнее; в сердце же своем я спокоен; когда же взгрустнется, то вспомню слова Спасителя, вырезанные на могиле моей Александры Андреевны: Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Мя веруйте» (16 ноября 1829 г.)¹.

30 марта 1830 г., Русский Архив 1896. № 1. С. 113). В письме к государю (Эмс 1840 г., июль) Жуковский говорит, что в 1839 г. продал свою аренду, чтобы обеспечить сирот Воейковых. По его просьбе Мария Воейкова принята была в Екатерининский институт (Русская Старина. 1898 г. Ноябрь. С. 364 и след.), и позже государыня пристроила ее при вел. княгине Марье Николаевне (письмо к Государыне из Дармштадта 1844 г., 25 марта). Он же заботился о сыне Воейковой, Андрее, воспитывавшемся в Женеве, и о наследстве его сестры Екатерины, составившемся из данного им же капитала (письмо к Наследнику 20 января 1847 г.).

¹ Литературный Вестник. Т. IV. Кн. 8 (1902). С. 345–347.

VII. Лирика чувства и ее личные мотивы

На увлечении Жуковского Марьей Андреевной Протасовой надо было остановиться: она была для него «позвией жизни», под ее влиянием он стал поэтом личного чувства, благоговейного, элегического, не страстного. Это-то чувство и наполняет лирику его первой поры: что в ней лучшего — это *Gelegenheitsdichtung* [стихотворения на случай (*нем.*)]; небольшие стихотворения, выражающие если не великие скорби (Гейне), то искреннюю скорбь. Оттуда и мрачный репертуар, и своеобразные философии любви и счастья.

На земле нет счастья, есть только тень его, утраченное счастье, счастье самоотречения; настоящее счастье в воспоминании о блаженных минутах, пережитых чувством и постоянно его питающих; полнота счастья за гробом: «возлюбленный образ» летит за душою в вечность,

Ей спутник до сладкой минуты свиданья.

(«К Нине», 1808)

Свиданье там,

Где жизнь без разлуки,

Где все не на час.

(«Эолова арфа», 1814)

Воспоминанье и *ожиданье* чего-то за таинственным пределом — вот две основные ноты любовной поэзии Жуковского; ему 23 года, а он уже «к протекшим временам» летит «воспоминаньем» («Вечер», 1806).

Воспоминанье его любимый *Leitmotiv*; так, в «Трех сестрах», в «Видении Минваны» (1808), в послании к Батюшкову (1812):

Как будто с вышины
Спускается приятный
Минувшего привет,

И то, что невозвратно,
Чего навеки нет,
Опять животворится,
И тихо веют, мнится,
Над нашей головой
Воздушною толпой
Жильцы духовной сени
Невозвратимых тени!

Воспоминание — «это милое товарищество, которого и смерть не разрывает, по которому мы одни исполняем то, что прежде исполняли вдвоем» (письмо к Киреевской, 1813 г., июль). «Для сердца прошедшее вечно», — говорит Теон (1814); счастье — в удовольствии с воспоминанием, твердит он Маше и Воейковой (1814—1815); «святое прежде» царит в стихотворениях болевого 1816 г.; «общее, неясное воспоминание, без вида и голоса, как будто воздух прежнего времени» (дневник 1818 г. 28 октября); им полон «Цвет завета», наставление гр. Самойловой (1819 г.). Поэт всегда готов «с милым прошлым за одно в воспоминаньи повидаться», потому что «милое минувших дней... милейшим будет навсегда сокровищем воспоминанья» (К кн. А.Ю. Оболенской, 1820 г.).

Нужды нет, что порой он старается уйти от него, твердит себе и другим о прелести настоящего: «Будь настоящее твой утешительный гений» (К самому себе, 1814), развивая ту же идею в дневниках и альбомах Маши, Воейковой, гр. Самойловой (1819), в обращении к Эверсу 1815 г. («Прекрасному текущее мгновение») и в ответе кн. Вяземскому на его стихотворение «Воспоминание»:

На что же, друг, хотеть призвать воспоминанье?
Мечты не дозовемся мы:
Без утоления пробудим лишь желанье,
На небо — взглянем из тюрьмы!

(1819)

Этот призыв к настоящему часто уживается на одной и той же странице с «удовольствием воспоминания». В сущности одно оно прочно, настоящее — утопия, «прибежище, я уцепился за него, как утопающий за доску», читаем мы в дневнике 1814 г.

16/28 февраля 1821 г. помечен в дневнике первоначальный текст четверостишия «Воспоминание» с толкованием, как будто

предназначавшимся для великой княгини Александры Федоровны¹; тот же культ воспоминания в приписке к «Лалла Рук» и в Отрывке письма из Саксонии (1821).

В 1824 г. написан «Мотылек»: он лхнет только к двум цветкам, не пышным и неприглядным: цветку воспоминанья и цветку сердечной думы.

О, милое воспоминание
О том, чего уж в жизни нет!
О, дума сердца — упование
На лучший, неизменный свет!
Блажен, кто вас среди губящего
Волненья жизни сохранил
И с вами низость настоящего
И пренебрег и позабыл.

В дневнике 23 ноября / 5 декабря 1832 г. записано: «Письмо великого князя. Минуты, в которые какою-то магической силою пробуждаются воспоминания и все знакомые лица весьма ясно видимы. Слышишь голоса, чувствуешь то, что чувствовал, *воздух старины*², дом, чувство прошедшей жизни». Но это чувство не вечно, слабеет со временем и горе по милым усопшим, унося счастье воспоминаний, и Жуковский вторит жалобе Ла Мотт Фуке:

Есть, правда, много избранных
Душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред иконой,
Ярко горит, пока догорит, но она и для них уж
Все не та под конец, какую была при начале,
Полная, чистая; много, много иного, чужого,
Между утратою нашей и нами уже протеснилось;

.....

Наше горе земное не надолго.

(«Ундина», гл. XVI, 1836)

В переделке Гальмова «Камоэнса» нередко красивые образы устраниены на счет воспоминанья, святой памяти, верности пре-

¹ Четверостишие это отнесено 9-м изданием г. Ефремова к 13 июля 1821 г.; с толкованием, повторяющим, с некоторыми отменами, текст дневника, и присоединением в конце стихотворения Жан Поль Рихтера на кончину королевы Луизы, оно печаталось с датой 1848 г. («Воспоминание»); стихотворение («На кончину...»), без подписи переводчика, явилось в «Московском Телеграфе» 1827 г., ч. XV, № 11.

² В тексте: сторона. Сл. дневник 28 октября 1818 г.: «воздух прежнего времени».

красному минувшему. У Гальма Кеведо рассказывает Камознсу, что и он был несчастен: умерла жена, он обливался слезами, но нашел утешение — в наследстве. И я утешился (Auch ich fand Trost), отвечает Камознс; следует известная в переделке Жуковского сцена откровения поэзии, посетившей поэта в больнице. Вот что подсказалось ему вместо короткой фразы: и я утешился:

Все переживешь
На свете... Но забыть!.. Блажен, кто носит
В своей душе *святую память, верность*
Прекрасному минувшему! Моя
Душа ее во глубине своей,
Как чистую лампаду, засветила,
И в ней поэзией горела.
И мне поэзия была отрадой¹.

В 1840 г. Жуковский давал первый урок принцессе Марии — и перенесся мыслью к первому своему появлению во дворце, 23 года тому назад, в качестве учителя русского языка вел. кн. Александры Федоровны. Вечером давали оперу Спонтини «Нурмагал»; дотоле он не знал ее, но лишь только услышал, Дармштадт исчез из его глаз, его заслонили тени прошлого,

Und manche liebe Schatten standen auf.

[И многие милые тени восстали (*нем.*)]

«Странное, непонятное очарование в звуках: они не имеют ничего существенного, но в них живет и воскресает прошедшее. Я не думал никого произвольно воспоминать, но вслед за этою картиною праздника именно те, которые тогда были и которых теперь нет, как будто сами слетели со всех сторон на поминки и тенями мимо меня провеяли». Жуковский видит воочию «идеальную Пери», то есть великую княгиню, выступавшую в ее роли, проходят и другие, «и вслед за ними моя Александра Воейкова, которой я тогда описал этот праздник, которая тогда была во всем цвете жизни, а теперь в далекой могиле, под небом Италии, светлым, как была она сама»².

¹ Сл.: Wir liebten. Uns're Liebe war ein Klang. = Пора любви! Твое *воспоминанье*.

² К государыне из Эмса 1/13 мая 1840 г. См. письмо к ней же 12/24 октября 1843 г. из Дюссельдорфа: король подарил Жуковскому музыку Спонтини на праздник Лалла Рук, он наслаждается ею в семье, и под музыку «много давно, давно про-

Воспоминание не выходит и позже из его поэтического словаря; он был прав, сказав о себе в четверостишии к своему портрету: «Воспоминание и я — одно и то же» (1837).

Все это вызывало печальные темы: образ «кладбища», унаследованный от сентиментальной поэзии, продолжает занимать поэта с первых его стихотворных опытов. С переводом Греевской элегии связано начало его литературной репутации (1802); в 1814 г., остановившись в деревне, он рисует на кладбище; в 1820-м вносит в свой дневник впечатления по дороге в Preussische Mark: «Прекрасное захождение солнца за холмом, и холм казался огнедышащей горою; все небо в огне; приятное расположение духа. Деревня Бухвальде, освещенная солнцем; церковь и кладбище и гроб, который чернелся на зареве»¹. В то же путешествие он заинтересовался картинами Фридриха²; в них нет ничего «мечтательного», они нравятся своею верностью, «ибо каждая возбуждает в душе воспоминание о чем-то знакомом; если находишь в них более того, что видят глаза, то этому та причина, что живописец смотрел на природу не как артист, который в ней ищет только образца для кисти, а как человек с чувством и воображением, который повсюду находит в ней символ человеческой жизни»³. — В 1826 г. Жуковский видел у Фридриха начатый пейзаж: большая железная дверь, ведущая на кладбище, открыта; к одному из ее столбов прислонились мужчина и женщина: они только что похоронили ребенка и смотрят издали на его могилу, небольшой «покрытый газоном холмик, у которого еще лежит заступ; недалеко другая могила с урной; там покоится прах предков. Кладбище поросло соснами; ночь, луны не видно, но она откуда-то светит; в волную-

шедшего воскресает: в звуках есть что-то бессмертное, хотя сами они бытия не имеют. С ними то, что прошло, является снова таким, (каким) оно было, во всей своей прошлой свежести и молодости,

Und manche liebe Schatten standen auf».

Жуковский не знал оперы «Нурмагал»; если она вызвала в нем воспоминания о берлинских торжествах и о Лалла-Рук с музыкой Спонтини, то это только указывает на его музыкальную память: в «Нурмагале» Спонтини воспользовался некоторыми номерами своей старой оперы-балета.

¹ Дневник 1820 г. 10 октября.

² См.: Дневник 1820 г. 11 октября, 9 ноября; 1821 г. 8 / 20 марта. Сл. письмо Жуковского к вел. кн. Александре Федоровне, Карлсбад 17/29 июня 1821 г. Русская Старина. 1901. Октябрь. С. 238, что опущено в печатном тексте «Путешествия по Саксонской Швейцарии».

³ Сл. письмо к вел. княг. Александре Федоровне 28 июня / 5 июля 1821 г. (Русская Старина. 1901. Ноябрь. С. 390); оно вошло в «Отрывок письма из Саксонии».

шемся тумане стволы деревьев точно отстали от земли, сквозь эту завесу видны могилы, простые старые памятники; один из них, длинный вертикальный камень, стоит как серый призрак. Все это составляет прелестный пейзаж. Но художник хотел сделать большее, обратить нашу мысль к загробному миру: глаза родителей обращены на могилу ребенка, и они как будто поражены каким-то таинственным явлением: туман оживлен, им кажется, что их дитя поднялось из могилы, тени предков тянутся к нему, простирая к нему объятия, и ангел мира с *оливной веткой* в руке парит над ними и их соединяет. Ни одного из этих воздушных образов не различить, виден лишь туман, но воображение дополняет намеки художника, и видение, ничего не прибавляя к простому пейзажу, лишь возвышает его естественное впечатление¹. — О других произведениях Фридриха говорит Ал. Тургенев, в том же году посетивший с Жуковским его мастерскую: художник показывал им свои юмористические картины. «Жуковский, — пишет Тургенев, — заказал ему несколько картинок. Между ними — смерть на гробе и другая — жизнь на гробе. На одной представлено кладбище, на котором около сельских памятников надгробных выюются цветы и зеленеет густая, полная жизни, трава; на другой — глубокий снег покрывает кладбище, сухое дерево напоминает ту же смерть и недалеко сугроб раскопан для могилы и заступы лежат, полузанесенные снегом. Все жило, все цвело, чтоб после умереть»². Жуковский надеется получать от Фридриха каждую весну по две картины в тот размер, в какой уже взял от него несколько. Мы с ним говорили о сюжете; он знает мой вкус, пишет он Е.Г. Пушкиной (5/17 ноября 1827 г.), сообщая ей содержание картин, из которых две хотел бы приобрести: еврейская могила на равнине при заходе солнца; христианская могила: мать у гробницы своего ребенка; крест водружен на утесе³.

¹ Французское письмо к государыне из Дрездена 2/14 октября 1826 г.

² Письмо А. Тургенева к Николаю Тургеневу 1827 г. 28 января.

³ Сл. письмо к государыне 1828 г. Сл. заботы об обедневшем Фридрихе в письме к Наследнику 1838–1839 г.; сл. дневник 1840 г. марта 19 и 20. Картинами Фридриха полна была петербургская квартира Жуковского, они произвели впечатление на И.В. Киреевского. Преобладают кладбище и мрачные сюжеты. На одной большой картине «ночь, луна и под нею сова. По полету видно, что она видит; в расположении всей картины видна душа поэта. С обеих сторон стола висит по две маленьких четверугольных картинки. Одна — подарок Тургенева, который заказал ее Фридриху: даль, небо, луна, впереди решетка, на которую облокотились трое: два Тургенева и Жуковский. Так объяснил мне сам Жуковский. Одного из них (Сергея Тургенева) мы вместе похоронили». Сл.: Полное собрание сочинений И.В. Киреевского. Т. 1. С. 21–22 (письмо 12 января 1830 г.).

Из рисунков приятеля Рейтерна Жуковскому в особенности нравится *Familienzimmer* у входа на кладбище: горница, где собравшаяся семья сетует о недавней утрате. Сам Жуковский подсказывает содержание рисунка¹. У него какой-то печальный, похоронный экстаз; сам он часто рисовал и заказывал писать могилу Маши; любимая обстановка была зимняя, могильный холм, следы на свежем снегу, мужская фигура в плаще сидит у памятника². Долгое время спустя он заказал живописцу Майделю картину-иллюстрацию к одной сцене из своих «Двенадцати спящих дев»: могильный камень, крест наклонился до земли, над ним теплится «легкий, бледный пламень» и «ворон, птица ночи» сидит на нем недвижим, вперив в месяц унылые очи³. — В 1839 г. Греева «Элегия» переведена снова.

Рядом с видениями кладбища — гимны смерти; они раздаются тем чаще, чем чаще сердечные утраты. «Для меня теперь все прекрасное будет синоним смерти», — пишет он по кончине Воейковой в 1829 г.⁴ Все это слилось впоследствии в мечтательную теорию, в поэзию смерти, в уверение, что «смерть лучше жизни», а пока питало воображение печальными образами, вело к стилю и мотивам баллады, с которою уже познакомили нас Карамзин, Турчанинова, Каменев и другие⁵, которую так недолюбливали наши классики, Мерзляков и Гнедич, Дмитриев, Батюшков, Грибоедов, но возделывал классик Катенин. Жуковского прозвали «немцем»⁶, балладником, романтиком, тогда как он не выходил из идей и представлений сентиментализма: жизнь и любовь за гробом, свидание с милыми, полнота чувства, недостижимого на земле, мир тайны и таинственности, откуда к нам спускаются желанные, но порой и грозные призраки. Передавая или, лучше, переделывая до неузнаваемости последнюю строфу Шиллеровского *Thekla, eine Geisterstimme* («Голос с того света», 1815), он заставляет ее говорить:

Не унывай: минувшее с тобою;
Незрима я, но в мире мы одним;
Будь верен мне прекрасною душою;
Сверши один — начатое вдвоем.

¹ Gerhard v. Reutern. Ein Lebensbild. S.-Pb. 1894. S. 65–66.

² Зейдлиц, I. с. С. 138.

³ I. с. С. 109–110.

⁴ I. с. С. 149.

⁵ Сл.: соч. Н.С. Тихонравова. III. Ч. I. С. 428 и прим. 140 и 141 на с. 67.

⁶ Гнедич, сл.: Тихонов I. с. С. 40.

Счастье здесь в воспоминании и ожидании; это и создает ту «флеровую мантию меланхолии»¹, то «приятно-унылое» расположение духа, то наслаждение меланхолией, которую юный Жуковский желал бы продлить на большую часть жизни². «И меланхолии печать была на нем», скажут о его безвременно угасшем юноше-певце³; «Унылость тихая в душе моей хранится... Повсюду вестники могилы предо мной» («К Филалету», 1808–1809).

Эти идеи он развил в «Видении Минваны» («Три сестры», 1808), в статье о «Меланхолии» (1808); позже, в размышлениях об афоризме Руссо: «Прекрасно лишь то, чего нет», — он станет говорить об особом рода грусти. Карамзин подошел к этому афоризму несколько развязно; «если прекрасное, подобно легкой тени, обыкновенно от нас убегает, овладеем им хотя бы в воображении, устремимся за ним в мир сладких грез, будем обманывать себя самих и тех, кто должен быть обманутым»⁴. Но Жуковский не хочет быть обманут: если прекрасно лишь то, чего нет, то «это не значит только то, что не существует. Прекрасное существует, но его нет, ибо оно является нам только минутами, для того единственно, чтобы нам сказаться, оживить нас, возвысить нашу душу, — но его ни удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем; ему нет ни имени, ни образа; оно ощутительно и непонятно; оно посещает нас в лучшие минуты нашей жизни... И весьма понятно, почему всегда соединяется с ним *грусть*, но грусть, не лишаящая бодрости, а животворная и сладкая, какое-то смутное стремление: это происходит от его скоротечности, от его невыразимости, от его необъятности — прекрасно только то, чего нет!» И «эта грусть убедительно говорит нам, что прекрасное здесь не дома, что оно только мимопролетающий благовеститель лучшего; оно есть восхитительная тоска по отчизне; она действует на нашу душу не *настоящим*, а темным *воспоминанием* всего прекрасного в *прошедшем* и тайным ожиданием чего-то в *будущем*.

А когда нас покидает
В дар любви, у нас в виду,
В нашем небе зажигает
Нам прощальную звезду»⁵.

¹ Сл. Жуковского «Жизнь и источник» 1798 г.

² Дневник 1805 г.

³ Сельское кладбище 1802 г.; в переводе 1839 г.: «и меланхолия знаки свои на него положила».

⁴ Аглия 1794 г.: «Что нужно автору».

⁵ Сл. заметку Жуковского к Лалла Рук 1821 г. и дневник того же года под 4 февраля. В письме к вел. кн. Марье Николаевне 24 июня 1838 г. он говорит, по поводу праздни-

Под конец жизни, когда религиозные интересы в нем обострились, Жуковский ограничил роль меланхолии в христианском мирозерцании¹; теперь ее блаженство, изредка перебиваемое желанием посвятить «прекрасному текущее мгновенье», определяет его воззрение на жизнь: это полоса настоящего, уныло протягивающаяся между воспоминаниями прошлого и чаяниями будущего; на этой полосе кишит общественность, но для сентименталиста она не существенна: образование характера, счастье семьи на первом плане, а если оно будет, то на втором «исполнение общественных условий». Жуковский остался верен до конца этому идеалу; широких интересов к общественности он в себе не воспитал, но он был тверд в теории самодовлеющей человечности, меланхолически колеблющейся, в ожидании и воспоминании, между прошлым и грядущим.

Через эту пропасть поэзия перекинула свою радугу. Он смолода толкует о ней, определения растут, яснее со временем, производя впечатление целостности развития; досказано было лишь то, что раньше было только намечено. «Стихи, сочиненные в день моего рождения, к моей лире и к друзьям моим» (1803) и «К поэзии» (1805 г.) еще полны общих идиллических мест: поэт, презирающий бурный мир, мечтает в убогой хижине — и блажен, ибо он соглашает свою лиру с свирелью пастухов. Если в статье Энгеля, переведенной Жуковским («О нравственной пользе поэзии»), нравственные и поэтические начала отличены друг от друга по существу, и требование их связи касается лишь личности поэта, то в заметке «О критике» (1809) изящное является (по Зульцеру) тождественным с добром, моральной красотой. Пламя поэзии

лишь в ясной
Душе неугасим.
Когда любовью страстной
Лишь то боготворим,

ка Лалла Рук, о красоте, как о чем-то неземном; «это чувство красоты есть неизменный товарищ веры. Верую мы сводим небо на землю, чувством красоты мы земное, так сказать, возвышаем в небесное... красота есть святыня». — К толкованию афоризма Руссо Жуковский вернется в известном письме к Гоголю (Слова поэта — дела поэта 1848 г.) и в письме к анониму с поздравлением новобрачных: пусть слагают вдвоем свою «поэму, жизнь должна быть поэма... Мысли кипят, душа живет и возвышается, мир украшен; а вместе с поэтом живут его жизнью и те, кто его понимают; и при том, что он выражает словом и звуком, есть еще в запасе и то, чему нет выражения, но что потому-то и прекрасно. Il n'y a de beau que ce qui n'est pas [Прекрасно лишь то, что не существует. (*франц.*)]». Сл.: Русск. Архив. 1872 г. № 12. С. 2369. (Строки «А когда нас покидает...» — из стихотворения «Лалла Рук». — *Ред.*)

¹ «О меланхолии в жизни и в поэзии», 1845 г.

Что благо, что прекрасно...
Тогда и дарованье
Во благо нам самим,
И мы не посрамим
Поэтов достоянья.
О друг! служенье муз
Должно быть их достойно:
Лишь с добрым их союз.
Слияв в душе спокойной
Младенца чистоту
С величием свободы,
Боготворя природы
Простую красоту,
Лишь благам неизменным,
Певец любимец мой,
Доступен будь душой.

(К Батюшкову, май 1812 г.).

Призвание поэта — «любовь к добру переливать в сердца» (к А.Н. Арбенева, 1812 г.); поэт «святых добра законов толкователь» (к кн. Вяземскому, 1814 г.); «поэзия есть добродетель» (к кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину 1814 г.). — Этот афоризм долго останется в памяти юных сверстников Жуковского. Когда он выхлопотал для разжалованного в солдаты Боратынского производство в офицерский чин, Боратынский писал ему 5 марта 1824 г.: «Вы возвратите мне общее человеческое существование, которого я лишен так давно, что даже отвык почитать себя таким же человеком, как другие; и тогда я скажу вместе с вами: хвала поэзии, *поэзия есть добродетель*, поэзия есть сила; но в одном только поэте, в вас, соединены все ее великие свойства»¹. 10 ноября 1840 г. Кюхельбекер так же отозвался из Акшинской крепости на письмо к нему Жуковского из Дармштадта: «Я знавал людей с талантом, людей с гением, но, Бог свидетель! никто не убедил меня так живо в истине высказанной вами же, что *поэзия есть добродетель*»². — Именно поэзия-добродетель и «должна иметь влияние на душу всего народа... принадлежит к народному воспитанию» (к Тургеневу 21 октября 1816 г.).

Года три спустя «жизнь унылая» изображается ладьей, плывущей среди туманов; за нею вьются юность, мечта и надежды, фантазия и вдохновение — и муза, которая, внимая пению сверстницы,

¹ Сл.: Русский Архив. 1871. № 6. С. 0239.

² Ibid. № 2. С. 0177; сл.: Русская Старина. 1891. № 10. С. 83.

Засыпала в тишине
И ловила привиденье
Счастья милого во сне.

Но друзья разлетелись, одинокая ладья равнодушно плывет в беспредельность — и вдруг что-то затрепетало над зыбями, чем-то повеяло, встрепенулся сонный парус и челнок пошел быстрее: кто-то светлый прилетел с песнью надежды, и жизнь очнулась, разлетелся мрак, вернулась «прежней веры тишина».

О, хранитель, небом данной!
Пой, небесный, и ладьей
Правь ко пристани желанной
За попутною звездой.
Будь сиянье, будь ненастье,
Будь, что надобно судьбе;
Все для жизни будет счастье,
Добрый спутник, при тебе.

(«Жизнь, видение во сне», 1819)

Либо с небес незванное слетало вдохновенье,

На все земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
Жизнь и поэзия одно.

(«Я музу юную бывало...» 1823)

В «Рафаэлевой Мадонне» (1821) творчество художника — откровение, приподнимающее завесу неба. «Кто ты, призрак, гость прекрасный? К нам откуда прилетал?» — спрашивал поэт таинственного посетителя (1824) и отвечал вопросами: может быть, надежда, любовь, дума о минувшем — или *святая поэзия*, с которой «все близкое прекрасно, все знакомо, что вдали»? Или предчувствие «о небесном, о святом»?

Поэзия уже соседит с религией; «святая поэзия» Карамзина¹; несколько раз встречается у Жуковского выражение, что прекрасное — религия².

¹ Поэзия 1787 г.; Дарование 1795 г.

² По поводу Маши, Самойловой, вел. кн. Александры Федоровны, Карамзина; сл. дневн. 1821 г. 31 июля: «Негели (композитор и преподаватель музыки) музыка, Отче наш: поэзия».

В этом направлении разовьется и далее его понятие о поэзии: традиционно-сентиментальное в основе, поднятое до отвлеченных высот недочетами чувства, для которого формула «жизнь и поэзия одно» имела, в сущности, реальный смысл: «поэзия и счастье — одно и то же; счастье в свете, в надеждах на жизнь» (к Киреевской), поэзия — счастье, «то есть тишина души, надежда в будущем, наслаждение в настоящем» (к Тургеневу). Но счастье не приходило или давалось наполовину, и он утешал себя, что поэзия для него «громоотвод», поэзия «золотой середины»¹.

Так сложилась из форм сентиментализма и ранних опытов сердца уныло-мечтательная, личная поэтика Жуковского. Как помирить ее с тем, что мы знаем о нем как о весельчаке, проказнике? В юности он любил перешучиваться с А.М. Соковниной и сам валился со смеха от своих шуток²; в 1814 г. Батюшков с живейшим удовольствием вспоминал о московских вечерах, проведенных с Жуковским и кн. Вяземским, «и споры, и шалости, и проказы»³. Кн. Вяземский так характеризует его в кружке Арзамаса: «он был не только *гробовых дел мастер*, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! При натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залого карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острою замысловатостью»⁴. Он «удивительно как наострился в галиматье, — говорит Дашков о Жуковском как секретаре Арзамаса, — он недаром так долго жил с Плещеевым; любимое его выражение: Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье»⁵. Кн. Вяземский вспоминает о шутовских пьесах, разыгрывавшихся на домашнем театре в орловской деревне Плещеева: он и Жуковский сочиняли их вместе, последний написал, между прочим, «Любовные похождения влюбленного и обманутого импрезарио» и «Скачет грузочек по ельничку». «Надобно было видеть и слышать, с какой самоуверенностью, с каким самодовольством вообще скромный и смиренный Жуковский говорил о произведениях своих в этом роде, и с каким добродушным и ребяческим смехом певец Сельского Кладбища, меланхолии, всяких ведьм

¹ Сл. выше с. 164, 207, 211.

² Сл. выше с. 85.

³ Письмо к Жуковскому 3 ноября 1814 г., Соч. Батюшкова III. С. 303. Т. I. С. 112 и след., 129 и след.

⁴ Полное собр. соч. кн. Вяземского VIII. С. 415.

⁵ Русский Архив. 1866. Ст. 500 (письмо к кн. Вяземскому 26 ноября 1815 г.).

и привидений цитовал места, которые были особенно ему по сердцу»¹. Веселое, доброе лицо Жуковского живо сохранилось в памяти графини А.Д. Блудовой, еще девочки в 1829/30-х годах: она видела его в своей семье, у гр. Вельгорских, у Мердера, при дворе, у него самого в квартире Шепелевского дворца, «где нас очень занимали картины, странные, своеобразные, с каким-то оттенком привидений и почти невещественности, как баллады; между прочим небо, одно небо, без земли и без моря, неопределенное, пустынное, и на нем только видно, как филин летит. Одна черта в разговоре Жуковского была особенно пленительна. Он, бывало, смеется хорошим, ребяческим смехом, не только шутит, но балагурит, и вдруг, неожиданно, все это шутовство переходит в нравоучительный пример, в высокую мысль, в глубоко грустное замечание; и по временам его рассказы касались чудесных случаев и он умел уносить вас в область загробную или в поднебесную высь с таким полным убеждением, что иногда он казался таким же странным и почти сверхъестественным, как

¹ Русский Архив. 1866. № 6: Выдержки из старых бумаг Остафьевского Архива. С. 373 и след. Одна из шуточных пьес, упоминаемых кн. Вяземским, недавно издана проф. Архангельским (Полное собрание соч. В.А. Жуковского. СПб., 1902. Т. I. С. 94 и след.: «Коловратно-курьозная сцена между господином Леандром, Пальсом и важным господином доктором»); другая найдена недавно в деревне Колоды (Гдовского уезда, Петербургской губернии) у г-жи Сарычевой; она досталась ей, вместе с другими бумагами, от ее матери, бывшей замужем за дерптским профессором славянского права фон Рейц. Заглавие драматической шутки такое: «Елена (Екатерина — А.В.) Ивановна Протасова или дружба, нетерпение и капуста. Греческая баллада, переложенная на русские нравы Маремьяном Даниловичем Жуковятниковым (Жуковским — А.В.), председателем комиссии о построении Муратовского дома, автором тесной конюшни, огнедышащим экс-президентом старого огорода, кавалером ордена трех печенок и командором Галиматъи. Второе издание. С критическими примечаниями издателя Александра Плещепуновича Чернобрысова (Плещеев, которого Жуковский называл своим «негром» — А.В.), действительного мамелюка и богдыхана, капельмейстера коровьей оспы, привидегированного гальваниста собачьей комедии, издателя топографического описания париков и нежного компониста различных музыкальных чревобесий, между прочим и приложенного здесь нотного завывания (Плещеев был компонистом — А.В.). Муратово 1811» См.: Новое Время 1901 28 авг.: (Як. Юкельсон). Интересная находка. — Когда Плетнев затеял издать письма Жуковского, кн. Вяземский писал ему 19 ноября/1 декабря 1852 г.: «Печатайте, без зарения совести и неуместного целомудрия, и шуточные письма его, буфонские, чисто Арзамасские, где веселость его развертывалась во всю Ивановскую. Эта сторона не должна пропасть без вести и дополнить характер его. Как я писал Булгакову по этому предмету, тот не будет вполне знать Суворова, кто не будет иметь понятия о проказах и причудах его. К тому же вздорное Жуковского доходило до истинного красноречия, до высокой гениальности». — Образцы его карикатурных рисунков известны, но они не оправдывают название его юмористом. Сл.: Рус. Стар. 1902. IV. С. 124—126 (письма к граф. Ю.Ф. Барановой).

лица в его рассказах»¹. «В беседах с короткими людьми, в разговорах с нами, до того увлекался он часто душевным, полным, чистым весельем, что начинал молоть премилый вздор. Когда же думы засядут в голове, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе... В нем точно смешение ребенка с ангелом»². Таков и отзыв Смирновой: «в чисто-русской натуре Жуковского было много германизма, мечтательности и того, что называют *Gemütlichkeit*. Он любил расходиться, разболтаться и шутить в маленьком кружке знакомых самым невинным, самым детским манером»³. И сам он говорил впоследствии Никитенку: «Странно, что меня многие считают поэтом уныния, между тем как я очень склонен к веселости, шутливости и даже карикатуре»⁴.

Соединение меланхолии, мечтательности с внезапными взрывами веселья — не загадка, а довольно обычный психологический факт: чередование света и тени; перевесы бывают на той или другой стороне, бывают светлые минуты и у «великих меланхоликов»⁵, бывает и слияние в юморе, парящем над явлениями жизни. У Жуковского нет романтического юмора, да и смех его не тот творческий смех, который проникает в явления, озаряя их своим светом и жизнью, а детский смех, удовлетворяющийся шаржем и беспечным хохотом. Оттого так тусклы его басни и эпиграммы, и он так увлекался пародиями Плещеева. Таким смехом забываются: Жуковский мог балагурить в Муратове, Долбине и Арзамасе, хохотать над «Утехами меланхолии», быть забавным в сказках, в письмах к Дашкову, Смирновой и др. — все это было перебоем меланхолии. Меланхолии нажитой: она-то сделала сердечной его лирику, в которой моменты испытанного счастья и горя выразились в личном стиле эпитетов, образов, афоризмов. У всякого поэта есть такого рода клише, пристрастие к которым мы часто не умеем объяснить; у Жуковского многие из них — биографические обобщения, заповеди сердца. Любовь не удалась, но он живет воспоминанием о ней, о милом прошлом: «*для сердца прошедшее вечно*» («Теон и Эсхин»)»⁶; воспоминания — это «*фонари*», освещающие темный путь жиз-

¹ Русский Архив. 1872. № 7–8. С. 1240.

² Воспоминания Ф.Ф. Вигеля. Ч. 3. С. 136.

³ Воспоминания А.О. Смирновой. Русск. Арх. 1871. № 11. Ст. 1873.

⁴ Записки и дневник А.В. Никитенка. 1. С. 404.

⁵ Пушкин («Мысли на дороге» 1836 г.) о Гоголе по поводу его «Петербургских записок».

⁶ Сл. послание к Филалету 1808–1809 г. и взятые оттуда стихи в письме к Киреевской 5 мая 1814 г.: «Грядущее для нас протекшим лишь прелестно».

ни¹; в воспоминании *много милых теней восстает*: афоризм, усвоенный поэтом из посвящения Фауста: *Und manche liebe Schatten steigen auf*²; «*все в жизни к великому средство*», утешал он себя в минуты сердечной невзгоды, и любил повторять этот афоризм Теона, изменяя его: все в жизни средство к прекрасному³, добру, счастью; Теон разумел под «все» — горечь и радость, Жуковский пришел впоследствии к заключению, что «радость» надо исключить; «все» — это горечь⁴. В воздаяние за нее, за мрачное *здесь* — светлое грядущее *там*, которого так не любил Воейков (сл. письмо Жуковского к Киреевской 7 ноября 1816 г.); одно время это *там* представлялось ему в образе Кашмира, чудеса которого мерещатся с горы ему (письмо к Киреевской 1815 г.) и Маше: *il faut monter la montagne pour voir le royaume de Cachemire*, писала она ему в сентябре 1814 г.⁵; «*благоуханный, безмятежный Кашмир*» «Лалла Рук» (1821 г.), долины которого вспомнились Жуковскому в посвящении «Наля и Дамаянти». — Для «гробовых дел мастера» поэзия страдания была товарищ несравненный, громоотвод (Жуковский к Киреевской 19 февраля 1816 г.), хотя сам он порой не мог читать своих стихов, потому что, писал он Тургеневу после свадьбы Маши, «они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня: они говорят мне о той жизни, которой для меня нет! Я смотрю на них, как потерявший веру смотрит на церковь, в которой когда-то он с теплою, утешительною верою

¹ Один из любимых образов Жуковского. В заголовке апрельской тетрадки с дневником, предназначенным для Маши (1815), красуется рисунок фонаря; философия фонаря развивается в одних и тех же выражениях в его заметках, внесенных в дневник Маши (1815), в альбомы Воейковой (1815) и гр. Самойловой (1819 г.); о фонарях-воспоминаниях говорится в письмах к Киреевской (24 мая и августа — сентября 1815 г., 7 ноября 1816 и 1822 г. осенью). В наброске французского письма из Берлина 5 декабря 1819 г. читаем: *Ce reverbère est le symbole que j'ai choisi pour mon cachet. Permettez moi de vous en faire l'explication* [Этот уличный фонарь — символ, который я избрал для моей печати. Позвольте мне его вам объяснить. (*франц.*)] (Бумаги В.А. Жуковского. С. 10). Фонарики, фонарных дел мастера являются в письме к Елагиной, осенью 1822 г. Письма Жуковского ему нужны, пишет ему Перовский: они дают ему пламя, от которого зажечь свои фонари. — И свою будущую жену Жуковский наставляет в «*cette philosophie du reverbère* [философии уличного фонаря]» (1841 г. 14/26 марта СПб.).

² Сл.: Общее предисловие к «Двенадцати Спящим Девам»; письмо к Маше 1 ноября 1820 г.; к Гёте 1822, 25 февраля, к Тургеневу 31 января 1825 г., к государыне 24 июля 1837 г., 1/13 мая 1840 г. и 12/24 октября 1843 г.

³ К Киреевской и Маше в 1815 (сл. выше с. 161 и след.), к Ал. Тургеневу 1816 летом.

⁴ Сл.: Зейдлиц I. с. С. 240. Сл. письмо Ал. Тургенева к брату Николаю 16 августа 1827 г.: «Все в жизни к великому средство, сказал наш брат Жуковский, и твое одиночество, и моя любовь к тебе, и память о Серее, и его могила, и наша жизнь в виду этой могилы, все не для этой минутной жизни, но для нас и для других посредством нас и для вечности».

⁵ Сл. выше, с. 180.

молился» (25 апреля 1817 г.). И тем не менее известные образы, одни и те же выражения, выжитые, выстраданные, продолжают у него повторяться и впоследствии; как Шатобриан¹, он переносит порой целые строки, размышления, описания и т.д. из «белой книги» в дневник, из дневника в письмо, из одного письма в другое. Когда дело идет об одном и том же патетическом, глубоко захватывающем моменте, эти повторения нас поражают, как нечто рассудочное, бесстрастное (сл. письмо к Арбеновой и Свечиной о поездке к Лопухину с отрывком дневника; письма о смерти Маши и др.), мы едва находим ему объяснение: как будто чувство вылилось однажды так цельно, выражение его так образно кристаллизовалось, что на всякое воспоминание, при всякой исповеди другому, оно отзывается теми же словами, тем же мотивом. Несомненно, что кристаллизация происходила в «белой книге»; Жуковский был прав и, вместе, неправ, когда писал великой княгине (4/16 июня 1821 г.), что он не сочиняет своих писем к ней, а пишет «как судьбе угодно, следовательно без всякой строгой правильности». Впечатления могли быть новые, но поверялись они уже готовыми афоризмами и расщеплялись ими. Стоило поэту, в разных обстоятельствах жизни прикоснуться к этим клавишам, в которых еще дрожал для него тон сердца, он настраивался мечтательно, улетал воображением в подлунную страну, и, вернувшись на землю, мог бы ощутить себя в неловком положении, если бы порой замечал противоречие. Но его собственные формулы обязывали его, как волшебника его заклинания, и в жизни, и в поэзии: вне их он как будто не находил выражения для новых споров чувства.

Ко всему этому приучились и читатели: Жуковский не мог не витать, не идеальничать, не писать страшных баллад:

Вот Жуковский в саван длинный
Скутан, лапочки крестом,
Ноги вытянувши чинно,
Черта дразнит языком;
Видеть ведьму воображает
И глазком ей подмигнет,
И кадит и отпевает,
И трезвонит и ревет.

(Воейков, «Дом Сумасшедших», 1814)

¹ Сл.: Chevolut, Lucien. Wie hat Chateaubriand in seinen späteren Werken seine früheren benutzt. Heidelberg, 1901.

Это был его «покрой»¹, певец «невинности, любви и красоты»² не мог не быть поэтом уныния. Фиалкин-Жуковский в «Липецких Водах» кн. Шаховского (1815) — чувствительный поэт:

В нем сердце быть должно, которо б изливало
Слезу горячую в грудь друга своего...
Чтобы он чувствовал, чтоб чувствовал как бьется
Любовью вешее; чтобы в природе всей
Он видел милую, чтоб жил одною ей;
.....
Чтоб в скромной хижине вмещал он целый мир
И утро бы ему наивно улыбалось
И веселил его одной природы пир.

Он напуган мертвецами и питает свой вкус — балладами:

И полночь, и петух, и звон костей в гробах,
И чу! Все страшно в них, но милым все приятно,
Все восхитительно, хотя невероятно.

Известно, какую «парнасскую бурю» подняла в литературном мире комедия Шаховского: друзья вооружились за Жуковского в письмах, сатирах, эпиграммах; он молчал, еще более привязываясь к поэзии, святой поэзии, которая независима от близоруких судей и довольствуется сама собою³. Друзья предупреждали: «Старушка престрашная, но она также пойдет в печать, — писал ему в Дерпт, очевидно, в 1815 г., Ал. Тургенев⁴. — Графиня Строганова просит тебя заключить этой уткой твои баллады. Страшнее ничего не напишешь, а может случиться с тобою то же, что и с *M-me Radcliffe*: испугаешься сам своих баллад, как она своих романов». Ими любили — пугаться, с этой целью С.П. Свечина просила у Тургенева «Старушку», которую он успел внести в свой

¹ Полн. собр. соч. кн. Вяземского, III, № CLXIII, 1823 г.

² Там же, № LXVIII, 1816 г.

³ Сл.: его письмо к друзьям в Белёв, осенью 1815 г. и Русский Архив. 1900. № 8. С. 473–474: А.Я. Булгаков пишет брату о представлении Липецких вод: *C'est une satire contre le балладник Жуковский et Homère Ouvaroff. Жуковский, en sortant de théâtre, s'écria [выходя из театра, воскликнул]:*

О, чудо из чудес природы!
Он сотворил сухие воды.

⁴ Из неизданного письма, без даты.

альбом: «Si vous pouvez me confier le volume de poésies de M-r Жуковский où se trouve Старушка, vous combleriez de joie le canton, en le faisant mourir de peur» [Если вы сможете доверить мне том стихов Жуковского, где находится Старушка, вы доставите радость всей округе, заставив ее умирать со страху. (*франц.*)]¹.

Репутация установилась: певец 1812 г. est la favori de la nation [любимец нации], писал о нем в 1817 г. Уваров; воспитанный на английских и немецких поэтах, он создал у нас «le genre de Scott, du lord Byron et de Goethe»², что для 1817 г. не верно. В том же году Воейков, хорошо знавший личную жизнь Жуковского, так характеризовал его в отрывке из поэмы «Искусства и Науки»:

Жуковский! с якорем, лилеей и крестом,
Ты об возвышенном, прекрасном и святом
Нам проповедуешь, несчастных утешитель!
Об небе говоришь, как будто неба житель,
Указываешь путь из сей юдоли бед
В мир истины, добра, любви, в тот мир, где нет
Разврата, низости, корысти, вероломства...
...Играя, сыплешь ты
Из полной горсти нам алмазы и цветы,
Брег дикий, монастырь, развалины, кладбище,
И мрачный лес — твое любимое гульбище.
И сладок для тебя шум ветров и морей;
Но ты — веселый гость на пиршестве друзей.
О, друг! Не позабудь, успехом обольщаем,
Что новых от тебя чудес мы ожидаем;
*Твой пламень не погас средь бедствий; пусть же вновь
Ярчей зажжет его счастливая любовь*³.

Любовь погасла среди бедствий: как раз в 1817 г. Марья Андреевна Протасова вышла за Мойера — а Воейков пророчит Жуковскому какую-то «счастливую любовь»! Это было риторическое пожелание, — но в сердце Жуковского в самом деле что-то «закипело, запылало».

¹ Выдержка из письма Свечиной в неизданном письме Ал. Тургенева к Жуковскому 14 июля (1815 г.?). Сл.: Дмитриева М.А., Мелочи из запаса моей памяти. С. 190: «Е.П. Балашова рассказывала, что Жуковский читал „Старушку” у нас в доме, и она не понравилась многим дамам, слушавшим чтение, и они отсоветовали печатать балладу».

² Сл. статью в *Conservateur impartial*, 1817 г., № 83, переведенную, в сокращении, в «Вестнике Европы» того же года. Ч. 96. № 23 и 24. С. 201–208. Сл.: Соч. Батюшкова. III. С. 747–8.

³ Вестник Европы. 1869. Ч. 104. № 8. Апрель.

VIII. При дворе. Графиня Самойлова. Поэзия мадригала и «сердечного воображения»

В том же году, благодаря рекомендации Карамзина, Жуковский пристроился к двору в качестве учителя великой княгини, и Дмитриев поздравил его «с новым монаршим благоволением» (6 сентября 1817 г.). «Должность, мне теперь порученная, есть счастливая должность, — отвечает он ему (20 сентября 1817 г.), — не по тем выгодам, которые могут быть соединены с нею, но по той необыкновенно приятной деятельности, которой она меня подчиняет. Для поэта это главное. Имею перед собою цель прекрасную, к которой буду идти без всяких беспокойных посторонних видов; могу быть и обеспечен на счет всего, кроме *долга*, и этот долг привлекательный». Первая лекция Жуковского состоялась в Москве 22 октября¹; в дневнике 27 октября помечено: «*Без всякого беспокойства желания смотрю на будущее и весь отдан настоящему. Милая, привлекательная должность. Поэзия, свобода!*» А на другой день такие размышления: «Чистое счастье делает религиозным. Все прекрасное — родня. Каждое прекрасное чувство все оживляет в душе: дружбу, поэзию; и все это сливается в одно: Бог». А далее: «мы знаем здесь одно *потерянное* счастье. Счастье — наш предмет, мы имеем здесь только тень предмета».

Карамзин пишет ему из Петербурга шутливо: он и жена ищут ему невесту, но за невесту не отвечают; «ищем, ищем. М-ме Левенштерн у нас пила чай, и об вас говорили; бьется ли сердце?». А Карамзина приписывает: «*Je songe aussi à la promise future. Je suis à la recherche* [Я также мечтаю об обещанном счастье. Я ищу. (*франц.*)]» (1 ноября 1817 г.). Но «должность» начинает увлекать его: «Мое положение прекрасное. Душа жива. Могу действовать без принуждения, могу действовать для добра; чувствую, что буду действовать бескорыстно» (дневник 6 ноября). То же в письме к Карамзину (8 ноября 1817 г.): «Прошедшее не туманит нисколько моего настоящего; я люблю свою должность — это большое счастье. Цель моя — быть в ладу с самим собою; постараюсь, до

¹ Сл.: Русский Вестник. 1889. Август. С. 356.

нее достигнув, от нее не удалиться»¹. «Мое все хорошо, и я радуюсь своею участью, ибо на душе легко, и мне весело находить в этой душе одни только теплые, бескорыстные желания и намерения, достойные тебя, Карамзина и Арзамаса» (к Тургеневу 8 ноября 1817 г.).

Но в самом ли деле он бескорыстен? Он подвергает себя беспощадному анализу: как в дневнике 28 июля 1814 г. он различал в себе вседневного и совершенного человека², так и теперь: точно в нем два человека, «один (человек) высокой, чистой, другой — мелочной, слабой». Какая ему нужда казаться для других не таким, каков он есть, приноравливаться к ним в пустяках, уважать одобрение других более своего собственного? Он не будет ни спокоен, ни деятелен «без оживительного уважения к самому себе; надобно, чтобы всякой поступок производил это уважение — по чувству и правилу, или по одному только правилу, вопреки самого чувства, но согласно с долгом» (дневник 2 декабря 1817 г.).

Вместе с тем он чувствует себя в новой обстановке, как дома, идеализует ее, очарован своей ученицей. «Продолжается ли очарование или кроткое удовольствие сердца?» — спрашивает его в 1818 г. по этому поводу Карамзин, и сам он надеется, что когда кончатся его «грамматические занятия, сухие и непоэтические», то «и поэзия авось воскреснет»³. Но поэзия пробиравалась и в уроки грамматики. «On m'avait donné comme maître Василий Андреевич Жуковский, — вспоминала впоследствии его царственная ученица, — poète déjà fameux, trop poète pour être bon maître. Au lieu de rester à étudier la grammaire, un mot donnait une idée; l'idée faisait chercher un poème, le poème donnait le sujet d'une conversation, et ce fut ainsi que se passaient toutes les leçons; aussi j'appris très mal le russe [Мне дали в учителя Василия Андреевича Жуковского, уже знаменитого поэта, слишком поэта, чтобы быть учителем. Вместо того чтобы оставаться при изучении грамматики, он в слове черпал идею, идея отправляла на поиск стихотворения, стихотворение давало тему разговора, и так проходили все уроки; в итоге я очень плохо выучила русский. (франц.)]»⁴. Он же был в своей сфере и мог в самом деле сказать о себе:

¹ Русский Архив. 1900. № 9. С. 38–39.

² Сл. выше с. 172.

³ К Дмитриеву 28 ноября 1818 г. В 1818 г. Жуковский составил для вел. княгини *Esquisse de grammaire russe*. St. Petersburg 1818 г. Сл. письмо к нему Дмитриева февраля 1818.

⁴ Рус. Стар. 1896. Окт.: Имп. Александра Федоровна в своих воспоминаниях. С. 32.

Что выпал мне на часть удел желанный,
Что младости мечты совершены,
Что не вотще доверенность к надежде
И что «теперь» пленительно, как «прежде».
(«Цвет завета», 1819)¹

В июле 1819 г. написано известное нам обращение к Мойеру и перевод «К Эмме»: как тому любовью быть, что может миноваться, спрашивал он свою Эмму и отвечал вопросом: может ли умереть чувство, зажженное небом? Между тем в 1818 г. переведено из Гёте: «Новая любовь — новая жизнь» (*Neue Liebe, neues Leben*):

Что с тобой вдруг, сердце, стало?
Что ты ноешь? Что опять
Закипело, запылало?
Как тебя растолковать?
Все исчезло, чем ты жило,
Чем так сладостно грустило;
Где беспечность, где покой?..
Ах, что сделалось с тобой!
.....
Я неволен, очарован;
Я в неволе золотой,
Обессиленный, прикован
Шелковинкою одной;
*И бежать очарованья
Нет ни силы, ни желанья;
Рад тоске; хочу любить...
Видно, сердце, так и быть!*

У Гёте оттенок другой: девушка приковывает его к себе против его желанья,

Muss in ihrem Zauberkreise
Leben nun in ihrer Weise.
*Die Veränderung ach wie gross!
Liebe! Liebe! lass mich los!*

[Теперь я должен жить в ее волшебном кругу, на ее манер. Ах, слишком крутая перемена! Любовь! Любовь! Отпусти меня! (*нем.*)]

¹ Может быть, Жуковский в самом деле включил в эти стихи аллюзию на свои личные отношения. Так, кажется, понял это и Зейдлиц, *л. с. С.* 113.

Очень может быть, что стихотворение это стоит в какой-нибудь связи с коротким любовным эпизодом в жизни Жуковского, на который намекает Ал. Тургенев в письме к кн. Вяземскому (12 ноября 1819 г.): Жуковский «неистощим в любовных мечтаниях и настроил было опять душу и любовь свою для поэзии: *положил на ноты звук своего сердца или сердечного воображения, и следовательно тоска его по счастью семейственной жизни не совсем пропала для нас и для потомства*».

Жуковскому 36 лет, и он «хочет любить»; за ним опыт «романтической любви», давшей определенные схемы и его чувству; если кто-нибудь возбудит в нем долю знакомых настроений, их доскажет *воображение сердца*, и роман может повториться снова. В этом смысле «тоска по счастью семейственной жизни» могла бы действительно не потеряться для поэзии, если б к природной застенчивости Жуковского, воспитанной обстоятельствами, не присоединились и разность общественного положения, и придворный этикет, и навязанная себе роль салонного поэта, за которую так доставалось Жуковскому от его друзей.

Он увлекся графиней Софьей Александровной Самойловой, 22 летней красавицей, фрейлиной Императрицы Марии Федоровны. 28–29 июня 1819 г. он воспевает «Платок графини Самойловой», который она уронила в воду, катаясь на взморье. *Платок* переживает в воображении поэта самые роскошные метаморфозы; между прочим у петергофских берегов отдал его красавице дельфин.

Но знайте: наш дельфин ведь не дельфин-башмак,
Тот самый, что в Москве графиня Катерина (roug la gime)
Петровна вздумала так важно утопить
При мне в большой придворной луже.

В конце концов платок «взлетел на небеса и сделался комета». Через несколько дней (8 июля 1819 г.) Жуковский шлет В.П. Ушаковой, графине Самойловой и др. «от некоторого жалкого стихотворца прошение»: он шесть дней, как хворает, и «смирно умоляет» прислать ему

Из царского земного рая:
Десяток вишен в *башмаке*,
Клубники в носовом *платке*,
Малины в лайковой *перчатке*.

Просьба была исполнена, о чем поэт и извещает в недавно найденном стихотворении, подписанном 9 июля и обращенном к граф. Самойловой: ему принесли корзину фруктов, он принял ее «трепетной рукой»,

И мнилось, таинства судьбины
На дне лубочных корзины
Разоблачились для меня,
И жизнь уж стала не загадка!
О ты, прелестная *перчатка*,
Тебя я знаю! ты родня
Перчатки той честолюбивой,
Которую поэт счастливой
Весной прошедшею, в Кремле,
Поймал на мраморном столе,
Когда, гордясь сама собою
И в ссоре с милою рукою,
На волю року отдана,
Гляделась в зеркало она!
А ты, *башмак*, ты брат Дельфину!
Отправив брата-близнеца
За странником-*платком* в пучину
Найди для странника-певца
На суше верную дорогу..
Но как тебя назвать, *платок*?
Как ты зашел в мой уголок?
В час добрый! гость, судьбою данный!
Я знаю, тот непостоянный
Платок, изменник и беглец,
Не может быть твоей роднею!
Пускай сияет он звездюю, –
Ты будь *моим*! тебе певец
Себя отныне поверяет!
Когда он жизнью заскучает,
И мрачным путь найдет земной –
Лицо закроет он тобой;
Под сей завесою чудесной
Все станет вдруг опять прелестно
Для добровольного слепца!..
Когда ж в страну воображенья
Сберется полететь поэт,
А рифм и жарких мыслей нет
И вялы крылья вдохновенья, –
Тебя лишь только разостлать,
Ты будешь коврик окрыленной
И можешь за предел вселенной
Певца и музу перемчать!

Все это отзывается мадригалом во вкусе XVIII века, даже «воображение сердца» куда-то спряталось, но и сердце осталось на мели; мечты рассеялись.

«Замечание Перовского на мой счет, если не справедливое, то по крайней мере остерегательное, — читаем мы в дневнике Жуковского 13 августа, — нет ничего опаснее, как *pas a pas* [шаг за шагом. (*франц.*)]. Нечувствительно сверху падаешь на дно. *L'essentiel c'est de ne rien se reprocher* [Главное — чтобы не в чем было себя упрекнуть]. До сих пор я действую, кажется, прямо. Пусть *душа ей*, но воля останется моею; *она* принадлежит *товарищу*. Лишь бы поскорее все, что надобно, высказать. Это бы дало более свободы и верности действовать».

Дело идет о В.А. Перовском, которого мы встречали в кружке близких друзей Жуковского; мы с тобою «два Пилада, два Ореста, можем сказать даже два Данона и Пидиаса» (*sic*), — писал ему Перовский после пустяшной размолвки¹. И вот Перовский признался другу в увлечении графиней Самойловой — и друг великодушно отступился:

Товарищ! вот тебе рука!
Ты другу вовремя сказался;
К любви душа была близка:
Уже в ней пламень загорался,
Животворитель бытия,
И жизнь отцветшая моя
Надеждой снова зацвела!
Опять о счастье мне шептала
Мечта, знакомец старины...
Любовь мелькнула предо мною.
С возобновленную душою
Я к лире бросился моей,
И под рукой нетерпеливой
Бывалый звук раздался в ней!
И мертвое мне стало живо,
И снова на бездушный свет
Я оглянулся, как поэт!..

Но он верен дружбе, не забыл товарища:

Сим не созревшим упованием,
Едва отведанным душой,

¹1824 г. Сл. Вестник Европы 1901. Апрель: Захарьин (Якунин). Дружба Жуковского с Перовским. С. 532.

Подорожу ль перед тобой?
Сравню ль его с твоим страданьем?

Ему знакомы его признаки:

Сии приметы знаю я!..
Мой жребий дал на то мне право!

И он благословляет товарища:

Люби! любовь и жизнь — одно!
Отдайся ей, забудь сомненье,
И жребий жизни соверши;
Она поймет твое мученье,
Она поймет язык души!¹

Жуковский самоотверженно склонился к платоническому участию в чужом счастье, как то было в судьбе Маши и Мойера: его душа — ей, его воля — товарищу. Гений «пленитель безыменный», когда-то усыплявший мечтами его молодую душу, волновавший ее томительным желаньем, уносивший ее в высоту «поэзии священным вдохновеньем», поманил его снова и улетел.

О гений мой, побудь еще со мною;
Бывалый Друг, отлетом не спеши,
Останься, будь мне жизнью земною,
Будь ангелом хранителем души.

(«К мимопролетевшему знакомому гению»,
7 августа 1819 г.)

27 августа он записал в дневнике: «у Самойловых: приглашение в Петербург. Voeux téméraires [безрассудные желания]».

Но любовь боязливо прячется в платонизм, и снова возникает учение о *воспоминании*, вечном для сердца. Интересны в этом отношении мысли, набросанные Жуковским в альбом

¹ По рукописям Жуковского, хранящимся в Имп. Публ. Библиотеке, стихотворение это написано между 10 июля и 2 августа 1819 г.; в альбом граф. Самойловой оно внесено Жуковским с датой 23 июля 1820 г. Сл.: Н.К. Кульман. Рукописи В.А. Жуковского, хранящиеся в библиотеке гр. Александра Алексеевича и Алексея Александровича Бобринских. Известия 2-го Отд. Имп. Ак. Наук. Т. V. Кн. 4. С. 1075 и след. Следующие далее выдержки из записей Жуковского в альбом гр. Самойловой сл.: там же. С. 1079 и след.

графини Самойловой 29 августа 1819 г. (Сл. дневник под тем же днем).

Первая страница занята стихотворением Гёте An Lottchen с некоторыми любопытными пропусками: Жуковский видимо хотел обобщить его, приладив к своим отношениям. Два раза ему удалось заменить имя Lottchen, поставив вместо него Liebe (Lottchen, wer kennt unsre Sinnen? Lottchen, wer kennt unsre Herz? [Лоттхен, кто знает наши чувства? Лоттхен, кто знает наше сердце?]), в третий раз ему было труднее: он оборвал стих и пропустил следующие, говорившие о двух любящих, которых Lottchen дружески приветствовала. Разумелись Гёте и Кестнер; Жуковский опустил Перовского-Кестнера, — и остался один. Он выписывает:

Denk ich dein...

У Гёте:

Denk ich dein, o Lottchen, *denken dein die beiden*,
Wie beim stillen Abendrot
Du die Hand *uns* freundlich reichtest,
Da du uns auf noch bebauter Flur
In dem Schosse herrlicher Natur
Manch leicht verhüllte Spur
Einer lieber Seele zeigtest.

[Я помню тебя, Лоттхен, *оба помнят*, как на тихой вечерней заре ты дружески протянула *нам* руку, когда на возделанном лугу, на лоне божественной природы ты приоткрыла нам черты милой души.]

В конце некоторые стихи отброшены:

So fand ich dich und ging dir frei entgegen,
O sie ist wert zu sein geliebt!
Rief ich, erflchte dir des Himmels reichsten Segen,
Der es dir nun in deiner Freundin gibt.

[Так я нашел тебя и свободно пошел тебе навстречу, *О, она достойна любви!* вскричал я и вымолил у небес щедрейшее благословение, которое небеса теперь и дали тебе в твоей подруге.]

Гёте уступил Lottchen-Шарлотту Кестнеру, как Жуковский посторонился для Перовского. Он выписал стих:

So fand ich dich...,

зачеркнул следующий, уже написанный:

O sie ist wert zu sein geliebt;

остальные два стиха опущены.

На второй странице, под печатью с знакомым изображением фонаря (на черном фоне белый столб с фонарем, кидающим свет), эпитафия из «Теона»: «*Все в жизни к прекрасному средство*» и рассуждение о счастье, повторяющее, с небольшими стилистическими изменениями, мысли и выражения, знакомые нам из заметки 1815 г. в письме-дневнике к Маше и в альбоме Воейковой¹. Затем — другой, также знакомый нам девиз из того же стихотворения:

Для сердца прошедшее вечно!

«Можно некоторым образом сказать, что существует только то, чего уже нет! Будущее может не быть, настоящее может и должно перемениться; одно прошедшее не подвержено изменяемости: воспоминание бережет его». Еще раз внушается философия фонаря, подкрепленная афоризмами, которые Жуковский берег в своей «белой книге»: «я назвал бы каждое прекрасное чувство, каждую высокую, сердцем внушенную мысль — Богом»²; «жизнь есть воспитание. Все в ней служит уроком. Цель жизни — знать хорошо урок свой, чтобы не пристыдить себя перед верховным учителем» и т.д.³

Со всей этой теорией мы давно знакомы; выставляется значение настоящего как средства к прекрасному, но счастье все же в том, что было мило и пережито. Не даром вспомнились слова Теона: *Для сердца прошедшее вечно*.

Вечером 15 сентября Жуковский застал у Карамзиных одну Екатерину Андреевну; запись в дневнике: «О Самойловой». 17 сентября, в день ангела графини, Жуковский хотел подарить ей альбом, что и сделал, хотя несколько позже; книгу, которая могла

¹ Нач. «Я когда-то сказал: счастье жизни состоит не из отдельных наслаждений... Прошедшее же пускай идет с нами рядом! Пусть будет нашим добрым, утешительным, ободряющим спутником».

² См.: Дневник 1817 г. 28 октября: «Я бы каждое прекрасное чувство назвал Богом».

³ Ib. 12 ноября 1817 г.: «Жизнь есть воспитание. Все в ней служит уроком. Счастье жизни — знать хорошо урок свой» и т. д. И.А. Бычков указывает на тождественное выражение в письме Жуковского к Арбеновой. Русский Архив. 1883. № 2. С. 319.

бы ей служить руководством в чтении других; ее пользу он знает по собственному опыту: это товарищ на всю жизнь. Для Маши такой книгой был «Фенелон»¹, идеал Жуковского, — недаром Ла Фероннэ прозвал его самого русским Фенелоном². К подарку Жуковский присоединил немецкую библию и «белую книгу», назначенную для ежедневных выписок из Библии, дополнений из прочитанного и собственных мыслей. Вместо предисловия Жуковский набросал несколько своих размышлений о прекрасном, извлекаемом из опытов жизни и из самого себя, о женщине и о том, что немцы зовут *Weiblichkeit*: простота, безыскусственность глубокого чувства, стыдливое сияние среди немногих, принадлежащих женщине любовью, в семье, ибо круг ее деятельности ограничен³. Такую *Weiblichkeit* он мог видеть в графине Самойловой; кто запретит мне, пишет он ей в тот же день,

Жить с вашим благом, как с мечтой,
Души сопутницей родной,
Желать, чтоб все, что ваша младость
Так обещает вам, сбылось,
Чтоб счастье жизни вам далось,

Не ничтожное, не пустое:

Кто вашу душу прочитал,
Тот сердца тайным упованием
Иное счастье вам создал;
Тому любезнейшим желаньем
Сия прекрасная мечта,
И ободряющей звездой
Сияет над его тропею
Любимой жизни красота!

Ваше сердце наверно встретит

Прелесть жизни сей,
И ряд веселых фонарей
Дорогу вашу всю осветит!
Пусть друга-ангела рука
Их зажигает перед вами!

¹ Сл. письмо 29 марта 1815 г., выше стр. 192.

² Записки А.О. Смирновой. I. С. 67, 228.

³ Кульман. I. с. С. 1103 след.

А я, хотя издалека,
За вами следуя глазами,
Вас буду сердцем провожать
И благодарно их считать.

(«Граф. С.А. Самойловой 17 сентября 1819 г.»:

«Напрасно я мечтою льстился»)

Вечером стихи эти были предметом разговора в салоне графини Бобринской; говорили: «С'est touchant [Это трогательно]. Головная боль и танцы» – заключает свою дневную отметку Жуковский.

7-го октября Жуковский вписал еще несколько страниц в альбом Самойловой: он был некоторое время в нерешимости, отдавать ли ей свою книгу; казалось смешным дарить восемнадцатилетней девушке Библию, утомлять ее советами. «Я посмотрел на себя глазами света и показался смешным самому себе. И в этом я виноват перед вами. В чистоте и бескорыстности моего намерения заключено и его оправдание. Могу быть странным, только не в ваших глазах. Если еще не имею права сказать: *я знаю вас*, то могу сказать: *я вас предчувствую!* То есть я вижу вас *такою*, какою вы быть можете, в уверении, что мое предчувствие сбудется. Эта надежда оправдывает и мой выбор. К тому же я и не без награды: *помыслить вслух для вас и вместе с вами о добром есть счастье. Вы не должны жить, как живут обыкновенно; жизнь ваша должна быть прекрасною, а все прекрасное жизни можно выразить одним словом: религия*». Она необходима человеку вообще, женщине в особенности; чем раньше она войдет в ее жизнь, «когда душа еще в цвету», тем лучше: она становится тогда *«радостным, безмятежным бытием внутренним в отношении к нам самим и деятельною любовью в отношении ко всему, что нас окружает. И такая только жизнь может быть вам прилична... Наша душа, как магнит, имеет притягательную силу для всего прекрасного... Этой притягательной силы в душе вашей много! Давайте ей пищу: все прекрасное прильнет к ней само собою»*¹.

Из влюбленного Жуковский очутился другом. У него было какое-то объяснение с графиней Самойловой, пишет князь Ю.А. Нелединский-Мелецкий своей дочери (8 октября 1820 г.): он выразил будто бы сомнение, что она не отвечала его дружбе и его ухаживание приписала другому чувству, которое, впрочем, внушить она всех более может. Она молчала, и у ней показались

¹ Кульман. I. с. С. 1110 и след.

слезы. Может быть, она плакала с досады, замечает рассказчик; «и подлинно: как? Человек приходит женщине сказать: не подумай, ради Бога, чтоб я в тебя был влюблен!» А, может быть, и Жуковский «говорил для того, что боится слыть влюбленным: *il craint extrêmement d'être ridicule* [Он страшно боится быть смешным. (франц.)]»¹.

Но он уже успел выйти из неловкого *pas-a-pas*, сменив мадригал на серьезное назидание. *Amitié amoureuse*, идеал Жуковского, позволяло такие отступления — в сторону дружбы². Перовский, у которого также оказались какие-то платки и перчатки, взглянул на дело проще и отрезвился скорее. «При сем посылаю вам перчатку и уголок платка знакомой вам девы, — писал он Жуковскому. — Душевно желаю, Василий Андреевич, чтобы вы смотрели на сии принадлежности, как и я на них смотрел, как на простую тряпку и на простую лайку, и чтобы весна, а особенно горячее лето нашли бы вас совершенно прохлажденным. Горе вам, Василий Андреевич, если будет тому противное. В случае (чего, однако же, еще не предвижу), когда почувствуете себя довольно образумившимся, чтобы решительно открыть глаза и уши и очистить голову и сердце, прошу вас убедительнейше, Василий Андреевич, дайте мне знать через кого-нибудь о сей счастливой перемене, дабы мы вместе и торжественно предали бы земле, воде или огню все эти перчатки, *платки, ленточки и фруктовые косточки*... Ах, царь небесный! что это за праздник будет!.. Поверьте, что минута, в которую я уверюсь, что вы сделались порядочным человеком, будет приятнейшей в моей жизни! „Но не мне управлять песнопевца душой!”»³ (из Графа Габсбургского).

«Жуковский едет в Берлин, — писал Карамзин Дмитриеву (20 сентября 1820 г). — Увы! он влюблен, но не жених! Ему хотелось бы

¹ Хроника недавней старины. Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого. СПб., 1876. С. 241–242.

² «Правда ли, что Жуковский сделал вам предложение, и вы ему отказали?» — спрашивал Пушкин Смирнову; он сам видел ее милое письмо с отказом. «Что ж, это совершенная правда, у меня была такая сильная, братская дружба к Жуковскому, что мне было бы невозможно выйти за него замуж». — «Причина отличная и крайне важная, — ответил Пушкин. — Вы знаете, что дружбу зовут: любовь без крыльев. Не следует из этого выводить, что всякая любовь должна улететь, но она *реет над землей!* Любовь еще может превратиться в дружбу, но дружба не превращается в любовь, по крайней мере таково мое мнение. Любовь — симпатия особого рода и часто без видимой причины. Дружба вызвана причиной, которую можно анализировать. Жуковский говорил мне, что со времени вашего отказа вы стали еще большими друзьями; это делает честь вам обоим». Зап. А.О. Смирновой I. С. 218–219.

³ Вестник Европы. 1901. № 4. С. 533.

жениться, но при дворе не так легко найти невесту для стихотворца, хотя и любимого». «О чем грустит Жуковский? — спрашивает брата А.Я. Булгаков, — я бы радовался посмотреть белый свет, он же не оставляет никаких залогов в России. Вольный как-зак!» (20 октября 1820 г.¹).

В шутовом послании к княгине А.Ю. Оболенской того же года Жуковский просил ее указать ему путь к богу «семейственного счастья»:

Я от него благоденний
До сей поры не получал,
А что и знаю, то узнал
Из сновидений и преданий.

Все это шло вразрез с его недавними мечтами уехать в деревню, к родным. «Полное создание нашей утопии должно быть отстранено, — пишет он Елагиной, — я привязан к своему не одними узми выгод, о которых не так-то много забочусь, но узми лучшими: чистого уважения, благодарности всему этому и... поэзией, которая... все еще *копошится и всплывает*».

В конце ноября 1820 г. графиня Самойлова сделалась невестой графа Бобринского²; не к ней ли относится пометка в Берлинском дневнике Жуковского под 25 октября/6 ноября? Графине Шуваловой писала Ушакова о гатчинских радостях: «Х.³ играла на театре; воображаю, что она была прелестна, и радуюсь, что не видал ее. Я говорил об ней и о себе с Шуваловой. Чего я хочу? Ничего более, как только, чтоб она думала обо мне, как должно. Далее этому идти не надобно. Будешь смешон и жалок. Теперь главное — занятие, главная надежда — путешествие, насладиться вполне шестью месяцами, остальное на волю Божию». В Берлинском дневнике Жуковский отметил под 23 декабря стар. ст.: «у графини Шуваловой... письмо Самойловой». Ее свадьба состоялась 27 апреля 1821 г. Неизвестно, к какому времени относится коротенькая деловая к ней записка Жуковского. Она кончается так: «А я здесь подписуюсь:

¹ Русский Архив. 1900. Декабрь. С. 558.

² Сл.: Письмо Ал. Тургенева к князю Вяземскому 17 ноября 1820 г. и дневник Жуковского под 23 ноября / 5 декабря.

³ И.А. Бычков видит в этом Х княжну Хилкову, певшую партию ангела на празднествах, бывших в Гатчине в 1823 г. по случаю приезда невесты вел. кн. Михаила Павловича. В письме к Жуковскому от 4 сентября 1831 г. кн. Вяземский говорит о слухе, будто Жуковский женится на Хилковой. Сл.: Русск. Арх. 1900. № 3. С. 363.

Как вы сказали: *старый друг!*
Животворительное слово!
Им жизнь помолодела вдруг,
Им и все старое, как будто стало ново¹.

«Мы часто говорим о тебе с Софиею Бобринскою, сердцем тебе преданною, — писал Жуковскому князь Вяземский в декабре 1828 г., — она хвалится твоими добрыми советами»². Впоследствии князь Вяземский вспоминал о ней как о женщине редкой любезности, спокойной, но неотразимой очаровательности. «Она была кроткой, миловидной, пленительной наружности. В глазах и улыбке ее были чувство, мысль и доброжелательная приветливость. Ясный, свежий, совершенно женский ум ее был развит и освещен необыкновенною образованностью. Европейские литературы были ей знакомы, не исключая и русской. Жуковский, встретивший ее еще у двора императрицы Марии Федоровны, при которой она была фрейлиной, узнал ее, оценил, воспевал и остался с нею навсегда в самых дружеских сношениях»³.

Еще одно прекрасное прошедшее стало вечным для сердца. Друзья Жуковского знали любимое его motto и толковали его с некоторым ограничением, может быть, не без иронии. «Души лета не уносят, если она согревается мыслию и зреет и совершенствуется бедствиями: тогда и прошедшее счастье в пользу и тогда, и только тогда, для нее прошедшее вечно»⁴.

Мы еще раз услышим этот motto, хотя и случайно, но в обстоятельствах, с которыми он как будто не мирится.

Бог «семейственного счастья», так долго обманывавший поэта, готовился взыскать его на старости лет. Жуковский любил и, извещая (10/22 августа 1840 г.) родных в Белёве о своем предстоящем браке, вспоминает о своем последнем свидании с ними в 1839 г.: «Я увидел опять все родные места, и милые живые и милые мертвые со мной все повидались разом; все это совокупилось в одно, как будто бы для того, чтобы поставить живую грань между всем прошедшим моим и будущим». Но эта грань — только к слову. Жуковский просит родных принять в свои объятия его «добрую, непорочную Елизавету» и помышляет о жите

¹ Сл.: Кульман. I. с. С. 1116.

² Русский Архив. 1900. Февраль. С. 207–208. Сл. письмо кн. Вяземского Жуковскому 14 апреля 1833 г., ib. 1900. Март. С. 372.

³ Кн. П.А. Вяземский. Полн. собр. соч. Т. VII. С. 223–224.

⁴ Ал. Тургенев к Ник. Тургеневу 13 октября 1827 г.

вместе; разумеется, план этого «вместе» должен измениться, но это «все та же надежда, которая веселила меня прежде и которая должна непременно со временем исполниться, с тою только разницею, что нашего полку теперь прибыло (как бывало мы певали, когда сеяли просо)»¹. — Перед отъездом из Москвы Жуковский позвал священника, чтобы напутствовать его благословением при вступлении во второй период его жизни, когда должно было «осуществиться счастье, лишь снившееся в первом». Первый период «закончился совершенно»; налицо при совершении обряда присутствовали его представители: Ек.Аф. Протасова, Елагина, вместо Маши ее дочь, вместо Воейковой ее дочери, но и усопшие не могли не быть в столь торжественный момент, как бы благословляя Жуковского на новую жизнь. Когда он склонил голову под Евангелие, которое читал над ним священник, он услышал слова от Иоанна (XIV, 1—4): «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Мя веруйте» и т.д. Слова эти были любимым изречением Маши, их он выбрал эпитафией для двух «родных могил»²; они зазвучали с «того света», «голоса усопших друзей присоединили свое благословение к благословию живых». Слезы выступали невольно, радость и покой водворились в сердце. «Мог ли я лучше распрощаться с своим прошлым?» — пишет он своей невесте³.

Отправляясь в 1841 г. за границу, где должен был состояться брак, Жуковский устроил свои дела. Прощание с Мойером в Дерпте было трогательное, пафос повышен до истерии. Жуковский подарил Мойеру портрет Маши, картины, изображавшие ее гробницу на дерптском кладбище и гробницу Воейковой в Ливорно; вдруг он воскликнул: «Нет, я с вами не расстанусь!» и, вынув их из рам, сложил и велел отнести в свою карету. Мойеру он оставил свой рельефный портрет, сделанный в Риме в 1833 г. «Береги его и поверь словам, которые я вырезал на нем: *Для сердца прошедшее вечно!*»⁴

21 мая 1841 г. Жуковский женился на Ел.Ал. Рейтерн, которая была почти на 40 лет моложе его (род. 19 июня 1826 г.). В тихом семейном приюте, «далеко от шума мирского... *милое минувшее... в воспоминании*» дружилась «с настоящим» (к вел. кн. Марии Николаевне 1851 г.).

¹ Русская Беседа. 1859. III. С. 17 и след.

² Сл. выше. С. 204.

³ 14/26 марта 1841 г. (неизд.).

⁴ Зейдлиц I. с. с. 173—174. Другой портрет Жуковского, подаренный им Зейдлицу и недавно воспроизведенный в «Вестнике Европы» (1902 г., май), подписан рукой поэта: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли» (из «Камоэнса», 1839 г.).

«Для сердца прошедшее вечно», повторяющееся на расстоянии 30 лет в разных применениях — что это такое? Наивный ли эгоизм чувства, лелеющего милые воспоминания, которые сплываются для него в один, довлеющий себе аффект? В таком случае аффект отделяется от человека, его возбудившего; чувство ценится как-то отвлеченно, в самом себе, как честно изведенное, в страдании или надежде; так, Блудов, исповедуясь Жуковскому в своей к нему дружбе, определял ее как «благодарность за (возбужденные) чувства», а Жуковский радовался, что находил себя способным чувствовать благодарность. — Или это воображение сердца, *herzliche Phantasie* Новалиса, желание спасти девственность первого глубокого увлечения, введя в его колею другое или другие, как его отражения, воскресения?

Сравнение с сердечной судьбой Новалиса, которого так часто сравнивали с Жуковским, может быть не безынтересно. Рожденный в строгой гернгутерской семье, в которой юное поколение вымирало наследственной болезнью, смолоду хворый, он лелеял, как все сентименталисты, надежду на тихое, семейное счастье, мечтал, влюблялся, сватался, жил воображением. В 1794 г. он увидел Софию von Kühn, тринадцатилетнюю девочку, полуграмотную, неразвитую, выросшую в среде, пошлость которой он сознавал; но в этом подростковом было что-то привлекательное, душевное, и Новалис увлекся ею, вложил в нее свое чувство, которое она и не испытала. В марте 1795 г. произошла их тайная помолвка; вскоре явились сомнения, иллюзии готовы были разлететься, но серьезная болезнь девочки все поправила: «я люблю ее теперь больше — за ее болезнь», — писал он в то время. Когда 19 марта 1797 г. София скончалась, любовь к ней окончательно наполнила его, любовь мистическая и страстная, с упоением отдававшаяся печали, вносящая в область смерти вожделения жизни. Смерть — та же жизнь; София для него еще жива и близка, может ежеминутно реализоваться, он ее ждет; он обязан сберечь себя для ее любви — и вживается в это чувство долга. Оно является для него источником печального наслаждения, предметом сознания и анализа, и, вместе с тем, чем-то навязанным, гнетущим; фантазмагория боролась в нем с требованиями жизни, и он скорбел, когда порой они брали верх, пока софизм чувства, поддержанный философской теорией, не помог ему выйти из противоречий — к грезе единства.

Таково психологическое содержание коротенького дневника, который он стал вести по смерти своей милой, считая дни со дня

ее кончины¹. Он полон памяти о ней, старается направить к ней одной свои мысли, не развлекаться в обществе, не отдаваться веселью; часто встречаются упреки самому себе, что его фантазия была настроена несколько чувственно. У него явилась мысль покончить жизнь самоубийством, чтобы соединиться с милой: это его *решение*. «Часто вспоминал о Софии, — и моем решении», — записал он 23 апреля 1797 г.; вечером перелистал «Ночные думы» Юнга. 24 он весь день читал «Вильгельма Мейстера», «моя любовь к Софии предстала мне в новом свете... Решение мое прочно. Софии будет лучше и лучше (Sophien wirds besser gehen), следует только все более жить в ней. Мне поистине хорошо лишь в воспоминании о ней». 26 апреля он собой относительно доволен: «положим, я не вспоминал о ней с чувством, был почти весел, но все же не достоин ее: порой думал о ней, как следует, мужественно (männlich). Утром было у меня роковое, гнетущее, болезненное ощущение наступающего насморка. Решение стояло прочно, но с умеренностью и болтливостью хромало». 2-го мая родители отдали ему несколько безделок, принадлежавших покойной, и он тронут, украшает ее могилу цветами, которые накануне получил от жены Kreisamtmann'a; «к обеду они испекли большой крендель». — Порой он представляет себе Софию рядом с собой на диване, en profil, с зеленой косынкой на шее; в известных позах и платье он легче всего воображал ее себе (5 мая). Шлегель писал ему и прислал первую часть своих шекспировских переводов. «После обеда прогулка, затем кофе; погода изменилась к худшему, сначала гроза, потом облачно и бурно; я был настроен крайне чувственно. Стал читать Шекспира, совсем в него вчитался. Вечером пошел к Софии. Там я был в несказанной радости, были мгновенные проблески энтузиазма. Я сдунул перед собою могилу, как прах, века были мне мгновением, я чувствовал ее близость, казалось, она сейчас явится» (13 мая). В другой раз он перечитывает ее и свои письма и «был совсем с нею. Я пошел погулять в сад, достал молока; нашел нравственную философию Фергюссона, читал на кладбище, где и выпил молоко; затем снова гулял и опять на кладбище» (16 мая). — Решение умереть переживает разные стадии: «я не был растроган у ее могилы; но решение страстно; я должен жить лишь ради нее, лишь для нее я существую... Она высшее, единственное. О, если б я каждую минуту мог быть ее достойным! Моей главной задачей должно быть — все поставить в соотно-

¹ Сл. дневник в: Novalis Schriften, hrsg. von Ernst Heilborn I. С. 267 и след. — и, для общего, его же: Novalis der Romantiker. Berlin, 1901.

шение к ее идее» (18 мая). Его смерть будет человечеству примером верности: он докажет людям возможность такой любви (19 мая); без нее для него нет ничего на свете (20 мая). — Утром 21 мая он делал кое-какие извлечения из Фихте; был невообразимо спокоен у могилы Софии, «обсуждал решение» (*der Entschluss wird beraisonirt*). «Чем слабее становится чувственная печаль, тем сильнее духовная, и развивается какое-то спокойствие отчаяния. Свет становится постылее, равнодушие к окружающему растет, тем светлее все вокруг меня и во мне. Лишь бы мне не утешиваться по поводу моего решения: каждый довод рассудка, каждая ссылка (*Vorspiegelung*) на сердце — признак сомнения, колебания и — неверности» (22 мая). Порой у него является сознание, что он слишком отдается самоанализу, что ему необходимо обновиться в перемене впечатлений и настроений (25 мая), но он снова впадает в старую колею: его смерть будет доказательством его стремления к высшему, настоящим самопожертвованием, не бегством, не принудительной мерой (*Notmittel*); ему суждено умереть в расцвете сил, познав все лучшее, познав самого себя: *kennen und geniessen* [познать и насладиться] (26 мая); и память его милой обращается у него в *Genuss* [наслаждение]: «печальное наслаждение ее смертью» (29 мая). Его интересует вопрос, можно ли умереть от растительного яда (*ib.*); его решение дается ему легче, чем он думал: люди не так нужны друг другу, как кажется, его смерть не произведет того впечатления, какого он опасался (1 и 2 июня). В отметке 3—5 июня говорится о сомнениях, бесконечных сомнениях, от которых он хочет спастись в страстном культе своей печали: «кто бежит печали, более не любит. Любящий обязан вечно ощущать утрату, вечно держать рану открытой. Да сохранит мне Господь эту невыразимо-сладостную скорбь, грустное воспоминание, бодрое чаяние (*Sehnsucht*), мужественную решимость и твердую, как железо, веру. Без Софии я ничто, с нею все» (6 июня). Он хочет умереть радостно, как молодой поэт (11 июня); «она умерла, умру и я, свет опустел; даже мои философские заметки не должны более отвлекать меня: в глубоком, ясном спокойствии стану ждать мгновения, когда меня позовут» (12—13 июня).

С 16 июня по 6 июля в дневнике всего четыре пометки. В конце первой: «*Christus und Sophie*»; Новалис читает Шеллинга и ведет серьезные разговоры о самоубийстве. — Для 1798 г. дневник не сохранился, и всего одна запись 14 апреля 1799 г.

Может быть, уже в 1798 г. начаты Новалисом его «Гимны к Ночи», последняя обработка которых относится, судя по его письму к Шлегелям в январе 1800 г., к концу предыдущего: восторжен-

ные гимны к любви и смерти и юнговской «ночи», в которых отложились патологические настроения и видения «дневника». Мы узнаем те же образы: поэт стоит у могилы, в которой похоронил свою жизнь (*die Gestalt meines Lebens*), одинокий, подавленный, бессильный. Он ищет помощи, озирается, когда «из голубой дали, с высот моего бывшего блаженства, забрежжило; в один миг порвались узы рождения и света, исчезла земная краса (*Herrlichkeit*), а с нею и моя печаль. Печаль растворилась в новом, несказанном свете: это ты сошло на меня, вдохновение ночи, сон неба! Вся окрестность тихо поднялась, и над ней парил мой, освободившийся, новорожденный дух. Могильный холм обратился в облако пыли, и сквозь облако я увидел просветленные черты моей милой. В ее очах покоилась вечность, я схватил ее руки, и слезы стали мне сияющей, нерушимой связью. Тысячелетия проходили в даль, точно грезы, я же проливал на ее груди блаженные слезы навстречу новой жизни. Это был первый в ней сон; он миновал, но отблеск остался: вечная, незыблемая вера в ночное небо и его солнце — мою милую».

Между тем как любовь к Софии идеализовалась в *Hymnen an die Nacht*, Новалис был уже влюблен и помолвлен, со второй половины 1798 г., с Юлией Шарпантье. Она приняла участие в его сердечном горе, ее болезнь расшевелила его чувствительность; по отзывам современников, она была красивая девушка, нежное создание, с грустным выражением лица. Поэт пошел навстречу новому счастью, несостоявшемуся за его смертью (25 марта 1801 г.), но записал в дневнике 15 апреля 1800 г.: «Тихая грусть (*Wehmut*) характеризует настоящую любовь — элемент стремления (*Sehnsucht*) и соединения. На свете много цветов незнакомого происхождения, в нашем климате они не произрастают, они вестники, глашатаи лучшего существования. К этим цветам относится особенно религия и любовь». — В «фрагментах» Новалиса читаем следующий: «у меня к Софии (*Sophie*) религия, не любовь. Абсолютная любовь, независимая от сердца, основанная на вере — религия».

Друзей поэта, знавших интимную подкладку его *Hymnen an die Nacht*, его новое увлечение не удивило: София по-прежнему владела его сердцем в лице Юлии, Юлия была ее *возрождением*.

В неконченном романе Новалиса (*Heinrich von Ofterdingen*), развязку которого мы знаем из сообщений его приятеля Тика, автор пересказал отчасти историю своего сердца. Генрих фон Офтердинген влюбился в дочь Клингсора, Матильду. «Нас не разлучит даже смерть! — говорит он ей. — Не разлучит, Генрих! Где будешь ты, там и я. — Да, Матильда, я вечно буду с тобою. — И не знаю, что такое вечность, но мне кажется, что чувства, которые я испыты-

ваю, когда думаю о тебе, это и есть вечность! — Да, Матильда, мы вечны, потому что любим друг друга». Матильда утонула, Генрих неутешен, но она предстала ему в видении, слышится ее голос: Не печалься, я с тобою; ты еще пробудешь некоторое время на земле, но одна девушка будет утешением тебе, пока ты не умрешь и не приобщись к нашему блаженству. Печаль утраты миновалась вместе с чувством одиночества и душевной пустоты, осталось тихое, глубокое чаяние, томление; «будущее и прошедшее сошлись в нем, вступив в тесный союз; он был вне настоящего, и свет стал ему милее с тех пор, как он ощутил себя в нем странником на короткий срок, осужденным бродить по его пространным, разноцветным палатам». — «Я знаю, ты Матильда, ты цель моих желаний, — поет Генрих, — не дожидаясь дерзкого вопроса, ты мне откроешь, когда я предстану перед тобой. Я готов еще раз на тысячу ладов прославить чудеса земли, пока ты не придешь обнять меня». Девушка, о которой говорит Матильда, действительно является; ей имя Суане, она посылает Генриха в какой-то таинственный монастырь, где монахи — «служители священного пламени в юных сердцах», где Генрих ведет беседы о магии и смерти, участнице жизни, открывающей ее смысл. А затем он на тысячу ладов испытывает чудеса земли: впечатления Италии и Греции, востока и Германии пережиты им снова, после чего он возвращается к себе, или в себя, «на родину своей души», в сознании того, что ожидаемое исполнилось, в чаянии внутреннего «преображения». Мир фантазии сливается с действительностью, прошедшее с настоящим. Генрих снова с Матильдой, но Суане — та же Матильда; все предыдущее было смертью, последним сновиденьем — и пробуждением.

Так спасало «воображение сердца» объективное единство своей любви; воображение романтика, философа и мистика, сумевшего соединить воззрения Фихте, Hemsterhuis'a и John'a Brown'a с измышлениями Якова Бёме; жившего фантазией в мире чудесных соответствий жизни и смерти, сказки и действительности, прошедшего и настоящего, мировых и психических процессов. В этой фантастике была известная система, определявшая цельность поэтических замыслов; «сердцу прошедшее вечно» также подсказано «сердечным воображением», но это сентиментальный афоризм, уныло повторяющийся, нигде не сгустившийся в определенный образ, успокоивающий сознанием, что те «светлые минуты, в которые мы жили сердцем, созданным для прекрасного, высокого и доброго», были минутами «божественного откровения»¹.

¹ Из первой записи в альбоме Самойловой.

В 1843 г. Жуковский поднес великой княгине Александре Николаевне свой пересказ «Наля и Дамаанти» с посвящением. Ему был сон, ряд сбывшихся снов. Дерпт, где он впервые увидел прусскую принцессу при торжественном ее приезде, обратился в цветущую долину Кашмира; «был вечер тих», змеєю бесконечной вился в долину блестящий ход, и звуки торжественного марша наполняли душу поэта «сладкой грустью»; в паланкине сидела царевна молодая, невеста севера. Затем другое сновидение: поэт в «царевом доме», и кажется ему, что годы пролетели над ним мгновенно, оставив «воспоминание каких-то светлых времен, чего-то чудесного, какой-то волшебной жизни». Новая греза переносит его в его недавнее спокойное счастье, в уютный домик на берегу Рейна, к «молодой хозяйке», подруге, данной Богом на освящение его сердца. Настоящее перебивается воспоминанием, словами знакомой эпитафии:

Я чувствую глубоко тот покой,
Которого так жадно здесь мы ищем,
Не находя нигде; я слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, *веруй в Бога, веруй*
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святые написать;
И вот теперь, на вечере моем
Рука жены и дочери рука
Еще на легкой жизненной странице
Их пишут для меня, дабы потом
На гробовой гостеприимный камень
Перенести в успокоенье скорби,
В воспоминание земного счастья,
В вознаграждение любви земных
И жизни вечных на упование.

Затем фантазия снова вступает в свои права:

друг минувших лет,
Поэзия ко мне порой приходит,
Рассказами досуг мой веселит.
И жив в моей душе тот светлый образ,

Который так ее очаровал
Во время оно...

Созданием
Мечты, какой-то областью воздушной
Лежит вдали минувшее мое;
И мнится мне, что благодатный образ,
Мной встреченный на жизненном пути,
По-прежнему оттуда мне сияет.
Но он уж не *один*, их *два*: и прежний
В короне, а другой в венке живом
Из белых роз, и с прежним сходен он,
Как расцветающий с расцветшим цветом,
И на меня он светлый взор склоняет
С такою же приветною улыбкой,
Как тот, когда его во сне я встретил.
И имя им одно. И ныне я
Тем милым именем последний цвет,
Поэзией мне данный, знаменую
В воспоминание всего, что было
Сокровищем тех светлых жизни лет,
И что теперь так сладостно чарует
Покой моей обвечеревшей жизни.

Зейдлиц толковал последнее сновидение так, будто «поэтизируя свою настоящую жизнь, желая быть счастливым, Жуковский стремится *уподобить образ жены с образом идеала своей юности и зрелых лет — Маше*»¹. Это действительно напомнило бы нам мистику Новалиса; но здесь произошло другое, более внешнее сближение: сияют два образа; у Жуковского родилась дочь Александра (30 октября 1842 г.), «расцветающий цветок»; поэма посвящена великой княгине Александре Николаевне, она «в короне»; «имя им одно».

«Сердечное воображение» не знает пределов. Когда Новалис изменил своим республиканским убеждениям, он воспел не только монархию, но и Берлинский двор, так же искренне все идеализуя и всюду открывая старые и новые соответствия: любовь принцип брака — и государства, государство — брак; либо монарх — солнце, как солнце создает вокруг себя световую атмосферу, так вокруг монарха естественно образуется блестящая, поэтически настроенная среда — не искусственный, а непринужденный, разумный этикет.

¹ Л. с. С. 189.

IX. Опасения друзей

Друзья любили Жуковского, несмотря на порой существенное разногласие воззрений и убеждений. «Для дружбы все, что в мире есть», — пел «Певец во стане русских воинов», и дружба берегла его и тянула к нему издали.

«С Жуковским я на хорошей ноге, — писал Гнедичу Батюшков в феврале 1810 г., — он меня любит и стоит того, чтоб я его любил»¹; «дружба твоя для меня сокровище», — уверяет он пять лет спустя его самого². «Здравствуй, Светлана, — пишет ему из Лондона Блудов 19 марта 1819 г. в полночь, — мне захотелось, захотелось так сильно сказать тебе... что-нибудь, например, что я тебя люблю и обнимаю, как люблю, то есть, от всего сердца». Он благодарит его за письмо, за «голос с родины», который освежил его «в моральном и физическом смысле». Он привык жить сердцем, а здесь вянет, потерял здоровье и бодрость и доверенность к себе; его поддерживает сознание, что он друг Карамзина, Жуковского, Тургенева, Батюшкова и т.д., одним словом — Арзамасец. Он назвал своего мальчика Вадимом, это мой «род завещания моим детям о сей вечной, незабвенной дружбе» (1819 г. 30 августа)³. — Еще характернее письмо 1822 г. 18 июня из Петербурга: «Ты спрашиваешь меня о моих чувствах к тебе и хочешь, чтоб я сказал о них искренно, хочешь заплатить мне такой же доверенностью... Приведи себе на память, если можешь, несколько дней моего журнала, который я читал тебе здесь⁴, и позволь мне выписать из него несколько строк; увидишь, для чего. „Не буду писать и говорить о своих горестях ни с кем и никогда или почти никогда. Это в моем характере; только странно, что я всегда очень много говорю о них Жуковскому тогда, когда он за тысячу верст отсюда. Подумают, что я пишу к нему; нimalo! Но собираюсь писать. Ночью, когда сердце у меня терзается, я всег-

¹ Батюшков. Соч. Т. III. С. 76; сл.: ib. 81, 120.

² Л. с. С. 344; сл.: 319 (к Гнедичу).

³ Русский Архив. 1902. № 6. С. 335 и след., 337

⁴ Стало быть, до 1818 г., когда Блудов послан был в Лондон, либо в 1820 г., когда он вернулся.

да в своих слезах, в отчаянии, жалуясь на все Жуковскому. Но он не слышит меня и, вероятно, и проч.”. Ты знаешь сам, что сильнейшие знаки чувства видны в мыслях, а не в делах, и для того я позволил себе вспомнить о своем журнале. В наши лета, особливо, когда имеешь страсти, можно часто делами противоречить чувствам... Мои чувства к тебе не переменялись и не могли перемениться... Надеюсь, что ты любишь меня столько же, сколько я тебя. Но если увижу, что ошибаюсь (чего однако же я не думаю), то признаюсь, что это огорчит меня, однако же не отнимет надежды: дружба не есть любовь, она родится от благодарности, то есть от благодарности за чувства». Он сообщает Жуковскому вести о друзьях (Кайсаровых, Мерзлякове), обещает побудить А. Тургенева написать ему, и Тургенев приписывает, говорит о своей искренней, душевной любви. «Право, брат, мы ни о чем с таким удовольствием не говорим с Блудовым, как о тебе, и ты, как невидимый гений, соединяешь руки и сердца наши. Знаешь ли, что я теперь начал тебя более прежнего любить от того, что чем более я живу, чем обширнее становится мое знакомство, тем, напротив, сердце мое стесняется, ибо везде, везде нахожу une disette d'hommes, Ah! cachons nous, passons etc. [нехватку людей, Ах! укроемся, уйдем (*франц.*)]»¹.

В 1828 г. (29 июля) Перовский писал Жуковскому из лагеря под Варной: «люблю тебя более, чем сказать могу, но не более, чем ты знаешь»². Несколько месяцев спустя: «люблю тебя до смерти; а несколько дней тому назад видел я, что люблю тебя и при смерти, и доказал бы тебе это, если б умер: находившиеся при мне душеприказчики получили уже приказание после смерти вынуть мое сердце, порядочно высушить, завернуть и доставить тебе; это не шутя говорю тебе» (24 сентября)³.

Дружба, основанная на сердце и — привычке, на общности гуманного мирозерцания и честного служения литературе, не предполагала согласия общественного настроения и даже литературных вкусов. В кн. Вяземском, любимце Дмитриева и реалисте, всегда была французская классическая жилка, несмотря на его увлечения Байроном и симпатии к новым течениям поэзии. Он был рожден памфлетистом, говорили о нем Пушкин и Мицкевич; «буйан, боец кулачный, Елисей», говорил он о себе; «мне нужно, чтобы кровь у меня кипела»⁴, — и в молодости его

¹ Там же. С. 388 и след.

² Русская Старина. 1903. Июль. С. 126.

³ Там же. С. 128.

⁴ К Жуковскому 13 декабря 1823 г. Русск. Арх. 1900. № 2. С. 192.

письма кипели вольнолюбивыми мечтами. С другой стороны А.И. Тургенев, ближе всех стоявший к сердечной, не умственной жизни Жуковского, такой же сентименталист и филантроп, как он, но превосходивший его серьезностью своих научных интересов и широтой либерально-общественных взглядов. Геттингенская школа дала ему критическое чутье, не определив материала для критики: как в Геттингене, предоставленный самому себе, он разбрасывался на лекции по истории, химии, ботанике, так и позже он останется полигистором, прислушивавшимся, во время своего долгого скитальчества по Европе, ко всем умственным и культурным движениям запада. Пиетизм, привитый домашним воспитанием, объясняет его любовь к религиозным вопросам, находившую исход в его деятельности по департаменту духовных дел иностранных исповеданий и Библейскому Обществу. В 1815 г. он составляет указ об удалении из Петербурга иезуитов, в 1817 г. собирает у себя протестантских и реформатских пасторов, чтобы потолковать с ними о соглашении вероисповеданий¹. И здесь он какой-то эклектик: ищет религии любви на полупути между Вольтером и Кутузовым²; это не путь Жуковского. Искатель синтеза на почве сентиментализма и полигисторства, Тургенев не выяснил себя своим друзьям. В 1817 г. Пушкин набросал его молодой, несколько ветреный силуэт; долгое время спустя после его смерти кн. Вяземский назовет его космополитом, эклектической натурой³, Жуковский, помянувший его кончину душевным словом, будет говорить о неопределенности его мнений — и неуловимой физиономии, Плетнев об «избытке в желаньях к совершенству», губящем его осуществление⁴.

¹ А. Тургенев записал в (дрезденском) дневнике 1826 г. под 31 октября: «Слушал проповедь Аммона „о несогласии исповеданий и укоризнах, делаемых другими исповеданиями протестантам“. Аммон хвалил своих, Тургенев ожидал бы слова *любви*. Это напомнило ему «вечер в 1817 году, когда я сблизил пасторов протестантских и реформатских и поэт Пушкин угощал их у меня пуншем и ужином, а под конец и бичевал веселым умом своим вином разогретого пастора». В том же году написано послание Пушкина «А.И. Тургеневу», сл.: Соч. Пушкина, издание Имп. Акад. Наук. I. Изд. 2-е. С. 270—271.

² Сл. выше стр. 86. Под Кутузовым эпиграммы Андрея Тургенева разумеется П.И. Кутузов, куратор Московского Университета и его «письмо к министру народного просвещения графу А.К. Разумовскому о сочинениях Карамзина, исполненных «вольнодумческого и якобинического яда», ибо он проповедует *«безбожие и безначалие»*, и его следует показать Государю «во всей его гнусной наготе, яко врага Божия и яко *орудие тьмы*». Сл.: Чтения в Общ. Ист. и древн. российских 1858. Кн. II. Смесь. С. 185—186.

³ Соч. князя Вяземского. Т. VIII. С. 273 и след.

⁴ К Жуковскому 25 декабря 1845 г. / 6 января 1846 г. Для противовеса сл. отзыв барона М.А. Корфа. Русская Старина. 1899. Декабрь. С. 519.

И все они тянули к уловимому, в своей прозрачности, сердцу Жуковского: кн. Вяземский и Тургенев, такой рыцарь чести, как Перовский, и Блудов.

Это не исключало критики. Любили чистую мечтательность приятеля, его меланхолию, его «душу», издавна подтрунивали над его пристрастием к мертвецам, привидениям и чертям¹, говорили о какой-то «христианской выпренности»², но боялись излишеств его сердечного воображения и скоро отгадали ограниченность его психического настроения, которую впоследствии Полевой назвал однообразием мысли³, Белинский «односторонностью», ибо Жуковский «заключен в себе»⁴. Надо обеспечить Жуковского назло ему, писал кн. Вяземский А. Тургеневу: «такой человек, как он, не должен быть рабом обстоятельств. Слава царя, отечества и века требуют, чтоб он был независим. Пускай *слетает он на землю* только для свидания с друзьями своими, а не для мелких и недостойных его занятий» (1815 г. 22 марта). Он добродушно иронизирует над его *девственностью* (1818 г. 27 октября), *платонической дружбой* (1819 г. 23 мая), над его страстью всюду отыскать «немца или душу по себе» (1820 г. 8 декабря).

Далее тон становится серьезнее: «пора бросать истощенное и искони неблагоприятное поле библейское», — читаем в другом письме; «один Жуковский умеет доить и стричь этого духовного козла, от коего нет ни молока, ни шерсти. Но и то от того, что берет он из религии не краски, а чувство, *чувство страдания*, которое так приятно отзывается в сердцах страдальцев земных» (А. Тургеневу 1819 г. 17 марта). Князь Вяземский наслаждается его Аббадонной: главный недостаток Жуковского — «однообразие выкроек, форм, оборотов, а главное достоинство — выкапывать сокровеннейшие пружины сердца и двигать их. *C'est le poète de la passion*, т.е. *страдания*. Он бренчит на распятии: лавровый венец его — венец терновый, и читателя своего не привязывает он к себе, а точно прибывает гвоздями, вколачивающимися в души. *Сохрани, Боже, ему быть счастливым: с счастьем лопнет прекраснейшая струна его лиры*» (князь Вяземский Ал. Тургеневу 1 мая 1819 г.).

Критика растет: «Жуковский Шиллером и Гёте отучит нас от приторной пищи однообразного французского стола, но свои-

¹ Сл. письмо Батюшкова, июнь 1812 г. Соч. Батюшкова. III. С. 187, и I. С. 132.

² Князь Вяземский Ал. Тургеневу 18 апреля 1819 г.

³ Очерки. I. С. 123.

⁴ Литературные мечтания. Соч. Белинского, под редакцию С.А. Венгерова. Т. I. С. 352.

ми *будошниками*¹ и тому подобными может надолго удалить то время, в которое желудки наши смогут варить смелую и резкую пищу немцев»². Тургенев в восторге от «Цвета завета», «нам, немцам, весь мистицизм чувствительности понятен»³, для Вяземского Жуковский «слишком уже мистицизирует, то есть, слишком часто обманываться не надобно: под этим туманом не таится свет мысли. Хорошо временем затеряться в этой глуши беспредельной, но засесть в ней и на чистую равнину не выходить напоказ — подозрительно. Он так наладил одну песню, что я, который обожаю мистицизм поэзии, начинаю уже уставать. Стихи хороши, много счастливых выражений, но все один склад: везде выглядывает ухо и звезда Лабзина⁴. Поэт должен выливать свою душу в разнообразных сосудах. Жуковский более других должен остерегаться от однообразия: *он страх как легко привыкает*. Было время, что он напал на мысль о смерти и всякое стихотворение свое кончал похоронами. Предчувствие смерти поражает, когда вырывается, но если мы видим, что человек каждый день ожидает смерти, а все-таки здравствует, то предчувствие его, наконец, смешит нас». И кн. Вяземский рассказывает, как собирался умирать изувеченный на войне Евдоким Давыдов: «Ну, братец, и думаешь о смерти; ну и думаешь, что умрешь вечером; ну, братец, и велишь себе подать чаю; ну, братец, и пьешь чай и думаешь, что умрешь; ну, не умираешь, братец; велишь себе подать ужинать, братец; ну, и ужинаешь и думаешь, что умрешь; ну, и отужинаешь, братец, а не умираешь; опять ляжешь, ну, братец, и заснешь и думаешь, что умрешь, братец; утром проснешься, братец; ну, не умер еще; ну, братец, опять велишь подать себе чаю, братец» (1819 г. 5 сентября).

Сам Жуковский подавал повод к такой критике своего мистицизма и «чертовщины». Когда-то все это отвечало его меланхо-

¹ В.И. Сайтов предполагает, что эта аллюзия стоит, быть может, в связи с «Двенадцатью спящими бутосниками», пародией на «Двенадцать спящих дев» Жуковского. Автор пародии, явившейся в 1832 г., был Проташинский. Сл.: Остайковский Архив кн. Вяземских I. С. 616, прим. к с. 274.

² 1819 г. 24 июля, князь Вяземский Тургеневу.

³ Князю Вяземскому 30 июля 1819 г. И.И. Дмитриев нашел балладу Жуковского «с цветочком длинноватую» (письмо 10 августа 1819 г.). «Дмитриеву не может этот род поэзии нравиться. Эти цветы пересажены не в его цветущее время. Душа его завяла прежде, и душистые ароматы германо-британской поэзии нравились иногда только его взору, а не обонянию. Он искал в этих цветах одних красок и форм, а для запаха их потерял он уже необходимую свежесть чувства» (Ал. Тургенев князю Вяземскому 19 августа 1819 г.).

⁴ Известного пиетиста и мистика, издателя «Сионского Вестника». «Звезда» намекает, быть может, на его стремление «к надзвездным областям». В 1816 г. он получил Владимира 2-й степени «за издание на отечественном языке священных книг».

лическому настроению, но затем стало его стилем, эстетической игрой, которой он тешился и в которой набил руку. Еще в 1814 г. он писал Тургеневу про свою «балладу-приемыш» («Старушка»): «уж то-то черти, то-то гробы!.. Не думай, чтобы я на одних только чертях хотел ехать в потомство. Нет! я знаю, что они собьют на дороге, а, признаюсь, хочу, чтобы они меня конвоировали» (20 октября 1814 г.). В послании к Воейкову (21 декабря 1814 г.: «О, Воейков, видно, нам») он сам считает себя достойным адских мук

За ведьм, за привиденья,
За чертей, за мертвецов.

Во втором «подробном отчете о луне», представленном Государыне Императрице Марии Федоровне (1820 г.: «Хотя и много я стихами...»), кокетливо перечислены таинственные лунные эффекты Светланы, Певца, Адельстана, Варвика, Вадима, Сельского Кладбища, Эоловой Арфы, и Ал. Тургенев, только что жаловавшийся, что «Жуковский весь в грамматике»¹, ждет, что Дмитриев порадует его своим «отзывом о бородинской ночи Павловского лунатика, который и сам поразился воскресшему в нем гению»²; «Павловский лунатик», «припудренный Оссиан» — слышится в другом письме³. И сам Жуковский кается, благодаря А.Г. Хомутову за доставленную ему книгу:

Сей мрачный том, сей чемодан,
Набитый туго мертвецами,
Предчувствиями, чудесами
И всем, что так пугает нас.
Люблю я страшное подчас.

Он «чертописец» (письмо к Гнедичу 1821 г.), кн. Вяземский назвал его «гробовых дел мастером», Хомутова *ténébreux enchanteur*, «гробовым прелестником»; он не променяет эту кличку ни на какую другую славу (к Анне Григорьевне Хомутовой 1820 г.), а в письме к Нарышкину, с просьбою устроить его поудобнее в Петергофе, предупреждает, что возьмет с собою семью крылатых снов,

¹ К Дмитриеву 6 мая 1819 г.

² К нему же 23 июля 1820 г.

³ Кн. Вяземский Ал. Тургеневу 15 августа 1819 г.; сл. письмо к тому же 9 февраля 1822 г. (придворный Оссиан).

Товарищей мечты досужной,
Волшебниц, леших и духов,
Запас домашних привидений
И своекоштных мертвецов.

(Письмо к А.А. Нарышкину, 1820 г.)¹

Гоголь готов жадным ухом ловить из уст Жуковского сладчайший нектар, «приготовленный самими богами из тьмочисленного количества ведьм, чертей и всего любезного нашему сердцу» (к Жуковскому 10 сентября 1831 г.). — В 1841 году на обеде, данном Жуковскому, «разговор зашел за столом о привидениях, духах и явлениях, и очень кстати, перед их родоначальником, который пустил их столько по святой Руси в своих ужасно прелестных балладах». На этот раз Жуковский в письме к Погодину выразил опасение, что такой отзыв о нем, явившийся на страницах Москвитянина (1841 г. № 2, с. 601), может быть принят за колкую насмешку², — и если позже называл себя «поэтическим дядькой на Руси чертей и ведьм немецких и английских», то потому, что успел заглазить свой грех, отворив русскому читателю двери заповедного классического Эдема (к Стурдзе 10 марта 1849 г.).

¹ Следующее сопоставление может быть психологически интересно. В дневнике 1838 г. под 3/15 июля описывается поездка в Грингольм: Жуковскому отвели на ночь горницу с окнами в глубоких амбразурах, с старинной кроватью; на стене портреты; между ними «две женщины в роде белой женщины»; «дверка, отворяющаяся в темный коридор и на ней портрет. Словом, все, что нужно для явления самого полновесного мерзавца»; «за ужином зрители, и между ними Белая женщина». — В письме к вел. кн. Марии Николаевне (Копенгаген, 24 июня 1838 г.), часть которого напечатана была под заглавием «Очерки Швеции», описывается ужин; зрители за стульями составляли живую, подвижную картину, над ними — другие неподвижные, безмолвные зрители, точно пришедшие с того света узнать, что делает поколение нашего века. «И что же вижу? Бледная фигура с оловянными глазами, которые тускло светились сквозь очки, надвинутые на длинный нос, смотрит на меня пристально. Я невольно вздрогнул. Фигура тронулась, прошла мимо зрителей так тихо и медленно, что, казалось, не шла, а веяла, и вдруг пропала. Кто была эта гостя — не знаю. Но мне пришло в голову, что это был образчик того явления, которое ожидало меня ночью». Жуковскому сказали, что именно его комнату особенно предпочитают привидения. Когда он вернулся к себе, было за полночь; он долго ходил, пока решился загасить свечу и лечь спать. «Что же? Я подхожу к своей постели!.. Но мне надобно оставить перо до следующего письма, в котором доскажу, что случилось со мной в замке Грингольм». На этой фразе намеренно кончается текст Очерков; видно, как зародилось впечатление и как оно слагается сознательно-литературно в таинственно настраивающий рассказ.

² Сл.: Барсуков, Жизнь и Труды М.П. Погодина. VI. С. 18 и след.; Русский Архив. 1899. Октябрь. С. 302 и след.; Модзалевский. Письма Н.Д. Иванчина-Писарева к И.М. Снегиреву. Известия Отд. русск. яз. и словесности Имп. Ак. Наук. VII. 4. С. 118.

Приятелей беспокоила не только односторонность балладника, но и влияние на него необычной придворной сферы, в которой он очутился. Он «страх как легко привыкает»; мы знаем от него самого, что он «очарован», нашел поэзию, свободу. Его полюбили в царской семье, и сам он к ней привязался, но он будет идеализировать все, не поддающееся идеализации, искать счастья, где его нет, приюта чувству, где на него не может быть отклика — и лениться между двумя мадригалами.

Д.В. Давыдов боится, «чтобы из независимого философа» он «не поступил в рабы фортуны»¹. «Жуковский, хотя еще и на месте (при дворе, в Москве), но редко посещает меня, — писал Ал. Тургеневу Дмитриев (18 марта 1818 г.). — Ревность друзей его почти достигла цели: кажется, поэт мало-помалу превращается в придворного; кажется, новость в знакомствах, в образе жизни, начинает прельщать его. Увидим, в чем найдет более выгоды, и между тем будем питаться „Овсяным киселем”. Для меня и он по вкусу, но я лаком и люблю разнообразие»². В этом смысле говорил он и Жуковскому и объясняется с ним в письме 30 декабря 1818 г.: «Я постоянно люблю вас и за ваш талант, и за ваше непорочное сердце, оттого и говаривал вам иногда не по вас в бытность вашу в Москве. Зная меру ваших способностей и ревнуя по славе вашей поэзии, я все желаю, чтобы вы не засиживались, чтобы вы, не упуская золотого времени, когда уж и талант ваш в полном созрении, более и более мужались, возвышались и сияли на поприще, predeterminedенном вам природою». — «Он точно теперь в отделении Бортнянского придворный певчий, — пишет князь Вяземский, прочтя его стихи на смерть королевы Виртембергской, — он — настоящий индеец, который глотает шпаги: у него все поэзия — царские двери, дьячки, пономари. Искусный чудесник!» (4 апреля 1819 г. Тургеневу). Жуковский пудрится, поверили друг другу его приятели; душа осталась при нем, но он может растрясти ее мало-помалу на павловских линейках, вечерних прогулках и беседах о луне³. «Его голова крепче Филаткиной, если устоит против этой картечи порабощения и чванства. А я думаю о нем с сокрушенным сердцем, пеплом осыпаю его голову и плачу над его разверстою могилой, если не раздастся голос жизни в каких-нибудь новых стихах. Душа не спина. Спина от-

¹ Письмо к князю Вяземскому 16 декабря 1815 г., Русск. Арх. 1866 г. № 6, ст. 897.

² К 1818 г. относится, по всей вероятности, и неизданное пока письмо А. Тургенева к Жуковскому от 26 марта: «Ты нас забыл, а московские приятели уже обвиняют тебя в придворной службе».

³ А. Тургенев к князю Вяземскому 11 июня; сл. письмо 5 июля того же года.

дуается: бей ее как хочешь, наряжай, навьючь — погнется и распрямится. На той легчайшее иго, минутное осязание скверного оставляют неизгладимые следы»¹. Кн. Вяземский приискал ему в статье Карамзина о Богдановиче пугало²: «он был на розах, как говорят французы (на павловских розах), но многие блестящие знакомства отвлекли Богдановича от жертвенника муз в самое цветущее время таланта»³. Стихи Жуковского «хороши и очень хороши, но иное темно, иное холодно», — сообщил Карамзин Дмитриеву (№ 229, 1819 г. 28 февраля) и прибавляет в письме от 8 июня (№ 237): «он пишет стихи фрейлинам».

Важно для характеристики душевного состояния Жуковского в 1819—1820 гг., в пору видимо устраивавшейся жизни и новых обступивших его обаяний — его послание к кн. А.Ю. Оболенской: в нем, мы видели⁴, он мечтал о «семейственном счастье», в послесловии он говорит об опасностях *большого света*.

Я признаюсь: опасно плыть
Мне по морю большого света
С обманчивой звездой поэта:
Любуясь милой сей звездой
И следуя мечтой послушной
За прелестью ее воздушной,
Я руль позабываю мой,
Не знаю камней, жертвы ждущих,
И в обольстительных лугах
Зрю призрак берегов *цветущих*
На непрístupных берегах.

(26 июля 1820 г.)

Тургенев посетил в Царском Селе и Павловске «царскосельских мудрецов», Карамзина и Жуковского: «Они блаженствуют, потому что живут с собою и заглядывают во дворец только для того, чтобы получать там дань непритворного уважения с одной стороны и, вероятно, зависти с другой. Вот тебе письмо от них, — общает он кн. Вяземскому. — Жуковский радуется обхождением государыни с ними, ибо оно сердечное и искреннее. Пудра не запылила души его, и деятельность его, кажется, начинает воскресать. Посылаю болтовню его о луне и солнце. Я провел у

¹ Князь Вяземский Тургеневу 20 июня 1819 г.

² Вестник Европы. Ч. IX. № 10. Май 1663. С. 102 и след.

³ Князь Вяземский к Тургеневу 24 июня 1819 г.

⁴ Сл. выше с. 273.

них вечер приятный с Нелединским-Мелецким и Перовским»¹. Кн. Вяземский получил «Цвет завета», и его собственные стихи ему «огадились». «Как можно быть поэтом по заказу? — спрашивает он, — стихотворцем — так, я понимаю, но чувствовать живо, дать языку души такую верность, когда говоришь за другую душу, и еще порфиородную, я постигнуть этого не могу! Знаешь ли, что в Жуковском вернейшая примета его чародейства? Способность, с которою он себя, то есть поэзию, переносит во все недоступные места. Для него дворец преобразовывается в какую-то святыню, все скверное очищается перед ним»².

Поэзия уступила мадригалу, и Пушкин пародирует его: по дороге из Царского в Павловск он писал «послание о Жуковском к павловским фрейлинам, но еще не кончил», сообщает кн. Вяземский, с которым Пушкин читал «новую литургию (?) Жуковского» и «панихиду его чижика графини Шуваловой»³.

В 1819–1820-м г. Николай Михайлович Коншин, в юности восторженный поклонник Жуковского, служил в Финляндии, где близко сошелся с Боратынским. Сочинения Жуковского лежали у него на столе; «его элегии дышали небом, которого он был избранный сын, — писал он, делая характеристику поэта, очевидно, не назначенную для печати, — я любил его, несмотря на его *глупые отчеты о луне, к сану поэта, священника, вовсе не идущие*; я любил того Жуковского, который воспел 12-й год — и по моему мнению — умер; он и должен был умереть тогда, чтобы жить вечно представителем великой эпохи»⁴. «Cette profanation du génie

¹ Князю Вяземскому 5 августа 1819 г.

² К Тургеневу 7 августа 1819 г.

³ Князь Вяземский Тургеневу 26 августа 1819 г.; сл. письмо Тургенева к князю Вяземскому 23 июля того же года. К шутивным произведениям Жуковского того же рода относится и недавно изданное «Надгробное слово на скоропостижную кончину именитого паука Фадея, служившего целые сутки комнатным пауком у ее превосходительства Варвары Павловны Ушаковой, отличного благонаравием, обжорством и пузом и кончившего дни свои в пузырьке, в котором ее превосходительству благоугодно было его закупорить и поминутно кувыркать». См.: Исторический Вестник. 1902. Апрель. С. 169 и след.

⁴ Характеристика эта, напечатанная А.И. Кирпичниковым в «Русской Старине» 1897 г., февраль, с. 276, полна такого рода предубеждений. Коншин видел Жуковского в 1830 г. в Царском Селе: «толстый, плешивый здоровяк, сказочник двора, он уже не имел в глазах моих никакого достоинства. Его звали добряком, он ходил с звездами и лентами, вовсе ими не чванился, вид имел скорее конфузный, нежели барский; но перед ним не остановишься и не спросишь — кто это, как я остановился здесь перед Сперанским». Коншин готов усомниться даже в легендарной доброте и филантропии Жуковского и в этом смысле толкует анекдот, сообщенный ему бароном Розеном (поэтом). О Коншине сл.: Кирпичников, Очерки по истории новой русской литературы. Т. 2. Изд. 2. С. 90 и след.

m'a choqué [это осквернение гения меня оскорбляет]», — писал И. Киреевский, когда в 1830 г. Жуковский читал ему свои старые стихи к *фрейлинам*, к *Нарышкину*, на заданные рифмы¹.

Сам Жуковский так объяснял Прокоповичу-Антонскому, почему в эту пору его муза стала скупа на стихи: «Новый свет, в который попал я, закружил ей несколько голову. Я стараюсь унять ее и, может быть, это мне удастся. Хотя и не имел и не хочу никогда иметь титула придворного, но близость двора опасна и для поэта. С непривычки угарно» (26 ноября 1819 г.); «благодарю Вас за ваши пени на счет моего стихотворства; я и ленился и был рассеян своим новым образом жизни, однако не расстался с своей музою и понемногу пишу. Было бы великое для меня несчастье, если б муза моя, ближняя моя родня, меня покинула: я бы жестоко осиротел» (26 декабря 1819 г.)². «Дай Бог, чтобы ваше доброе желание исполнилось, чтобы вы никогда ни на час не разлучались с своею прелестною музою, — отвечал Антонский. — Только глядите; все думают, что вы к ней становитесь равнодушны, если не холодны» (2 февраля 1820 г.). С Жихаревым он потужил, что Жуковский не живет «в уединении. Оно верно бы больше богато было вашими произведениями. Житейские суеты и дела службы с музами худо ладят» (15 марта 1820 г.)³. Карамзин повторяет свои сомнения: «Жуковский совсем не суетен и еще менее корыстолюбив, но летний Двор приводит его в рассеяние, не весьма для Муз благоприятное, и в любовную меланхолию, хотя пиитическую, однако ж не стихотворную. Он еще молод, авось и встанет и возрастет»⁴.

В том же году Блудов жалуется Дмитриеву на упадок русской литературы: молчит Дмитриев, бросив юстицию и муз, молчит Пушкин; Карамзин, переселившись в Петербург, четвертый год корпит над девятым томом, иные, показав талант, «учат грамоте при дворе или и сами учатся иной придворному, иной подъяческому искусству»⁵. «Читал ли ты последнее произведение Жуковского, в Бозе почивающего? Слышал ли ты его „Голос с того света“? (в 3-й книжке „Для немногих“ 1818 г.). Что ты об них думаешь? Петербург душен для поэта», — писал Пушкин кн. Вяземскому (1820 г. апрель).

¹ Письмо 20 января 1880 г., Полное собрание сочинений И.В. Киреевского. Т. I. С. 26.

² См.: Русский Архив. 1902. Май: Из писем В.А. Жуковского к А.А. Прокоповичу-Антонскому. С. 142–143.

³ Русская Старина. 1902. Октябрь. С. 201–202.

⁴ Карамзин к Дмитриеву. № 260. 19 октября 1820 г.

⁵ Ковалевский Е.П. Граф Блудов и его время. Письмо от 27 июня 1820 г. С. 253.

3 октября 1820 г. Жуковский выехал из Дерпта за границу, вслед за своей ученицей, великой княгиней Александрой Федоровной. Перед отъездом он был что-то не весел, с каждым днем грустнее; что с ним делается? уж не влюблен ли он? говорили приятели¹. «Наконец, некоторые желания сбываются, — писал он 2 октября 1820 г. из Дерпта А.П. Елагиной, — увижу прекрасные стороны, в которые иногда бегало воображение, но, признаюсь, не думаю увидеть их в том очаровании, какое дала бы им первая молодость, товарищ еще не образумившейся надежды. Жизнь изменилась, и все, что теперь ни увидишь, представится ограниченным в тесном круге. Но все путешествие оживит и расширит душу. Надеюсь, что оно пробудит и давно уснувшую поэзию». В то же время опасения друзей обновились и выражаются ярче: «Погостить бы ему при Фридрихе II. Впрочем, чего доброго, он, пожалуй, и этого воспоет», — пишет Вяземский Тургеневу 27 ноября 1820 г.); и в другом письме: «Я боюсь за Жуковского: таким образом и путешествие не проветрит его. Он перенесет свою Аркадию во дворец и возвратится с тем же беспечием, с тем же, смею сказать, отсутствием мужества, достойного его таланта. Ему не душу питать нужно: она сама собою питается, и если бояться за нее, то не отошания, а индигестии, но нужно расшевелить ум, разнообразить впечатления, понятия, чувствования. Я вижу его отсюда: жмет немытую руку Гуфеланда, сравнивает ее с запачканной рукой Эверса и говорит:

О сладкий жар во грудь мою проник.

Жуковский тоже Дон-Кихот в своем роде. Он помешался на душевное и говорит с душами в Аничковском дворце, где души никогда и не водилось». — Он «набил руку на душу, чертей и луну», но «ему нужно непременно бы иметь при себе Санхо, например, меня, который ворочал бы его иногда на землю и носом притыкал его к житейскому» (Тургеневу, 12 декабря 1820 г.).

«Я так любопытствую узнать, как действует на тебя европейский воздух, — писал кн. Вяземский Жуковскому, — но от Тургенева узнаю только, что ты шалишь от старца Эверса с старцем Гуфландом. Добрый мечтатель! полно тебе нежиться на облаках: спустись на землю, и пусть, по крайней мере, ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень свой правде и брось служение идолов. Благородное не-

¹ К.Я. Булгаков брату 14 и 15 сентября 1820 г. Русск. Арх. 1902. Ноябрь. С. 379, 380.

годование — вот современное вдохновение! При виде народов, которых тащут на убиение в жертву каких-то отвлеченных понятий о чистом самодержавии, какая лира не отгрызет сама: мечь! мечь! Ради Бога, не убаюкивай независимости своей на розах Потстдамских, ни на розах Гатчинских. Если бы я предостерегал тебя от суетности, то верно замолчал бы скоро, ибо страх мой за тебя не мог бы сочетаться с уважением моим к тебе; но страшусь за твою царедворную мечтательность. В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знаться с ними. Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора... Повторяю еще, что этот страх не в ущерб уважения моего к тебе, ибо я уверен в непреклонности твоей совести; но мне больно видеть изображение твое, зараженное каким-то дворцовым романтизмом. Как ни делай, но в атмосфере, тебя окружающей, не можешь ты ясно видеть предметы, и многие чувства в тебе усыплены. Зачем не разнообразить круга твоих впечатлений? Воспользуйся разрешением твоим от петербургских оков, столкнись с мнением европейским; может быть, стычка эта пробудит в тебе новый источник. Но если по Европе понесешь за собою и перед собою Китайскую стену Павловского, то никакое чуждое дыхание до тебя не дотронется...» (15/27 марта 1821 г.)¹.

Санчо-Вяземского не случилось при Жуковском, и опасения относительно Дон Кихота были в известной степени справедливы. Берлинские «дневные заметки» Жуковского указывают на какую-то странную неуравновешенность. Он по-прежнему сентиментальничает: познакомился с Гуфеландом, лицо которого выражает «глубокомысленность и добродушие» (дневник 31 октября/10 ноября 1820 г.), побеседовал с ним о возвышенных предметах, встретил в нем человека «по сердцу»; это то же, что «вдруг открывшийся глазам прекрасный вид с горы на поля, долины и реки. И то и другое удивительно действует на душу, и то и другое пробуждает в ней все хорошее; становишься чувствительнее, выше, пробуждается мысль о Боге, о счастье, об друзьях, пробуждается возвышенная доверенность к самому себе. Смотря в глаза старику Гуфланду, у меня вертелось на языке слово Vater». Прощаясь с Жуковским, Гуфеланд сказал ему, с каким то прелестным доброжелательством: *Adieu, Sie haben mich sehr erfreut* [прощайте, вы меня очень порадовали]! Эти слова продолжали звучать в душе Жуковского: «Дома невольная меланхолия меня

¹ Сл.: Русский Архив. 1900. № 2. С. 181–182.

наполнила; не могу ее изъяснить, но я готов был плакать; я уверен, что в моем путешествии все трогательное будет иметь надобно это действие» (дневник 3/15 ноября 1820 г.)¹.

И его чувствительность действительно расцветает; беспрестанно он любит луну, восходом и заходом солнца; рядом с восторженными описаниями видов и развалин, картин и дворцов — придворные и другие обеды, где он сидит с таким-то; театры и знакомства. Двором он очарован и многих очаровал; здесь завязалась его дружба с кронпринцем, будущим королем².

Но ему часто не по себе: прекрасное январское утро подбодрило его; отчего бы не подбодриться и — воле? И он отвечает на свой вопрос анализом самого себя, в стиле юношеского дневника: «воля живет деятельностью, а я совершенно предал себя лени, лени во всех отношениях, и она все силы душевные убивает. И чем дале, тем хуже. Недеятельность производит неспособность быть деятельным, а чувство этой неспособности, с которым нельзя ужиться, производит в одно время и уныние душевное и истребляет бодрость». Более всего тревожит его мысль о его теперешнем несовершенстве: «Вместо того, чтобы сколько возможно заменить утраченное, я только горюю об утрате и стою на развалинах, поджав руки, вместо того, чтобы ободриться и

¹ В заметке 3/15 ноября Жуковский сообщает «собственную мысль» Гуфеланда, которая поразила его своею простотою. Гуфеланд внес ее в его альбом, знакомый нам по автографам Жан Поль Рихтера и Тика:

Leben, Liebe, Licht,
Vater, Sohn, Geist.
Gott.
Gott, Vater des Lebens,
Gott, Sohn und Herr der Liebe,
Gott, Erleuchter der Geistes,
Lass uns leben in Liebe und Licht,
So leben wie in Gott.

Diess, mein theurer Freund, erinnere Sie an den Anfang unserer Freundschaft und ihre ewige Dauer. Berlin d. 8 mai 1821. D. Hufeland. [Жизнь, любовь, свет, Отец, Сын, Дух. Бог Бог, отец жизни, Бог, сын и господь любви, Бог, просветитель духа, дай нам жить в любви и свете, так жить, как в Боге. Пусть это напомнит Вам, мой дорогой друг, о начале нашей дружбы и ее вечности. Берлин, 8 мая 1821, Д. Гуфеланд. — нем.] Упоминание Гуфеланда в Дневнике 1821 г. *passim*.

² Фарнгагену фон Энзе д-р Корэф рассказал, что король, увидав Жуковского в числе лиц, поспешивших приветствовать его, бросился в его объятия и отдыхал своей ланитой на его ланите по крайней мере пять минут, что дало повод сосчитать, что, вероятно, его величество чувствовал большую усталость. Сл. выдержки из Дневников Фарнгагена под 1845 г. 3 августа. Русский Архив. 1875. № 7. С. 353—354.

построить столько, сколько можно. Надобно *отказаться от потерянного* и сказать себе, что *настоящее и будущее мое*. Я мог бы быть более того, что я есть, но я далек от того, чем бы мог и должен бы быть; я никогда не дойду к тому, к чему бы мог прийти, *если бы пустился ранее в дорогу и не потерял времени*. Но разве от этого должно остановиться и отказаться от той дороги, которую еще теперь можешь сделать? Откажись от того, чем бы ты мог быть, если бы не *истратил безумно полжизни на ничто*; решишь искать того, что еще может быть твоим, если начнешь теперь к нему стремиться и не будешь отчаиваться от неудач. Достоинство человека в искреннем желании добра и постоянном к нему стремлении; достижение не от него зависит. *Я могу еще иметь религию*, могу иметь чистую нравственность, могу исполнить свято ближайший долг. Вот главное. Ты имеешь мало, но именно потому и не отказывайся от приобретения. Положить себе за правило: в обществе не искать никакого успеха; думать только о том, чтобы приобретать хорошее от других, а не о том, как бы казаться им хорошим; лучше казаться ничтожным и приобретать, нежели казаться чем-нибудь и быть ничтожным. Излишняя заботливость об этой ложной наружности устремляет внимание только на самого себя и лишает возможности видеть, слышать и пользоваться другими»¹.

Под 8/20 марта отмечено чтение «Пери» у великой княгини; 4/16 апреля он принялся было за «Die Bestimmung des Menschen» [Назначение человека] Фихте, но должен был оторваться от чтения, чтобы быть с великой княгиней у заутрени, на часах и у обедни. Вернувшись, снова принялся за книгу, «но вздумал, что терять времени не должно, и отправился в Сан-Суси смотреть галерею»; через несколько дней (11/23 апреля) снова «начал читать Фихте — и заснул над книгою; но не от скуки». Под 6/18 апреля, отдавая великой княгине молитву во время вечерни, он «увидел в ее руках другого рода молитвенник: письма ее матери! Какая прелестная, трогательная мысль обратить в молитву, в очищение души, в покаяние — воспоминание о матери! И что же в этой книжке? Ее мысли, ее чувства, в самые тяжкие минуты жизни наполнявшие и утешавшие душу ее! Вот настоящая, чистая набожность! Как мало этого возвышающего в обряде нашего говения — вместо того, чтобы входить в себя, вспоминать прошедшее, объяснять его для себя, мы только развлекаем себя множеством молитв, хвалебными песнями, ничтожными в сравнении с Тем,

¹ Дневник 8/20 января 1821 г.

Кого они хвалят, и мало говорящими сердцу». Для этого времени следовало бы «заготовить для себя несколько вопросов, относящихся до веры и до жизни нашей; возобновить вкратце все, что составляет религию нашу, следовательно, сделать для себя извлечение всего важнейшего в Св. Писании; пройти это все в отношении к нашей жизни! Что же касается до молитвы, — то довольно одной, к которой нечего прибавить: Отче Наш! В обедне же нашей заключены все таинства религии: Твоя от Твоих^{1*} — вот все христианство... Чтобы кончить нынешний день лучше, и я перечитал в моей Лалла Рук то, что написано было великою княгиней, и написал кое-что свое. Elle est ma religion! Il n'y a pas de plus grande jouissance, que de sentir avec pureté la beauté d'une âme pure! [Она — моя религия! Нет большей радости, чем целомудренно ощущать красоту целомудренной души! (франц.)]»².

11/23 апреля Жуковский сидел на Ruinenberg'e в Sans-Souci, «смотря грустными глазами на заходящее солнце, которое удивительно украшало окрестности, видимые сквозь деревья и развалины: для того, чтобы наслаждаться настоящим, надобно иметь в запасе будущее! По крайней мере на эту минуту я не имею ничего в запасе»

17/29 апреля: «Мне грустно, потому что я не видел нынче великой княгини. Видеть ее в этот день, в ее семье, и поделиться воспоминанием о прекрасном московском дне (рождение великого князя Александра Николаевича) есть удовольствие, кото-

^{1*} Жуковский имеет в виду слова из Литургии верных: «Твоя от твоих тебе приносяще от всех и за вся».

² Этот афоризм встречается под тем же днем, в числе других, в альбоме Жуковского, недавно поступившем в Имп. Публичную Библиотеку (на футляре пометка: Berlin, den 3-en april 1821). Вот некоторые из них: Kommt die Hülfe zu auch nicht schnell, so kommt sie doch gewiss! Ja gewiss, aber das *wie* und das *wo* soll uns quälen. *Wie?* Als Rettung oder als Vergeltung? *Wo?* Wenn auch nicht hier, so haben wir doch die ganze Ewigkeit vor uns! [Хотя помощь приходит не быстро, на она все-таки определенно приходит! Да, определенно, но «как» и «где» должны нас мучить. *Как?* Как спасение или как воздаяние? *Где?* Если и не здесь, то у нас ведь впереди целая вечность! (нем.)] Вечность можно сравнить с мучениями родин! Минута смерти есть минута разрешения!.. Говорят, что нет минуты блаженнее первой минуты материнского счастья — может быть, и минута разлуки души с телом имеет сие блаженство. Смерть есть не иное что, как слова на кресте: Свершилось!.. Какая разница между помощью Божией и помощью человеческой!» — Под 6/18 апреля (в Потсдаме): «...Бессмертие есть врожденное чувство; оно свойственно всякой душе, но оно чаще отзывается в душе чувствительной и высокой... но это чувство... обращается для нас в понятия... при несчастии» — «Il n'y a pas de plus grande jouissance que de sentir avec pureté la beauté d'une âme pure» [Нет большей радости, чем целомудренно ощущать красоту целомудренной души! (франц.)]. — Следует далее заметка, касающаяся Воейковой, сл. выше стр. 226.

рого, понятно, ничем воротить нельзя... И этот день мог бы быть прелестным, — а я должен его провести в каком-то сухом одиночестве! Я переписывал для кронпринца перевод своих стихов на этот день. Но как было бы весело говорить об нем! Посмотрим, как он кончится... Обедал за маршалским столом, и с генералом Блоком пили здоровье новорожденного. Вечеру гулял в Neue Garten с Кавелиным и Адлербергом. Вечер был прекрасный. Великая княгиня возвратилась, и я успел ее поздравить. Только не слишком ли? Как все не так делается, как думается... Я прописал целое утро для кронпринца, а он и не подумал в нынешний день обо мне. Ребячество; но от этой болезни не излечишься».

В 1821 г. Жуковскому удалось урваться из Берлина, где он провел около восьми месяцев: 27 мая великая княгиня ехала в Эмс, Жуковского манили Швейцария и Рейн. Последние минуты он провел «с горестным удовольствием прощанья. В Берлине были минуты счастья». Он простился с королем, уговорился с кронпринцем встретиться в театре, и оба друг друга проискали. «Прискорбная глупость», — пишет он в своем дневнике¹. «Перед самым отъездом крест» (Красного Орла)².

«Описывая целый век природу в стихах, хочу наконец узнать наяву, что такое высокие горы, быстрые водопады и разрушенные замки, жилища моих любимых привидений», — писал он своему приятелю Полетике. Он заранее наслаждается и уверен, что его ожидания не будут обмануты: красоты природы всегда выше описаний, надо только «подходить к ним, сказав наперед Создателю: Сердце чисто созижди мне. Надобно быть с природою младенцем». Младенцем надо быть и ученому; сам он не ученый, «посреди просвещенной Европы такой недостаток живо чувствителен, но добрая природа, которой прелести могу понимать, не оттолкнет меня»³.

Жуковский в Дрездене. Был прелестный июньский вечер, когда он сидел на берегу Эльбы на террасе Финдлерова сада. Там было множество людей, довольные лица, и все чужие; за каждым столом веселая семья, он был одинок. Природа не радовала, потому что главная прелесть окружающего есть наша душа, то чувство, которое она приносит в ее святилище, а она ничего не приносила. «Настоящее казалось бедным, а будущее ничего не обещало в жизни. Все главное известно; ничего таинственного,

¹ Сл. дневник 21 июня нов. ст. 1821 г. и примечание издателя.

² Сл. также письмо Жуковского к вел. кн. Александре Федоровне, 1 июня 1821 г. Русская Старина. 1901. Октябрь. С. 221 и 4 июня (нов. ст.) ib. 224—226.

³ Письмо 13/25 мая 1821 г., Русская Старина. 1883. Декабрь. С. 711.

неизвестного не могло соединиться с тем, что видели глаза». Но «добрый гений-воспоминание» прилетел на помощь, дрезденский вид преобразился, в нем почудилось что-то знакомое: точно белёвский вид с пригорка его бывшего дома, точно так же вьется под горою Эльба, как там Ока; картина восстанавливается по мелочам, вспомнилась родина — «и много милых теней встало» («Отрывок из письма о Саксонии», 1821 г., Дрезден и Прага 4 и 10 июня)¹.

Это такая же галлюцинация «сердечного воображения», как и в знакомой нам пьесе, навеянной романсом Шатобриана, и в юношеском переводе из Энгеля, где немецкое Tal обратилось в родной пейзаж, «обширную долину, усеянную деревьями, рощами, зелеными холмами»².

Дрезденский дневник не нашелся в бумагах Жуковского: последняя отметка 2 июня провожает нас в нескольких строках от Берлина до Дрездена, после чего мы прямо вступаем в швейцарский дневник (25 июля). Недочет восполняется письмами к великой княгине Александре Федоровне: Жуковский писал ей с дороги, из Дрездена (4/16 июня), Праги (10/22 июня), рассказывал из Карлсбада, где встретился с Блудовым³, о впечатлени-

¹ Печатный текст этого отрывка составлен из письма Жуковского к вел. кн. Александре Федоровне, Дрезден 4/16 июня (черновик в Щукинском сборнике. Вып. I, М., 1902. С. 66 и след., где письмо ошибочно адресовано вел. кн. Николаю Павловичу) и письма Жуковского к М.А. Мойер и А.А. Воейковой. Из последнего заимствованы и приведенные в нашем тексте строки. См. Русская Старина. 1901. Октябрь. С. 224, прим. 1, и мою заметку: «Цвет Завета» в Литературном Вестнике 1903 г., т. V, кн. 3, стр. 298, прим. 2.

² Тихонравов. Соч. Т. III. Ч. I, примеч. С. 76, прим. 304.

³ В одном из альбомов Жуковского с пометой на заглавном листе: 1820 г. 16/28 декабря, читается ряд афоризмов, за которыми следует подпись: Карлсбад 27/8 июня 1821 года. Они писаны рукой Блудова; может быть, отрывки того журнала, о которых он говорил в письме 18 июня 1822 г., или результат бесед с Жуковским, еще не оставшим от впечатлений придворной сутолоки. В том и другом отношении они интересны; вот некоторые из них:

«Есть люди с слабыми нервами и следственно не сильные от природы, но храбрые на войне от философического пренебрежения смерти. Я часто думаю, что должно также быть смелым в делах и при дворе, единственно от презрения к людям и по тому, что мы можем ожидать от них».

«Недовольные правительством желяют перемен, как мореход ветра во время тишины: но этот ветер может быть бурей».

«Придворные раболепствуют царю, а царь часто повинуется им».

«Многие воображают, что вредны для государства одни отъявленные царедворцы. От этого зла не трудно бы избавиться: иные государи сами не любят иметь ни камергеров ни егермейстеров. Но настоящий, самый вредный двор составляется не из них, а из приближенных льстецов всякого звания, или, лучше сказать, всех названий, такого двора нельзя истребить даже уничтожением монархии. Что же умерит вред одного? Только одно: ум, добродетель правителей, их внимание к голосу истины и средства внимать ему».

ях Саксонской Швейцарии (17/29 июня) и в двух пространных письмах оттуда же (23 июня/ 5 июля и 29 июня / 10 июля) о своем знакомстве с Фридрихом, Тиком и о прелести Сикстинской Мадонны¹.

Приведенные отрывки дают понятие о путевом дневнике и путевых письмах Жуковского. Дневники эти он вел постоянно, хотя неравномерно; ранние по времени свежее и болтливее; мы знаем, что они служили ему средством самонаблюдения; такими были для Гете его *Tagebücher*. Главное место отведено описаниям природы, питавшей его лиризм и склонность пофилософствовать с собою; в этом отношении швейцарский пейзаж был ему сподручнее, его итальянские впечатления суше, восторженность сдержаннее. Затем наибольший интерес вызывают искусство и театр; порой, техника реальной жизни охватит невзначай его внимание, и он описывает с подробностями какое-нибудь ремесленное производство. По дороге он делает массу знакомств, но «люди» вообще очерчены слабо, когда они не шли к его симпатиям (Гуфеланд, позднее Радовиц), или не поддавались его опоедизированию; мы знаем, что и в гении он прежде всего искал – добродушия (о Тике). Гетевские письма из Италии, полные живых, непосредственных впечатлений, послужили ма-

«Les ministres qui parlent sans cesse de la volonté du Souverain, de la pensée du Souverain, ne sont-ils pas un peu comme les faux prophètes? ... Oui! et les pamphlétaires qui parlent de l'opinion publique?..» [Министры, которые без конца говорят о воле монарха, о мысли монарха, – не похожи ли они немного на лжепророков?.. Да! И памфлетисты, которые говорят об общественном мнении?.. (франц.)]

«Dans les troubles politiques les honnêtes gens peuvent avoir différentes opinions, mais ils n'auront jamais qu'un parti: celui de leurs serments» [Среди политических волнений честные люди могут иметь различные взгляды, но лишь один выбор: тот, что определен их обетами.]

«La liberté pour quelques nations est comme la vie pour certaines gens d'une constitution faible: elle se passe toute entière à lutter contre la mort, qu'enfin est obligé de subir» [Для иных народов свобода то же, что жизнь для некоторых людей слабого сложения: вся она проходит в борьбе со смертью, которой в конце концов вынуждена подчиниться.]

«С. Д. говорит о революциях и реформах нашего времени, что это лишь перемена беспорядка».

«В жизни мыслящих людей я вижу три периода: первый, или младенческий, есть просто век незнания, второй доверчивости, надежд и заблуждений; наконец третий есть век сомнений. Они сопровождают нас до гроба: за ним начинается четвертый период познания и истины».

«Причины происшествий в сем мире, как тайные слова логогрифа; люди могут отгадать одно или хоть несколько из означаемых, но первое, из коего все прочие составлены, знает один Бог».

¹ Сл.: Русская Старина. 1901. Октябрь и ноябрь, и мою указанную выше (с. 255) заметку: «Цвет Завета».

териалом для его *Italienische Reise* [Итальянского путешествия]; некоторые части дневника Жуковского были им стилизованы в виде писем к великой княгине, к родным в Дерпт, к друзьям и, лишь побродив в кружке, подвергались печатной огласке. Они интересовали как литературные произведения: в 1821 г. 2 июня (Карлсбад) Блудов упрекал Жуковского, что он уехал, не дав ему «копии своего письма об Мадонне, Саксонской Швейцарии и пр. и проч. Исправь вину, пришли мне хотя из Цюриха, но поскорее, свою интересную тетрадку *описаний*»¹. Плетнев читает по салонам письмо Жуковского к родным о своей женитьбе², а императрица и вел. кн. Марья Николаевна сами отдают письма к ним Жуковского Плетневу — для «Современника».

Гёте вернулся из Италии новым человеком; с Жуковским не произошло никакой метаморфозы, всего менее во вкусе кн. Вяземского, который продолжал корить его «павловскими фрейлинами», упрекая его и Тургенева, что, взысканные милостью двора, они «или слишком придворны или слишком беспечны» и ничего не делают для своей родины, разнежив душу свою на острове Калипсо³. И недавний приятель Перовский присоединял свой голос: стыдит Жуковского, что тот не пишет ему, тогда как великой княгине писал четыре раза и всякий раз по тетради (письмо из Спа), а ему письма Жуковского необходимы, ибо в каждом из них «ты мне пересылаешь несколько искр чистого огня, которым могу зажигать мои фонари... Ты на один фрейлинский взгляд, на одну улыбку отвечаешь мадригалом, а я требую от тебя не ответов... отвечай лишь на дружбу»⁴. В 1825 г. он извещал Жуковского о своем намерении покинуть службу: «двор я никогда не считал для себя надежной пристанью, всегда был готов поднять якорь и распустить паруса, прежде чем морской ветер разобьет меня о берег, или же береговой выгонит насильно в море... Два слова о тебе. Занятия твои меня пугают: мне кажется, что ты как Жуковский потерял теперь для друзей, как давно уже для них потерял как поэт. Где ты найдешь время беседовать с нами?»⁵

¹ Русский Архив. 1902. № 6: Из писем к В.А. Жуковскому. Письма графа Д.Н. Блудова. № III. С. 337.

² Письмо к Я.К. Гроту 8 марта 1844 г. Сл. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым, II. С. 203.

³ К Жуковскому 9 января 1823 г. Русский Арх. 1900. № 2. С. 187.

⁴ Из Флоренции 16 августа 1823 г.

⁵ Вестник Европы. 1901. Апрель: Захарьин (Якунин) I. с. С. 534, 537–538, 539–540.

Х. Литературные ожидания. Жуковский о Байроне, Шиллере и Гёте

«Милые тени» прошлого — и жалобы на полжизни, потраченной «безумно»; желание «отказаться от потерянного», решение искать еще возможного для него в жизни пути — и «ребяческое» огорчение, что кронпринц его не вспомнил, — все это свидетельствует о некоторой духовной разладице, которая не могла не отразиться на производительности художника. Жуковский не «безличен», как говорил кн. Вяземский, он даже воспитал в себе волю, в письмах из поры своей сердечной разрухи он нередко ободряет себя словом: *persévérance!*, но в этом слове у него более самоотречения, чем энергии.

Друзья тревожатся за Жуковского и мечтают расширить его кругозор в уровень, казалось, с его талантом. И тут они ошиблись: от него ожидали многого, чего, по свойству своего таланта, он не мог дать.

Началось это давно, в период ранних «баллад». Батюшков, недолюбливавший их¹, сетует, что поэт занимается такими безделками: «с его воображением, с его дарованием и более всего с его искусством можно взяться за предмет важный, достойный его»²; «пора ему взяться за что-нибудь поважнее... он заслужил уважение просвещенных людей, истинно просвещенных, но славу надобно поддерживать трудами»³. О «пути к славе» говорится и в другом письме⁴. Жуковский писал Батюшкову в пору жестокой сердечной тревоги, и тот благодарит его за откровенность: он ее достоин, потому что, по чувствам, Жуковский ему родной. «Во всем согласен с тобой на счет поэзии. Мы смотрим на нее с надлежащей точки, о которой толпа и понятия не имеет. Большая часть людей принимают за поэзию рифмы, а не чувство,

¹ Сл. его письма к Гнедичу, февраль-март 1811 г., и к Жуковскому, июнь 1812 г. Сл.: Соч. Батюшкова. Т. III. С. 111 и 187.

² К князю Вяземскому, первая половина июля 1812 г., л. с. С. 194.

³ К нему же 10 июня 1813 г., л. с. С. 227–228.

⁴ К нему же 3 ноября 1814 г., л. с. С. 306.

слова, а не образы. Бог с нею! Но, милый друг, если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сделаешь того, что Карамзин: он избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений: тайная земля для профанов, истинное убежище для души чувствительной. Последуй его примеру. Ты имеешь талант редкий; избери же землю, достойную его, и приготовь для будущего новую пищу сердцу и уму, новую славу и новое сладострастие любимцам прекрасного»¹. «Он у нас великан посреди пигмеев, прекрасная колонна среди развалин, — пишет Батюшков о Жуковском, — «баллады его прелестны, но балладами не должен себя ограничивать талант редкий в Европе»². Батюшков протестует против его переводов с немецкого: добро переводить философов, «но их-то у нас читать и не будут. Что касается до литературы их, собственно литературы, то я начинаю презирать ее... У них все каряченье и судороги... Слог Жуковского украсит и галиматью, но польза какая, то есть, истинная польза?.. Не лучше ли посвятить лучшие годы жизни чему-нибудь полезному, то есть таланту, чудесному таланту?.. Правда, для этого ему надобно переродиться. У него голова вовсе не деятельная. Он все в воображении»³.

Предметом «важным», достойным Жуковского, долго считали затеянную им поэму «Владимир», сюжетом которой он занимался с 1810 г. и которую никогда не написал. Около 1820-х годов о ней уже молчат, но приятели по-прежнему чего-то ждут. «Жуковский уже похитил творческий пламень, — писал кн. Вяземский, — но творение не свидетельствует еще земле о похищении небесном. Мы, посвященные, чувствуем в его руке творческую силу; но толпа чувствует глазами и уверяется осязанием. Для нее надобно поставить на ноги и пустить в ход исполина: тогда только поклоняется она. К тому же искра в действии обширным пламенем возносится до небес и освещает окрестности; праздная, она — тот же огонь, но светится только для некоторых и гаснет забытая»⁴.

¹ Середина декабря 1815 г. I. с. С. 356–357.

² К Пнедичу, вторая половина февраля 1817 г., I. с. С. 416.

³ К князю Вяземскому 1817 г. 4 марта I. с. С. 427–428.

⁴ Князь Вяземский Ал. Тургеневу 1819 г. 11 июля (выписка из «журнала» 10 июля). Так и в старой записной книжке, сл.: Полн. собр. соч. кн. Вяземского. Т. IX. С. 30; те же строки внесены кн. Вяземским в один из альбомов Жуковского (начатом в Берлине 16/28 декабря 1820 г.) с замечанием: «Все это написано не для тебя, а было написано про себя в Варшаве» (следующая затем запись датирована: Царское Село 30 июня 1820 г.). Перед этой заметкой, другая, крайне характерная, как признание: «Я желал бы уместить все бытие свое в одно чувство, а это чувство

Рассчитывали, что Жуковского расшевелит Байрон. По всем признакам Жуковский «точно воскресает, — пишет Ал. Тургенев, — и гений-воскреситель его есть Вугоп, да и отдых в пользу. Он теперь нянчится только с фрейлинами, ест их конфекты и пьет за них шампанское. Вино поэзии веселит сердце его, а с ним и воображение». Лишь бы он бросил стихотворные безделки, и, «хотя в один присест и с натугою, пусть разродится гений его обдуманым и достойным его произведением... Я восхищался уродливым произведением Байрона: «Манфред», трагедия. Жуковский хочет выкрасть из нее лучшее»¹. — «Есть много забавного и поэтического в стихах Жуковского, — отвечал кн. Вяземский, — но мало создания: надобно было накормить вымыслами, а то как-то голо и худошаво, тем более, что длинно, даже и чувства мало»². Кн. Вяземский увлечен Байроном: «Что за скала, из коей бьет море поэзии! Как Жуковский не черпает тут жизни, коей стало бы на целое поколение поэтов?»³ — спрашивает он и с удовольствием слышит, что Жуковский питается и бредит Байроном, готовит переводы⁴. «Дай Бог, чтобы Жуковский впился в Байрона. Но Байрону подражать не можно: переводы его буквально, или не принимайся. В нем именно что и есть образцового, то его безобразность. Передай все дикие крики его сердца; не подливай масла в яд, который он иногда из себя выбрасывает; беснуйся, как и он, в поэтическом иступлении. Я боюсь за Жуковского: он станет девствовать, а никто не в силах, как он, выразить Байрона. Пускай начнет с IV-й песни «Пилигрима», но только слово в слово, или я читать не буду»⁵. «Жуковский дремлет над Байроном, Вяземский им бредит», — писал Ал. Тургенев И.И. Дмитриеву⁶.

издержать в одном ощущении. О небо! небо! Зачем, при склонностях мирных дано ты мне порывы мятежные? Зачем не умею вкусов своих согласовать с страстями своими? Тихое забвение, убежище уединенное, тень двух-трех деревьев, светлый бег ручья! При вас мысль моя отдыхает, вами ограничилось бы честолюбие моих желаний, но страсти, роковые страсти, на крыльях бури уносят меня далеко от вас! В волнении тоски беспредельной я по вас вздыхаю, на вашем безмятежном лоне порываюсь на движение новое и в борьбе всегдашней с самим собою почерпаю жизнь в потрясении и стычке наклонностей, друг другу противных. Но мне ли сетовать о том? Не из сего ли тайного и глупого волнения родится вечно бьющийся источник поэзии, который один может утолить жажду души, чуждой темным благам, души, иссохнувшей бы на почве, где, по преданиям толпы, растет человеческое счастье и расцветают житейские выгоды?»

¹ А. Тургенев князю Вяземскому 13 августа 1819 г.

² Князь Вяземский Тургеневу 15 августа 1819 г.

³ К Ал. Тургеневу 11 октября 1819 г.

⁴ К нему же 22 октября 1819 г.

⁵ К нему же 1 ноября 1819 г.

⁶ 6 января 1820 г., сл.: Русский Архив. 1867. С. 652—653.

Жуковский чувствовал, что его поэзия захирела, и чаял себе обновления от заграничной поездки. «Что делает жемчуголов Жуковский? Много ли раковин навезет? Ему должно будет грянуть на публику чем-нибудь тяжким, — писал кн. Вяземский А. Тургеневу (18 декабря 1821 г.), — а ради Бога, не давайте ему метать бисер в журналы. Публика, то есть, свиньи, топчет его без понятия. Все к нему веру потеряли. Он молчи или снова заколдуй».

Вместо того Жуковский пристрастился к Муру («Пери и ангел» напечатан в «Сыне Отечества» 1821 г. № 20, с. 243–265), и Пушкина это бесит; «и что ему понравилось в этом чопорном, подражателе безобразному восточному воображению?.. Пора ему (Жуковскому — А.В.) иметь собственное воображение и крепостные вымыслы»¹; иное дело Тасс, Ариост, Гомер, другое Маттиссон, Мур, Саутей².

Жуковского ждали из-за границы в конце 1821 года. Что он привез, спрашивал кн. Вяземский, полагая, что он уже вернулся, «и хорош ли он приехал?» Письмо переходит к критике «Летнего вечера», явившегося впервые в № 4 издания «Для немногих» (1818), а теперь перепечатанного в Сыне отечества 1821 г. (№ 4–5, с. 252 и след.). «Если подумать, что Жуковский, нагулявшись по белой Европе, присылает в гостинец в Россию такие стихи, то в самом деле пришлось бы пожалеть о затмении Жуковского. А сволочи того и надобно... Как можно, говорят они, он писал в старину оды и стихи к светлейшему, да удостоился писать к самому благочестивейшему и самодержавнейшему государю, а теперь сбивается на стишки про солнышко.

Есть и про солнышко беда:
Нет ладу с сыном никогда.

Это значит из попа да в дьяконы. Оно и в самом деле почти так»³.

6 февраля 1822 г. вернулся Жуковский, вернулся необновленный. «Жажду — тебя видеть», — писал ему кн. Вяземский (16 февраля 1822 г.); просит прислать «Орлеанскую Деву», спрашивает, почему не перевел он «Лару» или «Жиаура»⁴, вел ли он

¹ К князю Вяземскому 1822 г., 2 января.

² Он же Гнедичу того же года, 27 июня. Сл. такие же укоры Гнедича самому Жуковскому за его манеру переводить второстепенных авторов: Московский Вестник. 1827. Ч. 6. С. 318–319.

³ К Ал. Тургеневу 22 ноября 1821 г.

⁴ «Правда ли, что Жуковский переводит Гяура»? (Пушкин к Ал. Тургеневу, Одесса, 1823 г., 1 декабря).

свой журнал, собирается ли что-нибудь издать о своем путешествии. «Соберись с силами и напиши мне, что делать думаешь, как жить будешь. Сердись или нет, а я все одно тебе говорю: продолжать жить, как ты жил, совместно тебе. Отряхнись! Имей одну ногу долу, а другую горе, а обеими на лошине тебе стоять не годится: приростут ноги и нальются свинцом. В тебе то и беда, что ты поэзию свою разносишь повсюду с собою. Жасмин жасмином остается и в конюшне, но какая от него прибыль? Подумай, что ты сделал для славы своей и отечества в течение этих пяти или шести лет? Накидал несколько цветов на истуканов; рано или поздно они должны поблекнуть; им тут не место. Не забудь при том, что ты в самой поре мужества: теперь пора резать для потомства. А скажи по совести, в состоянии ли ты заняться трудом важным среди стихии, в коей трепещешь? Минерва выскочила не из напудренной головы. Пудра сушит мозг, поверь мне. Ничего не пиши, то есть, не печатай, или одно достойное тебя... ты истощился на безделицы. В тебе остается силы только на Геркулесовский подвиг. Тут ты опять окрепнешь. Конечно, много у тебя недоброжелателей и завистников, но в числе твоих осудителей встречаются и судии беспристрастные, не менее первых строгие, но основательнее. Скажу тебе искренно: едва ли не я один оставался рыцарем твоим, не из слепой привязанности к тебе, но из верного познания тебя. Публика не видит тебя за кулисами; для нее ты и живешь только что на сцене»¹. «О твоей бездейственности я более жалею, нежели ты сам, — пишет Жуковскому Ал. Тургенев². — Что ты голоса не подаешь о себе публике? Зачем не кончил перевод элегии Парни?»³ «Что душа Жуковский, и что душа Жуковского? Не его дело переводить Вергилия... В таком занятии дарование его не живет, а прозябает; не горит, а курится; не летает, а движется... Зачем бросил он баллады?... Свободный рыцарь романтизма записывается в учебные батальоны Клейнмихеля классиков!»⁴

Между тем явился «Шильонский узник» (цензурное разрешение 14 апреля 1822 г.), и Пушкин восхищен. «Перевод est tout

¹ Русский Архив. 1900. № 2. С. 183–184.

² Приписка к письму Блудова 9 июня 1822 г. Сл. *ibid.* 1902. № 6. С. 340 и выше с. 296, прим. 2.

³ Отрывок перевода элегии Парни («В разлуке я искал смягченья тяжких бед») относится к 1806 г.

⁴ Князь Вяземский к Ал. Тургеневу 3 июля 1822 г. «Разрушение Трои» из Вергилия явилось в «Полярной Звезде» 1823 г., но 5-м изданием отнесено к 1822 г. Сл. письмо князя Вяземского к Жуковскому 13 декабря 1823 г.: «Что делаешь? Все ли *Енеидишь*, или уже *не идешь*?» Сл.: Русский Архив. 1900. № 2. С. 191.

de force. Злодей! В бореньях с трудностью силач необычайный¹. Должно быть Байроном, чтобы выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтобы это перевыразить. Мне кажется, что слог Жуковского в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть. Уж он не напишет ни „Светланы”, ни „Людмилы”, ни прелестных элегий первой части „Спящих Дев”. Дай Бог, чтоб он начал создавать»². Д.В. Давыдов «негодует на Жуковского, зачем он только переводит»³. «На балу я много занимался Жуковским, — писал Сперанский дочери 25 января 1823 года, — искал возбудить в нем чувство оригинальности, но он весь сжат в переводах и, кажется, дальше не пойдет Делиля; и то хорошо, конечно, но жаль, что не более»⁴.

«Надо взять тебя под опеку, — писал Жуковскому кн. Вяземский, возмущенный тем, что он напечатал в Полярной Звезде „столько пустяков”. — Как миллионщику носить в кармане медные деньги? Конечно, это все деньги для знатоков, но для толпы это смешно. В полном собрании твоих сочинений они могли бы иметь свое место, но тут выходить напоказ, в ряду с мальчишками-недорослями и состарившимися прохвостами, с безделками, не имеющими никакого выдающегося достоинства, ни в отношении *мыслей*, ни в отношении *выражения*, есть дело

¹ Сл.: кн. Вяземский «К В.А. Жуковскому». Подражание сатире III Депрео (1821):

О ты, который нам явить с успехом мог
И своенравный ум, и беспорочный слог,
В бореньи с трудностью силач необычайный.

² Гнедичу 27 сентября 1822 г.

³ Барсуков, Жизнь и Труды Погодина, I, 197 (Погодин под 16 октября 1822 г.).

⁴ На память гр. Сперанского. СПб. 1872. С. 597. Сл. там же — с. 613 и след. письмо от 2 марта 1823 г.: Сперанский сообщает, что третьего дня был на экзамене в Екатерининском институте. Три девицы пели стихи Жуковского «на выпуск». «Стихи, жаль, посредственны. Говорят, что он спешил, но как бы он ни спешил, он должен был сделать лучше. Горькое условие великой славы! Тут нет почти ни одной искры тонкого, глубокого чувства, а предмет так к тому удобен. Какая тема: невинность, вступающая в свет!» Среди печатных стихотворений Жуковского есть несколько написанных на «выпуски» 1821, 1824, 1826 и 1827 г., но ни одного, относящегося к 1823 г. В альбоме Жуковского, с черновыми редакциями его стихотворений 1822–1823 гг., сохранилась прощальная песня, написанная для воспитанниц одного из институтов. (Нач.: «Ты, здешних мест благоворящий гений...», сл. Бумага Жуковского, с. 90). 1 июня 1823 г. Плетнев сообщил Жуковскому, что в Институте, по случаю праздника 25-летия, его стихи были прочитаны, Государыня растрогана и сам Плетнев невольно заплакал, дочитавшись до того места, где Жуковский упомянул о голосе «умолкнувшем, но нами не забытом».

непростительное, для друзей твоих прискорбное, для холопов литературных утешительное и барышное... Как ни говори, тебе необходимо пустить свою жизнь в выжигу; или решиться только чувствовать, а ничего не производить... Я похож на дьячков, которые другим поют: Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите, а сами рыгают в то время луком и сивухой. Говорю тебе о жизни, а сам гнию со всех концов. Но какая разница между твоим запасом жизни и моим! Из капли твоей плоти выскочит дюжина моей братии» (9 февраля 1823 г.)¹.

Умер Байрон: «Завидую певцам, которые достойно воспоют его кончину, — пишет кн. Вяземский. — Вот случай Жуковскому! Если он им не воспользуется, то дело кончено: знать пламенный его погас»². Жуковскому не до того было: он узнал об этой смерти, когда у него на руках был сумасшедший Батюшков³. Но кн. Вяземский настаивает: «Неужели Жуковский не воспоет Бейрона? Какого же еще ждать ему вдохновения? Эта смерть, как солнце, должна ударить в гений его окаменевший и пробудить в нем спящие звуки! Или дело конченное? Пусть же он просится в камер юнкеры или в вице-губернаторы»⁴. — «Жуковского я получил. Славный был покойник, дай Бог ему царствие небесное»⁵.

Кроме «Песни» 1820 г. («Отнимает наши радости»), прилаженной к собственному душевному настроению, и «Шильонского узника», Жуковский ничего не взял из Байрона. Он побаивался его «яда», как выразился кн. Вяземский, не даром опасавшийся, что, переводя Child Harold'a, он начнет «девствовать». «В стихах Байрона находил я некоторое сходство с вами, — писал Жуковскому Уваров (20 декабря 1814 г.), — но он одушевлен гением зла, а вы гением добра»⁶. «Ты на солнце европейском... должен очень походить на Байрона, еще не раздраженного жизнью и людьми»⁷, — говорил кн. Вяземский (15/27 марта 1821 г.), когда Жуковский переводил «Шильонского узника». Но «Шильонский узник» для Байрона поэма не показная. «Многие страницы его вечны, — писал Жуковский Козлову (27 января 1833 г.), — но и в нем есть что-то ужасающее, стесняющее душу. Он не принадлежит к поэтам-утешителям жизни. Что такое истинная по-

¹ Сл.: Русский Архив. 1900. № 2. С. 189. Сл. его же письмо к Жуковскому 27 августа 1823 г. Ibid. С. 191.

² Ал. Тургеневу 26 мая 1824 г.

³ Ал. Тургенев кн. Вяземскому 3 июня 1824 г.

⁴ Ал. Тургеневу 11 июля 1824 г.

⁵ Пушкин брату 1824 г. 13 июня.

⁶ Русский Архив. 1871. № 2. С. 0163–0164.

⁷ Русский Архив. 1900. № 2. С. 182.

эзия? Откровение божественное произошло от Бога к человеку и облагородило здешний свет, прибавив к нему вечность. Откровение поэзии происходит в самом человеке и облагораживает здешнюю жизнь в здешних ее пределах. Поэзия Байронова не выдержит этой поверки», тогда как А.Н. Муравьев — «поэт в благородном смысле этого слова». Главный источник байроновского негодования — скептицизм, добавляет Жуковский позднее («О меланхолии в жизни и поэзии», 1845 г.); «дух высокой, могучий, но дух отрицания, гордости и презрения... Но Байрон сколь ни тревожит ум, ни повергает в безнадежность сердце, ни волнуется чувственность, его гений все имеет высоту необычайную (может быть, от того еще и губительнее сила его поэзии): мы чувствуем, что рука судьбы опрокинула создание благородное и что он прямодушен в своей всеобъемлющей ненависти — перед нами титан Прометей, прикованный к скале Кавказа и гордо клянувшийся Зевеса, которого коршун рвет его внутренность» («Слова поэта — дела поэта», 1848 г.).

В этом полуопределении поэт взял верх над моралистом. Не надо забывать, однако, что за характеристикой Байрона следует другая, оттеняющая ее: характеристика неназванного немецкого поэта, одаренного, как никто, «чародейным могуществом слова», но «хулителя всякой святости», «свободного собирателя и провозгласителя всего низкого, отвратительного и развратного». Байрон выигрывал в этом соседстве.

Для поэта-художника, усваивающего на своем языке другого поэта, выбор переводов характерен: он рисует человека. Если не Байрон, то Шиллер и Гёте образовали Жуковского, как сам он признавался Ал. Тургеневу¹. Поверка может быть интересна. Из Шиллера переведено с 1806 по 1833 г. 29 стихотворений, не считая «Орлеанской Девы»²; из Гёте между 1809 и 1833 г. всего 13 со включением общего предисловия к «Двенадцати Спя-

¹ Письмо Ал. Тургенева к брату Николаю 1824 г. 8 сентября из Лейпцига.

² В одном томе сочинений Шиллера (Friedr. von Schiller, Sämmtliche Werke, X Bd., 1-е Abt. Stuttg. und Tübingen, Cotta, 1814), ныне в коллекции А.Ф. Онегина, Жуковский набросал карандашом опыты переводов отдельных стихов, строф и выражений. Иные из этих переводов явились в печати («Граф Габсбургский» 1818 г., «Торжество Победителей» 1828 г., «Кубок», «Поликратов Перстень», «Жалоба Цереры», «Сражение со змеем» 1831 г.), другие были затеяны: напр., выборка из *Perlen und Rätsel*: Жуковский намеревался переводить № 1 (*Von Perlen baut sich ein Brücke*), 3 (у него помечено 2), 6 (у него 3), 8 (у него 4), 10 (у него 5, с надписью: *der Pflug*), 11 (у него 6). Из помеченных переведены лишь № 1-й и 8-й. Начат перевод *Pompeji und Herkulanum* («Что за чудо совершилось?»). — В бумагах Жуковского сохранилось начало переводов «Дон Карлоса» и «Димитрия» (сл. бумаги В.А. Жуковского, с. 80—81).

щим Девам». Шиллер, как сентименталист и идеалист, должен был прийти по сердцу Жуковскому: в молодости гимн *An die Freude* подсказывал ему грезы счастья, позже, когда настала другая черед, стихи Шиллера пошли ему навстречу, и он переводил их, передавал, а переводы Жуковского были нередко переживанием в чужих образах и метрах его личных ощущений, отражали биографию его сердца. «Орлеанская Дева» привлекла его своим религиозно-нравственным пафосом; к Шиллеру-философу он был равнодушен и подписался бы под мнением Гёте, что в Шиллере философ нередко портит поэта, но и юный шиллеровский протест, его громы в защиту притесненных, отзвуки *Sturm- und Drang*'а, были не по нем. В 1819 г. Вяземский видел в Варшаве «Вильгельма Телля» и писал Ал. Тургеневу: «Обрезано, исковеркано, дурно играно, а слезы так из глаз и брызжут, слезы восторга, слезы священные, из которых одна стоит реки слез, пролитых за какую-нибудь «Федру» или «Ифигению». Вот Жуковскому стезя, его достойная: переводы немецкий театр и сорви с нашей сцены бесплодное дерево, пересаженное к нам с французской» (24 июля 1819 г.).

«Моя богиня» (1808–1809) – первое стихотворение, написанное Жуковским в подражание Гёте. Разница настроений замечательна: у Гёте она – богиня фантазии, действительно дочь Зевса, ветренная, беззаботно порхающая; порхает и короткий, вольный метр; от всего стихотворения веет земной жизнью и божественным весельем. Жуковский замедлил темп, уже одни постоянно дактилические окончания стиха настраивают уныло. У Гёте Зевс любит свою ветреницу-шалунью (*hat seine Freude – An der Thörin*), у Жуковского «Ее величает он Богинею-радостью»; ее превращения бесконечны: у Гёте она шествует повелительницей со скипетром в руке, у Жуковского она «малиновкой носится»; порой, распустив волосы, отуманив взгляд, она веет ветром вокруг утесов (*oder sie mag Mit fliegendem Haar Und düstern Blicke Im Winde sausen Um Felsenwände*); у Жуковского получился оссиановский образ:

Кудри с небрежностью
По ветру развеявши,
Во взоре уныние,
Тоской отуманена,
Глава наклоненная,
Сидит на крутой скале
И смотрит в мечтании
На море пустынное и т. д.

В более поздних переложениях из Гёте, между которыми есть несколько превосходных, такой субъективной окраски меньше, но выбор стихотворений не показателен для Гёте и не свидетельствует о сознательной оценке его поэзии. Перед ним Жуковский благоговел, но благоговение не есть понимание; человек замечательно цельный в своей односторонности, он старался разгадать тайну другой цельности, бесконечной в своем разнообразии, но его надпись к портрету Гёте (1819)¹, перифразирующая четверостишие Андрея Тургенева (1803)², отзывается общим местом:

Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился
И в мире все постигнул он
И ничему не покорился.

Он прислушивается к слову Гёте, записывает его речи, паломничает к нему, посещает, по его смерти, места, где он жил и писал, слушает рассказы о нем, приглядывается ко всем мелочам его обстановки, точно хочет вдуматься — и рисует в доме Гёте!.. В этой черте сквозит весь сентиментальный Жуковский. Он не мог «постигнуть глубины Гёте», писал Полевой³.

В 20-х годах, окруженный лучами европейской славы, Гёте царил в Веймаре в старческом величии («полупокойником» зовет его Пушкин в письме к Бестужеву 29 июня 1824 г.). Далеко была за ним пора юношеских увлечений, спросов свободной индивидуальности и неугомонного сердца. От всего этого он отказался, и его лозунгом становится теперь *Entsagung* [отречение (*нем.*)], идеалом — гармоническое, всестороннее развитие природных наклонностей; надо образовать в себе человека раньше, чем гражданина. В этом требовании народность исчезает перед понятием человечности, — оттого так вял его патриотизм; нарушение гармонии тяжелее нарушения прав, отсюда отрицательное отношение к революции — и к беспорядку, бесформенности романтиков. Просветители Вильгельма Мейстера — гармонически совершенные и совершенствующиеся люди, стоящие поверх общества, которое они желают обновить: культурный абсолютизм в новой постановке. Перед такими руководителями можно поступиться и свободой; Тассо говорит Альфонсу, то есть Гёте — Карлу Августу:

¹ Пушкин находил, что эта надпись «прелесть». Сл. его письмо к Жуковскому, май-июнь, 1825 г.

² Сл. выше с. 72.

³ Очерки. СПб., 1839. I. С. 112.

Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein,
Und für den Edlen ist kein schöneres Glück,
Als einem Fürsten, den er ehrt, zu dienen.

[Человек не рожден быть свободным, и для благородного нет более прекрасной судьбы, чем служить князю, которого он почитает.]

«Титаны» поры «бури и натиска» забыты для Зевса:

Gross beginnet ihr, Titanen, aber leiten
In dem ewig guten, ewig schönen
Ist der Götter Werk, die lässt gewähren.

[Вы величественно начали, титаны, но вести к вечно благому, вечно прекрасному – работа богов, и предоставьте ее им.]

(Pandora).

Когда-то и Гёте бесновался с толпой демонически-гениальных юношей, теперь он с мудрыми, божественно-благими:

Du hast getollt zu deiner Zeit mit wilden
Dämonisch-genialen jungen Schaaren,
Dann sachte schlossest du von Jahr zu Jahren
Dich näher an die Weisen, göttlich milden.

[В свое время ты надурчился с дикими демонически-гениальными юными толпами, затем с каждым годом ты понемногу все более смыкался с мудрыми, божественно-мягкими.]

(West-Östlicher Divan V).

Такое мирозерцание определяет и отношение к религиозному вопросу: Гёте перешел от пантеизма к христианству («Годы странствий Вильгельма Мейстера»), даже к конфессионализму (заключение «Фауста»), и в «Парии» (начатом в 1821 году) возведен не суровый подвиг покаяния, отвоевывающий спасение, а молитва страдальца к всеведущему Бrame.

В старческой программе Гёте Жуковский нашел бы многое, отвечавшее его собственной, неизменно, последовательно пережитой; у Гёте она явилась в результате долгого жизненного, художественного и философского опыта, от демонического гениальничанья его молодой поры до успокоения в антике и гармонической человечности. Рисунок был один, но освещение, «душа», история души – другие.

Веймар стал центром литературных и любительских паломничеств. Рано стали являться и русские. Яковлев, с 1810 г. русский посланник в Касселе, познакомился с Гёте в 1807-м г.: Гёте подарил ему кусок халцедона, а Яковлев заказал Morelli вырезать на нем силуэт поэта, оттиски которого и послал ему в дар¹. Уваров, бывший в переписке с Гёте, поклонялся издали «последнему венцу Германии» (die letzte Krone Deutschlands) и просил позволения насладиться свиданием с ним, принесть дань удивления². В 1814 г. видел его у великой княгини Марии Павловны А.С. Шишков³; в 1818 г. посетил его дом Блудов: Вигель, бывший с ним, отказался от осмотра: «такая набожность к знаменитости, в моем мнении не столь высокой, еще живой, чужеземной, показалось мне непонятною и неумеренною»⁴.

Были посещения и другого рода: однажды явилось двое русских; es waren im ganzen recht hübsche Leute [в целом это были вполне милые люди], рассказывал Гёте Эккерману (19 апреля 1830 г.), но один из них вел себя не особенно любезно (nicht eben liebenswürdig): сделав при входе молчаливый поклон, он просидел с полчаса, не раскрывши рта и все время уставившись на Гёте. Тому это наконец надоело, и он стал молоть всякий вздор, говорил о Соединенных Штатах, о том, что на ум взбредет. Его слушателям это, должно быть, понравилось, потому что, видимо, они остались довольны (sie verliessen mich dem Anscheine nach durchaus nicht unzufrieden).

В 1821 г. прибыла в Веймар великая княгиня Александра Федоровна с августейшим супругом и посетила Гёте, что он и отметил в своих Tag- und Jahreshften. В свите великой княгини находился и Жуковский. На этот раз его свидание с Гёте было мимолетное: «от спеху не мог пробыть в Веймаре более одного дня, — писал он великой княгине 1 ноября 1821 года; там имел счастье представиться Ее Императорскому Высочеству великой княгине Марии Павловне, которая приняла меня с очаровательною милостью, и ее же милости обязан я свиданием с Гёте; он находился в Йене, и чтоб я имел время к нему съездить, Ее Высочеству угодно было прислать мне коляску, и я в тот же день видел поэта. Но свидание с ним было похоже на плавание мое

¹ См. письмо Гёте 3 января 1811 г. в веймарском издании его сочинений. IV Abt., 22 Bd. С. 4. № 6091 и с. 405–406.

² Russische Revue XXVIII B. 1888 г.: G. Schmid, Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel, с. 149: письмо 1812 г.

³ Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова. Berlin 1870. I. С. 303.

⁴ Воспоминания Ф.Ф. Вигеля. Ч. V. С. 104.

по Рейну; оно было туманно, хотя он принял меня с ласкою¹. В дневнике Жуковского под 29 октября помечено: «хлопоты о Гёте... Гёте: французский язык; стол; план Рима: бюсты; шкаф с минералами; о Märchen; alles ist Wahrheit und Dichtung [сказка; все есть поэзия и правда]» под 30 того же месяца: «дом бедный Шиллера; дом Гёте»².

«Вы, вероятно, почувствовали при отъезде из Йены, как мне было больно, что вы не продлили вашего пребывания, — писал Гёте Жуковскому. — Когда неожиданно явившийся, быстро овладевший вашей дружбой человек столь же быстро удаляется, вы начинаете раздумывать, что бы вы могли ему сказать, о чем спросить, что ему сообщить. Не стану говорить, что все это я ощутил вдвое и втрое, когда вы и ваш милый спутник покинули меня ночью в моей келье (Einsiedelei); пока примите мое письмо, как повторение моего „добро пожаловать” и „прости”. Я желал бы, чтобы вы сохранили память обо мне и при случае рекомендовали меня благоволению и милости прекрасной принцессы, прелестный образ которой у меня ежедневно перед глазами. Олицетворение высокого дарования в соединении с небесной добротой и кротостью, она производит на меня самое благотворное влияние. Не пишу более, дабы настоящее письмо мое быстрее дошло до вас при посредстве высоких путешественников, которым желаю всякого счастья в далеком пути» (16 ноября н. ст. 1821 г. Сл. Tagebücher под 15 ноября).

О другом посещении Веймара «высокими путешественниками» говорит следующее стихотворение Гёте:

Ihre Kaiserlichen Hoheit Grossfürstin Alexandra.

Der Frühling grünte zeitig, blühte froh,
Narciss' und Tulpe, dann die Rose so;
Auch Früchte reiften mit gedrängtem Segen
Der nah und nähern Sonnenglut entgegen;
Sie zierten wechselnd längst ersehnte Zeit
Und schmeichelten der tiefsten Einsamkeit.
Da stellten sich dem Hoherstaunten dar
Ein hehrer Fürst und Jugend Paar um Paar,

¹ Сл.: Русская Старина. 1902. № 5. С. 357.

² Goethe's Tagebücher 1821 г. 29 октября: Gegen Abend Herr von Joukowsky aus Petersburg mit Herrn von Struve; empfohlen von Graf Brühl und von Boisserée's [К вечеру господин Жуковский из Петербурга с господином фон Струве, рекомендованы графом Брюлем и Буассере.].

So gut als lieb, ehrwürdig und erfreulich;
Der innre Sinn bewahret sie getreulich,
In Frühling-, Sommer-, Herbst- und Wintertagen
Die holden Bilder auf- und abzutragen;
So kann er dann, bei solcher Sterne Schein,
Auch wenn er wollte, niemals einsam sein.

[Ее императорскому величеству великой княгине Александре.

Весна приходит в свое время и зеленеет, радостно цветет, — нарцисс и тюльпан, затем и роза; и фрукты в благословенной тесноте зреют под все более сильным солнечным жаром; они поочередно украшают давно желанное время и ублажают глубочайшее одиночество. Так сиятельный князь и юность представляются изумленному [поэту] всякий раз новой четой, доброй и милой, почтенной и отрадной; внутреннее чувство хранит их и позволяет приносить и уносить милые образы в весенние, летние, осенние и зимние дни, так что он [Гёте], при сиянии таких звезд, никогда не может быть одинок, даже если бы и хотел этого. (нем.)]

Жуковский отвечал на письмо Гёте из Петербурга 25 февраля 1822 г.: для него письмо было неожиданною радостью, так же как и драгоценный подарок (?), его сопровождавший. Он читает, и у него навертываются слезы. «То, что вы с такой добротой говорите о нашем свидании, чувствовал и я и в нашем присутствии, и расставаясь с вами. Это страстно желаемое и ожидаемое свидание длилось одну минуту, но минута эта была богата живыми ощущениями; я ничего не мог сказать вам потому только, что слишком много хотелось сказать, но я вас видел, и лучшие дни моего прошлого точно пронеслись предо мною вновь (votre présence a été pour moi comme une récapitulation rapide des plus beaux temps de mon passé [ваше присутствие было для меня как быстрое обозрение самых прекрасных моментов моего прошлого. (франц.)]). И много милых теней встало (und manche liebe Schatten steigen auf^{1*}: Гётевский стих, по-немецки во французском тексте письма — А.В.)... Примите же, дорогой великий человек, благодарность мою за это прошлое, так часто украшавшееся влиянием вашего гения, и за то мгновенье, в которое я ощущал ваше благотворное присутствие и которое вы довершили таким дружеским, отеческим рукопожатием, и за трогательное письмо с wiederholtes Willkommen und Lebewohl, которое свято сохранится, как священный дар дорогой руки». Жуковский показал письмо Гёте великой княгине; она была глубоко трону-

^{1*} Из «Посвящения» «Фауста».

та; «эта душа чистая, простая, глубоко чувствительная, может быть понята вашей душой. Ей было хорошо с вами, она сама это говорит, а в вас она должна была оставить милое впечатление, как явление друга, в котором соединено все великое, и это великое не что иное, как природная чистота и невинная простота ребенка. *Tel est le caractère de cette chère princesse* [Таков характер этой дорогой принцессы].»

«Гёте, казалось, было приятно, что Жуковский познакомил русских с некоторыми его мелкими стихотворениями», — записал в 1820 г. Кюхельбекер после краткого свидания с «бессмертным», которому привез поклон от Клингера¹.

Некоторые стихотворения Жуковского Гёте прочел позже в английском переводе. «Г-н Боуринг подарил мне русскую антологию, — писал Гёте, — и это заставило меня ближе ознакомиться с отдаленными восточными творениями, которые разнит от нас малоизвестный язык. Таким образом не только возымели для меня значение некоторые славные имена, но я мог ближе узнать человека, с которым давно сроднился в любви и приязни, — г-на Жуковского: он любезно почтил меня милыми стихотворениями, и теперь я получил возможность полюбить и оценить его в более широких границах его творчества» (*Kunst und Altertum*).

Едва ли антология Боуринга², из которой и Байрон узнал о Жуковском, «русском соловье», дала Гёте понятие как о поэзии его приятеля, так и о «достоинствах» наших стихотворцев, как писал он впоследствии Борхардту, прибавляя, что и «по многим другим признакам» (?) можно «предположить высокое эстетическое образование в области русского языка». В первой части своей Антологии Боуринг перевел из Жуковского «Пловца» (*The mariner*), «Элову арфу», «Весеннее чувство» (*Song*) и «Тоску по милом» (*Romance*, Нач. *Gather'd you dark forest over — Lo the gloomy clouds are spread*), которую Жуковский в свою очередь

¹ Письмо из Веймара 10/22 ноября в «Мнемозине» 1824 г., ч. I, стр. 89. Сл. *Goethe's Tagebücher 1820*, 22 ноября: *Junger Petersburger Küchelbecker in Gefolg des Fürsten Narishkin* [Юный петербуржец Кюхельбекер в свите князя Нарышкина.]. Сл. отметку под 23 и 27 ноября: *der junge Herr von Küchelbecker einen in Adular geschnittenen Jünglingskopf vorzeigend. В Tag- und Jahreshäften 1820 г записано: D-г Küchelbecker von Petersburg, von Quandt und Gemahlin, von Arnim und Mahler Ruhl brachten durch die interessanten Unterhaltungen grosse Mannichfaltigkeit in unsere geselligen Tage* [Д-р Кюхельбекер из Петербурга, Квандт и супруга, Арним и художник Рухль интересными разговорами вносят большое разнообразие в наше общество]. — Кюхельбекер был секретарем при Александре Львовиче Нарышкине, «с коим он был в Париже, где начал читать в Атенее лекции на французском языке о русской словесности. За либерализм в его чтениях Нарышкин принужден был покинуть его» (Плетнев в Переписке Я.К. Грота с П.А. Плетневым III, 409).

² Российская антология. *Specimens of the russian poets with preliminary remarks and biographical notices*, transl. by John Bowring. 1821 и 1823 г. 2 т.

перевел из Шиллера (Пикколомини III ч.); во второй части помещены «Певец в стане русских воинов», «Светлана» (Catherine: имя это заменило Светлану ради рифмы), «Теон и Эсхин» и «Певец» (The bard)¹. С «Пловцом» переводчик не справился, потому что не мог знать биографической подкладки стихотворения², да и стилистическая вольность Жуковского сбила его с толку. У Жуковского пловца, испытавшего бурю (т.е. самого Жуковского), Провидение заносит к райской обители (у Боуринга: on Eden's land), где он видит трех ангелов (Ек.Аф. Протасову и двух ее дочерей). Перед ними он в восхищении, хотел бы ими жить, для них дышать, пусть им радость, ему страданье — «но... не дай их пережить!» Боуринга смутил первый стих 4-й строфы: «О спаситель-Провиденье» (сл. «Пустынник», из Гольдсмита: дева-прелесть); под спасителем он и уразумел Христа; к Нему, оказывается, обращены восторги и поклонение поэта в 4-й и 5-й строфах, переделанных до неузнаваемости³.

Отголоском первого знакомства Жуковского с Гёте был портрет последнего, посланный им Дмитриеву: «Я видел Гёте и могу поручиться вам за совершенное сходство портрета с оригиналом», — писал он, вспоминая, что стихи Дмитриева: «Размышление по случаю грома», переведенные из Гёте, были первые, выученные Жуковским наизусть в русском классе, и что первые стихи, написанные им без соблюдения стоп, были их подражанием (11 февраля 1823 г.).

Лишь через несколько лет удалось Жуковскому побеседовать с Гёте. С весны 1826 г. по октябрь 1827 г. он снова был за границей, чтобы поправить свое здоровье и подготовиться к возложенной на него должности: быть наставником наследника престола. Первым продолжительным этапом был для него Дрезден (с 11 сентября н. ст. 1826 г. по 14/26 апреля 1827 г.), куда незадолго до него (31 августа) явился и Ал. Тургенев с душевнобольным братом Сергеем⁴. «Я приехал в Дрезден, где нашел свою родину, ибо живу вместе с Тургеневыми, писал Жуковский Козлову. Мы ведем вместе прекрасный образ жизни, сколько возможно при болезни... Я в Дрезден перевез с собою свою петербургскую комнату. Никуда не хожу и никого не вижу, ибо некогда. Надобно

¹ В предисловии к I части с. IX и в коротенькой биографической заметке о Жуковском на с. 235 упоминаются «Людмила», «Марьяна Роша» (Marina goshcha — Mary's Goat?), «Моя богиня» из Гёте и «Двенадцать Спящих Дев».

² Сл. выше с. 137.

³ См., напр., начало последней строфы: «Неиспытанная радость — Ими жить, для них дышать»: O, unutterable joy! In Thy light to breathe, to be и т.д.

⁴ Даты указаны дневником Ал. Тургенева.

работать для Петербурга, и я намерен вполне воспользоваться здешнею совершенною свободою, дабы в Петербурге было мне легче» (28 сентября, 1826 г.). Он трудится над планом учения, составляет исторические программы, имеющие для него «всю прелесть его прежних поэтических работ»¹. «Мне не только надобно учить, но и самому учиться, — пишет он Елагиной (7/19 февраля 1827 г.), — ни минуты нельзя употребить на что-нибудь другое». С этой стороны болезнь для него благодетель: она дала ему шесть месяцев свободы и уединения, чтобы посвятить свои мысли одной, главной, царствующей. «Могу сказать, что настоящая, положительная моя деятельность считается только с той минуты, в которую я вошел в тот круг, в котором теперь заключен. Прежде моя жизнь была *dans le vague*. Теперь я знаю, к чему ведет она. Поэзия мною не покинута, хотя я и перестал писать стихи, хотя мои занятия и могут со стороны показаться механическими. Есть в душе какая-то полнота, которая животворит ее. Я мог бы назвать себя счастливым (ибо никакого положения в свете не предпочту моему теперешнему и нахожу его достойным меня), но для счастья нужно не одно свое; но и счастью я давно дал другое имя. Я называю его *должность*. Под этим именем оно всегда сильно против судьбы»².

Утро отдано работе, труд прерывается прогулкой; после обеда читает Ал. Тургенев, Сергей Тургенев и Жуковский слушают³. Затем Жуковский начинает показываться в обществе; его дрезденский дневник известен пока лишь в отрывках, кое-что досказывают его письма, дневник Ал. Тургенева и его письма к брату Николаю; сохранился и собственноручный список лиц, с которыми Жуковский водил знакомство: русские и немцы, в числе последних старые знакомые: Тик и Фридрих⁴; затем Карус, лейб-медик саксонского короля, поклонник Гёте и также живописец, воспитавшийся под влиянием Фридриха; проф. Гассе, пастор Аммон и др. Но на первом месте красуются: «*M-me de Recke. Тидге*»⁵ — поэт и поэтесса душевно-сентиментального и морализующего настроения, доживавшие свой век в пору подъема романтизма.

Елизавета von der Recke (род. 1756 г.), урожденная имперская графиня von Medem, сводная сестра герцогини курляндской

¹ К Государыне 2/14 октября 1826 г.

² Зейдлиц I. с. С. 141–142.

³ Ал. Тургенев брату Николаю 17 октября 1826 г. В ноябре они читали вместе статью из *Kleine Schriften* Бутервека I: *Die grossen Nationen unserer Zeit. Noch ein Fragment zur Philosophie der Weltgeschichte* (из дневника Ал. Тургенева).

⁴ Сл. выше с. 247 и след.

⁵ Дневники В.А. Жуковского, изд. И.А. Бычкова. С. 192, прим. 2.

Доротеи, выступила в литературе уже в 1780 г. с *Geistliche Lieder einer vornehmen kurländischen Dame mit Melodien von Hiller* [Духовные песни благородной курляндской дамы с мелодиями Хиллера]. Рано разведясь с мужем, она предприняла в 1784 г. путешествие с своей приятельницей Софией Беккер (в замужестве Шварц), такой же поэтессой, как она, и свела множество литературных знакомств; она разъезжает, чтобы повидать ученых мужей Германии и принимать их у себя, шутила мать Гёте. Сохранился альбом графини, на складных стенках которого знаменитости оставили свои имена и пожелания, между прочим, Глейм, Гердер, Гёте («*Zur Erinnerung des 13 Juli 1785*»), Клопшток, Moses Mendelsohn. На гармонии «душ» построилась платоническая *amitié amoureuse* Елизы и Тидге (род. 1752 г.), они странствовали по немецким *Kurort*'ам и в Италии, Тидге и жил у графини в Берлине и теперь на покое в Дрездене. Они мечтали, думали и работали вместе; она была когда-то видной, тихой красавицей, он, ее обиженный природой, бесстрастный Петрарка, счастлив бесконечно уже тем, что обретается «в небесной святыне ее присутствия», и начинает свое письмо к ней (1 января 1825 г.) стихами из «Тассо» Гёте:

Wer neben diese Frau sich wagen darf,
Verdient für diese Kühnheit schon den Kranz.

[Кто осмеливается быть рядом с этой женщиной, уже за эту смелость заслуживает венец.]

В этом старосветском салоне, где царила дружба и милые воспоминания вызывали слезы, бывали Ал. Тургенев и Жуковский; оба они смолода сентименталисты, но теперь их чувствительность приподнята: тревожит судьба Николая Тургенева, заподозренного в событиях 1825 г. и принужденного скитаться за границей, на руках больной Сергей Тургенев, и еще не пережита смерть Карамзина.

Жуковского и Тургенева она страшно поразила. В июле 1826 г. Жуковский писал Карамзиной под впечатлением недавней утраты¹, в конце года писал к ней снова в ответ на ее недошедшее до нас письмо. «Благодарю за письмо душевно. Вы в нем прислали мне себя. Если бы что-нибудь могло увеличить мое к вам уважение, то, конечно, это письмо, в котором так сильно вы-

¹ Соч. Жуковского, 7-е изд. Ефремова. Т. VI. С. 510 и след.

ражается и наше великое несчастье, и высота души, которая способна его чувствовать и в то же время быть с ним *наравне*, сносить его с достоинством и в нем же самом некоторым образом находить свое подкрепление. *Любовь к мертвому*; в этих словах вся ваша остальная жизнь. Без счастья, но с благотворным святым воспоминанием, которое не заменит счастья, но дает особенное величие жизни. C'est notre second rédempteur, à nous propre [это наш второй искупитель, предназначенный именно для нас], говорите вы. Tout le sublime de la douleur et de la vertu est dans cette expression [в этом выражении — вся возвышенность скорби и добродетели. (*франц.*)]. В этих словах выражается вся его прошедшая жизнь и вся ваша будущая. On a raison de dire que les grandes idées viennent du coeur, on peut ajouter: du coeur frappé par une grande perte et qui pour se soutenir doit absolument s'élever et quitter l'ordre des choses communes, où il se trouvait si tranquillement insouciant, bercé par son bonheur [Верно говорят, что великие мысли исходят из сердца; можно добавить: из сердца, пораженного великой потерей, и которое, чтобы устоять, должно возвыситься и покинуть круг обыденного, где оно пребывало в спокойной беспечности, убаюканное счастьем. (*франц.*)]. С таким воспоминанием, какое вы имеете, с таким сокровищем, которое не многим достается в свете, не могу представить себе, чтобы вы могли чувствовать совершенное *одиночество*. Кому же верить невозможности разлуки, если не вам? Прекрасная жизнь, которой вы были свидетелем, есть самое ясное убеждение, что она не миновалась. У вас в сердце должны быть умиленные надежды, успокаивающая вера; все это *наполняет* жизнь, и душа имеет всегда свою пищу. Прошедшее не исчезло; милое из присутственного сделалось невидимым, но за то и не подверженным изменениям; жертва принесена, но этой жертвой куплена высокая мысль, что уже не будет изменения для того, что теперь вечно остается нашим. С такой верой можно жить, ни в ком такая вера не может быть так тверда и ясна, как в вас. Великое счастье, что я нашел здесь Александра и Сергея. Наше вместе стоит десяти докторов». — Приписка 12 января (1827 г./31 декабря 1826 г.): «Мечтательное в жизни миновалось. Многого, что было самое драгоценное, нет уже в ней, она не потеряла своей цены от этого, ибо никогда не должна потерять ее, но потеряла много прелести, место которой заступит строгая деятельность. Завтра новый год, вы встретите его со слезами и с молитвою к нашему доброму гению, который невидим, но нас не покинул. Прекрасная жизнь его у нас в душе. Благодарность ему за эту прекрасную жизнь

никогда в ней не изгладится. Завтра вы верно вспомните о нас. Мы принадлежим к семейству Карамзина, и теперь мы все его семейство; хотя его с нами нет, но он в нас по-прежнему. За него ничего временного уже бояться нельзя, об нем только можно думать с чистым, высоким чувством, в котором уже не может быть изменения! Для нас есть и случай и несчастья, для него одно неизменное, благодарное воспоминание»¹.

Таково было настроение друзей.

В кружке графини можно было отвести душу: здесь веяло ласковой и стариной. «Третьего дня был у графини Рек, где видел и Тидге, — пишет Ал. Тургенев в дневнике под 9 декабря 1826 г. — Добрая, умная и любезная старушка, живущая воспоминаниями о прежних друзьях — и беседую с немногими оставшимися, верными спутниками в жизни — и целительными водами. Изъявила радушие при свидании со мною, говорила о поэзии, о законодательстве, о Шекспире и Шиллере, о немецкой философии и о влиянии оной на все явления в словесности и даже в гражданском быту народа». 19 декабря беседа шла между прочим о религиозных вопросах: о иезуитах и происках католиков, о М-те Kгüdener, о Сократе и Христе, «о Неандере»^{2*}, который советовал не читать философии и держаться только Мендельсона и Гарве». «Пели элегию Тидге на смерть сестры нашей доброй Рек, герцогини курляндской, Der Ostermorgen, на которую Нейком сочинил прекрасную музыку. Одна из дам, составлявших хор, дочь Платнера, другая внучка его. И в стихах Тидге много поэзии и чувства... Кто-то пел: Der Erbkönig [Лесной царь] и другие стихи Гёте: Wie kommt's, dass du so traurig bist? [Как случилось, что ты так печальна?] Мелодия отвечала содержанию этой меланхолической песни», — и Ал. Тургенев грустно раздумался о брате. «После музыки Тидге читал „Весну” Клопштока, и высокое благочестие поэта меня успокоило, возвысило дух мой (примечательно, что в старости Клопшток был совершеннейший поэт

¹ Письмо это внесено Ал. Ив. Тургеневым в его дневник 1826—1827 г., откуда и сообщается. В тот же дневник, после отметки, что Тургенев выезжает сегодня утром 27 августа из Францбрюна, внесено письмо Ж(уковского) о К(арамзине), обращенное к Государыне по поводу смерти Карамзина. Это отрывок из письма Жуковского к имп. Марии Федоровне, Эмс 14/26 июня 1826 г. (Русский Архив 1896. №3. С. 457 и след.), начиная со слов: «Вы потеряли друга» и до конца. Начало печатного письма («немедленно по прибытии моем на место моего назначения») напоминает начало неизданного французского, обращенного на следующий же день (15/27 июня) к имп. Александре Федоровне (arrivé à a ma destination je m'empresse de profiter и т.д.).

^{2*} И.А.В. Неандер (наст. имя, до перехода в лютеранство, — August Moyses) — историк церкви, автор книги о св. Бернаре Клервоском.

лирический, нежели в молодости его; он же и в 70 лет пел любовь его 13-летнего возраста с чувством первой любви). Потом прочел он и свою пьесу, одну из лучших: сражение при Кунерсдорфе, элегия»¹.

29 декабря у графини «после обеда читаны некоторые песни из шуточной поэмы Баггезена, после смерти его изданной: Der Sündenfall [Грехопадение] в 12 песнях², где он осмеивает часто философию темную немцев, особливо Фихте, и еще темнейшую терминологию их. Рождение Евы забавно».

Поклонник Клопштока, Виланда и особенно Фосса, Баггезен относился отрицательно к новым течениям немецкой литературы, особенно к романтикам и мистикам, которых осмеял в Альманахе 1810 г.³, за что, как известно, Арним покарал его в своей «Gräfin Dolores», в типе Waller'a.

В салон графини Жуковский приносил знакомый нам альбом, с пометой на первом листе 1820 г. 16/28 декабря, Берлин; к четвертому приклеено, среди веток засохшей Ländlergras, письмо великой княгини 22 июня 1819 г., в котором она дала Жуковскому тему для его «Цвета завета» — цвета воспоминаний⁴. 12 января 1827 г. Тидге внес в этот альбом двустистишие по адресу Жуковского, такого же «величателя женщины», как он сам:

Sie, die heilige Kunst, erhebt das Leben zur Wahrheit,
Was die Wirklichkeit nahm, giebt sie dem Leben zurück.

Rufe das Wort zuweilen mein Andenken zurück in das Herz meines edlen Frauenlobs. С.А. Tiedge, Dresden 12 Jan. 1827. [Святое ис-

¹ Рассказ о посещении графини 19 декабря разбит в дневнике на две записи, в третьей — выписки из Ostermorgen и Künersdorf. В письме из Дрездена декабря 1826 г., напечатанном в «Московском Телеграфе» 1827 г., ч. XIII, № 2, с. 162 и след. (Подпись Э. А. = Эолова Арфа, арзамасское прозвище Ал. Тургенева), Тургенев обещал поговорить о графине Рек и ее вечерах. «У нее живет поэт Тидге, который вчера прочел нам две первые песни своей Урании. В них много прекрасных стихов и высоких мыслей».

² Adam und Eva oder die Geschichte des Sündenfalls. Ein humoristisches Epos in 12 Gesängen. Mit Vorwort von G.J. Göschen. Lpz. 1826. Большой Баггезен был в Дрездене в сентябре 1826 г. на пути в Копенгаген, где и скончался 3 октября.

³ Der Karfunkel oder Klingklingel-Almanach. Ein Taschenbuch für vollendete Romaniker und angehende Mystiker. Auf das Jahr des Gnade 1810. Tübingen, Cotta.

⁴ Об этом-то альбоме («ваш альбом») говорит, вероятно, Жуковский в черновом письме к вел. княгине (Дрезден 4/16 июня 1821 г.), первым из напечатанных в Шуйкинском сборнике вып. I (1902), с. 66 и след., с ошибочным адресом: вел. кн. Николаю Павловичу. Сл. выше с. 255 прим. 1. Письмо великой княгини напечатано мною в моей заметке «Цвет Завета», Литературный Вестник. Т. V. 1903. Кн. 3. С. 299.

куство поднимает жизнь до истины, оно возвращает жизни то, что отняла реальность. Пусть слово иногда вызовет воспоминание обо мне в сердце моего благородного величателя женщин. К.А. Тидге, Дрезден, 12 января 1827. (нем.)] В тот же день, на обороте листа, к которому приклеено письмо вел. княгини, графиня, очевидно ознакомившаяся с его содержанием, написала следующее: In Beziehung auf das Grashalm, welches unsere erhabene Kaiserin Alexandra zur schönen Aufgabe eines Liedes für sie machte, wage ich es auf dem nähmlichen Blatte die Gefühle meines Herzens hinzuschreiben:

Der Friede, der bei Engeln wohnt,
Wird nie dem edlen Herzen fehlen!
Es giebt ein Reich hienieden, wo er thront –
Es ist das Reich der schönen Seelen.

Dresden den 12-ten Jan. 1827. Elise von der Recke, geborne Reichsgräfin von Medem. [Что касается стебелька, который наша возвышенная императрица Александра превратила в прекрасную тему песни к себе, то я осмелюсь приписать на том же листе чувства моего сердца: Покой, пребывающий с ангелами, всегда будет присущ благородному сердцу! В здешнем мире есть царство, где оно царит, — *это царство прекрасных душ*. Дрезден, 12 января 1827. Элиза фон Реке, урожденная имперская графиня фон Медем. (нем.)]

«Вчера проводили мы вечер у больного поэта Тидге, в доме гр. Рек, и болтали о литературе старой и новейшей немецкой, — писал Ал. Тургенев брату Николаю (10 февраля 1827 г.). — Тидге и гр. Рек многих или почти всех знатнейших литераторов знали и прожили весь славный век немецкой словесности и сами в нем участвовали. Анекдоты их о прежних литераторах и авторах немецких любопытны. Они жили в согласии и в дружбе и мало или редко ругались в журналах и брошюрах. В одном Веймаре гр. Рек нашла холодность и взаимную недоверчивость. Других же славных авторов Тидге называет братьями, под одним лавровым древом покоившимися». Тидге рассказал анекдот о Баггезене и прочел свои последние стихи к другу:

Lass dich von der Unnatur
Neuer Singerer nicht stören!
Sing uns Wahrheit und Natur!
Wird durch dich *ein Herz* nur besser,
Heller *eine Seele* nur,

Blicke froh dann aufs Gewässer,
Wo dein Lebensschifflein fuhr.

[Не обращай внимания на фальшь *новых певцов!* Пой нам правду и природу! Если благодаря тебе станет лучше хотя бы *одно сердце*, светлее хотя бы *одна душа*, – бодро взирай на воды, по которым плывет кораблик твоей жизни. (нем.)]

На другой день Тидге должен был прочесть у графини свою еще не напечатанную сатирическую поэму в 4-х песнях, «коих предметы: свет, литература, философия, деньги, словом все, что составляет жизнь и хлопоты человека в свете».

В этом приюте Жуковского любят. На стене висит его гравированный портрет, рядом с портретом Тургенева; как-то раз графиня заметила Тургеневу, что его профиль смотрит на портрет Бёттихера, такого же полигистора, как и он, а профиль Жуковского – на Клопштока, и Тургенев особенно рад за соседство друга¹. По дороге из Дрездена Жуковский читает «profession de foi M-me de Recke» [символ веры мадам де Реке], может быть, ее «Gebete und religiöse Betrachtungen» [Молитвы и религиозные размышления] (Berlin, 1826), и несколько полемизирует с ней, между прочим, относительно значения молитвы и обряда².

За тихими дрезденскими днями последовала суতোлка Парижа, куда за Жуковским направились и братья Тургеневы и где Сергей Тургенев вскоре скончался. Это бросило печальную тень на Парижское пребывание. «Je passerai tout le moins de Juin a Paris, – писал Жуковский государыне, – mais je sens que je ne profiterai pas autant de mon séjour, que je l'aurais pu faire avant notre malheur... C'est une maladie de langueur, qui empêche de prendre aucun intérêt a ce qui vous entoure [Я проведу весь июнь в Париже, но я чувствую, что не извлеку такой пользы из моего пребывания там, которую мог бы извлечь до нашего несчастья... Апатия лишает всякого интереса к окружающему. (франц.)]», – говорит он о себе. Кое-что и кое-кого он видел, понял и угадал Париж, вспоминал впоследствии кн. Вяземский, имевший в руках его парижский дневник³. Он знакомится с городом, посещает лекции, палату депутатов, школу глухонемых, интересуется сцена-

¹ Письмо к Ник. Тургеневу 16 августа 1827 г.; сл. еще письма 9 и 31 августа.

² Сл. Дневники В.А. Жуковского I. с. С. 192–193 и прим. 3 на стр. 192.

³ «Жуковский в Париже 1827 г., май, июнь», сл.: Полное собр. соч. князя П.А. Вяземского. Т. VII. С. 470 и след., а также парижские письма Ал. Тургенева к брату Николаю.

ми в суде исправительной полиции и записывает свои театральные впечатления. Но его личное знакомство ограничено: Шатобриан, Ламартин и «другие видные лица» не могли привлечь Жуковского, замечает князь Вяземский: его кружок — кружок Гизо и его приятельницы, графини Разумовской, дружески связанной с Тургеневыми; набожный филантроп Дежерандо; Гизо — человек мысли, убеждения и труда, не рябивший в глаза блесками французского убранства. Он был серьезен, степенен, протестант вероисповеданием и всем своим умственным складом, человек «возвышенных воззрений и стремлений, светлой и строгой нравственности и религиозности. Среди суетливого и лихорадочного Парижа он был такое лицо, на котором могло остановиться и успокоиться внимание путешественника, особенно такого, каким был Жуковский»¹. Жуковский был уже в Эмсе, когда графиня Разумовская писала ему о христианской кончине М-ме Гизо, которую Жуковский оставил умирающей: она велела сказать Тургеневу и Жуковскому, что желала бы видеть их здесь, что они для нее не иностранцы, а родные, благородные души. И графиня Разумовская прибавляет от себя: «Вы водворились здесь, как будто составляете для них важнейшее в жизни. Vous êtes transparent, bon Joukovsky: on vous aime vite et avec sécurité [Вы прозрачны, милый Жуковский: люди к вам привязываются быстро и прочно. (франц.)]»².

2/14 июля Жуковский прибыл в Эмс, где и остался до 16/28 августа, чтобы выдержать курс лечения. Около 25 августа н. ст. Ал. Тургенев собирался выехать из Дрездена в Лейпциг — «или в Веймар навстречу Жуковскому и юбилею-празднику Гёте»³, но

¹ Князь Вяземский. Там же. С. 473.

² Письмо 5 августа 1827 г.; сл. ее же письмо 28 октября 1827 г.: «vous êtes pour moi un objet de culte et d'admiration» [вы для меня — предмет поклонения и восхищения. (франц.)]. См.: кн. Васильчиков, Семейство Разумовских. Т. 2. С. 210, 214.

³ Разумеется годовщина рождения Гёте (26 августа). В 1831-м году А.И. Кошелев описал бывшее по этому поводу торжество. Сл.: Н. Коллюпанов, Биография А.И. Кошелева. П. С. 3–4. — Тургенев был у Гёте 16 марта 1826 г. проездом в Россию, о чем и записал в своем дневнике: «Был у Гёте. На пороге Salve. Издает полные сочинения; сначала о занятиях своих по натуральной истории: они нашли меня, не я набрел на них». В августе 1827 года Тургенев был снова в Веймаре, но Гёте не видел, веймарские достопримечательности показывал ему канцлер фон Мюллер, выпросивший у него для Гёте автограф Карамзина. «Гёте, кажется, живет уже и теперь с потомством: о нем говорят уже, как о воспоминании, с почтением, которое питают к великому и вместе давно минувшему. Показывают его жилище как святыню» (Ал. Тургенев брату Николаю 7 августа 1827 г.). В дневнике Гёте отмечено под 6 августа: russischer Staatsrath Tourgenjeff; 8 августа, когда он уже уехал, Мюллер рассказывал о нем Гёте (Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich von Müller, hrsg. von Burckhardt, под 8 августа 1827 г.). Гёте «истинный представитель

поездка не состоялась. Поехал Жуковский, еще весь обвеянный душевной атмосферой дрезденского салона и религиозно-элегическими воспоминаниями Парижа. С ним ехал его будущий тесть Рейтерн, когда-то русский гусар, известный живописец, которого в 1816 г. он видел мельком в Дерпте, где любовался его рисунками у профессора Зенфа и графини Юлии Мантейфель, но с которым сошелся по душе лишь в Эмсе 1826 г.¹

Рейтерн знал Гёте с 1814 г., постоянно встречал в нем любовное, отеческое отношение к его работам и замыслам, и эти отношения поддерживались перепиской и посылкой рисунков. О своем 4-дневном пребывании в Веймаре в 1827 г. Рейтерн писал жене, а Жуковский вносил в дневник следующие подробности: 31 августа н. ст. они посетили во Франкфурте дом Гёте: «герб, три лиры, двор, колодезь, мансарды, Гретхен»; под 1-м сентября отмечено чтение Елены², 3 путешественники прибыли в Веймар, — и Жуковский очутился в Гётевской атмосфере. — 4-го сентября: «к Гёте. Крыльце с поворотом. Собака. В прихожей: Юпитер du Capitole, Pallas de Velletri. В гостиной Aldobrandini³, рисунки. Стол с портфелями. Голова Юноны колоссальная⁴. Барон Швейцер⁵, внук Вольфганг»⁶. 5 сентября: «поутру у графини Эглоф-

не одной только поэзии немецкой, но всей германской цивилизации, — писал Тургенев в январе 1827 г. — Он живое выражение всей их интеллектуальной национальности, более чем Шекспир английской, а Вольтер французской, ибо он выражает немцев и в поэзии, и в учености, и в чувстве, и в философии, действует на них, а через них и на всю европейскую литературу, служит вместе и верным, всеобъемлющим зеркалом Германизма, коего он сам есть создание, между тем как Шекспир создал вкус и народность англичан в поэзии, а Вольтер образовал век свой и французов, а не ими образован» (Московский Телеграф 1827, ч. XIII, № 4, С. 341 и след.: Письма из Дрездена 3—9/15—21 января. Подпись Э. А. = Эолова Арфа). — О другом посещении Гёте писал Тургенев Жуковскому 3 сент. 1829: «В Веймаре в первый раз в жизни наслаждался беседою с Гёте за бутылкой вина и осыпаемый острым огнем Гёте-сатирика над философами берлинскими» (Русская Старина. 1903. Августу С. 410—411). Сл. письмо Жуковского к проф. Моргенштерну 18 сент. 1829: «Je reçu une lettre de Tourguéneff qui me parle aussi de Goethe avec lequel il a passé une heure délicieuse» [Я получил письмо от Тургенева, который также говорит о Гёте, с коим он провел восхитительный час.] (Рус. Стар. 1890. Ноябрь. С. 479—480, сообщ. Кордтом; сл.: Е.В. Петухов, Памяти Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского. Юрьев, 1903, с. 92—93).

¹ Сл. письмо Жуковского к родным 10/22 августа 1840 г. (Русская Беседа. 1859., Кн. III. Изящная Словесность. С. 18 след.); Gerhard von Reutern. Ein Lebensbild S.-Pb. 1894. С. 48 и след.; сл. с. 48, 137; дневник Жуковского 17 августа 1827 г. и след.

² Helene, klassisch-romantische Phantasmagorie. Zwischenspiel zu Faust.

³ Копия античной картины (Nozze Aldobrandini), сделанная в 1797 г. Мейером.

⁴ Слепок Юноны Ludivisi, подаренный Гёте Шульцом.

⁵ Саксен-веймарский министр.

⁶ Внук Гёте.

штейн¹ ... Внук Гётев у Рейтерна Вальтер. К Гёте: разговор о Рейтерновых рисунках². В музеем. Обедал в трактире. Миллер³. Швейцер. После обеда опять к Гёте⁴. От него к Юлии Эглофштейн» 6 сентября: «К Миллеру. Бумаги Гердера, Шиллера, Гёте и Якоби⁵. Lettres autographes... к Гёте. Разговор о Елене, о Байроне. Гёте ставит его подле Гомера и Шекспира⁶. Die Sonne, die Sterne bleiben doch echt; es sind keine Copien [Солнце, звезды все же остались подлинными; это не копии. (нем.)]. Прогулка по саду Гёте; дом, где он писал и сочинял Ифигению. Домик герцога. Место, где сживал он, Шиллер, Виланд, Якоби, Гердер. Речка Ильм. К Гёте. Усталость и деятельность. Мы пробыли недолго. Эффект головы Юнониной»⁷ – 7 сентября: «Чтение Гёте. Отъезд. В полночь в Лейпциг».

«В полночь приехал Жуковский, – писал из Лейпцига Ал. Тургенев брату Николаю (8 сентября 1827 г.). – Мы свиделись в 6 часов, ибо он не хотел будить меня. Он зажился три дня в Веймаре в беседе с Гёте, от которого и я получил милое слово через канцлера Миллера, который писал ко мне. Жуковский жалеет, что меня не было с ним у Гёте. Он был необыкновенно любезен и как отец с ним. Жуковскому хотелось, чтобы я разделил эти минуты с ним, ибо он говорит, что Гёте и Шиллер образовали его, а с нами вместе он рос и мужался с нами, Тургеневыми, и душевное и умственное образование получал с нами, начиная с брата Андрея; что только в чужих краях укрепилась душа его... и

¹ Графиня Генриетта Эглофштейн и ее дочь Юлия – хорошие знакомые Гёте.

² Гёте высоко ценил их. Сл.: Tagebücher, 11-er Band (Weimar 1900 г.), с. 106; Eckermann I. с. под 12 февраля 1829 г. и 1 апреля 1831г.; Gerhard von Reutern, I. с. с. 51–52.

³ Веймарский канцлер Фридрих фон Мюллер. О его Goethes Unterhaltungen сл. выше с. 278, прим. 3.

⁴ Вот что записал канцлер фон Мюллер под 5 сентября: посещение Жуковского и Рейтерна привело Гёте в такое расположение духа, что он был любезен и общителен, как никогда еще, много говорил об искусстве и был доволен, когда Мюллер убедил гостей подольше остаться в Веймаре. Я так распорядился своим временем, что для друзей его у меня хватит, сказал Гёте.

⁵ Johann Georg Jacobi.

⁶ Eckermann I. с. под 26 марта 1826; сл. отзыв под 8 ноября 1826: ihm (т.е. Байрону) ist nichts im Wege als das Hypochondrische und Negative, und er wäre so gross wie Shakspeare und die Alten [ему мешает лишь ипохондрическое и негативное, иначе он был бы так же велик, как Шекспир и древние.]; 5 июля 1827: Byron ist nicht antik und ist nicht romantisch, sondern er ist wie der gegenwärtige Tag selbst [Байрон не античен и не романтичен, он как сам сегодняшний день].

⁷ 6 сентября они нашли Гёте не совсем здоровым и несколько усталым. Разговор шел о людях, воображающих себя знатоками, всегда готовых признать в оригинале копию. Пусть их себе; «Sonne, Mond und Sterne müssen sie uns doch lassen und können sie nicht zu Kopien machen [Солнце, луну и звезды они все же должны будут нам оставить и не смогут превратить их в копии.].» Friedr. von Müller, I. с.

что здесь началось европейское его образование; и я жалею, что не был с ним в Веймаре, хотя и многого бы лишился, что приобрел в Лейпциге. Но Гёте — незаменим... Вот стихи Жуковского, оставленные им в Веймаре у Гёте». Выписано известное стихотворение:

Творец великих вдохновений!
Я сохраню в душе моей
Очарование мгновений,
Столь счастливых в близи твоей¹.

В полуночной стране Гёте был ему «животворителем жизни», говорит Жуковский и сетует:

Почто судьба мне запретила
Тебя узреть в моей весне?
Тогда душа бы воспалила
Свой пламень на твоём огне.

«Иной чудесно-пышный свет» создан бы вокруг него, и сам он прослыл бы «поэтом».

По мнению фон Мюллера, отнесшегося к Жуковскому с большой симпатией², Гёте принял слишком равнодушно пре-

¹ Это стихотворение напечатано впервые в 1872 г. в Письмах Ал. Тургенева к брату Николаю. Интересно сличить первые стихи с эпилогом Ганса Кюхельгартена (написанного, как полагают, в 1827 г., но вышедшего в 1829 г.):

*Страна высоких помышлений...
Тебя обняв, как некий гений,
Великий Гёте бережет
И чудным строем песнопений
Свевает облако забот.*

² В альбом Жуковского он вписал следующие стихи, навеянные Гётевским Тассо I, 1, в конце 6-ой реплики Леоноры (Die Stätte, die ein guter Mensch betrat):

Wohl ist sie heilig, wie der Dichter lehret,
Die Stätte, die ein edler Mensch betrat!
Im unsichtbaren Geisterringe kehret
Sein Segen wieder, fruchtet früh und spat,
Weckt in der Enkel blühenden Geschlechtern
Den zarten Sinn des Schönen und des Rechten.

Wenige aber unvergessliche Stunden heiter-innigsten Zusammenseins werden Erinnerung und frommen Wunsch immerdar in meiner Seele erneuern. Friedrich von Müller, am 6 Sept. 1827. [Священно, как учит поэт, место, куда ступает благородный человек! Его благословение

восходное прощальное стихотворение Жуковского (herrliches Abschiedsgedicht)¹, хотя нашел в нем нечто восточное, глубокое, гьератическое (Priesterliches). Говоря о стихах баварского короля (Nachruf an Weimar), он осуждал их крайнюю субъективность: не следует поэту так трагично изображать прошедшее вместо того, чтобы признать настоящее и наслаждаться им, убивать прошедшее ради возможности — воспеть его; надо представлять его, как оно изображается в Римских элегиях. «Потому-то, что люди не умеют оживить, оценить настоящего, они и вожделеют будущего и кокетничают с прошлым. И Жуковскому надлежало бы более обратиться к объекту» (mehr aufs Objekt).

Таков отзыв Гёте, записанный Мюллером в день отъезда Жуковского (7 сентября). В один из своих альбомов с автографами (на футляре: Berlin den 3 april 1821) Жуковский поместил гравюру с портретной медали Гёте и несколько листов, сорванных в его саду, с припиской: 6 сентября 1827 г. Тут же вклеена страничка с стихами Гёте, очевидно вырезанная из какого-нибудь альбома. Стихи эти, напечатанные уже в издании стихотворений Гёте 1815—19 г., внесены им 28 декабря 1813 г. в альбом Генриетты Лёр²; в листке, попавшем к Жуковскому, они подписаны: «Weimar 18 märz 1825. W. Goethe». Стихотворение, озаглавленное в печати «Eigentum» — манифест великого объективиста, умевшего, как никто, пользоваться прекрасным настоящим. Может быть, листок — подарок фон Мюллера; точно иллюстрация к отзыву Гёте о Жуковском, так внятно она подчеркивает требование: mehr aufs Objekt:

Ich weiss, das mir nichts angehört,
Als der Gedanke, der ungestört
Aus meiner Seele will fluessen,
Und jeder günstige Augenblick,
Den mich ein liebenden Geschick
Von Grund aus lässt geniessen.

[Я знаю, что мне ничто не принадлежит, кроме мысли, которая готова свободна литься из моей души, и каждого благоприятного мгновения, что посылает мне любящая судьба. (нем.)]

возвращается в невидимый круг духов, плодоносит вновь и вновь, будит во внуках цветущих поколений нежное чувство прекрасного и справедливого. Немногие, но незабвенные часы светло-задушевного общения всегда будут будить в моей душе воспоминания и благие желания. Фридрих фон Мюллер, 6 сентября 1827. (нем.)]

¹ Стихотворение написано было рано утром в день отъезда Жуковского и вручено Мюллеру для передачи Гёте.

² Сл.: Goethes Gedichte, веймарское издание. I. С. 395. Прим. к с. 103.

Жуковский и Рейтерн подарили Гёте прекрасные рисунки¹, Жуковский – картину Каруса, имевшую аллегорическое отношение к смерти Байрона: романтический ландшафт, на балконе арфа, освещенная лучами месяца, за нею пустое кресло, на которое наброшен богатыми складками плащ. Надпись: *Offrande a celui dont la harpe a créé un monde de prodiges, qui a soulevé le voile mystérieux de la création, qui donne la vie au passé et prophétise l'avenir* [Приношение тому, чья арфа создала мир чудес, тому, кто поднял таинственный покров творения, кто оживил прошлое и предсказал будущее. (*франц.*)]. Эту картину видели в гостиной Гёте еще в 1829 г.² К тому же свиданию относится, вероятно, и подарок Гёте Жуковскому: каллиграфически переписанная так называемая мариенбадская элегия (*Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen*), внушенная 74-летнему старику страстным увлечением красавицей *von Lewezow*. На списке элегии собственноручно написан автором эпиграф (помещаемый и в заголовке элегии):

Und wenn der Mensch in seiner Quall verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide³.

[И когда человек немеет в своей муке, Бог дал мне поведать, как я страдаю.]

«Елена», конченная около 29 января 1826 г., была еще новинкой, когда Жуковский читал ее, подъезжая к Веймару. Понятно, что в беседах с Гёте зашла речь и об этой символической фантазмагории («Разговор о Елене», – записал Жуковский) и Гёте ее комментировал; в дневнике Гёте (*Tagebücher*) под 6 сентября читаем: *Herr von Reutern und Joukoffsky, commentierendes Gespräch über Helena* [Господин фон Рейтерн и Жуковский, комментирующий разговор о Елене.]. В том же году в XXI № «Московского Вестника», органа московских шеллингистов, Шевырёв поместил стихотворный перевод: «Отрывок из междудействия к Фаусту: Елена, сочинение Гёте» (с. 3 и след.) и объяснительную

¹ Сл.: *Goethe's Tagebücher* под 5 и 6 сентября Сл. дневник Жуковского 17/29 августа 1833 г.: «рисунки Гёте Рейтерну».

² Сл. письмо Шевырева к А.П. Елагиной: Гёте «показал нам подарок Жуковского, картину, изображающую арфу у стула, на котором кто-то сидел и исчез, оставив плащ свой. Луна ударяет на струны. Эта мысль взята из его Елены». Русский Архив 1879 г., кн. I, стр. 139.

³ См.: П.А. Висковатов. «Война мышей и лягушек», в годовом отчете гимназии и реального училища Видемана за 1900–1901 гг., с. 8, прим. 1 и указанную там литературу.

статью (с. 79 и след.), в которой Эвфорион оказывается рожденным «от сочетания преображенной красоты (Елена) с великодушным рыцарством» (Фауст), и вместе с тем символом «живой музыкальной поэзии христианского века», которая исчезает, как Эвфорион, потому что исчезли на земле и духовная красота и великодушное мужество. Борхардт перевел эту статью и послал ее Гёте вместе со своей заметкой: *Goethes Würdigung in Russland, zur Würdigung von Russland*¹. Гёте выразил свое удивление, что на отдаленном востоке к нему питают «чувства столь же нежные, сколько глубокие». Далее он снисходит – снисхождение великана: разрешение Шевыревым проблем, узла проблем, поставленных в Елене, показалось ему столь же пронизательным, сколько простодушным (*so entschieden einsichtig, als herzlich fromm*²). К сочувствию из России он привык – и поминает о своих приятнейших отношениях к Жуковскому (*ein höchst erquickliches Verhältniss zu Herrn Schoukowsky*). – Когда в 1831 г. А.И. Кошелев был у Гёте, они «разговаривали о немецкой литературе: Гёте очень любит нашего Жуковского, с удовольствием говорит о часах, которые с ним провел... и вообще много ожидает от русских»³.

22 марта 1832 г. скончался Гёте, и Жуковский снова паломничает в Веймар, собирая впечатления по следам Гёте и Шиллера, которые и вносит в свой дневник. В Готе он видел «Гётевы рисунки» (1833 г. 11/23 августа). В Веймаре 12/24 августа: «Анек-

¹ См.: Московский Вестник. 1828 г. Ч. 9. № XI. С. 326 и след.

² Сл.: *Kunst und Alterthum* VI. 2. Одобрение Гёте было несколько условно: по поводу разбора Шевырёвым второй части «Фауста» он писал в *Kunst und Alterthum*: «Шотландец стремится проникнуть в произведение, француз понять его, русский себе присвоить. Таким образом гг. Карлейль, Ампер и Шевырев вполне представили, не сговариваясь, все категории возможного участия в произведении искусства или природы». Сл.: Погодин, Воспоминание о Шевыреве, С. 15, и письмо Пушкина к Погодину 1 июля 1828 г.: «Московский Вестник» – «первый, единственный журнал на святой Руси», должен «оправдать ожидания истинных друзей словесности и одобрение великого Гёте. Честь и слава милому нашему Шевырёву! Вы прекрасно сделали, что напечатали письмо нашего германского патриарха. Оно, надеюсь, даст Шевырёву более веса в мнении общем».

³ Н. Колопанов 1. с. с. 7. П. Бартепов рассказывает, со слов Кошелева, что когда он явился к Гёте с рекомендацией вел. кн. Марии Павловны, тот принял его с чиновничьей важностью и говорил только о русском дворе. Чтобы как-нибудь перевести беседу на другой предмет, Кошелев сказал, что привез ему поклон от Жуковского. «А, Жуковский! Он далеко пойдёт! Он, кажется, уже действительный статский советник?» Кошелев ушел раздосадованный. На другой день он был на званом вечере у Гёте, где «великий человек был уже совсем иной. Общество состояло из писателей и художников и разговор тому соответственный». Русский Архив. 1884. № 1. С. 248.

доты о Гёте. Nie in einem schlechten Theater sich zu langweilen, nie ein Kompliment zu sagen, ohne es aufrichtig gedacht zu haben. — Von solchen Dingen spreche ich nur zu Gott [Никогда не скучать в плохом театре, никогда не говорить неискреннего комплимента. — О таких вещах я говорю только Богу (нем.)]»; под 13/25 августа: «Бюст Гёте Давида (David d'Angers)... О привязанности Гёте к Шиллеру. Виландово письмо о Гёте к Якоби. Письма отца и матери... В доме Гёте. Комната медалей: медали средних веков; бронзы; слепок с Шиллерова черепа»; (следуют несколько анекдотических заметок о Шиллере); 14/26 августа: «По утру у канцлера Миллера. О Гётевом Фаусте».

Дневник 1832 г. полон указаний на интерес к Гёте и бесед о нем: читано Ueber Italien, Fragment eines Reisejournals [Об Италии, фрагмент путевого дневника] с заметкой: «ясность и живость. Нет ничего лишнего. Обо всем собственная мысль. Eigentümlichkeit, Fasslichkeit und Bild [Своеобразие, ясность и образ] — характер Гётева слога. Краткость и легкий порядок в изложении; скрытая, но ощутительная мысль»; в другом месте указаны чтения: Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl; Joseph Bossi, Leonard da Vinci, Abendmahl zu Mailand¹, Hermann und Dorothea, Ueber die Malerei (вызвавшее большую заметку в дневнике); по поводу записок Гёте: «vornehmer Styl [благородный стиль]».

В 1836 г. А. Тургенев, осматривая дом Гёте, «его сокровища» и кабинет, видел в его альбоме надпись Жуковского 25 августа (ст. ст.) 1833 г.; воспоминания о Гёте вызвали у него мысли о Жуковском-поэте. Вместе с канцлером Мюллером он посетил Тифуртский сельский домик, «где в продолжении более сорока лет расцветал цвет германской словесности, где Виланд, Гердер, Гёте, Шиллер собирались мыслить в слух при дворе в услышание всей Европы и потомства» и «паганизм Виланда не чуждался ни библейской поэзии Гердера и идей его о судьбе человечества, ни Шиллеровой религии сердца христианского, ни хладных сомнений всеобъемлющего, но не все постигающего Гёте-Мефистофеля». В Тифурте приготовлялось будущее Германии, созидались новые элементы для европейской литературы, для Байрона и Вордсворта, для Гизо и Фориэля, для «души Сталь», «наконец, для нашего Жуковского, которого, кажется, Шиллер и Гёте, Грей и Вордсворт, Гердер и Виланд ожидали, дабы воскликнуть в пророческом

¹ В толковании «Тайной Вечери» Леонардо да Винчи Гёте разделял взгляды Босси. См. об этом: Strzygowski в XVII томе Goethe-Jahrbuch (1896. С. 138 и след.) и Euphorion IX Bd. С. 316 и след.

и братском сочувствии: „Мы все в одну сольемся душу“ — и слились в душу Жуковского... Этому не земному и этому лучшему своего времени, „dem besten seiner Zeit“, этой душе вверили, отдали они свое лучшее и будущее миллионов! Гений России храни для ней благодать сию. Да принесет она плод свой во время свое». — В доме Гёте, где ожидал их Крейтер, Тургеневу позволили взять «три лоскутка с помарками и с исправлениями рукою» поэта, в одном портфеле он видел «собственноручные рисунки Гёте карандашом (другое сходство с нашим Жуковским)... Тут и дерево, нарисованное для Гёте нашим воином-живописцем Рейтерном: он часто любовался им»¹.

«Мысли о Гёте и Шиллере дают особенную прелесть этим местам», записывает Жуковский в дневнике 25 августа/6 сентября 1838 г., снова очутившись среди веймарского прошлого и своих воспоминаний, которые пытается обновить: «первое посещение Гётева дома» (27 августа); «в доме Гёте... разговор с Экерманом и Крейтером². Описание смерти Гёте... Пирамида из папки: Sinnlichkeit [чувственное] — зеленый цвет, Verstand [рассудок] — голубой, Vernunft [разум] — желтый, Fantasie — красный» (28 августа); 29 августа осмотр дворца: комнаты Виланда и Шиллера; 1-го сентября: «по утру с великим князем в доме Гёте»; 2-го: «посещение Гётевой гробницы»; 3-го: рисовал в кабинете Гёте». На пути из Веймара осмотр Schillerhöhe, деревни, где Шиллер жил в 1788 г. и писал свои первые стихотворения — «9 мая Шиллеров памятник открывается в Штутгарте, — записал Жуковский 11/22 апреля 1839 г. (в Гааге) — мне бы явиться туда с стихами! Увидим!»³

Это дневник энтузиаста, не молчаливого, но «творец великих вдохновений» в нем не сквозит. Мы знаем, что дневник Жуковского был для него материалом для писем к друзьям и высокопоставленным лицам, для описаний и «размышлений», попадавших в печать. О Гёте он нигде не отозвался. «Жуковский в кабинете Гёте еще для меня любопытнее, чем у рейнского водопада или на высотах Сен-Готарда», — заметил кн. Вяземский; приятно смотреть его глазами на природу, «но еще приятнее и полезнее сводить через него знакомство с знаменитыми современниками»⁴. —

¹ См.: Отрывки из записной книжки путешественника в «Современнике» 1837 г. Т. V. С. 294 и след.; письмо Ал. Тургенева к кн. Вяземскому 3 и 21 июля 1836 г. из Москвы. О письме Вальтера Скотта к Гёте, списанном Тургеневым, см.: Eckermann I. с. под 25 июля 1827 г.

² Friedrich Theodor Kräuter, секретарь библиотеки, приведший в порядок Гётевский архив.

³ Сл. еще в дневнике посещение Гётева дома 27 марта 1840 г.

⁴ См.: Полное собр. сочинений кн. Вяземского I, стр. 269.

Что такое воспоминания о Гёте, о которых говорит Жуковский в дневнике 1832 г. под 28 июня/10 июля из Ганновера: «утро дома. Чтение воспоминаний о Гёте»?

В салоне А.О. Россет (с 1832 г. замужем за Смирновым), куда Жуковский и Пушкин ввели Гоголя, и в доме Карамзиных Жуковский встречался со своими старыми друзьями, кн. Вяземским, Ал. Тургеневым, Блудовым, Полетикой и другими. Толковали о литературе, о политике; баронесса Клебек пела романс Вейрауха (*Land meiner seligsten Gefühle* [Край моих блаженнейших чувств]), напоминавший Жуковскому «его идеальную кухню Марию Мойер»¹; Тургенев знакомил с новостями французского романтизма, Жуковский являлся представителем немецкой литературы, говорил о *Vehmgericht*'e^{2*}, рассказывал скандинавские легенды³. Россет-Смирнова ловит разговоры и записывает на лету имена и анекдоты. «Вчера вечером у Карамзиных Орест и Пилад (Жуковский и Пушкин – А.В.) болтали в углу, а я училась у них, записывая то, что они говорили. Они говорили о Лессинге, о Гёте, Шиллере, Клейсте»⁴. – Главное место отведено Гёте и Шиллеру; может быть, отзывы Жуковского восполнят то, чего напрасно ждал от него кн. Вяземский.

«Жуковский, верный своему Гёте, продекламировал Коринфскую невесту», – отмечает Смирнова⁵; по словам Жуковского Гёте «ни эгоист, ни равнодушный, а просто не любит сентиментальностей. Он уважал Карамзина и серьезно интересовался нашими писателями»⁶, «обещает русской литературе великую будущность. Жуковский видел у него Шлегелей и говорил о нашей славянской поэзии, о наших песнях... Гёте относится иронически к немецким философам и... наименее немец из всех немцев; он больше думает, чем мечтает (*schwärmt*)»⁷. Его голова «была всегда спокойна, это видно по его лицу»⁸. «Говорят, что Шарлотта любила Гёте, – сказал Жуковский, – но не хотела отказывать

¹ Записки А.О. Смирновой I, 69.

^{2*} Фемгерихт – форма судебного разбирательства в средневековой Германии (главным образом в Вестфалии), напоминавшая трибунал и отличавшаяся жестокостью и нередко секретностью.

³ Там же. С. 51, 53.

⁴ Там же. С. 154.

⁵ Там же. С. 41–42.

⁶ Там же. С. 54.

⁷ Там же. С. 56.

⁸ Там же. С. 88. В Берлине у Гуфеланда Жуковский любовался бюстом сорокалетнего Гёте: «удивительно прекрасный профиль»; «его кто-то прекрасно теперь назвал Олимпийским Юпитером без бороды» (дневник 3 ноября 1820 г.). Сл. еще: Записки Смирновой. Т. I. С. 85 (отзыв императора Николая).

Кестнеру, так как она его знала раньше Гёте, который был очень дружен с ним. Но Шлегель мне говорил, что Гёте никогда не женился бы на ней: у него тогда еще не было ни малейших матриониальных наклонностей». Он искренно любил свою сестру и говорил Жуковскому, «что смерть сестры была одним из величайших несчастий его жизни. Но у него была натура не экспансивная, он не часто говорил о том, что чувствовал»¹. «Я говорил с Гёте об Италии; он сказал мне, что итальянцы родились классиками; они навсегда останутся греками, латинянами, этрусками, троянцами, даже сарацинами; они в такой степени являются продуктом бесчисленных колонизаций и самых разнообразных цивилизаций, что со времени провансальских и романских поэтов уже не поддаются никакому литературному влиянию. Но и эти поэты, в сущности, порождение того же античного прошлого. Итальянец родился художником; это в его крови, в его вкусах; итальянский язык такой же чудесный, как и греческий, и делается красивее латинского с тех пор, как они становятся в поэзии опять греко-латинянами»².

В сравнении с Гёте Шиллер, хотя он часто «и является греком, но все-таки он архинемецкий поэт; было время, когда он был более грек, чем Гёте: в юные годы Гёте не был таким ярким греком»³. Талант его «необъятен: он чувствует, он вдумывается, подчас он бывает гениален»⁴. В своем „Колоколе” он достиг наибольшей высоты именно простотой этого произведения, описывающего человеческую жизнь и деятельность рабочих и художников; поэма эта одинаково нравится и ученым и простым людям. Но все-таки он не Гёте и не Байрон»⁵. Сравняя драмы Шиллера и Гёте со стороны их сценичности, Жуковский отдает предпочтение первому⁶. «Разбойники» и «Коварство и любовь» тенденциозны⁷, как и «Эгмонт» и «Дон Карлос»; последнее сказано по поводу драмы французских романтиков, которые, воображая, что следуют примеру Шекспира, прямо становятся на сторону того или другого

¹ Записки Смирновой. Т. I. С. 87.

² Там же. С. 157.

³ Там же. С. 156.

⁴ Дневник 1832 г. 9/21 августа: «Шиллер — идеал поэта».

⁵ Записки Смирновой I. С. 141.

⁶ Сл. Дневник 1826 г. 30 июня по поводу представления «Макбета» в переводе Шиллера: «Шекспировы и большая часть немецких трагедий не для представления. Нет общего эффекта, кроме некоторых Шиллеровых, особенно Валленштейна. Выходишь без главного — чувства»; но Jungfrau von Orleans «лирическая поэма, а не драма» (дневн. 1840 г. 27 марта). — В 1838 г. 20 мая/1 июня Жуковский записал, что провел вечер, разговаривая с Тиком, Клейстом, Форстером об актах в «Фаусте».

⁷ Записки Смирновой. I. С. 154.

исторического лица. По мнению Жуковского, Корнель и Расин были в этом отношении «беспристрастнее романтиков»; «для изображения исторических лиц обыкновенно пользуются готовыми ходячими легендами, не углубляясь в изучение архивов, в которых хранится такой богатый материал. Гёте и Шиллер написали Эгмонта и Дон Карлоса с известной предвзятой мыслью»¹.

Есть еще беглые заметки о Вертере, которого когда-то собирались переводить Андрей Тургенев и Мерзляков, и о *Wahlverwandtschaften* [Избирательном сродстве], романе, который оказывается «гораздо безнравственнее, чем Вертер, потому что «свернул в Германии голову большему числу женщин, чем число самоубийств, вызванных Вертером»². Несколько раз поднимается вопрос о Фаусте. «Что же ты думаешь о Фаусте, о Вильгельме Мейстере? – допрашивал Жуковский Гоголя, чтением которого руководил он и Пушкин. – Я совершенно поражен гением Гёте, отвечал Гоголь. Шиллер, с которым я довольно хорошо знаком, кажется мне теперь совсем другим. Я начал читать Гамбургскую Драматургию и прочел Натана Мудрого. Я сделал извлечения из этих книг. – Жуковский: Можешь оставить их себе... Не благодари, потому что у меня их несколько изданий. Шиллер – великий поэт, но Гёте и великий мыслитель»³. – «Фауст удивительно сценичен», сказал как-то Жуковский; «Фауст стоит совсем особо, заметил Пушкин, это последнее слово немецкой литературы, это особый мир, как Божественная Комедия, это, в изящной форме, альфа и омега человеческой мысли со времен христианства; это целый мир, как произведения Шекспира»⁴. – Совершенно справедливо, подтвердил Жуковский, Фауст производит такое же удивительное впечатление, как и Гамлет, Отелло, Макбет, Ричард III»⁵. Когда о Фаусте зашла речь в другой раз, Пушкин утверждал, что в нем «больше идей, мыслей, философии, чем во всех немецких философах, не исключая Лейбница, Канта, Лессинга, Гердера и прочих. – Это философия жизни, *des Lebendigen Lebens* [живая жизнь], заключил Жуковский»⁶.

Гётевскому «Фаусту» посвящена статья Жуковского: «Две сцены из Фауста» 1848 г. Первая заметка показывает с христианско-

¹ Записки Смирновой. I. С. 198.

² Там же. С. 307.

³ Там же. С. 138–139.

⁴ Сл. отзыв Пушкина: «Фауст» величайшее создание поэтического духа и служит представителем новейшей поэзии так же, как Илиада служит памятником классической древности (о Байроне 1827 г.).

⁵ Записки Смирновой. I. С. 155.

⁶ Там же. С. 186.

философской точки зрения, чем погрешил Фауст, когда в сцене до появления Маргариты принялся толковать по-своему мысль Евангелиста: В начале бе Слово¹. Вторая вызвана рисунками Корнелиуса и Реча к такой сцене: когда Фауст и Мефистофель скачут мимо лобного места, где утром будут казнить Маргариту, перед их глазами делается что-то странное. —Что это? Зачем собрались они у виселицы? спрашивает Фауст. — Кто их знает, что они стряпают! отвечает Мефистофель. — Фауст: Взлетают, слетают, наклоняются, простираются. — Мефистофель: Дрянь, ночная сволочь! — Фауст: Как будто готовят место, как будто его освящают. — Мефистофель: Мимо, мимо! — Художники одинаково поняли видение, у обоих являются мертвецы в саванах, скелеты с головами и без голов, бегают, летают, пляшут около эшафота. Зачем же было Мефистофелю называть их сволочью? спрашивает Жуковский и предлагает другое толкование: Маргарита покаялась, добровольно предала себя Божьему суду; «она спасена!» — слышится свыше голос в сцене тюрьмы, и вот чистые ангелы своими руками уготовляют и святят то место, на котором слепое человеческое правосудие удовлетворит земной правде, казнив преступное тело человека, а Божие всевидящее правосудие совершит правду небесную, принявши в лоно милосердия покаяние души человеческой. Эти мысли развиваются и далее в согласии с идеями статьи Жуковского «О смертной казни» (1849 г.), вызвавшей укор Аксакова (в Молве 1857 г. № 14): «Можно ли думать, что поэт наш, столь проникнутый верою, столь благодухный — защитник смертной казни!.. Христианское ли это дело?»²

Ни та, ни другая заметка Жуковского не выясняют, как понимал он тип Фауста; пиетистический характер комментария не указывает на понимание. К тому же, чтобы так истолковать сцену у виселицы, надо было более чем исказить текст: Мефистофель говорит не о дряни, ночной сволочи, как переводит Жуковский, а о сонме ведьм, *Nexenzunft*, и спешит он не потому, что ангелы освящают место казни и ему не по себе, а надо отвлечь внимание Фауста да и поспеть в тюрьму к Маргарите. Во всем этом нет и следа *des lebendigen Lebens*; Гёте нашел бы такое толкование по крайней мере *herzlich-fromm*. Правда, оно относится к последним годам Жуковского, поре душевного его единения со

¹ Статья эта встретила цензурные затруднения, тем не менее была напечатана в «Москвитяине». 1849. Т. I. С. 13–18.

² «Эта превосходная статья в соприкосновении с юридическим законоположением, следственно не может пройти без воли источника законов», — писал Плетнев Жуковскому 1/13 октября 1851 г. Цензура ее не пропустила.

Стурдзой и Гоголем второй формации. В начале тридцатых годов Смирнова со слов Пушкина записала, что Жуковский лучше всех в России понимает Гёте¹. При коренной разнице мирозерцания, как-то не верится, чтобы душа Жуковского могла воспалить «свой пламень на его огне»; говорил же его приятель Ал. Тургенев о «хладных сомнениях» Гёте-Мефистофеля.

Не безынтересно, что после восторженного свидания с Гёте в 1827 г. Жуковский перевел в 1829-м лишь две его безделки (Мысли и Памятники I), а после усиленного чтения его произведений в 1832-м пересказал его старую басню «Орел и голубка»: молодой орел пустился на добычу, но, раненный стрелком, упал в масляничную рощу; излеченный живительным бальзамом всеисцеляющей природы, он хочет испытать крылья и бессильно опускается на землю. Уныло смотрит он на вершину дуба, на солнце, на далекий небесный свод, и в его глазах сверкают слезы. А голубка, гулявшая тут же с голубком, утешает его: к чему унывать? Здесь все, что нужно для простого счастья: благоухание и сень оливы и «вечер золотой»; ты гуляешь по цветам, можешь пищу собирать с кустов и жажду в струях студеных утолять.

О, друг! поверь,
Умеренность прямое счастье;
С умеренностью мы
Везде и всем довольны.
— О мудрость! прошептал орел,
В себя сурово погрузившись, —
Ты рассуждаешь, как голубка.

Умеренность, то, что в карамзинскую эпоху звалось «посредственностью», было для Жуковского идеалом счастья в пору его юношеского дневника (1804—1805); об «умеренности желаний» твердит он постоянно, в разных случаях жизни и разных житейских обстоятельствах:

Орел летит отважно в горний край,
Пчела свой мед на скромном копит луге.

(«К Арбеновой» 1812 г.)

¹ Записки Смирновой. I. С. 186.

XI. Общественные взгляды Жуковского

С этого-то «скромного луга» хотел вывести его кн. Вяземский в «горный край» общественных вопросов. Мы помним, каких ярких политических впечатлений желал он ему, сам настраиваясь кипуче: это было в его стиле и характере. Надежды строились на патриотических стихотворениях Жуковского, создавших ему в 1812–1814 годах громкую славу. Известно его послание к вел. княгине Александре Федоровне на рождение вел. князя Александра Николаевича (1818); получив его в Париже, Полетика признал в нем кисть «Певца во стане русских воинов»: «Карамзин показал нам, как должно посвящать книги царям, — писал он Жуковскому, — от тебя же наши будущие поэты научатся, как следует поздравлять их в стихах. От вас обоих познают все наши писатели, сколь великая есть разность между справедливою похвалою и подлою лестью» (6/18 июля 1818 г.¹).

К такого рода сюжетам поэт вернулся значительно позже, не с прежней свежестью энтузиазма, но с большей риторикой, и не с надеждами, а в спокойном сознании, что они «совершены»: «Русская Слава» 1831 г., стихотворения всего 1834 г., «Бородинская годовщина» 1839 г. и стихотворение на 1-е июля 1848 г. состоят из торжественного перечня прошлых судеб России, обеспечивающих ее настоящее. — В 1826 г. Пушкин объяснял по-своему, почему Жуковский так долго не отзывался на события дня², в 1831 г. кн. Вяземский называл его «Старую песню на новый лад», — «шинельными стихами»; «разумеется, Жуковский не переломил себя, не кривил совестью, — говорит он в непосланном Пушкину письме, — следовательно мы с ним не сочувственники, не единомышленники. Впрочем, Жуковский слишком под игом обстоятельств, слишком под влиянием лживой атмосферы, чтобы сохранить свои мысли

¹ Русская Старина. 1902. Октябрь. С. 195 и след.

² К Жуковскому 1826 г. январь.

во всей чистоте и девственности их»¹. В 1821 г. кн. Вяземский еще мечтал, что Жуковский станет «гражданским песнопевцем», как в событиях 1812 г.² и обращал его к злобе дня, к вопросам, волновавшим современную политическую жизнь. Иначе не понять ответа Ал. Тургенева: «не надобно на Жуковского смотреть из одной только точки зрения, с которой ты на него смотришь — *гражданского песнопевца*. У него все для души»³: душа его в таланте и талант в душе. Лишь бы она только не выдохнулась! Но ее бережет дружба, самая нежная и для тебя невидимая. Я ее узнал, и все мои надежды на Жуковского оживают. В нем еще будет прок. Он не пропадет ни для друзей, ни для России»⁴.

Но князь Вяземский возвращается к атаке: «у Жуковского все душа и все для души. Но душа, свидетельница настоящих событий, видя эшафоты, которые громоздят для убиения народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальности Аркадии. Шиллер гремел в пользу притесненных; Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими. Делать теперь нечего. Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах. Прежде поэты терялись в метафизике, теперь чудесное, сей великий помощник поэзии, на земле»⁵. «Я готов назвать поэзией политическую всякую народную или гражданскую поэзию, объемлющую возвышенные, общественные истины, — писал кн. Вяземский в одном из своих парижских писем (1826—1827 г.). — И почему поэту не быть, наравне с оратором, стражем народных выгод и блага общественного?»⁶

Все это были проекты вроде тех, которые приятели считали достойными дарований Жуковского, забывая о его темпераменте. У него все дело в душе, человечности; в этом смысле Жуковский гуманист сентиментальной эпохи, глубоко проникнутый ее настроением, воспитывавший в себе добро, сеявший его всюду, где только страдали и куда доходило влияние

¹ Полн. собр. соч. кн. Вяземского. Т. IX. С. 155 и след. Этот отзыв касается и Пушкина («На взятие Варшавы», «Клеветникам России»), патриотические стихотворения которого вызвали отрицательную оценку Мельгунова и сочувствие — Чаадаева. Сл. Кирпичников, Очерки по истории новой русской литературы. Т. II. 2-е изд., с. 167—168.

² К Ал. Тургеневу 1821 г., начала февраля.

³ Намек на запись Жуковского в альбом Е.Н. Карамзиной, сл. выше с. 52.

⁴ Тургенев кн. Вяземскому 1821 г. 16 февраля.

⁵ Кн. Вяземский Тургеневу 1821 г. 25 февраля. Сл. выше, стр. 309, письмо кн. Вяземского к Жуковскому 15/27 марта того же года.

⁶ Полное собрание сочинений кн. Вяземского. Т. I. С. 224.

поэта¹. Он был человек сердца, ставшего принципом; это всех к нему привлекало. Молодой цесаревич называл его в письме к Мердери (1833) «добрым», «бесценным»; в письмах И.И. Дмитриева он «милый», «добродушный», «добрый поэт»; «bell'alma generosa», воплощение «бесконечной доброты», душа у него «хрустальная», говорит о нем Смирнова; таков и отзыв Пушкина: Жуковский почти слишком добр, «у него небесная душа»²; «душа твоя светла, как зеркало, с которого и последнее дуновение мгновенно исчезает» (Ал.Мих. Тургенев в 1837 г.). «Уехал почтенный наш Василий Андреевич, — писала А.И. Кологривова Плетневу (6 мая 1838 г.) — ...Его отъезд для многих важная сердечная утрата... Но всегда милый, всегда добрый, всегда и во всем неземной, он и в минуту отъезда не забыл о тех, которым с таким радушием обещал свое покровительство»³. «Сколько благословений на душу и на потомство Жуковского несется отовсюду», — говорил впоследствии князь Вяземский: из хижин, из замков, из дворцов и даже из келий⁴; «удивительный человек этот Жуковский, — писал матери И.В. Киреевский, — хотя, кажется, знаешь необыкновенную красоту и возвышенность его души, однако при каждом новом случае узнаешь, что сердце его еще выше и прекраснее, чем предполагал»⁵. Известны его хлопоты о Пушкине, когда он был в беде, о декабристах, о больном Батюшкове, о Николае Тургеневе, Мещевском, Боратынском, Киреевском, его участие в судьбе Шевченка, матери и брата Никитенка, семьи Воейковой и др.

Разумеется, требования сердца встречались с некоторыми унаследованными воззрениями, которые уступали тем медленнее, чем сильнее было благоговение перед историческим преданием. Так в вопросе о крепостничестве. В 1806 г. Жуковский говорил о необходимости дарования крестьянству многих прав, которые приблизили бы его несколько к свободному состоянию⁶, в 1808 г. он стоит за дарование ему всепревышающего блага —

¹ См.: Н. Дубровин. Василий Андреевич Жуковский и его отношения к декабристам. Русская Старина. 1902. Апрель. С. 45 и след. Там же. С. 121 и след.: Письма и записки В.А. Жуковского к графине Ю.Ф. Барановой. О Жуковском как филантропе сл.: Сумцова, В.А. Жуковский и Н.В. Гоголь (Харьков, 1902); А.И. Маркевич. Отношения В.А. Жуковского к писателям и артистам. Одесса, 1902.

² Записки Смирновой I, 178, 186, 219 и след.

³ К. Грот, Несколько дополнений к рукописям В.А. Жуковского. Известия Отд. Русск. языка и слов. Имп. Акад. Наук. 1901. Т. VI. Кн. 2. С. 24.

⁴ Тургеневу 2 декабря 1842 г.

⁵ Полн. собр. соч. И.В. Киреевского. I. С. 6 (письмо датируется указанием, что напечатаны уже 23 песни с половиною «Одиссеи»).

⁶ Письмо к А. Тургеневу, половина декабря.

свободы, но излишество образования кажется ему вредным, потому что оно отучило бы крестьян «наслаждаться достойным человечества образом» тем жребием, «в котором помещены они судьбою». «Убийственное чувство рабства» («Печальное происшествие» 1809 г.) не было для Жуковского пустой фразой, но сам он лишь в 1822 г. отказался от права рабовладельца, хотя дело это давно лежало у него «на душе». «Очень рад, что мои эсклавы получили волю», писал он А.П. Елагиной, жалуясь, что не мог спасти от цензуры стихов Шиллера:

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und wäre er in Ketten geboren.
(Die drei Worte des Glaubens)

[Человек сотворен свободным, он свободен, даже если был рожден в оковах. — «Три слова веры»],

а без них не пожелал напечатать перевода¹. В 1848 г., в письме к Наследнику (6 марта), он выражает надежду, что правительство уничтожит «искусственных пролетариев», которых само произвело.

Жуковскому, казалось, не доставало мужества в некоторых случаях, когда можно было бы ожидать от него откровенности гражданина: он мог общаться с людьми, от которых его друзья сторонились, пытался даже оправдывать их, сам не веря оправданию, мог «споткнуться рассудком ребяческим, но верно не сердцем». Друзья объясняли это не равнодушием, а бесхарактерностью, ленью ума, и не осуждали², а комментировали, в приложении к Жуковскому, слова Бонапарта: *Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas* [От великого до смешного один шаг. (*франц.*)]. Сделай милость, смотри за Жуковским в оба, писал из Варшавы кн. Вяземский Тургеневу (13 октября 1818 г.): «я помню, как он пил с Чебышевым и клялся Катениным. С ним шутить нечего. *Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas*: в первую субботу напьется с Карамзиным, а в другую с Шишковым». «Жуковский, как попрыгунья стрекоза, поминутно перескакивает этот шаг (т.е. *du sublime au ridicule*), то взад, то вперед. Но добрый гений придерживает его на нашей стороне и, наконец, вероятно, одержит решительный верх»³.

¹ Зейдлиц I. с. С. 123–125.

² Кн. Вяземский А. Тургеневу 1823 г. 1 октября; Тургенев кн. Вяземскому 9 октября 1823 г.; Ал. Тургенев Ник. Тургеневу 12 и 27 августа 1827 г.; Ал. Тургенев кн. Вяземскому 1839 г. 17 июня/5 июля.

³ Кн. Вяземский Тургеневу 30 мая 1819 г.

Все это не мешало дружбе: «нас для него не много, ибо многие знают его только по таланту, а он у нас один, защищает его от упреков кн. Вяземского Тургенев: с ним я давно живу и чувствую, чувствую и живу, и он знает, что меня мороз Зимнего Дворца не прохватит» (1819 г. 2 сентября).

Заступничество за декабристов, переписка с гр. Бенкендорфом по вопросу о литературном наследии А. Пушкина и просмотре оставшейся после него корреспонденции служат свидетельством, что Жуковский был способен на гражданский подвиг. В деле Н. Тургенева он дошел до неприятного для него объяснения. «Ты при моем сыне. Как тебе слыть сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступления?» — сказал ему государь. — «Если б я имел возможность говорить, вот что бы я отвечал и сделал бы хорошо, но верно бы повредил себе; и так невозможность говорить некоторым образом послужила мне к добру». Жуковский записывает эти слова на клочке бумаги вместе с конспектом речи, которую он — не произнес: о том, что правосудие не безошибочно, особливо в России, что доносы не «решительные приговоры Божьи», что, если довериться им, нравственность наша будет на произволе доносчиков, около царя будут жить лишь те, кто живет предательством, люди преданные и честные будут молчать с горем и лишены возможности быть полезными. И Жуковский говорит про себя: «Я с своей стороны буду продолжать жить, как я жил. Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже Бенкендорфу: у меня есть другой вожатый — моя совесть, моя верность к Государю. Во всем прочем надо отдать себя на волю Провидения, которое спасает добрых, или губит их для их же добра. В этой одной мысли — спасение. Буду осторожнее, вступаясь за тех, кто в ссоре с правительством, ибо там, где нельзя ничего сделать, а можно только погубить себя, благоразумие велит думать о себе; это не будет эгоизм... Вот бедствия, происходящие от невежества. Мало того, чтобы иметь чистую совесть, надобно иметь и понятия, принадлежащие времени, в коем живем. Их дает одно просвещение. Просвещение для ума есть то же, что чистая религия для совести. Там, где нет просвещения, каждый имеет свой собственный ум, ум своего места, своей партии, и все они в противоречии, в беспрестанной битве»¹.

Итак, дело не в лени ума, которую Гоголь объяснял посвоему, а в способности все идеализировать, всюду видеть Ар-

¹ Сл.: Дубровин. В.А. Жуковский и его отношения к декабристам. I. с. С. 80 и след.

кадию, при большом миролюбии, сказавшемся в юношеском афоризме дневника: не говорить правды в глаза, если она вредна¹, и в отсутствии общественной жилки. В 1808 г., в руководящей статье «Вестника Европы» («Письмо из уезда»), Жуковский писал: «Политика в такой земле, где общее мнение покорно деятельной власти правительства, не может иметь особенной привлекательности для умов беззаботных и миролюбивых». В конце того же года политический отдел исчезает из журнала, на его счет развита критика и отдел сведений «о достопамятных явлениях природы». — «Я уже отпел панихиду политике и ни мало не опечален ее кончиною», — извещал Жуковский А. Тургенева (15 сент. 1809 г.). Но и в скромных размерах она возбуждала опасения; 5 января 1809 г. Ал. Тургенев писал Жуковскому по поводу политического обозрения в «Вестнике Европы», которое принял на себя Каченовский: «Теперь тебе будет более времени писать свое, ты не будешь уже в ответственности за политику. Здесь (в Петербурге) многие удивлялись твоей дерзости и оплошности вашей цензуры, а в одно время я сам боялся, чтобы не запретили твоего журнала»². В 1819 г. Жуковский отказался участвовать в Союзе Благоденствия, которому сочувствовал: его устав заключает в себе мысль благодетельную, высокую, для выполнения которой требуется много добродетели, выразился он; он почел бы себя счастливым, если бы мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования, но, к несчастью, не чувствует в себе достаточной к тому силы³. С молодости его идеал — индивидуальное развитие, общественное — результат личного; это шиллеровское воззрение на облагораживание характера как на средство достигнуть политической и гражданской свободы. В этом направлении развиваются последовательно взгляды Жуковского, за вычетом тех случаев, когда дело идет о *свободе* в патриотическом смысле этого слова, об охранении или самосознании народности, либо о свободе в кругу друзей, в объятиях природы, в поэзии, в том, что звалось поэтическим *otium*'ом [досугом (*лат.*)]. В 1806 г. поэт зовет себя воспитанником свободы, дышавшим в объятиях природы⁴; так и Гораций смотрел на свет глазами философа, знающего истинную цену жизни, привязанного к удовольствиям непорочным и — к свободе⁵. Пе-

¹ Сл.: «Две повести» 1844 г.: «Злой наездник правды».

² Из неизданного письма.

³ Записки Трубецкого. С. 80.

⁴ Отрывок: «Подражание».

⁵ 1809 г. «О сатире и сатирах Кантемира».

вещ соединяет «Младенца чистоту С величием свободы, Боготворя природы Простую красоту... Посредственность, свобода, Животворящий труд, Веселие досуга Близ мыльи и друга, И пенистый сосуд В час вечера приятной Под липой ароматной С забвением сует, Вот все» («К Батюшкову», май 1812 г.). Свобода друг наш благодатный, обращается Жуковский к кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину: «Мы независимо, в тиши Уютного уединенья, Богаты ясностью души, Поем для муз, для наслажденья, Для сердца верного друзей» (1814); веселая свобода сидит и «за большим семейственным столом» (в альбом бар. Ел.Ив. Черкасовой 1814 г.); Шиллеровское воззрение в пересказе «Элевзинского праздника» (1833): «Здесь лишь нравами одними Может быть свободен он» (т.е. человек).

Неясно понятие свободы в воспоминаниях 1806 г. о дружеско-литературном обществе 1801–1802 годов:

О братья, о, друзья! Где наш священный круг?
Где песни пламенны и музам и свободе?

(«Вечер» 1806)

Тем яснее то, что говорится в «Протоколе 20-го арзамасского заседания 1817 года»¹. Как раз в этом году в общество вступило несколько либерально и деятельно настроенных членов: Николай Тургенев, замешанный потом в деле 1825 г., декабрист Н. Муравьев, М. Орлов, по арзамасскому прозвищу Рейн, мечтавший о восстановлении масонства, заподозренный впоследствии в связях с декабристами, от которых, впрочем, отстал, поклонник ланкастерской методы обучения, химик и политико-эконом, каким изобразил его впоследствии Герцен². Арзамас готовился оживиться, отстать от прежних «шалостей», поставить себе серьезные, литературные и общественные цели. Уже в 1816 г. арзамасцы подумывали о своем журнале³, и в бумагах Жуковского нашлась его программа и заглавие: Отрывки, найденные в Арзамасе. Но затея касалась обычного литературного альманаха, в котором Жуковский хотел поместить «Песнь Игора». Теперь задача явилась иная. В апрельское заседание Орлов-Рейн

¹ О литературном обществе Арзамас сл. исследование Е.А. Сидорова в Журн. Мин. Нар. Просв. 1901 г. № 6 и 7.

² См. примечания к № 83, 101 и 216 переписки кн. Вяземского и Тургенева; Записки Сергея Григорьевича Волконского. 1901. С. 460 и след.; Герцен, Былое и Думы. Женевск. изд. Т. VI. С. 209.

³ Сл. письмо кн. Вяземского к Тургеневу 27 сент. 1816 г. Сл.: Соч. Батюшкова. II. С. 404 (к Жуковскому 25 сентября 1816 г.).

внес проект политического журнала; вопрос этот обсуждался в 20-м, июльском, заседании, и Жуковский фантазирует в своем протоколе, как, по мановению волшебного жезла, явились пышные врата с надписью: Журнал Арзамаса; Рейн растворил их: «за ними кипели в светлом хаосе призраки веков», виднелись тени славных, и надо всем

С яркой звездой на главе гением тихим носилось
В свежем гражданском венке божество: Просвещение, дав руку
Грозной и мирной богине Свободе! — И все арзамасцы,
Пламень почуя в душе, ко вратам побежали... Все скрылось!
Рейн сказал: «Потерпите, голубчики! Я не достроил!
Будет вам дом, а теперь и ворот одних с вас довольно!»

Издание Журнала было решено, в работах над новым уставом общества и программой журнала принимал живое участие и Жуковский, которого просили в редакторы. Обнародование «Священного Союза» (25 декабря 1815 г.) ознаменовало в правительственных сферах решительный поворот к реакции, а между тем первый отдел журнала должен был служить распространению «идей свободы, приличных России в ее теперешнем положении, согласных со степенью ее образования, не разрушающих ее настоящего, но могущих приготовить лучшее будущее». Журнал остался проектом. Уже в первой половине 1818 г. многим из зачинателей пришлось оставить Петербург; Жуковский-Светлана (по арзамасскому прозвищу) засел, скорчившись, «в графах таблиц»: он обучал вел. княгиню Александру Федоровну и действительно писал одни «грамматические таблицы»¹. Мы знаем, что к таблицам он питал в своей педагогической практике над собой и другими особую слабость. Блюдов назначен был в Лондон, Дашков с 1817 г. состоял при русской миссии в Константинополе, кн. Вяземский — Асмодей уехал в Варшаву, «распростившись с халатом свободы»,

Между тем Рейн усастый, нас взбаламутив, дал тягу,
В Киев и там в Днепре утопил любовь к Арзамасу!
Рейн давно замолчал, да и мы не очень воркуем.

Так рассказывает Жуковский в «Отрывке арзамасской речи» 1818 г.; в том же году он писал Орлову:

¹ См. письмо Карамзина к Дмитриеву № 224, 28 ноября 1818 г.

Начальник штаба, педагог,
Ты по ланкастерской методе
Мальчишек учишь говорить
О славе, пряниках, природе
О кубарях — и о свободе!

Во второй половине жизни все эти воззрения отлились в благодушную систему общественности, которую Жуковский излагает в письмах, в заметках¹, может быть, отрывках какой-нибудь «белой книги», где известные мысли раз выливались в определенную форму и с нею идут в оборот, лишь кое-где изменяясь. В основе этой системы лежит теория гуманистической личности, «души», прогресс определяется «временем», «Промыслом», его желательный характер — «умеренность» («умеренность, покорность», «Певец в Кремле»), сдерживающее начало — историческое предание. Время — единственный, «верный, сильный, но медленный создатель лучшего», оно «послушно одному Богу» История «говорит властителям: будьте согласны с вашим веком; идите с ним вместе: впереди, но ровным шагом; отстанете, он вас покинет, повлечете его быстро вперед — ниспровергнете все и себя; осмелитесь преградить ему дорогу — он вас раздавит»². Историческое предание, в миросозерцании Жуковского, то же, что воспоминание: одно хранит лучшие опыты сердца, которых не забыть, другое — вековые опыты народной жизни, их же не преидеши. Промысел и общественные перевороты, нарушающие умеренность прогресса, сопоставляются в апологе, написанном Жуковским для Н. Тургенева, пострадавшего в событиях 14 декабря 1825 г.: в переворотах многие гибнут, для лучших они — испытание свыше; так сгорает в горне голик, «а золото горит и не ропщет на судьбу и верит тому, что без огня не быть ему чистым, и радуется пламени, которое возвысит его достоинство»³. Он хлопотал о Н. Тургеневе, принимал участие в личной судьбе декабристов, но их движение осуждал: это разбойники, возмутители, у которых «даже не видно фанатизма, а просто зверская жажда крови безо всякой даже химерической цели»⁴. Перевороты исключаются и святостью историческо-

¹ Некоторые из них напечатаны в издании: Из собрания автографов Имп. Публ. Библиотеки. СПб., 1894. С. 49 и след.: Политические и философские заметки и мысли В.А. Жуковского. Сл.: Полное собрание сочинений В.А. Жуковского, изд. проф. Архангельским. Т. XI: Отрывки 1845–1856 гг.

² «Черты истории государства Российского» 1834 г.

³ Письмо Ал. Тургенева к брату из Лейпцига 1827 г.

⁴ К Ал. Тургеневу, 16 декабря 1825 г.

го предания: «всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надо прибегать только по необходимости», писал Карамзин; Жуковский развивает это: «кто дерзает на настоящее верное зло для будущего неверного блага, тот — злодей»¹; нельзя «разрушать существующее, жертвуя справедливостью, жертвуя настоящим для возможного будущего блага... Время возьмет свое, и новая жизнь начнется на развалинах, но это дело его, а не наше; мы только произвели гибель, а произведенное временем из созданных нами развалин ни мало не соответствует тому, что мы хотели в начале... Что вредно в настоящем, то есть истинное зло, хотя бы и было благотельно в своих последствиях; никто не имеет права жертвовать будущему настоящим и нарушать верную справедливость для неверного возможного блага. *Человек во всякую настоящую минуту может быть справедливым; в этом его человеческая свобода.* Что справедливо теперь, то несомненно, жертвовать этим несомнительным, единственно возможным человеку для вероятной, следовательно, сомнительной пользы, есть преступление или безумство. Ибо кто отвечает за будущее? И следующий миг не принадлежит нам: это уже область провидения... Должны ли мы себя осудить на бездействие и неподвижно предаться во власть времени?.. Нет. *Но для человека довольно собственной деятельности без дерзкого присвоения той, которая не принадлежит ему.* Иди шаг за шагом за временем, вслушивайся в его голос и исполняй то, что он требует. Отставать от него столь же бедственно, как и перегонять его... Работая беспрестанно, неутомимо, наряду со временем, отделяя от живого то, что оно уже умертвило, питая то, в чем уже таится зародыш жизни, и храня то, что зрело и полно жизни, ты безопасно, без всякого губительного потрясения, произведешь или новое необходимое. или уничтожишь старое, уже бесплодное или вредное. Одним словом, живи и давай жить другим, и паче всего блюди *Божию правду*»².

Отсутствием «*Божьей правды*» объясняется плачевное состояние запада, о котором в письмах к Ал. Тургеневу сетует Жуковский: «в нашем убийственно позитивном веке» нет ничего святого, «математически-гордый ум гонит Бога с места» и «образован-

¹ Русский Архив. 1896. № 3. С. 457. Статья, озаглавленная «Об энтузиастах», отнесена издателем к началу царствования Императора Николая Павловича. В печатном тексте статьи «Энтузиазм и энтузиасты» (1848) приведенный выше афоризм выражен иначе: «Кто, вооружаясь на существующее зло в пользу будущего, неверного блага, нарушает вечные законы правды, тот злодей».

² 1833: Отрывки письма о Швейцарии о революциях = письмо к Козлову 4 янв. 1833 г.

ность сделалась плодом без зерна». Правда, Франция «никогда не имела такой массы свободы», зато «достоинство человеческое унижено, светлое раздавлено» (1833 г. 15 янв.). Свобода «не безумное равенство прав, а независимость каждого на его месте», — пишет он, прочитав первый том Haller'a *Restauration der Staats-Wissenschaft* [Восстановление науки о государстве]; он увлечен его системой, жалеет, что не познакомился с нею ранее и сам обрушивается на защитников «фальшивой свободы, верховной власти народа, так называемого общего блага и пр. и пр. Это отсутствие всего Божественного, этот материализм, это замещение всего высокого и святого в душе человеческой арифметическими расчетами интереса (частного или общего, все равно), это презрение ко всему историческому, это замещение патриархальной верховной власти грубою властью народов, этот деспотизм книгопечатания, которое общим бедствием, то есть безнравственностью доктрин, губящих правило, заменило частные бедствия, происходившие от страстей одного и оставившие следы неглубокие, все это приводит в трепет». Революционная богиня разума не на престоле и никого не пугает более, но она терпима: это признак усталости, мир могилы, состояние неестественное для человека. Надо, чтобы возвратилось «святое», религия: «в ней и гражданство, и *свобода*, и благородство души человеческой» (1833 г. 14/26 марта). «Что такое цивилизация? Собственность, идея правды, внимание ко всему умственному. Тут все формы годятся. Революция французская хотела всем дать вдруг иную схожую внешность и вздумала намазать ее на лицах кровавою кистью» (дневник, 27 марта/8 апреля 1839 г.).

Понятно, как должен был отнестись Жуковский к движениям 1848 г. Они волнуют его, он говорит о них в своих письмах (напр. к Наследнику, в январе, 17 февраля, 1 марта 1848 г. и 29 января 1849 г.), противопоставляя «русскому великану», «мощному первенцу творенья» («К русскому великану» 1848 г.)¹ — полувековую «мелодраму», которую сыграла Франция. Его «Четыре сына Франции» — представляют вольный перевод четырех строф, автором которых, как ему сказывали, была девица Цедлиц; так отмечено на заглавном листке белого списка, сохранившего стихотворение; «пятая строфа прибавлена мною в начале 1849 г.», — присоединяет Жуковский, но на ней он не остановился, 7-я строфа говорит о 2 декабря 1851 г. И 4-я строфа не осталась без добавлений: Цедлиц писала в 1846 г., и Жуковский поясняет, что

¹ Напечатано первоначально в «Русском Инвалиде» вместе с экпромптом Тютчева. Сл. письмо Плетнева к Жуковскому 29 октября / 10 ноября 1848 г.

именно эта строфа «заключает в себе пророчество, исполнившееся в декабре 1848 г.» В его переделке она и подписана 1849 г., и, вероятно, переделка этим не ограничилась. Сравнение первых 3-х строф с последующими указывает на разницу настроения: Цедлиц быстро, лирически характеризует события 1789, 1812, 1830 гг., Жуковский ужасается и морализует по поводу черни, наставленной «благим советом пушки», самодержавного народа, который спешит замазать на стенах «свободу, равенство и братство» — и не споется «с владыкою штыком». Суд Божий прав, обращается он к Франции:

Из чаши,
В которой буйно ты,
Цареубийства ужас,
Безверия чуму
И бешенство разврата
В один смешала яд —
Святой воды здоровья
Не можешь ты испить;
Ни ты, ни зараженный
Твоим безумством свет!
Но есть спасенья чаша,
Она перед тобой, —
К ней, к ней со страхом Божиим
И с верой приступи.

Что такое *Божия правда*? В письме к наследнику цесаревичу 30 авг. 1843 г. Жуковский дает ему знакомые советы: не жертвовать настоящим верным благом вероятному будущему, частным благом общему, так называемому государственному, ибо «общее благо есть сумма благ частных. Может ли оно существовать в целом, когда нет его по частям?» Паче всего хранить Божию правду: «самодержавие есть только высшая степень покорности *Божьей правде*». Его опаснейший враг самовластие¹. В 1847 г. он прочел речь своего «венчанного друга» (Фридриха Вильгельма) и восхищен ею; но будет ли она иметь влияние? «Слишком проникнут дьявольскою необузданностью наш век, чтобы понять и принять голос верховной *Божьей правды*»; наше время — «палач всякой правды»². «Под развитием самодержавия разуме-

¹ Сл. письмо к нему же 1845 г. 23 августа.

² Из Эмса 2 июня 1847 г., к нему же; то же в письме к кн. Вяземскому, того же дня и года.

ется твердейшее укоренение и распространение его патриархального могущества, которого источник и право есть верховная *Божья правда*»¹. Иоанн Миллер заключил свою всеобщую историю словами: умеренность, порядок²; это правило, извлеченное им из истории, можно извлечь и из начала высшего и выразить словами: *Божья правда*³. Либо, вместо умеренности, «золотая середина»: реформа вовремя «по закону *вечной правды*»⁴, «могущий русский великан, представитель русского самодержавия т.е. *высшей правды*»⁵. С *Божьей правдой* водворится и *свобода*, которая «не иное что, как личное благоденствие всех и каждого, хранимое властью, не жертвующее призраку благоденствия общего, а его в своем итоге производящее»⁶, ибо нельзя разрушить все частные земные блага, «чтобы на них построить Публичного безжизненного блага темницу» («Странствующий Жид» 1851–1852 гг.).

Но чтобы Божия правда водворилась, надо, чтобы она «цвела» в *душе* государей (Но трона красота – великая душа, «Императору Александру» 1814 г.). В «Собирателе» 1829 г. говорится: «душа государя есть то же для нравственной жизни народа, что климат для жизни физической человека» («Климат физический и нравственный»); «сила нравственная в *душе* государей» (к Наследнику 1832 г., 5 ноября); лишь Божьей правдой сильны цари, «ею одною человек приобретает достоинство сына Божия, она есть главное на земле, ибо частное на земле есть *душа* человека. Царство исчезает; все, что человек создает, или не совершается, или обращается в прах; самый род человеческий есть только изменяющееся явление. Одно существует, одно принадлежит Богу на все века – наша душа и все то, что в ней сохранилось, взятое ею из временной жизни» (ему же 30 авг. 1843 г.). В письмах к государыне Жуковский указывает на место, которое Фридрих Вильгельм III займет «в истории *души царской*, ибо на земле все для души»; «в наше время, когда все трещит и ломается, много

¹ О стихотворении «Святая Русь» 1848 г.

² Сл. комментарий к этим словам в «Собирателе» 1829 г.: Хрестоматия для вел. кн. Александры Николаевны (Польза истории для государей).

³ «Самоотвержение власти» 1848 г. (сл. письмо к Наследнику 3/15 декабря 1848 г., 19/31 янв. 1849 г.).

⁴ «Теория и практика» 1848; повторено в письме к вел. кн. Константину Николаевичу 2/14 марта 1850 г. Сл. в дневнике 4 июня 1838 г. заметку о шведской конституции.

⁵ К Д.П. Северину 17 ноября 1848 г., Русский Архив. 1900. 9. С. 43; к Булгакову 7 марта 1848 г. Русский Архив. 1868. С. 1470.

⁶ «О происшестввах 1848 г.».

спасательной силы заключено, быть может, в душевном союзе царей, согласных любвию к правде, вере и истинной свободе» (к Наследнику, Дюссельдорф, 12 окт. 1843 г.). Могущество царя опирается на нравственность народа, а для этого надлежит, «чтобы душа царева была святилищем этой нравственности» (ему же 15/27 дек. 1847 г.).

Такой идеал мирной исторической эволюции, снившийся Жуковскому; возможна она лишь там, где, как у нас, сохранилось народно-историческое предание и еще почитаются устои древней жизни, пережившие все перевороты, включая петровский. Как относился Жуковский к последнему? В 1810 г. он упрекал себя, что, не зная азбуки, взялся за авторство: «хвататься за трудное, не приготовив себя к успешному его исполнению работою продолжительною, есть свойство русских, за которое они должны благодарить Петра Великого»¹. «В Сардамском домике» (апреля 1839 г.) полно восторженного лиризма, как и послание к поэту Леннепсу (7/19 апреля 1839 г.)² и письмо к императрице (из Гааги 17 апреля): «при взгляде на лачугу, где жил Петр Великий, слезы полились из глаз моих и нам в эту минуту стало понятно, почему между чувствами, проходящими по душе человеческой, одно из самых сладких есть благодарность Государю за отечество; оно именно потому так сладко, что оно совершенно бескорыстное. Благодарность не за себя, не за всех и за одно благотворное дело, а за пожертвование целой жизни святому делу, и радуешься, что находишь себя способным чувствовать такого рода благодарность»³. Петра Великого давно нет, и его Сардамский домик чуть держится, но это место для русского имеет оча-

¹ К Ал. Тургеневу 4 дек. 1810 г.

² Сл. дневник 1839 11/22 апреля: «Сочинил стихи Леннепсу, которые прочитал с удовольствием Толстому».

³ Сходные идеи в черновом письме к вел. княгине Александре Федоровне (Дрезден 4/16 июня), ошибочно напечатанном в Шуйкинском Сборнике (вып. I. С. 66 и след.), как обращенное к вел. кн. Николаю Павловичу. Жуковский говорит о своей прощальной беседе с прусским наследным принцем, которому всю душу желал счастья: «в желании счастья тому, кого судьба поместила на такую высокую степень, есть что-то возвышенное и благородное; все личное исчезает, слово счастье получает какой-то величественный смысл; думаешь не об одном настоящем, не об одних мелких, ежедневных обстоятельствах жизни; желаешь добра не одному, а в одном множестве, желаешь ему великого, прекрасного места в истории: такого рода чувство трогает душу, и я расстался с ним, будучи тронут не одною благодарностью за ту, смею сказать, дружескую ласку, с какою он со мною простился, но вместе и мыслию, что он способен получить то счастье, которого я искренно пожелал ему». Этого эпизода (с. 67) нет в тексте письма, напечатанного И.А. Бычковым в «Русской Старине» 1901 г. Октябрь. С. 225. Сл. выше с. 255, прим.

рование невыразимое». Жуковский приводит здесь отрывок из своего послания к Леннепсу:

Работником простым
В Сардамской хижине великий царь таился
И, плотничая там, владыкой быть учился.
Там мыслию его корабль застроен тот¹,
На коем по волнам времен и поколений,
Неизменяемый² среди бурных изменений,
Им созданный народ
Указанным путем³ плывет под флагом славы,
Корабль великия Российския державы.

«И поверьте мне, что эта избушка, где я провел, один, незабвенные полчаса... думал о Петре, живо вспоминая государя, о котором вообще как-то чаще думается здесь, где так много следов могучего сардамского плотника».

Месяца два спустя Жуковский любовался в Петербурге Зимним дворцом, в один год вновь отстроенным после пожара 1837 г.: «совершенный образец России: огромно, без точности, без общей связи, выражение одной общей воли, которая, повелевая, рабствует. Во всех мелочах отражает тот характер, который дал России Петр Великий: скорей во что бы то ни стало. Мы не идем вперед, а скачем от пункта к пункту, вперед ли, назад ли — все равно»⁴.

Еще в 1841 г. в письме к вел. князю Константину Николаевичу (5/17 сентября) Жуковский характеризовал Петра как представителя «зигдущей силы», который вспахал дикую почву России и засеял ее семенами, уже давшими богатую жатву. Под впечатлением событий 1848 г., которыми полны его тревожные письма, его взгляды определяются: надо «китайскою стеною отгородить Россию от заразы», она есть отдельный, самобытный мир⁵. «А наша святая Россия?... Ход Европы не наш ход; что мы у нее заняли, то наше, но мы должны обрабатывать его у себя, для себя, по-своему, не увлекаясь подражанием, не следуя движению запада, но и не вмешиваясь в его преобразование. В этой отдельной самобытности вся сила России. Она представитель чистого патриархального

¹ В печатном издании: здесь был его рукой корабль.

² В печатном тексте: неизменяемо.

³ «Указанным путем» нет в печатном тексте.

⁴ Дневник 1839 г. 27 июня.

⁵ К наследнику 17 февраля 1848 г.

монархизма. Самодержавие в его полном, благотворном развитии есть ее доля, самодержавие без всякой примеси произвола¹. «А наша святая Россия? — повторяет он на следующий день. — О, она тверда собственной силой... Ее сила стоит на святом, вековом фундаменте самодержавия, ее эмблема — Александровская колонна!.. Россия, прежде безобразная скала, набросанная медленным временем, мало-помалу под шумом древних междоусобий, под громом половецких набегов, под гнетом татарского ига, в боях литовских, сплоченная самодержавием, слитая воедино и обтесанная рукой Петра... Для меня теперь стало еще яснее, что ход России не ход Европы, а должен быть ее собственный; это говорит нам вся наша история, вопреки тому *насилию*, которое сделала нам могучая рука Петра, бросившая нас на дорогу нам чуждую»². Дальнейшее содержание этого письма развито в письме к князю Вяземскому по поводу его стихотворения «Святая Русь»; опущена фраза о «насилии» и выяснены природные устои русской жизни.

Таковыми устоями издревле были у нас церковь и самодержавие³, и «вера в святое» не исчезла, как на западе, от «едкой деятельности ума человеческого», от «злоупотребления ума». Это он искажил западную цивилизацию, истощил чувство, веру, уничтожил семью. Чтобы спасти себя, западу надо вернуться к вечным, покинутым им основам, нам следует только выдти из «бездейственного неупотребления ума» и *пересоздать западную цивилизацию в свою собственную*, на своих началах. Не даром «Святая Русь» — «ровесник христианской России»; Россия — политический термин, Святая Русь — «собственность русского народа», упроченная ему Богом. Не говорят об английском, немецком Боге, но *русский Бог* отразил «какое-то особенное народное предание о Боге, давнишнем сподвижнике Руси»; удивительное создание нашего ума, «отдельно существующее при вере в Бога христианского», выведенное русским народом из откровений его истории, соединяющее в одном слове «наше бодрое, беспечное авось... с крепкою надеждою на высшее провидение»⁴.

Когда в 1850 году Жуковский резюмировал свои общественные взгляды в биографическом очерке, посвященном Радовицу, далеко было то время, когда князь Вяземский звал Жуковского к подвигу «гражданского песнопевца», но едва ли и в ту пору

¹ К нему же 1848 г. 5 марта.

² Ему же 4 июня 1848 г.

³ См. статью «Самодержавие» в «Политических и философских заметках и мыслях В.А. Жуковского» I. с. С. 49 и след.

⁴ О стихотворении «Святая Русь» 28 июля 1848 г.

общественное миросозерцание поэта принципиально отличалось от воззрений его старчества; если кто изменился, так это князь Вяземский, автор известной записки к гр. Уварову; теперь он «задумчивый философ, тихий христианин, меланхолический затворник» (Плетнев к Жуковскому 28 февраля/11 марта 1849 г.), песнопевец «Русского Бога». Источника этих воззрений надо искать там же, где сложилось для Жуковского и его понимание поэзии; от Карамзина и послания к имп. Александру (1814 г.), через «Русского Бога» Кюхельбекера прямой путь к славянофилам; туда же шел последовательно и Гоголь. Достоевский будет говорить о «русском Христе», об «исключительно-религиозном призвании русского народа», «народа богоносца, имеющего внести «примирение в европейские противоречия».

Если последние взгляды Жуковского еще при жизни его вызвали цензурные сомнения, то не по существу, а потому, что, отрицая противоположные, он невольно знакомил с ними читателя. Таково было мнение Дубельта¹, поданное 23 декабря 1852 г. в Главное Правление цензуры о последних сочинениях Жуковского: хотя с одной стороны одно имя автора ручается за благонамеренность его сочинений, с другой — результат всех его суждений в рукописи (за исключением только некоторых отдельных мыслей и выражений) клонится к тому, чтобы обличить человека, удалившегося от религии и представить «превратность существующего ныне образа дел и понятий на западе, тем не менее, вопросы его сочинений духовные слишком жизненны и глубоки, политические слишком развернуты, свежи, нам одновременны, чтобы можно было без опасения и вреда представить их чтению юной публики. Частое повторение слов *свобода, равенство, реформа*, частое возвращение к понятиям: *движение века вперед, вечные начала, единство народов, собственность есть кража* и тому подобным останавливают на них внимание читателя и возбуждают деятельность рассудка. Размышления вызывают размышления, звуки — отголоски, иногда неверные. Благоразумнее не касаться той струны, которой сотрясение произвело столько разрушительных переворотов в западном мире и которой вибрация еще колеблет воздух. Самое верное средство предостеречь от зла — удалить самое понятие о нем»².

¹ В письме 10/22 октября 1848 г. Жуковский писал ему как к «любезнейшему дядюшке».

² Полное собрание сочинений князя Вяземского. Т. IX: Старая записная книжка 1813–1852 гг. С. 48.

Цензура не разрешила печатать сборник религиозно-нравственных статей Жуковского, посланный им Плетневу¹. Жуковский недоумевал: «по моему направлению философическому я строгий христианин; я теперь вполне убежден, что не может быть другой философии, кроме христианской, то есть кроме основанной на откровении. О разных исповеданиях я не спорю; по моему глубокому убеждению я принадлежу православию и наиболее утвердился в нем в последнее время жизни, но это однако не приводит меня к мнению, что ни католик, ни протестант не могут быть верующими христианами... Относительно политики я, по глубокому убеждению, а не по страху полиции, верую в необходимость самодержавия и более всего желаю сохранить его для нашей России неприкосновенным; мнения, на этой базе утвержденные, не только не могут быть у нас вредны, но они необходимо должны быть пущены в ход, выраженные не лакейским официальным слогом, а словом сердца и ума, покоренного высшей правде». Сам он мог бы беспокоиться за статью о Радовице, которая, по содержанию, была его письмом к наследнику: заступаясь за Радовица, он говорил о его политике «не в том смысле, какой находится в ней наше правительство. Это письмо, вероятно, одобрено не будет, и его следовало бы вовсе исключить из манускрипта. Но это теперь уже не нужно». Он просил Плетнева взять рукопись из цензуры.

Запрещена была и статья Жуковского: «Английская и русская политика», напечатанная им в «Allgemeine Zeitung» и, по его желанию, переведенная для «Москвитянина» Шевырёвым². Статьей по поводу стихотворения князя Вяземского «Святая Русь» Государь остался очень доволен и приказал напечатать ее, исключив все, касавшееся Реформации, «из чувства деликатности перед теми, которые в России реформатского исповедания»³.

Сенковский слышал о каком-то запрете, постигшем Жуковского, но говорил о сорока (?) не разрешенных к печати стихотворениях. «Вы знаете, — писал он Загоскину, — что Василий Андреевич неспособен, так же, как и мы с вами, написать что-нибудь неприличное или вредное... Что же?.. Жуковский уже не может ничего написать»⁴.

¹ «Толстый том», о котором он говорил в письме к Плетневу 20 декабря 1848 года; «у меня есть довольно написано философических отрывков, они могут составить толстый том» (к нему же 29 сентября /11 октября 1849 г.). Переписка по этому делу между Плетневым и Жуковским продолжается с 1849 по 1851 г.: последнее письмо Жуковского 3/15 января, Плетнева 1/13 октября 1851 г. Следующие в тексте выписки сделаны из писем Жуковского 19/31 декабря 1850 и 3/15 января 1851 г. См. еще: Соч. и переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. Т. III. С. 519 (Плетнев Жуковскому 7 августа 1850 г.). Сборник «философических отрывков» недавно найден К.Я. Гротом.

² Барсуков I. с. X. С. 192–193.

³ Плетнев Жуковскому 29 октября/10 ноября 1848 г.

⁴ Русская Старина. 1902. Июль. С. 94.

ХII. «Бывалых нет в душе видений». «Милости просим, святая проза»

1.

Когда в 1826 г. Жуковскому поручено было руководить учебной частью воспитания наследника престола, его общественное миросозерцание сложилось прочно; серьезно и благоговейно принял он к сердцу свое назначение, в сознании высокого долга — и своей неприготовленности: *Toute ma vie est maintenant devouée a mon sacré devoir*, — писал он государыне в день отъезда (11 мая 1826 г.). — *Que Dieu me donne la santé et surtout la capacité pour le remplir dignement. Je n'ai a présent qu'un seul but: il me fait supporter ma vie, mais aussi il me remplit de crainte, car je me défie de mes forces* [Вся моя жизнь теперь посвящена моей священной обязанности. Лишь бы Бог дал мне здоровье и прежде всего способности, чтобы исполнить ее достойно. У меня сейчас одна лишь цель: она заставляет меня поддерживать мою жизнь, но она же еще и наполняет меня страхом, потому что я не уверен в моих силах. (франц.)]»¹. «*Ce devoir est l'unique but de mon existence*, повторяет он из Парижа 15/27 июня 1826 г., *c'est en lui seul que se réunissent maintenant toutes mes idées de bonheur ici bas, toutes mes plus chères espérances* [Эта обязанность — единственная цель моего существования, в ней одной соединяются теперь все мои представления о счастье в этом мире, все мои самые дорогие надежды]»; его опасение, — «*c'est celle de mon incapacité et mon peu d'expérience* [моя неспособность и недостаток опыта]». И в то же время у него вспыхивает воспоминание о старине с ее неосуществившимися идеалами; из Парижа и в том же месяце он писал г-же Моро де ла Мельтьер: «Муратово — это место, где протекал мой золотой век. То была поэтическая жизнь, и только тогда я был поэтом. Из этого прошедшего ничего не существует, а что и осталось, то весьма переменялось... А я брошен на особого

¹ Русская Старина. 1903. Март. С. 47–48.

рода путь, которого никогда не думал выбирать и по которому влечет меня сама судьба. И вот я отдан деятельности, вовсе не похожей на ту, которая некогда наполняла мою душу». На то воля Провидения; новая деятельность пугает его, но он готов ей отдаться, она наполняет его существование; вся его жизнь принадлежит ей. И опять у него сомнения: ни он, ни Мердер, назначенный воспитателем наследника, не отвечают своей цели, пишет он государыне (июля 1/13 1827 г.), для этого надо быть ученым «в науке человечества», «испытать борьбу человеческих страстей в особенности на поприще политическом», «пройти этот курс наук не по книгам, но по событиям и выработать из этих практических наблюдений нравственные правила»¹. — Он «учится» в Дрездене, в Париже, этого недоволен. «Жуковскому очень бы хотелось возвратиться на полгода в какой-нибудь немецкий университет, — писал Ал. Тургенев брату Николаю (8 сентября 1827 г.), — ибо он чувствует, как академическая жизнь прилепляет к труду учебному и ученому, и для будущего его занятия эти полгода были бы полезны. Но это только — *ria desideria* [благие намерения (*лат.*)]».

В Петербурге, куда Жуковский явился в октябре 1827 г., он всецело отдался своему долгу. «Живу очень уединенно, — пишет он Ал. Тургеневу, — всегда почти обедаю дома, изредка бываю в людях; на это у меня определенное время после обеда»². Он отдыхает лишь на своих литературных субботах, «на высоте семидесятиступенной», «на четвертом небе»³, в квартире Шепелевского дворца, или показывается в салоне Россети-Смирновой, литературной красавицы, у которой собирались его друзья, поклонники «небесного дьяволенка», как звал ее Жуковский, «доньи Соль» кн. Вяземского. Здесь он мог отводить душу в живой беседе, полюбоваться на своего «феникса-Пушкина». Он как дома: так добродушен, так мило острит, ему дают прозвища «Sweet

¹ «В политике я не судья, — писал впоследствии Жуковский (в характеристике Радовица), — могу только с некоторою ясностью повторить то, что слышал, но не могу взять на себя произнести какой-нибудь приговор, ибо для того нужна опытность политическая, которой я не имею, нужно иметь перед глазами весь ход происшествий современных: я не мог следовать за ними с надлежащим вниманием на все подробности, быв занят своим личным делом». См. его письмо к вел. кн. Константину Николаевичу 2/14 марта 1850 г.: его жизненная дорога «была стороннею тропинкою, хотя и прошла через светлый дом русского царя; цветов опытности я не много на ней собрал: я не практический человек». Следует выдержка из его статьи 1848 г. «Теория и практика».

² Из письма Ал. Тургенева к брату Николаю 26 декабря 1827 г.

³ См. письмо Гнедича к Жуковскому 18 апреля 1828 г. и В. Перовского к нему же 17 сентября того же года, Русская Старина. 1903. Июль.

William», «бычок», «милый, мычащий бычок... тот самый белый бык, о котором рассказывает детская сказка», — и он доволен. Часто он отсутствует, потому что должен работать¹.

«Работал он, как бенедиктинец. Сколько написал он, сколько начертил планов, карт, конспектов, таблиц исторических, географических, хронологических! — вспоминает кн. Вяземский. — Бывало, придешь к нему в Петербурге: он за книгою и делает выписки, с карандашом, кистью или циркулем, и чертит и малюет историко-географические картины»².

В «плане учения», представленном Жуковским государю, целью воспитания поставлено: «образование для добродетели» путем развития природных добрых качеств воспитанника, его ознакомление с окружающим, с тем, что он есть и должен быть, как «существо нравственное и бессмертное».

«Занятий множество, — писал Жуковский Зонтаг, — надобно учить и учиться, и время все захвачено. Прощай навсегда поэзия с рифмами. Поэзия другого рода со мною, мне одному знакомая, понятная для одного меня, но для света безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь»³.

Ал. Тургенев прислал ему выдержку из похвального слова Боссюэ, Жирардена: «Dans une monarchie l'éducation du prince est une sorte de ministère; c'est un dépôt sacré dont les peuples quelque jour auront droit de demander compte. Bossuet s'en chargea avec une sorte d'effroi religieux. Cette cour brillante, cet appareil de magnificence, cet enfant nourri dans la grandeur et dont le berceau même n'avait pas manqué de courtisans, que de perils et de travaux! „Je désire servir Dieu, dit-il dans une de ses lettres, mais le monde, le monde! les mauvais conseils! les mauvais exemples! Sauvez nous, Seigneur, sauvez nous! J'espère en votre bonté et en votre grâce: vous avez bien préservé les enfants de la fournaise, mais vous envoyâtes votre ange; et moi, hélas! qui suis-je?» [В монархии образование принца — род служения; это священный залог, и народ имеет право однажды потребовать о нем отчета. Боссюэ взялся за это дело со своего рода религиозным ужасом. Этот блистательный двор, это великолепие, этот ребенок, вскормленный среди величия, самая колыбель коего была окружена низкопоклонниками, как и трудами и опасностями! «Я хочу служить Богу, говорит он в одном из писем, но этот мир, этот мир! дурные советы! дурные примеры! Спаси нас, Господи, спаси нас! Я надеюсь на твою доброту и

¹ Записки Смирновой. I. С. 42, 130.

² Полное собрание сочинений кн. Вяземского. Т. VII. С. 470.

³ Зейдлиц I. с. С. 148 и след. Сл. Соч. и переписка П.А. Плетнева. III. С. 92.

на твою милость; ты спас отроков от печи, но для этого ты послал своего ангела; а я, увы! кто я такой?» (*франц.*)»¹

Жуковский мог волноваться по тем же соображениям. Его тронуло «дружеское чувство» к нему Николая Тургенева, которое он вычитал в письме его к брату², в письме граф. Разумовской (28 октября 1827 г.), и отвечая Александру Тургеневу, он снова касается наболевшего у него вопроса. До сих пор или, лучше сказать, когда Николай Тургенев мог его видеть, он смотрел на него, Жуковского, как на какого-то потерянного в европейской сфере. Ни моя жизнь, ни мои знания, ни мой талант не стремили меня ни к чему политическому. Но когда же *общее дело* было мне чуждо? Я не занимался современным, как бы было должно — это правда, и теперь вижу, что мне многого не достает в моем теперешнем звании, ибо теперешние занятия пожирают все внимание, все сердце и все время. На внешнее могу только заглядывать изредка, урывками. А знакомство с ним необходимо для верности, солидности и теплоты идей. Я живу теперь для *одного* исключительно и одно только имею беспокойство, часто мучительное, хорошо ли сделаю свое дело. Других беспокойств нет никаких на счет себя, ибо ничего *себе* не ищущу» (20 ноября/5 декабря 1827 г.). «Я не почитаю себя ни счастливым, ни несчастливым; у меня есть должность, я живу для ее исполнения» (к Ал. Тургеневу, 4 февраля 1828 г.).

Приятели могли говорить и тогда, как несколько лет спустя, что Жуковский не исполняет святой, лежавшей на нем обязанности, «для коей приставили его к наследнику; не его вина была бы, если бы он и надоел напоминаниями; не рисовать, а читать, учиться надлежало... У него должна была быть одна мысль: заронить искры, пробуждать чувство, обращать, отвращать от ба-

¹ Сл. письмо Ал. Тургенева к брату Николаю 18 ноября 1827 г. Барант был удивлен, узнав, «что воспитанием наследника руководит поэт; в Париже об этом ничего не знали». Когда Барант сказал это Смирновой, она ответила: «Это странно, так как г. Ла-Фероннэ знал Жуковского, и они беседовали вместе, даже Ла-Фероннэ прозвал его русским Фенелоном». — Говорили ли они о воспитании? спросил Барант; может быть, отвечала Смирнова, они говорили при мне о «Духе Христианства», о религиозной поэзии по поводу Расина и Жана Батиста Руссо, Жуковский о Мильтоне; но за разговором я не следила и в записки свои не внесла; впрочем, я была тогда очень молода, заключает она (Записки А.О. Смирновой. I. С. 228). Ла-Фероннэ был французским посланником в Петербурге.

² «Какою частью занимается Жуковский? — спрашивал брата Николай Тургенев (14 сентября 1826 г.). — Очень радуюсь, что он с нами. Из всех людей, которых я знал, я не видал другой души, столь чистой и невинной. Я, бывало, негодовал на него, что он в стихах своих не говорит об уничтожении рабства». Русская Старина. 1901. Май. С. 255.

лов и парадов и устремлять на лучшее устройство; заговаривать о важном, хотя бы и не слушали его, не отвечали ему. Россия, друзья истинные его и отечества не заглянут в его альбумы, а спросят, что узнал он и его воспитанник, чем прельщался он и что вывез из Германии и Англии для России. Ему надлежало так надоеть великому князю и прочим приставникам, чтобы быть отослану или с дороги, или по возвращении, и тогда бы он дорисовал свой *album* спокойной кистию и с спокойной совестью на досуге и сохранил бы *otium cum dignitate* [досуг с достоинством (*лат.*)]» (Ал. Тургенев кн. Вяземскому 1839 г. 21 апреля).

Жуковский сделал свое дело, положив на него все сердце и время, совестливо, в пределах возможности и в размере своих гуманных идеалов.

Жуковский во дворце был отроком Белёва:
Он веру, и мечты, и кротость сохранил
И девственной души он ни лукавством слова,
Ни тенью трусости, дитя, не пристыдил¹.

Стихи кн. Вяземского, поддержанные следующими воспоминаниями, освещают эту пору деятельности Жуковского, бросая свет и на его раннее положение при дворе в 1817–1820-х гг., и на неуравновешенность его берлинского дневника². «Официальный Жуковский не постыдит Жуковского поэта. Душа его осталась чиста и в том и в другом звании». Разумеется, бывали у него и темные минуты. «Особенно, такие минуты могли падать на долю Жуковского в среде, в которую нечаянно был он вдвинут судьбою. Впрочем, не все тут было делом судьбы или случайности. Призванием своим на новую дорогу Жуковский был обязан первоначально себе, то есть личным своим нравственным заслугам, дружбе и уважению к нему Карамзина и полному доверию царского семейства к Карамзину. Как бы то ни было, он долго, если не всегда, оставался новичком в среде, определившей ему место при себе. Он вовсе не был честолюбив в обыкновенном значении этого слова³. Он и при дворе все еще был «Белёва мирный житель». От него все еще пахло, чтобы не сказать, благоухало, сельской элегией, которою начал он свое поэтическое поприще. Но со всем тем, он был щекотлив, иногда мнителен: он был цветок «не тронь меня»; он иногда приходил в смущение от

¹ Из стихотворения «Заметка». Полное собр. соч. кн. Вяземского. Т. XI. С. 388.

² См. выше. С. 251 и след.

³ См. выше. С. 249 отзыв Карамзина.

малейшего дуновения, которое казалось ему неблагоприятным, именно потому, что он не родился в той среде, которая окружала и обнимала его, и что он был в ней пришлый и так сказать чужеземец. Он, для охранения личного достоинства своего, бывал до раздражительности чувствителен, взыскателен, может быть, иногда и некстати¹. Переписка его, в свое время, все это выскажет и обнаружит, но между тем и докажет она, что все эти маленькие смущения были мимолетны. Искренняя, глубокая преданность с одной стороны, с другой уважение и сочувствие были примирительными средствами для скорого и полного восстановления случайно или ошибочно расстроенного равновесия»².

Дневник, веденный с 27 июля по 4 августа 1837 г. старым приятелем Жуковского, Александром Михайловичем Тургеневым, в дни приезда в Москву Жуковского с наследником, и начинающийся чем-то вроде обращения к другу, открывает другие, не столь веселые перспективы на обстановку, в которой находился воспитатель³. «На тебя смотрит вся Россия, вся Европа. Первая утешает себя мыслью упования, наслаждается благоденствием, угодованным трудами и попечением твоим при развитии душевных качеств питомца твоего; вторая знает тебя, как знаменитого автора. Ты не принадлежишь сам себе; имя твое будет известно в позднейшем потомстве. Роль твоя à peu près — роль Адашева. В этих отношениях ты ходишь, как говорят, по ножевому острию. Ты всем известен добротой души и сердца твоего. Все знают, что душа твоя светла, как зеркало, с которого и малейшее дуновение мгновенно исчезает. Но знай, что ты имеешь много людей недоброжелательствующих тебе. Всем тем, которых называют у нас родовыми, ты не угоден, потому что у тебя нет трехсаженной поколенной ермолафии⁴. В шестьдесят лет жизни мне довелось видеть одного в большом табуне родовых, который не принадлежал к роду, а прочие все носили отпечаток наследников Тараса Скотинина. Сколько раз слышал я восклицания на

¹ Следы этой излишней чувствительности сохранились в дневнике. См. напр. заметку под 9/21 апреля 1839 г.: «привезли ленту и брильянты Кавелину, а мне оплеуху». Сл. дневник 1839 г. 25 июня.

² Полное собр. соч. кн. Вяземского. Т. VII. С. 472.

³ См.: К.Я. Грот, В.А. Жуковский в Москве в 1837 году. СПб. 1902 г. С. 6–8.

⁴ Ермолафия — чепуха (здесь в смысле родословной); Ермолаф — кличка А.М. Тургенева в письмах к нему Жуковского. «Я невежда — Ермолаф», — писал Тургенев Жуковскому, укорявшему его за то, что «Кота в сапогах» он предпочитает «Одиссее». Крылов вывел под именем Ермолафида писателя новейшей (Карамзинской) формации, невежу, отрицавшего все науки и «правила древних» во имя «свободы словесных наук». Сл.: Похвальная речь Ермолафиду, говоренная в собрании молодых писателей. «С.-Петербургский Меркурий» 1793 г. Апрель. Ч. 2. С. 26 и след.

счет выбора твоего: чему быть доброму, что можем у него занять, чему научиться? Стихи писать? И вслед за сими восклицаниями панегирик Екатерине II за премудрое избрание Николая Ивановича Салтыкова¹, человека п...ейшего и гн...ейшего, какого когда-либо видали под солнцем... Я уверен... что ты скорее согласишься умереть, нежели сделать какую-либо подлость. Но суди ж о людях, и именно родовых, которые до того и тупы и дерзки, что осмеливаются тебя ставить в параллель с Н.И. Салтыковым. И потому повторяю тебе, ты ходишь по ножевому острию. Помни, родовая сволочь на все способна!.. Питомца твоего масса любит и обожает, родовая сволочь видит в нем направление, не соответствующее с ее желаниями. Она будет всячески стараться употреблять все ухищрения, чтобы завладеть грунтом и истребить хорошие семена, тобою насажденные. Уповаю на Бога! Это ей не удастся».

«Поэзия, идущая рядом с жизнью, товарищ несравненный», — писал Жуковский в 1815 г.²; стиль этой поэзии удержался и в эпоху мадригала, когда «сердечное воображение» вступило в роль сердца, но затем товарищ стал сторониться. 1821—1822 гг. были для Жуковского климактерическими. Сам он надеялся, что путешествие не только «оживит и расширит его душу» и его «вялость душевная поубавится», но что оно пробудит «давно уснувшую поэзию»; в 1822 г. он сознается, что «поэзия уже перестала быть отголоском жизни»³. «Время поэзии уже пролетело для Жуковского, пролетело навсегда, — писал впоследствии Полевой. — Восемь лет тому назад (в 1823-м году) он спрашивал дарователя песнопений, гения чистой красоты, возлагая на алтарь его все, что сохранил от милых, темных и ясных минувших дней, от времени прекрасного, — цветы уединенной мечты и цветы лучшей жизни, спрашивал его о возврате вдохновения и говорил:

Бывалых нет в душе видений
И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождаться ль мне когда опять?
Или навек его утра
И вечно арфе не звучать?»⁴

¹ Князь Н.И. Салтыков, с 1783 г. воспитатель вел. князей Александра и Константина Павловичей.

² См. выше. С. 207.

³ См. выше. С. 229.

⁴ «Очерки» I 96. Резкий, но едва ли справедливый отзыв Полевого в другом месте статьи (с. 115): «С изгнанием неприятеля (1812 г.) возобновились мирные занятия Жуковского. Но гений *собственной* поэзии его, блеснувший на минуту, тогда

Вернется ли когда черда «светлых вдохновений», поэт не знает, но ему знаком еще «гений чистой красоты», он различает сияние его звезды и еще надеется.

Не умерло очарованье
Былое сбудется опять

(«Я музу юную бывало...»)

В нем замирало мало-помалу то настроение, которое, пережитое и выстраданное однажды в жизни, оставалось в нем и позже живым, хотя бы и формальным ферментом; источник его элегической фантазии не бил с прежней силой. «Моя муза молчит, — пишет он Дмитриеву (1825 г. 28 марта), — она выбрала теперь для себя совсем другую дорогу и не смеет ее покинуть или, лучше сказать, не может». «С 1817 года начинается другая половина жизни моей, совершенно отличная от первой, — писал он впоследствии императору Николаю. — Я был приближен к особе государыни императрицы... В это время я продолжал еще писать¹. Но с той минуты, в которую возложена была на меня учебная часть воспитания великого князя, авторство мое кончилось и я сошел со сцены»². В 1827 г. (27 ноября) он извиняется перед Измайловым, что ничего не дает в его «Литературный Музеум»: «ничего не написал и не скоро что-нибудь написать надеюсь»; сердится на Тургенева, что он снабдил его стихами альманах Федорова (Памятник отечественных муз, изданный на 1827 г.): «во всем его альманахе не было ничего хуже моих пьес»³. Он перекладывает в стихи сказки, возвращается к балладам и входит постепенно в колею переводов, в тот третий период своей деятельности, когда из лирика он стал «болтливым сказочником»⁴, «смирным поэтом рассказчиком»⁵, из «таинственно-заносчивого германского романтика» — «смирным классиком»⁶. В конце 1832 и начале 1833 г. он переводит с каким то лихорадочным спехом: в 1832 г. 2—4 декабря нового стиля пере-

же уже исчез. Все, что ни писал он после, были... переводы с немецкого, или лирические, на случай сочиненные пьесы».

¹ Несмотря на «грамматические занятия». Сл. выше с. 222 и 297. В 1819 г., 5 июня, И.И. Дмитриев писал А. Тургеневу: «Может быть, Плещеев успеет обратить Жуковского к поэзии и простудить его к грамматическим таблицам. Как можно поэту заниматься такою работою!» Русская Старина. 1903. Ноябрь. С. 716.

² Письмо 30 марта 1830 г. Русский Архив. 1896. № 1. С. 109 и след.

³ К Тургеневу, январь 1835 г.

⁴ К Государыне 1842 г.

⁵ К И.В. Киреевскому 1844 г.

⁶ К С.С. Уварову 1848 г.

веден из Уланда der Waller («Братоубийца»), 5–6 его же Der Reiberger («Рыцарь Роллон»), 7 восемь строк из Der junge Königsson und die Schäferin Уланда («Царский сын и поселанка»), 8 его же Graf Eberhard Weissdorn («Старый Рыцарь»), с 9 по 30: три главы «Ундины»; 20 января 1833 г. начало «Уллина» (Campbell's Ullin's daughter), с 21 по 29 из Шиллера Eleusisches Fest; 13–14 февраля отрывок, всего 67 стихов, какой-то немецкой пьесы с действующими лицами Элленой и Гунтрамом¹.

Эта изумительная переводческая деятельность его не удовлетворяет. «Стихов написано довольно, – сообщал он Тургеневу (15 января 1833 г.), – но все еще не расписался и *черпаю в других, а своего не начинал*, и не знаю, удастся ли написать что-нибудь свое: для этого нужно больше живости и светлости воображения, которому болезнь большая помеха». «Кажется мне, что время поэзии для меня миновалось; может быть, это оттого, что жизнь моя сама по себе бесцветна и что лета уже взяли свое, то есть застудили то, что *не было никогда обращено в живое пламя*». В таком настроении он упрявился писать, кое-что написал, но многое бросил, и это его расстроило (к тому же 14/26 марта 1833 г.); а друзья успели уже проблаговестить, что он начал поэму (кн. Вяземский Жуковскому 29 января 1833 г.).

Критика становилась назойливее. И прежде Каченовский жаловался на «западные, чужеземные туманы», застилавшие для него поэзию Жуковского, на «обороты, блестящие ума и беспонятную выпренность» немецких стихотворцев, а «Благонамеренный» глумился над его подражателями «тевтонороссами». В 1825 г. Вяземскому пришлось защищать Жуковского от нареканий, будто он выдавал чужое за свое, «что было возможно, пока наша публика мало слыхала о Шиллере, Гёте, Бюргере и других немецких романтических поэтах; теперь все известно: знаем, что откуда заимствовано, почерпнуто или пересказано». Жуковского упрекали в однообразии; правда, отвечает Вяземский, многие из его произведений, а в особенности последние, носят какой-то общий отпечаток, но, за немногими исключениями, однообразие, односторонность, одноличность скорее достоинство, признак таланта, ведь и «цветок имеет один запах, плод один вкус, красавица одно выражение»².

¹ Сл. дневники Жуковского под указанными числами и его Бумаги с. 104–105. (речь идет о рейнском сказании «Фалкенбург» и переложении его начального фрагмента под названием «Элена и Гунтрам». *Ред.*)

² Полное собрание сочинений кн. Вяземского. I. С. 179–180. Это те же нападки, что позже у Полевого. «Очерки» I. С. 117, 135–136, и та же защита, что у Белинского (в статье об «Очерках» Полевого. Отечественные Записки. 1840).

Пушкин также выступил в защиту учителя. «Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. „В бореньях с трудностью силач необычайный”. Переводы избаловали его, изленили. Он не хочет сам созидать, но он, как Voss, гений перевода. К тому же смешно говорить о нем, как об отцветшем, тогда как слог его еще мужает. „Былое сбудется опять», и я все чаю в воскресение мертвых”¹. Он не сочувствует строгому отзыву Бестужева о Жуковском: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей?.. Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его остается навсегда образцовым»². Рылеев готов согласиться с Пушкиным относительно заслуг Жуковского по языку; он «имел решительное влияние на стихотворный слог наш — и мы за это навсегда должны остаться ему благодарными, но отнюдь не за влияние его на дух нашей словесности, как пишешь ты. К несчастью, влияние это было слишком пагубно: мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые иногда в нем даже прелестны, растлили многих и много зла наделали. Зачем не продолжает он дарить нас прекрасными переводами из Байрона, Шиллера и других великанов чужеземных? Это более может упрочить его славу»³. И в то же время Кюхельбекер пародировал «Жалобу Цереры» и некоторые монологи «Орлеанской девы», чем вызвал острастку Пушкина⁴: когда-то и сам он погрешил пародией на «Двенадцать спящих Дев» (как в 1818 г. на начало «Тленности»), с его стороны это «недостаток эстетического чувства. Непростительно было (особенно в мои лета) пародировать, в угождение черни, девственное поэтическое создание»⁵.

Под крылом Жуковского вырос и возмужал поэт нового поколения, и учитель признал в нем «ученика-победителя», следит за его успехами, наставляет — и журит, когда тот волновался в ссылке и рвался на свободу. Он обращается к нему любовно, называя его арзамасским прозвищем: Сверчок моего сердца. «Ты создан попасть в боги — вперед! Крылья у души есть, вышины она не побоятся. Там настоящий ее элемент. Дай свободу этим крыльям —

¹ К кн. Вяземскому 1825, 25 мая.

² К Рылееву 23 января 1825 г.; сл. Сочинения кн. Вяземского. I. С. 181.

³ К Пушкину 1825, 12 февраля. Сл. стихотворение Боратынского к «Богдановичу» 1827.

⁴ К Кюхельбекеру 1825 г., в начале декабря; сл. письмо к кн. Вяземскому 1825 г. до 22 апреля против Полевого за пародии на Жуковского.

⁵ Критические заметки 1830—1831 гг.

и небо твое; вот моя вера... Быть сверчку орлом и долететь ему до солнца». Но тут же оговорка — по поводу «Демона»: «К черту черта! Вот пока твой девиз»; «я не знаю совершеннее по слогу твоих „Цыган”». Но, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое?» Надо бросить эпиграммы, «должно быть возвышенным поэтом», создать что-нибудь бессмертное, «превосходное, великое». Обратившись к такой поэзии, он создаст себе свободу и — место на русском Парнасе, если «с высокостю гения» он соединит «и высоту цели». *Талант ничто, главное: величие нравственное*. Слава Пушкина еще не согласна с его нравственным «достоинством»; к такому согласию он должен стремиться: будь «Байрон на лире, а не Байрон на деле», тогда ты будешь «честью и драгоценностью России»; а пока своими «буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями» он нанес юношеству «вред неисцелимый», что должно заставить его «трепетать»¹. «Жажду Годунова, — писал в 1827 г. Жуковский Гнедичу, — скажи ему (Пушкину) от меня, чтобы бросил дрянь и был просто великим поэтом, славою и благодеянием для России — это ему возможно».

Так звали когда-то и Жуковского его друзья к «возвышенной поэзии», к превосходному, великому, но умысел был другой, не слышно было и тех мотивов, в которых расписался сам Жуковский: «Извини эти строки из катехизиса».

Когда в 1831—1832 г. Жуковский и Пушкин сходились в салоне Росетти-Смирновой, она записала впечатление их встреч: как Жуковский гордился и любовался Пушкиным, смотрел на него «с нежностью», наслаждался всем, «что говорит его феникс. Есть что-то трогательное, отеческое и, вместе с тем, братское в его привязанности к Пушкину, а в чувстве Пушкина к Жуковскому — оттенок уважения даже в тоне его голоса, когда он ему отвечает». Однажды Пушкин прочел Жуковскому свое переложение молитвы Ефрема Сирина, и тот в восторге поцеловал его: «Ты, ты — мое неоцененное сокровище!» И Пушкин исповедует Смирновой: «всякий раз, как мне придет дурная мысль, я вспоминаю о нем (Жуковском) и спрашиваю себя: что сказал бы Жуковский? И это возвращает меня на прямой путь»².

¹ См.: Русский Архив. 1889. № 9: Письма Жуковского к Пушкину 1 июня 1823 г., осенью 1824 г., 9 августа и 23 сентября 1825 г. и 12 апреля 1826 г. Сл. письмо Пушкина к Жуковскому. Май-июнь 1825 г.

² Записки Смирновой. I. С. 219, 279, 321.

Было ли то благоговейное преклонение, или та духовная или сердечная близость, когда душа всецело раскрывает перед другой завет своих дум, отдаваясь ее пониманию и влиянию?

Но смерти Пушкина Жуковскому вместе с Дубельтом поручен был разбор его писем и бумаг. О результатах разбора Дубельт донес Бенкендорфу, которому, с своей стороны, Жуковский написал объяснительную записку. Она сохранилась в двух черновиках, из которых один представляет распространение другого; оба, по-видимому, без конца¹; не потому ли, что письмо и не было доставлено по назначению, как те мысли, которые Жуковский записал на клочке бумаги после своего объяснения с государем по делу Тургенева?² Письмо — апология Пушкина и, вместе, близко стоявших к нему лиц, Жуковского. В пушкинских бумагах ожидали найти «много нового, писанного в духе враждебном правительству и вредного нравственности. Вместо того нашлись бумаги, решительно доказывающие совсем иной образ мыслей, особенно выразившийся в ответе на печатное письмо к Чаадаеву, которое Пушкин, по-видимому, хотел послать не по почте, но не послал, вероятно, по той причине, что не желал своими опровержениями усиливать скорбь приятеля, уже испытывавшего заслуженный гнев государя³. Одним словом, нового предосудительного не нашлось ничего, и не могло быть найдено, в чем я наперед был уверен, зная, каков был образ мыслей Пушкина в последние годы». С тех пор, как «Государь так великодушно его присвоил», Пушкин совсем переменялся; за это время он не написал ничего «злонамереннее» стихов «к Лукуллу», за которые друзья жестоко его укоряли; да и те напечатаны «с одобрения цензуры, но без его ведома». А между тем в течение последних

¹ Оба черновика, ныне в коллекции А.Ф. Онегина, будут напечатаны в изданиях 2-го Отделения Императорской Академии Наук. Далее я пользуюсь подробной редакцией, кое-где указывая в прямых скобках на некоторые подробности краткой.

² См. выше с. 294 и след.

³ Письмо Пушкина к Чаадаеву напечатано было впервые в Русском Архиве 1884 г. № 4. С. 453–455. Из записки Жуковского к Бенкендорфу оказывается, что Чаадаеву оно не было послано, и это подтверждается письмом Чаадаева к Жуковскому с просьбой прислать ему, по возможности, письмо Пушкина — уже по смерти поэта (см.: Русская Старина. 1903. Октябрь. С. 165–166). Итак: Бенкендорф знал о существовании письма, но оно не было ему доставлено вместе с другими наличными, ибо нашлось в бумагах Жуковского. Пушкин, сообщает Жуковский, не послал Чаадаеву письма, чтобы своими опровержениями «не усиливать скорбь приятеля, уже испытывавшего заслуженный гнев государя». «Ворон ворону глаза не выклюет — шотландская пословица, приведенная Вальтер Скоттом в *Woodstock*», — приписал Пушкин на последней странице письма.

двенадцати лет он продолжал состоять под тем же «мучительным, непрестанным надзором» (двойная цензура, запрет ехать в деревню, за границу; выговор за чтение в обществе «Бориса Годунова» до цензурного одобрения). Пушкин никогда не был демагогическим писателем: были у него до 1826 г. «грехи молодости, сначала необузданной, потом раздраженной заслуженным несчастьем [„Ода к свободе“; „Кинжал” 1820 г., написанный в то время, когда Занд убил Коцебу], но демагогического, написанного с точным намерением произвести волнение (общества), ничего не было между ними и тогда. Заговорщики против Александра (воспользовались?), может быть, некоторыми вольными стихами Пушкина, но в их смысле (то есть в смысле бунта) он не написал ничего и замыслы их были ему совершенно чужды. Это однако не помешало (без всяких доказательств) причислить его к героям 14-го декабря и назвать злоумышленником на жизнь Александра». За последние его сочинения его «никак нельзя назвать демагогом. Он просто русский национальный поэт, выражавший в лучших стихах своих наилучшим образом все то, что дорого русскому сердцу» [Годунов, Полтава, многие песни на Петра Великого, Ода на взятие Варшавы, Клеветникам России]. — Переходя к политическим взглядам Пушкина, Жуковский спрашивает Бенкендорфа: «благоволили ли вы взять на себя труд когда-нибудь с ним говорить о предметах политических?» Вы слышали о них от других, «вместо оригинала вы принуждены довольствоваться переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными, злонамеренных переводчиков». И Жуковский излагает политическое credo Пушкина: «*Первое*: Я уже не один раз слышал, что Пушкин в государе любит одного (Николая) своего благодетеля, а не русского императора, и что ему для России надобно было совсем иное. Уверяю вас, напротив, что Пушкин (здесь говорится о том, что он был за последние годы — *А.В.*) решительно убежден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия, и это не по одной любви к нынешнему Государю, а по своей внутренней вере, основанной на фактах исторических (этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чаадаеву¹). *Второе*: Пушкин был решительным противником свободы книгопечата-

¹ «Хотя я лично сердечно привязан к императору, но я далеко не всем восторгаюсь, что вижу вокруг себя; как писатель — я раздражен, как человек с предрассудками — я оскорблен. Но клянусь вам честью, что ни за что на свете я не захотел бы переменить отечества, ни иметь другой истории, как историю наших предков, такую, как нам Бог послал» (из письма к Чаадаеву).

ния и в этом он даже доходил до излишества, ибо полагал, что свобода книгопечатания вредна и в Англии. Разумеется, что он в то же время утверждал, что цензура должна быть строга, но беспристрастна, и что она, служа защитой обществу от писателей, должна также и писателя защищать от всякого произвола¹. *Третье:* Пушкин был враг июльской революции. По убеждению своему он был карлист; он признавал короля Филиппа необходимым для спокойствия Европы, но права его опровергал и неизбежность законного наследия короны считал главнейшею опорой гражданского порядка. Наконец, *четвертое:* Он был самый жаркий враг революции польской и в этом отношении, как русский, был почти фанатик)«был почти фанатический враг польской революции и ненавидел революцию французскую, чему доказательство нашел я еще недавно в письмах его жене»). — Таковы были главные политические убеждения Пушкина, из коих все другие выходили, как отрасли. *Они были известны мне и всем его ближним из наших частных, непринужденных разговоров... И они были таковы уже прежде 1830 года*». Пушкин созрел, мужал умом, он только что достиг своего полного поэтического развития (его литературные враги, а за ними публика, говорили, что он упал — и это в то время, когда написаны его лучшие произведения), и что бы он не написал, если б несчастные обстоятельства всякого рода не упали на него обвалом, не раздавили его, «первого поэта России!»

Ценность этого документа определяется его назначением: он писан для Бенкендорфа, в оправдание Пушкина, в интересах его семьи, в защиту всех, кто близко стоял к нему. В этом смысле характеристику легко заподозрить в преднамеренном шарже, но, не касаясь оценки взглядов самого Пушкина, я допускаю и бессознательный, невольный шарж — идеализации, к чему, как никто, способен был Жуковский. Эта черта давно и хорошо известна его приятелям²: все, что входило в круг его симпатий, вырастало или поэтизировалось в его мерку. Жуковский *знал* своего Пушкина, который, казалось, зрел в его глазах к тем целям общественного служения и возвышенной поэзии, которые он ему ставил. Эти цели выяснились для Жуковского из того ограниченного круга идей, в которых он вырос и созрел и которые на-

¹ См. защиту Пушкиным цензуры в «Мыслях на дороге», Торжок [в современных изданиях: «Путешествие из Москвы в Петербург», глава «О цензуре». *Ред.*] (1836): мысль должна быть свободна «в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом... Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может искоренить то и другое».

² См. выше стр. 285, 290, 294.

чинает приводить в систему. Мы видели, как он упорядочил свои общественные взгляды, — ими он мерит Пушкина; и в области духовно-нравственных вопросов, волновавших его со времени его юношеского дневника, он пытается разобраться, привести их к органической цельности. Они окончательно определяют как его взгляд на возвышенную поэзию-религию, так и его отрицательное отношение к Онегиным, Печориным и к течениям русской литературы, современной последней поре его деятельности.

2.

Для него эти вопросы были вопросами самоопределения; он не устает подходить к ним то с той, то с другой стороны, точно хочет успокоиться, выразив для себя «невыразимое», уяснить себе «здесь» таинственное «там». В этом искании чувствуется какая-то тревога. Смолода он старался воспитать в себе веру (сл. его дневник 1805 г.), твердит о том в письмах 1814—1815-х гг.; «я еще могу иметь религию», — записал он в своей берлинской заметке 1820 г. Н. Тургенев читает Библию: «Слава Спасителю! — пишет Жуковский его брату. — Он явился вовремя. Познакомься и ты с Ним поближе. Он скажет и даст тебе то, чего никто на земле не дает и не скажет: смирение и нетревожимость. Я не говорю это, я так думаю теперь. Я этому верую и хочу верить»¹. *C'est le poète de la passion* [это поэт страсти], давно сказал о нем Вяземский²; теперь благодать страдания займет особое место в мирозерцании поэта, так долго служившего задумчивой музе меланхолии: «земная жизнь — страдания питомец», страдания возвышают душу, и когда «в величии покорной тишины она молчит пред грозным испытаньем», тогда «вся Промысла ей видима дорога, она полна понятного ей Бога» («На кончину королевы Виртембергской» 1819 г.). «*Le grandes idées viennent du coeur... frappé par une grande perte* [великие мысли исходят из сердца... потрясенного великой потерей (*франц.*)]», писал он в 1826 г. вдове Карамзина³. «Страдание — творец великого, — повторяет он в 1831 г. („Взгляд с земли на небо”), — оно знакомит нас с тем, чего мы никогда в безмятежном нашем блаженстве не узнаем: с таинственным вдохновением веры, с утехой надежды, с сладостным упоением любви». «Страданием душа поэта зреет, Страдание — святая благодать» («Камознс» 1839 г.).

¹ 1 ноября 1827 г. Сл. дневник 14 апреля того же года.

² Сл. выше. С. 286.

³ См. выше. С. 321 и след.

Чем дальше, тем чаще слышится в его письмах ободряющий себя крик сердца: верить, верить, верить! «Мы на земле только для веры... Я это знаю... но знать одним убеждением мысли, и быть на деле тем, что ясно постигает мысль, великая разница. Я еще не достиг до этой высоты»¹. «Я знаю, что нет ничего выше веры и молитвы, знаю, что это высшее сокровище души человеческой, за которое должно отдать всякое другое, — знаю, и во мне нет того, что я считаю лучшим, желаннейшим, светлейшим. Но будет ли когда? В святилище семейной жизни стоит сосуд причащения жизни вечной. Дети мои и жена его мне подадут»².

Он занимается переводом на русский язык Евангелия³, читает Фенелона и мистика Таулера⁴, увлечен книгой Стурдзы⁵, записками пастора Розенштрауха⁶, переписывается о религиозных предметах с Гоголем, переживавшим тогда тяжелый душевный кризис, с Смирновой, впавшей в благочестие. Пиетизм Жуковского — печать чувствительности; в нем и не произошло перелома, а лишь обострение; его окружали теперь пиетисты, верующие лютеране и католики, Рейтерны, Радовиц, Штольберги⁷; он обсуждает, взвешивает, но не сдается, стоит на своем и жаждет непосредственной веры капитана Боппа,

Которая от Бога к нам на вопль
Молящего раскаянья нисходит
(1843 г.)⁸,

¹ К государыне 1842 г., март.

² Дневник 1842 г. 12 ноября.

³ Там же 1844 г.: переведены все четыре Евангелия, Деяния Апостольские и Апокалипсис. Сл. письма к Плетневу 6 марта 1850 г., к Стурдзе марта 1850 г. (Русская Старина. 1902. Июнь. С. 582), Плетнев Гроту 22 сентября 1848 г. «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа» в переводе Жуковского издан в Берлине в 1895 г.

⁴ Дневник 1843 г. 1 января.

⁵ Сл. письмо к Северину 10 апреля н. ст. 1846. Рус. Стар. 1902. Апрель. С. 163 и след.

⁶ Плетнев к Жуковскому 2 июня 1846 г.

⁷ Записки А.О. Смирновой. Северный Вестник. 1897. № 1. С. 139 (1844), Зейдлиц I. с. С. 247.

⁸ Он прочитал эту повесть в прозе и попробовал пересказать ее — для детей. «Свежему, молодому сердцу такого рода впечатления могут быть благотворны. Чем раньше в душу войдет христианство, тем вернее и здешняя и будущая жизнь. Без христианства же жизнь кажется мне уродливою загадкой, заданною злым духом человеческому заносчивому уму для того, чтобы хорошенько его помучить и потом посмеяться над его самонадеянностью, — ибо загадка без отгадки» (К гр. Сологубу 14/20 ноября 1844 г., Русская Старина. 1901. Июль. С. 100–101).

хочет расстаться с своим прошлым и, отобрав всю шелуху, вы-
брать из него только то, что достойно сохранения, если такое
найдется¹.

«Минута христианства для нас наступила, для тебя и для
меня. И наступила для обоих поздно, — пишет он Тургеневу. —
Мы оба растратили множество жизни по пустякам... Что тебе
осталось от твоей беготни по лекциям, по проповедям по са-
лонам и прочее? Что ты узнал и чему веришь? Я менее тебя из-
винителен: я не имел твоей рассеянной, увлекательной жизни,
я киснул в своем углу и в небольшом круге идей поэтических».
Теперь Божий перст указал ему угол семейный, и он надеется,
что проповедь семейной жизни воздействует на него; «но об-
ратится ли этот смиренно-убежденный ум в жаждущее сердце,
не знаю»...²

«Моя вера далека от желанного мира, — читаем в другом пись-
ме, — дойдет ли она до него в этой жизни, не знаю, я имею одно
только убеждение, что нет ничего выше веры, что мы здесь для
веры, а не для чего иного, что она все и в ней все. Но это только
убеждение; когда же оно обратится в жизнь и размягчит камень
сердца»?³

Одно время пошли слухи о переходе его в католичество,
от которых пришлось защищаться⁴. В последнем из дошед-
ших до нас дневников (1846) есть грустная запись: его про-
шедшее не представляет ничего утешительного для сердца;
рука Господня охранила его от земных бедствий, но что он
сделал сам? «На дороге жизни я не собрал истинного сокро-
вища для неба: душа моя без веры, без любви и без надежды, и
при этом бедствии нет в ней той скорби, которая должна была
бы наполнять ее и возбуждать ее к покаянию. Окаменелость
и рассеяние мною владеют. Воля моя бессильна. Вместо веры
одно только знание, что вера есть благо верховное и что я не
имею сего блага. Молитва моя одно мертвое рассеянное сло-
во, ум без мысли, сердце без любви. Одна рука Твоя, Господь
Спаситель, примиривши нас с Самим Собою, она отечески,
действием Твоего Святого Духа может извлечь меня из сей
бездны: прости ко мне Твою руку, посети мою душу Твоим
Святым Духом».

¹ К наследнику 30 августа 1843 г.

² 6/18 января 1844 г.

³ 1844 г., 8 ноября.

⁴ К Тургеневу 6 января 1844 г. Сл. письмо к Цесаревичу 1 января 1844 г., Северину
16 апреля 1846 г. (Русская Старина. 1902. Апрель. С. 165).

Он обобщает, ставит формулы; и в поисках за верой он систематик¹: вера — свободный акт воли, подчиняющий разум благодати; вера — смирение рассудка и воли и их уничтожение перед высшим разумом и вышею волею; вера, будучи «здесь» блаженным откровением и принятием неведомого, становится любовью, то есть блаженным созерцанием — «там»; «вера, надежда, любовь, взятые вместе — смирение»². Когда-то он баюкал себя сентиментальными представлениями о свидании, любви за гробом; теперь, когда поздно доставшееся счастье привязало его к земле и возможность утраты стала осязательнее, верить стало потребностью. «Еще не вошел мне в душу мир Божий» — и долго еще не войдет; «квартира эта еще не довольно для него очищена. Но в ней от уборки и беспрестанной переборки, от выбрасывания всего ненужного, от обметания пыли и выметания сора, становится светлее и просторнее... в знание и убеждение не влилась еще мирная жизнь веры»³.

В эти годы его идеалом становится Радовиц, с которым в 1827 г. он сблизился в Берлине по письму Рейтерна: убежденный католик и монархист, «теплая, крепкая душа», с «высокими, непрозаическими мыслями», не лишенными «излишества», но явление радостное в современном общественном хаосе, «когда все возвышающее душу засыпано земным сором»; человек aus einem Guss [монолитный (нем.)], у которого «все подведено под одну мысль, все подведено под христианство», и вся жизнь была следствием «его убеждений и веры»⁴. Радовицу, которого Ал. Тургенев звал «кривотолком», Жуковский посвятил обширную апологию⁵, но его главным духовным руководителем становится теперь Стурдза, его знакомый с 1817 г., зять любезного ему «человека Божия», Гуфеланда⁶. Пушкин шутил над Стурдзой «библическим», «монархическим», для Жуковского он «наш Платон христианский»⁷,

¹ «Добрый наш Жуковский! Он все любит подводить под систему», — писала Зонтаг Плетневу по поводу письма к ней Жуковского, который, обобщая свой тяжелый жизненный опыт, говорил о четырех классах жизненной школы: 1) признание воли Божией, 2) смирение в признании, 3) покой в смирении, доверенность; наконец, 4) чувство благодарности и живая любовь к Учителю. Он, Жуковский, еще в первом классе. Сл.: Жуковский к Плетневу 3/15 февраля 1850 г. и Плетнев к нему 28 марта того же года.

² «Рассуждения и размышления» 1846–1847 г.

³ К А.О. Смирновой 23 февраля 1847 г.

⁴ К Ал. Тургеневу 1833 г. 15/27 января и 1844 г. 6/18 января.

⁵ «Иосиф Радовиц» 1850 г.

⁶ Выражение Стурдзы в письме к Жуковскому 14 июня 1835 г. Русская Старина, 1903. Май. С. 460.

⁷ К Северину 3 декабря 1849 г.

строгий блюститель православия, пред богословской мудростию которого он преклонялся, у которого искал поучения и духовной опоры. Еще в 1829 г. Стурдза рекомендовал ему свой Энхейридион, руководство к воспитанию в духе православия, «ибо вы не мечтаете о воспитании, а занимаетесь им»¹; в 1835 г. он указывал на несколько книг, «которые Его Высочество особливо мог бы прочесть с великою пользою для ума и сердца», между ними «Жизнь св. апостола Павла» и «Страстная седмица» архимандрита Иннокентия². И позже он продолжает снабжать Жуковского указаниями на текущую литературу по духовно-нравственным и церковным вопросам, особенно на русскую, от которой Жуковский, живя за границей, отстал; посылает ему и собственные творения³. На эти темы завязалась переписка.

Хотелось бы побеседовать с Вами, пишет ему Жуковский в марте 1850 г., «беседовать о таком предмете, который теперь для нас обоих есть главный в жизни, *который для вас всегда стоял на первом ее плане, а для меня так ярко отразился на ее радужном тумане весьма недавно*, только тогда, когда я вошел в уединенное святилище семейной жизни. Этот чистый свет, свет христианства, который всегда мне был по сердцу, был завешен передо мною прозрачною завесою жизни; он проникал сквозь эту завесу, и глаза его видели, но все был завешен, и внимание более останавливалось на тех поэтических образах, которые украшали завесу, нежели на том свете, который один давал им видимость, но ими же и был заслонен от души, рассеянной их поэтической прелестью. Вот вам моя полуисповедь; целой исповеди не посылаю: на это не имею времени, да издали она будет и бесполезна. Если бы мы были вместе, многое из этой исповеди вас бы удивило; в душе человеческой много непостижимых загадок, и никто не разгадает их, кроме самого Создателя души нашей». Прочитав давнишнее сочинение Стурдзы⁴, Жуковский сетует, что у православных нет такого богатства христианской литературы, как у католиков и протестантов; в особенности у последних есть много чудно-прекрасного, «хотя они все строят, не имея никакой базы, но в убеждении, что имеют самую лучшую. Им и в голову не приходит, что в христианстве право *freier Forssc-*

¹ Письмо 7 октября 1829 г., Русская Старина. Там же. С. 397–398. Энхейридион напечатан был в 1830 г. в переводе С.Ю. Дестуниса под заглавием «Ручная книга православного христианина».

² Письмо 14 июня 1830 г. Там же. С. 398 и след.

³ См.: там же. С. 405 и след., письма 1840–1850-х гг.

⁴ *Considération sur la doctrine et l'esprit de l'Église orthodoxe par Alexandre Stourdza.* Weimar, 1816.

hung [свободного исследования (*нем.*)] так же уничтожает всякую возможность иметь неподсудимый авторитет, или, что все равно, церковь, как в политическом мире уродливая база народного самодержавия (*souveraineté du peuple*) уничтожает всякую возможность общественного порядка». Несмотря на это, чтение иных протестантских сочинений для него тем «назидательнее и убедительнее», что все истинное он переносит с их базы на свою твердую, «на базу православия»¹.

Искание непосредственной веры продолжает томить Жуковского и далее. «Я постигаю, если не живую верую (она есть даяние свыше), то глубоким убеждением», «мое убеждение еще не есть этот внутренний мир, производимый живую верую; я вижу, в чем состоит верховное единственное благо жизни, но я слишком поздно начал это видеть; жизнь моя прошла в произвольном, бедственном невнимании к святейшему, и поздние годы ее отзываются ничтожностью молодых; жизнь моя прошла без тех сильных ударов, которые потрясают душу, ее расталкивают и вырывают ее из того самодовольного сна, в котором лелеют ее поэтические сновидения»². «В твоей душе с первого детства живет вера... — пишет он графине С.М. Сологуб — ...я этой свежести сердца не имею. Во мне одно полное убеждение и неотрицание. Такая вера, какая твоя *теперь* и какую со временем *будет*, есть награда за покорное страдание»³. Идеалом становится долг, превращенный в жизни «в смиренную покорность Спасителю»⁴.

Задумчивая муза меланхолии, так долго питавшая поэзию Жуковского, теперь отринута: она присуща была языческому мирозерцанию, сквозит в его жизнерадостности, и не христианство ввело ее в новую поэзию, как полагала M-me de Staël: христианству присуща скорбь, неотъемлемое чувство души, сознающей свое падение и чающей вступить в первобытное величие; меланхолия водворилась у нас не с христианством, а по его распространению — и с его отрицанием. «Романтик» — христианин лишь по своей эпохе, не по образу мыслей и чувствований; чем более его душа обогатилась сокровищами христианского от-

¹ Русская Старина. 1902. Июнь. Часть этого письма была приведена Стурдзой в его статье: Для памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя, Москвитянин, 1852 г. № 20. Кн. 2. С. 218 след. Ответное письмо Стурдзы в Русской Старине 1903 г., май. С. 414–4115.

² К графине Соф. Мих. Сологуб 24 июля 1850 г. Сл.: «О В.А. Жуковском», речь, произнесенная в Имп. Дерптском университете 29 января 1883 г. орд. проф. П.А. Висковатовым. Журн. Мин. Нар. Просв. 1883. Март. Ч. CCXXVI. Отд. 4. С. 17 и след.

³ 22 сентября 1850 г., там же, стр. 21.

⁴ К Перовскому 1851 г., июнь, Баден.

кровения, тем сильнее она ощущает противоречия окружающего мира, и в нем рождается новая психология байроновского скептицизма, либо меланхолия — «ленивая нега», «грустная роскошь, мало-помалу изнуряющая и наконец губящая душу»¹.

Какое значение получит в этом мирозерцании поэзия?

Что такое истинная поэзия? Жуковский ответил на это в письме к Козлову (1833)²; в (неизданном) письме к государыне 1840 г. он говорит о силе музыки, перенесшей его из настоящего в область воспоминаний, — и переходит к поэзии: когда он очнулся от очарования звуков, вокруг него был тогда другой мир: «он мне не чужд, и я ему не чужой, но он как будто не имеет будущего, глаза более оборачиваются назад, а то, что впереди, как будто стоит уже за границей жизни, как будто задернуто занавесом. *Поэзия не изменила, но она переменяла одежду. Она не обман, напротив, она верховная правда жизни, но в первые, свежие лета жизни она сливается со всем, что нас окружает. Позже она становится с одной стороны воспоминанием, с другой верою*; в промежутке же между этими двумя образами опустевшая сцена жизни; видишь вблизи декорации, кулисы, машины и веревки. Хотя прямой картины нет, но ее действие все было истинное. А в жизни верно только одно, прошедшее, ибо оно неизменно; верное же будущее принадлежит к другому разряду».

В письме к Смирновой (23 февраля 1847 г.) проводится как будто иной взгляд: Жуковский говорит о призраке поэзии, «которая нас часто гибельным образом обманывает на счет нас самих, и часто, часто мы ее светлую радугу, привидение ничтожное и быстро исчезающее, принимаем за твердый мост, ведущий с земли на небо. Под старость я не рассорился с поэзией, но не в ней правда; она только земная, блестящая риза правды»³. — Но противоречие только кажущееся: за поэзией стоит другое, неизбежное — откровение веры. В письме к Гоголю 1848 г. прежнее воззрение возникает снова, пиелистическое, как встарь, но серьезно передуманное. Вторая, отрицательная часть письма повторяет обвинения новейшей литературы (особенно французской) послания к Стурдзе (29 мая 1835 г.)⁴, вызванного чтением его «Письма опытного романтика к новичку, выступающему на поприще модной словесности»⁵. Жуковский уже тогда разделял

¹ «О меланхолии в жизни и поэзии» 1845 г.; сл. письмо к Киреевскому 1844 г.

² Сл. выше. С. 309.

³ Сочинения Жуковского, изд. 7-е. Т. VI. С. 533.

⁴ Сл.: Русская Старина. 1902. Май. С. 387–389.

⁵ Лит. прибавл. к «Одесскому Вестн». 1883; то же в «Сев. Пчеле» 1885. № 123 и 124.

воззрения автора на безнравственность современных писателей, на их равнодушие к добру и злу, на отсутствие идеалов прекрасного, веры в Бога; исключением выставлялся В. Скотт¹. В одном Жуковский нашел возможным попрекнуть Стурдзу: он написал о том, «чего быть не должно» в литературе, следовало бы показать столь же сильно, «что быть должно», и в то же время определить истинный характер романтизма, который не иное что, как историческое понятие².

Поставим вместо литературы — поэзию, и мы найдем в первой, положительной части письма к Гоголю ответ на вопрос: что быть должно. Объясняя выражение Пушкина: слова поэта суть дела его (приведенные Гоголем в его статье «О существе русской поэзии»), Жуковский отличает несвободный ум от относительно свободной воли, связанной нравственным законом, и между ней и верой, т.е. способностью принимать божественное

¹ Не излишне познакомиться с содержанием письма Стурдзы для освещения симпатий Жуковского: это тот же набат, только более оглушительный. Стурдза выделяет романтиков, шедших по следам Гомера, Шекспира, Мильтона, Кальдерона, Клопштока, Шиллера, т.е. тех, которые были вдохновенными представителями «чего-либо прекрасного, до установления правил созданного самородными гениями: вот настоящее определение романтического периода во всякой народной и в всемирной литературе» (сл. в ответе Жуковского: романтизм, как историческое понятие). Но есть другого рода романтики, личину которых надевает Стурдза, чтобы наставить новичка. Их программа: ничему не удивляться, ибо удивление — признак слабого ума и ведет к рабскому благоговению; презирать все, что когда-либо боготворили, и боготворить «все гнусные порывы строптивного своевольства»; в литературе отречься от Гомера, Аристотеля, Вергилия, Расина и читать Пюго, Матюрена, Бальзака, Дюмаса, Гюфмана, Жанена и Занда. Литературное предание симметрии, подражания, единства засорило девственные, самостоятельные органы мозга; стоит сбросить эти вериги, и неподдельное вдохновение вспыхнет, явится и новое содержание. «Мы, в совокупности, не что иное, как одушевленный набат всеобщего мятежа, расстройства и безначалия в роде человеческом; мы, посредством неистовой поэзии, площадного витийства, прозаической живописи и беснующейся музыки, отражаем быт народов современных, тщательно растрავляем раны, нанесенные обществу буйством страстей безбожных; мы смешали, изуродовали все роды изящного, потому что в наше время все смешалось в отношениях сословий, властей, преданий, вер и законов; мы во всех странах Европы умножили число самоубийств, потому что нам суждено приготовить и некогда отпеть общее, духовное и политическое самоубийство народов сильнейших... Романтизм служит только рычагом всеобщего движения. Точка опирания и движущая нами рука давно возникли из хаоса безбожия».

² В ответном письме 14 июня 1835 г. на указанное выше письмо Жуковского Стурдза утешается тем, что «даже в беснующейся Франции, подле Пюго, Жанена, Дюканжа, Дюмаса и им подобных, являются Lamartine, S-te Beuve, Drouineau, Silvio Pellico, юные провозвестники воскресающего христианства. О Германии теперь говорить нечего. Она вздумала умничать, и читающая в ней публика, отменяясь истинной славой народной, восхищается творениями Берна и Гейна» (Русская Старина. 1903. Май. С. 398 и след.).

откровение, ставит творчество. «Действия этой способности не следуют никакому чуждому побуждению, а непосредственно из души истекают, — в ней наиболее выражается божественность происхождения души человеческой, которого признак есть сие стремление творить из себя, себя выражать в своем создании без всякого постороннего повода, по одному только вдохновению, которое не есть ни ум, ни воля, но то и другое, соединенное с чем-то самобытным, так сказать, свыше, без ведома нашего на нас налетающим, другому, высшему порядку принадлежащим». Приведа знакомую нам заметку к «Лалла Рук» о прекрасном, которого нет в окружающем нас вещественном мире¹, и развивая идеи своей статьи «Об изящном искусстве» (1846 г.), Жуковский указывает на способность нашей души находить в вещественности это прекрасное, побуждающее нас к творчеству. «Душа беседует с созданием, и создание ей откликается. Но что же этот отзыв создания?.. Все мелкие, разрозненные черты видимого мира сливаются в одно гармоническое целое, в один сам по себе не существенный, но ясно душою нашею видимый образ. Что же этот несущественный образ? Красота. Что же красота? Ощущение и слышание душою Бога в создании. И в ней, истекшей от Бога, живет стремление творить по образу и подобию Творца своего, то есть влагать самое себя в свое создание». Но Создатель всего извлек это все из самого себя, человек творит заимствованными из создания средствами, повторяя то, что Бог создал своею всемогущею волею. «Сей произвольный акт творения есть возвышенная жизнь души; целью его может быть не иное что, как осуществление того прекрасного, которого тайну душа открывает в творении Бога и которое стремится явно выразить в творении собственном. Сие ощущение и выражение прекрасного, сие пересоздание своими средствами создания Божия есть искусство. Что же такое художник? Творец; и цель его не иное что, как самое это творение, свободное, вдохновенное, ни с каким посторонним видом не соединенное. В чем состоит акт творения? В осуществлении идеи Творца»; художник должен выразить «не одну собственную, человеческую идею, не одну свою душу, но в ней и идею Создателя, дух Божий, все созданное проникающий». Поэзия теперь не добродетель, изящное не тождественно с моральной красотой²; она, «действуя на душу, не дает ей ничего определенного: это не есть ни приобретение какой-нибудь новой, логически обработанной идеи, ни возбуждение нравствен-

¹ Сл. выше. С. 250.

² Сл. выше. С. 251 и след.

ного чувства, ни его утверждение положительным правилом; нет, это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое действие откровенной красоты, которая всю душу обхватывает и в ней оставляет слезы неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству самого... художника. Если таково действие поэзии, то сила производить его, данная поэту, должна быть не иное что, как призвание от Бога, есть, так сказать, вызов от Создателя вступить с Ним в товарищество создания. Творец вложил свой дух в творение, поэт, его посланник, ищет, находит и открывает другим повсеместное присутствие духа Божия». Осуществить вполне этот идеал поэта невозможно, но к нему можно стремиться не одною только «красотою создания», «музыкой слов», а тем, что «всему этому дает жизнь: это есть *дух поэта*, в создании его тайно сопричастный». Поэт свободен в выборе предмета, всякое намерение произвести то или другое постороннее (нравственное, политическое) впечатление исключается — свободой поэзии, но поэт не свободен отделить от своего произведения самого себя: «что он сам, то будет и его создание»; если он чист душою, действие его слова будет благодатно; это — его дело. Таков был Вальтер Скотт, чья светлая, чистая, младенчески верующая душа разлита в его творениях; таков был Карамзин, «которого непорочная душа прошла по земле, как ангел света».

Следует знакомая нам характеристика титана Байрона¹, оттененная беспощадным отрицанием другого, не названного поэта.

«Но что сказать о... (я не назову его, но тем для него хуже, если он будет тобою угадан в моем изображении), что сказать об этом хулителе всякой святыни, которой откровение так напрасно было ему ниспослано в его поэтическом даровании и в том чародейном могуществе слова, которого, может быть, ни один из писателей Германии не имел в такой силе?» Жуковский, видимо, говорит о Гейне. — «Это уже не судьба, разрушившая бедствиями душу высокую и произведшая в ней бунт против испытующего Бога, это не падший ангел света, в упоении гордости отрицающий то, что знает и чему не может не верить, — это свободный собиратель и провозгласитель всего низкого, отвратительного и развратного, это полное отсутствие чистоты, нахальное ругательство над поэтической красотой и даже над собственным дарованием ее угадывать и выражать словом, это презрение всякой святыни и циническое, бесстыднодерзкое противу нее богохульство... это вызов на буйство, на неверие, на угождение чувствен-

¹ Сл. выше. С. 309 и след.

ности, на разнуздание всех страстей, на отрицание всякой власти — это не падший ангел света, но темный демон, насмешливо являющийся в образе светлом, чтобы прелестью красоты заманить нас в свою грязную бездну».

Жуковский предаёт проклятию такое злоупотребление лучших даров Создателя. Сколько непорочных душ растлила эта демоническая поэзия! Искусство — примирение с жизнью, по верному определению Гоголя, но современная поэзия ему не отвечает: она вулканически-разрушительна в корифеях, материально плоска в их последователях. Нет поэзии, которая стремилась бы душу к высокому, идеальному, облагораживала бы жизнь, а с другой стороны беззаботно бы с ней играла, забавляя ее светлыми видениями. «Такое беззаботное наслаждение поэзией называется теперь ребячеством. Меланхолическая разочарованность Байрона, столь очаровательная в его изображениях и столь пленяющая глубокою (хотя иногда и вымышленною) грустью поэта, истощившись в приторных подражаниях, уступила место равнодушию, которое уже не презрение и не богохульный бунт гордости (в них есть что-то поэтическое, потому что есть сила), а пошлая расслабленность души, произведенная не бурей страстей и не бедствиями жизни, а просто неспособностью верить, любить, постигать высокое, неспособностью предаваться какому бы то ни было очарованию».

Надо ли после этого смотреть «с унынием и тревогой» на будущее поэзии? Нет, настоящая поэзия не иссякнет «и посреди судорог нашего времени», еще явятся поэты, верные своему призванию, — и Жуковский приводит отрывок из своего подражания «Камоэнсу», драме Гальма (1839)¹, отрывок, в котором есть и его собственные лирические вставки. Не счастья, не славы здесь ищущий я, говорит Васко умирающему Камоэнсу,

быть хочу крылом могучим,
Подъемлющим родные мне сердца
На высоту; зарей, победу дня
Предвозвещающей; великих дум
Воспламенителем, глаголом правды,
Лекарством душ, безверием крушимых,
И сторожем нетленной той завесы,
Которою пред нами горний мир
Задернут, чтоб порой для смертных глаз

¹ См.: Дневник 1839 г. 12/24 апреля: «дома дописывал Камоэнса».

Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ее красе небесной —
Вот долг поэта, вот мое призванье!

У Гальма нет ни «безверия», ни «святости жизни»: Perez (Васко у Жуковского) хотел бы быть крылом,

der Andre aufwärts hebt,
Als Morgenrot des Lichtes Sieg verkünden...
Dem Rechte Klang, der Wahrheit Sprache leihen.

[которое поднимает другого ввысь, когда утренняя заря возвещает победу света... быть звуком правды, языком истины.]

«Поэзия — небесной религии сестра», — твердит Васко у Жуковского, не Perez-Васко у Гальма; «страданием душа поэта зреет» вторит подлиннику (Denn nur verblutend reift das Dichterherz), но Жуковский развил эту идею в непоказанном месте и едва ли удачно. Камознс в госпитале, кругом него, в нем самом глухая ночь; вдруг что-то спустилось к нему, понесло на высоту — Поэзия: первая его песня, омоченная слезами, лежала перед ним, исчезла ночь и исчерпана мера его страданий: «моя душа на крыльях песнопенья нашла утешение в Боге, я пел — и позабыл»¹. Иначе у Жуковского:

С той минуты чудной
Исчезла ночь во мне и вокруг меня;
Я не был уж один, я не был брошен;
Страданий чаша предо мной стояла,
Налитая целебным питием;
Моя душа на крыльях песнопенья
Взлетела к Богу и нашла у Бога
Утеху, свет, терпенье и замену.

1
War ich nicht mehr allein, nicht mehr verlassen,
Mein erstes Lied lag tränenfeucht vor mir..
Mein Geist, erhoben von des Liedes Schwingen,
Fand Trost bei Gott, ich sang und ich vergass.

[Я больше не был одинок и заброшен, моя первая песня лежала предо мной, влажная от слез... Мой дух, возвысившись в парении песни, нашел утешение у Бога, я пел и я забывал. (нем.)]

В последнем монологе Камозенса поэзия является ему в предсмертный час; у Гальма этого нет.

О! ты ль? тебя ль час смертный мне отдал,
Мою любовь, мой светлый идеал?
Тебя, на рубеже земли и неба, снова
Преображенную я вижу пред собой;
Что здесь прекрасного, великого, святова,
Я вдохновенною угадывал мечтой,
Невыразимое для мысли и для слова,
То все в мой смертный час прияло образ твой
И, с миром к моему приикнув изголовью,
Мне стало *верю, надеждой и любовью.*
Так, ты поэзия: тебя я узнаю;
У гроба я постиг твое знаменованье.
Благословляю жизнь тревожную мою!
Благословенно будь души моей страданье!

.....

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.

К толкованию последнего стиха Жуковский вернется в письме к вел. князю Константину Николаевичу (19/31 октября 1849 г., Баден).

Толкование примыкает к характеристике общественного настроения конца 40-х годов, бедственного, прозаически разрушительного времени, «в котором все, одной душе принадлежащее, все святое, божественно-историческое уничтожено», господствует грубый материализм и всякая безусловная вера смешна. Объясняется это разложение — отсутствием поэзии, той поэзии, которую он определил: «*Поэзия есть Бог в святых мечтах земли*». «Бог есть истина, к этой истине ведет вера, которой цель лежит за границею здешнего мира», следовательно поэзия «есть мечта истины, т.е. ее земной образ, если только эта мечта есть мечта святая. Но эта мечта может быть и не святою... тогда она антипоэзия, — *дух тьмы в мечтах земли развратных*». Источник истинной поэзии «есть вдохновение (которое я назвал бы верою в великое и прекрасное, вдруг объемлющее душу нашу). Такое вдохновение более или менее всякой душе доступно; и много было на земле великих поэтов, не написавших ни одного стиха. Например, одна из высочайших минут такого вдохновения выразилась в одном слове: *На колена!* которым многочисленная толпа бунтующего народа

брошена была на землю перед святынею веры и власти. И отсутствие этой-то поэзии произвело то, что теперь везде перед нашими глазами творится».

Суд над недавней и современной поэзией, который творил Жуковский в письме к Гоголю, свидетельствует, что как в его религиозно-политических, так и в литературных взглядах прогресс состоял в упорядочении давно составленных убеждений. Если Байрон несколько пощажен, то потому, что его заслоняет «падший ангел света», Гейне, о котором Жуковский выразился как-то в салоне Смирновой, что теперь у него одного и есть поэтический талант, соединенный с остроумием¹. В числе обвиняемых нет ни одного русского имени, а было место и для Пушкина, и для Лермонтова, которого Жуковский считал замечательным лирическим талантом; он восхищался его «Купцом Калашниковым»², которого уговорил отдать в печать.

Место для обвинений нашлось в частных беседах и письмах. «Где ты нашел у нас литературу? — говорил он в 1830 г. И.В. Киреевскому. — Какая к чорту в ней жизнь? Что у нас своего? Ты говоришь об нас, как можно говорить только об немцах, французах и проч.»³ «Избавьте нас от противных Героев нашего времени, от Онегиных и прочих многих, им подобных, — пишет он графу В.А. Сологубу в 1845 г., — это бесы, вылетевшие из грязной лужи нашего времени, начавшиеся в утробе Вертера и расплодившиеся от Дон Жуана и прочих героев Байрона»⁴. Русская литература пала, пишет он фон дер Бриггену (1/13 июня 1846 г.), пала не с высоты, как немецкая или французская, потому что перешла на базар торгашей не через святилище науки, «а прискакала туда прямо проселочною дорогою и носит по толкучему рынку свое тряпье, которое с смешною самоуверенностью выдает за ценный товар»⁵. Он поощряет графиню Раstopчину к «истинной поэзии» (к ней 25 апреля 1838 г.), но только талант

¹ Сл.: Записки Смирновой. Сев. Вестник. 1895. Июль. С. 86.

² Иб. С. 85, 95. Сл. дневник 1839 г. 24 октября: чтение «Демона».

³ Письмо 12 января 1830 г. Полное собр. соч. И.В. Киреевского. Т. I. С. 23.

⁴ Сл.: Русский Архив. 1896. № 3. С. 462.

⁵ Сл. письмо к Погодину того же года по получении его «Похвального слова Карамзину»: время, в которое Карамзин действовал на поприще русской литературы (время его двух журналов), было лучшим временем, хотя младенческим, нашей литературы. При теперешней ее большой деятельности, при ее возмужалости едва ли она подвинулась вперед к лучшему. Литература наша, не пройдя своего книжно-творческого периода, перешагнула в журнально-меркантильный. Этот период начался, когда Карамзин скрылся в тишину своего кабинета и безмолвно там готовил в продолжении многих лет свою монументальную книгу (Барсуков, Жизнь и труды М.П. Погодина. VIII. С. 213—214).

оказался у нее истинным, а «ее поэзия принадлежит к чудовищной породе поэзии нашего века, разрушающей всякую святыню» (к Булгакову 13/25 мая 1847 г.). А.Н. Майков встретил в нем сочувствие: «он может начать разряд новых русских талантов, служащих высшей правде, а не материальной чувственности. Пускай он возьмет себе в образец Шекспира, Данте, а из древних Гомера и Софокла. Пускай напитается историей и знанием природы, и более всего знанием Руси, той Руси, которую создала нам ее история, Руси, богатой будущим, не той Руси, которую выдумывают нам поклонники безумных доктрин нашего времени, но Руси самодержавной, Руси христианской – и пускай, скопив это сокровище знаний, это сокровище материалов для поэзии, пускай проникнет свою душу святынею христианства, без которой наши знания не имеют цели и всякая поэзия не иное что, как жалкое сибаритство, – русалка, убийственно шекочущая душу»¹.

Характеризуя в 1845 г. плачевное состояние русской литературы, Плетнев говорил об «одинокости старчества», в котором очутился Блудов²; в таком же одиночестве оказались и Вяземский и Жуковский: жизнь обгоняла их впопыхах и с промахами, в которых сказывалось однако же искание новых путей, либо пятилась, и они не сумели в ней найтись. Говорили, что Жуковскому пора и на покой с его поэзией, годной только юноше, у которого кипит кровь и играет воображение; Белинский отозвался на IX том его стихотворений (1844 г.): Жуковский как бы сам чувствует, «что уже прошло время для романтической поэзии», и является теперь на поэтическое поприще более как ветеран, чем как воин, состоящий на действительной службе. «Его теперь занимает не сущность содержания, а простота формы в изящных произведениях», простота «несколько искусственная»; говорят, он переводит Одиссею; перевод будет образцовый, если поэт посмотрит на поэму «прямо по-гречески, а не сквозь призму немецкого романтизма». В другом смысле провещился в 1845 г. Бурачек: «Жуковский уже совершенно преклонился перед римским истуканом французской, немецкой и английской лже-поэзии. Он уже вовсе был чужд русского духа и стихии. Мораль его – мораль римская. Влияние его на современников было полное: он создал Пушкина. Только в последних его стихотворениях начинает

¹ Сл.: Барсуков I. с. Т. XI, стр. 415; к М.П. Погодину, 7 декабря 1851 года. Сл. письмо к Плетневу 15/27 ноября того же года.

² К Жуковскому 2 марта 1845 г.

пробиваться дух Евангелия, но дух все-таки римский, а не русский. Но его последние стихотворения уже не действуют на юное поколение русских — оно улыбается им»¹. «Одиночество старчества» поддерживалось в Жуковском еще и отчуждением его от русской действительности в долгие годы, проведенные им за границей, где его мирозерцание и его поэзия развивались, вне контроля, из старых начал. Плетнев был прав, когда в 1845 г. (1/13 ноября) писал ему: «О переезде вашем сюда я каждый раз думал с какою-то печалью, хотя и желал бы при конце моих дней иногда счастливить себя свиданиями с вами и вашими особенно. *Здесь не климат вашей поэзии.* Ей нужно именно то, чем вы дышите теперь... Что лучше Франкфурта и особенно Дюссельдорфа? По крайней мере откладывайте это антипоэтическое возвращение столько, сколько будет возможности».

В Дюссельдорфе и Франкфурте осуществились для Жуковского белёвские грезы о тихом семейном счастье, и его поэзия вступила на свой последний путь.

В 1845 г. видела его с женою в Нюрнберге вел. кн. Ольга Николаевна: «точно немецкая картина, но он остался русским и ждет, когда здоровье жены позволит ему возвратиться к нам»². Русь стала для него живым воспоминанием и идеализировалась тем грандиознее, чем гуще его охватывала немецкая атмосфера. Ту же «идеализацию дали» испытал Тютчев.

¹ Маяк 1845 г. Т. XXII: Критический обзор народного значения Вселенской церкви на западе и на востоке, гл. IV. Критика. С. 95. Сл. замечательное письмо кн. Вяземского к Жуковскому 12 апреля 1846 г. Русская Старина. 1902. Октябрь. С. 205 и след.

² Плетнев к Жуковскому 25 декабря 1845 г. / 6 января 1846 г.

ХIII. В своей семье. Идиллия Одиссеи

1.

Сам Жуковский рассказал нам историю своей последней любви¹.

В июне 1832 г. он выехал за границу для поправления здоровья. Он лечился в Эмсе и Вейльбахе; здесь подъехал к нему его старый приятель Рейтерн, который решился сопровождать его в Швейцарию. Жуковский предполагал прожить в Веце не более трех недель, далее отправиться в Италию навстречу Тургеневу, но болезнь открылась снова и от Италии надо было отказаться; ему не пришлось видеть Ливорно, могилы Саши. Тургеневу он поручает заботу об ее памятнике. «О моем житье-бытье не беспокойся; я не один, со мною Рейтерн, который выписывает на зиму и свое семейство, так что я буду и в совершенном уединении, и со своим домом. Но Дрездена уже нет, не возвратить: никогда мне не было так уютно и покойно и домовито, как в Дрездене: это время одно из самых солнечных в жизни» (19/31 октября 1832 г. Веце).

Когда 26 ноября семья Рейтерна подъехала к домику, нанятому для них Жуковским, он встретил их у ворот, а его черные, глубокие, добрые глаза произвели невыразимое впечатление на дочку Рейтерна, Елизавету, тогда еще ребенка. Она знала его с 1826 г. по имени и портрету, писанному ее отцом.

«Мы все вместе переселились в наше уединение, — вспоминает Жуковский, — и с этой минуты начинается для меня жизнь покоя, и ясный мир домашний обхватывает мою душу, как в бывалые, лучшие, прежние годы». Жуковский заходил к Рейтернам по несколько раз в день, за столом девочка сидела между ним и отцом, по вечерам ее обязанностью было подавать Жуковскому табак и трубку, что она впрочем часто забывала, а Жуковский

¹ В пространном послании к родным, писанном с 10/22 августа по 5 сентября 1840 г., Русская Беседа. 1859. III. с. 17 и след. Я пользовался кроме того рассказом его невесты, написанным (по-французски) по его желанию.

сюрпризом устроил детям рождественскую елку. Повяло семьей, тенями прошлого, молодостью, Жуковскому стукнуло 49 лет, «Я не состарелся и, так сказать, не жил, а попал в старики, — писал он в день своего рождения (29 января 1833 г.) Зонтаг. — Жизнь моя была вообще так одинакова, так сама на себя похожа, что я еще не покидал молодости, а вот уж надобно сказать решительно «прости» этой молодости и быть стариком, не будучи старым. Нечего делать!» — Затем пришлось расстаться; «они улетели от меня, как светлые райские тени»; лишь в августе 1833 г. Жуковский три дня прогостил у Рейтернов в замке Виллингсгаузен, где «опять на минуту очутился в своем родном круге». На прощаньи «13-летний ребенок кинулась мне на шею и прильнула ко мне с необыкновенною нежностью; это меня тогда поразило, но, разумеется, никакого следа на душе не оставило». Прошло пять лет, прежде чем Жуковский снова увидел в Дюссельдорфе, в августе 1838 г., свою суженую; три дня провел он в семье; Елизавета и ее сестра «расцвели, как чистые розы».

Зимой того же года Жуковский был в Венеции, о впечатлениях которой писал Языкову (4/16 ноября). 21 ноября (3 декабря н. ст.) он гулял при луне по венецианской Piazza и записал в своем дневнике: «тень колокольни, бледный свет куполов; Maria della Salute, как призрак... Ponte dei Sospiri в бледном свете над темным каналом, на коем полоса от фонаря гондолы, и свет в окно тюрьмы. Per me si va (nella città dolente)^{1*} [я веду к городу скорби (*итал.*)]. Вечер у Шпаура. Пенье». Жуковский настраивается элегически и набрасывает стихотворение:

Мой мир лишен маги(че)ской одежды,
Еще могу по-прежнему любить,
Но нет надежды
Любимым быть².

В июне 1839 г., провожая великого князя, он снова заехал к Рейтернам. «Я провел только два дня в замке Виллингсгаузен, — писал он родным, — и в эти два дня были для меня минуты очаровательные. Старшая дочь Рейтерна, 19 лет, была предомной точно как райское видение, которым я любовался от полноты души, просто как видением райским, не позволяя себе и мысли, чтоб этот светлый призрак мог сойти для меня с неба и слиться с моею жизнью. Я любовался ею, как образом Рафаэле-

^{1*} Строка из «Ада» Данте (песнь III, 1).

² Третий стих написан был первоначально так: Но для меня уж нет теперь надежды.

вой Мадонны, от которой после нескольких минут счастья удаляешься с тихим воспоминанием и... Однако нет! В тогдашнем чувстве, с которым смотрел я на это ангельское лицо, не было того совершенного покоя, с каким смотришь на тихую Мадонну; оно было соединено с грустью: мне было жаль себя; смотря на нее и чувствуя, что молодость сердца была еще вся со мною, я говорил, что молодость жизни миновалась и что мне надобно проходить равнодушно мимо того, чему бы душа могла предаться со всем неистощимым жаром своим и что однако навсегда должно ей остаться чуждым. Это были два вечера грустного счастья. И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала в руках), то в этих глазах был взгляд невыразимый, который прямо вливался мне в глубину души, и я бы изъяснил этот взгляд в пользу своего счастья, и он бы тут же решил мою судьбу, если бы только мне можно было позволить себе такого рода надежды и не должно было от себя всеми силами отталкивать подобные желания, моим летам уже неприличные, и только что для меня тревожные».

Между тем Елизавета фон Рейтерн писала о тех же днях: приехал Жуковский; вечером за чаем, беседуя с Шадовым, «он так чудно говорит о смирении, что мое сердце исполнилось невыразимой радости». Она вспоминает о двух днях, проведенных Жуковским в Виллингсгаузене: «В сердце стало светло, и этот свет становился все яснее и ярче; правда, у меня не было времени задуматься над этим. *Ego* присутствие было для меня все, все мне давало; я ощущала неизъяснимую радость, источника которой не понимала, а между тем мечта, которую я давно открыла в глубине моего сердца, с каждым днем становилось существеннее. Присутствие Жуковского было счастьем, видеть его блаженство... Погода была прелестная. Жуковский по утрам рисовал в саду, и я к своему удивлению спохватилась, что мои шаги невольно направлялись туда, где он был». Ее печалит мысль, что он скоро уедет, сердце щемит, когда она думает о нем; почему не бывает с нею того же, когда она думает — об отце?

Еще несколько беглых свиданий в 1840 г. и двухнедельное пребывание в Виллингсгаузене в мае; великий князь и его невеста, ученица Жуковского, уехали из Дармштадта, он получил возможность сам отдохнуть. Куда направиться? У него вдруг «блеснуло воспоминание о тихой жизни на берегу Женевского озера, воспоминание о Верне и о моем тогдашнем семейном круге (вместе с Верне воображению представились некоторые ясные эпохи Муратова, Долбина...). Перед этим воспоминанием

все другие планы исчезли». Он поехал к Рейтернам, и это свидание было решительным.

Он счастлив, «ясная эпоха» Муратова наступила для него воочию; он вдруг переселился туда, где «некогда жил и уже перестал жить мечтою, куда влекло и уже перестало влечь сердце; где ясный мир, где поэзия, бывший товарищ молодости и теперь ее представитель и замена»¹. Любовь в семье, в районе дружбы и привычки («*pour qui sait aimer qu'est ce qui peut être plus cher que l'habitude?* [для того, кто умеет любить, что может быть более дорого, чем привычка? (*франц.*)]») записал он в альбом Воейковой); как в Белёвском уединении у него была милая переписчица, так Елизавета фон Рейтерн обрисовывает наброски, привезенные им из путешествия². К этому присоединилось и сходство настроения: Рейтерны пиетисты, Рейтерн – друг Радовица, которого и Жуковский избрал своим сердцем; Радовиц, которого Елизавета фон Рейтерн зовет *oncle*, пишет Рейтерну душевные письма с цитатами из Новалиса (*Gieb treulich mir die Hände*^{3*} [Протяни мне руки на верность] и т.д.)⁴.

В этой среде вырастает невеста Жуковского, она точно его ученица: глубоко-пиетистически настроенная, она прячет свое чувство, полна предчувствий и веры в Провидение – и сознания своего недостойнства; ее борьба с собою – испытание. На Жуковского она смотрит, как на нечто высшее: не ей быть звездой на его небе; она готова ограничить свое счастье – счастьем видеть его: в ее любви много благоговения, *vénération*. «И все это у меня – от тебя» (*Et tout cela me vient de toi*). Так в былое время говорил Жуковский Маше. Роли переменились. К обычной застенчивости Жуковского присоединилась теперь застенчивость старческого чувства, он не решается объясниться прямо, а все намеками, полусловами, так, чтобы другие договорили. Так с Рейтерном, так и с невестой. Он посылает ей, в знакомой нам синей обертке его дневников, потешный рассказец, написанный по-немецки: «*Geschichte des Herrn von Klotz*», который она перечитывает с восторгом – и понимает: это было объяснение в любви, ве-

¹ Письмо к родным.

² Сл. Gerhard von Reutern l. с. стр. 99 след.: 5 августа 1837 года Жуковский благодарил Рейтерна *pour le trésor des contours qui forment un journal complet de notre voyage* [за сокровищницу силуэтов, который составляют полный дневник нашего путешествия – *франц.*]; его дочь срисовала для Жуковского его *croquis* [эскизы – *франц.*].

^{3*} Из стихотворения «К Адольфу Зельмнитцу».

⁴ Л. с. стр. 34-6, 112.

роятно, в формах такой же потешной аллегии, как и «Male-
rische Darstellung einer Bleifüssler-Procession», служившая той
же цели. Это — написанное по-немецки объяснение к картин-
кам, которые приглашался нарисовать Рейтерн. В стеклянном
гробу лежит свинопас, выбиваясь из него руками и ногами.
Около него Обжора (Herr von Vielfrass), сиречь время: он сло-
жил крылья, подвязал к животу матрац, надел свинцовые са-
поги и, покуривая трубочку, трунит над бедным свинопасом,
и всякий раз, когда проползет мимо него «свинцовая ножка»,
подвигает вперед стеклянный гроб. Процессия «свинцовых
ножек» растянулась: это подвижные, эфирные создания, ка-
призные, любящие помучить человека. Так и теперь: чтобы
подразнить свинопаса, они приняли тяжелые тела, похожие
на тыкву, едут верхом на черепахах; один курит, другие игра-
ют в карты и т.д.; у каждого запечатанный ларчик, содер-
жание которого он не знает; пока они проходят, можно было бы
сломать печать, тогда... но это к делу не относится. — Вдали
башни Дюссельдорфа, горят утренние звезды, в воздухе что-
то реет: это проклятые «свинцовые ножки», но они крылаты
и быстро пролетают, не то, что у гроба свинопаса. Он также
как будто приободрился: над ним вьется какое-то незримое
существо (изображение бабочки), и когда оно спускается к
нему, он приходит в спокойное состояние, ноги вытягивают-
ся, руки складываются на груди, и он лежит, как тихо покоя-
щийся статский советник, которому снятся блаженные сны.
Он ощущает только близость невидимого товарища, забывая
Обжору и свинцовые ножки. — На горизонте, не далеко от
Дюссельдорфа, виднеется как будто гора, но это не гора, а
исполинская телега, в ней слон, в слоне корова и т.д. — на-
копление в стиле мотива известной сказки; в самом центре —
письмо от почтенного господина Рейтерна к недостойно-
му свинопасу. Но телега запряжена двумя хромыми утками!
Письмо никогда не придет!

Время, часы — «свинцовые ножки» идут так медленно для Жу-
ковского (= свинопаса), замедлилось и письмо — от Рейтерна;
очевидно, письмо решающее. Шутка-гротеск надписана 15/21
июля 1840 г.; 3 августа участь Жуковского решилась. Предложе-
ние было сделано застенчиво-иносказательно: Жуковский пред-
ложил девушке часы: «Permettez moi de vous faire cadeau de cette
montre, mais la montre indique le temps, le temps est la vie; avec cette
montre je vous offre ma vie entière. L'acceptez vous? [Позвольте мне
подарить вам эти часы, но часы показывают время, время есть

жизнь; с этими часами я предлагаю вам всю мою жизнь. Примете ли вы ее? (*франц.*)]». Она кинулась ему на шею¹.

Обо всем, что с ним случилось, Жуковский писал Ал. Тургеневу. «Какое письмо! — пишет Тургенев. — Душа Жуковского тихо изливается в упоении и в сознании своего блаженства. Читая его, я понял по крайней мере половину моей любимой фразы: *Le bonheur est dans la vertu qui aime... et dans la raison qui éclaire* [Счастье — в добродетели, которая любит... и в разуме, который освещает. (*франц.*)]»². Жуковский говорит о своем счастье восторженно, «как говорил о нем в Белёве, где все было для него поэзией, даже любовь; счастье поджидало его в конце его жизненного пути; надеюсь, его освободят от придворного ига, ибо что бы он мог там сделать с одним из тех созданий, которые счастливы только в семье и которых Софья Карамзина встречала разве в романах? Чувствую, что ради Жуковского я помолодел душой и люблю его братски, как встарь. Желая ему только одного, чего и сам он себе желает: жизни, жизни! Пора ему не то что перестать жить для других, — ведь только так и живется, — а устроить себе другое существование: жизнь, какую он вел, годна была для нас и для тех, за которых он беспрестанно хлопотал. Он отвоевывал (*gagnait*) себе рай, теряя его ежедневно... Он хотел бы повидать меня, но я боюсь замутить полноту его счастья видом человека, находящего убежище лишь в апатии, упустившего все виды земного счастья, даже счастья — страдать или ожидать в покорности»³.

Тургенев прособирался к приятелю, хотя тот его «требовал»⁴. Между тем «Вьельгорские нечаянно наехали в Вильдбадене на Жуковского, нет, на Жуковских. Она — влюбленная дочь, а он нежный отец. Весело и умилительно на них смотреть», — писал князь Вяземский⁵; а у Тургенева та же грустная отговорка: «один только Жуковский мирит меня с жизнью, за то я и не хочу пугать его моим присутствием, моей тоской, в каждой новой морщине

¹ Так в письме к родным; сл. письмо Плетнева к Я.К. Гроту 8 ноября 1840 г. (со слов вел. кн. Ольги Николаевны), Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. I. С. 127.

² Соч. и переписка П.А. Плетнева. III. С. 119.

³ Ал. Тургенев к В.Ф. Вяземской 1 сентября 1840 г. (французское). Плетнев, поздравляя Жуковского, восхищается строками, в которых он говорил «о новом рае своей души: жизни, жизни!» (к Жуковскому 3 сентября 1840 г.). Он прочел эти слова в письме Жуковского к кн. Вяземской (Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым, I. С. 35).

⁴ Тургенев к княгине Вяземской 10 сентября 1840 г.; к князю Вяземскому 31 августа/12 сентября того же года.

⁵ Князь Вяземский Тургеневу 26 июня 1841 г.

выражающейся. Письмо его ко мне прелестно. Прочти его своим, Карамзиным, да еще немногим, — и только»¹. Жуковский «будет жить в уединении, я поеду проститься с ним, навсегда, если бы так случилось, довольный тем, что он достоин своей доли, скорее, что доля прилась по его достоинствам. Он еще раз возродится, обновясь в среде, которая не будет средой дворца и петербургских салонов»².

«Очищенный Руссо, — вспоминал впоследствии кн. Вяземский, — Жуковский на шестом десятилетии испытал всю силу романической страсти; но, впрочем, это была не страсть, и особенно же не романическая, а такое светлое сочувствие, которое освятилось таинством брака»³. Давно тому назад, в пору увлечения Машей, Жуковский писал ей, что страсти к ней у него никогда не было⁴; и теперь он не играл в чувство, пишет он родным⁵, «и как его в себе допустить со всеми надеждами, которые могут быть приличны только молодости?»⁶... То, что он испытал, не «минутная вспышка души, разгоряченной романическим воображением; это просто сродство». Знакомые в Москве и за границей встретили весть о столь неровном браке с каким-то приятным и любопытным недоумением; и его самого это порой смущало, но он сказал о том Радовицу, «нашему общему другу, человеку, которого я во всякое время выбрал бы и руководцем и судьей моей жизни», и «Радовиц, которому характер моей Елизаветы давно и коротко знаком, который и меня также коротко знает, устранил мои сомнения, сказав, что при всей их основательности вообще, они в этом особенном случае неуместны и что он ручается мне за счастье, если только она подаст мне руку произвольно, от сердца, без всякого влияния со стороны»⁷.

Оттого он так словоохотливо и добродушно рассказывает друзьям историю своего сватовства, заставляет любоваться портретом невесты, писанным Зоном, старчески-детски забалтывается до интимных мелочей: как однажды, будучи с матерью и невестой, он сказал, «что для чужих будет первую выдавать за жену свою, а вторую за дочь»; невеста так рассердилась, что он насилу выпросил у нее прощение. Если она ведет себя умно, он зовет

¹ Тургенев князю Вяземскому 8/20 июля 1841 г.

² Ал. Тургенев княг. Вяземской 9 сентября 1840 г. (французское).

³ Полное собр. соч. кн. Вяземского. Т. X: Старая записная книжка. С. 154.

⁴ Сл. выше. С. 203.

⁵ В том же письме.

⁶ Я не нахожу в себе «живого, пламенного чувства, которое мне несвойственно и по натуре моей, и по моим летам» (Дневник 12 ноября 1842 г.).

⁷ То же письмо к родным.

ее Эльзой, когда она шалит, он называет ее Бетси, а когда она задурчится, он кричит только *Bête*». Так рассказывал он вел. кн. Ольге Николаевне¹. Он уверен, что все это должно интересовать тех, кто его любит и понимает.

Сам он полюбил «христианскую любовью»; это объясняет его строгую отповедь старому другу Александру Михайловичу Тургеневу, написанную им два года спустя после брака. Тургенев, вдовец, сообщал ему в 1843 г., что на старости лет он влюбился. «Не знаю, что тебе на это сказать, — отвечает ему Жуковский (10/22 февраля 1843 г.). — Я уважаю чувства сердца. Если ты любишь, чтоб любить про себя, это твоя святая тайна. Если же любишь с надеждою на взаимность — берегись: будешь виноват перед собою и перед другими... Ты пишешь, что горесть, тоска и уныние тебя одолели — должно ли это быть в твои лета и от такой причины? Согласен, живое чувство 18-летней любви, пробудившееся в твоей 65-летней душе, доказывает свежесть этой души — но не слишком ли это чувство ее тревожит? Не заставляешь ли ее произвольно строить такое будущее, которого уже не может быть для нее в здешней жизни? Не отвлекаешь ли ее от мыслей и чувств высшего рода, ей теперь приличных и необходимых?.. *В твои лета может быть только любовь христианская. Отворить ее для любви к женщине (которая всегда, сколь бы ни была чиста, более или менее соединена с чувственностью), есть предавать ее таким волнениям, которые уже не должны ее тревожить* и которые, конечно, не дадут укорениться в ней тому *ясному миру*, ко-

¹ Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым I. с. 127–128 (8 ноября 1840 г.): «Он (Жуковский) привез и портрет невесты, писанный в Дюссельдорфе знаменитым Зоном. Вообразите идеал немки. Белокурая, лицо самое правильное; потупленные глаза; с крестиком на золотом шнурке; видна спереди из-под платья рубашечка; края лифа у платья на плечах обшиты тоже чем-то в роде золотого узенького галуна; невыразимое спокойствие, мысль, ум, невинность, чувство — все отразилось на этом портрете, который я назвал не портретом, а образом. Точно можно на нее молиться. Самая форма картины, вверху округленной, с голубым *fond* — все производит невыразимое впечатление. Весь вечер мы любовались на этот образ... Портрет ее писан тогда, когда Жуковский ей читал книгу. На картине лицо взято в профиль, оттого ее глаз совсем не видать. Они темно-серые. Цвет лица чистый, белый. Черты большие. Линия от подбородка идет к лбу, образуя тупой угол, что придает лицу выражение умное и интересное». Портрет писан в Дюссельдорфе в 1842 г. и литографирован Шертле. — Иное впечатление вынес Мельгунов: «Жуковский женился на старшей дочери Рейтерна, нашего художника в Дюссельдорфе, — писал он Шевырëву 5/17 октября 1842 г. Она ростом с Иван Великий (*bis*) и не хороша собой, но *sehr gemüthlich* [очень приятна (*нем.*)]. Жуковский *ist überglücklich* [счастлив свыше всякой меры (*нем.*)], как он пишет Коппу» (д-р в Гану, лечивший Мельгунова, приятель Жуковского). Сл.: Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы. Т. II. Изд. 2. С. 191, прим. 1

торый нам необходимо иметь, приближаясь к границе здешнего. Я уверен в чистоте твоего чувства и (говорю опять) уважаю его. Но мой совет: сладить с ним и не давать ему воли над душой: ей теперь не то нужно»¹.

Так сбылись надежды Жуковского «любимым быть». Но «надежда» подсказана рифмой; надежда давно отменена, на ее место надо поставить веру в Провидение. Так наставлял Жуковский Машу, Воейкову, Самойлову, а в альбоме Воейковой написал: «Желать что-нибудь страстно значит мешаться в дело Провидения»². И теперь он уверяет всех на все лады, что его семейное счастье послано ему рукою Промысла. Он отказался было от всякой подобной надежды, безрассудной в его годы, но обстоятельства, решившие его, «похожи на определение свыше», пишет он Государю (9 июня 1840 г.), испрашивая позволения на брак. «Правда, та, которую я выбрал, по своим летам могла бы быть моею дочерью, но по своему образованию, по своему характеру она способна довольствоваться просто семейным счастьем, основанным на согласии мыслей, чувства и на сердечном уважении, несмотря на разницу лет... Если теперь не схвачу того, что Провидение представляет мне, то завтра будет поздно и завтра надобно будет навсегда сказать, что собственное семейное счастье не должно быть здешним моим уделом». К этому счастью он бросается «не как молодой человек, увлеченный страстию», в его лета это смешно, а с полным убеждением, что это возможно. — И в другом письме к Государю июля 1840 г. говорится, что счастье представилось ему «неожиданно».

Между 10/22 августа и 5 сентября того же года написано обстоятельное послание к Екатерине Семеновне Протасовой и к родным, которым мы уже пользовались выше: нечто вроде объяснительной записки-апологии, рассказывающей историю его любви. И здесь освещение то же: все устроило Провидение, даже изменение маршрута Наследника совершилось как бы с умыслом, чтобы в «решительные для обоих минуты» дать каждому найти свою суженую. Не было у него короткого знакомства с невестой, но оно и не нужно: все дело в «вере сердца», во внутреннем голосе, в этом «*seconde vue* будущего»; во всем этом «одно действие Провидения». Следуют мечты о домашнем счастье, ожидания сводятся к тому, чтобы с помощью верного товарища, жены, «все дурное или испорченное жизнью поправить или привести в порядок, чтоб наконец рассчитаться, как должно, со

¹ Русская Старина. 1892. Декабрь. С. 376.

² См. выше с. 223.

всем здешним, подвести под жизнь итог и собрать как можно более на дорогу в другую жизнь». — Счастье нашло его само, писал он Зонтаг 28 августа 1840 г., «вся моя личная жизнь помолодела, и в душу мою влилось никогда не испытанное чувство *двойной* жизни, которая всему на свете дает настоящее значение и достоинство». Он верит своему счастью, «но, признаться, часто из этого ясного, мирного света, который меня теперь окружает, выглядывает строгое лицо смерти, и невольно грусть обвивается вокруг сердца. *Liebe ist stark wie der Tod* [Любовь сильна, как смерть (*нем.*)], написал мне друг на Евангелии перед моим отъездом в Дюссельдорф. Как эти слова *Liebe und Tod* близки одно к другому! На земле нет счастья без *любви*, но его нет также и без *смерти*. И та и другая необходимы для того, чтоб оно *было*. Одной душа говорит: *Не покидай меня!* Другой душа говорит: *Не уноси меня!* Одна дает счастью его *прелесть*, другая дает ему его *достоинство*. Но мысль, что всему на земле должен быть конец, приводит в трепет. Есть однако против всех этих тревог лекарство — и самое простое. Оно заключается в молитве Господней. Кто может читать *Отче Наш* так, как оно дано нам свыше, тому на земле ничто не страшно, и все доброе верно».

Он уже три недели как состоит женихом, пишет он и сентября 1840 г. графине Эдлинг: Бог ниспослал ему счастье помимо его искания; ангел «пожелал связать себя с моей жизнью и придать ей ее действительную цену. Я люблю ее, как свою душу, не с страстностью молодого человека, но с глубокою доверчивостью, которая успокаивает, возвышает и очищает все мое существо. Она любит меня так, как будто я был молодой человек. Как это могло случиться, я и сам не понимаю, но я ею обязан только ей одной: ничье постороннее влияние не оказывало на нее своего воздействия; ее бесхитростное и чистое сердце соединилось с моим; она его помолодила, она скрасила для меня настоящее и открыла для меня будущее, о котором я перестал уже и мечтать». И Жуковский просит графиню помолиться, чтобы счастье, посланное ему не по заслугам, не было у него отнято¹. — Добрый ангел послан ему «Провидением, которое здесь все устроило без моего ведома, так ясно и чисто, что я без всякого сомнения позволил себе поднять руку, чтобы взять благо, которое само далось мне и которого бы себе сам ни надеяться, ни искать не позволил. Это было, кажется мне, приготовленным и данным свыше» (к Государю 4 октября 1840 г.).

¹ Русская Старина. 1902. Апрель. С. 185—186. Сл. письмо к А.О. Смирновой 9 сентября 1840 г.

В 1842 г. он напомнил государыне вопрос, с которым она к нему обратилась, когда он впервые заговорил с нею о своем брачном проекте. «*Mon cher, ne faites vous pas une folie?* [Мой друг, не делаете ли вы глупости? (*франц.*)] И в то время, как все еще было для меня впереди, все сомнительно, я, не запинаясь, отвечал вам: Нет! Я объяснил свое „нет” с полным убеждением, что еще внутреннее чувство и моя вера в будущее меня не обманывали». И теперь, после двухлетнего семейного счастья, он снова может сознательно и с благодарностью повторить: нет! (письмо к Государыне 4 июня 1842 г.).

Он так же сознательно устроил и материальную часть своего счастья, чему свидетельством его (неизданное) письмо к Государю (из Эмса в июле 1840 г.)¹, полное расчетов и выкладок; в этом мечтателе была деловитость, — знакомый нам элемент таблиц. Он расположился на покое, «не в чаду счастья, хотя не может думать ни о чем, кроме его»², ничего не может прибавить к своему «смиренному, ясному счастью: оно полное»³. «Вот уже более полутора месяца, как я женат, — пишет он Наследнику цесаревичу, — мне под старость досталась молодая жена, которая могла бы быть мне внучкою, но которая принесла неувядшей душе моей молодое, чистое счастье»; для него «семейная жизнь есть просто покойный, смиренный приют перед концом житейской дороги», благо, данное от Бога, в котором он видит «не столько настоящую прелесть жизни, сколько ее освящение и облагородствование для будущего», оно далось ему «таким, какого я всегда желал в поэтические дни молодости» (1841 г. августа 3/15⁴). Вскоре он узнает, что «семейная жизнь есть школа терпения», что «страдание одинокого человека суть страдания эгоизма; страдания семьянина суть страдания любви». У него обновился страх потерять то, что ему всего драгоценнее, и он уже успел прочитать «предисловие» своего будущего, на которое смотрит с покорностью и верой; вера «дается всякому, кто ищет ее, но в жизни семейной она скорее объемлет душу и глубже в нее входит»⁵.

19 апреля 1842 г. он ждал рождения ребенка: «Но да будет воля Твоя! Это я всякий день читаю, но еще не достиг до того (далеко, далеко не достиг), чтобы вся моя жизнь была не иное что, как это слово; пока этого не будет, жизнь не должно считать жиз-

¹ Сл. письмо к Авд. Петр. Елагиной 21 апреля 1841 г.

² К Ал. Ив. Тургеневу 1841 г., 21 июня.

³ К имп. Александре Федоровне 7/19 августа 1841 г. (неизданное).

⁴ Сл. письмо к нему же 16 февраля того же года.

⁵ К нему же 23 декабря 1841 г. /4 января 1842 г.

ню. Мы на свете для того только, чтобы говорить это слово (во всем его смысле); все остальное пыль и прах. Теперь я только это вполне понимаю, но, к несчастью, в то же время чувствую, как я ужасно далек от этой верховной, единственной цели. «Кратчайший или вернейший путь к ней ведет через семейство» (к Ал. Мих. Тургеневу 19 апреля 1842 г.)¹.

В первый раз в жизни он не одинок, но он узнал, что счастье «покупается дорогою ценою» (к государыне, марта 1842 г.), что если без семьи нет счастья, то только в ней встречаются «и настоящие муки сердечные» (Наследнику 14 октября 1843 г.) — и ему вспоминается завет семьянина Карамзина: никому не брать на себя «крест семейной жизни» (Ал. Мих. Тургеневу 1844 г. 8 ноября). Как усталый путник Шамиссо, он мог жаловаться на тяжесть выпавшего на его долю креста, но при выборе из всех «крестов земных» выбрал бы «самый тот, который он уже нес» («Выбор креста» 1845 г.). — Чаша брачная — во спасение души: нигде так, как в семье, не познакомишься с собою и не почувствуешь необходимость веры в нашего Спасителя! Все обманчивое, мечтательное исчезает перед простой, неукрашенной, строгой Божьей правдой. Если порой сердце и «засмолится» житейскими тревогами, то они «разрабатывают» нашу душу (Ек.Ив. Мойер 4/16 сентября 1845 г.)². — Теперь только он постиг высокую цену терпения, «но не все то имеешь, что знаешь. Семейная жизнь есть школа терпения, горн души, в котором она может очиститься. Говорю так оттого, что именно в счастливейшее время жизни испытал много таких тревог, каких сердце не ведало в прежнем беспечном быте эгоистического одиночества. То, что говорю, не есть однако жалобы, а опыт, высокий опыт души, которая из настоящих благ жизни выводит одну только истину, что жизнь есть школа терпения. А терпение, говорит апостол, дает опытность, опытность надежду, надежда же не посрамит»^{3*} (Ал. Мих. Тургеневу 6 апреля 1846 г.)⁴.

И позже слышатся эти тихие сетования. Семейное счастье — «венец божественный», в него вплетены терния из того венца, перед которым все другие венцы исчезают (к Смирновой 23 февраля 1847 г.). Болезнь жены, утрата близких, собственные годы наводили на мысль о смерти, и он уверял себя, как встарь, что

¹ Русская Старина. 1892. Декабрь. С. 373–374.

² Зейдлиц I. с. С. 209–210.

^{3*} «От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» (послание ап. Павла к Римлянам, 5 : 3–4).

⁴ Русская Старина. 1892. Декабрь. С. 388.

смерть «великое благо» (к Гоголю 20 февраля 1847 г.). «Того, что называется земным счастьем у меня нет; но я и не хлопочу о земном счастье, прошу только одного (и это было бы верх милосердия Божия) — даровать мне возможность донести, не упав, мой крест до могилы. Не изъясните однако неправильным образом этого слова: счастья нет. Того, что называется обыкновенно счастьем, семейная жизнь не дала мне, ибо вместе с теми радостями, которыми она так богата, она принесла с собою тяжкие, мною прежде не испытанные тревоги... Но эти-то тревоги и возвысили понятие о жизни; они дали ей совсем иную значительность. Помогите только Бог устоять на ногах под бременем благодатного креста его!» (К Наследнику 5/17 октября 1848 г.). «Не покоем семейной жизни дано мне под старость наслаждаться... крест мой не легок, иногда тяжел до упада» (к Плетневу 3/15 февраля 1850 г.). Господь милостиво дал ему «розы семейной жизни», не уничтожив колючек, и он не ропщет: «в этих колючках много его благодати» (к Булгакову 1/13 июля 1850 г.).

А затем являлись просветы покоя, и он чувствовал себя хорошо в уютном комфорте своего домика, который так обстоятельно описал имп. Александре Феодоровне¹ и так идиллически в послании к вел. кн. Александре Николаевне (посвящение «Наля и Дамайнти»):

Я увидел
Себя на берегу реки широкой:
Садилось солнце; тихо по водам
Суда, сияя, плыли, а за ними
Серебряный тянулся след; вблизи
В кустах светлелся домик; на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла...
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью... И я проснулся,
И милый сон мой стал блаженной былью.

Старый сентименталист проснулся наяву, очарованное «там» его «Весеннего чувства» (1816) очутилось на миг очаровательным «здесь» среди окруживших его детских головок. За его «теперешний живой забор не залетает воспоминание о про-

¹ Письмо марта 1842 г.; сл. письмо к Гоголю 10 февраля 1847 г. в отчете Имп. Публ. Библ. за 1887 г. Приложение. С. 50.

шедшем: оно здесь чужой гость»¹. Но воспоминание залетало, потому что «для сердца прошедшее вечно». Он мог говорить, что для него «началась новая жизнь, отдельная от прошлой», и поправлял себя: «лучше сказать, заступающая ее место»². *«Прежние спутники бывшего мира моего далеко; вокруг меня новый мир, и все в нем иное. И несмотря на это изменение все прежние связи так крепки, так чувствительны сердцу, как будто ничто не протеснилось между мною и этим милым прошедшим. И это так быть должно. В моем прошедшем самое драгоценное было и есть для меня то, что было любезно сердцу; оно не подвержено влиянию времени, места и обстоятельств. Все остальное, внешнее, есть только случайный придаток.* Первое никогда не теряется; изменение или потеря последнего не может быть заметна... Сошедши с первой дороги моей на тихую стороннюю тропинку семейной жизни, я не расстался ни с одним милым товарищем моего прежнего путешествия»³. Так уверял он себя, что «милое минувшее» дружилось с настоящим⁴, и он звал к себе это минувшее: там и родные могилы, и воспоминания детства; он просил Зонтаг записать их «для составления собственных записок», и она доставляла ему «предлинные послания, которые напоминают ему веселое прошедшее»; он хранит их, готовится перечитывать⁵.

Чувство жизни обуяло его теперь; когда-то его манила его слащавая идиллия Гебеля, теперь патриархальная жизнерадостность Гомера. Поздравляя Ек.Ив. Мойер, дочь своей Маши, с вступлением в брак, он шутит: Гомер предвидел этот брак и, назвав невесту, на всякий случай, Навсикаей, напутствовал ее:

О, да исполнят бессмертные боги твои все желанья,
Давши супруга по сердцу тебе с избытком в доме,
С миром в семье! Несказанное там водворяется счастье,
Где однодушно живут, сохраняя домашний порядок,
Муж и жена, благомысленным людям на радость, недобрым
Людям на зависть и горе, себе на великую славу.

¹ К кн. Вяземскому 2 июля 1847 г., к Булгакову 25 апреля / 7 мая 1842 г.

² К Наследнику 1/13 января 1842 г.

³ Ему же 15/27 июня 1843 г.

⁴ «Вел. кн. Марии Павловне, приветствие от русских, встретивших ее в Бадене» 1851 г. — Свидетели его первых «связей и мечтаний» не разделяли этой уверенности. Сл.: Зейдлиц I. с. с. 171—172.

⁵ Зонтаг к А.М. Павловой 5 ноября 1850 г. в Отч. Имп. Публ. Библ. за 1893 г. С. 135 и след.

Жена Жуковского приписала поучение из 3 кн. Царств VIII:66: Sie gingen zu ihren Hütten fröhlich und guten Mutes über allem dem Guten, das der Herr an seinem Volke getan hatte [и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу Своему Давиду и народу Своему Израилю]¹.

И в эту-то классическо-библейскую жизнерадостность вторгалось печальное *memento mori*: семейное счастье далось поздно, ненадолго; вот почему Жуковскому почуялась в Гомере меланхолия неизбежной утраты, и он спасался от нее в «святую» прозу своих духовно-нравственных размышлений, отрываясь от идиллии Одиссеи.

2.

Жуковский принялся переводить ее с немецкого подстрочника, сделанного для него Грасгофом², окружив себя переводами Попа и Фосса³; ищет переводов Рошфора и Коупера⁴; трудится в течение семи лет, прерывая работу лишь по нездоровью, методично, отмечая, по знакомой нам системе таблиц, сколько в таком-то году и месяце переведено было песен⁵. Он увлечен, старается угадать смысл подлинника в «галиматье подстрочника», соблюсти не только «верность поэтическую», но и «буквальную». «Новейшая поэзия, конвульсивная, истерическая, мутящая душу, мне опротивела, — пишет он вел. кн. Константину Николаевичу

¹ Зейдлиц I. с. С. 213–214.

² В письме к наследнику 29 января 1842 г.: переводит «с оригинала» с помощью «знающего весьма хорошо греческий язык профессора».

³ Кроме Фосса у него переводы в прозе: немецкий, два французских и один «архиглупый» русский (к вел. кн. Константину Николаевичу 28 октября / 9 ноября 1842 г.). С Попе и Фоссом, на которого ему указывал еще Уваров, он знаком с 1810 года: в Фоссовом переводе более истинного Гомера, чем у Попе; Фосс сух, Попе растянут, употребляет выражения, приличные новейшим метафизикам, но язык его стихотворен. По-настоящему надо читать их вместе (к Ал. Тургеневу 12 сентября 1810 г.). В 1828 г. Жуковский переводил для своего воспитанника отрывки Илиады по Фосу и Попе и удивляется, как при своем поэтическом даровании Попе мог «так мало чувствовать несравненную простоту своего подлинника, который совершенно изуродовал жеманным своим переводом» (к Ал. Тургеневу 1828 г. 2/14 сентября). Об отрывке различных мест Илиады, напечатанном в Северных Цветах 1829 г., Жуковский писал, что это «отголосок отголоска»: он «угадывал» Гомера по переводам Фосса и Штольберга, соединяя отрывки собственными стихами. В 1830 г. он говорил И.В. Киреевскому, что по окончании своего педагогического дела ему «хочется возвратиться к поэзии и посвятить остальную жизнь греческому и переводу Одиссеи». Полн. собр. соч. И.В. Киреевского. Т. I. С. 26 (письмо 20 января 1830 г.).

⁴ К Ал. Тургеневу 1844 г. октябрь: Соорег.

⁵ Зейдлиц I. с. С. 227.

(26 октября 1842 г.), — хочется отдохнуть посреди свежих видений первобытного мира».

В самом начале увлечения посетил его дюссельдорфский домик Погодин. «Древний и новый мир, язычество и христианство, классицизм и романтизм являются на стенах его в прекрасных картинах, — записал он в дневнике: — здесь сцены из Гомера, там жизнь Иоанны Д'арк; впереди Дрезденская и Корреджиева Мадонна, молитва на лодке бедного семейства, Рафаэль и Дант, Сократ и Платон». Жуковский прочел Погодину две песни Одиссеи, объяснив ему правила, которых держался в переводе; прочел несколько отрывков «Наля и Дамаанти». К откровениям Германии, Англии, Испании, с которыми познакомил нас Жуковский, присоединяется еще Индия, древность Одиссеи, замечает Погодин, и сам не удержался, пристал к Жуковскому с старой просьбой, «чтоб он взялся за Патерик, воспел основание печерской церкви, для которого Нестор и Симон представляют ему такие живые краски, такое богатое, полное расположение»¹. Не в связи ли с этой фантазией Погодина стоит увещание Жуковскому А.Я. Булгакова: «перестань перелагать русскую историю в стихи: будет с тебя Гомера»².

Весь 1843 год Жуковский провел в восторгах переводного творчества. «Я живу в мире Гомера и, прислушиваясь к сладкому пению, не слышу визгов сумасшедшего Гервега и комп., которым рукоплескает еще не образумевшаяся молодость, посреди которой встречаются и молокососы с проседью»³. — Старуха Одиссея «идет хорошим, но еще весьма медленным шагом, не раскачалась еще. До сих пор моя муза в пеленках моей дочки»⁴. Гоголь желал бы пожить в уединении с приятелем: Жуковский работал бы над Одиссеей, он над «Мертвыми Душами»⁵. Посылая Плетневу своего «Маттео Фальконе», Жуковский кается, что «совсем раззнакомился с рифмой», зато принялся за болтовню и сказки, и ему весело подлаживаться под «светлую, патриархальную простоту» Гомера, забывая за ней эти уродливые гри-

¹ Барсуков. Жизнь и Труды М.П. Погодина. Т. VII. С. 48—49. — «8/20 октября 1841 г. Дюссельдорф» подписан отрывок в 12 стихов, нач. «Всесилен Бог! Пред ним всеильна вера! Он нам сказал: Кто верует, вели горам идти — они пойдут!» Об этом чуде должен был рассказать «раб недостойный Божий, инок Климент» на поучение потомкам, чтобы они признали свое ничтожество перед Господом «и в том признании Спасение души своей наши».

² Русский Архив. 1902. Июль. С. 456: письмо 17 ноября 1842 г.

³ К Наследнику 1 января 1843 г. Сл. дневник того же года под 2 января.

⁴ К Булгакову 10/22 февраля 1843 г.

⁵ К Жуковскому 28 марта 1843 г.

масы, которыми искажают ее лицо «современные самозванцы поэты»¹. Воспользовавшись своей поездкой в Берлин, он читал Фарнгагену фон Энзе часть первой песни Одиссеи, прося его следить по подлиннику² – и просит Гоголя рекомендовать Смирновой его «рождающуюся 3000-летнюю дочку», которую любит «почти как родную»³, а Смирнова записывает: «Одиссея подвигается и дает ему (Жуковскому) особую ясность и спокойствие. Мир греков его молодит»⁴. Поэзия «прикликнула ко мне гигантскую тень Гомера, – пишет он Государыне (12/24 октября 1843 г., Дюссельдорф)⁵, – и я рассказываю по-русски то, что он рассказал, за 3000 почти лет, по-гречески, перевожу Одиссею. Хочется перевести ее так, чтобы в моем переводе сохранена была ее прадедовская простота древнего поэта и чтобы чтение Одиссея сделалось доступно всем возрастам. И в нем бы жило со мною теперь полное счастье, если бы этой радостной, тихой жизни не тревожила забота о жене» (ее болезнь). Гоголь в восторге, что Жуковский пребывает в периоде творчества, когда человек становится «доступнее к прозрению великих тайн Божьего создания» (к Жуковскому 2 декабря 1843 г.). Это будет последний памятник его жизни, достойный отечества, если совершится, как должно (Жуковский к Наследнику 17/29 декабря 1843 г.).

Новый, личный элемент вторгнулся в поэзию старика, не знавшего «молодости», нашедшего позднее боязливое успокоение в семье. «Какое очарование в этой работе, в этом подслушивании рождающейся из пены морской Анадиомены (ибо она есть символ Гомеровою поэзии), в этом простодушии слова, в этой первобытности нравов, в этой смеси дикого с высоким, вдохновенным и прелестным, в этой живописности без всякого излишества, в этой незатейливости выражения, в этой болтовне, часто излишней, но принадлежащей характеру безыскусственному, и в особенностях в этой меланхолии, которая нечувствительно, без ве-

¹ К Плетневу 1843 («Маттео Фальконе» написан 17–19 марта ст. ст. 1843 г.).

² «Тайный советник Жуковский пробыл у меня три часа, – отметил Фарнгаген в своем дневнике под 13 сентября 1848 г.: он проверяет со мною свой перевод Одиссеи, сделанный гекзаметрами; моя обязанность – следить по подлиннику стих за стихом. Он прочел мне часть первой песни, потом из Пушкина и проч. Добродушный, словоохотливый старичок, etwas zu demütig gegen den Hof [слишком самоуничижающийся при дворе (нем.)]. Странное впечатление производят при его добродушии, подсматривающие (lauernden), недоверчиво-улыбающиеся глаза» (lächelnd-mißtrauischen).

³ Второй половины сентября 1843 г. Русская Старина. 1902. Апрель. С. 187.

⁴ Записки А.О. Смирновой. Север. Вестн. 1895. Ноябрь. С. 107.

⁵ Письмо не издано.

дома поэта, кипящего и живущего окружающим его миром, все проникает, ибо эта меланхолия не есть дело фантазии, создающей произвольно грустные, ни на чем не основанные сетования, а заключается в самой природе вещей тогдашнего мира, в котором все имело жизнь, пластически могучую в настоящем, но и все было ничтожно, ибо душа не имела за границей мира своего будущего и улетала с земли безжизненным призраком; и вера в бессмертие, посреди этого кипения жизни настоящей, никому не шептала своих великих всеоживляющих утешений»¹.

Гоголь следит за ходом работы, думает с удовольствием, как они будут читать друг другу «дела свои»². Жуковскому «деятельность по сердцу, вдохновенные, уединенные беседы с гением Гомера и гармонический голос его музыки, слитый часто с звонким голосом малютки-дочери»³. Гоголь читал в рукописи первые двенадцать песен⁴, перевод которых окончен 28 декабря 1844 г.⁵ «Вы так награждены Богом, как ни один человек еще не был награжден», — пишет он Жуковскому, принимавшему к сердцу всякие мелочи и продолжавшему страдать «беспокойством и раздражительной боязнью духа»: на вечере его дней Бог послал ему такое счастье, которое другому не дается и в цветущий полдень жиз-

¹ К Киреевскому 1844 г. Это письмо, очевидно, тождественно с тем, о котором в письме к Жуковскому 2 декабря того же года упоминает Гоголь, как писанном к Елагиной («об Одиссее»; в его же письме к Языкову 1845 г. 2 января говорится о замечательном письме Жуковского к Авд.Петр. Елагиной и И.В. Киреевскому. Письмо к Киреевскому напечатано в «Москвитянине» 1845 г. I ч. 39 с. «с позволения почтенной особы, к которой оно адресовано»; извлечения из него в Отчете Имп. Ак. Наук по отд. русск. яз. и сл. за 1845 г. с. 24 и след., составленном П.А. Плетневым. Странно его заявление, что сведения для отчета заимствованы из писем Жуковского к двум академикам, из которых один издавал «Современник» (Плетнев), другой «Москвитянин» (Погодин), тогда как текст отчета воспроизводит письмо к Киреевскому. О каких других письмах идет речь? — Плетнев читал письмо Жуковского к кн. Вяземскому, «где он подробно рассказывает о способе, как переводит Одиссею. В этом письме есть несколько и других интересных рассказов... Между прочим, Жуковский в этом письме с большою нежностью и участием говорит о Карамзиной и ее детях». Сл. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым, журнал 24 и 25 марта 1844 г. Т. II. С. 217 и 218.

² К Жуковскому 8 января 1844 г.

³ К Наследнику 1/13 апреля 1844 г.

⁴ Зейдлиц I. с. С. 225; сл. письмо Жуковского к Плетневу 3/15 февраля 1850 г.

⁵ По реестру у Зейдлица. Сл. письма к Плетневу 9 февраля 1845 г. («накануне нового года». Сл. переписку Я.К. Грота с П.А. Плетневым II. С. 408) и 1 июля и к вел. кн. Константину Николаевичу 21 октября / 2 ноября 1845 г. «Недавно кончил он 8 песен Одиссеи» (Мельгунов к Шевырёву 10/22 октября 1844 г., у Кирпичникова, Оч. по истории новой русской литературы. Т. II. 2 изд. с. 199). Сл. письмо Шевырева к Гоголю 15/27 ноября 1844 г. в Отч. Имп. Публ. Библ. за 1893 г. Приложение, с. 19.

ни — ангела-жену; Он же внушил ему мысль «заняться великим делом творческим», показал над ним чудо, «какое едва ли когда доселе случилось в мире: возрастание гения и восходящую с каждым стихом и созданием его силу в такой период жизни, когда в другом поэте все это охладевает и мерзнет»¹. «Перевод этот решительно есть венец всех переводов, когда-либо совершавшихся на свете, и венец всех сочинений, когда-либо сочиненных Жуковским»². И сам Жуковский надеется занять уголок в памяти потомства: «нет ничего очаровательнее чистой поэзии. Повторять верно на своем языке то, что гармонически сказано было ею в те первобытные времена, когда она еще говорила младенческим языком природы и истины, есть неописанное наслаждение; и это наслаждение дает мне изобильно беседа с моим Гомером, который могуч, как Зевес-Громовержец, чист, как Харита, простодушен, как Психея, и говорлив, как лишенный зрения старик-прорицатель, которому в слепоте его видится прошедшее и будущее и который знает, что около него толпится многочисленный народ, внимающий чудному его песнопению»³. — «Моя Одиссея будет моим твердейшим памятником на Руси, — писал Жуковский Плетневу⁴, — она, если не ошибаюсь, верна своему греческому отцу Гомеру; в этом отношении можно ее будет почитать произведением оригинальным. И будет великое дело, если мне моим переводом удастся пробудить на Руси любовь к древним, как некогда я подружил их с поэзией немцев».

В ответ на письмо Языкова⁵ написана статья Гоголя «Об Одиссее, переводимой Жуковским», появившаяся в «Переписке с друзьями» (1845). Автор исправил ее и старался распространить по журналам, «чтобы публика была несколько приготовлена к принятию Одиссеи»⁶, но статья, полная парадоксов и елейных широковетшаний, встречена была насмешкой и сомнениями. Оказывалось, что «вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением» к переводу, и это не перевод,

¹ К Жуковскому на 1845-й год.

² Гоголь Языкову 2 января 1845 г.

³ Вел. кн. Константину Николаевичу 21 октября/2 ноября 1845 г.

⁴ 1 июля 1845 г.

⁵ 14 декабря 1844 г. Языков писал Гоголю из Москвы: «Здесь ходит слух, что у Василия Андреевича уже готово 10 песен Одиссеи и что он написал еще сказку? Наша Одиссея перешибет все возможные переводы: это будет памятник, про который можно будет сказать, что «металлов крепче он и лучше (sic) пирамид». Русская Старина. 1896. Декабрь. С. 629.

⁶ Гоголь к Плетневу июля 4 и 20 1846 г. Сл. примечания Шенрока к изданным им письмам Гоголя. Статья Гоголя напечатана Плетневым в «Современнике» 1846 г. XLIII. С. 175–188.

а, скорее, «воссоздание, восстановление, воскресение» Гомера. Предвиделось нравственное влияние Одиссеи на всех и каждого: она научит не унывать среди бедствий, как не унывал и Одиссей, обращавшийся в трудную минуту к своему сердцу, «не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву к Богу, которую в минуту бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге».

Тогда как Шевырѐв восторженно советовал Гоголю написать «предисловие» к «Одиссее» Жуковского (29 июля 1846 г. ст. ст.)¹, И. С. Аксаков писал отцу: «Вчера прочел я письмо Гоголя об Одиссее. Многие чудесно хорошо; появление Одиссеи может быть замечательно, как факт, в XIX веке, но появление ее в России не может иметь влияния на современное общество, на европейское. Одиссея не вылечит запада, не уничтожит его истории, а нас, русских, не примирит с порядком вещей, а влияние ее на русский народ — мечта. Точно будто наш народ читает что-нибудь — есть ему время! А Гоголь именно налегает на простой русский народ. Нет, долго, слишком долго зажился он за границей. Что и говорить, Одиссея подействует благотворно на душу отдельного человека, и не одного. Но как хороши эти незыблемые, величавые создания искусства между нашей мелкою деятельностью, как немеет перед ними наша кропотливая талантливость!»²

Жуковскому желательно было бы услышать мнение своего приятеля Стурдзы, слывшего не только богословом, но и знатком Гомера; «его одного мнение в сем отношении перевесит для меня всех наших (и чужих) литераторов (до которых, вероятно, мне нет никакого дела, ибо мой труд предпринят не для угождения вкусу нашего времени и даже не для приобретения лоскутка славы, который в наше время сделался нечистою тряпкою, а просто для наслаждения поэзиею во всей ее девственной чистоте). Мнение же Стурдзы было бы для меня поэтической потехою (?) и в то же время верною оценкою труда высокого»³.

В июле 1847 г. Жуковский «триумфировал» в Эмсе с Гоголем и Хомяковым. «Добродушный, приятный собеседник, — писал о нем Жуковский, — он мне всегда был по нутру; теперь я впился в него, как паук голодный в муху: навалил на него чтение вслух моих стихов, это самое лучшее средство видеть их скры-

¹ Отч. Имп. Публ. библ. за 1893 г. Приложение. С. 26.

² И. С. Аксаков в его письмах. I. С. 353. См. сходный отзыв кн. Вяземского в статье: Языков и Гоголь (1847), Полн. собр. соч. II. С. 325.

³ К Северину 10 апреля н. ст. 1846 г. Русская Старина. 1902. Апрель. С. 164—165.

тые недостатки; явные все были мною замечены, и, сколько мог, я с ними сладил»¹. По отъезде из Эмса Хомякова и Гоголя явился Тютчев: «он приехал в Эмс нарочно для меня и для Одиссеи, прожил там до моего отъезда, заставил меня прочитать ему Одиссею», которую дочитал у Жуковского во Франкфурте².

Первые двенадцать песен Одиссеи, процenzурованные в Петербурге 30 октября 1847 г., высланы были Жуковскому для напечатания за границей при письмах Плетнева и Уварова³. Плетнев читал Одиссею в рукописи, предложил Жуковскому несколько замечаний⁴, но в восторге от языка, не уклонившегося «от церковнославянских слов» и не принявшего «выражений простонародных, которыми некоторые из наших умников советовали воссоздать простоту первобытных веков».

Любопытно было бы знать, как приглянулся тогда перевод Одиссея Хомякову и Тютчеву; известен отзыв И.В. Киреевского. Ему удалось просмотреть вторую тетрадь перевода (7–12 песни) еще в рукописи, и он рассказывает о своем впечатлении А.М. Языкову. «Читается перевод легко и приятно, но заметно, что читаешь перевод. Судя по словам Жуковского в Наблюдателе Московском надобно было ожидать языка самого простого, а между тем после стихов и слов самых чистосердечно-простых частенько встречаются выражения и обороты языка церковного: понеже, напр., глава, глас и проч... Некоторые эпитеты, постоянно повторяющиеся и у Гомера, переведены не совсем удачно: Нептун земледержец» (вм. Земленосец). «Мне все кажется, что теперь возможен перевод Гомера, потому что мы ознакомились с языком *первобытной, народной*, не искусственной поэзии; таков язык Гомера, и, следовательно, переводить его надо таким языком, по крайней мере, каким Пушкин перевел песни Западных славян»⁵.

А Жуковскому казалось, что он сохранил всю «свежесть» Гомерского языка! Посылая Уварову первые двенадцать песен с просьбою быть его ходатаем перед цензурой, он повторяет, с некоторыми изменениями, характеристику гомеровской поэзии в письме к Киреевскому: «Перешедши на старости в спокойное

¹ К кн. Вяземскому, 3/15 июля 1847 г., Русский Архив. 1866. Ст. 1073–1074. Хомяков обещал примечания к Одиссее, которые Жуковский отклонил, ибо Одиссея должна была явиться в общем собрании его сочинений. Сл.: Русский Архив. 1884. № 5. С. 229.

² К Хомякову 12/24 сентября 1847 г.

³ Письмо Уварова в Переписке Я.К. Грота с П.А. Плетневым. III. С. 732.

⁴ Письма 30 октября и 17, 28 ноября 1847 г.

⁵ Русская Старина. 1883. Сентябрь. С. 632.

пристанище семейной жизни, мне захотелось повеселить душу первобытной поэзией, которая так светла и тиха, так животворит и покоит, так мирно украшает все нас окружающее, так не тревожит и не стремится ни в какую туманную даль... Муза Гомерова озолотила много часов моей устарелой жизни»¹.

Сообщая Ал.Мих. Тургеневу, что он начал печатать полное собрание своих сочинений, он предупреждает его, что нового в них будет не мало; «но кто будет читать это новое? Весьма уже немного остается тех, для кого я писал: новое поколение не обратит на меня того благоволящего внимания, какое уделяли мне мои современники. О жизни в потомстве я не мечтаю. Одно от меня, вероятно, останется потомству: перевод Одиссеи, ибо в этом переводе *сохранена вся свежесть гомеровой поэмы*, и то, что жило 3000 лет, не увядая, не увянет и в моем русском образе. *Этот перевод почитаю своим лучшим, главным поэтическим произведением*» (1847 г. 11 ноября н. ст.)².

В апреле—мае 1848 г. первые двенадцать песен «почти отпечатаны»³, первый том вышел в том же году, хотя с пометою 1849 г., и Жуковский доставил его вел. кн. Константину Николаевичу, которому и посвятил свой труд⁴. «Сию минуту только чудак Гоголь сказал мне, что получена Одиссея, — писал Погодин Шевырёву, — так хочется почитать что-нибудь успокоительное — изящное»; а под 18 ноября он записал в своем дневнике: «Получил Одиссею от Жуковского и прочел первую песнь. Нет, это еще не просто! Пределы языка не раздвигаются»^{5*}; 19 ноября, по прочтении второй песни: «Нет, я проще расскажу *нашу* (?) Одиссею»⁶. А Гоголь в письме к Плетневу уже выражает опасения, что — Одиссея не найдет читателей: «Ее появление в нынешнее время необыкновенно значительно. Влияние ее на публику еще вдали; весьма может быть, что в пору нынешнего своего лихорадочного состояния большая часть читающей публики не только ее не разнюхает, но даже и не приметится. Но зато это сушая благодать и подарок всем тем, в душах которых не погасал священный огонь и у которых сердце приуныло от смут и тяжелых явлений совре-

¹ Письмо к Уварову печатается с датой 1848 г.

² Русская Старина. 1892. Ноябрь. С. 392—393.

³ Письмо Жуковского к вел. кн. Константину Николаевичу 19 апреля /1 мая 1848 г.

⁴ К нему же письмо из Франкфурта 16/28 мая 1848 г.; сл. к нему же письмо из Бадена 30 августа того же года.

^{5*} Возможно, Погодин здесь перефразирует слова Гоголя о Пушкине: «Он более всех, он далее всех раздвинул ему [русскому языку] границы» («Несколько слов о Пушкине», опубл. в 1835) (*ред.*).

⁶ Барсуков I. с. Т. X. С. 189.

менных. Ничего нельзя было придумать для них утешительнее. Как на знак Божьей милости к нам должны мы глядеть на это явление, несущее ободренье и освеженье в наши души»¹.

Жуковский озадачен письмом своего старого друга Ал. Михайловича Тургенева: «Прошу вас простить мне благосклонно, что „Кот в сапогах” мне более по сердцу греческого героя, — писал Тургенев. — Вы знаете почтенный друг, я невежда — Ермолаф, но, не обвиняясь, позволяю сказать вам: сочинения Жуковского будет читать позднейшее потомство с восхищением, с чувством живейшего удовольствия, будут много и много раз изданы, а перевод его Одиссеи после первого тиснения будет почтенно покоиться на полках в книгохранилищах»². Жуковский отвечал: «Хорош же ты! Вместо того, чтобы потешиться на старости лет сказками Гомера, которые уже три тысячи лет веселят добрых людей (в России только они не могли никого веселить, потому что их наш покойный Соколов и наш покойный Мартынов чудно перепортили), ты вздумал на старости лет их называть бреднями; правда, поэзия — бредни, и, может быть, я бы не начал переводить Одиссеи в эту минуту, когда мне 65 лет стукнуло, но за семь лет начатое надобно кончить. Но ты не брани Гомера, не называй бреднями его поэзии. И почему же, браня Одиссею, ты хвалишь „Кота в сапогах”? Чем лучше Кот Лаэртova сына? Стыдись, Ермолафушка! стою не за себя, а за старика Гомера, которому я обязан столькими сладкими минутами. Но подобные минуты будут последние: кончив Одиссею (которую кончить обязан), прошусь с милым бредом поэзии. Надобно другим теперь заниматься; не веселиться беспечно в гостинице жизни, а собираться в путь, в отчизну, в общий семейный дом, до которого уже немного станций осталось. Прошу только Бога дать еще времени для порядочных сборов» (17 декабря 1848 г.)³. — В начале марта он надеется кончить всю Одиссею, пишет он Плетневу, «с поэзией пора проститься. Мы расстанемся, однако, без ссоры. Напоследок она мне послужила верою и правдою. Мне кажется, что моя Одиссея есть лучшее мое создание: ее оставляю на память обо мне отечеству». Труд был совершен с полным самоотвержением, для одной прелести труда; только не с кем было поделиться «своим поэтическим праздником»: лишь гипсовый бюст Гомера был немым свидетелем. «Бывало, однако, и

¹ Плетневу 20 ноября 1848 г.; сл. к нему же 1849 г. 15 декабря, по поводу Одиссеи: «Благословен Бог, посылающий нам так много добра посреди зол».

² Письмо начала 1848 г., Русская Старина. 1893. Январь. С. 252.

³ Там же. 1892. Ноябрь. С. 894—895.

для меня раздолье, когда со мною жил Гоголь: он подливал в мой огонек свое свежее масло; и еще, когда я пожил в Эмсе с Хомяковым и с моим милым Тютчевым: тут сам полакомился вместе с ними своим стряпаньям». Теперь он примется за прозу, у него уже готово на целый толстый том¹, «и есть великий замысел, о котором поговорим, когда Бог велит свидеться. И еще для одного поэтического создания есть план. Он был бы достойнейшим заключением моей поэтической деятельности»².

Русская публика встретила Одиссею «равнодушно», писал Гоголь Данилевскому (25 февраля 1849 г.), «самые головы не в таком состоянии, чтобы уметь читать спокойное художественное произведение»; чего же ожидать второму тому „Мертвых Душ?“»³.

Между тем Северин, которого Жуковский просил уведомить Стурдзу, что экземпляр Одиссеи будет ему доставлен⁴, сообщил Жуковскому отзыв Стурдзы о его переводе, и Жуковский обрадован; рисует в ответном письме весы: на перетягивающей чашке «выписка из письма Стурдзы к Северину», на другой «мнения о переводе Одиссеи В.А. Жуковского литераторов Германии, Англии, Франции, Италии и пр. и пр., и даже России. Видишь, как оно увесисто»⁵. Он благодарит Стурдзу за отзыв: для него тут не вопрос самолюбия, а желание поделиться тем, что дорого душе. «Последние годы, мною проведенные вместе с Гомером, в тишине моей семейной жизни, были счастливы»; передавая на своем языке «его девственную поэзию», он спрашивался «с гением Гомера», ему просто хотелось пожить поэтическим счастьем, пожить наслаждением творчества. Из России он еще не получал никакого отзыва, кроме отзыва вел. кн. Константина Николаевича, которому давно дал обещание приняться за перевод Одиссеи и посвятить его ему; письмо великого князя порадовало его «умною, поэтической оценкою самой поэмы Гомера». Был и еще

¹ В письме к Наследнику 10/22 января 1816 г. он говорит, что Одиссеей заключается «важный период» его жизни, период поэзии, начнется период прозы: он посвятит себя воспитанию детей и приведет в порядок курс преподавания по изобретенной им методе; это пригодится «для вашей второй генерации». Сл. письмо к нему же 9 мая 1847 г.: по окончании Одиссеи работы «должны получить иной характер»; к фон дер Бриггену 6/18 мая 1847 г.: примется за прозу, она стала теперь для него привлекательнее поэзии; «в поэзии, так сказать, язык надежды», а в его годы «надежда перешла уже за границу жизни и здесь ничего желанного сулить не может».

² 20 декабря 1848 г.; сл. письмо к нему же 3/15 февраля 1850 г.

³ Сл. его же письмо к Плетневу 2 декабря 1850 г.

⁴ Письмо 17/29 ноября 1848 г. Русский Архив. 1900. Сентябрь. С. 48.

⁵ К Северину 27 февраля/11 марта 1849 г. Там же. С. 44.

один «приятный, даже слишком одобрительный отзыв известного Фарнгагена»¹, но всего дороже ему мнение Стурдзы, которого он просит не оставлять своего намерения — вызвать его, Жуковского, на «очную ставку» в «Москвитяине»; хотя бы разбор и осудил его труд, но сам по себе он «будет иметь действие решительное на общий вкус: у нас поэзия классическая, эта первобытная, девственная поэзия — еще небывалый гость. Если подлинно мой перевод удачен, то надобно, чтобы красноречивый поэтический голос растолковал его достоинство русскому свету; будет значительною эпохою в нашей поэзии это позднее появление простоты древнего мира посреди конвульсий мира современного». Если такой судья, как Стурдза, более нежели кто посвященный в тайны поэзии, заметит какие ошибки в переводе, Жуковский обещает исправить их совестливо; «единственную внешнюю наградою моего труда будет тогда сладостная мысль, что я, во время оно родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских, под старость лет загладил свой грех и отворил для отечественной поэзии дверь Эдема, не утраченного ею, но до сих пор для нее *запертого*» (10 марта 1849 г.)².

«Ты счастлив, подчинивши себя слепцу Гомеру, — писал Жуковскому Гоголь (3 апреля 1849 г.): — он не увлечет тебя с дороги

¹ Вот этот отзыв: Der Eindruck dieser Übersetzung kommt dem am nächsten, den die griechische Urschrift mir gibt. Derselbe Zauber der Sprache, dieselbe Einfachheit und Klarheit, derselbe epische Fluss und Wohlklang des Hexameters. Der Dichter hat den ionischen Reiz und Glanz Vater Homers in skythischen Lauten wiederholt, die aber freilich dem hellenischen verwandter sind, als man gewöhnlich denkt. Die unschätzbaren Anlagen der russischen Sprache zu solcher Nachbildung hat Schoukowsky's Genius mit höchstem Erfolg benützt, seine Meisterschaft der Verkunst die fremde Form mit glücklichster Anmut gehandhabt» [Впечатление от этого перевода ближе всего к тому, что произвел на меня греческий подлинник. То же волшебство речи, та же простота и ясность, то же эпическое течение и благозвучие гекзаметра. Поэт воссоздал ионическую прелесть и блеск отца Гомера в скифских звуках, которые, конечно, ближе эллинским, чем принято думать. Гений Жуковского с величайшим успехом использовал неоценимую предрасположенность русского языка к подобному подражанию, а его мастерство в стихосложении позволило ему со счастливейшим изощрением овладеть чужой формой. (нем.)]. — В 1841 г., обозревая русскую литературу по смерти Пушкина, Фарнгаген характеризует Жуковского не только как симпатичного, нежного (zartfühlende) поэта, владеющего всеми мелодиями своего родного языка, но и как певца родины и ее героев, одушевленного любовью к царю и его дому и в этом смысле истинного и благородного выразителя народных чувствований. О Жуковском Фарнгаген обещал поговорить обстоятельнее при другом случае (Neueste russische Litteratur 1841), но такая статья мне неизвестна.

² Русская Старина. 1902. Май. С. 393 и след. Ответное письмо Стурдзы 28 марта 1849 г. с переводом (по просьбе Жуковского) стихов 91–104 XVI песни Одиссеи см. в Русской Старине 1903 г. Май. С. 406 и след.

в омут, хоть и слепец. Свой же собственный ум, того и гляди, занесет куда-нибудь в овраг».

Вторая часть Одиссеи¹ вышла в 1849 г. и Жуковский разослал экземпляры приятелям. «Прошу принять с любовью младшую дочку старика Жуковского, — пишет он Северину: — она лучше всех поэтических дочек его и повеселила крепко душу его на старости. Теперь прости поэзия, милости просим святая проза». Он ждет отзыва Плетнева, обещает сообщить ему отзыв Фарнгагена, которому экземпляр Одиссеи должен был доставить Северин²; это «теперь один из первых критиков Германии. Он знает прекрасно греческий и русский язык. Если он мне не льстил, то могу считать свою работу удачною». А русские друзья, которым посланы были экземпляры второго тома, — не откликнулись!³

Наконец в августе 1848 г. дошел до него «красноречивый» голос критики, который он видимо ждал с нетерпением: в Варшаве, куда он приезжал на несколько дней, чтобы получить разрешение императора Николая Павловича на дальнейшее пребывание за границей, он мог познакомиться с статьей Шевырёва в «Москвитяине»⁴ и писал Зейдлицу: лишь «немногие, мнения которых ему драгоценно», встретили с симпатией и благоволением его «милую дочь»; из соотечественников один отозвался о ней письменно (Стурдза? Плетнев?), другой печатно (Шевырёв), тем ценнее для него мнение Зейдлица, которого поэтическому чутью и знанию дела он верит — и снова он выражает надежду, что его Гомер будет ему вечным памятником; «если подлинно в нем отзываются чисто и гармонически те звуки, которые три тысячи лет утешают сердца избранных, то надолго и на Руси останется отзыв моей поэтической жизни»⁵.

Признание, с которым вел. князь Константин Николаевич встретил его перевод, подняло его: такую оценку он «желал бы слышать от всякого, имеющего поэтическое чувство и зоркий

¹ Жуковский надеялся кончить ее к 1 апреля ст. ст. 1849 г., к Булгакову 7/19 марта. Сл. письмо к нему же 17/29 мая: Одиссея окончена и отпечатана; к Наследнику того же числа.

² Сл. письмо 11–13/23–25 июня 1849 г. Русский Архив. 1900. Сентябрь. С. 49–50.

³ Письмо 29 сентября/11 октября 1849 г.

⁴ Сл. письмо к Шевырёву из Варшавы 1 сентября 1849 г. и письмо к Гоголю, вложенное в письмо к Булгакову 31 октября/12 ноября 1849 г. Русская Старина. 1901. Июль. С. 98 и след.; Сборн. любителей русск. слов. за 1891 г. С. 19–20. В Варшаву писал ему и Плетнев с отзывом о 2-м томе Одиссеи, вызванным Жуковским. Сл. письмо Плетнева кн. Вяземскому 8/20 сентября 1849 г.

⁵ Зейдлиц I. с. С. 225 (письмо без даты).

вкус читателя»¹. В непосредственно следующем письме он благодарит за участие к его дочке, к его фаворитке, которая так мило и живо повеселила его на старости и из всех его поэтических детей одна его переживет. «Поэзия в наше время утратила много своего кредита, утратила и от того, что наше железно-дорожное и журнально-сумасбродное время не имеет ничего в себе поэтического, и от того, что поэты затащили ее в грязь партий, в болото безверия и в лужу безнравственной чувственности. Вследствие этого я не могу надеяться, чтобы Одиссея произвела на большинство современных читателей какое-нибудь сильное действие, да я и не имел целию производить какое-нибудь действие. Мне просто хотелось заглянуть в первомир поэзии, в этот потерянный Эдем, в котором во время оно дышалось так легко и целебно. Гомер отворил мне заповедную дверь в него, и я пожил счастливо с его светлыми созданиями, которых веяние было так благовонно, которых поэтический шопот был так гармонически-очарователен посреди визгов и мифитического зловония бунтующей толпы, парламентских болтунов и ложно вдохновенных поэтов настоящего времени». Со всем тем он вовсе не отказывается и от поэтически-благотворного действия поэмы: его чутье шепчет ему, что он действительно угадал гармонию ее оригинала; то же говорят ему люди знающие, способные сличить подлинник с слепком. Его Одиссея не пропадет для потомства, но к его поэтической известности его труд не прибавит ничего: «не более шести человек (считая в числе их ваше высочество) сказало мне свое мнение о моей работе (нет! мой счет неверен, еще к шести надо прибавить трех)... только в Варшаве попалась мне в руки дельная критика Шевырёва; одним словом, я не заботился о славе и похвале, но мне радостно думать, что после меня останется памятник твердый здешней моей жизни».

В письме к П.В. Нащокину 6 декабря 1849 г. то же опасение — и то же самосознание: «мои литературные подвиги вам должны быть известны, хотя бы отчасти; не думаю, чтобы они возбудили какое-нибудь впечатление на Руси; я напечатал до ста экземпляров (для раздачи моим соотечественным друзьям и знакомым) Одиссеи и Рустема, которые мне самому кажутся лучшим из всего, что мне случилось намарать на бумаге пером моим, — почти ни один не сказал мне даже, что получил свой экземпляр. Если так приятели и литераторы, то что же простые читатели?»

¹ Письмо 19/31 октября 1849 г.

Впрочем, я и не для участия от кого бы то ни было (сколь оно ни приятно) работаю над Одиссеей: я пожил со святою поэзиею мыслью и словом — этого весьма довольно»¹.

Между тем Гоголь, у которого известие об окончании и отпечатании Одиссеи отняло язык², отвечая Жуковскому 14 декабря 1849 г., «откровенно заговорил о приеме, которым русская публика удостоила Одиссею: ее появление *«было не для настоящего времени»*. Ее приветствовали уже *отходящие люди»*; Шевырëв пишет рецензию, «скажет в ней много хорошего, но никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение за чтение светлое и успокаивающее душу». И Гоголь снова пристегивает себя к Гомеру-Жуковскому: «временами мне кажется, что второй том Мертвых Душ мог бы послужить для русских читателей некоторой ступенью к чтению Гомера»(!)³.

Ни один из друзей не порадовал его изъявлением своего участия, повторяет Жуковский 3/15 февраля 1850 г.: ни Смирнова, ни Вьельгорский, ни Карамзины; это ему «больно и досадно»⁴.

Остается — памятник в потомстве, но отлетела надежда, что откровения классического Эдема прольют бальзам на лежащую в конвульсиях современность. Так надеялся и Гоголь, но и он стал говорить, что появление Одиссеи не по времени, что ее оценят только «отходящие люди», т.е. люди, изолировавшиеся от движения времени; а Жуковский давно разобшился и с русской общественной средой. В стихах Жуковского Шевырëву слышалась неиссякающая любовь к России, «гораздо более, чем в возгласах театрального патриотизма, который хотя и на родине, но отдалился от нее и духом, и словом своим, и до того отказался от всего Русского, что не в силах понимать прекрасного языка русской Одиссеи. Можно жить в Германии и носить в себе родину в убеждениях своего ума и сердца и в языке, как носит ее Жуковский. Можно жить на родине — и все-таки быть иностранцем и по образу мыслей, и по языку своему»⁵. Но эта родина стала для Жуковского чем-то отвлеченным, вне движения времени, и как прежде он сознательно издавал свои стихотворения в книжках «Для Немногих», так теперь немногие его слушали, когда он рассчитывал на внимание толпы. В конце 40-х

¹ Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. Москва, 1883. Приложение V. С. XXVII.

² К Жуковскому конца 1849 г.

³ Сл. письмо Гоголя к Жуковскому 28 февраля 1850 г.

⁴ К Плетневу 3/15 февраля 1850 г.

⁵ Сл.: Москвитянин. 1849. № 3. Критика и библиография. С. 116–117.

годов перевод Одиссеи был в самом деле подвигом поэтического изолирования.

В 1850 г. Жуковский вспоминал, как, оторвавшись на время от политической деятельности, его друг Радовиц объяснял в кругу родных, в вецларском уголке, с его очарованным наукой покоем, народную немецкую Илиаду, песни Нибелунгов. «Если вспомнить, кто и после каких событий с такую сладостью переходит из мира тревог, где на самом себе испытал разрушительность благ житейских, в безмятежный мир поэзии и там все забывает, разделяя прелесть этой поэзии с сердцами, понимающими его сердце, то невольно почувствуешь благоговение перед младенческой светлостью этой души, которая, глубоко ведая, какая буря окружает ее, так же оставалась тиха при своем знании, как младенец, бесстрашный от своего непорочного незнания»¹. — Жуковский охарактеризовал сам себя.

Русская критика Одиссеи этих вопросов не поднимала, но не была и так равнодушна, как жаловался Гоголь². Явился панегирик Шевырёва³, радовавшегося за торжество русского языка, который в Одиссее похож «на самый чистый каррарский мрамор без жилок»; но открыты были и жилки в неровностях языка, в тяжеловесности эпитетов, в неологизмах, в периодизации; поднят был вопрос и о верности поэтическому тону подлинника. Уловил ли его поэт, передал ли его настроение? Находили, что Жуковский глубоко проникся поэтической стороной своего оригинала, но не всегда верен нравам и понятиям героической эпохи, и его прибавления и отступления, отвечая метрическим и эстетическим требованиям, передают не гомеровский колорит, а личное настроение переводчика⁴. И в то же время критик Allgemeine «Zeitung» удивлялся, каким образом, не зная греческого языка, Жуковский, «при возможно-буквальной верности, почти волшебным образом не подражает, а скорее воссоздает тон, оттенки и дух подлинника, в свободном и естественном течении самобытного рассказа»⁵. О воссоздании Гомера говорил уже Го-

¹ «Иосиф Радовиц» 1850 г.

² Сл.: Черняев. Как ценили перевод «Одиссеи» Жуковского современные и последующие критики. Филолог. Записки 1902. Вып. II—III. С. 133 и след.; Тимошенко. В.А. Жуковский, как переводчик Одиссеи, и современная ему критика. Киев. 1902. (Оттиск из газеты «Киевское Слово»).

³ Москвитянин. 1849. № 1. Критика и библиография. С. 41—48; № 2. С. 49—56; № 3. С. 91—117.

⁴ Дестунис в Журн. Мин. Нар. Просв. 1850. № 8. Отд. II. С. 59—98.

⁵ Статья эта перенесена в Журн. Мин. Нар. Просв. 1850 г. № 4. VI. С. 68—69. Не о ней ли говорит Жуковский в письме к Булгакову 31 октября / 12 ноября 1849 г.?

голь; для Лавровского это не воссоздание, и не художественный перевод, претворяющий подлинник в живое, личное произведение, и не буквальный, а нечто среднее, порой близко придерживающееся текста, порой отдаляющееся от него, вносящее новые краски, чувствительность и искусственность вместо гомеровской простоты и естественности¹. Этот элемент субъективности подчеркнул и Ордынский: перевод превосходный сам по себе, без отношения его к подлиннику, но это скорее Одиссея Жуковского, чем Одиссея, переведенная Жуковским².

Характер его личной поэзии нам знаком: стоило ему бессознательно тронуть иное кистью, заменить один эпитет другим, и он незаметно внесет в Гомера свою сентиментальность и нравоучительность, а мы знаем, как сложилось у него представление о гомеровской меланхолии. Так получилось в его Одиссее некоторое единство тона; это воссоздание, но Анадиомена вышла несколько сентиментальной.

Любопытно, что, по мнению Лавровского, Одиссею следовало бы перевести народно-песенным языком; в разной мере склонялись к тому Ордынский и Сенковский, и это не мешало последнему вменить в заслугу Жуковскому, что из «хаоса разноязычных начал и разноголосных данных» он вывел «одну стройную, русскую, новейшую красоту, которая бы приметно уподоблялась первобытной, древней, греческой красоте»³. Требование простонародного языка для Гомера, пожалуй, еще большая несообразность, чем налеты чувствительности у Жуковского.

За Одиссеей Жуковский обещал обратиться к «святой прозе». Толстый том, о котором он писал Плетневу, состоял из «Философских отрывков», т.е. накопившихся у него статей религиозно-нравственного содержания; иные из них он намерен был послать на просмотр Стурдзе, ибо они такого рода, что им не только нужно его одобрение, но и его строгий экзамен, его выправка⁴. В марте следующего года он хочет отправить рукопись к Стурдзе⁵, но все еще просматривает ее, приводит в порядок. Он пишет Стурдзе: «Можно быть православным христианином и без обширной теологической учености, но пускать в ход свои мысли должно только по прямой дороге, указанной нашею церковью, и для этого нужен путеводитель опытный. Все, что цер-

¹ Отечественные Записки 1849. Т. 63. Отд. V. С. 1 и след.

² Там же. 1849. Т. 65. Отд. V. С. 1 и след.; т. 71. Отд. V. С. 1 и след.

³ Сенковский. Соч. Т. VII. С. 335.

⁴ К Северину 11–13 июня 1849 г. Сл.: Русский Архив. 1900. № 9. С. 50.

⁵ К Северину 11 марта 1850 г. Русская Старина. 1902. Июнь. С. 516.

ковь дала нам один раз навсегда, то мы должны принять безусловно верно также один раз навсегда. В это дело нашему уму не следует мешаться... Иной философии быть не может, как философия христианства, которой смысл: от Бога к Богу. Философия, истекающая из одного ума, есть ложь. Пункт отбытия всякой философии (*point de départ*) должно быть откровение... У меня в виду со временем написать нечто под титулом: Философия невежды. И этот титул будет чистая правда: я совершенная невежда в философии. Немецкая философия была мне доселе неизвестна и недоступна; на старости лет нельзя пускаться в этот лабиринт: меня бы в нем целиком проглотил минотавр немецкой метафизики, сборное дитя Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и проч. и проч. Хочу попробовать, что могу написать на белой бумаге моего ума, опираясь на одни откровенные, неотрицаемые истины христианства»¹.

Мы знаем, что этот сборник не был напечатан по цензурным соображениям².

3.

За год до смерти Жуковский еще раз беседовал с Зейдлицем о своем «памятнике»³; между тем его привлекла Илиада. Это искушение явилось у него в конце 1848 г.⁴; о том, что он принялся за перевод, говорит уже разбор в «*Allgemeine Zeitung*». «Планов для пера скопилось» у него много, а приближающиеся шаги смерти час от часу слышнее (к вел. кн. Константину Николаевичу 2/14 марта 1850 г.). Приводя в письме к кн. Вяземскому отзыв Фарнгагена об Одиссее (*wir, Deutschen, haben nichts so sehr gelungenes [у нас, немцев, нет ничего столь удавшегося]*), Жуковский выражает желание дать отечеству «чистого Гомера», это было бы

¹ 1850 г., март, Русская Старина 1902. Июнь. С. 581—582. Сл. относящиеся к 1850 г. показания о. Базарова в его письме о кончине Жуковского (17 апреля 1852 г.), Русский Архив. 1869. Ст. 109—110, и приведенную выше (с. 323, прим.) статью Стурдзы: Для памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя I. с. С. 221—222.

² См. выше с. 305 и след. О цензурных затруднениях, какие встречали сочинения Жуковского, сл. еще заметку И.А. Бычкова: «Попытка напечатать „Черты истории государства Российского“ В.А. Жуковского в 1837 году». Русская Старина. 1903 г. Декабрь, С. 595 и след.

³ Зейдлиц I. С. 225—226.

⁴ К Плетневу 20 декабря 1846 г.: «мысль была та, чтобы перевести все по теперешней методе с подстрочного немецкого перевода, а потом взять бы из перевода Гнедичева все стихи им лучше меня переведенные (в чем, разумеется, признаться публике)». Подробнее в указанном письме о. Базарова.

для него великим утешением¹; он оповещает о том и Гоголя, но «об этом однако прошу тебя не говорить»². Уже полуслепой, с помощью лектора, он хочет воспользоваться своим «заточением и слепотою, чтобы вполне быть русским Гомером»³. 13 сентября 1851 г. переведены были с немецкого две песни Илиады – и вновь загомосилась поэзия: Жуковский принялся за поэму, тема которой давно занимала его⁴; первые стихи написаны десять лет тому назад⁵. Он довел ее почти до половины⁶; «Странствующий Жид» так и остался отрывком.

Для этой лучшей «лебединой песни» он собирал толкования к Апокалипсису, который переложил в стихи⁷, для нее же просил у Гоголя, которому сообщил план и прочел начало (не более как из двадцати стихов), местных красок и топографических впечатлений Палестины: «мне это будет несказанно полезно и даже вдохновительно для моей поэмы: я уверен, что к собственным моим мыслям прибавится много новых, которые выскочат, как искры, от ударяемой фантазии об твою»⁸. Для той же цели покупал он описания Палестины с рисунками⁹. К чему эти сведения? писал ему Гоголь: «всякое событие евангельское и без того уже обстанавливается в уме христианина такими окрестностями, которые гораздо ближе дают чувствовать минувшее время, чем все ныне видимые местности, обнаженные, мертвые... Друг, сообразил ли ты, чего просишь, прося от меня картин и впечатлений для той повести, *которая должна быть вместе и внутренней историей твоей собственной души?* Соверши же помолясь жаркой молитвой, это внутреннее путешествие, и все святые окрестности восстанут пред тобою в том свете и колорите, в котором они должны восстать»¹⁰. Именно с Гоголем хотел бы поговорить Жуковский о «Странствующем Жиде», «которого содержание ему было известно, который пришелся бы ему особенно по серд-

¹ 18 апреля 1850 г.

² 1/13 февраля 1851 г. Сл.: Сборник общ. люб. русск. словесности за 1891 г. с. 23.

³ К Северину 9 сентября 1851 г. Сл.: Русская Старина. 1902. № 6. С. 519.

⁴ Сл. отрывок 1831 г. в Бумагах Жуковского стр. 94.

⁵ К Плетневу 26 декабря 1848 г. В 1844 г. А.О. Смирнова записала: «Он (Жуковский) хочет написать поэму о Вечном Жиде и даже потихоньку читал мне некоторые стихи». Северный Вестник. 1897. Январь. С. 134.

⁶ К Плетневу в феврале 1851 г.: до 800 стихов.

⁷ Сокращенный пересказ видения назначен был первоначально занять в ней место после 915-го стиха.

⁸ 20 января/1 февраля 1850 г. в Сборнике Общ. люб. русск. словесности за 1891 г. С. 21, 22.

⁹ Сл. Русский Архив. 1869. С. 90.

¹⁰ 28 февраля 1850 г.

цу — и, занимаясь которым, я особенно думал о Гоголе» (к Плетневу 5 марта 1852 г.).

«Я написал поэму, она еще не кончена, — говорил Жуковский о Базарову за несколько дней до смерти; — я писал ее слепой нынешнюю зиму. Это Странствующий Жид в христианском смысле. В ней заключены последние мысли моей жизни. Это моя лебединая песнь... Я начинал было переводить ее сам, диктуя сам по-немецки¹. Но Кернер берется перевести ее по-немецки в стихах. Пусть его переделывает по-своему, пусть прибавляет, но мысль мою он поймет»².

Юстинус Кернер, поэт и врач романтического типа, известный своей книгой о ясновидящей в Префорсте (*Die Seherin von Prevorst*), прожил всю свою жизнь ребенком в атмосфере сказочного чудесного. Мир психопатических явлений, которые, как врач, он совестливо изучал, раскрыл перед ним область мистически-бессознательного, и оно им овладело. Он стал духовидцем; ночью, когда он шел к больному в сопровождении своей собачки, кругом него витали души людей, которых ему не удалось спасти от смерти. При этом человек сердца и добродушного юмора, бесконечно жалостливый к больным, искавший дружбы и «души».

С Жуковским он познакомился в Баден-Бадене летом 1847 г., и они сошлись: было с кем потолковать о «привидениях» («Нечто о привидениях» 1848 г.), о душе. В Бадене, писал Кернер, он нашел облегчение своих страданий не столько в теплом источнике, сколько в одном сердце с холодного севера, полном тепла и силы и детской чистоты, в которое он погрузился, как в целебные струи. «То было сердце русского поэта Жуковского. Знакомство с этим благородным, богато одаренным человеком было для меня, после холодной и во многих отношениях печальной для меня зимы, точно дыхание весны на мое больное, оледенелое сердце»³. — «Странствующего Жида» Кернеру не пришлось

¹ О Жуковском, как немецком стилисте, может дать понятие его передача белыми стихами его собственного стихотворения: «Видение» (Нач. *Eine Seraphgestalt erschien mir — Strahlend von morgendlicher Klarheit*) и перевод его же статьи о Радовиче, напечатанный, как рукопись, в Karlsruhe, 1850: «*Joseph Radowitz, wie ihn seine Freunde kennen. Brief eines Nichtdeutschen in die Heimat*». Сл.: Haape W. Schukozsky und seine Beziehungen zu Deutschland und Baden (München, 1900 г.), с. 16 и 23.

² Сл. письмо о. Базарова о кончине Жуковского, I, с., ст. 103.

³ Haape I. с. С. 26–27. Там же воспоминание von Schack'a при посещении Бадена в 1875 г.: *In der Stadt mahnte mich der Balkon eines Hauses an einen Mann, den ich wegen seiner Herzengüte wie wegen seiner Geistesgaben ungemein verehrte. Es war der russische Dichter Schukowsky [В городе балкон одного дома напомнил мне о человеке, которого я необыкновенно почитал за его сердечную доброту и духовную одаренность. Это был русский поэт Жуковский. (нем.)].*

перевести, но еще при жизни автора явился перевод одной его сказки: *Vom Iwan Zarewitz und dem grauen Wolfe* [Об Иване-Царевиче и сером волке] (1852), с таким посвящением Кернера:

Empfängt dies nordische Gedicht
Von Licht und Farbe so durchdringen,
Daß man vermeint, aus Nordenlicht
Sei dieses helle Kind entsprungen.
Schaut her! Ein nordisch Herz hat euch
Die nord'schen Sagen so gestaltet,
Ein Herz, das, ist's auch jahre reich,
Ein Kinderherz bleibt, das nicht altert¹.

[Примите это северное стихотворение, столь пронизанное светом и красками, что можно подумать, будто это светлое дитя возникло из северного света. Взгляните сюда! Так уж воплотилась для вас северная легенда в северном сердце – сердце, которая, несмотря на его годы, остается сердцем ребенка и не стареет. (нем.)]

«Странствующий Жид», засудьбу которого беспокоился кн. Вяземский², занимает, по его мнению, первенствующее место не только между творениями Жуковского, но едва ли и не во всем цикле русской поэзии³. Это действительно история младенческого, не состаревшегося сердца, если у такого сердца есть история. Оно смолода, почти без колебания, шло навстречу тому идеалу, в котором восторженное искание Бога объединилось с меланхолией Гомера и елейностью Стурдзы. Это не тревожно-трусливое настроение Гоголя в поисках за синтезом, который примирил бы его противоречия; искали его и другие русские люди из чающих, но им не достало надежд и уверенности и знания. Признание, что всякая действительность разумна, было таким же знаком бессилия в общественном смысле, как и сентиментализм с его призраком уединенно-пиетистически возделанной человечности. Тогда бросились искать Бога, – и в одном лагере очутились и узкий Стурдза, и Смирнова, и Гоголь, спасавшийся от неясных, но болевых задач то в самомнение призванничества, то в лоно отца Матвея, – и благоговейный Жуковский в пору Одиссея и Странствующего Жида.

¹ I, с. С. 20–21.

² См. его письмо к Плетневу 19 ноября/1 декабря 1852 г.: «может ли быть напечатан Странствующий Жид, то есть, чернорысая цензура пропустит ли его?»

³ Русский Архив. 1866. № 6. Ст. 874 (Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива).

Ярче, чем в «святой прозе» его религиозно-нравственных трактатов, выступает в поэме Жуковский последних лет с его успокоением в вере, то есть в свободном акте воли, подчиняющем разум благодати¹. Наполеон на острове Св. Елены – это человек державной, но не подчиненной воли, «чудесный человек», как выразился Жуковский в отрывке письма из Италии 1833 г.²; когда-то «вождь побед и страх царей, теперь царей колодник», он страдает в ожесточеньи «безнадежной скорби», в негодовании «силы», вдруг лишенной свободы. Орел быстро промчался мимо него с моря на высоту, и он

Вскочил, как будто броситься за ним
Желая в беспредельность: воли, воли
Его душа мучительную прелесть
Отчаянно почувствовала всю.

Перед ним Агасвер; рассказывая узнику повесть своей души, он желает быть врачом его души.

Блажен стократ, кто верует, не видев
Очами, а смиренной волей разум
Святыне откровенья покоряя.
Очами видел я, но вере долго
Не отворяла дверь моей души
Бунтующая воля.

Он был наказан неслыханно, но казнь пересоздала его душу, воспитала «в училище страданий несказанных»; «он Бога угадал страданьем». Не вдруг достался ему этот мир, лишь

по долгой, несказанной
Борьбе с неукротимым сердцем, после
Несчетных переходов от падений,
Ввергающих в отчаянье, к победам,
Вновь воскрешающим, по многих, в крепкий
Металл кующих душу, испытаньях
Я начал чувствовать в себе тот мир,
Который, всю объемля душу, в ней
Покорного терпенья тишину
Неизглаголанную водворяет.

¹ Сл. выше С. 321.

² Русская Старина. 1902. Апрель. С. 181.

.....

На потребу мне одно:
Покорность и пред Господом всей воли
Уничтожение. О, сколько силы,
Какая сладость в этом слове сердца:
«Твое, а не мое да будет!» В нем
Вся человеческая жизнь, в нем наша
Свобода, наша мудрость, наши все
Надежды...

Случай исчезает
Из нашей жизни; мы своей судьбы
Властители, понеже власть Тому
Над нею предали смиренно, кто
Один всемогущ, все за нас, для нас
И нами строит, нам во благо.

И теперь «безнаградная» любовь Агасвера к людям не иное что, как любовь к Источнику любви, к Тому, кто первый излюбил его, любовь милосердная, смиренная, терпеливая; мир человеческий исчез для него перед природой, «Господней книгой, — Где буква каждая благовестит Его Евангелие».

Небо голубое, утро
Безмолвное в пустыне; свет вечерний,
В последнем облаке летящий с неба,
Собор светил во глубине небес,
Глубокое молчанье леса, моря
Необозримая тихая, иль голос
Невыразимый в бурю —

для этих чудес нет «слов», они невыразимы; созерцание становится «смирненным, бессловесным предстояньем» перед величием Божия создания, блаженной молитвой;

с нею
Сливается нередко вдохновенье
Поэзии; поэзия — земная
Сестра небесных молитвы, голос
Создателя, из глубины созданья
К нам исходящий чистым отголоском
В гармонии восторженного слова!
Величием природы вдохновенный,

Непроизвольно я пою — и мне
В моем уединеньи, полном Бога,
Создание внимает, посреди
Своих лесов густых, своих громадных
Утесов и пустынь необозримых
И с высоты своих холмов зеленых,
С которых видны золотые нивы,
Веселые селенья человеков
И все движенье жизни скоротечной.

Последнее определение поэзии, «невыразимого», которое обняло и «веселые селенья человеков» — идиллию Одиссеи. И в то же время Жуковский писал Плетневу, уговаривавшему его вести свои мемуары: журнала он не вел, теперь поздно, из прошедшего многое исчезло, как небывалое, да и «выставлять себя таким, каков я был и есть, не имею духу. А лгать о себе не хочется. В поэтической жизни, сколь бы она ни имела блестящего, именно поэтому много лжи (которая все ложь, хотя по большей части произвольная), и эта ложь теряет весь свой мишурный блеск, когда поднесешь к ней (рано или поздно) лампаду христианства»¹.

В пору Одиссеи видел Жуковского Александр Тургенев. После несчастья, постигшего его брата, он уехал за границу и в Россию показывался лишь урывками, но друзья переписывались, прошедшее их связало, ибо для сердца оно вечно. В 1826–1827 гг. мы видели их в Дрездене и Париже²; в июне 1832 г. они вместе выехали из России за границу, чтобы разъехаться; затейное ими путешествие в Италию не состоялось³. Письмо Жуковского из Белёва тронуло Тургенева за живое: «прошедшее так живо представилось сердцу и воображению, и так как я помню более сердцем, то во всех эпохах, кроме теперешней, ныне текущей, нахожу, вместе с братьями, и Жуковского... Разве память одного Жуковского будет для нас так же священна, так же мила и благодетельна для сердца, как и жизнь его, как и память Карамзина»⁴.

Летом 1839 г. друзья снова виделись во Франкфурте и Киссингене. «С Жуковским провел я несколько приятных, задушевных

¹ 6 марта 1850 г. «Впрочем, если напишется, в последнем, еще не существующем томе сочинений моих будет нечто в роде мемуаров, но только в литературном смысле» (то же письмо).

² Сл. выше. С. 318 и след.

³ Дневник 18 июня 1832 г.

⁴ К князю Вяземскому 23 декабря 1837 г./4 января 1838 г.

минут, — писал Тургенев князю Вяземскому, — но только минут; они повеяли на меня прежним сердечным счастьем, прежнею сердечною дружбою». Он почти прослезился, когда Жуковский представил ему свой новый перевод Греевой элегии, который обещал посвятить ему, как первый посвящен был брату Андрею. «Мы пережили многое и многих, но не дружбу: она неприкосновенна, по крайней мере, в моей душе и выше мнений и отношений враждебных света, недоступна никакому постороннему влиянию. Соприкосновение Жуковского с чуждыми мне и часто враждебными элементами не повредило верному и постоянному чувству... В отсутствии я сердился на него за многое; встреча примиряет с ним, ибо многое объясняет. Я люблю его и за великого князя, в коем вижу что-то доброе, сердечное, человеческое, и меня что-то влечет к нему. Я должен удерживать это влечение и буду стараться реже с ним встречаться, ибо это несовместно с моим положением, с достоинством оскорбленного во всех отношениях: гражданских и семейственных»¹.

Враждебные элементы — это люди, прикосновенные к осуждению его брата Николая; в первую голову Блудов; в глазах Тургенева это осуждение было великой неправдой, а он был искаатель правды. В этом отношении он непримирим; «покою, мой Капнист, покою», — писал ему по этому поводу князь Вяземский²; собираясь за границу, Тургенев говорил ему, что хочет повидать Жуковского, «но уже к нему не явлюсь лично; разве по дороге. А то и так подумали, что я ухаживаю не за ним, а за великим князем»³.

Вести о женитьбе друга привели его в умиление, но он не поехал к нему, чтобы не смутить его покой видом неуспокоенного человека. В письме к княгине Вяземской он охарактеризовал себя⁴; один «из самых усталых» нашего круга, писал о нем Жуковский Булгакову⁵. Жуковский воплотил в действительности свой личный житейский идеал, князь Вяземский, когда-то боевой протестант, уже не ощущает прежнего «зеленого пыла»⁶ и также вошел в мирную гавань опытности. А Тургенев все еще ищет и мечется,

¹ 5/17 июня 1839 г., Киссинген. Сл. еще письмо к князю Вяземскому 8 июня 1839 г.

² 1 января 1830 г.

³ 13 апреля 1840 г. Тургенев застал Жуковского в горе по скончавшемся поэте Иммермане († 25 августа 1840 г.), с которым он познакомился в Дюссельдорфе. Сл.: Русский Архив. 1896. II. С. 197. Об Иммермане упоминание в дневнике Жуковского под 1/13 августа 1838 г.

⁴ Сл.: выше. С. 393 и след.

⁵ 20 декабря 1845 г./1 января 1846 г.

⁶ К Тургеневу 8 апреля 1843 г.

он непоседа, и его все куда-то тянет; *le grand agité*, как назвал его один приятель. Он не только сентименталист Карамзинского стиля¹, но и «либералист» Александровской эпохи, либералист, выбитый из колеи, не у дел, один из недовольных, лично оскорбленный в «гражданских и семейственных» отношениях. Это определяет его старческий облик²: русский «душой, сердцем и воспоминанием»³, он убежденный западник, ратует за освобождение крестьян, говорит о Карамзине, что «вся жизнь его была прекрасное и полезное употребление его качеств душевных», но что он уронил свой талант в своей Истории, которая «не отвечает требованиям рассудка и надеждам сердца»⁴; человек, искренне верующий, блюститель обряда, чуткий к исторической поэзии православной святыни, он ведет беседы с митрополитом Филаретом, увлечен Шеллингом и рекомендует князю Вяземскому — *Vinet, Sur l'indépendance des opinions religieuses* [О независимости религиозных воззрений]⁵. Князь Вяземский отписывается, спорит по всем статьям, уличая приятеля в идолопоклонстве словам, системе, теории⁶, а тот упрекает его, что он упал «с терпимости на равнодушие»⁷, говорит, что люди, которые, чувствуя труд борьбы со злом, заключили с ним мир, не приметно для них самих делаются врагами добра»⁸. Даже филантропическая деятельность Тургенева, в которой он отводил душу, «апатию» сердца, его заботы, в сотрудничестве с доктором Газом, о бедных и арестантах, вызывали у князя Вяземского нарекание, что у Тургенева какая-то страсть к «политической и протестующей филантропии», что он «лелеет любовь воинственную, критикующую, мстительную, осуждающую» и печатает «оппозиционную статью против уголовной палаты и всех палат и всех право или криво правящих»⁹.

И в духовном лагере возбуждались те же сомнения. Митрополит Филарет благодарит своего лаврского наместника Антония за сообщение молвы, будто около него собираются «недоволь-

¹ Интересно сравнить размышления его юношеского дневника, на темы греевской элегии и родных воспоминаний (выше, с. 82), с его письмом 6/18 янв. 1841 г. (Рус. Архив. 1896. II. С. 194–195). И там и здесь один и тот же душевный почерк.

² Сл. выше. С. 284.

³ К князю Вяземскому 8 октября 1845 г.

⁴ К нему же 14 ноября 1845 г.

⁵ К нему же 19 ноября 1845 г.

⁶ К Тургеневу 23 ноября 1845 г.

⁷ Письмо 16 октября 1836 г.; сл. письмо князя Вяземского 2 ноября того же года и письмо Тургенева 7 октября 1845 г.

⁸ 27 марта н. ст. 1843 г.

⁹ Начала октября 1842 г.

ные». «Слов неудовольствия, надеюсь, никто не слышал от меня, потому что и мысли у меня, по благодати Божией, не таковы, — отвечал Филарет. — Но и небывшее скажут и сказке поверят по людям, вводимым в сказку. Меня озабочивало и прежде, а теперь и более, что ко мне ходит А.И. Тургенев, которого я стал принимать в уважение благорасположения к нему князя Голицына, а он представил мне человека два, ему знакомых, людей любознательных... У них есть мудрование, не политическое, а ученое: кто знает, не полагают ли в них, чего я не примечаю и не знаю?» (февраля 14, 1843 г.)¹.

Жуковский и князь Вяземский уже отпели панихиду русской литературе 40-х годов, а Тургенев прочел в «Отечественных Записках» статью Белинского о Державине и пишет из Москвы: «Ай да Белинский! Ай да цензурушка голубушка Петербургская! Аздесь и в салонах такой правды в услышание славян не высказать. “E per si muove” [И этим движется (*итал.*)] наша литература»².

В 1842 г. Тургенев был за границей, но по болезни не заехал к Жуковскому. Князь Вяземский не может ему этого простить. «Нужно было ехать в Берлин за пустяками, переливать из пустого в порожнее и пускать пыль в глаза, добро еще другим, а нет, себе. В наши лета, брат, поздно учиться. *Что тебе прожить на Шеллинге, когда Бог дал тебе нажить Жуковского?*»³. Напрасно ты трунишь, «что я гоняюсь за Шеллингами, — отвечал Тургенев, — я ими живу и жив буду. Я набрался в Берлине и в других университетах столько духовной жизни, что от избытка оной уделяю и другим, когда встречаю охотников». Но он не презирает и прошедшим и еще недавно оживил его пепел поездкой к Троице, где нашел «и людей достойных, и книги прекрасные, и радушие христианское и гостеприимство для бедных»; его окружили воспоминания о давних поездках сюда с отцом и Лопухиным. Он выслушал в два дня вечерню, всенощную, обедню, несколько молебнов, обедал в общей трапезе с Филаретом и монахами, видел как «митрополит с галереи благословлял сухих и

¹ Письма митрополита московского Филарета к наместнику Свято-Троицкого Сергиевы лавры архимандриту Антонию. Ч. II. С. 66–68. Там же ссылка на старую записную книжку, выдержки из которой напечатаны в Русском Архиве. 1875. I. с. 61–62. (=Полное Собрание соч. князя Вяземского. Т. VIII. С. 273 и след.); о тайном полицейском надзоре, учрежденном над Тургеневым в Москве (в 1831 г.); в его «конduitных списках» всего чаще встречались имена ...ой и митрополита Филарета, с которым «он в близких отношениях и по сочувствию и по уважению к нему, а равно и по прежнему служению своему при князе А.Н. Голицыне».

² Князю Вяземскому 11 октября 1845 г.

³ К нему же 21 сентября 1842 г.

хромых, чающих движения воды и горячих щей и пива. Картина трогательная; чего у меня не лезло в голову!»¹

Лишь в 1844 г. собрался он к Жуковскому, чтобы пожить с ним подольше во Франкфурте и сдружиться с Гоголем, «коего переписка лучше книг его, ибо душа в ней слышнее»². Жуковского он увидел в Гейдельберге³, и наконец очутился в его семейном уголке. «И здесь блаженствую сердечно в милом, добром, умном семействе», – писал он кн. Вяземскому (30 августа/10 сентября 1844 г.); он изнежен «всеми комфортабельностями жизни, достойными шотландской цивилизации и всей классической дружбы Жуковского и его ангела спутника... Ты знаешь, какой мастер Жуковский устраиваться, но он превзошел здесь себя во вкусе уборки дома, мёблей, картин, гравюр... Все на своем месте, во всем гармония, как в его поэзии и в его жизни... Он встает в семь часов⁴ и беседует с Гомером (перевод Одиссеи на 8-й песне и перевод, по его мнению, коему я верю, как чужому, – прекрасный и лучше всех других). В девять мы вместе завтракаем и милая жена-хозяйка разливает сама кофе моккский. Жуковский во всем сибарит... До 12-ти часов Жуковский опять с Гомером, потом опять с Морфеем, то есть, спит до первого часа, закрываясь от мух Аугсбургской газетой, которую, как немецкий европеец, получает, но не всегда читает, предпочитая баденскую *Vadeliste*. От часу до двух мелкие поделки или визиты. В два обедаем. После обеда – болтовня, и при солнце, под деревьями, в саду. Тут являются иногда к чаю или к моему молоку, разбавленному водой, сестры, мать, отец святой Елизаветы Жуковской: милое, умное, почти идеальное в немецкой сущности семейство – они поют и играют; Жуковский гуляет с час; до часу визиты: гениальный и всеученый Радовиц, художники с бюстиками, портретами». У жены «много *der hohen aber auch tiefen germanischen schönen Weiblichkeit* [высокой но вместе с тем и глубокой германской прекрасной женственности (*нем.*)]». «Слушаю Одиссею Жуковского, – говорится в другом письме (8/20 сентября 1844 г.). – Простота высокая и свежесть запаха древности так и наполняет душу! Что за колдун Жуковский! Знает по-гречески меньше Оленина, а угадывает и выражает Гомера лучше Фосса. Все стройно и плавно и в изящном вкусе, как и распределение и уборка кабинета, салона его. Сти-

¹ К нему же 29 сентября 1842 г.

² К нему же 15/27 апреля 1844 г.

³ К нему же 26 июня/6 июля 1844 г.

⁴ Рукой Жуковского поправлено: в пять.

хи текут спокойно, как Гвадалквивир, отражая гений Гомера и душу Жуковского».

Жуковский был доволен, что ему удалось полелеять старого друга в своей семье: точно ожила молодость, что-то напомнило горницы Московского университета, где они собирались около брата Андрея. А твои замечания в письме, «на счет моей роскошной сибаритской жизни», не совсем справедливы, пишет он приятелю (октябрь 1844 г.): может быть, надобно более простоты, но излишество почти преступление против неимущих; ни он, ни жена его не любят, любят «святую умеренность», «опрятность и вид смиренного довольства»; «опрятность и comfort в семейной жизни есть то, что гармония и чистота стиля в стихах».

В мае 1845 г. Тургенев был снова у своего старого друга, но мимолетно; «это было наше последнее свидание на сем свете», читаем в дневнике Жуковского¹. 14 августа Тургенев приехал в Москву, совсем больной, но такой же лихорадочно-деятельный, как всегда. «В субботу (1-го декабря) он слушал первую публичную лекцию Грановского, в воскресенье провел полдня в пересыльном замке на Воробьевых горах, вместе с доктором Газом; в понедельник (3-го декабря), в день кончины, все утро писал письма в Париж, отвез их в почтамт, а в шестом часу после обеда скончался в тесном, загроможденном портфелями и книгами мезонине небольшого дома на Арбате двоюродной сестры своей А.И. Нефедьевой». Москвичи пожалели о действительно добром человеке, соединившем симпатии западников и славянофилов, Герцена и Хомякова, как сам он, по выражению Погодина, «был ревностным сыном европейской цивилизации», оставаясь «русским в душе»².

Посылая Жуковскому некролог Тургенева, написанный Погодиным, Мельгунов сообщал ему, что покойный давно хотел ему писать, но не мог собраться с духом. «Он видел в вас друга и, как другу, хотел поверить свою *тайную скорбь*; но, вместе с тем, как друга, не хотел и огорчить. За несколько дней до своей кончины он решился наконец писать вам и написал длинное письмо, которое изорвал в мелкие клочки. “Я это сделал потому, говорил он..., что в этом письме *излил всю свою душу; а это огорчило бы Жуковского: он испугался бы, прочитав его*. Однако я дал себе слово писать к нему сегодня непременно; и написал, принудил себя. Но письмо ему не понравится; он меня в нем не узнает: оно

¹ Сл. Тургенева письма к княгине Вяземской 6/18 и 7/19 мая 1845 г., и дневник Жуковского под тем же годом.

² Сл.: Барсуков. I. с. VIII. С. 237–251.

сжато, сухо, sans abandon [без принужденности (*франц.*)], как будто не я писал; Жуковский будет недоволен”»¹.

Два раза пожил он под моею кровлею, писал Жуковский, получив известие о кончине «дорогого товарища», который «из всех самый давнишний»; он совсем бы осиротел, если б около него не явился его «собственный, светлый, молодой свет». «Смерть удивительно быстро знакомит с истинным бывшим человеком», — и Жуковский пытается восстановить «неуловимую физиономию ума Тургенева», «фимиам его души», его «младенческую душу без пятна»; «жизнь могла покрыть его своей пылью, но смерть легко сдунула с души его эту пыль, которая вся высыпалась в могилу». Самые недостатки его «имели источник добрый», «неопределенность его мнений, на которые столь часто действовало и все внешнее и настоящая минута», не мешала его жизни быть постоянною, всегда единою, теплою христианскою деятельностью. «Но о таких мертвых, как он, жалеть не должно; *хотя в теперешнем моем кругу, смотря на моих и думая о том, что есть и чем еще может быть для меня жизнь, я не могу сказать: смерть желательней жизни, но конечно скажу: смерть, в ее истинном смысле взятая, лучше жизни*»².

Смерть — «великое благо», повторяет он Гоголю (20 февраля 1847 г.). Он к ней давно готовился, трепетно и сознательно, и она тихо его посетила. Жуковский скончался 12 апреля 1852 г.

¹ Русский Архив. 1899. Апрель. С. 634 и след.

² К неизвестному лицу (март или апрель 1846 г.); к А.Я. Булгакову 20 декабря 1845/1 января 1846 г.; 31 декабря 1845/12 января 1846 г.; к Гоголю 24 декабря 1845/5 января 1846 г.

XIV. Поэтика романтиков и поэтика Жуковского

Если проводить связь между «душой Жуковского» и теми направлениями западной литературы, которые она отразила, то нам нечего выходить из течений сентиментализма, в которые поэт вступил в начале своей деятельности. До конца он пиетист с идеалом *Schöne Seele* и выпрещенной дружбы; поэзия для него религиозное откровение, являющее «святость жизни... во всей ее красе небесной»; слова поэта — дела поэта; до-Шиллеровское отождествление поэзии и добродетели заменяется требованием, что поэт должен быть чист душой, тогда только его слово будет благодатно. Из сферы сентиментализма перешло к Жуковскому пристрастие к мечтательности, загробным образам и таинственной луне и то настроение меланхолии, которое он тщился превратить в понятие — христианской грусти.

Поэзия *Sturm und Drang*'а, бурных стремлений и гениальничанья, с ее энергическими заявлениями личности и протестом против всяких условностей, коснулась Жуковского не своей психологией, а литературной стороной: интересом к народной старине (Бюргер), мировой литературе и поэтическому экзотизму (Гердер, Фосс).

Гёте и Шиллер пережили стадию чувствительности и бурного чувства, Вертера и Мора, погрузились в созерцание античной красоты, вынесли из нее понятие о высоком назначении искусства и стали поодаль на высотах веймарского Парнаса. Кругом них кишит молодое поколение, не остывшее еще от волнений периода бури и натиска, и ищет пути; там, где Гёте остановился в величавой *Entsagung* [отречении (*нем.*)], они строят систему. Есть между ними люди восторженные и скептики, теоретики и эстеты, верующие и фантасты мистицизма: Тик, Ваккенродер, Новалис, Шлегели и др. Время в общественном смысле было глухое, подавленное сознанием несбывшихся надежд и подкошенных стремлений: чувствительность стала соседить с филистерством, титаны чувства сгорели и обратятся в героев байроновского пессимизма. Оставалось уйти в себя, удалиться от действительности в область искусства, раскрытого

веймарскими классиками; в тесный кружок друзей-поэтов, вроде кружка йенских романтиков, или того, фантастического, который Ла Мот Фуке собрал в каком-то замке в Пиренеях (Alwin); погрузиться в недеятельное прозябание, Müssiggang, возведенное в идеал, поскольку оно соединено с экстазом поэзии и «божественным эгоизмом» и ему одному довлеет. Такое понимание искусства, поэзии, повторяет воззрения сентиментализма и Sturm und Drang'a, но ведет их дальше, обобщает, обосновывает *теоретически*. Чувство подчиняется рефлексии, бессознательное анализу сознания. У английских писателей XVII и XVIII веков романтическим называлось то, что выходило за границы привычной действительности и уравновешенной культуры, а встречалось разве в старых рыцарских романах: дикая местность, темные гроты, мечтательная, несущественная любовь. Все это получит место в новом синтезе: мы на почве романтической школы.

С ее воззрениями, приемами, программой надо познакомиться ввиду того, что у нас говорено было о «романтизме» – и романтизме Жуковского 20-х годов.

Что такое поэзия, искусство? Жизнь, природа – отражение бесконечного, но отражение неполное, призрачное; угадать полноту идеала в оболочке конечного может лишь мистически-вдохновенное чувство поэта; Шеллинг назовет его интеллектуальным прозрением; романтики припоминали выражение старого мистика Бёме: Der Blitz, молниеносное откровение. Оно-то и раскрывает смысл реальности, которая сама по себе мертва; «абсолютно-реальна – поэзия», философия – ее теория, «совершенная форма науки должна быть поэтической»; «настоящий поэт всезнающ, он – свет в малом виде» (Новалис). Но это восторженное сознание чередуется с другим, ироническим: сознанием противоречий идеала и его земных форм. Такое восприятие действительности, полное контрастов и грустно-веселого юмора, и есть прекрасное, оно дает ценность жизни, как символа невыразимого, недоступного нам, совершенного. Поэзия настраивает нас благоговейно, ведет к религии; «есть особый умственный, поэтический орган для познания божественного, которое становится непосредственным достоянием чувства, чаяния, совести», говорит Новалис; «поэзия – продуктивная религия». И, наоборот: религиозное настроение – «высшее и чистейшее художественное наслаждение» (Тик). Идеалом является проникновение поэзии в природу, в практику личной и общественной жизни, развитой новыми спросами культуры. Период «гениев» поставил на

очередь вопрос о значении чувства, до тех пор сжатого, упорядоченного требованиями традиционной нравственности в вопросах любви и брака, и решил их в смысле широкой свободы: Якоби проповедовал «платоническую бигамию», Гёте выступил с своими *Wahlverwandtschaften* [«Избирательное сродство»]; романтики переняли это решение, воплотив его в жизнь и поэзию («Люцинда» Фр. Шлегеля), играя такими обновленными сказочными, но рискованными темами, как любовь брата к сестре (романтики, Шелли, Байрон – и праисторический мотив кровосмешения). – К отождествлению: религия–поэзия (философия) пристали другие: когда сердце, отвлекаясь от всей действительности, становится самому себе идеальным объектом, зарождается религия, говорит Новалис; все частные вожделения сплываются в одно, целью которого становится высшее существо, Бог, и страх Божий объемлет все чувствования и стремления. «Если таким объектом будет любимая женщина – это будет прикладная религия». Игра синтеза продолжается: чувственное – материал, оно условие искусства, поэзии-религии; отсюда: религия как скрытая, невыяснившаяся чувственность. – В результате получалось мирозерцание, напоминающее психическое настроение XII–XIII веков: чувственный мистицизм, в котором элемент плотского бывал теоретически заглушен – самообузданием страсти, наслаждением жертвы, и чувственность граничила со святостью (Вернер).

«Жизнь и поэзия – одно», – пел и Жуковский; как и романтики, он пренебрег и позабыл «низость настоящего», но для него жизнь наполнялась сентиментальной семьей, уютной меланхолией. И для него поэзия – сестра религии, но как ее призрак и отражение, не как настроение, которое привело романтиков из бесформенности пиетизма, Гётевского пантеизма, абстрактного религиозного чувства (Шлегель), к историческому и философскому обоснованию религии как необходимой формы сознания, и художественному католицизму. Искание кончилось, жажда положительной веры нашла успокоение, при воздействии *raisons poétique, raisons de sentiment*; первое заглавие штабриановского *Genie du Christianisme* было: Красоты христианской религии. Шли от искусства к религии; Жуковский в ней вырос и лишь старается проработаться от убеждения к благодати непосредственной веры.

Романтики – символисты (к символизму спустился и реалист Гёте – в «Пандоре», во второй части «Фауста»); символисты по призванию и теории. Конечное кругом нас – лишь

символ бесконечного; поэзия прозревает соответствия неба и земли, духовного и вещественного, интеллекта и чувства, сознательного и бессознательного, чудесного и рационального, жизни и смерти, Аполлона и Диониса. Во всем раскрывается единая органическая сущность мира, полярные противоречия мирятся, потому что одна и та же сила бьется в человеческом пульсе и управляет вращением светил; классический образ «андрогина» оживает, с таинственным значением, в фантазии романтиков.

Was in den Himmelskreisen sich bewegt,
Das muß auch bildlich auf der Erde walten,
Das wird auch in des Menschen Brust erregt,
Natur kann nichts in engen Grenzen halten,
Ein Blitz, der aufwärts aus dem Centro dringet,
Er spiegelt sich in jeglichen Gestalten,
Und sich Gestirn und Mensch und Erde schwinget
Gleichmäßig fort und eins des andern Spiegel,
Der Ton durch alle Creaturen klinget.

(Tieck, Genoveva: Schlachtfeld)

[То, что движется в небесных сферах, должно царить и в образах земли, и то же волнуется в человеческой груди, — природа ничего не может удержать в узких границах, молния, исходящая из центра, отражается во всяком образе, и созвездие, человек и земля вибрируют в едином ритме и служат зеркалом друг другу, один тон звучит сквозь все творения. — Тик, Геновева: Поле битвы. (нем.)]

Как чаровница Винфреда в Genoveva'е, так и романтики чувствуют внутреннюю связь явлений, видимо разделенных в природе:

Wie Stern' im Abgrund die Metalle formen,
Wie Geister die Gewächse figurieren,
Wie sich Gedank' und Wille korporieren,
Wie Phantasie zum Kern der Dinge dringt,
Durch Einbildung Unmögliches gelingt,
Wie jeder Stein uns stumme Grüße beut,
Alle Dinge nur sind der Geisterwelt ein Kleid.

[Как звезды в своих безднах вырабатывают металлы, как духи изображают растения, как мысль вступает в сообщество с волей, как фантазия проникает к сути вещей, достигая невозможного благодаря воображению,

как всякий камень несет нам молчаливый привет, — все вещи — лишь облачение мира духов. (нем.)]

Единство мира не только в органическом сосуществовании настоящего, но настоящего и прошедшего: новое может быть только обновлением, развитием старого, ибо общество, государство — живой, сам себя обуславливающий организм; возвращение к народной старине и идеалам средневекового уклада было у романтиков не одним только поэтическим спросом, а исканием органической связи с прошлым, нарушенной посторонними влияниями. Прошлое обязывает. Игра таинственных созвучий и соответствий обнимает всю историю человечества: мы когда-то уже были, чьи-то двойники, идущие навстречу другим, Суане у Новалиса та же Матильда (Heinrich von Ofterdingen), Изида та же Rosenblüte (Die Lehrlinge zu Sais).

Und was man glaubt es sei geschehn,
Kann man von weitem erst kommen sehn.

[И то, что мнится свершившимся, лишь видится вдалеке. (нем.)]
(Heinrich von Ofterdingen)

Старые мотивы метемпсихозы и двойничества являлись в новом освещении, связывая личность идеей атавизма, прирожденности, унаследованной доли. Романтическая драма рока не наследие классической, обновленной Шиллером, а звено того мирового синтеза, который грезился романтикам, который питал их Sehnsucht. Ваккенродер и Brentano сравнивали себя с инструментами, на струнах которого играет судьба.

Такое мирозерцание должно было создавать новое «чудесное», отменявшее старые, неподвижные рамки классического. В два последних десятилетия XVIII века протест против его рассудочной цивилизации выразился поднятием интереса ко всему духовному, сверхъестественному: к магии и жизненному эликсиру, к вызыванию духов и всему демоническому, Фаустам и Мефистофелям. На первых порах даже такие реальные завоевания науки, как открытие кислорода (1774) и гальванизма (1789) послужили материалом для спиритуалистических построений. Животный и земной магнетизм представился той силой, которая связывает органическое и неорганическое, духовное и телесное в одно живое целое. Отсюда увлечение астрологией, она также

раскрывала единство мира; «я совершенно уверен, что наша судьба привязана к небу и звездам», — писал брату Вильгельм Гримм.

Шиллер пишет своего *Geisterseher* [Духовидца], романы Шписа и С^О спустили на площадь новомодную фантастику, тогда как народная фантастика сказок и преданий проходила в поэзию с Виландом и балладами Бюргера.

Так собирались материалы для романтического чудесного и сложилась его теория. Шлегель поставит требования новой «мифологии», которой христианство и его легенды, Кальдерон и народные сказки и восточная фантазия отдадут свои мотивы. И сказка, легенда, забытое народное предание поднимаются в цене. «Невидимое дитя» Гофмана явится к детям бедного дворянина Бракеля, которых учитель Тинте душил чернильной мудростью, и будет играть с ними, сказывать сказки, учить наслаждаться в поле каждой былинкой, в небе каждой звездой. В сущности все в здешнем мире иносказание, сказка, понять и изобразить которую можно только как сказку, говорит Новалис. Для него она «канон поэзии», она, «как сновидение, без связи, смесь чудесных фактов и созвучий, как музыкальная фантазия, гармонические отголоски золотой арфы, как сама природа».

Mondbeglänzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen hält,
Wundervolle Märchenwelt,
Steig auf in der alten Pracht.

[Волшебная ночь, озаренная луной, оковавшая разум, волшебный мир сказки поднимается в своей древнем великолепии.]

(Tieck, Octavian, Prolog).

Соответствия бесконечны, и фантазия работает: у романтиков все *wunderbar*, *wundervoll*, *wundersam*, *wunderlich*, *seltsam*, все чудо, вызывает предчувствие о чем-то неуловимом, настраивает на идею бесконечного. Но чудесное не в одном таинственном, освещенном луною, и не в загробных образах; оно повсюду: у Гофмана оно деется среди бела дня, из каждого повседневного, видимо филистерского акта выглядывает змейка-фея, точно поверх жизни невидимо идет какая-то другая, подсказывая и отрицая, вызывая поочередно приливы пантеистических восторгов и юмора. Чувствительный Стерн был в моде у сентименталистов, Стерн-юморист нашел признание у романтиков.

Когда за объективной видимостью таится другая, незримая, она не описательна, не вызывает непосредственно и на рефлексию; надо чтобы в читателе явилось то особое расположение чувства, то настроение (*Stimmung*), которое сделало бы его внутренне зрячим, способным угадывать бесконечное в конечном, невыразимое в призрачном. Поэты-описатели рисовали природу, сентименталисты размышляли над нею, у романтиков-символистов она не реальна: Новалис желал бы изобразить ее в виде дриады или орады; у Гофмана художник пишет с натуры группу деревьев, а зрителю кажется, «что из-за густых листьев выглядывают разнообразнейшие фигуры, то гении, то странные животные, то цветы», — и художник поясняет, что именно этот способ писать этюды и вносит в пейзаж поэтический, фантастический элемент, элемент неуловимых ассоциаций, втягивающих человеческую жизнь в тесное единение с окружающей ее живою и живущею реальностью. У Тика слагаются причудливые образы: из весенних облаков кивают ручки, на каждом пальце по розе («*Frühling und Leben*»: *Aus den Wolken winken Hände, — An jedem Finger rote Rose*), смеются алые уста — смеются розы; далее фантастическое перенесение: розы вырастают на стебле, «поцелуями, поцелуями любви осыпан куст» (*mit Küssen, mit Liebesküssen der Busch bestreut. «Frühling- und Sommerluft»*); золотые полосы стелят по голубому небу путь солнцу (*Magelone*), а восторг, в который приводит лесное приволье, выражается так, как будто сам поэт был частью леса, обвеянного ветром и птичьей песней:

Mit Fingern, mit Zweigen, mit Aesten,
Durchrauscht vom spielenden Westen,
Durchsungen von Vögelein,
Freun wir uns frisch in die Wurzeln hinein.

(Wald, Garten und Berg)

[С пальцами, с ветвями, с сучками, насквозь пронизанные шелестением играющего западного ветра, пением птиц, мы радуемся, объятые свежестью до самых корней. — «Лес, сад и гора».]

Начиная с романтиков, которым вторил Гёте, наивный психологический параллелизм народной песни начал раскрываться новому спросу: выразить невыразимое.

Это требовало и новых средств языка и стиха. Уже движение *Sturm und Drang*'а поставило задачей создание «гениального»

стиля, сильного и вещественного, черпавшего из Ганса Сакса и народной речи, не боявшегося новообразований и свободной конструкции, элизий и инверсий. Таков стиль молодого Гёте. Романтики пошли далее. Дело не в рисунке, а в возбуждении настроения; здесь почин романтиков неистощим в опытах. Новые эпитеты: обновляется потускневший у сентименталистов эпитет «золотой»; рядом с ним «красный» и «зеленый»: rotes Leben, rote Sehnsucht; grüne Flammen – весенняя листва (Тик). Синкретизм и символизм чувственных ощущений: звуки светятся, птицы – оперенные звуки; синий цвет – цвет страдания и ревности, красный – деятельности и любви; у Гофмана запах темно-красной гвоздики вызывает мечтательность, точно слышишь издалека набегающие и отливающие звуки английского рожка («Крейслериана», 5); А.В. Шлегель изобрел скалу соответствий между гласными и рядом вызываемых ими ощущений: а – красный цвет, юность, радость, блеск, о – пурпур, благородство, великолепие, солнце, і – небесно-голубой цвет, глубокая любовь и т.д. При этом игра в архаизмы языка, не всегда удачные, но возбуждающие представление чего-то не своего, далекого, старинного, легендарного, туманного; любовь к созвучиям, рифмы ради созвучия и рифмы; если бы их изобилие и затемняло смысл, оно мелодически настраивает. «Почему именно содержание должно быть – содержанием поэтического произведения?» – спрашивал Тик («Странствования Франца Штернбальда»). «Можно представить себе рассказы без связи, но в ассоциации, как сновидения; стихотворения, полные красивых слов, но без всякого смысла и связи, разве та или другая строфа будут понятны; точно разнородные отрывки» (Новалис).

Романтики – музыкальные импрессионисты; недаром их герои, графы или бродяги, немислимы без арфы или мандолины, будь они в Италии или в Исландии. «Язык точно отказался от своей телесности и разрешился в дуновение, – выразился А.В. Шлегель о Тике; – слово будто не произносится и звучит нежнее пения»,

...daß alle Pulse zu Klängen werden,
 Daß alle Gedanken in Tönen irren,
 Gefühl und Wunsch und Wahnsinn durcheinander wirren.

[Все пульсации становятся звуками, все мысли блуждают в тонах, чувство и желание и безумие спутались друг с другом. (нем.)]

(Tieck, Genoveva)

Звучные слова неопределенного значения производят то же впечатление, что и музыка, говорит Новалис; в жизни души определенные мысли и чувства — согласные, неясные чувствования — гласные звуки. «Музыка потому выше других искусств, что в ней ничего не понять, что она, так сказать, ставит нас в непосредственные отношения к мировой жизни (Universum); сущность нового искусства можно бы так определить: оно стремится облагородить поэзию до высоты музыки» (Захария Вернер в письме 1803 г.). Для Гофмана музыка — самое романтическое из всех искусств; ее объект — бесконечное, это праязык природы, на котором одном можно уразуметь песню песней деревьев и цветов, животных, камней и вод. Как музыка — праязык природы, так в другом месте образный язык поэзии и религии приравнивается к языку первобытного человека, ответившему действительности, утраченной нами с переходом бессознательного в область сознания, но вечно истинной и еще живой, которую человеку предстоит снова открыть.

И еще одна старая тема обновилась в сюжетности романтиков: миф об Арионе и чудодейственной, жидущей силе его песни.

Исканию настраивающей выразительности ответило и разнообразие лирических форм, введенных в оборот, романских и восточных и навеянных народной песней; романтики мастера терцины и сонета. Преобладание импрессионизма над рисунком сказалось в свободном отношении Тика к вопросам синтаксиса, у романтиков вообще таким же отношением к формам традиционной поэтики, различавшей известные роды, сценические приемы; они, казалось, связывали своей излишней определенностью, телесностью: надо смешать их, играть ими, тогда только они будут «подсказывать». Арабеска, эта наивно-музыкальная, в самой себе вращающаяся линия, представлялась Фр. Шлегелю древнейшей формой человеческой фантазии.

От романтиков перейдем еще раз к Жуковскому. Он не символист их стиля, в сравнении с ними его можно бы назвать классиком; он прост; его чудесное носит специальный характер Юнговых Ночей и Оссиана: оно либо лунное, загробное, либо просто сказочно-страшное. И его притягивает «невыразимое», «неизреченное»; оно и есть прекрасное: недаром он так часто возвращался к толкованию афоризма Руссо: *il n'y a de beau que ce qui n'est pas* [прекрасно лишь то, что не существует]¹. Есть слова для «блестящей красоты», говорит он,

¹ Сл. выше с. 250.

Но то, что слито с сей блестящей красотой,
Сие столь смутное, волнующее нас,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающего глас,
Сие к далекому стремленье,
Сей миновавшего привет
(Как прилетевшее внезапно дуновенье
От луга родины, где был когда-то цвет,
Святая молодость, где жило упование),
Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины,
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие Создателя в создание, —
Какой для них язык?.. Горе душа летит,
Все необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит.

(«Невыразимое»)

«Прелесть природы в ее невыразимости», — писал в 1821 г. Жуковский¹, но средства выражения у него не те, что у романтиков. Я сказал выше, что сентименталисты, по существу, не зрячи (visuels), но к сентименталисту Жуковскому мы поставили бы иные требования: он не только любитель и знаток живописи, но смолода и страстный рисовальщик². Для него, как поэта, это не безразлично. На этом следует остановиться.

Зонтаг рассказывает, как, будучи 4–5-летним мальчиком, он забрался в пустую комнату и мелом срисовал на полу стоявший там образ Боголюбской Божьей Матери; его картина, написанная по 14-му году, осталась в Московском Университетском благородном пансионе³. В 1815 г., в Дерпте, он учится гравировать в мастерской профессора живописи Зенфа; за границей усердно посещает музеи; картины занимают немалое место в его дневнике. Он водится с художниками, Фридрихом, Рейтерном, Кларой и другими, поддерживает их, толкует об искусстве, покупает и собирает⁴. В 1838 г. делает государю и наследнику предложение «о составлении собрания памятников

¹ К вел. кн. Александре Федоровне, Карлсбад 17/29 июня 1821 г. (Русская Старина. Октябрь. 1901. С. 232) = Путешествие по Саксонской Швейцарии.

² Сл.: Сумцов. I. с. С. 106 и след.

³ Шевыр'ев, История Имп. Московского Университета. С. 306.

⁴ Сл. его письма к Северину 1839 г. Русская Старина. 1902. Апрель. С. 154, 155; письма Н.М. Смирнова к Жуковскому. Русский Архив. 1899. № 4. С. 623–627.

искусства средних веков»¹; в 1840 г. пишет императору Николаю Павловичу, что желал бы употребить свое трехлетнее пребывание за границей на ознакомление с теми способами, какие там в ходу для «успешного образования» художников, чтобы приложить эти способы на пользу России²; в 1845 г. принимает участие в деле приобретения в Нюрнберге и пересылки в Россию готического алтаря с живописными копиями рисунков Дюрера³.

Его художественные вкусы выясняются постепенно. В 1821 г. он видел не весть что в Мадонне Рафаэля; в 1840 г. он еще находится под ее обаянием⁴; в 1838 г. он так судит о современной живописи: «Германская (школа): правильность, мысль, Gemüt, правда, иногда сухость. У итальянцев школа и предание без жизни. У англичан экзажерация и в то же время правда, много поэзии. Французы – приятность, без правды, манерность и аффектация; отсутствие мысли или ее неглубокость»⁵. – Правда и Gemüt, «душа» – вот чего он будет требовать от художника. «Die Außendinge sind die Farbe des Geistes [внешние вещи – краски духа], писал ему в 1803 г. Андрей Тургенев⁶; настоящий художник повсюду находит в природе «символ человеческой жизни», – скажет Жуковский о Фридрихе; «красота природы в нашей душе», «главный живописец – душа», – запишет он в своем дневнике (1821 г., 25 июля и 7 сентября) и разовьет эту мысль в письме к Рейтерну: не следует украшать природу, потому что rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable (Boileau) [прекрасно лишь истинное, одно истинное приятно (Буало)], но художник схватывает ее индивидуально, il la saisit de son propre sentiment, car il ajoute à ce qu'elle donne ce qui est dans son âme. Mais cette individualité ne sera autre chose que *l'âme humaine dans celle de la nature*; elle sera pour nous une voix qui parle dans le désert, qui l'embellit et l'anime. Une ruine; p. e., est belle par elle même, mais le *souvenir* qui d'une homme, qu'elle a vu passer, ce souvenir, qui s'y attache vaguement, lui donne un charme indéfinissable... C'est donc l'âme humaine que nous aimons à retrouver partout [он схватывает ее своим собственным чувством, потому что он добавляет к тому, что дает она, еще и то, что содержится в его душе. Но эта индивидуальность – не что иное, как *человеческая душа*

¹ Дневник 1838 г., 29 ноября/11 декабря.

² Из Эмса 1840 г., июль, не издано.

³ Письмо к Северину, Русская Старина. 1902. Апрель. С. 162.

⁴ Сл. его письмо к родным о браке.

⁵ Дневник 1888 г. 25 декабря/6 января 1839 г.

⁶ Сл. выше с. 72.

в душе природы; она, эта человеческая душа, становится для нас голосом, который вещает в пустыне, который ее украшает и одушевляет. Руина, например, прекрасна и сама по себе, но *память* о человеке, которого она видела проходящим мимо, это воспоминание, которое смутно с ней связывается, придает ей прелесть неизъяснимую... Итак, мы любим находить повсюду именно человеческую душу. (*франц.*)]. В другом письме он говорит, что Рейтерн умеет выражать l'extérieur природы, «donnez nous à présent l'intérieur, la nature invisible et grande [дайте нам теперь внутреннее, природу великую и неделимую (*франц.*)]»¹. Это отчасти воззрение Гёте в заметке, которую Жуковский читал: на низшей степени стоит подражание природе, выше художник, умеющий вложить в предметы свое личное художественное понимание; выше всего тот, кто сумеет извлечь из предметов их сущность (Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil [простое подражание природе, манера, стиль. (*нем.*)]). В 1838 г. Жуковский судил о Брюллове, что у него решительно более творческого гения, нежели у всех современных живописцев, «не выключая и Горация Вернета»; если бы «он к своему итальянскому мастерству (Meisterschaft) присоединил и идеальность и глубокое чувство религиозности живописцев германских», он стал бы наряду с первыми живописцами всех веков². Картины его кажутся ему «слишком материальными, подавляющими к грешной земле божественное высшее искусство». Так рассказывает Шевченко: он и Штейнберг учились в мастерской Брюллова, Жуковский, только что вернувшийся в 1830 г. из-за границы, предложил им зайти к нему «полюбоваться и поучиться от великих учителей Германии. Мы не преминули воспользоваться сим счастливым случаем и на другой же день явились в кабинет германофила. Но, Боже! что мы увидели в этом огромном, развернувшемся перед нами портфеле: длинных, безжизненных мадонн, окруженных готическими, тощими херувимами, и прочих, настоящих мучеников живого, улыбающегося искусства. Увидели Гольбейна, Дюрера, но никак не представителей XIX века... Рассматривая эту коллекцию идеального безобразия, мы высказывали вслух свои мнения и своим простодушием довели такого кроткого и деликатного Василия Андреевича до того, что он назвал нас испорченными учениками Карла Павловича (Брюллова) и хотел закрыть портфель перед нашими носами»³.

¹ Gerhard von Reutern I. с. С. 63 и след. С. 104.

² К вел. кн. Марье Николаевне 1838 г., 2/14 июля.

³ Основа. 1861. Август. С. 5.

Жуковского-поэта нельзя представить себе без карандаша: где бы он ни был, куда бы ни явился, он всюду брался за него и рисовал, в Мишенском и Муратове, в Швейцарии, Риме, Швеции; местами его дневник им же иллюстрирован. «Путешествие (1821 г.) сделало меня и рисовщиком, писал он Зонтаг; я нарисовал *au trait* [одними линиями, в виде контура (*франц.*)] около 80-ти видов, которые сам выгравировал также *au trait*. Чтобы дать вам понятие о моем искусстве, посылаю вам мои гравюры павловских видов; так же будут сделаны и швейцарские, только при них будет описание»¹. В 1837 г., когда Жуковский сопровождал наследника цесаревича в его путешествии по России, он любовался вместе с Александром Михайловичем Тургеневым окрестностями Москвы и рисовал; рисовал на всем пути: сохранилось два альбома таких рисунков, один с 176, другой с 93 видами, кое-где обведенными чернилами. В 1839 г. Жуковский налету зачерчивает лучшие виды Рима; «он в одну минуту рисует их по десяткам, и чрезвычайно верно и хорошо», писал Гоголь².

Лишь немногие из этих этюдов стали достоянием публики; образцами могут служить павловские виды и издание «Сельского Кладбища» 1839 г. с видами, снятыми поэтом на кладбище Stock Poges под Виндзором. О виньетке перед «Певцом во стане русских воинов» в издании 1848 г. мы говорили выше³.

Рисунки Жуковского, когда они не наброски, вычерчены обстоятельно и несколько сухо; его привлекали виды, *Kleinleben* и далекие перспективы; реже фигуры и лица; видно искание выразительности в позе, искание правды; недостает красок, освещения. Здесь дополнением служит текст дневников; особенно дневник 1821 г. представляет ряд красочных этюдов с натуры, зачерченных словом, нередко до мелочей. Мы знаем, что многое из этих заметок нашло потом литературную обработку и попало в печать, но в дневнике впечатления наскоро, повторяясь, — свежее, сочнее, ярче; присутствуешь при моменте, когда виденное не только зарисовывается, но и вызывает цветовой

¹ Сл.: Плетнев. О жизни и сочинениях Жуковского. Соч. и переписка П.А. Плетнева. III. С. 87; сл. Русская Старина. 1883. № 2. С. 485—488. Павловские виды, награвированные Жуковским и Клароу в Дерпте, изданы были в 1824 г. в Петербурге в пользу одного несчастного семейства. Брошюра Шторха «Путеводитель по саду и городу Павловску», СПб. 1843 г. также украшена была гравюрами Жуковского.

² Письмо к Данилевскому 5 февраля 1839 г., сл. письма к Жуковскому февраля и 12 сентября того же года.

³ Сл. выше с. 138.

образы, сравнения и — размышления, когда на смену художника является, с его рефлексией, печальный сентименталист.

«Вечер на Lago Maggiore: полумесяц — над холмом, как *колесница*. Восток и Запад. Радужные небеса... Звезды на горах. Ветер. Воды, изменяющиеся вместе с небом. Тихие облака. Одно облако на небе. Цвет Альпов и гор от розового к голубому» (1821 г. 16 августа). «Во весь день Mont-Blanc в клубящихся облаках. В час заката облака вспыхнули и разошлись, и выступила *пламенная голова* великана. Теперь ночь, передовые головы черны, над ними ряд черных голов и звездное небо; Арва шумит; прекрасная сельская картина; исчезание предметов» (21 августа)¹. Образ громадной головы не покидает нас и позже. Вид из С. Мартина: «необыкновенная яркость *полумесяца* (полумесяц приятнее полной луны); *туман, как дым, и звезды, как искры от пожара*. Сход в долину. *Кладбище. Один крест. Маленькая церковь*. Несколько домов. Дорожки. Месяц. Летучая мышь. Петух. Огромные Альпы. Восток чист и ясен; на нем формы Альпов. Все прочие вершины только темные, а Mont Blanc уже светел. От луны около вершины тень, а на вершине нет; разве снизу... Вершины озаряются, все неодинакового цвета с прочим, розово-светлые, а другие голубовато-цветные. Роса пала, облака вились и перевивались около вершин, с одних дымом, а с других *хвостом шлема, покрывалом, всклокоченною бородою*, часть точно *летающие головы опрокинутых великанов*, как гиганты, упавшие навзничь с прикованными к грудям руками и ногами, остатки древнего боя гигантов». И далее то же: облака, «как головы», «бороды по скалам; в этот вечер точно собрание *духов*»; «на Монблане вихорь пламенных туч. *Лица опрокинутых великанов впереди: поле сражения*»; «вихорь облаков, словно *духи*. Несколько темных облаков у ступеней *прокрадываются*. Между тем кузнечики, свежий воздух, яркие звезды, посреди неба несколько парящих летучих облаков, стук цепов, шум воды, уединение, колокол. Все точно в тонком, светлом покрове» (22 августа); «над Тунским озером Оссиановская картина: точно группы туманных воинов с *дымящимися головами*» (9 сентября). Огромное дерево, как *призрак с раскинутыми руками*; «туманы в разных видах, словно *привидения*... облако, как *привидение к каскаду, как две руки*»; «выход луны из-за утесов, словно

¹ Сл. в дневнике под 30 сентября 1821 г. описание Рейнского водопада с обработкой в «Отрывках письма из Швейцарии». Недавно изданный дневник Гёте в этом случае гораздо обстоятельнее, сл.: *Reise in der Schweiz 1797 bearb. von I. P. Eckerthmann* в веймарском издании 34 Bd. 1-e Abt. С. 355 и след.; сл.: *ib.*, p. 378 (письмо к Шиллеру 25 сентября 1797 г.).

голова на огромном туловище» (10 и 11 сентября). — Описание водопадов — фотографическое: сколько струй, какие бьются, а не бросаются; над нами радуга-красавица (22 августа; сл. 10 и 16 сентября). «Удивительный вечер на берегу озера, *тронувший душу до слез*: игра на водах, чудесное изменение; неизъяснимость» (27 августа); «*грусть от прелести и одиночества*» (28 августа). Еще сравнения для облаков: «белые облака, как *вата* или *пух* на синих горах» (2 сентября), «как взбитая *пена* или *вата*», «как *кудри*». Вместо образа — рефлексия: «река, тихо сходящая по плотине — *образ мудрого правления*; плотина, стоячая вода, прососы — *разрушение*» (6 сентября); «смотря на Аарскую долину, мысль о нынешних правителях: они стоят не за себя, а за министров». Удивительная магия разоблачения горной вершины при восходе солнца, *точно как посвящение в какое-нибудь таинство; богиня-природа*; «*вечер облачный едва ли не прелестнее ясного. Душа и несчастье, душа и счастье. Революция и порядок. Вечер облачный и лунный*» (9 сентября). *Затмение гор* вызывает *сравнение с смертью* (17 сентября), другое — *заход солнца*: «*Бог покидает на время видимое творение*»; «видя угасающую природу, приходишь в мысль, что душа и жизнь есть что-то не принадлежащее телу, а высшее; пока они в нем, по тех пор и красота; удалились — формы те же, но красоты уже нет; ничто так не говорит о смерти в величественном смысле, как угасающие горы» (21 и 22 сентября). «Красота не в природе, а в душе человека; свет и душа; революция и горы»; по этому поводу «размышление о греках, сражавшихся за освобождение» (23 сентября)¹. — 24 сентября: «Плаванье в дождь с сильным попутным ветром. Шум дождя и от разрезывания волн лодкою. Впереди волны надуваются, иногда рвы, изредка пена; сзади как будто преследуют, и большие струи пены. Сзади дождь, впереди пристань, сбоку небо! Колыханье. В сильный ветер и в бурю весло и руль, но когда все напрасно, брось все: есть доска. Il y a du sublime à être debout sur une na-

¹ «Le grec est coquin par ce qu'il a beaucoup d'esprit et est esclave; il use de sa force: rendez le libre, il sera héros; faites le esclave, il vous trompera. Il est toujours le plus fort. Les ultras et les libéraux sont tous les deux ennemis de l'ordre; les uns veulent pour leur profit maintenir le désordre existant, les autres veulent le remplacer par un autre désordre qui leur profite. Il vaud mieux attendre que mal commencer, car recommencer est presque impossible» [Грек — плут, поскольку он весьма умен и при этом он раб; он пускает в ход силу: дайте ему свободу, и он станет героем; сделайте его рабом, и он вас обманет. Он всегда оказывается самым сильным. Реакционеры и либералы в равной степени враги порядка; одни хотят в собственных интересах сохранить существующий беспорядок, другие хотят заменить его другим беспорядком, который им на руку. Лучше подождать, чем плохо начать, потому что начать заново почти невозможно. (франц.)].

celle et s'avancer au milieu des vagues [Есть что-то возвышенное в том, чтобы стоять в челноке и продвигаться вперед среди волн. — франц.]». — Человеческая жизнь показывается в этих пейзажах лишь урывками, не нарушая общего впечатления мечтательно-го покоя и «одинокства», плодящего «грусть». «После обеда прелестная прогулка берегом Рейссы; крест, старик и лодка; на мосту несравненное захождение солнца; зеленая роща в огне... утки, рыбак, тростник» (20 сентября).

Пройдет десять с лишком лет, и мы встретим те же характерные черты и приемы в дневнике и письмах 1832 и 1833 гг. «Башни, как привидения. Облака, пожираемые горами» (29 августа 1832 г.); «чувство великого и прекрасного оттого так мучительно, что желал бы с ним слиться: жажда при виде Рейна, стремление при виде Альпов — музыка, поэзия» (5 сентября). «Прелестный вечер: янтарное западное небо. Яркая звезда, как глаз, наполненный слезою» (29 сентября/11 октября); «песни — горные крики» (20 ноября/2 декабря); «сравнение естественной и откровенной религии с утесом без дороги и с дорогою» (13 декабря); «нижние пологие берега, как призраки, черное облако, как орел посреди света. Золотые края облаков над Юрою; снежная тонкая бахрома на ближних облаках, как складки занавеса» (12/25 марта 1833 г.); «небо и озеро слиты прозрачным туманом, сквозь который снежные горы, как волшебный мир» (14/26 марта); «облако над Юрою с золотою гривой» (16/28 марта). «Горная Философия» письма из Швейцарии¹ — образчик рефлексий, разбросанных в дневнике.

Итальянские впечатления Жуковского сдержаннее, Италия не претворила его, как Гёте и, хотя в другом направлении, романтиков. Он не того в ней и искал, хотя писал Козлову, что покидает Италию, как любовник невесту, которую любит страстно. «Все это может обделаться в стихи или хоть в прозу, ибо, как говорит Гёте, *Leid und Freude wird Gesang* [скорбь и радость становятся песнопением]». Но итальянцы ему не понравились, они — «природные актеры. И что за язык! Одушевительная живость, но мало привлекательного для сердца, которое не может быть притянато без простоты и чистосердечия». В Венеции его обуяли исторические воспоминания, и башня в лунную ночь показалась ему призраком².

¹ Сл. письмо к Наследнику из Верне близ Веве 1 января 1833 г. Русский Архив. 1882. I. С. XVI и след. Общая часть печатается, как «Отрывки из письма о Швейцарии» 4/16 января 1833 г.

² К Козлову 9/21 февраля 1839 г.; дневник 23 сентября 1838 г. Сл. дневники 1833 г.: Италия — страна «живописи, поэзии и быстрых страстей, энергических в своем выражении, но минутных» (12/24 апреля); «тихая жизнь здесь не откликается... и чувственное наслаждение туманит каждого» (13/25 апреля).

Перед нами вся палитра Жуковского-художника; его «описания» любили и он грешил их избытком¹. Пейзаж набросан au trait, наложены краски; художник озабочен освещением, игрой цвета и тени, чутко к переливам от «розового к голубому», от «розово-светлого» к «голубовато-цветному». Это сторона *правды*, едва ли впрочем так ярко отразившаяся «в его живописных описаниях природы», как говорил Гоголь²; сам Гоголь, Марлинский куда как цветнее. Жуковскому удастся кроткий лирический пейзаж с «дышащим» озером, по которому лодка оставляет серебряные струи, либо с тенью, идущую по следам пешехода³, или пейзаж с вечным противоречием, вносимым в него человеком, как напр., изображение Бородинской ночи. Таков ответ Жуковского-поэта на требование *sentiment*, *Gemüt*, выражения *de l'âme humaine dans celle de la nature*. При этом его фантастика старая, времен Громобоя: по-прежнему светит луна или полумесяц, который еще приятнее, а в его свете горы, облака, деревья обращаются в гигантские головы, пламенные или дымящиеся, в хвостатые шлемы, духи и привидения с простертыми руками⁴. Нет богатства ассоциаций, пантеистически обнимающих весь мир, везде раскрывающих символы — под опасением заслонить живую природу дриадами и ореадами. Не в немецких ли романтиков метит Жуковский, когда в дневнике 1839 г. (23 апреля/5 мая) ставит вопрос: «отчего живописная поэзия в особенности принадлежит Англии, несколько Швейцарии, мало Италии и Франции, Германии — более *фантастическая*? *Искусство украшать природу особенно в том, чтобы ее прятать*». — Размышления по поводу (тихо сходящая река — и мудрое правление, революция — и горы и т.д.), рассыпанные в дневниках, стоят как бы на пороге того поэтического отождествления, где чувственное и мысленное, природный и волевой акты сливаются — в параллелизмах народной песни и в пантеистических формулах

¹ 10 января 1815 г. И.И. Дмитриев в письме к А.И. Тургеневу выражал желание, чтобы Жуковский «наблюдал более экономии в описаниях и не повторял бы, как иногда случается, одной и той же мысли. Тогда прекрасные стихи его были бы еще совершеннее». Русская Старина. 1903. Ноябрь. С. 707.

² «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенности» (Соч. Н.В. Гоголя. Изд. X. Т. IV. С. 179).

³ Сл. напр. его письма с Женевского озера 4 и 29 января ст. ст. 1833 г.

⁴ В 1831 г., толкуя с Мельгуновым о Саксонской Швейцарии, Жуковский сказал, что именно там ему стало понятно, «почему в горах так много сказок о духах и волшебстве. Нигде туманы так не живописны, как в горах, нигде в них нет столько фантазии, как там; они творят сказки; жители только переводят их на язык». Сл. Н.А. Белозерская, Кн. Зин.Ал. Волконская. Исторический Вестник. 1897. Апрель С. 148.

романтиков. И Жуковский чувствует мучительное желание слиться с прекрасным и великим в природе, но останавливается перед ней в сентиментальной рефлексии, в грусти «от прелести и одиночества», и ставит вопросы о «душе и счастье» и жизни, угасающей, как гаснут горы, когда «Бог покидает на время видимое творение».

Слышится старая, грустно-баюкающая, младенчески-задушевная дума Жуковского. Она невольно просилась на музыку; недаром музыка была для него чем-то «божественным», несущественным, манящим на воспоминания¹, открывавшим тот «незнаемый край», откуда ему «светится издали радостно, ярко звезда упования»².

Эта мелодичность «настроения» очаровывала современников и в его слоге. «Был ли такой слог до Жуковского? — писал еще в 1819 г. (7 августа) кн. Вяземский Ал. Тургеневу. — Нет! Зачинщиком ли он у нас поэтического языка?.. Что вы ни думали бы, а Жуковский нас переживет. Пускай язык наш и изменится, некоторые цветки его не повянут. Стихотворные красоты языка могут поблекнуть, поэтические всегда свежи, всегда душистые». Именно «стихотворные красоты» и вызвали противоречие: письмо к Марлинскому, подписанное «Житель Галерной гавани», представляет сплошную насмешку над языком и стихом «немецко-русской баллады „Рыбак“». Статья эта возбудила оживленную полемику, в которой приняли участие Булгарин и Воейков и др.³, но потребность защиты осталась и позже: знакомые нам отзывы Пушкина и Рыльева⁴ звучат и признанием и апологией; в том же (1825) году кн. Вяземский говорит об успехе Жуковского в состязаниях с богатырями иностранной поэзии, состязаниях, где он должен был *покорить самый язык* и обогатить столькими завоеваниями и дух и формы и пределы нашей поэзии⁵.

Несколько лет спустя ближе подошел к этому вопросу Полевой. «Однообразие мысли Жуковского как будто хочет... за-

¹ Сл. выше стр. 246.

² «Стремление» 1827 г. Стихотворения Жуковского клали на музыку его приятели Плещеев и Вейраух, затем Кашин, Булахов, Бортнянский, Верстовский, Глинка и др. Сл.: Русские Ведомости. 1902. № 123 (Жуковский в музыке).

³ Сл.: Остафьевский Архив. Т. II, примечание к письму кн. Вяземского к Ал. Тургеневу 9 февраля 1821 г. Статья «Жителя Галерной Гавани» (Ор. Мих. Сомова) напечатана в «Невском Зрителе» 1821 г. Ч. V. Январь. С. 56–65. «Рыбак» явился в 1818 г. в первой книжке «Для немногих».

⁴ Сл. выше с. 367.

⁵ Полное собр. соч. кн. Вяземского I. С. 181.

меняться *разнообразием формы стихов*. Ни один русский поэт не писал у нас метрами столь многообразными: многие из них до Жуковского были вовсе без употребления, а Жуковский ввел их в моду»¹; «если не ошибаемся, Жуковский первый (?) употребил дактилические окончания в русском стихе; гекзаметр был для него тоже не средством избежать монотонии шестистопного ямба, но музыкальным новым аккордом; он употребил таким же средством пятистопный ямбический стих и потому же писал он много пьес смешанным четырех- и трехстопным ямбом. В „Шильонском узнике” осмелился он употребить сплошь рифмы мужеские и умел не быть однообразным и утомительным. В „Замке Смальгольмском” употреблен через стих трех- и четырехстопный анапест, и в некоторых стихах двойная рифма, на конце и в середине стиха... *Все сии изменения метра показывают отличное знание русского языка*». Не то говорится о ранних поэтических опытах Жуковского: «их можно назвать мечтаниями влюбленного юноши, который изъясняет любовь свою чужестранке на родном ее языке, говорит *неверно, ошибочно*, но пламенно. Язык, образ выражения Жуковского взяты были им у немцев».

Я не останавлиюсь на вопросе о действительных новшествах Жуковского в области метра; многое восходит к почину Карамзина; разница в том, что один сочинял стихи, у другого стихи были естественным музыкальным выражением чувства, элегического, как те «призывные звуки», унылые и приятные, благовест, который манит Вадима. Полевой отметил именно «музыку языка» Жуковского; поэт «играет на арфе: продолжительные переходы звуков предшествуют словам его и сопровождают его слова, тихо припеваемые поэтом только для пояснения того, что хочет он выразить звуками. Бессоюзие, остановка, недомолвка, — любимые обороты поэзии Жуковского»². Ее характеристика — «певкость»: «нельзя назвать стихов Жуковского гармоническими: гармония требует диссонанса противоположностей — фуг поэтических; ищите гармонии русского стиха у Пушкина: у него найдете булатный, закаленный в молнии стих и кипящие, как водопад горный, звуки; но не Жуковского это стихия. Его звуки мелодия, тихое роптание ручейка, легкое веяние зефира по струнам воздушной арфы. Будучи в этом самобытен, Жуковский никогда не утомляет — нет! Он очаровывает вас, пленяет дробимостью метра, мелкими трелями своих звуков»³.

¹ Очерки I. С. 123.

² Ib. 139, 114, 115, 123.

³ Ib. 138–139.

Несколько исторических справок доскажут кое-что недосказанное в характеристике Полевого, удалив кажушиеся противоречия.

Жуковский вышел из псевдоклассической школы, быстро уступавшей влиянию сентиментальной; первая надолго оставила в его стиле свои следы – в пристрастии к далеко не поэтическому олицетворению: Сила, Глад, Страх, Любовь, Труд, Дружба, Вера, Насилие, Свобода, Судьба, Кара, Ужас, Человечество, Погибель, Покой, Беда, Счастье, Страданье, Весть, «веселая Молва» и «печальный Слух» («Рустем и Зораб») и т.д. Сентиментальная поэзия дала формы его чувству, но оно хочет высказаться точнее в своей неопределенности, разнообразнее в своем однообразии. Оно ищет новых способов выражения; немецкая лирика указывала пути; начался период борьбы с языком, о котором говорит Вяземский, период германизмов, которые вызывали укоры не одного Полевого; Мерзляков приводил своим слушателям стихи Жуковского в пример галиматьи. Следы борьбы остались и тогда, когда «в бореньях с трудностью» Жуковский оказался «силач необычайный». В «Вадиме» читаем:

И под воздушной пеленой
Печальное вздыхало.

Этого не понять, если не припомнить ранний навык поэта к аллегории и немецкие выражения вроде «das Ewig-Weibliche [вечно-женственное]». Еще непонятнее такое же отвлечение в женском роде: «И *верная* незримо с нею» («Цвет Завета»). Сюда же относится и выражение в переводе Шиллеровой «Эммы» (1819). Дело идет о чувстве любви, которое, раз зажженное в сердце, не умирает:

Ihrer Flamme Himmelsglut
Stirbt sie wie ein irdisch Gut?

[Небесный жар ее пламени – разве он умирает, как земные блага?]

Небом в сердце зажжено
Умирает ли *оно*?

Это «оно», наводящее некоторый трепет своею невесомостью, производит впечатление и в «Вадиме»: «звенит», «молчит», «чер-

неет». Нам знакомы: *там и здесь, розно и «веселое вместе»* («Эолова арфа»), возведенные в существительные.

«Бессоюзие, остановка, недомолвка» (Полевой) — все это может быть объяснено лирической возбужденностью, но попадают и странные анаколюты, не внушенные подлинником:

С женихом рука с рукой,
Взор любовью распаленный,
И гордясь сама с самой,
Благ своих не постигает.

(«Кассандра», 1809)

Второго стиха нет в оригинале, последний не отвечает Шиллеровскому: *Ihre Wonne faßt sie kaum* [едва постигает ваши (т.е. небожителей. *Ред.*) блаженства]. Резкий пример представляет «Наль и Дамаянти»; речь идет о Дамаянти: «с полною тяжкими вздохами грудью (*Временем щеки, как жар, временем бледные, Очи — полные слез, засохшие губы и все в беспорядке Мысли, как волосы*) день и ночь Дамаянти вздыхала»¹. Германизмом отзываются: «я там дни мирные вела» («Вадим»), «страшного одра кругом» («Громобой»); «все собрались тебя вокруг» («На приезд вел. княгини Анны Павловны, принцессы Оранской», 1824 г.²; то же употребление «вокруг» после существительного у Державина); «дряхлый мой отец повлекся бы ко гробу» («Громобой»); «ничтожности алчный» («Аббадонна»); «не мысли в небеса» («Утешение в слезах» из Гёте, 1817 г.).

Рядом с этим — фразеология XVIII века, с ее славянизмами и архаизмами (внуши *вм.* услышь, «Гимн из Томсона»; ревуше буре, очес, устен, «Громобой»; крыле «Адельстан») и словоупотреблением, в котором едва ли удастся выделить личный почин Жуковского: ток (= течение, «Вождю победителей»), предел, в смысле совершенство, чего выше нет («Желание» из Шиллера, «Песнь барда»); жило (= жилье, «Адельстан»; то же у Крылова); людство, повременно («Громобой»); уж солнце жгло с полунебес («Вадим»; сл. «Странствующий Жид»: в западном полнебе; сл. у Державина: на полсвете) и др. — Уже в 1802 г. журнал

¹ Сл.: Friedr. von Rückert, *Nal und Damajanti*, 2-er Gesang: Mit von Schluchzen beklemmtem Odem, — Die Wangen wechselnd rot und blass, — Die Lippen trocken, die Augen nass, Ihre Gedanken zerstreut wie ihr Haar, — Ach, ach, seufzte sie immerdar. [С дыханием, затрудненным вздохами, — со щеками то красными, то бледными, — с сухими губами и влажными глазами, с мыслями столь же спутанными, как ее волосы, — ах, ах, она то и дело вздыхала.]

² Бумаги В.А. Жуковского. С. 91–92.

Панкратия Сумарокова посмеялся над манией необычных, сложных эпитетов, так ярко звеневших на лире Державина¹, в 1821 г. «Невский зритель» напал на пристрастие к ним Жуковского, пародируя его (дождливожелтый, ветренорыжий и т. п.), подчеркивая «прохладноголубой свод неба», «знойную вышину» и «родное дно», которые теперь не вызвали бы протеста; в 1826 г. «Телеграф» отметил чрезмерное обилие эпитетов в «Марьиной Роше». Эта склонность, или слабость, осталась у Жуковского и позже; его выбор и творчество не всегда удачны: он любит причастные прилагательные: златимый, дробимый («Эолова арфа»), разима («Старушка»), мужеством стремимый («Рустем»), яримый («Странствующий Жид»), богами внимаем (Отрывки из Илиады); насупленная дубрава («Песнь барда»), предострашенный («Громобой»), благовещающие персты («Вадим»; сл. там же выражение: разинув персты); затем: туманистый («Громобой»), сопричастный («Послание к имп. Александру» и passim), скала пожарная (= где был пожар, «Певец в Кремле»); нетленный булат («Гаральд»); приливное море, напорные волны (из Овидия; сл. образ: бурных волн сугробы, «Плавание Карла Великого»), предвещательный ужас, безотпорная смерть, защитное место, замечательное (=внимательное) око («Разрушение Трои»); мирительное пение, гривистый шлем (Отрывки из «Илиады»); защитная кровля (Одиссея), подозрная башня («Рустем и Зо-раб») и др.

Сложные эпитеты встречаются уже в его ранних произведениях (белорумяная заря, «Майское утро» 1797 г.; державинское: огнепернатый, «Могущество, слава и благоденствие России»; огнечешуйчатый хребет, «Пиршество Александра» 1812 г. и т.д.) и далее плодятся и разнообразятся. Уже переводы из Вергилия («Разрушение Трои» 1822 г.) и отрывков Илиады (1828 г.) указывают на некоторую виртуозность, создавшую пошиб, к которому приучились, как к поэтическому; Илиада Гнедича вышла лишь в 1829 г. В «Разрушении Трои» встречаем: ливноогромный, неизбежноужасный, неслыханнострашное чудо, бесполезноприскорбная повесть, робкобезмолвный;

¹ Журнал приятного, любопытного и забавного чтения. I. 1802. С. 111—115: Ода в громко-нежно-нелепо-новом вкусе:

Жемчужно-клюковно-пожарна
 Выходит из-за гор заря...
 В уныло-мутно-кротки воды
 Глядятся черны хороводы
 Пунцово-розовых ворон и т.д.

в «Отрывках» не только крепкозданный, крепкостенный, но и крепконагорные стены; башневенчаный; меднокованный, медноогромный шлем, меднолатые фокееане; копье тяжелоогромное, Ифест медленнотяжкий; обильномедлительный ток, обильнобогатый, плоднообильный; винобогатый, хлебодарный Закинф, сладостновкусный; чернооблачный Зевес, черногустые брови; красноопоясанная дева (то же у Державина) — и космолапый лев. — Когда в 1837 г., путешествуя с наследником по России, Жуковский набросал карандашом первую редакцию перевода «Наля и Дамаянти»¹, усвоенная им схема сложного классического эпитета уже владела им настолько, что, пересказывая текст Рюккерта, он невольно затирает восточный колорит его выражения, передавал кое-какие эпитеты, иные, лишние, созидал в обычном своем стиле: тихонравная, сладкоприветная дева, сердцевластительный, зоркоспокойный (starr von Augen), огненно-темный взор (großaugig-schmachtende), беспыльноэфирные одежды, лазурновоздушное пространство, светлонетленные венки (steif unwelkende), отголосножалобный крик, небесносмирная прелесть, игрок коварноискусный, неподвижнопрозрачные воды; грозноотважный; любопытноотважная змейка (flink neugierig) и др. Сложные эпитеты «Одиссеи» и «Рустема и Зораба» (1846—1847) представляют такой же подбор новообразований, часто невнятных: звонкопространные сени, тучнополянистый город, многодарная земля, шумнонеистовый сонм, вкуснообильный, длинноогромный (Одиссея); роскошнолакомый, железножилистый, задумчивобезмолвный, безумнобешеный, прискорбносладостная речь, гневноогненные очи («Рустем и Зораб»).

Если под сложными эпитетами разуместь те, которых части взаимно определяют (сердцевластительный), либо соединяются в новом целом, представляющем как бы оттенок вошедших в его состав (огненнотемный), то целая группа таких эпитетов у Жуковского является соединением элементов, содержательно самостоятельных и лишь последовательно входящих в район впечатления. В спокойном (или неспокойном) взгляде мы прочтем и зоркость, но художник разом видит целое, быстрому объединению впечатлений отвечают сочетания: зоркоспокойный, неподвижнопрозрачные воды; Замора окружена «Светловлажными руками Быстрошумного Дуэра» («Сид» II,

¹ «Наля и Дамаянти» он читал в 1832 г.; 3 декабря н. ст. переведены были семнадцать первых стихов, после чего перевод остановился. Сл. дневники 1832 г. под 3 и 5 декабря н. ст.

1831 г.); «влажносеребряный» свод воды («Ундины», гл. XIII), «радостностройная» («Наль и Дамаянти»: schön gehüftet); в «полуясное утро» ручей мог действительно показаться «черноблестящей» нитью или струйкой (дневник 11 сентября 1821 г.). Так легко было дойти и до нерациональных «светлонетленных венков». Во многих случаях поэта мог связывать немецкий подлинник, но сказывалось в произведениях поздней поры и долгое отчуждение от живой русской речи. В «Странствующем Жиде» встречаем «беспреградно» в смысле «беспрепятственно», «неоглядкой побегал» и целый ряд оборотов, над которыми пуристы 20-х годов покачали бы головой: «полет непритеснимый», «железномертвая несокрушимость», мученик «усвоил» меня «в благодарном взгляде»; «моя судьба переломилась на двое» (entzwei?); корабль прикован к берегам — «цепью бури».

Из такой-то борьбы с языком, в поисках новых средств выражения, вышел стиль Жуковского, отложились его любимые сравнения, поэтические образы: сходит «ночная, *росистая* тень», «ветер *улегся* на спящих листьях», звук арфы «тише дыханья *играющей в листьях прохлады*» («Эолова арфа»); лес полон «*душой весны*», слышен «шум *теплых облаков*»; образ «*молодого рассвета*» чередуется с представлением ангела востока, который в тишине

На край небес взлетает
И по туманной вышине
Зарю распространяет.
(«Вадим»)

Мы знаем, как воздушно передана Жуковским песенка из Шатобриана¹; интересна и песня водопада в переводе «Ундины» гл. 9. Жуковский передает прозу Ла Мотт Фуке пятистопным ямбом, включив в его размер песню, которая и в оригинале написана стихами, стремящимися к звукоподражанию:

Rascher Ritter,
Rüst'ger Ritter,
Ich zürne nicht,
Ich zanke nicht:
Schirm nur dein reizend Weiblein so gut,
Du Ritter rüstig, du rasches Blut.

[Быстрый рыцарь, бодрый рыцарь, я не сержусь, я не бранюсь, береги лишь свою прелестную женку, ты, бодрый рыцарь, ты, быстрая кровь.]

¹ Сл. выше с. 214.

У Жуковского тембр другой:

Ты смелый рыцарь,
Ты бодрый рыцарь,
Я силен, могуч,
Я быстр, гремуч;
Не сердиты
Волны мои,
Но люби ты,
Как очи свои,
Молодую, рыцарь, жену,
Как живую люблю я волну.

Слышно, как волна присмирела, утихает.

Как тщательно работал Жуковский над своим стихом, показывают его черновые, им же перебеленные рукописи, частые переделки уже напечатанных произведений для нового издания. Что было бы с наслаждением поэта, когда бы он мог производить без труда? Все бы очарование его пропало? — писал он по поводу Пушкина, которому не даром доставались его «легкие, летучие стихи»¹.

Будущему исследователю стиля Жуковского переводы его дадут богатый, хотя далеко не равномерный материал. Они составили и еще составляют его славу. Сравнение с романтиками подсказывается само собой. Они прислушались к Гердеру и, в поисках живой струи, которая обновила бы формы и содержание поэзии, открыли ее в классических образцах всемирной литературы. Одна сцена Тиковского «Цербино» представляет «вертоград поэзии», полный деревьев, цветов, птиц и красок, все поет, говорит, шепчется — и поэты всех времен и народов собрались вокруг богини поэзии. Сон в руку: Фосс переводит Гомера, Лессинг, Виланд — Шекспира; за ними двинулись романтики: Шекспир, Кальдерон, Сервантес, Данте и Веды, поэзия Востока и Запада были усвоены, явились точные переводы, старавшиеся сохранить дух подлинников, народный колорит писателей, их метры. А.В. Шлегель, вторя Бюргеру, высказавшемуся по этому вопросу, требовал от перевода индивидуальной правды, от переводчика соблюдения стихотворной формы, стиля, настроения оригинала. В другой раз он подчеркнул не столько требование правды, сколько — творчества переводчика: перевод представился ему настоящим поэтическим актом, новым созданием; можно доказать, говорит он, что человеческий дух ничего

¹ Соч. Жуковского. Изд. 7-е. VI. 438.

иного не делает, как переводит, и сам он, Шлегель, постоянно пребывает в поэтическом прелюбодеянии, потому что не может прочесть ни одного стихотворения без желания усвоить его себе. Подобный взгляд находим и у Новалиса: он различает ученый, грамматический перевод от «мифического», передающего не художественное произведение, а его идеал; образца такого перевода еще нет: в известном смысле греческая мифология такая именно передача греческой народной религии. Есть еще и третий род перевода, свободно изменяющий подлинник, причем автор становится к своему оригиналу в такие же отношения, в какие «гений человечества к отдельному лицу», переводчик является «поэтом поэта».

Жуковскому следует, с его же оговорками, уделить место в последней категории.

Флориан утверждал, что «самый приятный перевод есть, конечно, и самый верный», и требовал от переводчика, чтобы, сохраняя мысль автора, он ослаблял, смягчал иные выражения, «черты дурного вкуса». Переводчик Флорианова Дон Кихота усвоил этот взгляд и повторил его в статье, переведенной им с французского: в переводе можно иногда жертвовать и точностью, и силою ради гармонии, как в музыке «верность звуков должна уступать их приятности»¹.

Требование смягчения, ослабления, приятности делает всякий перевод подражанием; но подражание может быть творчеством. На этой точке зрения стоит заметка «О басне и о баснях Крылова» (1809). Жуковский определил себя сам. «Подражатель стихотворец может быть автором оригинальным, хотя бы он не написал и ничего собственного, — говорит он. — Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник... Поэт оригинальный воспламеняется идеалом, который находит у себя в воображении; поэт подражатель в такой же степени воспламеняется образцом своим, который заступает для него тогда место идеала собственного: следственно переводчик, уступая образцу своему пальму изобретательности, должен необходимо иметь почти одинакое с ним воображение, одинакое искусство слога, одинакую силу в уме и чувствах. Скажу более: подражатель не будучи изобретателен в целом, должен быть им непременно по частям: прекрасное редко переходит из одного языка в другой, не утратив несколько своего совершенства. Что же обязан делать переводчик? Находить у себя в воображении такие красоты, которые могли бы служить заменой, следовательно

¹ О переводе вообще и о переводах стихов в особенности. Вестник Европы. 1810. № 3. С. 190–198.

производить собственное, равно превосходное: *не значит ли это быть творцом?*» – В отчете о трагедии Кребиллона «Радамист и Зенобия» в переводе Висковатова (1810) уже предполагается известным, «что переводчик стихотворца есть в некоторой степени сам творец оригинальный», творец выражения. Выражений автора оригинального он не найдет в своем языке, он должен их сотворить. «А сотворить их может только тогда, когда, наполнившись идеалом, представляющимся ему в творении переводимого им поэта, преобразит его, так сказать, в создание собственного воображения; когда, руководствуемый автором оригинальным, повторит с начала до конца работу его гения».

Жуковский долго колебался между Попе и Фоссом, как переводчиками Гомера, между сухой точностью Фосса, сохранившей, однако, «более истинного Гомерова духу и Гомеровой простоты», и жеманной стихотворностью Попе, исказившей то и другое. Когда много лет спустя, после первых попыток «угадать» Гомера, он принялся за свой перевод Одиссеи, вопрос о «замене», о «собственном» поставится снова, но решен осторожнее: «перевод Гомера недалеко уйдет, если займется фактурой каждого стиха отдельно, ибо у него нет отдельных стихов, а есть поток их, который надобно схватить во всей его полноте и светлости; надобно сберечь всякое слово и всякий эпитет и в то же время все частное забыть для целого»¹, осторожно выбирая слова, избегая всякой новизны, стараясь возвратиться к «языку первобытному», восстановить наш «изношенный язык в его первобытной свежести» (к Киреевскому 1844 г.).

Таковы признания старика – переводчика Гомера²; до тех пор он, как переводчик, был *творцом* в указанном им смысле слова,

¹ Сл. письмо Жуковского к Стурдзе (10 марта 1849): «я старался переводить *целое*, желая сохранить общий эффект Гомерова слога, которого отличительный характер: *не отдельные разительные стихи, а богатый поток целого*. Поэтому в иных, немногих местах я предпочитал целое отдельному и жертвовал отдельными стихами совокупному эффекту» (Русская Старина. 1902. Май. С. 396).

² В письме к Фогелю Жуковский как будто распространяет критерий *точности* на всю свою переводческую деятельность. Фогель просил его сообщить ему какой-нибудь немецкий перевод его стихотворений; такого у меня нет, отвечал Жуковский, «могу однако ж указать вам *легкий способ познакомиться со мною, как с поэтом, т.е. с лучшей моей стороны*». Он советует Фогелю перечесть в подлиннике стихотворения, переведенные им из Шиллера (12), Гёте (Erlkönig, Die Vergänglichkeit), Гебеля (6 или 7), Рюккерта (Наль и Дамайнти, Рустем и Зораб) и Ла Мотт Фуке (Undine in Hexametern) и кончает письмо: «читая все эти стихотворения, верьте или старайтесь уверить себя, что они все переведены с русского, с Жуковского, или vice versa: тогда вы будете иметь понятие о том, *что я написал лучшего в жизни*; тогда будете иметь полное, верное понятие о поэтическом моем даровании, гораздо выгоднее того, если бы знали его in naturalibus» (Русский Архив. 1902. Май. С. 145).

прелестно пересказывавшим подлинник, если он отвечал его настроению, но беззаботно игравшим воображением там, где его «замены» шли вразрез с оригиналом; не без «замен», как известно, осталась и Одиссея.

У этих замен есть своя история; она поможет нам разобраться в том, что Жуковский называл своим творчеством¹.

К 1801 г. относится первый опыт перевода Греевой Элегии, не-напечатанный при его жизни; Карамзин нашел его неудачным²; за ним быстро последовал пересказ, который Жуковский и позже называл переводом и к тексту которого не раз возвращался: «Сельское Кладбище» (1802). Это уже акт усвоения: местные черты (имя Кромвеля) исчезли, из перевода 1801 г. перешел в подражание «шалаш» поселянина, чего у Грея нет³; нет у него и «чувствительного певца»⁴: он принадлежит пересказчику. У Грея говорится о сонном звоне колокольчиков, убаюкивающих стадо; в переводе 1801 г. они обратились в рог («лишь слышится вдали пастуший рог унылый»), который остался и в подражании («лишь слышится вдали рогов унылый звон»); при новом переводе Элегии в гекзаметрах⁵ текст Грея был принят во внимание, но «рог» остался: «рог отдаленный, сон наводя на стадо, порой невнятно раздастся».

В начале замена могла быть следствием неполного знания языка, именно немецкого, с которым Жуковский освоился поздно⁶; чаще — мирозерцания поэта, которого надо было пересказать. Мы знаем уже, что Шиллер-философ не по плечу Жуковскому (сл. «Мечты» 1810 г. = Идеалы Шиллера), как и его антикизирующее направление; отсюда пропуски и недомолвки в переводе. Счастливы те, которым от рожденья улыбнулись боги, говорит Шиллер в своем «Das Glück»; славен Ахилл, сам Гефест сковал ему меч и щит, вокруг него, смертного, вращается великий Олимп; то есть боги принимают в нем участие; у Жуковского («Счастье» 1809 г.): «Смертный единый все древнее небо в смя-

¹ О Жуковском как переводчике сл.: Чешихин. В.А. Жуковский как переводчик (Рига, 1895 г.); Шестаков. Заметки к переводам В.А. Жуковского из немецких и английских поэтов, Казань 1902 г. (Чтения в обществе любителей русской словесности в память А.С. Пушкина при Имп. Казанском Университете).

² Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти (М., 1869). С. 182.

³ 1801 г.: «Усталый земледел задумчиво идет — В шалаш спокойный свой»; 1802 г.: «Усталый селянин медлительной стопою — Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой».

⁴ «Он кроток сердцем был, чувствителен душою, Чувствительным Творец награду положил».

⁵ Конч. 23 июля 1839 г. Сл. дневники.

⁶ Сл.: Тихонравов. Соч. Т. III. Ч. I. Примечания. С. 74, прим. 270. С. 80, прим 355.

тень приводит»; самого бога увенчало отмеренное ему счастье, выразился Шиллер: *das gewogene Glück*, мойра, судьба, которой, по греческому понятию, подвластны и боги, и люди. Жуковский опустил эту характерную черту. — В другом подобном случае он прибегнет к замене: Гётевский *Wanderer* обращается к мальчику: ты родился на развалинах священного прошлого, пусть же покоится на тебе его дух; кого он обвеет, тот в божественном самосознании (*Götterselbstgefühl*) будет наслаждаться каждым днем; у Жуковского: «Тот в сладком чувстве бытия — Златую жизнь внушает». Аромат древности испарился, как устраняются в иных случаях черты слишком реальные, наивные в своей жизненности и народном колорите; Жуковский их смягчает, в этом отношении не пощажен даже его любимец Гебель; уже Пушкин указал на эту склонность Жуковского по поводу его «Людмилы». Смягчено, покрыто флером меланхолии и мечтательности и все казавшееся слишком чувственным; Жуковский «девствует», как выразился по его поводу кн. Вяземский. В «Пиршестве Александра» (из Попе) обойдена сцена, где царь склоняется на грудь Таисы; в «Пустыннике» (из Гольдсмита) отшельник Эдвин узнает свою милую, Мальвину, и страстно прижимает ее к сердцу; у Жуковского он падает к ее ногам и лобзает их, нет языка страсти, да и пустынный назван почему-то «старцем», что вовсе не отвечает содержанию баллады. Так и в переложке «Пери» 1831 г. удален эпизод любви, бывший в переводе 1821 г. («Пери и ангел»). «Орлеанская Дева», образец «удивительной верности перевода» по мнению кн. Вяземского¹, полна такого рода умолчаний, тогда как в других случаях усилен элемент мечтательности (напр. «Голос с того света» Шиллера = *Thekla, eine Geisterstimme*), либо подчеркнута какая-нибудь черта, придающая всему колорит таинственности.

При таких приемах перевод незаметно склонялся к вольному пересказу, подражанию, которое порой Жуковский не отличал от перевода. В борьбе с оригиналом он погружался в него, овладевал несколькими его моментами, которые были ему по сердцу, ему подсказывали, — и начиналась игра замен, урезываний и дополнений. Являлись лишние эпитеты, описания природы, распространение тех, которые уже были в подлиннике, новые строфы: Шиллерово *An Minna* («Идиллия» 1806 г.) получило таким образом первую вводную строфу, окончание «Гимна» (подражание Томсону 1808 г.) изменило подлиннику для

¹ К Тургеневу 1819 г. 13 августа.

лирической вставки; целая строфа («Как незапным дуновеньем») вставлена в балладу Уланда («Алонзо», у Уланда: «Дуранда»), три (4–6-я) в переведенного из Саути «Варвика» (Lord William). Уже Зейдлиц указал на стихи, вставленные Жуковским в перевод «Наля и Дамаянты» и обратившие индийского злого духа Кали в христианского «искусителя»; он же отметил в «Рустеме и Зорабе» отголоски прежнего «романтизма» Жуковского в таких внесенных им эпизодах, как рассказ о причитании Гурдаферид и прощании с конем¹. Вся характеристика Ундины в пятой главе поэмы (1836) принадлежит Жуковскому; она для него психологически характерна, его поэтический идеал:

каким-то

Райским виденьем сияла она: чистота херувима,
Резвость младенца, застенчивость девы, причудливость никсы,
Свежесть цветка, порхливость сильфиды, изменчивость струйки.
Словом, Ундина была несравненным, *мучительно-милым*,
Чудным созданием; и прелесть ее пронизала, томила
Душу Гульбранда, как прелесть весны, как волшебство
Звуков, когда мы так полны *болезненно-сладкою думой*.

И, наоборот, в послании к Батюшкову (1812) внесен эпизод из Шиллеровой *Teilung der Erde* [«Раздел земли»]².

Еще шаг, и подлинник станет для Жуковского как бы мотивом для пересоздания, для того, что он называл подражательным творчеством. «Суд в подземелье» — пересказ Вальтер Скоттова «Монастыря», составляющего вторую песню «Мармион». У Вальтер Скотта Мармион увлек молодую монахиню Констанцию; она любила его, следовала за ним всюду в костюме пажа; когда он задумал бросить ее для выгодного брака, она пытается удержать его любовь, связать его с собой участием в его преступном подлоге. На суд она предстала бледная, слабая, но она собралась с силами, и ее речь — откровенное признание любви и проступка и, вместе, самозащита, переходящая в угрозу монахам-палачам, рабам кровавого Рима. Жуковский сохранил то, что можно бы назвать декорацией, обстановкой рассказа: поездку монахинь на суд, их болтовню, легенды о местных святых, но Матильда (вместо Констанции) не действует и не говорит, «оцепенев стоит она», и то, что рассказывается о ее побеге, как-то призрачно-балладно: она вышла из монастыря

¹ Зейдлиц I. с. С. 193–194, 219.

² От: «Ты помнишь ли преданье» до «Ты презришь мир земной».

в платье мертвеца, с лампадой и кинжалом, видит «на дороге след в густой пыли копыт и ног; и слышен ей далекий скок». Но топот удалился, а между тем «на небе зажглась заря», беглянки хватились в монастыре, и она поймана. Констанция является на суд в костюме паж, Матильда в белой рясе мертвеца, на которой почему-то видна кровь; свидетелями ее вины являются кинжал — и взятые с собою четки и лампада! Стиль баллады восторжествовал — над драмой.

В бумагах Жуковского сохранились мысли и заметки для задуманного им стихотворения, куда должно было войти описание весны; по этому поводу сообщаются планы «Весны» Клейста, Сен-Ламбера, Томсонова «Весна», затем наброски собственного плана и начало стихотворения: «Пришла весна!»¹. Мы не знаем, что бы из него вышло, но мы можем проследить по наброскам «Светланы» («Святки», «Гадание»), как постепенно она претворялась из сюжета Леноры-Людмилы. Так чужое обращалось в свое, встречное чувство будило эхо: личный элемент вторгался в переводные произведения, в стихотворения по заказу, если они давали повод выразить сходные ощущения, чаяния, надежды. 1 июля 1819 г. помечен «Цвет Завета», явившийся впервые в Современнике 1837 г. (т. V, № 1, с. 113 и сл.); посылая этот «старый стихотворный грех» Максимовичу, который и напечатал его в «Киевлянине» (1840 г., кн. 1), Жуковский писал, что «эти стихи не могут иметь ясного смысла для читателей, но объяснить для них этот смысл я не могу. Они писаны, *по желанию, на заданный предмет*, и получили бы особенный интерес, если б можно было прибавить к ним надлежащий комментарий». Кое-что мог пояснить кн. Вяземскому Тургенев: «Посылаю тебе стихи Жуковского, написанные по заказу великой княгини. Она же дала ему и тему на немецком: *Ländlergras*; у немцев — цвет завета. Чего не выразит чародей Жуковский! В сем „Цвете Завета” соединяется воспоминание прошедшего с таинственностью будущего. Он часто означает какую-нибудь эпоху или минуту жизни, например, свидание или разлуку. Знаменование его скорее понять, нежели объяснить можно. Но нам, немцам, весь мистицизм чувствительности понятен» (30 июля 1819 г.)².

¹ Бумаги В.А. Жуковского I. с. С. 154; сл. с. 20 е), 23 э), я).

² Плетнев читал «Цвет Завета» вел. кн. Ольге Николаевне, который они «случайно нашли» в книжке «Современника»: стихи на «цветок, любимый императрицею, который она еще в Берлине завешала сестрам, как залог их взаимного воспоминания. В 1819 г. она такой цветок нашла здесь, и Жуковский воспользовался, чтобы эту идею развить в стихах. Чудная прелесть!» (Переписка Я.К. Грога с П.А. Плетневым, II 192, журнал 22 февраля 1844 г.). В примечании к «Цвету Завета» П.А. Ефремов

И «знаменованье» и «мистицизм чувствительности» и самое название «Цвет Завета» принадлежат освещению Жуковского. Так как в черновом списке стихотворения значится, что оно начато (или затеяно?) 16 июня, кончено 2 июля, то великая княгиня предложила свою тему Жуковскому ранее, чем изложила ее в записке, которую Жуковский носил в своем альбоме¹. Записка эта, помеченная 22 июня 1819 г., вспоминает о чудесном весеннем вечере, в прелестной местности, когда вел. княгиня оделяла своих товарок цветками, между тем как звуки любимого Ländler'a, вальса, уже навевали мысль «о прошлых днях, хотя и менее счастливых, чем было настоящее мгновенье». Это ввелось в обычай: весной искали цветка и оделяли им друг друга, кругом него, уже названного Ländlergras, копились воспоминания; когда война «разрознила» круг братьев и сестер, с полей битвы по-прежнему летели к сестрам былинки, а они посылали им навстречу цветки с родных полей. И теперь еще каждый ищет на чужой стороне дрожащий стебелек, чтобы послать далекому другу «тихий привет с севера на юг, с юга на север», — и он «говорит без слов, чего словами нельзя бы и выразить».

«Воспоминание и я — одно и то же», — сказал о себе Жуковский; и его круг разрознен, «разлучена веселая семья»; цветок вырастает для него к значению символа; немудрено, что «чародей Жуковский» весь в чужой теме: последняя строфа «Цвета Завета» — поэтическая парафраза заключительных строк письма:

А ты, наш цвет, питомец скромный луга,
Символ любви и жизни молодой,
От севера, от запада, от юга,
Летай к друзьям желанною молвой;
Будь голосом, приветствующим друга;
Посол души, внимаемый душой,
О верный цвет, без слов беседуй с нами,
О том, чего не выразить словами.

«Этот обер-чорт Жуковский! — писал кн. Вяземский Тургеневу. — Письмо твое со стихами пришло в то самое время, как я кончил подражание сатире Депрео к Мольеру о трудности рифмы, и мои стихи так мне огадились, что я не в силах продолжать.

дает такое объяснение, слышанное от Елагиной: «Великая княгиня Александра Феодоровна условилась с сестрою присылать друг к другу первые весенние цветы, которые каждая из них увидит» (VIII изд. Т. II. С. 111 и 510).

¹ См. выше с. 324.

Надобно прохмелиться. Как можно быть поэтом по заказу?» (7 августа 1819 г. Варшава)¹.

Здесь тайна в встречаемости настроения, в уме не только питать чужой мыслью свою собственную, но и находить в чужих образах и метрах формы для выражения своего наболевшего чувства. В пору дерптского увлечения Шатобриан и Байрон дали Жуковскому мотивы тоски по родине и разочарования²; в 1823 г. в Дерпте он в последний раз видел свою Машу, за неделю до ее смерти, и ее тихий образ слился для него с другими, покоящими: «звезды небес, тихая ночь»! И сам он жаждал душевного покоя, целительного забвенья ночи. В его бумагах нашлось, с пометой: Дерпт, 26 февраля, немецкое стихотворение, писанное неизвестной рукою:

Schon sank auf rosiger Bahn
Der Tag in wallende Fluten,
Labend auf brennende Gluten
Weht nun die Kühle uns an.
Und hoch vom himmlischen Bogen
Kommt her die Mutter gezogen,
Hesperus wandelt so sacht
Im süßen Frieden der Nacht.
Komm' denn, o Himmlische, Du,
Und wehre den nagenden Schmerzen,
Fülle die schlagenden Herzen,
Die armen, mit seeliger Ruh'.
Mit deinen fächelnden Schwingen,
Mit sanft einschläferndem Singen
Wiege die Kinderchen dein,
O, wiege, wiege sie ein!

[День уже опускается в розовеющую дорожку на бурлящих волнах; упившись жгучего жара, он теперь навевает нам прохладу. И с высоты, с небесного свода, к нам нисходит Матерь; Геспер тихо странствует среди сладкого мира ночи. Приди же, о Небесная, и отврати глодающие нас печали, наполни бедные бьющиеся сердца блаженным покоем. Раскачиванием и усыпляющим пением убаюкай своих детишек, о, убаюкай их! (нем.)]

Между строк этого текста Жуковский набросал карандашом первую редакцию прелестного стихотворения, напечатанного лишь в 1825 г. в «Северных Цветах» под заглавием «Ночь»

¹ Сл. выше с. 290.

² Сл. выше, с. 214 и след., 230 и след.

(«Уже утомившийся день...»). Эта пьеса, в которой Плетнев находил греческую простоту в соединении «с очаровательным блеском поэзии романтической»¹, — почти дословный перевод немецкой. Такие пьесы Жуковский имел полное право не отмечать как переводные: он их перечувствовал, и они стали его достоянием².

Эту «удивительную приемчивость чужих впечатлений», в которой Полевой видел отличительную черту Жуковского³, сам поэт скромно обобщил, когда называл себя не «самобытным поэтом», а «переводчиком, впрочем, весьма замечательным»⁴. Давно тому назад, очутившись в 1805 г. в деревне, вне кружка сочувственных друзей, он исповедуется: «в самом себе не нахожу довольно прибежища; чувствую, что один мало могу для себя сделать... Один не могу ни о чем думать, потому что не имею *материи* для мыслей»⁵; в дневнике-письме 15 сентября 1814 г. он снова говорит о своей склонности «к какой-нибудь хорошей чужой мысли *прививать* несколько своих». Способность не воображать, а подсказывать чужому

¹ Соч. и переп. П.А. Плетнева I. С. 209–210.

² На немецкий оригинал «Ночи» указал впервые И.А. Бычков в Бумагах В.А. Жуковского. С. 57–58. Там же приведены и две первые строки немецкого стихотворения и первые четыре первоначального перевода. И.А. Бычкову я обязан сообщением как помещенного выше оригинала, так и следующим — о набросках перевода. Между строк первых четырех стихов первой строфы подлинника написано:

Уже утомившийся день
Склонился в румяные воды,
Темнеют небесные своды,
Прохладная стелется тень.

Между строк второй строфы следующие стихи, недописанные рифмы которых дополнены по позднейшей печатной редакции:

Приди ж, о небесная, к нам
С волшебным твоим покры[валом],
С целебным забвень[я фиалом],
Дай мир усталым сердцам.
Твои усыпительны песни.

Следующие три стиха не переведены, лишь в заголовке стоят Прописные: И, И, Ж. — И.А. Бычков сообщает мне, что дата немецкого стихотворения написана неразборчиво (Doгр. d. 26 Feb — или Dec. — 1823 г.). — В 5-м издании своих стихотворений Жуковский отнес «Ночь» к 1815 г.

³ Очерки I, 36.

⁴ К Смирновой 13/25 октября 1845 г.

⁵ Сл. выше с. 117.

воображению ему прирождена: естественная потребность *заражения*. «У меня наиболее светлых мыслей тогда, когда их надобно импровизировать в возражение или в дополнение чужих мыслей, — пишет он Гоголю (6/18 февраля 1847 г.), — мой ум, как огниво, которым надо ударить о камень, чтобы из него выскочила искра — это вообще характер моего авторского творчества: у меня почти все чужое, или по поводу чужого, — и все, однако, мое»¹.

«Жуковского перевели бы на все языки, если бы он сам менее переводил», — писал Пушкин², и не раз побуждал учителя завестись «крепостными вымыслами». Но уже современники открыли в видимой слабости источники силы. «Какое любопытное существо был этот человек, — писал о Жуковском Вигель. — Ни на одного из других поэтов он не был похож. Как можно всегда подражать и всегда быть оригинальным?.. Не знаю, право, с чем бы сравнить его, с инструментом ли, или с машиною какою, приводимую в движение только посторонним дуновением? Чужезычные звуки, какие б ни были, немецкие, английские, французские, налетая на сей русский инструмент и коснувшись в нем чего-то, поэтической души, выходили из него всегда пленительнее, во сто раз нежнее. Лишь бы ему не быть подлинником, дайте ему, что хотите, он все украсит, французскую ничтожную песенку обратит вам в чудо, в совершенство, в «Узника и мотылька»^{3*}, и мне кажется, если б он был живописец, то из Погребения Кота умел бы он сделать *chef-d'oeuvre*»⁴. Полевой, отметивший в Дмитриеве «переводной ум», в его языке, блестящим в свое время, отсутствие истинной поэзии⁵, нашел для Жуковского другие краски, другую оценку. «Сличите Орлеанскую Деву и особенно Шильонского Узника с подлинниками — совсем другой цвет, другой отлив, хотя сущность верна! Байрон — дикий, порывистый, вольный, *eternal spirit of the chainless mind* [вечный дух необузданного разума (*англ.*)], делается мрачным, тихим, унылым певцом в переводе Жуковского»⁶. Гоголь обобщает: общая черта нашей литерату-

¹ Сл. письмо к Гоголю 20 января 1850 г.

² О причинах, замедливших ход нашей словесности, 1824 г.

^{3*} «Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу», из К. де Местра.

⁴ Воспоминания Ф.Ф. Вигеля. Ч. 2. С. 58.

⁵ Очерки. II, 471, 475.

⁶ Там же. I. С. 136. Иначе, но едва ли вернее, с. 140: Жуковский «первый, кажется, открыл тайну разнообразить слог своих переводов сообразно слогу подлинников». В 1827 г. «Телеграф» находил в высшей степени справедливым замечание Воейкова, «что у Карамзина все говорят одинаково: и Цицерон, и Руссо, и Франклин, и

ры — «подражание опередившим нас иностранцам», но подражание своеобразное, не исключающее чисто русские элементы. Он приводит в пример Державина, Жуковского и Крылова. «Что такое наш Жуковский? Это одно из замечательных явлений, поэт, явившийся оригинальным в переводах, возведший все сильные и малосильные оригиналы до себя, создавший новый, совершенно оригинальный род — быть оригинальным»¹. «Жуковский — наша замечательнейшая оригинальность», — повторяет Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»², у него все взято у чужих и больше у немцев, но переводчик теряет собственную личность, а Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Стоит пробежать его переводы: «вернейший сколок слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений, вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? Не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным». «Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом изобретателем, лень выдумывать, а не недостаток творчества»³; источник этой лени — «свойство оценивать», «останавливаться с любовью над всяким готовым произведением», разнимать его до малейших подробностей, исчерпать все. Перед другими нашими поэтами он то же, что ювелир перед прочими мастерами. «Не его дело добыть в горах алмаз — его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами». — Перевод Одиссеи —

Бюффон; у Жуковского совершенное разнообразие: он передает не только мысль, но и *выражение* автора, как находит его в оригинале, а это величайшая заслуга, так как не верность перевода, а *проникновение в дух и свойство языков* создает превосходного переводчика». Сл. еще фразистую оценку Бестужева, «Полярная Звезда» 1823 г. (Взгляды на старую и новую словесность в России): «многие переводы Жуковского лучше своих подлинников, ибо в них благозвучие и гибкость языка украшают *верность* выражения. Никто лучше его не мог облечь в одежду светлого чистого языка разноплеменных писателей; он передает все черты их *со всею свежестью портрета*, не только с бесцветною точностью силуэтною».

¹ Соч. Н.В. Гоголя. Изд. X. VI. 346 (1836).

² В чем же наконец сущность русской поэзии и в чем ее особенность? Соч. Н.В. Гоголя. Изд. X. Т. IV. С. 177 и след.

³ Сл. выше с. 344 —345.

«подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное». В этом смысле Жуковский и для Белинского поэт, а не переводчик; «переводы его очень несовершенны, как переводы, но превосходны, как его собственные создания», «он от всех поэтов отвлекал свое или на их темы разыгрывал свои собственные мелодии, брал у них содержание и, переводя его через свой дух, претворял в свою собственность»¹.

Такой прием творчества не без примера: припомним отзыв Шлегеля² – и такого антипода Жуковского, как D'Annunzio в лице Andrea Sperelli (Il Piacere^{3*}). Для нас важно то, что Жуковский давал в чужом не только *свое*, но и всего *себя*.

¹ Сл.: Белинский. Соч. изд. 2-е. Ч. IV. С. 24, в статье об Очерках Полевого (1840).

² Сл. выше стр. 392.

^{3*} «Дитя наслаждения» – автобиографический роман Габриеле д'Аннунцио (1898).

XV. Народность и народная старина в поэзии Жуковского

Какое место уделено в миросозерцании поэта, так всецело отдававшего *себя*, идее русской народности, в ее языке и быте, в условиях прошлого и в идеалах настоящего? Народность у нас не отделяли от понятия романтизма — и искали ее у Жуковского.

И в этом отношении, как во многих других, романтики вступили в наследие старшего поколения, отвернувшегося от псевдо-классической традиции к самосознанию народности, которое в области литературы поддержано было встречными английскими течениями.

Гердер создал и пустил в ход слово *Volkslied*, боевой клик, с которым люди *Sturm und Drang*'а соединяли представление чего-то стихийного, голоса природы, звучавшего в песне первобытного человека, а теперь дикаря, близкого к природе, оригинального гения. Такая песня не творится, а происходит по внутренней необходимости, она — естественный акт; *ich singe, wie der Vogel singt*^{1*} [Я пою, как поет птица. (*нем.*)], повторялось на все лады. Так было по теории; на самом деле лишь немногие, как Гёте, способны были открыться очарованию настоящих народных песен, большинство принимало оптом старые и новые, уличные и помещичьи, сочиненные для народа и перешедшие к нему. И не штурмеры разобрались в этой сумятице, а просветители, как Николаи, указали им на их фактическое непонимание *Volkslied*'а, так мало отвечавшее теоретическим взглядам. Но фермент остался и очарование обновилось: на долю романтиков выпало выяснить ту идею народной поэзии, которую мы и теперь считаем своею. В 1806—1807 гг. Арним и Брентано издают *Des Knaben Wunderhorn* [«Волшебный рог мальчика»], за ними братья Гриммы — известное собрание немецких сказок. Сказки пересказаны вольно, но в стиле, к песням Арним отнес-

^{1*} Строка из стихотворения Гёте «Певец» (1783).

ся с свободой поэта, но движение уже вышло на сознательный путь научного искания и поэтического усвоения, и в лирике романтиков, как и у Гёте, звенит струна и отзывается склад народной песни.

В понимании современной народной жизни, в изображении родной природы, быта, перебой от чувствительно-пасторального освещения к большей реальности приготавливался постепенно: он замечен уже у Мюллера и Фосса; явились и попытки литературного употребления наречий, предварившие алеманнские стихотворения Гебеля. Но понимание немецкой старины еще полно неясной идеализации, не различавшей своего и чужого. О кельтах и бардах знали по Оссиану, о северных скальдах по Саксону Грамматику, Олаю, Кохлею и Маллету; тех и других вменили народному прошлому; Элиас Шлегель пишет драму на сюжет Тевтобургской битвы, раздались бардиэты Рингульфа-Кречмана и Синеда-Дениса, Арминий^{1*} стал героем дня (Клопшток, Элиас Шлегель), имя Hermann — типичным для коренного немецкого юноши (Hermann und Dorothea). Это было патриотическое восстановление; другое шло навстречу чувствительно-анакреонтическим течениям немецкой литературы. Уже в конце XVII века немецкий Minnesang вызывал интерес и попытки обновления (Мошерош, Hoffmann von Hofmannswaldau); когда благодаря Bodmer'у-Breitinger'у содержание большого песенника Manasse стало известным, интерес обновился: миннезингеров пересказывают, им подражают (Bodmer, Gottsched, Klopstock, Gleim, Гёттингенцы и др.); современная анакреонтика представилась Бодмеру возродившимся миннезангом, но под условием, чтобы новые поэты признали его своим необходимым образцом. Сочетание Minnesang'a с анакреонтизмом привело к представлению галантного рыцарства: у Миллера влюбленный рыцарь день-деньской бродит по следам своей милой; у Бюргера идиллическая пастушка пасет свое стадо на могиле гудошника и т.д. Это одна сторона псевдоисторической идеализации, унаследованной и романтизмом; с другой — строгая, скульптурная фигура Гётевского Геца — первая бытовая картина из прошлого, от которой веет духом истории. И у ней была своя история: от Геца и Шиллеровых «Разбойников» пошли те бесконечные рыцарские и разбойничьи романы Veit'a, Weber'a (Wächter'a), Шписа, Крамера и др., в которых живое понимание старины усту-

^{1*} Арминий, нем. Герман (ок. 18 г. до н. э. — 19 г. н. э.), вождь германских племен, разгромивший три римских легиона в битве у Тевтобургского леса (к юго-востоку от нынешнего Билефельда) летом 9 г.

пило место элементу приключений и куда романы Уольполя и Mrs. Рэдклифф внесли мрачную фантастику духов, привидений и скелетов.

Когда явились на сцену романтики, выросла вместе с ними и наука немецкой старины, черты которой стали представляться яснее и раздельнее, да и у романтиков поворот к ней сознательнее; бард Оссиан отзывается, по старой памяти, лишь у Гёрреса. И вот они увлечены миннезингерами и народными книгами, немецким эпосом и сагами, средневековым театром и Гансом Саксом, Викрамом, из художников Дюрером. Было над чем призадуматься, что опозитизировать заново, хотя не всегда в меру. Задумчивая фигура Дюрера проходит по страницам «Странствований Штернбальда», и жизнь немецкого художника XVI века возникает перед нами в освещении романтического художнического идеала; картинки средневековой купеческой среды вброшены в мистическую повесть Новалиса («Генрих фон Офтердинген»), Ла Мотт Фуке переносит нас в эпоху 30-летней войны (Alwin), либо к Крестовым походам, его кругозор обнимает Швецию и Германию, Францию и Африку, на этом пространстве деется что-то таинственное, фатальное, не мешающее смене южного и северного освещений и буафорскому описанию рыцарства (Der Zauberring [«Волшебное кольцо»]); Тик переносит нас в мистику католической легенды, к восторгам наивной веры, торжествующей среди страданий. Везде идеализация, но под нею чувствуется историческая почва, попытка обобщить свое народное прошлое, подвести ему итоги и на них опереть свое самосознание.

Во всех этих отношениях Жуковский остался в преддверии романтизма.

Начать с языка. В отрывках дневника отмечено: Бюргер в балладах «единственный, ибо он имеет истинно приличный тон избранному им роду стихотворений: ту простоту рассказа, которую должен иметь повествователь. Его характер — счастливое употребление *выражений простонародных* в описаниях и в выражении чувства; краткость и ясность; приличие и разнообразие метров. В особенности изображает он очень счастливо ужасное... Шиллер менее прост и живописен; язык его не имеет *привлекательной простонародности Бюргерова языка*, но он благороднее и приятнее... вообще Шиллеров язык ровнее, но он не так жив... тогда как в Бюргере живость есть, может быть, следствие свободы, менее ограниченной». Бюргер ближе «к простой, обыкновенной природе»; Шиллер более философ, а

Бюргер простой повествователь¹. С этой похвалой *простонародности Бюргерова языка* интересно сравнить отзыв Полевого. Жуковский в баснях пытался, «кажется, говорить простонародным языком, но испугался суда современников и перестал»²; в 1809 г. он находил в баснях Крылова «несколько выражений, противных вкусу, грубых», которые не понравятся «людям, привыкшим к языку хорошего общества» («О басне и баснях Крылова»). В своей «Людмиле» он не рискнул на реализм Катенинской «Ольги», и если впоследствии позволяет себе вульгаризмы, которых не боялся корректный Дмитриев, то главным образом в пьесах шуточного содержания, долбинских и арзамасских (взгомосить; шкворень взволдырял; и растопоршивши оглобли сани ждут; пузо бурчит и хлебещет; нещечко и др.).

На почве языка легко было смешать народность с простонародностью, в карамзинский период их не различали. Народная поэзия ставит вопрос именно о народности.

Любовь к народной песне никогда не умирала даже в наших офранцузенных дворянских семьях XVIII века. В сборниках того времени они соседят с захожими романсами; Михаил Попов исправляет российские старые песни, находя их неблагозвучными и грубыми (Российская Эрато 1792 г.); являются попытки литературного подражания (Львов, Николев, Дмитриев, Богданович, Нелединский-Мелецкий, Мерзляков), но для поэтического их усвоения время еще не настало. Державин, чуткий к богатству «славянского баснословия, сказок и песен», собранных Чулковым и Ключаревым, не открывал в них «поэзии»: «они одноцветны и однотонны. В них только господствует гигантск или богатырское хвастовство, как в хлебосольстве, так и в сражениях, без всякого вкуса. Выпивают одним духом по ушату вина, побивают тысячи басурманов трупом одного схваченного за ноги, и тому подобные нелепицы, варварство и грубое неуважение женскому полу изъясляющее».

Всего менее можно было ожидать от поэтов сентименталистов, которым русский быт и русская природа представлялись сквозь призму Кларана и идеализованных швейцаров; схема и рефлексия обязывали их к известной повышенности настроения и выражения, и глаза не открывались на те особенности, которые видел в наших песнях Полевой: именно в их «простоте, грубости вымысла и изложения заключаются красоты необыкновенные», — выразился он по поводу Мерзлякова и других перелага-

¹ Сл.: Шевырёв. О знач. Жуковского в рус. жизни и поэзии. М., 1853. С. 74, пр. 35.

² Очерки. I. С. 110.

телей народных песен¹. У Жуковского нет ничего похожего на свежую сезенгеймскую песенку Гёте: Es sah ein Knab' ein Röslein stehn [«Мальчик увидел розочку»], наша народная песня его не вдохновила ни своим простором, ни формой, к которой был так чуток Пушкин, которая вызывала подражания Дельвига и теоретическо-патриотические восторги Кюхельбекера. Характеризуя на старости лет «домашние», забавные стихотворения Жуковского, князь Вяземский говорил, что в них «поэт мечтатель, поэт идеалист явился поэтом *реальным* гораздо ранее эпохи процветания так называемой реальной или натуральной школы», и тут же прибавляет, что «в своей домашней поэзии, на распашку, он все-таки остается лебедем, играющим на свежем и чистом лоне светлого озера, а не уткой, которая полощется в луже на грязном дворике корчмы или харчевни»². — Поэтический реализм где-то посредине между игрой лебедя и тем шаржем, впадающим в гротеск, которым отличаются многие из пьес Жуковского, писанных «на распашку».

Все это касается и его стихотворных сказок: в них реальной Русью отзываются разве имена Берендея, Ивана Царевича; фантастика не тронута новым пониманием или иронией Тика. Пока пример Пушкина не побудил Жуковского к литературной обработке сказок, он интересовался ими, так сказать, поодаль, как интересовался и Батюшков³, просил знакомых записывать их: «эта национальная поэзия, которая у нас пропадает, потому что никто не обращает на нее внимания: в сказках заключаются народные мнения, суеверные предания дают понятие о нравах их и степени просвещения и о старине»⁴. А между тем он часто искал на стороне то, что было у него под рукою, свою «Спящую царевну» в сказках Перро⁵, «Кота в сапогах» и «Тюльпанное дерево» в

¹ Очерки. I. 436.

² Сл.: «Выдержки из старых бумаг Остафьевского Архива». Русский Архив. 1866. № 6. Ст. 874.

³ Соч. I. 240.

⁴ Письмо из Дерпта зимою 1816 г., Русский Архив 1864 г. Ст. 468. Сл. письмо к Маркевичу 24 февраля 1834 г. К 1817–1819 гг. относится тетрадь, приготовленная Жуковским для заметок по «Северной мифологии и поэзии». «Под именем северных народов надо разуметь обитателей Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Британии, Исландии» (л. 2). На л. 16 заголовок: «Суеверные мнения, предания, сказки народные»; с листа 17 по 21-й идут «народные мнения и сказания немцев и других народов» — извлечения из Добенка. Сл. Бумаги Жуковского I. с. С. 165. — В 8-й строфе баллады «Старушка» один стих, не отвечающий оригиналу, подсказан был Жуковскому, может быть, русским поверьем: ведьма «власы невест в огне волшебном жгла...»

⁵ Полевой, Очерки, I, 118.

собрании Гриммов. В 1831 г. он и Пушкин писали взапуски «русские народные сказки... и чудное дело! Жуковского узнать нельзя, дивится Гоголь, кажется появился новый обширный поэт, и уже *чисто русский*; ничего германского и прежнего. А какая бездна новых баллад! Они на днях выйдут»¹. В 1831 г. напечатана была в «Новоселье» «Сказка о царе Берендее», но в ней нет того детского простодушия, той младенческой искренности, которая составляет существенную прелесть народных преданий, писал Надеждин². Пушкин ждет от Жуковского новых баллад; «былое с ним сбывается опять», повторяет он его слова в письме к Плетневу (в апреле 1831 г.), но что это такое: переводы или сочинения? «Дмитриев, думая критиковать Жуковского, дал ему прездравый совет. Жуковский, говорит он, в своей деревне заставляет старух себе ноги гладить и рассказывать сказки и потом перекладывает их в стихи. Предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским. Если все еще его несет вдохновением, то присоветуй ему читать Четь-Минею, особенно легенды о киевских чудотворцах: прелесть простоты и вымысла». Совет хорош, но едва ли Жуковский пошел бы далее елейно-поэтических пересказов: тут было место для его «девствования», тогда как Тиковская «Геновева» вся состоит из сплетения земных и небесных мотивов, христианского аскетизма и таких эпизодов, как подсказанная Шекспиром сцена у балкона, вся сотканная из любви и звезд, цветов и лунного света.

В 1845 г. Жуковский предложил Плетневу для «Современника» «Сказку о Иване-Царевиче», «во всех статьях русскую, рассказанную просто, на русский лад, без примеси посторонних украшений», хотя сам автор сознается, что впрятал в нее «много характеристическое, рассеянное в разных русских народных сказах; под конец же я позволил себе и разболтаться»³. Прочтя сказку вместе с Плетневым, кн. Вяземский заметил, что «так называемые ревнители народности» станут ее критиковать, скажут, «что Иван Царевич лишен ярких красок сказочного русского языка и больше представляет собою собственное ваше (Жуковского) сочинение». Иначе судит Плетнев: «в Иване Царевиче не то достоинство, будто бы она (как вам хотелось) удержала в себе весь характер той сказочницы, о которой вы так живо вспоминаете, но то, что летать с ним легко, чувствуешь около себя

¹ К Данилевскому 1831 г. 2 ноября.

² Телескоп. 1833. Ч. XIV. № 5. С. 100.

³ К Плетневу 1 июля 1845 г.

действительно сказочную Русь, речь везде такая понятная и так близкая к русскому сердцу и памяти выросшего на руках русских нянюшек, а между тем есть и большое разнообразие, как в самой природе, — рассказ то шутив, то степенен, то возвышен, то прост. Видно, что эта сказка идет не из избы мужицкой, а из барского дома, и говорит ее не барской подлипало, а прямой поэт»¹.

«Сказку Жуковского о „Жар Птице и сером волке” я читал в Современнике, писал брату Н.М. Языков (18 января 1846 г.), — хороша, и очень хороша, хотя и не соблюдено в ней уважение к русским сказкам: в нее ввел Жуковский и Бабу-Ягу и гусли-самогуды и кое-что прибавил. Это, по моему, не годится в некотором смысле»².

Понятно, что при указанных условиях русский быт и природа должны были являться в несколько отвлеченных поэтических образах, не свидетельствующих о непосредственном наблюдении. В первом тексте «Марьиной Рощи» Мария сидит за самопрялкой и роняет веретено; издатель Аглаи заметил автору, что Мария могла уронить веретено только сидя за прялкой, Жуковский отделяется шуткой: его «Марьиная Роща», будто бы, вся основана на древних рукописях и преданиях; в одной рукописи, современной, кажется, великому князю Владимиру, сказано, что Мария сидела за самопрялкой, в другой, времен Владимира Мономаха, говорится о веретене. Автор свел оба показания, пожертвовав естественной вероятностью верности исторической. «Для чего бы, например, и мне, вместо того, чтобы умирать со скуки над пыльными, едва понятными записками древних бытописателей, не спросить у первой попавшейся мне крестьянки: имеет ли она в руках веретено в то время, когда сидит за самопрялкой? Она отвечала бы мне решительнее всякого манускрипта, современного великому князю Владимиру». Показателем русской природы, в сентиментальном освещении Жуковского, является в «Марьиной Роще» и «Трех поясах» цветок: Маткина душка. В «Светлане» русских бытовых подробностей больше, но они декоративные, не подчеркивающие впечатления — народности.

Необходимо заметить, что чувство народного, местного у Жуковского вообще как то схематично-отвлеченно, изображает ли он русскую, восточную или западную жизнь. В его переводах названия местностей часто опущены, и вы недоумеваете, где вы и какие нравы вас окружают. В «Песне бедняка» (из Уланда)

¹ Плетнев Жуковскому 25 декабря 1845/6 января 1846 г.

² Русская Старина. 1903. Март. С. 537.

благовест заменил орган, дьячки в стихарях и кадила являются в «Старушке» из Саути; в «Воскресном утре в деревне» Гебеля, которым Жуковский так увлекся в Дерпте¹, богослужение совершается по нашему обряду, а в «Дочке хозяйки» (из Уланда) мы встречаемся с русской картиной: «В светлице свеча пред иконой горит». В переводе «Овсяного киселя» (из Гебеля) немецкое настроение осталось, несмотря на русские имена («и Иван, и Лука, и Дуняша») и такие выражения, как «гнедко» = *Esel* [осел (*нем.*)], «заскородил овес», «колос оброшенный».

Исторические повести и поэмы Жуковского отражают то же понимание в области народной старины. Оно восходит к историческим представлениям и операм Екатерины II и Державина и к сказкам Чулкова, переделавшего на манер *Bibliothèque Bleue* «повествования, которые рассказывают в каждой харчевне». Далее традиция продолжается от «Добродетельной Розаны» Лазаревича (1782) и «Владимира» Хераскова (1780) до «Славян» Богдановича и первых опытов Карамзина («Наталья, боярская дочь», 1792; неоконченный «Илья Муромец», 1794) и Радищевых («Бова» Александра Радищева и «Алеша Попович и Чурила Пленкович» Николая Радищева, 1801). «Вадим» Жуковского явился в один год с «Марфой Посадницей» Карамзина и анонимной «Ольгой» (1803). В следующем году вышел, по смерти автора, отрывок «Добрыни» Н. Львова; «Оскольд» М.Н. Муравьева, напечатанный в 1810 г., написан, быть может, ранее.

Везде один и тот же сентиментально-классический или оссиановский, позже романтически-рыцарский рецепт (Кюхельбекер, Марлинский, кн. А.Н. Одоевский); историческое освещение – патриотическое, крикливое или идиллическое. Двор Чулковского Владимира славится, несчетные сокровища потрачены на «огромные здания, народные и государственные»; у князя «миллион войска» лишь для великолепия монаршего: с него довольно и богатырей, с ними «легко было бы ему завоевать целый свет, если бы не удержали его от этого добродетели». Как русская природа идеализовалась иной раз на манер швейцарской Аркадии, так и на народную старину переносили уклад западной средневековой жизни, от Аттилы до рыцарства включительно. Оттуда шла и фантастика, наивно мешавшаяся с тем, что знали

¹ Батюшков не разделял его вкуса; его письмо к Жуковскому (1 августа 1819 г.) относится к тем многим, предупредительным, в которых выражались опасения его друзей: «прошу тебя писать ко мне; чего тебе стоит, когда ты имеешь время писать ко всем фрейлинам, и еще время переводить какого-то Базельского Пиндара на какие-то пятистопные стихи, и со всем этим – писать еще, как Жуковский».

о русской, ставившая Перуна рядом с Одином (у Екатерины II), Бабу Ягу с Венерой (Державин, «Добрыня»). «Барды» держатся у нас от Державина до Жуковского и Языкова; в «Поэзии» Карамзина бард — Моисей. Излюблены русско-варяжские отношения и пошли в ход скальды и Валгалла, Валки-валкирии (Державин и др.); скальды и Бальдер, Перун и Радегаст перенесены к временам Атиллы в славянских песнях Львова, подражании амазонским песням Вейса, которые Львов считает славянскими¹. Имена богатырей взяты из Чулкова, из него же или из Попова, Львова, Кайсарова — фантастическая славяно-русская мифология: Перун, Святовид, Лада и волшебница Добрада. Державин («Добрыня») нашел ее в чулковской сказке, где она — благодетельная фея, покровительница Добрыни, который получил от нее свое имя; в другом месте Державин описывает «дом благодатныя, неблазныя Добрады, Богини всякого добра» с примечанием, что это «богиня древних северных народов» («Обитель Добрады» 1808 г.). Она является в «Трех поясах» Жуковского, мы с ней еще встретимся. — У Хераскова Услад — славянский бог, как у Глинки («Древняя религия славян») и Кайсарова («Славянская мифология», с ссылкой на Хераскова); «бог пиршеств и роскоши, чтимый в Киеве» (Львов)²; у Жуковского это подходящее имя для влюбленного певца, в котором он любил изображать себя³; автор «Ольги» изобретет и «Рассуду-Минерву». Сказывается влияние мотивов «Слова о полку Игореве»: Херасков подражает плачу Ярославны, Баян обобщается в том же значении, как бард и скальд. Среди имен Владимира, Игоря, Гостомысла (богатырь у Глинки), Радегаста (бог варяжских славян у него же, Кайсарова, Львова) посчастливилось Рогдаю Никоновской летописи: Херасков в своем «Владимире возрожденном» (1785) изобразил этого рыцаря вольнодумцем, готовым померяться с Богом; у Львова он стоит в перечне владимировых богатырей (Яна, Рогдая, Муромца Ильи, Александра, Андриана, Добрыни)⁴.

¹ Иппокрена. 1801. Ч. 8. С. 230 и след. Ч. 10. С. 353 и след.; сл.: ib. ч. 9 его элегии к Милене и к богам, с. 193 и след. и 273 и след.

² Иппокрена 1801 г., часть 9, стр. 231, прим. 5.

³ «Марына Роша»; в «Жалобе», переделке Шиллеровского *Der Jüngling am Bache*, Услад заменил безыменного *Jüngling*, Кнабе. Сл. стихотворение кн. Вяземского «Услад», Полн. собр. соч. Т. III. № С1, и сказку В.Л. Пушкина «Людмила и Услад» на тему, что собака вернее любовницы. Труды общества любителей русской словесности. Ч. XIII. 1819. С. 67 и след. Сл. «Певец Услад» Катенина и чувствительного певца, баяна, Услада у Языкова.

⁴ Иппокрена 1801. Ч. 10. С. 409; сл. его же: Храм славы российских героев от времен Гостомысла до царствования Романовых. СПб., 1803. С. XXXVII и 19; раменистый Рогдай.

Его знает Жуковский («Марьяна Роша» 1803 г.), Нарезный («Славянские вечера» 1809 г.: Рогдай); в балладе Кюхельбекера («Рогдаевы псы») он — новгородский посадник, могучий и смелый, попавший «в опасный полон неисходной любви» к своей ливонской пленнице, которая предпочла ему другого похитителя — татарина. Тема та же, что в сказке В. Пушкина («Людмила и Усад»). — Но в особенной моде Вадим. Он издавна являлся типом патриота, либо носителем общественной идеи: он интересуется Екатериной II, Княжниной, Хераскова и Муравьёва, Карамзина и Жуковского, Раевского, А.С. Пушкина, Рылеева, Хомякова¹. Княжнин сделал его глашатаем народной свободы, в Оскольде Муравьёва Вадим, восставший против Рюрика и потерпевший поражение, явился в освещении сентиментализма и оссианизма на классической канве: на сцене «девы мстительницы», северные «неутомимые валки», чертоги Одина, восторженный скальд и Вальмир, питающий на диких берегах Чудского озера глубокую свою задумчивость. «Вадим» Жуковского написан в том же тоне: место действия — берега Ладоги, осенний вечер; солнце катится в шумящее озеро, воет ветер, летят мрачные облака и дымятся седые туманы. Изгнанник Гостомysl, когда-то властитель Новгорода, которым завладели иноплеменники, сидит на пороге хижины и поет под звуки арфы: «Шумите, шумите ветры, чада угрюмого Посвиста (Борей славянский)». Сюда является к нему Вадим, сын Гостомыслова друга Радегаста, прелестный, как Догода (=Зефир), величественный, как Святовид (бог лета и брака, которому поклонялись славяне Рюгена). Он когда-то видел Гостомысла в его величии, грозным полководцем, видел славян, благословляющих память изгнанника Радегаста, видел венцы, летящие к ногам его сына, и «вообразил себя сыном Великого Новгорода». Что разумеется под «гражданином», остается неясным, ибо повесть, план которой снят с флориановского «Вильгельма Телля», не кончена, но мы можем предугадать освещение Жуковского, если вспомним, что для него понятия гражданственности, свободы, исчезали в требовании личного развития, преуспевания человечности, «души». Позже обновляется Княжнинский взгляд на Вадима; когда Кюхельбекер читал в Париже о либеральном движении в России, Вадим был для него представителем Новгородской вольности; так и в неконченной думе Рылеева.

¹ 23 ноября 1825 г. Сергей Ив. Тургенев писал Жуковскому из Москвы, рекомендуя молодого Хомякова: «заставьте со временем прочесть себе его поэму Вадим». Сл.: Русский Архив. 1902. Июль. С. 457.

Уже первые после «Вадима» повести Жуковского, «Три пояса» и «Марьяна Роща» (1808), дают понятие о той идиллической и вместе торжественной утопии, какой представилась ему русская древность. Между этими повестями, не лишенными автобиографического значения, и «Двенадцатью Спящими Девами» («Громобой» 1810 г., «Вадим» 1817 г.) следует поместить «комическую оперу», до последней поры остававшуюся в рукописи и, вероятно, никогда не предназначавшуюся к обработке: «Богатырь Алеша Попович, или Страшные развалины»¹. Она в прозе, с стихотворными партиями, романсами и дуэтами для пения, и снабжена подробными сценическими указаниями. набросок (1804–1808 гг.) писан на бумаге в 1804 г., в том же году Державин напечатал своего «Добрыню», театральное представление с музыкой, содержание которого навеяно Чулковской сказкой. Связь между этой пьесой и либретто Жуковского представляется очень вероятной: то же смешение прозы с песнями, причем во многих случаях преимущество народного колорита на стороне Державина; тот же кропотливый сценарий, есть сходные положения, те же роли Добрады и Торопа, комическая партия которого намечена; Жуковский довел своего Барму до шаржа. Разница в фантастике: у Державина она сказочно-классическая, Жуковский ударился теперь в ту фантастику, которую ввели в моду немецкие романы 80–90-х гг., полные привидений и разбоев, кровосмешений и таинственной игры случая. Все это нравилось Жуковскому, пока в грубоватом подражании, и все это одухотворится: Алеша приготовит «Двенадцать Спящих Дев», пересказанных по роману Шписа. Как Вадим будит дочь грешного Громобоя из ее волшебного сна и женится на ней, так в либретто Алеша Попович путем разных приключений добывает дочь Громобоя Любимиру, которую скупой боярин не хотел выдать за бедного богатыря; Вадимом руководит какой-то таинственный старец, Алешей дух убитой мужем Милолики, являющийся в виде старца. Судя по тому, что в трех местах рукописи вместо Любимиры стоит зачеркнутое имя Матильды, мы вправе предположить, что, как для «Двенадцати Спящих Дев», Жуковский мог заимствовать канву либретто из какого-нибудь немецкого источника: имя Матильды напоминает героиню Новалиса («Генрих фон Офтердинген»). Освещение русской жизни – средневековое рыцарское; кроме Алеши, богатыри (Добрыня Никитич, Чурило Пленкович, Василий Богуслаевич, Еруслан Лазаревич, Илья Муромец) являются

¹ Напечатана впервые в издании проф. Архангельского. Т. 4. С. 78 и след.

исключительно в качестве хора: их застава — гостиница Силуяна, к которой действие постоянно возвращается; они пьют под песню и балалайку Соловья-певца, либо куда-то едут, и снова в гостинице. Соловей видел в Киеве, как на «играх богатырских» отличился Алеша, видел, «что вы очень умильно поглядывали на прекрасную Любимиру, дочь боярина Громобоя, что вы даже краснели, когда нечаянно встречались с нею глазами, что она сама краснела, что вы одни ее занимали». Алеша сознается, что влюбился: «победил и остался побежденным». Илья говорит в том же тоне: видно «пленила тебя какая-нибудь красная девушка», спрашивает он Чурилу. Чурило: «Я не смотрел на них! И было ли время смотреть?» «Не смотрел! Право? Какой чудак! Для чего же ты живешь на свете? По моему мнению человек, у которого сердце не забьется при виде красавицы, конечно, без нужды бременит землю. Я бы посоветовал ему поскорее утопиться». Любимира, успевшая полюбить Алешу, просватана за богатого Калиту, но Алеша получит ее руку, если совершит подвиг — искупления. Недалеко от Киева стоял замок богатыря Горюна, которого прозвали разбойником «за то, что он разбойничал по дорогам; говорят, что он был друг одного злого чародея людоеда, безбожника, сожженного молнией Перуна». Долго он «проказничал на сем свете, не было от него проходу ни встречному, ни поперечному»; он зарезал свою жену Милолику, дух которой не знает с тех пор покоя; наконец он и сам пропал неведомо куда, замок его обратился в развалины, «там делаются страшные чудеса: там видят огромных волотов с огненными глазами, рогатых лешаев, русалок, которые кричат, воют, плачут, смеются». В развалинах богатый клад, кто успокоит дух Милолики, тому он и достанется. Алеша смеется над этими рассказами: он «пересмешник», как в былинах¹, влюблен, как и былевой Алеша охотник до любовных приключений: может быть, такая же идеализация песенного типа, как кощунствующий Рогдай у Хераскова напоминает былинку о гибели богатырей на Руси. — Милолика является ему в образе старика и говорит, что он достигнет своей цели, т.е. достанет Любимиру, если победит препятствия и не забудет «о бедном, страждущем духе в ужасных развалинах»; то же повторяет ему и его покровительница, волшебница Добрада: он избран Чернобогом, чтобы прекратить страдания Милолики, и в награду за смелость получит руку милой.

¹ «Богатырь забавнейший из всех, заслуживших сие имя»; «не столько славен своею силою, как хитростью и забавным нравом». См.: Чулков. Русские сказки. Повесть о Добрыне.

В дальнейших подвигах Алеши принимает участие его оруженосец Барма (сказочное имя) «кудрявая голова», трус, хвостун и объедало, напоминающий своей ролью Лепорелло; в сущности, одна его партия и дает право на название оперы комической. Прежде всего Алеша едет к Громобою, говорит, что любит его дочь, «как должно совестному богатырю», и «что одна любовь делает жену счастливою» и т.д. Громобой отказывает; «Бедный я человек! плачется Алеша; Лада мне жестоко отмстила! Я прежде смеялся над любовью, называл ее сумасшествием, думал об одних сражениях, гонялся за дикими зверями, побивал войска и побеждал богатырей, теперь люблю страстно и пламенно... Но разве нет никакой надежды?.. а волшебница Добрада?» Он готов действовать. Между тем в тереме Любири, беседовавшей с мамкой о своей несчастной любви, является в образе девочки Добрада и поет под звуки лиры романс, в котором вещает ей, что «милый друг сердца» скоро явится. Волшебница исчезла, а Алеша уже в тереме; происходит объяснение в любви, прерванное появлением Калиты и Громобоя; его челядь окружила и обезоружила Алешу, но раздается громовый удар, является «дух в виде воина, покрытого черными латами с закрытым забралом шлема». Разве мало одного убийства? обращается он к Калите; при этом задняя декорация поднимается, «виден черный лес, на земле лежит женщина, окровавленная, с кинжалом в груди. Гений смерти в покрывале с потупленную голову, обратив факел жизни, погашает его». Женщина эта — Мирослава, дочь старого Добрыни, убитая Калитой за то, что отвергла его любовь. «О Перун! я погиб!» — кричит Калита и падает на землю; дух и Алеша Попович исчезают.

Богатыри сидят у Силуяна, они узнали об участии Алеши и готовятся отомстить за «названного брата», когда является и он сам; комическая сцена с Бармой, который слышал о приключении в палатах Громобоя и принимает Алешу за привидение. Между тем Громобой готовится бросить дочь в погреб, пока она не согласится на брак с Калитой, но Добрада в виде гения с арфой уводит ее на глазах у всех, а дух Милолики (в образе старушки) говорит, будто Любири утонула в Днепре; Калиту она предостерегает, что он семь раз будет убийцей невинных для искупления смерти своей матери; шесть убийств уже совершилось, седьмое совершится с его смертью. Калита оказывается сыном Милолики.

В следующем явлении Алеша и Барма идут к развалинам по лесу, месяц светит, Добрада в виде мальчика перед ними с факелем

лом в руке; Барма трусит, какая-то рука бьет его по зубам; он принимает дерево за великана, просит, чтоб ему позволили вернуться, и ужасный дух с дубиною и огромным фонарем отводит его назад в гостиницу. — Алеша в развалинах: «на стенах мох, трава. Окна, двери обрушились. В горнице, просторной, со сводом, видны признаки скорого бегства. Разбросанные платья; на столе горят два светильника, на полу кинжал». Явление духа Милолики. «Меня умертвил супруг мой. Я спасла одного несчастного юношу, которого он изменнически заманил в свой замок, затем, ограбив, заколол». Алеша должен отыскать место, где погребен Горюн, и похоронить с ним тело Милолики, брошенное им в источник; лишь тогда она успокоится «в объятиях Чернобога»; ее сын Калита никогда не знал ни отца, ни матери, и не узнает (как в романе Шписа, что Жуковский опустил в своих «Двенадцати Спящих Девах»); «он должен семь раз сделаться убийцею в 34 года своей жизни, когда же они пройдут, он должен, в отместку, умереть от руки своей матери». Алеша обещает все сделать, дух исчезает; Добрада с пальмовой ветвью является позади богатыря и уводит его с собою. Бьет 12 часов, входит Барма (дух привел его не в гостиницу, а к развалинам) и с испуга прячется под стол; привидения бегают по горнице, поют «страшным хором», пляшут, но делаются недвижимыми при появлении Добрады; стол, под которым сидел Барма, исчезает, а сам он вылетает в окно на огромной летучей мыши. Стук и треск, занавес падает.

Богатыри сидят в гостинице; входит Милолика в виде богатыря, в черной броне, с пергаментным свитком в руках, обернутым в черный креп, и приглашает всех в замок Громобоя быть свидетелями его поединка с Калитой: он убийца Мирославы. Богатыри обещаются и идут искать Алешу, чтобы и ему сообщить это известие. Между тем Алеша плуствует по лесу, нашел Барму, которого летучая мышь оставила на утесе, но служители Добрыни признали его по вооружению, похожему на вооружение Калиты (голубой панцырь, белые перья на шлеме), за убийцу их боярышни, осилили его и ведут. «То-то молодец! Насилу его взяли, — говорит Барма, спрятавшийся во время боя в кусты. — И я не трус! Я бы им не дался в руки! Но в чужие дела не люблю вмешиваться». Когда Добрада, явившись в виде дочери лесника, спрашивает, откуда он, он отвечает, что прямо из сражения: «мы сражались, как отчаянные!.. Все убежали. Я один остался, как видишь, непобедимым». Добрада хочет проучить хвастуна; в следующей проделке участвует и Милолика, являющаяся лесниковой дочерью, за которой начинает ухаживать Барма, а затем

обращающаяся в дряхлую, безобразную старуху. Шутка кончается тем, что духи окружают Барму и выгоняют его бичами.

Богатыри приезжают к Громобою, Чурило обвиняет Калиту, и бой назначен. Милолика освобождает Алешу, которого Добрыня заключил в погреб; Добрыне она говорит, что убийца его дочери — Калита, с ним сразится Алеша.

Место поединка огорожено черными перилами, на черных скамьях богатыри, судьи поединка, в черных латах. Во время боя является дух Мирославы и Милолика в образе старика; она удерживает Калиту, бросившегося с булавой на Алешу, у которого сломался меч; заставив Калиту признаться в убийстве и приняв свой собственный вид, она поражает его кинжалом: «умирай от кинжала своей матери!»

«Моя мать!» — восклицает он, падая.

Громобой горюет по дочери; он одинок, на что ему богатства? Он стал добрее и приютил у себя старушку-Любимиру и мальчика-Добраду: они заменяют ему потерю. Любимира открывается ему; отец в восторге, посылает за Алешей и богатырями, велит все готовить для помолвки, хочет веселиться.

А между тем Алеша с Бармой едут к пустынноку-Милолике: она показывает Алеше его будущее (видение его брачного торжества в храме Лады) и прошедшее (видение Алеши-пловца, корабль которого разбивается о камни, старик является посреди волн и спасает его) и говорит о несчастном, тридцать лет томящемся здесь в подземелье: он страдает «за свои преступления, желает смерти, которая бежит от него, проклинает жизнь и живет», пока какой-нибудь смелый юноша не согласится добровольно подать ему руку помощи. Алеша сходит в подземелье (пока Добрада потешается над Бармой); перед ним Горюн в цепях, бледный, сухой, борода по колена; когда-то он звался Пересветом, затем его прозвали Горюном; убийства и грабежи были ему забавой; когда он заколол Милолику, духи мщенья повергли его в подземелье, заковали в оковы; здесь он томится, милосердный пустынный (Милолика) приносит ему пищу. Алеша говорит ему, что успокоение Милолики требует, чтобы он оставил это место; оковы падают с Горюна; громовый удар, и он узнает глухой лес, источник, куда он бросил тело убитой, в стороне развалины замка. Алеша открывает ему, что он до тех пор будет страдать и странствовать, пока его прах не будет покоиться подле костей Милолики. «Решись, Пересвет!» — и тот готов без трепета покориться, приближается к источнику и падает в него, сраженный молнией. Преображенная Милолика является в облаке, с

оливной ветвью в руках, благодарит Алешу за свое избавление; сокровища в развалинах достанутся ему, пусть спешит в объятия Любимиры.

Либретто кончается картиной с участием Добрады и духов: пылающий жертвенник, богатыри; Любимира бежит в объятия Алеши, Громобой соединяет их руки.

Таково содержание «Алеши»; он остался в черновике, но «Громобой» и «Вадим» вышли из тех же материалов. Имя Громобоя взято, вероятно, из Чулковской сказки («Повесть о дворянине Заолешанине, богатыре, служившем князю Владимиру»); там его настоящее имя Свенелд; по смерти Святослава он удалился в деревню по побуждению волшебницы Добрады, предвидевшей, что его сердце, дотоле упражнявшееся в одной храбрости, готовилось дать дань природе, что в праздности и уединении должно оно полюбить. Но так как «определение судеб конечно участвует в браках», Свенелд никого не мог полюбить, кроме Милены, и он ищет ее, сам того не ведая. Милена зачарована; ее освободитель должен быть «пригож, добродетелен и неустрашим». И Добрада ведет Громобоя к Милене; их сын Звенислав, дворянин Заолешанин. «Громобой» Каменева (отрывок) взят из сказки; кроме имени главного действующего лица (Громобой, наперсник Святослава), еще и Звенислав; вместо Милены — Калханта.

Чулковская сказка указывала на мотивы, приготовлявшие к мотивам искания у Шписа. Но надо сличить с ними «балладу» Жуковского, чтобы оценить приемы его «подражательного творчества». Ненужные повторения фантастических приключений удалены, план стал яснее, а вместе с тем впечатление чего-то таинственного, нездешнего усилилось; по обычаю смягчены эпизоды соблазнительного или вообще реального характера: нет бесконечных любовных искушений, опущен рассказ о необычных условиях, в которых, по требованию сатаны, должен родиться Вилибальд-Вадим. В конце романа Вилибальд женится, у него 8 сыновей и 4 дочери; в старом плане «Искупления» Вадим соединяется с «любезной и идет в дом родительский»; в «Вадиме» все это окружено какой-то неизъяснимой тайной: тайна в храме, где

Перед угодником горит,
Как в древни дни, лампада,
И благодатное бежит
Сияние от взгляда,

где кто-то «светлый» простерся в алтаре перед потиром, тогда как Вадим с подругой очутились перед налоем и слышится «гимн венчальный». Все это едва намечено, не досказано, все ведет к сцене искупления грешника. Этого искупления ждут, и уверенность является:

И было все для них ответ:
И холм помолоделый,
И луга обновленный цвет,
И бег реки веселый,
И воскрешенны дрeвеса
С вершинами живыми,
И, как бессмертье, небеса
Спокойные над ними.

Впечатление такое, как будто все это дeется где-то «там», в мире сказки, воздвигающей на Днепре, под Киевом, средневековые замки и наделяющей новгородского Вадима не только красотой, мужеством «и сердца простотою», но и настроением сентименталиста:

Чего искать? В каких странах?
К чему стремить желанье? ...
Все, все Вадиму говорит
О чем-то неизвестном.

«Двенадцать Спящих Дев» дают нам приблизительное понятие о том, что вышло бы из поэмы «Владимир», которую Жуковский затеял в 1809–1810 гг. и следы которой можно наметить до начала 20-х годов. Эпическая поэма была в чести; ее ждали от Жуковского¹. «Пиши своего Володимира», – поощряет его Батюшков 26 июня 1810 г.; план еще зреет в его голове; он готовится к нему, хочет «иметь основательное понятие о древности славянской и русской»; затевает путешествие в Киев (к Тургеневу августа 1810 г.); в следующем письме (12 сентября) он откровеннее: Тургенев советовал ему предпочесть Святослава Владимиру, но «Владимир есть наш Карл Великий, а богатыри его – те рыцари, которые были при дворе Карла; сказки и предания приучили нас окружать Владимира каким-то баснослов-

¹ Пушкин ждал ее от Гнедича: «Тень Святослава скитается не воспетая, писали вы мне когда-то. А Владимир? А Мстислав? А Донской? А Ермак?» (1825 г. 23 февраля, Михайловское).

ным блеском, который может заменить самое историческое вероятие. Читатель легче верит вымыслам о Владимире, нежели о Святославе, хотя последний по героическому характеру своему и более принадлежит поэзии, нежели первый. Благодаря древним романам, ни Ариосту, ни Виланду никто не поставил в вину, что они окружили Карла Великого рыцарями, хотя в его время рыцарства еще не существовало. Что же касается святости Владимира, то можно говорить об нем и заставить его действовать приличным образом его историческому характеру; к тому же главным действующим лицом будет не он, а я его сделаю точкою соединения всех посторонних действий, для сохранения единства. Поэма же будет не героическая, а то, что немцы называют *romantische Heldengedicht*, следовательно я позволю себе смесь всякого рода вымыслов, но наряду с баснею постараюсь вести истину историческую, а с вымыслами постараюсь соединить и верное изображение нравов, характера времени, мнений, позволяя, однако, себе нравы и мнения времен до Владимира перенести в его время, ибо это принадлежит к вольности стихотворного дворянства, данного нашей братье императором Фебом».

О «Владимире» упоминает Жуковский и в письмах к Тургеневу от 4 и 7 ноября того же года («Владимир будет моим фаросом»). В 1809—1812 гг. он отмечает для себя авторов и произведения, с которыми ему следовало познакомиться для поэмы; из русских источников названы летописи, Духовная Владимира Мономаха, Слово о Полку Игореве, которое Жуковский собирался переводить¹, народные русские песни и сказки; перечень западных представляет пеструю смесь: Гомер, Вергилий, Овидий, Ариост, Тасс, Камонс, Мильтон, Шекспир, Саути, Маттиссон, Вальтер Скотт, Оссиан, Эдда, Песнь о Нибелунгах, западноевропейские народные баллады, романы Трессана, Richardet и др. Отмечены места, достойные подражания: из Гомера «каталог войск», сравнение войска с лебедями и пчелами, единоборство Париса и Менелая; из Тасса: описание Арמידина сада, Клоринды, очарованного леса, из Роланда (Ариосто) описание острова Альцины и т.д. На Виланда нет указания, но его Оберона Жуковский затевал переводить в 1811 г.², а в перечне задуманных им произведений, относящемся к 1812 г., стоят рядом: «Владимир, Оберон»³, что объясняет, быть может, позднейшую заметку Воейкова при послании к нему Жуковского, что «Владимир» был затеян в стиле «Оберона».

¹ Бумаги Жуковского. С. 156.

² *Иб.* С. 53.

³ *Иб.* С. 55.

Сохранились в двух небольших набросках «Мысли для поэмы» и несколько относящихся до нее фраз, из которых отметим следующую: «Царь-Деввица мстит за брата своего, убитого Ильей, требует, чтобы он был отдан ей в руки. Царь-Деввица встречается с Ильей и едет с ним в замок любви, не зная его. Он избавляется Добрыней. Ведьма, очаровавшая богатырей». Это, может быть, мотив былин о «трех поездках Ильи», но наизнанку: Илья заезжал к прекрасной королевичне (Зенире у Рыбникова IV, 25), которая хочет прельстить его, но Илья ее перехитрил и освобождает заключенных ею богатырей Алешу и Добрыню.

Именно Добрыня должен был быть героем поэмы, как в незаконченной поэме Львова и у Державина; имена некоторых действующих лиц подтверждают знакомство Жуковского с Державинским «Добрыней», может быть, и с Чулковской сказкой: в последней Добрыня воспитан волшебницей Добрадой, которая помогает ему освободить от очарования царицу Карсену и ее милого, печенегского властителя Куруса; они соединяются браком; Добрыня бьется с Тугариным, притязавшим на руку болгарской княжны *Милолики* и подошедшим под Киев, когда она досталась в жены Владимиру.

Из двух дошедших до нас планов поэмы один, краткий, зачеркнут автором и, вероятно, не дописан: Тугарин осадил Киев, Добрыни нет в городе, а он один может победить Тугарина; в числе богатырей последнего — Полкан, Змиулан, Карачун; «Илья, мучимый любовью; в лесу пустынником; встречается с Рогнедой и крестит ее. Еруслан отыскивает Милославу в замке Карачуна. Сражение Алеши с Змиуланом, Царь-Деввица и Добрыня».

Второй план пространнее, но распорядок тот же. Добрыня послан за мечем-самосеком, Златокопытом, водою юности, а к Киеву подходит Полкан Невредимый, требует, чтобы Владимир уступил ему свою невесту Милолику; привезли ее Ярослав и Радегаст новгородский, «убийца своей любовницы, мучимый привидением». В числе богатырей Владимира — Рогдай и Громобой, у Полкана-Тугарина — Зилант, Змиулан. Недаром в рассказе о поездке Добрыни намечен был эпизод: «История Добрады и Черномора»; очевидно, влияние Чулковской сказки, как далее Тасса и Ариоста; последнее преобразило мотив об Илье и Царь-Девлице: вместо нее Зилена, любовница Ильи, оба очарованы в жилище Люцины. Рассказ переносится в Киев и снова к Добрыне; он достал меч и Златокопыта, разрушил очарование Ксении (Карсены Чулкова?), проводит с нею ночь в долине и лишается

ее. Следует возвращение Добрыни в Киев: он сражается с Полканом и побеждает. Владимир уступает Милолику Радегасту, являются Ксения и Добрада, и поэма должна была кончиться брачною ночью Ксении с Добрыней¹.

Мы не сосчитались еще с некоторыми литературными воспоминаниями, которые могли иметь влияние на затею Жуковского: Каменевский «Громвал», руководимый добродетельной волшебницей Добрадой, ищет свою милую Рогнеду, похищенную Зломором; как «Раиса» Карамзина дала Жуковскому имя Людмилы («Три пояса» 1808 г., «Людмила», «Плач Людмилы» — подражание Шиллеровой «Амалии» 1809 г.)², так неконченный «Илья Муромец» (1794) подарил его Черномором и представлением чувствительного Ильи, мучимого любовью (план «Владимира»), осуждающего тех, кто ею гнушаются («Алеша Попович»). Сев на берегу реки «под тенью дерев развесистых», Карамзин хочет рассказать свою повесть тем, кто находит удовольствие «в русских баснях, в русских повестях, в смеси былей с небылицами», «О богиня света белого, ложь, неправда, призрак истины», восклицает он, призывая фантазию, ту самую, «которая с Людмилою нежным и дрожащим голосом мне сказала: я люблю тебя!» И он начинает рассказ о «бессмертных подвигах величайшего из витязей, чудодея Ильи Муромца!» Весна; «рыцарь» Илья едет, и хотя он «Геснера не читывал», но, имея «сердце нежное» и «чувствительную душу», размышляет, любясь «красотою дня», как истый сентименталист — на подкладке игривой чувственности. Видит шатер, около него гуляет конь, но витязь не показывается; в шатре покоится красавица, какой не написал бы ни Тициан, ни Корреджио; она разметалась, и Илья может налюбоваться ее прелестями, например, лилейною рукой, «где все жилки васильковые были с нежностью означены». Понятно, какая «сердечная чувствительность в масле глаз его светилась». Два дня и две ночи проводит Илья в шатре, а красавица не просыпается. «Как Илья, хотя и Муромец, хоть и витязь Руси древняя», мог просидеть целую неделю, не взяв в рот маковой росинки, не чувствуя дремы? Это чудо любви: так святой монах целое столетие пробыл без пищи и сна, слушая пение райской птички. Наконец черная муха села на малиновые уста красавицы; Илья стонет ее «указательным пальцем», на котором сиял перстень с талисманом добродетельной волшебницы Велеславы,

¹ См.: Письма В.А. Жуковского к А.И. Тургеневу, с. 65–67 и Бумаги Жуковского, с. 150 и 154–155: бумаги 1808, 1810, 1811 гг.

² См. еще Людмилу в поэме Радищева «Алеша Попович».

и красавица очнулась: талисман подействовал на нее, усыпленную чарами «хитрого волшебника, Черномора ненавистника». Илья понял, что красавице надо одеться, и он выходит из ставки, чтобы не стеснять ее; она показывается в доспехах рыцаря, и оба садятся «под сенистыми кусточками». Две минуты продолжается молчание, «в третью чудо совершается»; какое, мы не знаем, потому что поэма не кончена; можно подсказать одно из положений, намеченных в плане «Владимира». Русская древность служит целям травестики, чувствительной или романтической: стиль Виландова «Оберона», приложенный к «былям» Владимировых богатырей; «небылица» была именно в стиле, но его несообразность не ощущалась. В 1804 г. чувствительничает и Державин; его Добрыня – «рыцарь», Владимир любит спящую Прелепой и, в жилки голубые

Увидя розову текущу тихо кровь,
Прижал к своим устам.

Прелепа – царица его сердца, он ее узнал; закон любви царя с пастушкой равняет: Прелепа и Добрыня горят и млеют друг к другу страстью и мечтают соединиться в небе невинным духом.

Очень вероятно, что Воейков узнал о затее Жуковского, когда в начале 1813 г., поощряя его к серьезной поэме, говорил ему о Святославе с Добрынею, о Владимире, нашем Готфриде и Карле. В своем ответном послании Жуковский сообщает не столько план, сколько общее содержание поэмы, которая должна была наполнить его «белую книгу»; упоминание «Царь-Девы» указывает на старый план, устранившийся вторым: Киев осажден басурманами, виден Добрыня, уже скачущий на Златокопыте,

Не скачет витязь, а летит,
Громя Зилантов и Полканов,
И ведьм, и чуд, и великанов!

Далее мотив из «Слова о Полку Игореве», который трудно приурочить к планам поэмы: Добрыня скачет, а девица-краса глядит на его путь из терема (не Ксения?), летит за ним душою

И так в раздумьи говорит:
«О ветер, ветер, что ты вьешься?»

Ты не от милого несешься¹,
Ты не принес веселья мне;
Играй с касаткой в вышине,
По поднебесью с облаками,
По синю морю с кораблями,
Стрелу пернатую отвей
От друга радости моей.

Интересно сравнить эту переделку мотива из Слова о Полку Игореве с соответствующим местом перевода, который в 1817 г. Жуковский готовил для несостоявшегося арзамасского журнала: «Голос Ярославнин слышится, на заре одинокой чечоткою кличет: Полечу, говорит, кукушкою по Дунаю... О ветер, ты ветер! К чему же так сильно веешь? Почто же наносишь ты стрелы ханские своими легковейными крыльями на воинов лады моей? Мало ль подоблачных гор твоему веянью? Мало ль кораблей на синем море твоему лелеянью?»

Послание продолжает, намекая: Добрыня бьется с Бабой-Ягой; далее встреча с Дубыней, Горыней; русалка и козлоногий леший в дремучем лесу, —

И вдруг стоят пред ним чертоги,
Как будто слиты из огня —
Дворец волшебный Царь-Девыцы;
Красою белые колпицы,
Двенадцать дев к нему идут
И песнь приветствия поют,
И он.....

План поэмы, может быть, никогда и не выяснился далее этого «И он»; что должно было произойти между Царь-Девыцей и Добрынею, мы не знаем. В Чулковской повести об Алеше Поповиче богатырь встречается с Царь-Девыцею в тех же условиях, в каких Карамзинский Илья; Державин в своей «Царь-Девыце» (1812) заменил его Маркобруном сказки о Бове, описал терем Царь-Девыцы, украшенный «в солнцах, месяцах, звездах», она гуляет «в рощах зланных *в лукоморье*», «и по веткам птички райски, скакивал *заморский кот*»; полк нимф следует за нею, являются женихи; один из них несет

¹ Психически-расстроенный Батюшков любил повторять эти стихи: О ветер... несешься. См.: Соч. Батюшкова, I, 297.

«колпиц алы черевички». Образы эти обратили внимание Жуковского и Пушкина¹.

Кажется, и после 1813 г. Жуковский собирает материалы для поэмы. В одной из мыслей, набросанных по ее поводу, читаем: «Владимир под старость лет посылает одного из богатырей (очевидно, Добрыню) на подвиги. Время ужасное для него приближается, в которое прошлое должно быть заглажено. Добрыня испытывает многие очарования, следствия одного и с ним одним разрушающиеся. В то же время война с Печенегами, в коей успех соединен с тем же очарованием». К этому прибавлено: «заимствовать из Zauberring»; вероятно, имеется в виду Zauberring Ла Мотт Фуке (1813 г.). В письмах к Воейкову и Тургеневу встречается почти одна и та же фраза: «молись же судьбе, чтобы вдруг меня не ослепило (т.е. счастье брака). Это значит: приезжай, и в белой книге наполнятся страницы»², «молись, брат, чтобы в белой книге наполнились страницы» (письмо к Тургеневу середины марта 1814 г.). «Скандинавский замок» Батюшкова прелестен, пишет он Ал. Тургеневу в сентябре 1814 г., «он поджигает меня на поэму. Эта мысль уже давно в голове моей; теперь будет зреть и созреет... Нет ли у тебя каких-нибудь пособий для Владимира? Древностей, которые бы дали понятия о том веке старинных русских повестей? Посоветуйся об этом с Дашковым и с Сергеем Семеновичем (Уваровым)». «Я поищу у себя и у других матерьялов для твоего Владимира, — отвечает Тургенев. — Дашков уже в Москве с Уваровым, который обнимает тебя, советоваться буду, но мысли мои давно бродят на севере и мало встретили для тебя полезного. Разве скандинавские и шотландские баллады не представят ли чего сродного? Уваров намеревался прислать тебе некоторые баллады шотландские. Я еще не получал их, а в том, что читал, находил многое, что мне тебя напоминало»³. Приятели интересовались; увлеченный поэмами Вальтер Скотта, Уваров признается Жуковскому, что как он ни влюблен в

¹ В одном эпизоде «Бахарьяна» (Бахарьяна, или Неизвестный. Волшебная повесть, почерпнутая из русских сказок. Москва 1803 г.), где так мало русского, несмотря на заглавие, в образе Царь-Девыцы является волшебница Злодума, похитившая Фелану, которую держит на своем острове, среди соблазнов и угроз, принуждая ее выйти за ее сына, уродливого Ишима. Содержание поэмы состоит в рассказе о приключениях Неизвестного (имя которого разоблачается в самом конце: Орион), ищущего свою милую Фелану. Есть и эпизод об очаровании богатырей: рядом с Эспландианом и Калеандром — Яруслан, Илья Муромец и князь Иван; их держит у себя в звериной метаморфозе маг Софант.

² Русский Архив. 1900. № 9. С. 19, письмо 13 февраля 1814 г.; к Воейкову.

³ Ал. Тургенев в неизданном письме к Жуковскому 2 октября без года (=1814 г.).

греческую поэзию, но она «не так к нам близка, как туманные, фантастические изображения северных бардов». Он приглашает Жуковского заняться поэмой в роде Вальтер Скотта. «Две эпохи можно назвать пиитическими: классическую, т.е. эпоху греков, и романтическую, т.е. эпоху средних веков, *des Mittelalters*. Мы и следы потеряли к таковому расположению умов»¹. Вскоре он найдет у нас и средние века и расположение умов. Когда Капнист указал ему на интерес, представляемый нашими народными песнями, он отвечал ему в 1814 г.²: «без собственных форм, языку нашему свойственных, нам никогда нельзя иметь истинно-народной словесности... Русской язык имеет в своих древних памятниках большое изобилие в метрических формах, но эта золотая руда еще в недрах земли сокрыта». Надо над этим потрудиться. «Я часто о сем предмете беседовал с моим приятелем Жуковским, которого превосходный талант в поэзии довольно известен; я часто предлагал ему написать русскую поэму *русским размером*, предоставляя судить ему, какой метр между русскими способнее к продолжительному сочинению. Зачем, я говорил ему, не избрать эпоху древней нашей истории, которую можно назвать эпохою нашего рыцарства, в особенности эпоху, предшествовавшую введению христианской религии? Тут вы найдете в изобилии все махины, нужные в поэме. Что может быть для поэта обширнее наших походов на Царьград? Что разнообразнее древнего нашего баснословия? С каким искусством предстоит вам соединить ее оригинальные северные формы с блистательными появлениями Востока? Каким волшебным светом может поэт озарить берега днепровские, стены Киева, Босфор и золотые вершины Царьграда? В этой эпохе история сопутствуема баснословием; поэт может произвольно черпать из той и другой, составляя целое не по следам Гомера, потому что мы не греки, не по следам Тасса и Ариоста, потому что они писали для своего народа». — Сходно в статье Батюшкова того же года: «Г. Уваров, в письме своем о гекзаметре, говорит между прочим, что русские могут иметь свою отечественную поэму, и назначает для оной именно эпоху до христианства и последующую, которую называет он эпохою нашего рыцарства... Если г. Жуковский согласился на его приглашение написать поэму из нашей истории, то он должен непременно избрать сей период от рождения славянского народа до разделения княжества по смерти Владимира. Мы пожелаем с г. Уваровым, чтоб автор „Певца во

¹ Письмо Уварова к Жуковскому 17 августа 1813 г., Рус. Архив. 1871. 2. Ст. 0161–0162.

² Чтения в «Беседе любителей русского слова» 1815 г. Чт. 17. С. 64 и след.

стане русских воинов”, „Двенадцати Спящих Дев” и пр., поэт, который умеет соединять пламенное, часто своенравное воображение с необыкновенным искусством писать, посвятил жизнь свою на произведения такого рода для славы отечества... и не истощал бы своего бесценного таланта на блестящие безделки»¹.

Еще поездка Жуковского в Дерпт не была решена, но письмо Маши его ободрило и, отвечая ей, он пишет: «Владимир будет написан» (15 сентября 1814 г.). Собираясь в путь и составляя план будущей жизни и занятий, он намечает: «материалы для Владимира. Владимир... баллады, послание к Государю... Оберон... Eloisa to Abelard – Der Mönch und die Nonne [Монах и монашка (нем.)]»²; просит Тургенева достать у Уварова обещанные английские книги (Southey, Thalaba the Destroyer и Hoole, Arthur or the Northern Enchantment), они могут пригодиться для его Владимира, который крепко гнездится у него в голове³. «Я не шутя начинаю думать о поэме; уже и Карамзин (милый, единственный Карамзин, образец прекраснейшего человека) мне помогает. Я провел несколько сладостных дней, читая его историю. Он даже позволил мне делать выписки. Эти выписки послужат мне для сочинения моей поэмы. Но как еще много надобно накопить материалов! Жизнь дерптская, дерптская библиотека, все это создаст Владимира» (ему же 4 марта 1815 г. Москва). – 11 июня 1815 г. он пишет Киреевской, что хочет побывать в Дерпте «на крестинах»; «потом назад в Петербург что-нибудь для себя состряпать. Это что-нибудь не иное что, как пенсион, который мне хочется для себя выхлопотать. Если же не удастся, то уеду без всего и буду работать музам и славе, нимало не заботясь о прочем... Примусь прилежно за Владимира, – и он верно даст мне гораздо больше состояния, нежели когда-нибудь служба»⁴. «Вероятно, что старому деду (Шишкову) не достанется ценсоровать Владимира», писал Уваров, вызывая Жуковского из Дерпта в Петербург по желанию Императрицы (29 июля 1815 г.⁵). В начале августа того же года Жуковский мечтает в Дерпте: «Мне бы хотелось в половине будущего года сделать путешествие в Киев и Крым. Это нужно для Владимира. Первые полгода я употребил бы

¹ Соч. Батюшкова. II. С. 410; III. С. 644 прим. к с. 99; I. С. 189 прим. 1.

² См.: Бумаги Жуковского. С. 7–8; сл.: ib. С. 32–33: Монах.

³ Письмо к Тургеневу из Долбина 1 декабря 1814 г.

⁴ Сообщено А.Е. Грузинским. См. Предисловие.

⁵ Русский Архив. 1871. № 2. С. 0166.

на приготовление, а последние на путешествие» (к Тургеневу, 4 августа)¹.

30 декабря 1816 г. Жуковскому назначена была пенсия в 4000 р. по докладу министра народного просвещения А.Н. Голицына, перед которым ходатайствовал о том А.И. Тургенев. В записке, поданной им при этом случае, говорится, что при таланте Жуковского от него можно ожидать новых успехов и что он «без дерзости может предпринять одно из тех великих поэтических творений, коими ознаменованы славнейшие веки в словесности; влекомый желанием воздвигнуть такой памятник себе и отечеству, он уже предполагает эпохою своей поэмы назначить время, когда в наших летописях сумрак баснословных преданий сменяется ясным светом истории. Позволительно думать, что совершение столь великого труда, кроме таланта, требует еще и обстоятельств благоприятных, особливо независимости от нужд недостаточного состояния. При бескорыстном и благородном характере Жуковского, сия независимость может быть доставлена единственно через помощь от престола»².

Жуковский считал царский подарок «наградой за добрую надежду», но, «чтобы написать что-нибудь важное, надо собрать для этого материалы. У меня сделан план: он требует множества материалов исторических. Того, откуда я их почерпнуть должен, с собою взять не могу — а время между тем летит. Что, если оно улетит и умчит с собою возможность что-нибудь сделать? Я столько потерял времени, что теперь каждая минута кажется важною. Вся моя протекшая жизнь есть не иное что, как жертва мечтам — жалкая жертва! Я боюсь, не потерял ли я уже возможности пользоваться настоящим». Всех своих книг ему не перетаскать с собою; «сверх того я беру здесь лекцию, именно для моего плана весьма важную. Она продолжится от февраля до конца мая и должна облегчить мне большой труд. Одним словом, в нынешнем и будущем году я должен написать что-нибудь важное; без этого душа не будет на месте»³.

Если и в данном случае разумеется «Владимир», что вероятно, то тем интереснее встретить Воейкова, и в том же году, на путях Жуковского. Весною 1816 г. он собрался в Крым и Киев, и Жуковский просил для него у Тургенева рекомендательных писем к

¹ Сл.: Русская Старина. 1883. Апрель, письмо к Киреевской от 1 августа 1815 г.

² Русская Старина. 1901. Август: Записка А.И. Тургенева о В.А. Жуковском, представленная им в 1816 г. к А.Н. Голицыну. С. 393.

³ Плетнев. О жизни и сочинениях Жуковского; сл.: Соч. и переписка П.А. Плетнева. Т. III. С. 79.

архиепископам Киевскому, Черниговскому и Псковскому¹. Весной или в начале лета Воейков уже уехал² с открытым письмом от университета ко всем губернаторам и архиереям для оказания ему содействия «к обозрению всего примечания достойного». В просьбе к совету университета Воейков мотивировал свое путешествие тем, что хочет написать поэму о князе Владимире и потому нуждается в посещении тех мест, где действовал его герой³. В стихотворении «К жене» 10 ноября 1817 г. он напоминает ей о Киевских впечатлениях; «Послание к моему другу-воспитаннику о пользе путешествия по России», написанное в 1818 г.⁴, говорит о Владимире, который «в светлых теремах, где вкруг заря видна, Где солнце в день, в ночь звезды и луна, Пил сладострастье полной чашей; Сребром и золотом посыпал И в полах золототканых, На скатертях камчатных браных, Князей, богатырей и гридней угошал», пока Дух Святой не «назнаменал своей Владимира печатью: Жива душа! убита плоть!»

Была ли это затея, или предлог для поездки, мы не знаем; Жуковскому удалось побывать в Киеве лишь в 1837 г., что до его «Владимира», то следы его становятся реже. По-видимому, о нем говорится в письме к Дмитриеву (1 марта 1817 г.): «Готовлюсь! чтоб хорошо обработать предмет, взятый из нашей истории, надобно покороче познакомиться с этою историею в ее источниках: это я и делаю. Без подмосток нельзя построить здание. Дай Бог только не остаться с одними подмостками». — В бумагах 1819 г. есть пять зачеркнутых строк, может быть, относящихся к какому-то эпизоду поэмы: «Лодомир и Милороза. Лодомир в беседах с Владимиром»⁵. Дмитриев все еще надеется, что Жуковский «побывав в отчизне Шиллера, Клейста, а, может быть, и Виланда, воспламенит нас обещанною поэмою во вкусе Оберона»⁶. Надеялся в 1882 г. и кн. Вяземский: записывает «в книгу литературных упований» обещание Пушкина рассказать «Мстислава древний поединок» — и ждет «с нетерпением давно обещанной поэмы Владимира, который и после Хераскова еще ожидает себе песнопевца»⁷. И в то же почти время Пушкин работает в Кишиневе над планом «Владимира», причем хотел вос-

¹ Письмо Жуковского к Тургеневу из Дерпта, 12 апреля 1816 г.

² Сл. письма к Тургеневу № LXXIV—LXXV и LXXVIII.

³ Сл.: Петухов, Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском Университете. Юрьев, 1900. С. 43.

⁴ Сл.: Вестник Европы. 1818. № 12. Июнь. С. 270 и след.

⁵ Бумаги Жуковского. С. 82.

⁶ К Ал. Тургеневу 18 августа 1820 г.

⁷ Сын Отечества 1822. Ч. 82. № 49. С. 125.

пользоваться былинами, «Словом о Полку Игореве», Тассом – и Херасковым.

Затеей осталась и другая повесть Жуковского на историческую, русско-немецкую тему; из ее программы и набросков, относящихся к 1814 г., видно, что действующими лицами являлись Гатред, один из рыцарей, вызванных епископом Альбертом в Лифляндию, брат его (Волкуин=Адольф; Родриг) и Изара, похищенная братьями во время одного из их походов¹. Очень вероятно, что на эту тему намекает Жуковский в 1819 г.: он будто бы нашел ее в каком-то пергаментном истлевшем списке», написанном «славянским древним языком», но список принадлежит, вероятно, к категории тех рукописей времен Владимира, на которых, будто бы, основана «Марьяна Роща»; списка того он разобрать еще не мог, докладывает поэт императрице Марии Феодоровне, но знает, что в нем преданье

Какое-то заключено
О князе древняя Герсики,
Которого Альберт Великий,
Епископ, сжег (как то давно
Из летописцев нам известно).
Еще упоминает в нем
О сыне князя молодом,
О розе, о любви чудесной
Какой-то девы неземной
И прочее. Итак, быть может,
Когда фантазия поможет
Мне подружиться с стариной,
Я разгадаю список мой,
Быль небылицами приправлю
И всеподданнейше представлю
Вам, государыня, в стихах
О том, что было в древни леты
На тех счастливых берегах,
Где павильон Елизаветы.

(«Государыне императрице Марии Феодоровне
первый отчет о луне в июне 1819 года»)

Добавленные стихи (3 августа) говорят, что поэт не мог один добраться до смысла рукописи, таинственно зарытой под древ-

¹ Бумаги Жуковского. С. 156.

ний пень, где ее доньне сторожила «волшебная кошка», но «Ливий Севера»¹ помог ему понять «непонятный слог», выбрать золото из сора и силой воображения исторгнуть из сумрака старины. «И вот я сделал перевод старинного рукописанья и т.д. до 150 стихов» (на этом обрывается приписка). Жуковский был, по видимому, на пути к инородческому романтизму, который воздвигали Марлинский, Кюхельбекер, Языков и недолюбливал Катенин.

Попытки силой воображения осветить сумрак русской старины, так долго занимавшие поэта и его друзей, чаявших ему от того славы, привели его, хотя и поздно, к сознанию, что «древняя история России слишком для нас далека и трудно угадать и живо представить сии времена отдаленные: слишком будет ощутителен вымысел поэтический». Но тут же он раскрывает ему двери, перечисляя возможные, не столь отдаленные сюжеты: времена междоусобия, Мономах, Изяслав, Всеволод Великий и т.д. — до Иоаннов, Василия Темного, Годунова, междуцарствия; «все это полно удивительной жизни. Но надобно быть великим творцом, чтобы воздвигнуть стройное здание из щебня летописей», надобно быть таким «гигантом», как Вальтер Скотт и Шекспир. «Что если б нашелся Шекспир для русской истории и своим гением дополнил, описал и олицетворил то, о чем умолчала наша скудная летопись?» («Мысли и замечания 1846—1847 гг.»).

Мы не вправе прилагать к Жуковскому мерку нашего реального и эстетического понимания народности; она не лежала в сфере его непосредственных интересов. В 1837 г. он промчался по России от Сибири до Крыма, но дневники его путешествия, по настроению и направлению наблюдений, ничем не отличаются от его старых, заграничных; не видно подъема симпатий к развернувшимся перед ним картинам народной жизни. По-прежнему он зарисовывает виды: на Губерлинской станции его поразили «горы, как лев или крокодил, лежащие поперек. Камни, как бородавки» (11 июня); «крестьяне на дороге в хорошей одежде» (6 июня). Местные исторические воспоминания схематизируются огулом, без оглядки, в общее положение или размышление с расплывающимися поэтическими контурами. В Угличе Жуковский записывает: «Церковь на крови. Рака; земля, напитанная кровью, и образ. Нижняя церковь. Лампада (оправдание православия. Для будущего вера, для настоящего смирение, для прошедшего благословение). Энтузиазм. Чувство

¹ Сл. Отрывок из письма к И.И. Дмитриеву 1813 года: Карамзин — наш Ливий Славянин.

святое; слезы; но ребяческое. La raison. Le sentiment. Дело правительства» (8 мая).

Поэтическое «дополнение» истории, о котором говорил Жуковский, требует ее понимания, не беспочвенной, хотя бы и не предвзятой идеализации. Она была бы возможнее, если бы ей предшествовали другие, поэтические, на которые новому поэту можно было бы опереться, хотя бы в смысле того подражательного творчества, которое Жуковский возвел в теорию. Романтики читали не одни хроники, но миннезингеров и Нибелунги; им стоило только разбудить «Спящую красавицу», нам надо было ее создать. Было бы интересно сравнить наши древние литературные памятники с «бездной поэм, романсов, героических и любовных, и простодушных, и сатирических, коими наводнены европейские литературы средних веков, — писал в 1834 г. Пушкин. — В сих первоначальных играх творческого духа нам можно было бы наблюдать историю нашего народа, сравнить влияние завоевания скандинавского с завоеванием мавров. Мы увидели бы разницу между простодушием старого французского трувера и лукавой насмешливостью скомороха, между площадной полудуховной мистерией и затеями нашей старой комедии. Но, к сожалению, старой словесности у нас не существует, за нами степь, и на ней возвышается единственный памятник: Песнь о Полку Игореве».

Ко всему этому присоединился и личный момент: Жуковский не эпик, он лирик даже тогда, когда становится рассказчиком, прислушиваясь к сказкам и к мерному падению греческого гекзаметра. Вот почему не мог удалиться его «Владимир». «Странствующий Жид» не поэма, а лирическая исповедь.

Жуковский — лирик, даже в подражании дававший *свое*, отдававший *себя*. Именно эта потребность отдаться, способность занять собою и сделала его у нас первым поэтом *непосредственного чувства*. Район его поэтического настроения крайне беден, он не мог быть последовательно Вертером и Фаустом; он односторонен, но эта односторонность цельная, исчерпывающая все его существо: он весь погружен в себя, открывает в себе целый мир неизведанных ощущений и всех заинтересовал историей своей души. Как штурмеры отдыхали на Клопштоке от галантного воркованья XVIII века, так «резвая радость» прислушивается у

Пушкина к стихам Жуковского. Дело не в одной их «пленительной сладости», которая заражала, а в чем-то другом. Жуковского меряют «клеяменным аршином», замечает для себя князь Вяземский¹: «ни форма его понятий, чувствований и самого языка не отлиты по другим нашим образцам. Пожалуй, говори, что он дурен, но не сравнивай же его с другими, или молчи, потому что ты не знаешь, что такое есть поэзия». Стихотворные красоты языка Жуковского могут поблекнуть, «поэтические всегда свежи, всегда душисты», писал в 1819 г. князь Вяземский Ал. Тургеневу²: поэтические красоты правдивого настроения, радостно-унылого, чающего; полусвет, где утраты сходятся с надеждами, вещественное с нездешним, и горизонты тают в таинственной дали «невыразимого»; образы, расплывающиеся в мелодию; чувство, целомудренно останавливающееся на пороге страсти. Молодость увлекалась им, потому что и сам он был до гроба ребенком, смотревшим «на свет сквозь призму сердца, как поэт», и мечтал при луне, уходя от низости настоящего к «очарованному там». Глинка, в 1826 г. положивший на музыку два «тоскливых романса» Жуковского («Светит месяц на кладбище» и «Бедный Певец»), сознается, что сентиментальная его поэзия «трогала его до слез, потому что в молодости он был парень романического устройства и любил поплакать сладкими слезами умиления»³. Жуковский «всего прекрасного певец» и «идол девственных сердец» (Евг. Онегин), выразился Пушкин^{4*}; «единственный из нас, который умеет любить»⁵; как в 1803 г. Ал. Тургенев сравнивал его с Петраркой, так в 1827 г. старик Тидге назвал его *mein edler Frauenlob* [Мой благородный восхвалитель женщин (нем.)]. Гоголь говорит о «благоговейной задумчивости», пронсящейся сквозь все его картины, исполняющие их «того греющего, теплого света, который наводит необыкновенное успокоение на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какую-то тайною замыкаются твои уста»⁶. И Киреевский вторит: поэзия Жуковского «передала нам ту идеальность, которая составляет отличительный характер немецкой жизни, поэзии и философии», он развил (в нашей поэзии) «сторону идеальную,

¹ В «Записной книжке», Полное собрание сочинений князя Вяземского. Т. IX. С. 30: несомненно 1819 г.

² Сл. выше с. 448.

³ Записки Мих. Ив. Глинки. Русская Старина. 1870. Май. С. 486.

^{4*} Имеется в виду вариант V строфы восьмой главы «Онегина» в беловых рукописях.

⁵ Записки Смирновой. I. С. 304.

⁶ «В чем же наконец существо русской поэзии». Соч. Н.В. Гоголя. Изд. X. Т. IV. С. 179.

мечтательную»¹. Полевой благоговеет перед «младенческой чистотою» души Жуковского, «переливавшейся постоянно с гармоническим журчанием, не смотря на то, по каким бы скалам, падавшим в нее со всех сторон, не текла струя дум поэта»².

Под обаянием этой поэзии долго оставались его старые сверстники, когда кругом уже наступил перебой литературных вкусов. Вигель вспоминал, как, пристрастившись в Белёвском уединении к немцам, Жуковский стал потчевать русских читателей «произведениями, которые по форме и содержанию своему не совсем приходились нам по вкусу. Упитанные литературою древних и французскою, ее покорною подражательницею... мы в выборах его увидели нечто чудовищное. Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною, да это все принадлежит к сказкам да разве английским романам; вместо Геро, с нежным трепетом ожидающей утопающего Леандра, представить нам бешено страстную Ленору со скачущим трупом любовника! Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он наш вкус, по крайней мере создал нам новые ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма»³. Блудов перечитывает стихотворения своего друга с благодарностью: «О, Жуковский, если бы я не имел к тебе чувства дружбы, сего чувства, в коем все сливается, и почтение к благородной душе твоей, девственной от всех порочных побуждений, и бесценное ощущение твоей любви, наконец, и воспоминание первых лет и надежд, Жуковский, я бы еще любил тебя за минуты, в которые оживляюсь твоими стихами, как увядающий цветок возвращенным свежим воздухом». Два дня он страдал «моральною болезнью», способности души и ума окаменели, он утопал в какой-то пустоте и искал себя, но случай привел на память давно нечитанные стихи Жуковского, и он «почувствовал свое сердце. Очаровательная музыка! Тобой я буду лечиться от новой тарантулы, которая не дает смерти, но отнимает жизнь»⁴. Имя Жуковского заветно для нас, поминал барон Розен: «сладостные, задумчивые, души исполненные звуки его арфы раздавались упоительно в мире наших юношеских мечтаний, отзывались глубоко в нашей душе»⁵.

¹ Полное собрание сочинений И.В. Киреевского. I. С. 22, 23.

² Очерки. I. С. 118.

³ Воспоминания Ф.Ф. Вигеля. Ч. 3. С. 135–136.

⁴ Е. Ковалевский. Граф Блудов и его время: Мысли и заметки графа Блудова. С. 251.

⁵ Библиотека для чтения. 1849. Т. 96. Критика. С. 35.

Но и на мечтания и на луну есть мода; люди захотели солнца, веселой энергии дня, не одного только счастья уныния. Жуковский ничем не «грязнул» в ответ на эти требования, а пожалел о былом:

Оно прошло, то время золотое,
С природы снят магический венец;
Свет узнанный свое лицо земное
Разоблачил – и призракам конец.

(«Ундина», Посвящение 1836 г.)

Жуковский и сам ощущал, что пережил свое время; хотелось бы мне, пишет он Киреевскому,

старости своей
По-старому хотя на миг один
Дать с молодостью вашей разгуляться,
Но чувствую, что на пиру ее,
Где все кипит, поет, кружится, блещет,
Неловко старику; на ваш уж лад
Мне не поется; лета изменили
Мою поэзию; она теперь,
Как я, состарелась и присмирела;
Не увлекается хмельным восторгом;
У рубежа вечерней жизни сидя,
На прошлое без грусти обращает
Глаза и, думая о том, что нас
В грядущем ждет, молчит.

(«Две Повести» 1844 г.)

Он отказался от рифмы: «она, я согласен, дает особенную прелесть стихам, но мне она не под лета... Она модница, нарядница, прелестница, и мне пришлось бы худо от ее причуд. Я угождал ей до сих пор, как любовник, часто весьма неловкий; около нее толпится теперь множество обожателей, вдохновенных молодостью; с иными она кокетничает, а других сама бешено любит (особенно Языкова). Куда мне за ними? Я сделался смиренным поэтом рассказчиком» (К И.В. Киреевскому 1844 г.). Молодое поколение читать его не будет, писал он А.Мих. Тургеневу; он не надеется, чтобы его произведения «возбудили какое-нибудь впечатление на Руси», повторяет он П.В. Нащокину; «мысль и чувство и вкус всей читающей русской публики искажены до того,

что и Жуковскому ходу нет», — жаловался в это время Шевырѳ¹. Для нового поколения он слишком стар — и слишком молод. В 1815 г. он любовался младенческой душой старца Эверса, как с конца 20-х годов душой Радовица; ему скоро стукнет 60 лет, а он «еще не устарел ни сердцем, ни мыслию, во многом даже еще дитя»². В 1820 г. он писал кн. Оболенской:

в тридцать слишком лет
Я все дитя, и буду вечно
Дитя, жилец земли беспечный.

«Для меня нет ничего величественнее старика, богатого прекрасными воспоминаниями, — писал он 1 января 1833 г. (Наследнику цесаревичу); — он похож на спокойного младенца, с тою только разницею, что младенец выходит из колыбели к здешней жизни, а старик приближается к гробу, который есть колыбель жизни бессмертной, и смерть в таком смысле не есть ли прекрасное рождение?»³ Он любит представлять себя самого в колыбели, где до старости лет он «лежал веселым младенцем и посматривал на все окружающее мою люльку сквозь сон поэтический»; и вдруг, отрезвившись, он встал из нее «шестидесятилетним стариком и только тут догадался, что наша жизнь не поэтический сон, а строгое существенное испытание»⁴. В другой раз он говорит о «старческой колыбели», из которой он вышел для новой жизни — в семье⁵. Ein Kinderherz, das nicht altert [Детское сердце, которое не стареет (*нем.*)] (Justinus Kerner). Это один из мотивов его старческой поэтики.

Когда-то ему понравился образ умирающего с песней лебедя («Умирающий лебедь» 1827 г.); за год до смерти он вернулся к нему как-то лично, инстинктивно:

Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый,
Как же нелюдимо ты, отшельник хилый,
Здесь сидишь на лоне вод уединенных;
Спутников давнишних, прежней современных
Жизни, переживши, сетуя глубоко,
Их ты поминаешь думой одинокой;

¹ Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. III. С. 741.

² К Наследнику 1/13 января 1843 г.

³ Сл. афоризм в альбоме Жуковского, выше, стр. 253, прим. 2.

⁴ К Смирновой 19 февраля / 3 марта 1847 г.

⁵ К Наследнику 1 и 18 июля 1847 г.

Сумрачный пустынный, из уединенья
Ты на молодое смотришь поколение
Грустными очами; прежнего единый
Брошенный обломок, в новый лебединый
Свет на пир веселый гость неприглашенный,
Ты вступишь дичишься в круг неблагосклонный
Резвой молодежи.

А она тешится, переключаясь на голубом лоне озера, «полная желаньем жизни своевольной», сторонясь печального старика. Его «монументальный» образ ее пугает, а он, «пращур лебединый», уходит в славные воспоминания пережитых им исторических дней. Так «лебедь позабытый таял одиноко». И вот однажды молодых лебедей поразил «голос, всю пронзивший бездну поднебесной»; они присмирели, прилетели на голос:

Пред ними, вновь помолоделый,
Радостно вздымая перья груди белой,
Голову на шее гордо распрямленной
К небесам подъемля, весь воспламененный,
Лебедь благородный дней Екатерины
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый;
И когда допел он, на небо взглянувши,
К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало
В высоте... и навзничь с высоты упал он;
И прекрасен мертвый на хребте лежал он,
Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор уж не горящий.

(«Царскосельский Лебедь» 1851 г.).

В 1851 г. Жуковский получил письмо от Чаадаева (письмо 27 мая), когда-то завязтого европейца, теперь присмирившего и обруселого. Он звал его на родину — водворить в русской литературе мир и порядок. Не стало авторитетов, некому поучить. «Зажились вы в чужой глуши; право грех! Почему знать? Может статься, Бог и наградит вас за доброе дело и возвратит здоровье жене вашей на земле православной... Безначалие губит нас. Ни в печатном, ни в разговорном круге не осталось никого более из той кучки людей почетных, которые недавно еще начальствовали в обществе и им руководили, а если кто и уцелел, то дряхлеет в одиночестве ума и сердца. Все у нас нынче толкуют про какое-то направление: не на-

правление нам нужно, а правление... Никогда не видано было у нас менее смирения, как с той поры, как стали у нас многоглагольствовать про тот устав христианский, который более всех прочих христианских уставов учит смирению, который весь не что иное, как смирение. Так разумели его благочестивые наши предки; так разумели его святые наставники наши, воспитавшие землю Русскую»¹.

Молодое поколение было иного мнения, и в письме к Погодину графиня Растопчина негодует на тех, кто говорил и кричал, будто Жуковский не имеет никакого значения ни для литературы, ни для России, что он умер давно и что незачем о нем тужить; «он, видимо, рифмоплет, а так как он кабаков и залавок не описывал, грязи не воспевал, то в нем нет ничего *общечеловеческого*, вовсе никакой *гуманности*, ни *конкрета*, ни *субъективности*, ни *абсолюта*, одним словом, ничего такого, что нынче прозывается гениальностью»².

Графиня Растопчина напечатала в «Северной Пчеле» стихотворение в память Жуковского; Тютчев дал его «вечерний», идеализованный облик:

Я видел вечер твой: он был прекрасен;
В последний раз прощаясь с тобой,
Я любовался им, и тих и ясен
И весь насквозь проникнут теплотой...
О, как они и грели и сияли –
Твои, поэт, прощальные лучи!..
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи.

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья...
Он все в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволения
Он были мне Омировы читал!
Цветущие и радужные были
Младенческих, первоначальных лет!
А звезды, между тем, на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет.

¹ Кирпичников. Очерки I. с. Т. II. С. 143 и след.

² Барсуков, Погодин. XII. С. 20. Сл. ее же письмо к Плетневу 8 августа 1852 г.: «прекрасное молодое поколение мыслителей и реалистов доказывает, что Жуковский *давно умер для литературы*, да и прежде вряд ли существовал», потому что он вовсе не имел центра инфлуэнции и «пописывал стишки скорее для своего собственного удовольствия, чем для пользы русского языка и русской беллетристики». Сл. Переписку Я.К. Грота с П.А. Плетневым. III. С. 765–767.

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был, хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел —
Но веял в нем дух чисто-голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру.
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?..
Иль не про нас сказало Божество:
Лишь сердцем чистые — те узрят Бога.

(1852)

Донесутся ли песни Жуковского к будущим поколениям сквозь «веков завистливую даль», как пророчил Пушкин? На таких поэтов, как он, бывает своя черед, черед и на психологическое настроение общества, когда-то прислушивавшегося к нему и на нем воспитавшегося. И теперь еще мы ощущаем сладость его стихов, точно звуки «Эоловой арфы», откуда-то спускающиеся в «низость настоящего». Но уже молодость, окружавшая «лебединого пращура», стала отказываться от порывов в область «неизреченного», стала искать поэзии в действительности, и не в уединенной личности, а в широких движениях общественного организма. Осталась *правда настроения*; завет Жуковского; это стало требованием, и эта правда пройдет «веков завистливую даль».

Указатель имен

- Абеляр П. 39
Авраамий Палицын см.: Палицын Авраамий
Адашев А.Ф. 363
Адлерберг В.Ф. 299
Азбукин В.А. 182
Аксаков И.С. 338, 407
Аксаков С.Т. 18
Александр I 111, 185, 189, 211, 344, 352, 356, 357, 370, 426, 452
Александр Николаевич, вел. кн. 111, 281, 282, 298, 340, 352
Александр Павлович, вел. кн. 364
Александра Николаевна, вел. кн. 400
Александра Федоровна, вел. кн. (Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская) 21, 42, 44, 63, 213, 221, 245–247, 253, 262, 294, 297, 299, 300, 314, 316, 322, 324, 340, 347, 353, 373, 398, 400, 404, 440, 462
Альбан (Альбани Ф.) 147
Альберт Великий 495
Аммон, пастор 285, 319
Ампер Ж.–Ж. 332
Анакреон 27, 31
Анна Павловна, вел. княжна, принцесса Оранская 451
Антоний, архимандр. 426, 427
Арбениев А. 82
Арбениева (урожд. Вельяминова) А.Н. 79, 82, 86–89, 123, 135, 136, 139, 157, 163, 219, 252, 258, 269, 339
Ариосто Л. 25, 28, 30, 147, 306
Аристотель 27, 379
Арминий (Герман, вождь герм. племен) 469
Аримм А. фон (Arnim A. von) 317, 468
Аримм Б. 42
Архангельский А.С. 16, 21, 40, 71, 233, 255
Архенгольд И.В. 74
Аттила 475, 476
- Багезен Й. 323, 324
Байрон Дж.Г. (Byron J.G.) 25, 27, 29, 33, 36, 41, 230, 260, 284, 303, 305, 308–310, 317, 328, 331, 333, 336, 337, 341, 367, 381, 382, 385, 433, 463, 465
Балашова Е.П. 260
Бальзак О. де 379
Баранова Ю.Ф. 255, 342
Барант А.–Г. 361
Барсуков Н.П. 289, 308, 357, 385, 386, 403, 409, 429
Бартев П.И. 332
Баттѐ Ш. 40, 41
Батюшков К.Н. 29, 46, 61, 65, 83, 104, 134, 135, 159, 201, 224, 243, 249, 252, 254, 283, 286, 303, 304, 309, 342, 346, 460, 472, 475
Баудиссин В.Г.Ф.К. 44
Безобразов П.М. 17
Бейль П. 28
Беккер С. (в замуж.: Шварц) 320
Белинский В.Г. 32, 34–38, 230, 286, 366, 386, 427, 467
Белозерская Н.А. 447
Бѐме Я. 280, 432
Бен А. (Behn A.) 48
Бенкендорф А.Х. 344, 369–371
Берн см.: Бѐрне Л.
Бернар Клервский 322
Бернарден де Сен Пьер Ж.–А. 56
Бѐрне Л. 379
Бестужев А.А. (псевд.: Марлинский) 23, 25, 228, 312, 367, 447, 448, 466, 475
Безр М.В. (урожд.: Елагина) 16
Блок А.А. 5, 6
Блудов В.Д. 283
Блудов Д.Н. 22, 41, 66, 74, 78, 79, 96, 113, 121, 124, 131, 133, 134, 183, 217, 224, 227, 276, 286, 293, 300, 302, 307, 314, 335, 347, 425
Блудова А.Д. 255
- Бобринская С.А. см.: Самойлова
Бобринские 267
Бобринский Александр Алексеевич 21, 273
Бобринский Алексей Александрович 21, 273
Бобров Е.А. 70, 95
Богданович И.Ф. 291, 471, 475
Бодмер И.Я. (Bodmer I.J.) 469
Бок Т.Е. фон 213
Боллингброк Г.С.Дж. 82
Болотов А.Т. 56, 78
Бонштеттен К. 155
Боратынский (Баратынский) Е.А. 252, 292, 342, 367
Бортнянский Д.С. 290, 448
Босси Дж. 333
Боссюэ Ж.–Б. 360
Боуринг Дж. 317, 318
Боярдо М. 30
Бреверн-де-ла-Гарди 229
Брейтингер И.Я. (Breitinger I.J.) 469
Брентано Кл. 42, 435, 468
Бринген А.Ф. 41, 385, 411
Брюлов К.П. 103, 442
Брюль К.Ф.М. фон 315
Брюнетьер Ф. 28
Буало (Депрео) Н. 30, 308, 441, 462
Буассере С. 315
Булахов П.П. 448
Булаков А.Я. 17, 83, 259, 273, 294, 352, 386, 400, 403, 413, 416, 430
Булгаков К.Я. 255, 294
Булгарин Ф.В. 224, 228, 344, 448
Буле И.–Ф. 96
Бунин А.И. 62, 81, 82
Бунина М.Г. 62
Бунина Н.А. (в замуж.: Вельяминова) 81
Бурачек С.А. 386
Бурдах К.Ф. 39
Бутервек Ф. 41, 88, 96, 162
Бычков И.А. 16, 21, 39, 40, 269, 273, 319, 353, 418, 464
Бюргер Г.А. 25, 26, 40, 147, 366, 431, 436, 469–471
Бюффон Ж.–Л. 466
- Вадковская Е.И. см.: Чернышева
Вадковская Е.Ф. (в замуж.: Кривонова) 17
Вадковская С.Ф. (в 1-м браке.: Безобразова, во 2-м браке.: Темиряева) 16, 17
Вадковский Ф.Ф. 17
Ваккенролер В.–Г. 44, 51, 107, 431, 435
Василий Тѐмный 496
Васильчиков А.А. 326
Вейраух А. 17, 209, 234, 335, 448
Вельяминов Н.И. 81
Венгеров С.А. 286
Вендрик Ф.Г. 41, 120
Вергилий Марон Публий 40, 55, 60, 307, 379
Верне Г. 442
Вернер З. 26, 38, 42, 433, 439
Верстовский А.Н. 448
Вигель Ф.Ф. 46, 150, 217–219, 256, 314, 465
Викрам Й. 470
Виланд К.М. 41, 45, 46, 53, 71, 120, 147, 170, 171, 173, 323, 328, 333, 334, 455
Вилламов И. 140, 218, 221
Виллон Ф. 30
Висковатов П.А. 40, 163, 234, 331, 377, 457
Владимир I Святой 125, 126, 147, 474, 495
Владимир Мономах 474
Воейков А.А. 242
Воейков А.Ф. 29, 59, 76, 89, 102, 104, 139–141, 143, 144, 146–155, 158–160, 160–164, 169, 175, 176, 187, 190–192,

194, 195, 198, 202–205, 207–209, 212, 217, 221, 224, 225, 228, 238, 241, 257, 258, 260, 288, 448, 465, 466

Воейкова (урожд. Протасова) А.А. 17, 92, 93, 133, 139, 140, 148, 151–153, 175, 176, 186, 190, 198, 202, 204, 205, 209, 210, 217, 222–227, 229–232, 234–242, 244, 249, 257, 269, 275, 300, 342, 388, 391, 396

Воейкова Е.А. 198, 242, 275

Воейкова М.А. 242, 275

Воейковы 189, 202, 208, 225, 242

Волконская З.А. 60, 447

Волконский С.Г. 346

Вольгемут М. 12

Вольгер (собств.: М.Ф. Аруэ) 30, 40, 86, 103, 120, 145, 150, 285, 327

Вордсворт У. 333

Воронцов А.Р. 100

Всеволод Великий 496

Вульф А.Н. 234, 235, 240

Вьельгорские 255, 393, 415

Вяземская В.Ф. (урожд.: Гагарина) 83, 393, 394, 429

Вяземский П.А. 9, 18, 22–25, 27, 28, 30, 35, 75, 101, 103, 141, 150, 159, 166, 185, 221, 224, 225, 227, 228, 232, 241, 244, 252, 254, 255, 264, 273, 274, 284–288, 290–292, 294, 303–306, 308, 309, 325, 326, 334, 335, 340, 341, 343, 344, 346, 347, 351, 355–357, 360, 362, 366, 367, 372, 386, 387, 393, 394, 401, 405, 407, 408, 413, 418, 421, 424, 425–428, 448, 450, 459, 461, 462, 472, 473

Гааз (Газ) Ф.П. 429

Галахов А.Д. 64, 71

Галич А.И. 32

Галлер К.Л. (Haller K.L.) 59, 350

Гальм Фр. 245, 246, 382–384

Гаман Фр. 48

Гарве Х. 40, 41, 322

Гассе Ф.Х. 319

Гебель И.П. 213, 215, 401, 457, 459, 469, 475

Гегель Г.В.Ф. 36, 418

Гейне Г. 23, 96, 243, 379, 381, 385

Гейнзе В. 50

Геллерт К.Ф. 41

Гельдерлин Ф. 51

Гемстергейс Ф. 277

Гервег Г. 403

Герлер И.Г. 41, 320, 328, 333, 431, 455, 468

Геррер Г. 470

Герцен А.И. 346, 429

Гесиод 36

Гесснер С. 40, 53, 59, 60

Гёте В. 327, 328

Гёте И.В. (Goethe J.W.) 20, 23, 25, 28–31, 33, 34, 36, 37, 40–42, 45, 53, 55, 70–73, 147, 184, 207, 215, 221, 257, 260, 263, 268, 286, 301, 303, 310–320, 322, 326–339, 366, 431, 433, 435, 437, 438, 442, 446, 457, 468, 469

Гёте К.Э. 320

Гизо Ф.-П.-Г. 326, 333

Глейм И.В.Л. (Gleim I.W.L.) 320, 469

Глинка М.И. 448

Глинка Ф.Н. 145, 241, 476

Гнедич Н.И. 40, 61, 249, 283, 288, 303, 304, 306, 308, 359, 368, 418, 452

Гоголь В.А. 61

Гоголь Н.В. 61, 75, 231, 251, 256, 289, 335, 337, 339, 342, 344, 356, 373, 377–379, 382, 385, 400, 403, 404–409, 411–413, 415–421, 428, 430, 443, 447, 465, 466, 473

Годунов Б. 496

Гольдсмит (Гольдсмит) О. 74, 459

Голицын А.Н. 155, 211, 427

Голубцов В.В. 198

Гольбейн Г. 442

Гомбрих Э. 11, 12

Гомер 20, 27, 30, 36, 108, 306, 328, 379, 386, 401–419, 421, 428, 429, 455, 457

Гораций (Квинт Гораций Флакк) 27, 40, 147, 345

Гостомысл 476, 477

Готтшед И.К. (Gottsched I.K.) 78, 469

Гофман Э.Т.А. (Hoffmann E.T.A.) 42–44, 379, 436–439

Гофмансвальдау Х.Г. фон (Hofmannswaldau H.G. von) 469

Грановский Т.Н. 429

Грасгоф К. 402

Грей Т. 23, 39, 52, 64, 69, 74, 75, 81, 87, 98, 147, 228, 247, 249, 333, 425, 458

Греч Н.И. 151, 222, 224, 228

Грибоедов А.С. 25, 36, 249

Гримм В. 436, 468, 473

Гримм Я. 436, 468, 473

Грот К.Я. 342, 363

Грот Я.К. 302, 317, 357, 373, 393, 395, 405, 408, 461

Грузинский А.В. 17, 18, 20

Грузинский А.Е. 16–21, 492

Гуфеланд К.-В. (Hufeland K.-W.) 43, 294–296, 301, 335, 375

Гого В. 379

Давыдов Д.В. 290, 308

Давылов Е. 287

Данилевский А.С. 411, 443, 473

Д'Аннуцио Г. 467

Данте Алигьери 23, 25, 29, 30, 386, 389, 403, 455

Дашков Д.В. 42, 62, 159, 224, 254, 256, 347

Девриен Э. 42, 43, 45

Дежерандо Й.-М. 326

Делиль Ж. 39, 40, 58, 60, 128, 147, 190, 308

Дельвиг А.А. 147, 472

Державин Г.Р. 23, 34, 40, 56, 62, 111, 146, 451–453, 466, 471, 475, 476, 478

Дестунис С.Ю. 376, 416

Дефонтен П.Ф. 100

Дидро Д. 48

Диоген Синопский (Diogenes von Sinope) 173

Дмитриев И.И. 34, 62, 63, 96, 109, 126, 211, 219, 221, 249, 261, 262, 272, 284, 287, 288, 290, 291, 293, 305, 318, 347, 365, 447, 465, 471, 473, 496

Дмитриев М.А. 34, 57, 58, 71, 222, 260, 458

Дмитрий Донской 138, 147

Долгорукий, кн. 88

Доротея, герц. Курляндская (Анна Шарлотта Доротея фон Мелем) 319–320

Досифей, еп. 139, 163, 164, 166, 174

Достоевский Ф.М. 356

Дубельт Л.В. 356, 369

Дубровин Н.Ф. 21, 342, 344

Дюканж В. 379

Дюма А. 379

Дюрер А. 441, 442, 470

Еврипид 23, 36

Екатерина II 364, 365, 475–477

Елагина А.П. (урожд.: Юшкова, в 1-м браке: Киреевская) см.: Киреевская

Елагина (урожд. Мойер) Е.И. 16, 219

Елизавета Алексеевна (Луиза Мария Августа Баденская) 140

Елизавета Петровна, имп. 91, 97, 373

Ермак Тимофеевич 484

Ефрем Сирийский 368

Ефремов М.Г. 236, 245

Ефремов П.А. 16, 220, 462

Жан Поль (собств.: И.П.Ф. Рихтер, Ж.П. Рихтер) 42, 46, 55, 223, 245, 296

Жанен Ж. 379

Жанна д'Арк 465

Жихарев С.П. 65, 143, 293

Жорж Санд (собств.: А. Дюпен) 379

Жуковская А.В. 282

- Жуковская (урожд. Рейтерн) Е. 241, 275, 388–391, 394, 402, 428
Жуковский П. В. 21
- Завадовский В. П. 198
Загарин П. (Поливанов Л. И.) 15, 415
Загоскин М. Н. 145, 357
Занд К. Л. 370
Захарын (Якунин) И. Н. 266, 302
Зейдлиц К. К. 16, 41, 61, 124, 132, 133, 148, 163, 200, 221, 224, 229–231, 234, 239, 241, 249, 257, 263, 275, 319, 360, 373, 399, 401, 402, 405, 413, 418, 460
Зельмнитц А. 391
Зенобий 40
Зенф К.-А. 327, 440
Зон К. 394
Зонтаг А. П. (урожд. Юшкова) 16–18, 20, 85, 118, 121, 241, 389, 397, 401, 443
Зонтаг Е. В. 18, 360, 440
Зульцер И. Г. 40, 41, 56, 251
- Иванчин-Писарев Н. Д. 289
Измайлов А. Е. 62, 68, 70, 365
Измайлов В. В. 95
Изяслав 496
Иммерман К. Л. 425
Иннокентий, архимандр. 376
Истрин В. М. 8
- Кавелин Д. А. 161, 163, 203, 299, 363
Кайсаров А. С. 16, 39, 66, 70, 76, 77, 79, 88, 96, 100, 104, 109, 113–115, 143, 144, 148, 154, 155, 476
Кайсаров П. С. 71, 76, 77
Кайсаровы 284
Калло Ж. (Callot J.) 42
Кальерон П. 25, 30, 45, 379, 436, 455
Каменев Г. П. 24, 70–72, 95, 249, 483, 487
Камоэнс Л. 245, 246, 275, 372, 382, 384
Канг И. 337, 418
Кантемир А. Д. 40, 345
Капнист В. В. 34, 425
Карамзин Н. М. 20, 23, 40, 50, 56, 58, 59, 61–63, 65, 70–72, 80, 86, 91, 95, 96, 98, 101, 107, 111–113, 128, 211, 219, 224, 249, 250, 253, 261, 262, 272, 283, 291, 293, 320, 322, 326, 340, 347, 349, 356, 362, 363, 372, 381, 385, 394, 399, 426, 449, 458, 466, 475–477
Карамзина Е. А. (урожд.: Кольванова) 63, 269, 320
Карамзина Е. Н. 63, 341
Карамзина С. Н. 18
Карамзины 269, 335, 415
Кардуччи Г. 53
Карл Август, вел. герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский 312
Карл Великий 147, 452, 484, 485
Карл Филипп 371
Карл Фридрих, вел. герцог Баденский 91
Карлейль Т. 332
Карус К. Г. 319, 331
Катенин П. А. 23, 25, 29, 31, 249, 343, 471, 476
Каченовский М. Т. 129, 132, 143, 345, 366
Кашин Д. Н. 448
Кемпбелл Т. (Campbell T.) 366
Кернер Ю. 420, 421
Кёстнер И. К. 207, 268, 335
Киреевская А. П. (урожд.: Юшкова, во 2-м браке: Елагина) 16–18, 103, 109, 139, 141, 163, 165, 176–178, 180, 183, 188, 190, 191, 197, 199–201, 204–208, 211, 213, 215, 219, 221, 228, 232, 233, 244, 254, 256, 257, 273, 275, 294, 331, 343, 398, 405, 462
Киреевская Маша 186
Киреевский В. В. 240
Киреевский И. В. 17, 248, 293, 342, 365, 378, 385, 402, 405, 408, 457
Кирпичников А. И. 292, 341, 395, 405
Клейнмихель П. А. 307
Клейст Г. фон 55, 59, 335, 336, 461
- Климент, инок 403
Клингер Ф.-М. 317
Клопшток Ф.-Г. (Klopstock F.-G.) 25, 46, 50–52, 320, 322, 323, 325, 379, 469
Ключарёв Ф. П. 471
Княжнин Я. Б. 477
Ковалевский Е. П. 293
Кованько И. А. 64
Козлов И. И. 198, 227, 228, 234, 236, 241, 309, 318, 349, 378, 446
Колбасин Е. Я. 228
Кологривова А. И. 342
Колосова А. М. 40
Кольридж С. Т. 25
Колопанов Н. 326, 332
Константин Николаевич, вел. кн. 352, 354, 359, 384, 402, 405, 406, 409, 411, 413, 418
Константин Павлович, вел. кн. 364
Коншин Н. М. 292
Корнелиус П. 338
Корнель П. 25, 30, 40, 337
Корреджо А. (собств.: А. Аллегри) 487
Корф М. А. 285
Коупер У. 402
Кошебу А. 40, 70, 81, 370
Кошелев А. И. 326, 332
Крамер К. Ф. 469
Кребильон П.-Ж. 40, 457
Крейтер Ф. Т. 334
Кречман К. Ф. 469
Крицов Н. И. 17
Кромвель О. 458
Крылов И. А. 34, 40, 224, 363, 451, 456, 466, 471
Крюденер Ю. (Krüdenner J.) 322
Кульман Н. К. 21, 267, 270, 271
Кутузов М. И. 103, 147
Кутузов П. И. 285
Курциус Э. Р. (Curtius E. R.) 7, 8
Кюн С. фон (Kühn S. Von) 276
Кюхельбекер В. К. (Küchelbecker W.) 28, 38, 46, 212, 218, 221, 252, 317, 356, 367, 472, 475, 477
- Ла Мотт Фуке Ф. см.: Фуке Ф. де ла Мотт
Ла Фероннэ П. -Л.-А. 270, 361
Лабзин А. Ф. 287
Лавровский П. А. 417
Лагарп Ж. Ф. 40
Ламартин А. де (Lamartine A. de) 33, 326, 379
Лафонтен Ж. 30, 40, 112, 120
Лёве Е. А. 21
Леветцов Т. У. С. фон 331
Лейбниц Г. В. 337
Лемерсье Н. 28
Леннепс Я. 353, 354
Ленн Я. М. Р. 50, 209
Леонардо да Винчи 333
Лёр Г. 330
Лермонтов М. Ю. 21, 385
Лессинг Г.-Э. 46, 335, 337, 455
Ливий Тит 496
Лихачевы 83
Лихтенберг Г. К. 96
Ломоносов М. В. 27, 34, 95
Лонгфелло Г. 53
Лопе де Вега (собств.: Вега Карпью Л. Ф. де) 25
Лопухин И. В. 56, 59, 63, 74, 81, 84, 94, 106, 139, 156–158, 160, 163, 173, 174, 258
Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская, королева Пруссии 245
Львов Н. А. 471, 475, 476
- Майдель Л. 249
Майков А. Н. 386
Майков Л. Н. 240

- Максимович М.А. 461
 Макферсон Дж. 53
 Малиновский А.Ф. 71
 Маллет Д. 183, 469
 Мальтиц А. 16
 Мандельштам И.Е. 5
 Мантейфель Ю. 327
 Мария Александровна, имп. (Максимиллиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская) 45
 Мария Николаевна, вел. княгиня 242, 250, 275, 289, 302, 442
 Мария Павловна, вел. кн. (Мария Александровна Элизабета Элеонора Мекленбург-Шверинская) 314, 332, 401
 Мария Федоровна, имп. (София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская) 63, 187, 189, 197, 198, 232, 264, 274, 288, 322, 353, 492, 495
 Марк Аврелий 165
 Маркевич А.И. 342
 Маркевич Н.А. 472
 Маркович В.М. 5
 Марлинский см.: Бестужев А.А.
 Маро Кл. 30
 Мартынов И.И. 410
 Масон И. 110
 Массильон Ж.Б. 192
 Маттиссон Ф. (Mattisson F.) 26, 54, 55, 306
 Маторен см.: Мэтьюрин Ч.Р.
 Махов А.Е. 5
 Мейер И.Я. 327
 Мейнерс К. 74
 Мельгунов Н.А. 341, 395, 405, 429, 447
 Мендельсон М. (Mendelsohn M.) 80, 140, 320, 322
 Мердер К.К. 255, 359
 Мерзляков А.Ф. 23, 66, 71, 72, 76, 77, 79—81, 92, 94, 99, 105, 106, 109, 113—116, 143, 144, 151, 249, 284, 337, 450, 471
 Мерсье С. 49
 Местр К. де 465
 Мещевский А.И. 342
 Миллер И. 41, 51, 52, 328—330, 333, 352, 469
 Миллер Ф. фон 16, 155, 326, 469
 Милонов Н.А. 151
 Милорадович М.А. 40
 Мильвуа Ш.—Ю. 29
 Мильгон Дж. 25, 30, 361, 379
 Михаил Павлович, вел. кн. 242, 273
 Михаил Феодорович 97
 Михайлов М.М. 145
 Мицкевич А. 284
 Модзалевский Б.Л. 21, 103, 289
 Моисей 476
 Мойер Е.И. (в замуж.: Елагина) 275, 399, 401
 Мойер И.А. 16, 18
 Мойер И.Ф. 202—208, 211, 217, 218—220, 231, 234, 260, 263, 267, 275
 Мойеры 217
 Мольер Ж.Б. (наст. фам.: Поклен) 462
 Монкриф Ф.—О. 183
 Монтегкё Ш.—Л. 74
 Монти В. 56
 Моргенштерн К. 327
 Мориц К.Ф. 49
 Моро де ла Мельтьер 356
 Мошерош И.М. 469
 Мстислав Великий, князь Киевский 484, 494
 Мур Т. 25, 27, 306
 Муравьев А.Н. 310
 Муравьев М.Н. 475, 477
 Муравьев Н.М. 346
 Мэккензи Г. 50
 Мэтьюрин Ч.Р. 379
 Мюллер Ф. фон см.: Миллер Ф. фон
- Надеждин Н.И. 32, 36, 39, 473
 Наполеон I Бонапарт 71, 103, 343, 422
- Нарезный В.Т. 477
 Нарышкин А.А. 288, 289
 Нарышкин А.Л. 293, 317
 Нащокин П.В. 414
 Неандер И.А.В. (August Moyses) 322
 Нейком З. 322
 Нелединский-Мелецкий Ю.А. 201, 271, 272, 292, 471
 Нестор Летописец 403
 Нефедьева А.И. 429
 Никитенко А.В. 256, 342
 Николай I (Николай Павлович) 44, 241, 300, 314, 323, 335, 349, 353, 357, 365, 369, 370, 396—398, 413, 441
 Николов Н.П. 471
 Никон Летописец 476
 Новалис (Novalis) (собств.: Ф. фон Харденберг) 9, 37, 47, 51, 55, 276—279, 282, 391, 431—433, 435—437, 439, 456, 470, 478
 Новиков Н.И. 56
 Нойффер К.Л. 51
- Оболенская А.Ю. 230, 244, 273, 291
 Овидий (Публий Овидий Назон) 27, 452
 Одоевский А.Н. 475
 Озеров В.А. 23
 Олай (Олаус Магнус) 469
 Оленин А.Н. 39, 428
 Ольга Николаевна, вел. кн. 387, 393, 395, 461
 Онегин А.Ф. 21, 72, 140, 166, 190, 198, 222, 223, 231, 234, 310, 369
 Ордынский Б.И. 417
 Орлов М.Ф. 346, 347
 Осипова П.А. 97, 103
 Оссиан 56, 58, 74, 144, 213, 288, 311, 439, 469, 470
- Павел, ап. 376, 399
 Павел I 11
 Павлов В.Н. 83
 Павлова А.М. см.: Соковнина
 Павлова О.В. 82
 Палицын Авраамий (в миру: Аверкий Иванович) 97
 Парни Э. 25, 29, 40, 140, 141, 307
 Патер У. 37
 Патрокл 51
 Педлико С. (Pellico S.) 379
 Перовский (Погорельский) А.А. 145
 Перовский В.А. 224, 237, 238, 257, 266, 268, 272, 284, 286, 292, 302, 359, 377
 Перро Ш. 472
 Перси Т. 23
 Петин И.А. 65
 Петр I 31, 96, 138, 353—355, 370
 Петрарка Ф. 11, 88, 155, 320
 Петров А.А. 34, 65
 Петров В.П. 34
 Петровы 34
 Петухов Е.В. 39, 231, 494
 Пиндар 30, 31, 475
 Пиндемонте И. 54
 Платов М.И. 147
 Платон 36, 375, 403
 Плетнев П.А. 15, 39, 75, 78, 241, 255, 285, 302, 317, 338, 342, 350, 356, 357, 360, 375, 386, 387, 393, 395, 400, 403—406, 408—411, 413, 415, 417—421, 424, 443, 461, 464, 473, 474
 Плещеев А.А. 17, 45, 57, 97, 159, 162, 254—256, 365, 448
 Плещеева А.И. см.: Чернышева
 Плещеевы 137, 146
 Погодин М.П. 289, 308, 385, 386, 403, 405, 409, 429
 Покровский Ф.Г. 58
 Полевой Кс.А. 150
 Полевой Н.А. 24, 32, 35, 36, 38, 40, 286, 312, 364, 366, 367, 448—451, 464, 465, 467, 471, 472
 Полетика П.И. 198, 299, 335, 340
 Поливанов Л.И. см.: Загарин П.
 Попов М.В. 471, 476

- Поуп (Поп, Попе) А. 39, 53, 69, 75, 129, 402, 457, 459
 Прокопович-Антонский А.А. 202, 293
 Протасов А.И. 174
 Протасов А.П. 174, 180
 Протасов И. 201, 202
 Протасов П.И. 174
 Протасова А.А. см.: Восойкова А.А.
 Протасова Е.А. (урожд.: Буннина) 43, 61, 62, 116, 119–121, 131, 132, 137, 139, 140, 151, 152, 155, 156, 159, 163–165, 169, 174–176, 186, 188, 190, 191, 194, 195, 199, 204, 207, 217, 218, 221, 228, 229, 275, 318
 Протасова Е.С. 396
 Протасова (в замуж.: Мойер) М.А. 6, 17, 18, 39, 72, 82, 86, 92, 119–121, 123, 125, 127, 132, 133, 137, 139–141, 148, 149, 152, 153, 157, 162, 165–170, 174, 176, 177, 179–182, 185, 186, 188–196, 198, 199, 201–208, 210, 211, 217–221, 223, 229–234, 236, 238, 241, 243, 244, 249, 253, 257, 258, 260, 267, 269, 270, 275, 282, 300, 335, 391, 396, 401, 463
 Протасова 110, 143, 146, 148, 151, 154, 162, 182, 187, 189, 202
 Проташинский В.А. 123, 287
 Пушкин А.С. 21, 22, 24, 25, 28–31, 35, 36, 38, 41, 47, 103, 146, 147, 150, 224, 228, 240, 256, 272, 284, 285, 292, 293, 306, 307, 309, 312, 335, 337, 339, 340, 342, 344, 359, 367–371, 375, 379, 386, 408, 409, 412, 448, 449, 455, 458, 459, 465, 472, 473, 477
 Пушкин В.Л. 62, 129, 252, 346, 476, 477
 Пушкин Л.С. 24, 224, 309
 Пушкина Е.Г. 237, 248
 Радищев А.Н. 475
 Радищев Н.А. 475, 487
 Раловиц И. 301, 355, 357, 373, 375, 391, 394, 416, 428
 Раевский В.Ф. 477
 Разумовский А.К. 285
 Рамлер К.-В. 40
 Расин Ж. 40, 337, 361, 379
 Растолчина Е.П. 503
 Раух К.Д. 43
 Рафаэль Санти 108, 389, 403, 441
 Резанов В.И. 5
 Рейнбот П.Е. 16
 Рейтерн Г.В. (Reutern G. von) 249, 327, 328, 331, 334, 375, 388, 391, 392, 440–442
 Рейтерн Е. см.: Жуковская
 Рейтерн Е.Е. 6, 21, 229, 327
 Рейтерны 373, 388, 389, 391
 Реке Э. фон (Rescke E. von) (урожд.: графиня фон Мелем) 319, 320, 322–324
 Рихтер Ж.-П. см.: Жан-Поль
 Рихтер Эмма 42
 Ричард I Львиное Сердце (Плантагенет) 30, 31
 Ричардсон С. 56, 60
 Роде Х.Ф. 80
 Родзянко С.Г. (в замуж.: Ушакова) 62, 76, 81
 Розен Е.Ф. 292, 499
 Розенштраух, пастор 373
 Романовы 476
 Руссо Ж.-Б. 40, 361
 Руссо Ж.-Ж. 23, 48, 49, 56, 59, 60, 69, 75, 80, 86, 90, 100, 250, 251, 394, 439, 466
 Рыбников П.Н. 486
 Рыльев К.Ф. 29, 367, 448, 477
 Рэдклиф А. 52, 58, 470
 Рюккерт Ф. 453, 457
 Рюрик 477
 Сантов В.И. 16, 287
 Сакс Г. 438, 470
 Саксон Грамматик 469
 Салтыков Н.И. 364
 Самойлова (в замуж.: Бобринская) С.А. 18, 110, 244, 253, 257, 261, 264–268, 270, 271, 273, 274, 280, 396
 Санд Ж. см.: Жорж Санд
 Саути Р. (Southey R.) 25, 306, 460, 475, 492
 Сербеев Д.Н. 240
 Свечин Н.П. 82
 Свечина (урожд. Вельяминова) М.Н. 62, 81, 82, 86, 87, 89, 92, 139, 157, 167, 219, 258, 260
 Свечина С.П. 259
 Свечины 88
 Святослав 125, 138, 147, 484, 485, 488
 Северин Д.П. 352, 373–375, 407, 411, 413, 417, 440, 441
 Сенковский О.И. 417
 Сен-Симон К.А. де Рувра 49
 Сент-Бёв Ш.О. (S-t-e Beuve Sh.O.) 379
 Сервантес М. де Сааведра 36, 455
 Сидоров Е.А. 346
 Симони П.К. 21
 Сирин Ефрем см.: Ефрем Сирин
 Скотт В. 25, 369, 379, 381, 460, 466, 485, 490, 491
 Скриб Э. 40
 Смирдин А.Ф. 70, 74
 Смирнов Н.М. 335, 440
 Смирнова (Россет) А.О. 43, 256, 270, 272, 335, 336, 339, 342, 359–361, 368, 373, 375, 378, 385, 397, 399, 404, 415, 419, 421, 464
 Смирнова А.Ф. 42, 43
 Снегирев И.М. 289
 Соковнин Н.М. 83
 Соковнин С.М. 82, 83, 90
 Соковнина (в замуж. Павлова) А.М. 78, 83–86, 92, 115, 123, 241, 254, 401
 Соковнина А.Ф. 82, 89
 Соковнина Е.М. 83, 85, 88–92, 105, 106, 122
 Соковнины 87, 89, 105, 122
 Соколов И. 410
 Сократ 322, 403
 Соллогуб В.А. 373, 385
 Соллогуб С.М. 377
 Сомов О.М. 25, 448
 Сопиков В.С. 70, 74
 Софокл 386
 Спенсер Э. 25, 30
 Сперанский М.М. 145, 292, 308
 Спонтини Г. 246, 247
 Сталь Ж. де 23, 25, 49, 333
 Стерн Л. 48, 49, 51, 56, 70, 436
 Стояновский Н.И. 234
 Стурдза А.С. (Stourdza A.) 289, 339, 373, 375–379, 407, 411–413, 417, 418, 421, 457
 Суворов А.В. 138, 147, 255
 Сумароков П.П. 56, 74, 452
 Сумцов Н.Ф. 342, 440
 Сухомлинов М.И. 66, 144
 Тассо Т. 25, 30, 306, 312, 320, 329, 485, 491
 Таулер И. 373
 Тацит 155
 Теккерей У.М. 52
 Теон Александрийский 193, 200, 244
 Тиде К.А. (Tiedge C.A.) 319, 320, 322–325
 Тик Доротея 44
 Тик Л. 26, 37, 41, 43–47, 51, 107, 279, 296, 301, 319, 336, 431, 432, 434, 436–439, 455, 470, 472, 473
 Тимошенко И.В. 416
 Тиханов Г. 61
 Тихонравов Н.С. 15, 41, 125, 249, 458
 Тициан Вечеллио 487
 Толстая А.А. 21
 Томсон Дж. 23, 40, 56, 59, 69, 147, 459, 461
 Тредьяковский В.К. 153
 Трессан Л. 485
 Трубецкой С.П. 345
 Тургенев А.М. 342, 363, 395, 399, 409, 410
 Тургенев А.И. 9, 10, 17, 21, 41, 46, 54, 62, 63, 65–67, 70–73, 75–79, 81–84, 87–91, 94–98, 100–104, 106, 109, 111,

- 113–115, 118–124, 127–133, 135, 138, 139, 141, 143–146, 150, 151, 154, 155, 159–166, 177–179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 193, 197–201, 208, 209, 211–213, 215, 221, 222, 224–228, 232, 234, 236–239, 248, 252, 254, 257, 259, 262, 264, 273, 283–288, 290–292, 294, 302, 304–307, 310, 311, 318–329, 333–335, 339, 341–346, 348, 349, 353, 359–363, 365, 366, 369, 374, 375, 388, 393, 394, 398, 402, 424–430, 443, 447, 448, 459, 461, 462, 484, 490, 492–494
- Тургенев Анд.И. 16, 21, 39, 40, 62, 64–67, 69–74, 76–81, 83–86, 89–96, 100, 102–104, 106, 112–116, 124, 143–145, 155, 162, 183, 232, 285, 312, 337, 429, 441
- Тургенев И.П. 63, 65, 100, 102, 110, 113, 126, 163
- Тургенев Н.И. 21, 46, 54, 65, 66, 103, 109, 198, 248, 257, 274, 310, 319, 320, 324–326, 329, 342–344, 346, 348, 359, 361, 372, 424, 425
- Тургенев П.Н. 21, 97
- Тургенев С.И. 21, 66, 232, 248, 257, 319–321, 325
- Тургеневы 150, 326
- Турчанинова А.А. 249
- Тютчев Ф.И. 350, 387, 408, 411
- Уваров С.С. (Uwarow S.) 45, 129, 132, 159, 189, 198, 259, 260, 309, 314, 356, 365, 402, 408, 409, 491, 492
- Уланд Л. 215, 366, 460, 466, 474, 475
- Уолпол Х. 470
- Усова А.С. 21
- Ушаков В.П. 236
- Ушаков М.П. 236
- Ушакова В.П. 236, 264, 273, 292
- Ушакова С.Г. см.: Родзянко
- Фарнгаген фон Энзе К.А. 16, 296, 404, 412, 418
- Фарнгаген фон Энзе Р. 42
- Федоров Б.М. 365
- Фенелон Ф. 59, 189, 192, 361? 373
- Фергюссон А. 277
- Филарет, митрополит 139, 426, 427
- Филдинг (Фильдинг) Г. 49
- Фихте И.Г. 278, 280, 297, 323, 418
- Флориан Ж.-П. 40, 60, 146, 456
- Флоридов А.А. 126
- Фомин А.А. 21
- Фонтенель Б. 95
- Фориэль Ш. 333
- Форстер И.Г.А. 336
- Фосс И.-Г. 73, 129, 323, 402, 428, 431, 455, 457, 469
- Франклин Б. 74, 466
- Фридрих К.Д. 247, 248, 301, 319, 440, 441
- Фридрих II 294
- Фридрих Вильгельм III 351, 352
- Фуке Ф. де ла Мотт 41–43, 215, 245, 432, 454, 457, 470
- Фуке А. 24
- Хемницер И.И. 34
- Херасков М.М. 27, 56, 146, 475–477
- Хомутова А.Г. 288
- Хомяков А.С. 407, 408, 429? 477
- Цедлиц И.Х. 350, 351
- Цицерон Марк Туллий 466
- Чаалаев П.Я. 341, 369, 370
- Черкасов И.И. 118, 119
- Черкасова Е.И. 346
- Чернышева А.И. (в замуж.: Плещеева) 16, 17
- Чернышева Е.И. (в замуж.: Вадковская) 17
- Чернышева Н.Г. 18
- Чернышев Н.И. 416
- Чешихин (Ветринский) В.Е. 458
- Чулков М.Д. 471, 475, 476, 479, 483, 486, 489
- Шадов Ф.-В. 390
- Шаликов П.И. 52, 58, 59, 64, 65, 70
- Шамиссо А. фон 20, 42, 399
- Шарлота, принцесса см.: Александра Федоровна, вел. кн.
- Шарпантье Ю. 279
- Шатобриан Ф.Р. 25, 37, 43, 53, 54, 214, 258, 326, 433, 454, 463
- Шаховской А.А. 259
- Швейцер Х.В. 327, 328
- Шевченко Т.Г. 342, 442
- Шевырев С.П. 40, 75, 131, 200, 331, 332, 357, 395, 405, 407, 409, 413–416, 440, 471
- Шекспир У. (Shakspeare W.) 23–25, 28–30, 33, 36, 37, 44–47, 49, 69, 72, 108, 277, 322, 328, 336, 337, 379, 386, 455, 473, 485
- Шелли П.Б. 433
- Шеллинг Ф.В.И. 278, 331, 418, 427, 432
- Шенрок В.И. 234, 406
- Шертль (Шертле) В. 395
- Шестаков С.П. 458
- Шидлер Ф. 26, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 50, 55, 72, 73, 80, 98, 115, 133, 134, 137, 162, 219–221, 249, 286, 303, 310, 311, 315, 318, 322, 328, 332–337, 341, 343, 346, 366, 367, 379, 431, 435, 436, 444, 450, 451, 457–460, 466, 469, 470, 487
- Шилов А.А. 21
- Шишков А.С. 314, 343, 492
- Шиммарев В.О. 21
- Шлегели 278, 335, 431
- Шлегель А.В. 26, 31, 37, 42, 44, 45, 50, 277, 278, 436, 438, 455, 456, 467
- Шлегель Ф. 23, 51, 278, 336, 433, 439
- Шлегель Э. 469
- Шлѐцер А.Л. 95–97
- Шляпкин И.А. 16
- Шпис Х.-Г. 24, 74, 185, 436, 469, 478, 481, 483
- Штейн Шарлотта фон 207, 335
- Штильин Г. 52
- Штольберг Ф. 51, 402
- Штольберги 373
- Шторх П. 443
- Шуйский В.И. 97
- Шеголев П.Е. 61
- Шукин П.И. 219, 221, 323
- Эверс И.Ф.Г. 200, 201, 244, 294
- Эглофштейн Г. 328
- Эглофштейн Ю. 328
- Эдлинг, графиня 397
- Эйхгорн И.-Г. 96
- Эккерман И.П. (Eckermann I.P.) 314, 328, 334, 444
- Энгель И.-Я. 40, 41, 251, 300
- Энгельгардт Б.М. 8, 11
- Эсхил 27, 30
- Эсхин 200
- Эшенбург И.И. 41
- Юкельсон Я. 255
- Юм Д. (Hume D.) 198
- Юнг Э. 23, 39, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 95, 277, 439
- Юшкова А.П. см.: Киреевская А.П.
- Юшкова В.А. 63
- Языков А.М. 240, 389, 408
- Языков Н.М. 234–236, 240, 406, 407, 474, 476
- Якоби И.-Г. (Jacobi J.G.) 41, 48, 328, 333
- Яковлев И.А. 314
- Chevolot L. 258
- Drouineau 379
- Giraldi Cintio 23
- Haare W. 420
- Morelli 314
- Rückert Fr. von 451

Содержание

| | |
|--|-----|
| <i>А.Е. Махов. Последний труд А.Н. Веселовского</i> | 5 |
| Предисловие | 15 |
| Введение | 22 |
| I. Эпоха чувствительности | 48 |
| II. Юные годы. Первый опыт сентиментального увлечения и идеал дружбы. М.Н. Свечина и Андрей Тургенев..... | 62 |
| III. Пора самообразования и душевного одиночества. М.А. Протасова | 109 |
| IV. А.Ф. Воейков..... | 143 |
| V. Дерптская жизнь | 186 |
| VI. У чужого счастья. Две родные могилы | 217 |
| VII. Лирика чувства и ее личные мотивы | 243 |
| VIII. При дворе. Графиня Самойлова. Поэзия мадригала и «сердечного воображения» | 261 |
| IX. Опасения друзей..... | 283 |
| X. Литературные ожидания. Жуковский о Байроне, Шиллере и Гете | 303 |
| XI. Общественные взгляды Жуковского | 340 |
| XII. «Бывалых нет в душе видений». «Милости просим, святая проза» | 358 |
| XIII. В своей семье. Идиллия Одиссеи | 388 |
| XIV. Поэтика романтиков и поэтика Жуковского. | 431 |
| XV. Народность и народная старина в поэзии Жуковского..... | 468 |
| Указатель имен. <i>Составитель И.И Ремезова</i> | 505 |

Научное издание

Веселовский Александр Николаевич
В.А. Жуковский.
Поэзия чувства и «сердечного воображения»

Корректор: М.П. Крыжановская
Макет и оформление Я.В. Быстрова



По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
e-mail: unikniga@yandex.ru. Руководитель центра Соснов П.В.

Комплектование библиотек, оптовая продажа в России и странах СНГ
ООО «Университетская книга-СПб».

«Университетская книга-СПб» предлагает книготорговым организациям, библиотекам и простым читателям широкий ассортимент книг по всему спектру гуманитарных наук — философии, филологии, лингвистики, истории, социологии и политологии. Продукцию ведущих гуманитарных научных издательств Санкт-Петербурга и России вы можете приобрести у нас по издательским ценам.

Контакты:

в Санкт-Петербурге

Тел. (812) 640-08-71, e-mail: uknigal@westcall.net

в Москве ООО «Университетская книга-СПб»

Тел. (495) 915-32-84, e-mail: ukniga-m@libfl.ru

Рассылка по России:

Интернет-магазин Лабиринт.ру — <http://www.labyrinth.ru/>

Подписано к печати 20.08.2016. Формат 60x90 ¹/₁₆. Заказ № 698.

Усл. печ. л. 33,6.

Тираж 1000 (Первый завод 500) экз.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета

в Публичном акционерном обществе «Г8 Издательские Технологии»

109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.

Тел.: 8 (495) 221-89-80

В.А. Жуковский
Поэзия чувства
и «сердечного воображения»



9 785987 126370